пр. все 10
x
Всего три — в одном экз

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

891.73
D74
DS689

**CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS**

The person charging this material is responsible for its renewal or its return to the library from which it was borrowed on or before the **Latest Date** stamped below. **You may be charged a minimum fee of $75.00 for each lost book.**

**Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.**

**TO RENEW CALL TELEPHONE CENTER, 333-8400**

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

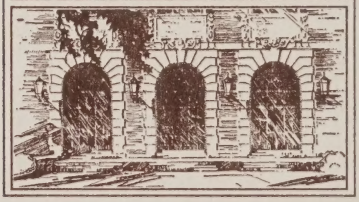
NOV 13 1998

APR 06 1999

When renewing by phone, write new due date below previous due date. L162

LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
AT URBANA-CHAMPAIGN

891.73
D74
DS689



each Lost Book is ...

The person charging this material is responsible for its return to the library from which it was withdrawn on or before the **Latest Date** stamped below.

**Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.**
**To renew call Telephone Center, 333-8400**

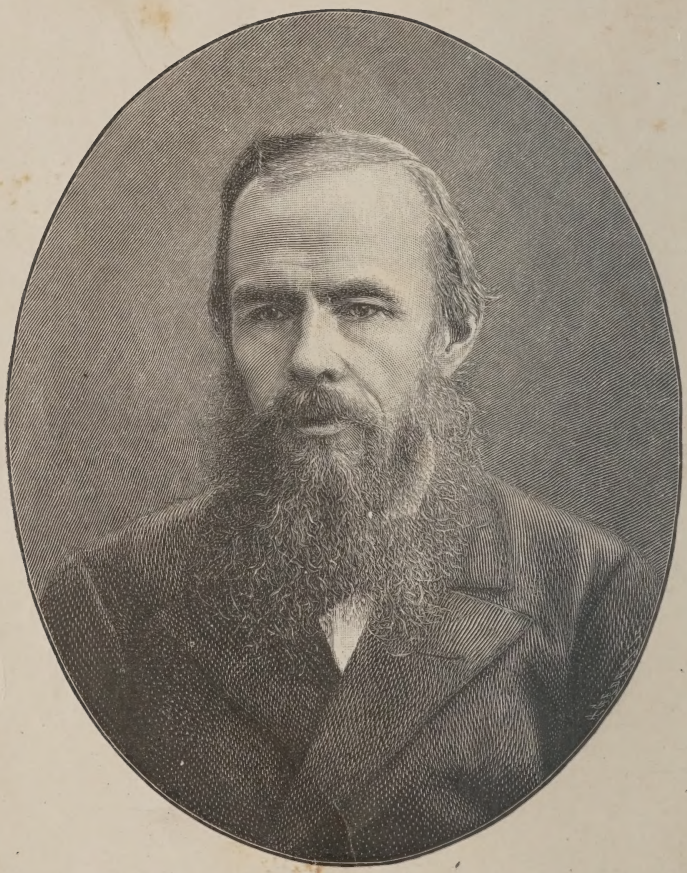
UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

OCT 01 1991

OCT 17 1991

L161—O-1096

дозв. цензуры. СПБ 18 окт. 1891 г. тип. тов. „общ. польза".



Ѳ. М. Достоѣвскій.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ

БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА

# Ѳ. ДОСТОЕВСКІЙ

## ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Е. Соловьева.

Съ портретомъ Достоевскаго, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ

ТИПОГРАФІЯ ТОВАРИЩ. «ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА», В. ПОДЪЯЧ., 39

1891

# БИБЛІОТЕКА ПОЛЕЗНЫХЪ ЗНАНІЙ,

*издаваемая Ф. Павленковымъ.*

Въ составъ ея вошли пока (іюль 1891 г.), слѣдующія книги:

**Ручной трудъ.** Составилъ Графиньи. Домашнія занятія ремеслами. Съ франц. 400 рис. Ц 1 р. 50 к. —**Электрическіе звонки.** Боттона. Съ краткими свѣдѣніями о воздушныхъ звонкахъ. Съ 114 рис. Пер. съ англ. и дополнилъ Д. Головъ. Ц. 1 р.—**Руководство къ рисованію акварелью.** А. Кассаня. Съ франц. Съ 150 рис. Ц. 1 р. 50 к.—**На всякій случай!** А. Альмедингена. Научно-практическіе совѣты по полеводству, садоводству, огородничеству, домоводству, по борьбѣ съ вредными насѣкомыми, грибами и паразитами, а также съ фальсификаціей пищевыхъ и другихъ веществъ. Ц. 50 к.

## Популярно-научныя книги.

ПРЕДСКАЗАНІЕ ПОГОДЫ. Далле. Перев съ франц. Съ 41 рис. Цѣна 1 р. 25 к.
ФИЗІОЛОГІЯ ДУШИ. А. Герцена. профессора Лозан университета. Предисл. Герцена-отца. Съ франц. Ц. 1 р.
МІРЪ ГРЕЗЪ. Д-ра Симона. Сновидѣн. галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, экстазъ. гипнотизмъ, иллюзіи. Съ франц. Ц. 1 р.
РУЧНОЙ ТРУДЪ. Составилъ Графиньи Домашнія занятія ремеслами. Съ франц 400 рис Ц. 1 р. 50 к
ЭКСТАЗЫ ЧЕЛОВѢКА. П. Монтегацца. Пер. съ 5-го итальян. изд. Ц 1 р. 50 к.
ПРОГРЕССЪ НРАВСТВЕННОСТИ. Летурно. Перевела съ франц. Эл. Зауеръ. Ц. 1 р. 50 к.
УМСТВЕННЫЯ ЭПИДЕМІИ. Д-ра Реньяра. Перевела съ франц. Эл. Зауэръ Съ 110 рис Ц. 1 р. 75 к
КОТОРЫЙ ЧАСЪ? И. Вавилова. Провѣрка часовъ безъ помощи часовщика и устройство солнеч. часовъ. Съ 13 рис Одобрено Академіей Наукъ. Цѣна 30 к
СВѢТЪ БОЖІЙ. Популярные очерки міровѣдѣнія. 5-е изданіе, въ первый разъ иллюстрированное 60 рис. Ц. 30 к.
ОБЩЕДОСТУПНАЯ АСТРОНОМІЯ. Фламаріона Съ франц. 100 рис. Ц. 1 р. 25 к
ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ АККУМУЛЯТОРЫ. Э Ренье. Перевелъ и дополнилъ Д. Головъ Съ 76 рис. Цѣна 1 р. 25 к.
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВѢЩЕНІЕ В. Чиколева. съ 151 рис. Ц. 2 р. 50 к.
ЧУДЕСА ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. В Чиколева. Ц. 30 к.
О БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРИЧ. ОСВѢЩЕНІЯ. В Чиколева. Ц. 25 к
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНИТИЗМЪ А. Гано и Ж Маневрье. Перев Ф Павленкова, В Черкасова и С. Степанова Съ 340 рис. Ц. 1 р. 50 к
СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКѢ. В Чиколева Ц. 75 к.
ПОПУЛЯРНЫЯ ЛЕКЦІИ ОБЪ ЭЛЕКТРИЧЕСТВѢ И МАГНИТИЗМѢ. О. Хвольсона. Съ 230 рис. 2-е изданіе. Ц. 2 р
ГЛАВНѢЙШІЯ ПРИЛОЖЕНІЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА. Э. Госпиталье. Пер. С. Степанова, со 145 рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ВЪ ДОМАШНЕМЪ БЫТУ. Э Госпиталье. Пер. съ франц. С. Степанова. Со 157 рис. Ц. 2 р.
ЭЛЕКТРИЧЕСКІЕ ЗВОНКИ. Боттона. Съ краткими свѣдѣніями о воздушныхъ звонкахъ. Съ 114 рис. Перев. съ англійскаго и дополнилъ Д. Головъ. Ц. 1 р.
СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОПАТЫ. Д-ра Кюлера. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к
ПСИХОЛОГІЯ ВНИМАНІЯ. Д-ра Рибо. Переводъ съ французскаго. Ц. 50 к.
ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИК. ЛЮДЕЙ. Жоли. Перев. съ франц. 2 е изд. Ц. 1 р.
ГЕНІАЛЬНОСТЬ И ПОМѢШАТЕЛЬСТВО. Ц. Ломброзо. Съ рис. Ц. 2 р
ЧТО СДѢЛАЛЪ ДЛЯ НАУКИ Ч. ДАРВИНЪ? Съ портретомъ Дарвина. Переводъ Г. Лопатина, Ц. 75 к.
ХЛѢБНЫЙ ЖУКЪ. Чтеніе для народа, съ 3 рис. Барона Н. Корфа. Ц. 10 к.
ВРЕДНЫЯ ПОЛЕВЫЯ НАСѢКОМЫЯ. Сост. Иверсенъ. Съ 43 рис. Ц. 80 к.
ВОЗДУШНОЕ САДОВОДСТВО. Н. Жуковскаго Съ 72-мя рис. Ц. 60 к.
ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ. Сост. Г. Гисандье. Съ рис. Переводъ съ французъ. Ц. 50 к.
СОЦІАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ЖИВОТНЫХЪ. Эспинаса. Перев. съ франц Ф Павленковъ. 500 стр. Ц 2 р. 50 к.
ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ДІАГНОСТИКА. Профес. Да-Коста Съ нѣм 704 стр., 43 рис. Ц. 3 р 50 к
ЕДИНСТВО ФИЗИЧЕСКИХЪ СИЛЪ. Опытъ популярно-научной философіи. А. Секки. Перев. съ франц. Ф. Павленкова 2-е изд. Ц 2 р. 50 к

Дозвол. ценз. С.-Петербургъ, 18 іюля 1891 г.

891.73
D74
D5689

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

Стр.

I. ВВЕДЕНІЕ.
Достоевскій и беллетристы 40-хъ годовъ.—Особенности.—Литературный пролетарій.—Вѣчное безденежье и вѣчная кабала.—Вліяніе города —Городскія темы и городскія лица.—Психопатологія и психопатія . . . . . 5

II. Дѣтство.—Городъ и деревня.—Деревенскія впечатлѣнія.—Мужикъ Марей.—Великое и святое.—Угрюмый отецъ.—Семейная жизнь.—Буквари, начатки, грамматики.—Жоржъ Зандъ . . . . . 17

III. Смерть матери и переѣздъ въ Петербургъ.—Лучъ идеализма.—Дурныя впечатлѣнія.—Инженерное училище.—Одиночество.—Тяжелая юность.—Бѣдные люди.—Разрывъ съ Бѣлинскимъ.—Неудачи—Болѣзнь . . . . . 28

IV. Кружокъ Петрушевскаго.—Арестъ.—Ссылка на каторгу.—Вліяніе каторги на характеръ и міросозерцаніе Достоевскаго . . . . . 46

V.—Возвращеніе изъ ссылки.—Изданіе „Времени“ и „Эпохи“.—Женитьба.—Годы за границей . . . . . 64

VI.—Слава . . . . . 76

VII.—ИТОГИ.
Что далъ намъ Достоевскій.—Кающійся интеллигентъ.—Разладъ съ народомъ.—Необъятная сила . . . . . 88

## ГЛАВНЫЯ ПОСОБІЯ

1) *Ѳ. М. Достоевскій.*—Полное собраніе сочиненій.
2) *Панаевъ.*—Литературныя воспоминанія.
3) *Панаева-Головачева.*—Писатели и артисты.
4) *А. М. Скабичевскій.*—Исторія новѣйшей литературы.
5) *Чижъ.*—Достоевскій, какъ психопатологъ.
6) *Статьи о Достоевскомъ*: а) Бѣлинскаго.
б) Добролюбова.
в) Страхова.
г) Н. К. Михайловскаго.
7) «*Время*» и «*Эпоха*» — журналы, издававшіеся подъ редакціей Ѳ. М. Достоевскаго.

И мн. др.

# I.

## ВВЕДЕНІЕ.

Достоевскій и беллетристы 40-хъ годовъ.—Особенности. — Литературный пролетарій.—Вѣчное безденежье и вѣчная кабала.—Вліяніе города. — Городскія темы и городскія лица. — Психопаталогія и психопатія.

Имя Ѳед. Мих. Достоевскаго упоминается обыкновенно на ряду съ именами Толстого, Тургенева, Гончарова, и никто, я думаю, не станетъ отрицать за нимъ права быть поставленнымъ въ первыхъ рядахъ «стаи славной» беллетристовъ сороковыхъ годовъ. Но если и возможно сближать Достоевскаго съ его сверстниками съ точки зрѣнія мѣста, времени, силы таланта и общности «литературнаго происхожденія» (отъ Гоголя), то подобное сближеніе очень трудно и потребуетъ самыхъ замысловатыхъ натяжекъ, разъ мы перейдемъ къ духу, смыслу и формѣ произведеній. Всѣмъ этимъ Достоевскій уже обязанъ преимущественно себѣ и страннымъ обстоятельствамъ своей личной жизни. Это—его неотъемлемая собственность, въ которой ярко выразилась его рѣзко очерченная индивидуальность, его болѣзненный психопатическій геній, оригинальность его мышленія и фантазіи, не имѣющая ничего подобнаго и равнаго въ русской литературѣ. Положительно трудно не согласиться съ словами Н. Н. Страхова изъ его письма къ Достоевскому: «очевидно, по содержанію, по обилію и разнообразію идей вы у насъ первый человѣкъ, и самъ Толстой, сравнительно съ вами, однообразенъ. Этому не противорѣчитъ то, что на всемъ вашемъ лежитъ особенный и рѣзкій колоритъ». Въ чемъ-же эта всѣми замѣченная, но никѣмъ вполнѣ ясно не формулированная особенность всей жизни и всей дѣятельности Достоевскаго? Кой какія параллели дадутъ намъ отвѣтъ на этотъ вопросъ.

Въ произведеніяхъ Гончарова и въ особенности Тургенева вамъ прежде всего бросается въ глаза удивительная отдѣлка формы.

Все вызолочено, вылощено, вылакировано, отполировано; каждое слово на своемъ мѣстѣ, каждая фраза не только закруглена, но и отшлифована. Ни одной лишней, ненужной подробности, ни одной страницы, въ которой было бы замѣтно утомленіе или неровность таланта. Каждое произведеніе такъ и просится въ переплетъ съ золотымъ обрѣзомъ. Каждая фигура, каждая даже мимолетно появляющаяся на сцену личность (у Тургенева)—точно изъ мрамора выточена: ни прибавить, ни убавить нельзя ничего. Видно, что это десятки разъ обдумывалось и передумывалось, писалось и переписывалось и только потомъ уже давалось публикѣ на прочтеніе, съ полной увѣренностью въ успѣхѣ, безъ всякой торопливости, безъ всякихъ заискиваній. Хорошо такъ работать и счастливъ тотъ художникъ, который можетъ такъ работать. Но для этого нужны прежде всего средства и выдержка (внутренняя дисциплина). Ни того, ни другого у Достоевского не было. Во всю свою жизнь только двѣ вещи онъ написалъ не наспѣхъ и не къ сроку. Это «Бѣдные люди»—первый его романъ и «Братья Карамазовы»—послѣдній. Все остальное писалось столько же изъ потребности, сколько и изъ за заработка, когда, бывало, и ѣсть нечего, и самъ Достоевскій по уши въ долгахъ сидитъ въ Сибири или за границей. Оттого-то, за весьма малыми исключеніями, у Достоевскаго нѣтъ ничего выдержаннаго, обработаннаго. Иногда цѣлая сотня страницъ производитъ впечатлѣніе какой-то papier machée и только вдругъ, въ концѣ, геній, преодолѣвъ усталость, проявляется во всю мощь, точно молнія прорѣзываетъ тучи и освѣщаетъ всю картину фантастическимъ, дивнымъ блескомъ. Обыкновенно-же это тысячи ненужныхъ подробностей, десятки отдѣльныхъ интригъ, нагроможденныхъ другъ на друга, частыя перемѣны темъ, внезапныя появленія новыхъ героевъ и героинь. Все это наспѣхъ, наскоро, съ натугами и порывами, кризисами творчества, молніеносными проблесками генія и удручающимъ вымучиваніемъ. Но иначе было нельзя: копить деньги Достоевскій не умѣлъ и зачастую запродавалъ, вмѣсто романа, бѣлый листъ бумаги, причемъ «мошенники» издатели «огараживали свои интересы разными неустойками. Разверните переписку Достоевскаго; вѣдь это одинъ и тотъ-же мотивъ: «денегъ, денегъ, денегъ!» и мало мальски чувствующій и мыслящій человѣкъ пойметъ, какая трагедія разыгрывалась въ душѣ великаго писателя, которому къ такому-то сроку непремѣнно надо приготовить такое-то количество листовъ. Разъ попавши въ лапы

гг. Краевскихъ, Стелловскихъ, Достоевскій только подъ конецъ жизни вырвался изъ нихъ. Какой-же силы долженъ былъ быть талантъ, успѣвшій проявить себя во всю мощь, несмотря на нищету, каторгу, падучую и рѣзкіе признаки если и не помраченія, то во всякомъ случаѣ психопатизма, по нашему—истеричности?..

Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ писали и пишутъ, потому что у нихъ была потребность писать, такая-же неотразимая, «органическая», какъ у другихъ ѣсть, пить, спать. Литература и для нихъ главное дѣло жизни, но не будь у нихъ таланта, они преспокойно прожили бы и безъ нея. Пишу потому, что пишется, потому, что хочется писать. Это завидная участь. Для Достоевскаго литературная дѣятельность была столько-же потребностью, сколько и необходимостью. Онъ самъ себя не разъ называлъ литературнымъ пролетаріемъ и называлъ совершенно основательно, хотя успѣхъ и удача пріобрѣтались имъ сравнительно легко. Какъ ни великъ былъ его геній, спѣшка портила дѣло, коверкала его и терзала великую писательскую душу, заставляя то съ злобой, то съ отчаяніемъ повторять: «эхъ, кабы хоть одинъ романъ написать такъ, какъ пишутъ Тургеневы да Толстые»... А сколько униженій, сколько невидныхъ самолюбивыхъ мукъ, сколько зависти и ревности къ другимъ, болѣе счастливымъ, которымъ отъ рожденія дано то, чего ему, Достоевскому, удалось достичь лишь трудомъ цѣлой жизни, т. е. матеріальнаго обезпеченія! Приходилось выпрашивать и вымаливать авансы, сотни, десятки рублей, выслушивать упреки за несвоевременную доставку заказовъ, писать, несмотря на припадки, и пр.! Жизнь Достоевскаго—это полная трагизма борьба генія съ рынкомъ...

Но вмѣстѣ съ этимъ Достоевскій до страсти любилъ литературу и внѣ ея не искалъ ни заработковъ, ни занятій. Онъ съ гордостью называлъ себя литераторомъ, хотя и нищимъ литераторомъ, и даже обижался, когда ему предлагали занять какую нибудь казенную должность или что нибудь въ этомъ родѣ. Только по временамъ срывались у него невольныя проклятія, когда нужда слишкомъ ужь начинала давить, но и тутъ онъ твердо оставался на посту. Вотъ любопытный отрывокъ изъ одного письма, достаточно характеризующій эту душевную трагедію литературнаго пролетарія. Дѣло въ томъ, что Кашпиревъ (редакторъ «Зари»), не выслалъ ему къ сроку 75 рублей. Достоевскій разражается слѣдующими стро-

ками: «Неужели онъ думаетъ, что я писалъ ему о своей нуждѣ только для красоты слога! Какъ могу я писать, когда я голоденъ, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложилъ! Да чортъ со мной и съ моимъ голодомъ! Но вѣдь она (жена) кормитъ ребенка, чтожь, если она послѣднюю свою шерстяную юбку идетъ сама закладывать! А вѣдь у насъ второй день снѣгъ идетъ (не вру, справьтесь въ газетахъ), вѣдь она простудиться можетъ! Неужели онъ не можетъ понять, что мнѣ стыдно объяснять ему все это! Да неужели уже онъ не понимаетъ, что онъ не только меня, но и жену мою оскорбилъ, обращаясь со мной такъ небрежно, послѣ того, какъ я писалъ ему о нуждахъ жены. Оскорбилъ, оскорбилъ!...—Онъ скажетъ, можетъ быть: «а чортъ съ нимъ и съ его нуждой! Онъ долженъ просить, а не требовать» и т. д. И такую вещь приходится писать автору «Бѣдныхъ людей», «Записокъ изъ Мертваго дома», «Преступленія и наказанія»!.. Фразы же, вродѣ: «я до того заработался, что отупѣлъ, и голова какъ забитая»—повторяются постоянно.

И все-же Достоевскій не только не оставлялъ, но даже и не думалъ оставить своей литературной лямки.

Оставимъ однако борьбу съ рынкомъ въ сторонѣ и перейдемъ къ другой сторонѣ вопроса. «Ловкій французъ или нѣмецъ,—писалъ Н. Н. Страховъ къ Достоевскому,—имѣй онъ десятую долю вашего содержанія, прославился бы на оба полушарія и вошелъ бы первостепеннымъ свѣтиломъ въ исторію всемірной литературы. И весь секретъ, мнѣ кажется, въ томъ, чтобы ослабить творчество, понизить тонкость анализа, вмѣсто двадцати образовъ и сотни сценъ остановиться на одномъ образѣ и десяткѣ сценъ». Этотъ совершенно вѣрно указанный недостатокъ—(такъ какъ сущность литературнаго таланта въ томъ и состоитъ, чтобы съ наименьшими затратами выраженія—въ широкомъ смыслѣ слова—произвести наибольшее впечатлѣніе на читателей)—происходитъ отчасти отъ спѣшки въ работѣ, отчасти и отъ другихъ причинъ. Дѣло въ томъ, что талантъ Достоевскаго, талантъ совсѣмъ особенный, исключительный. Владѣть имъ онъ такъ и не научился до конца жизни. Это талантъ неровный, вспыльчивый, раздражительный, до послѣдней степени нервный и капризный. Чтобы написать простое письмо, Достоевскому нужно было вдохновеніе, иначе у него и двухъ строкъ не выходило. Свои темы онъ бралъ сразу, приступомъ, однимъ размахомъ рисовалъ самые сложные свои

типы (напр. Ив. Карамазовъ, Раскольниковъ, Свидригайловъ), а не подбирался къ нимъ исподтишка, понемногу. Великій мастеръ въ психологическомъ анализѣ, Достоевскій совсѣмъ не былъ мастеромъ въ детальной живописи. Онъ не могъ такъ возиться, такъ разглядывать, такъ разрѣзывать по частямъ своихъ героевъ, какъ Толстой; не умѣлъ такъ вырисовывать ихъ, какъ Тургеневъ; но онъ, какъ никто, умѣлъ жить съ ними, страдать съ ними, мучиться и волноваться. Созерцательности въ немъ не было ни на іоту, оттого-то творчество такъ истощало его. Въ то время какъ Гончаровъ смотритъ на жизнь удивительно умнымъ, понимающимъ и въ то же время удивительно сытымъ взглядомъ, Достоевскій — весь нервы, весь напряженіе, весь мука и томленіе. Когда Толстой стоитъ передъ вами, вперивъ свой испытующій геніальный взглядъ въ самую глубину души человѣческой, творя судъ надъ правымъ и неправымъ съ медлительностью всеиспытавшаго и всепостигшаго генія, Достоевскій или проклинаетъ, или благословляетъ, съ любовью или съ ненавистью, но всегда со страстью. Отсюда эта страстность, нервность, неровность таланта, это вѣчное клокотаніе въ груди, мучительно любящей, мучительно ненавидящей.

Повидимому, виноватъ въ этомъ личный, по наслѣдству полученый Достоевскимъ характеръ, его, какъ сейчасъ увидимъ, *истеричность*, а потомъ и еще одно обстоятельство, особенно хорошо и мѣтко указанное А. М. Скабичевскимъ въ его «Исторіи новѣйшей русской литературы». «Въ то время, какъ большинство беллетристовъ 40-хъ годовъ, будучи выходцами изъ деревень, принадлежатъ къ рыхлому помѣщичьему типу, Достоевскій является представителемъ разночиннаго, служилаго класса общества, холерически нервнымъ сыномъ города; а, во вторыхъ, въ то время, какъ большинство ихъ были люди обезпеченные, Достоевскій одинъ среди нихъ принадлежалъ къ вновь возникшему классу интеллигентнаго пролетаріата». Этому сыну города, интеллигентному пролетарію, всегда раздраженному, всегда разстроенному, ведшему такую упорную, отчаянную борьбу съ жизнью и рынкомъ, некогда было созерцать, смаковать и вырисовывать своихъ героевъ. Его безпокоитъ жизнь, ея матеріальная сторона, ея нравственныя проблемы. Онъ какъ бы сторонится отъ красоты, изящества, наслажденія. Онъ терпѣть не можетъ никакихъ художественныхъ аксессуаровъ. Жизнь — это ужасно серьезная, ужасно трудная, даже жестокая вещь. Гдѣ тутъ цѣловаться да миловаться —

или описывать поцѣлуи да милованья. Жизнь—задача, долгъ, обязанность, борьба наконецъ, послѣ которой руки и ноги будутъ въ крови. Поэтому въ произведеніяхъ Достоевскаго вы не найдете ни очаровательныхъ описаній природы, ни захватывающихъ сценъ любви, свиданій, поцѣлуевъ, ни обворожительныхъ женскихъ типовъ. Все это Достоевскій отрицалъ въ принципѣ. Въ «Бѣсахъ», въ лицѣ писателя Кармазинова, онъ потѣшался надъ Тургеневымъ за его «страсть изображать, напр., поцѣлуи не такъ, какъ они происходятъ у всего человѣчества, а чтобы кругомъ росъ дрокъ или какая нибудь другая трава, о которой надо справляться въ ботаникѣ, причемъ и на немъ долженъ быть непремѣнно какой нибудь фіолетовый оттѣнокъ, котораго конечно никто никогда не видалъ, а дерево, подъ которымъ усѣлась интересная пара, непремѣнно какого нибудь оранжеваго цвѣта». Этотъ пуризмъ очевидно происходилъ отъ слишкомъ серьезнаго, слишкомъ вдумчиваго отношенія къ жизни, которая представлялась Достоевскому, *какъ религіозная проблема прежде всего*. Все равно, какъ каждаго его героя жизнь прежде всего *мучаетъ*, такъ она мучила и его самого. Гдѣ тутъ описывать поцѣлуи интересныхъ паръ!.. Это то ужь, несомнѣнно, взглядъ на жизнь тяжкодума, городского пролетарія.

Сынъ города видѣнъ также и въ выборѣ сюжетовъ. Баре Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ баръ прежде всего и рисовали и, какъ дополненіе къ нимъ, мужика. Третьяго сословія, горожанъ, мѣщанъ, разночинцевъ они почти не затрогивали, иногда развѣ преимущественно для ради «опроверженія». Изящнаго общества Достоевскій не зналъ и не выводилъ на сцену въ своихъ произведеніяхъ. Міръ чиновничества, интеллигенціи, городского пролетаріата—вотъ его сфера. «Онъ любитъ вводить читателя въ городскіе вертепы, трущобы, гдѣ царятъ нищета и развратъ. Онъ даже, какъ Диккенсъ, проникнутъ ихъ мрачной поэзіей. Не вдаваясь въ описаніе красотъ природы, онъ очень часто развертываетъ передъ читателемъ иного рода ужасающія картины, отъ которыхъ мурашки ползутъ по спинѣ. Это въ особенности Петербургу свойственная картина городскихъ улицъ ночью, въ осеннее ненастье или зимнюю вьюгу, когда всѣ, у кого есть теплый кровъ, прислушиваются къ завываніямъ бури въ своихъ тепленькихъ уголкахъ, и лишь безпріютныя, обиженныя, сбившіяся со всякаго пути, полуодѣтыя въ жалкія рубища существа крадутся среди грязи, слякоти, холода и мрака, осыпаемыя мокрымъ снѣгомъ, пронизываемыя вѣтромъ и погруженныя въ какія нибудь полубезумныя грезы».

Къ довершенію всего, т. е. своей особенности, Достоевскій былъ несомнѣннымъ психопатомъ, не помѣшаннымъ, говорю я, а психопатомъ, что не то же самое. Въ дѣтствѣ онъ страдалъ галлюцинаціями, потомъ падучей. Но и кромѣ этого, у него были ярко выраженные признаки мнительности и истеричности характера. Что такое мнительность, знаетъ всякій; это мучительное недовѣріе къ себѣ, своимъ силамъ, жизни, это подозрительность въ отношеніи ко всякому, опять таки начиная съ себя, это боязнь, испуганность передъ жизнью вообще. Что же такое «истеричность», съ которой намъ придется встрѣтиться не разъ на протяженіи біографіи, объ этомъ лучше всего скажетъ намъ самъ Достоевскій—величайшій изъ психопатологовъ. Отсылая за подробностями къ «Братьямъ Карамазовымъ», я беру характеристику истерической натуры въ изложеніи д-ра Чижа: это «неустойчивое равновѣсіе психическихъ отправленій, чрезмѣрно легкая возбудимость, необыкновенно сильная реакція психическаго механизма и быстрая смѣна его возбужденій. Въ характерѣ такого рода больныхъ бросается въ глаза пестрая смѣсь построеній и аффектовъ, симпатій и антипатій, представленій то веселыхъ, то грозныхъ, то серьезныхъ, то низменныхъ, то съ философскимъ полетомъ, стремленій полныхъ энергіи, но скоро и пропадающихъ... У этихъ же больныхъ есть и другая замѣчательная черта—самолюбіе! Они самые наивные эгоисты, говорятъ только о себѣ и постоянно, съ самымъ живымъ интересомъ, стараются обратить на себя общее вниманіе, возбудить участіе, заинтересовать всѣхъ своею личностью, своею болѣзнью, даже пороками». Въ этомъ портретѣ трудно не узнать Ѳед. Мих. Достоевскаго, его неуравновѣшенную, неровную натуру, полное отсутствіе внутренней дисциплины, капризность, быструю, безпричинную смѣну восторговъ и отчаянія, симпатій и антипатій, крайняго увлеченія и холоднаго равнодушія. Страшно за человѣка, которому приходится жизнь прожить съ такимъ характеромъ, а къ тому же если этотъ человѣкъ талантливъ, бѣденъ, наивенъ, какъ ребенокъ... Но все это выяснится намъ послѣ.

Пока-же два слова о міросозерцаніи.—Совершенно естественно, что особенности личной жизни, исключительный, болѣзненный темпераментъ придали ему очень рѣзкую индивидуальную окраску. Но было-бы кажется совершенно напрасной сизифовой работой представить это міросозерцаніе въ его цѣломъ: нѣтъ просто никакой возможности разобраться въ противорѣчивыхъ подробностяхъ, въ

взаимно исключающихъ парадоксахъ. На мысль Достоевскаго личное—даже минутное настроеніе оказывало могущественное вліяніе, и сегодняшнее бѣлое могло очень легко завтра показаться чернымъ. Если въ «Зап. изъ Мерт. Дома» онъ утверждаетъ, что характерная черта русскаго народа—стремленіе къ *справедливости*, то это нисколько не мѣшаетъ ему говорить въ «Дневникѣ»: «нашъ народъ любитъ страданіе». Если однажды Бѣлинскій представляется ему «благороднымъ», то черезъ нѣсколько времени благородный человѣкъ оказывается поганымъ явленіемъ русской жизни, и т. д. Ни въ жизни своей, ни въ мысли Достоевскій не зналъ дисциплины и противорѣчилъ себѣ не только въ подробностяхъ, но и въ основномъ. Попробуйте изложить его взгляды на страданіе: то онъ является передъ нами чистымъ гуманистомъ, то признаетъ необходимость страданія, какъ наказанія за грѣхъ, то просто преклоняется передъ нимъ, какъ передъ таковымъ. Неправда жизни, опять-таки, то губитъ людей, то воспитываетъ въ нихъ внутреннюю силу. И т. д. Многія-же изрѣченія Достоевскаго прямо зависятъ отъ минутной злобы, внезапно нахлынувшаго раздраженія, отъ личныхъ симпатій и антипатій. Несомнѣнно, что, вращайся онъ въ другомъ обществѣ, онъ зачастую бы говорилъ другое и не дѣлалъ бы такихъ ужасныхъ скачковъ отъ христіанскаго смиренія къ самому забубенному шовинизму или чему-нибудь въ этомъ родѣ. Повторяю, мечта о томъ, чтобы представить міросозерцаніе Достоевскаго во всей его цѣлости и стройности, мечта совершенно неосуществимая. Недисциплинированная мысль великаго художника сама подъ часъ не знаетъ, куда она идетъ, и требуетъ напр. каторги дли сумасшедшаго! (Раскольниковъ) *). Но все-же общія идеи этого міросозерцанія ухватить можно. Въ послѣдней главѣ нашей книгѣ мы говоримъ о Достоевскомъ какъ о *народникѣ*, теперь же попытаемся охарактеризовать это общее господствующее настроеніе.

Понятно, что Достоевскій, какъ страстный и нетерпѣливый характеръ, зачастую чувствовалъ какую то истеричную и вмѣстѣ съ тѣмъ непримиримую злобу и къ жизни, и къ людямъ. Въ эти мрачныя минуты его душевныя раны открывались; дикой и мучительной, полной ненужной, но неукротимой жестокости представлялась ему жизнь. Съ страстнымъ любопытствомъ художника погружался онъ тогда въ человѣческую душу и находилъ въ ней

*) См. гл. V.

столько грязи и мерзости, что требовались костры ада, чтобы очистить ее. Подъ вліяніемъ такого настроенія человѣческій характеръ представлялся ему исполненнымъ злобы и мучительныхъ инстинктовъ. Онъ говорилъ: «человѣкъ-деспотъ отъ природы и любитъ быть мучителемъ». Онъ посягалъ на самую любовь, онъ и ей придавалъ характеръ инквизиціонной пытки: «я до того дошелъ, что иногда теперь думаю, что любовь-то и заключается въ добровольно дарованномъ отъ любимаго предмета правѣ надъ нимъ тиранствовать». Подъ такимъ-же мрачнымъ освѣщеніемъ представлялась ему и дружба: «странная вещь эта дружба!— восклицаетъ онъ... Положительно могу сказать, что я на девять десятыхъ сталъ друженъ съ нимъ изъ за злобы!» Подобные взгляды Достоевскаго обобщены подъ общимъ эпитетомъ—жестокости таланта. Жестокость-ли это таланта, или результатъ вынесенной муки — не знаю, но прямо становлюсь на сторону послѣдняго мнѣнія. Въ отрицаніи любви и дружбы, въ этомъ представленіи жизни какъ ненужно жестокой, въ этомъ инквизиторски-мучительскомъ выискиваніи зла въ своей собственной душѣ, въ этомъ взглядѣ на дѣятельность человѣка прежде всего какъ на покаяніе— я вижу отраженіе тяжелой многострадальной жизни, выпавшей на долю великаго писателя. Постоянно доходилъ онъ до отчаянія; обстановка, характеръ такъ давили и терзали его, что онъ ощущалъ въ душѣ холодный ужасъ и неподавимый страхъ передъ жизнью. Нѣжный и любящій, онъ становился способнымъ различать вокругъ себя одну злобу; страстно привязанный къ жизни— онъ нетерпѣливо отталкивалъ ее отъ себя и уходилъ въ «подполье», чтобы оттуда проклинать бытіе. Холодный ужасъ и холодное отчаяніе то и дѣло овладѣвали имъ. Онъ хотѣлъ жить, какъ человѣкъ радостный, сильный, здоровый, съ любовью въ сердцѣ,—но такая жизнь не давалась ему, и онъ оттолкнулъ отъ себя наслажденіе, онъ проклялъ счастье.

И кромѣ того, по самому существу своей натуры, личнаго опыта, темперамента, Достоевскій отрицалъ всякій эпикуреизмъ въ жизни и даже съ ненавистью изгонялъ его оттуда. Точка зрѣнія эпикурейцевъ, исканіе наслажденія, мысль, что наслажденіе—господствующій мотивъ въ дѣятельности человѣка были просто противны ему. Въ юности онъ увлекается аскетическими идеалами, потомъ казнитъ интеллигенцію за то, что та стремится къ личному счастью или старается устроить чужую жизнь по идеалу всеобщаго земного счастья. Онъ рѣшительно отказывается признать наслажденіе за главный господ-

ствующій мотивъ дѣятельности и, увлекаясь полемикой съ этимъ принципомъ, уже изъ духа противорѣчія утверждаетъ, что человѣкъ ищетъ страданія, *любитъ* его, что оно нужно ему такъ-же, какъ и наслажденіе. Въ трезвыя-же минуты онъ видитъ въ людяхъ просто способность *къ самопожертвованію*, самую высокую и цѣнную съ его точки зрѣнія, способность отрекаться отъ своего «я» во имя абсолютнаго нравственнаго начала.

Отрицая эпикуреизмъ, вмѣстѣ съ нимъ Бентама, Милля, утилитаріанцевъ вообще, Достоевскій въ своихъ взглядахъ на личность твердо держится догмы христіанскаго ученія. Личность для него—свободна, т. е. одарена свободной волей. Какъ таковая, она отвѣтственна. Мало того у ней есть сознаніе этой свободы, что и проявляется въ раскаяніи, въ желаніи пострадать послѣ совершеннаго грѣха. Даже не личный свой грѣхъ, а грѣхъ вообще—личность способна принять на себя и радоваться страданію, какъ началу освобождающему отъ него. Личность — свободна, а слѣдовательно—отвѣтственна. Это камень краеугольный всего міросозерцанія Достоевскаго. Въ этомъ, и только, кажется, въ этомъ пунктѣ онъ никогда себѣ не противорѣчилъ. Отсюда всѣ выводы его ученія. Даже выводя на сцену психопатовъ и сумасшедшихъ, Достоевскій все-таки не поступался своимъ излюбленнымъ принципомъ и къ нимъ относился такъ же строго, какъ и къ обыкновеннымъ людямъ, требовалъ ихъ отвѣтственности и наказанія, и только въ «Дневникѣ» однажды перемѣнилъ гнѣвъ на милость (дѣло Корниловой).

Содержаніе, цѣнность этой свободной личности не зависитъ отъ внѣшнихъ, матеріальныхъ условій, среди которыхъ она находится. Съ точки зрѣнія свободы воли это логично. Достоевскій, потому любилъ повторять: «не о единомъ хлѣбѣ бываетъ живъ человѣкъ» и всякая экономическая или матеріалистическая точка зрѣнія на жизнь, утверждающая, что человѣкъ есть точная копія внѣшнихъ условій, положительно претила ему. Какія кажется внѣшнія условія въ жизни русскаго народа, особенно крѣпостного мужика, однако и въ немъ сохранилась внутренняя правда, которая и свѣтитъ изъ-подъ сѣраго армяка и насѣвшей грязи. Не о единомъ хлѣбѣ живъ бываетъ человѣкъ, и суть жизни совсѣмъ не въ экономическихъ или политическихъ условіяхъ, а въ началахъ нравственныхъ, религіозныхъ. Большинство интеллигенціи утеряло ихъ. Но ихъ не утеряла Россія, русскій народъ, сохранившій внут-

реннюю правду и православно-христіанскіе идеалы. Поэтому намъ, а не Европѣ, принадлежитъ будущее. Основаніемъ нравственнаго начала жизни является *любовь* и смиреніе. Безъ любви нѣтъ дѣятельности, безъ смиренія—дѣятельность есть служеніе своему «я», эгоистическое исканіе личнаго счастья, чего Достоевскій не допускалъ. Смиренно служить другому—таковъ идеалъ нашего писателя, но онъ не только не давалъ, но и прямо отрицалъ право вмѣшиваться въ чужую жизнь, право заботиться о чужомъ счастьѣ и устраивать его по собственной программѣ. Личность, т. е. каждый въ отдѣльности, прежде всего должна проникнуться мыслью, что въ сущности она очень слаба и очень ничтожна, и что главныя то усилія ея должны направиться на свое собственное самоусовершенствованіе. Человѣкъ, самъ человѣкъ, прежде всего долженъ быть хорошъ, а потомъ—видно будетъ. «Смирись, гордый человѣкъ, потрудись, праздный человѣкъ» училъ Достоевскій въ своей знаменитой пушкинской рѣчи. Другихъ оставь въ покоѣ и не думай, что ты можешь сдѣлать что нибудь съ жизнью, тѣмъ болѣе съ народной жизнью.

Подводя итоги сказанному, мы видимъ, что Достоевскій, отрицая совершенно эпикуреизмъ, матеріализмъ, соціализмъ и пр., видѣлъ въ жизни прежде всего проблему нравственную и религіозную. Въ разрѣшеніи ея, т. е. въ отысканіи вѣры въ Бога и личномъ самоусовершенствованіи и заключается задача человѣка здѣсь на землѣ. Самый взглядъ на жизнь у Достоевскаго отличается строгостью и своего рода мрачностью. Жизнь—задача громадная: житейская борьба сурова, и нечего плакать, если послѣ нея и руки и ноги въ крови будутъ. Не для радости живетъ человѣкъ, а для осуществленія нравственнаго идеала, въ жертву которому онъ долженъ принести свое личное «я». Не любовь, не розы, не наслажденіе—а работа, страданіе, борьба—вотъ принципы Достоевскаго. Все равно какъ въ своихъ произведеніяхъ онъ никогда не описываетъ ни идиллическихъ картинъ, ни поцѣлуевъ интересныхъ паръ, все равно какъ тамъ онъ постоянно указываетъ на зло, сидящее внутри человѣка, на присущую каждому карамазовщину, такъ и въ его міросозерцаніи въ общемъ господствуетъ мрачный взглядъ на жизнь. Жизнь—это жертва, самоотреченіе, долгъ, неисчерпаемая грѣховность. Истинная жизнь—это борьба съ внутреннимъ, нравственнымъ зломъ, которое пребываетъ *въ каждомъ* изъ насъ. Страданіе во всякомъ случаѣ полезнѣе для этой борьбы, чѣмъ насла-

жденіе, и стремясь къ послѣднему, мы совершенно забываемъ о высшей задачи и роли, предназначенной человѣку на землѣ.

Какъ видитъ читатель, міросозерцаніе это чисто религіозное. Думая постоянно о высшемъ началѣ, руководящемъ жизнью, Достоевскій совершенно логично подчинялъ ему человѣка и человѣческое счастье. Мало того, какъ натура глубоко религіозная, онъ и вообще то былъ прежде всего склоненъ къ подчиненію, къ тому, чтобы обратить всю дѣятельность человѣка внутрь, на самого себя, а не на борьбу съ внѣшними обстоятельствами. Тутъ не консерватизмъ, не реакціонерство, не индиферентизмъ даже, такъ какъ Достоевскій не былъ ни тѣмъ, ни другимъ, ни третьимъ, а какая-то потребность подчиниться чему и кому-нибудь, потребность вообще присущая религіознымъ натурамъ. Человѣкъ не все, тѣмъ менѣе— отдѣльный человѣкъ. Есть нѣчто высшее, и вотъ въ проповѣди этого высшаго начала, въ постоянномъ исканіи его и прошла вся жизнь, вся дѣятельность Достоевскаго. Надо склониться предъ чѣмъ нибудь, чтобы не остаться при руководствѣ своего личнаго «я»: оно ведетъ къ гибели, къ озвѣренію. Побѣда надъ этимъ «я» и есть дѣло истинно человѣческое.

## II.

Дѣтство. — Городъ и деревня. — Деревенскія впечатлѣнія. — Мужикъ Марей. — Великое и святое. — Угрюмый отецъ. — Семейная жизнь. — Буквари, начатки, грамматики. — Жоржъ-Зандъ.

Ѳ. М. Достоевскій родился въ 1821 г. 21-го октября, въ Москвѣ, въ правомъ флигелѣ маріинской больницы. Его отецъ, штабъ-лекарь, Михаилъ Андреевичъ, былъ изъ разночинцевъ, получалъ скромное жалованье и всю жизнь свою прожилъ очень скромно, скопивъ кое-что для своего многочисленнаго семейства, очень впрочемъ немногое. Мать Достоевскаго—религіозная, хозяйственная женщина, все равно какъ и мужъ ея, не выдавалась, повидимому, ничѣмъ особеннымъ. Самъ Ѳед. Мих. былъ вторымъ сыномъ; старшій братъ, Михаилъ, родился на два года раньше его, послѣ же были еще братья и сестры. Вся семья гнѣздилась въ крохотной казенной квартирѣ изъ двухъ или трехъ комнатъ, жила тихо, замкнуто, прикапливая на черный день, не зная никакихъ особенныхъ развлеченій, даже театра. Но жили дружно и спокойно, а впослѣдствіи, когда удалось пріобрѣсти маленькое имѣньице въ Тульской губерніи, то и съ большимъ разнообразіемъ: на лѣто перебирались туда, что, конечно, вносило не мало оживленія, благодаря переѣзду на долгихъ, новымъ уже деревенскимъ впечатлѣніямъ, свободѣ въ своемъ собственномъ помѣстьѣ и т. д. «Въ городѣ жизнь велась въ очень опредѣленныхъ, однообразныхъ и узкихъ рамкахъ; вставали рано утромъ, часовъ въ 6. Въ восьмомъ часу отецъ уходилъ въ палату, въ 9—уѣзжалъ на практику. Въ его отсутствіе дѣти занимались уроками; въ 12—обѣдали. Въ 4 часа пили вечерній чай, а вечера проводили въ гостиной и обыкновенно читали вслухъ — «Исторію» Карамзина, стихотворенія Жуковскаго, изрѣдка Пушкина. Въ праздничные дни всѣ вмѣстѣ играли въ карты, въ короли, причемъ маленькій Ѳедя

всегда уловчался плутовать, по юркости своего характера. Въ 9 часовъ, послѣ молитвы и ужина, дѣти уходили спать». И это изодня въ день. По праздникамъ жизнь нѣсколько измѣнялась. Дѣти отправлялись къ обѣднѣ, наканунѣ—ко всенощной, изрѣдка разрѣшались кое-какія развлеченія, вродѣ театра или балагановъ, но вообще предпочитали побольше держать ихъ дома. Лѣто, какъ было сказано выше, проводилось обыкновенно въ деревнѣ, причемъ самая поѣздка туда тянулась двое или трое сутокъ. «Во время поѣздокъ этихъ братъ Ѳедоръ бывалъ въ какомъ-то лихорадочномъ настроеніи. Онъ всегда садился на облучкѣ. Не бывало ни одной остановки, хотя на минуту, при которой братъ не соскочилъ-бы съ брички, не обѣгалъ-бы близъ-лежащей мѣстности или не повертѣлся-бы вмѣстѣ съ кучеромъ возлѣ лошадей!»

Въ городѣ дѣтей держали строго, особенно отецъ, который терпѣть не могъ ихъ шалостей, любилъ, чтобы они постоянно занимались дѣломъ, и мечталъ, повидимому, о томъ, чтобы пустить ихъ по ученой части. Къ этой строгости примѣшивался своего рода педантизмъ, особенное твердое убѣжденіе, что жизнь—это такая серьезная и трудная вещь, что подступать къ ней надо во всеоружіи и уже съ дѣтства готовиться ко всякимъ лишеніямъ, непріятностямъ, ясно выработавъ себѣ идею долга и обязанности. Поэтому дѣтей не только не распускали или баловали, а наоборотъ—сразу же старались ввести ихъ въ колею такой скромной и строгой жизни, гдѣ исполненіе обязанностей, отсутствіе прихотей стоитъ на первомъ планѣ. Дѣти конечно шалили, любили, напр., разговаривать съ больными черезъ рѣшетку, что запрещалось, но эти шалости отъ отца скрывались. Тотъ, стѣсняя себя во всемъ, чтобы дать дѣтямъ хорошее, даже прекрасное образованіе, требовалъ и отъ нихъ очень строгаго отношенія къ себѣ. Баловства онъ не допускалъ совершенно. Быть можетъ, слишкомъ уже ясно сознавалъ, что его дѣти — бѣдные разночинцы, которымъ ни легкой, ни блестящей карьеры предстоять не можетъ, которымъ все, каждый шагъ придется брать въ жизни грудью, и хотѣлъ пріучить ихъ къ этому чуть не съ пеленокъ. Отсюда это сухое однообразіе жизни, этотъ излишній педантизмъ слишкомъ строгаго, слишкомъ ужь, такъ сказать, цѣлесообразнаго воспитанія.

Но въ деревнѣ, гдѣ семья проводила время обыкновенно одна, безъ отца, дѣти пользовались большей свободой. «Въ деревнѣ—разказываетъ Анд. Мих.—они постоянно почти были на воздухѣ

и, исключая игръ, проводили цѣлые дни на поляхъ, присутствуя и приглядываясь къ труднымъ полевымъ работамъ. Всѣ крестьяне любили насъ очень, въ особенности брата Ѳедора. Онъ, по своему живому характеру, брался за все: то попроситъ водить лошадей съ бороной, то погоняетъ лошадь, идущую въ сохѣ. Любилъ онъ также вступать въ разговоры съ крестьянами, которые охотно съ нимъ говорили, но верхомъ его удовольствія было исполнить какое либо порученіе и быть чѣмъ нибудь полезнымъ. Я помню, что одна крестьянка, вышедшая на поле жать вмѣстѣ съ маленькимъ ребенкомъ, пролила нечаянно жбанчикъ воды и бѣднаго ребенка нечѣмъ было напоить,—братъ сейчасъ-же взялъ жбанчикъ, сбѣгалъ въ деревню и принесъ матери цѣлый жбанъ воды...» Здѣсь, въ деревнѣ, Ѳед. Мих. чувствовалъ себя какъ нельзя болѣе хорошо: не было ни длинныхъ строгихъ уроковъ, ни постоянной необходимости смотрѣть за собою. Съ братьями онъ игралъ въ индѣйцевъ, но предпочиталъ вертѣться возлѣ крестьянъ, ходить за грибами, «слушать природу.» «Это маленькое и незамѣчательное мѣсто, говорилъ онъ потомъ о своей деревнѣ, оставило во мнѣ самое глубокое и сильное впечатлѣніе на всю жизнь, гдѣ все полно для меня самыми дорогими воспоминаніями.»

Особенно впослѣдствіи, будучи уже на каторгѣ, Достоевскій любилъ возвращаться къ впечатлѣніямъ своего перваго дѣтства, къ этому «святому и драгоцѣнному, безъ чего не можетъ и жить человѣкъ.» Одно изъ этихъ воспоминаній онъ воплотилъ въ чудную художественную форму и было бы грѣшно не привести его здѣсь: «Былъ второй день Свѣтлаго праздника. Въ воздухѣ было тепло, небо голубое, солнце высокое, яркое, но на душѣ моей было очень мрачно. Другой уже день по острогу шелъ праздникъ, каторжныхъ на работу не выводили, пьяныхъ было множество... Безобразныя, гадкія пѣсни, майданы съ картежной игрой подъ нарами, нѣсколько уже избитыхъ до полусмерти каторжныхъ, нѣсколько разъ уже обнажавшіеся ножи—все это въ два дня праздника до болѣзни истерзало меня. Наконецъ въ сердцѣ моемъ загорѣлась злоба. Мнѣ встрѣтился полякъ М-цкій, изъ политическихъ; онъ строго посмотрѣлъ на меня, глаза его сверкнули и губы затряслись: je hais ces brigands,—проскрежеталъ онъ мнѣ вполголоса и прошелъ мимо. Я воротился въ казарму и, несмотря на то, что четверть часа тому назадъ выбѣжалъ изъ нея какъ полоумный—пробрался на свое мѣсто противъ окна съ желѣзной

рѣшеткой и легъ навзничъ, закинувъ руки за голову и закрывъ глаза. Я любилъ такъ лежать; къ спящему не пристанутъ, а между тѣмъ можно лежать и думать. Мало по малу я и впрямь забылся и незамѣтно погрузился въ воспоминанія... на этотъ разъ мнѣ вдругъ припомнилось почему-то незамѣтное мгновеніе изъ моего перваго дѣтства, когда мнѣ было всего 9 лѣтъ отъ роду: я особенно любилъ тогда воспоминанія изъ самаго перваго моего дѣтства. Мнѣ припомнился августъ мѣсяцъ въ нашей деревнѣ; день сухой и ясный, но нѣсколько холодный и вѣтреный; лѣто на исходѣ и скоро надо ѣхать въ Москву опять скучать всю зиму за французскими уроками, и мнѣ такъ жалко покидать деревню. Я прошелъ на гумна и, спустившись въ оврагъ, поднялся въ Лоскъ,— такъ назывался у насъ густой кустарникъ по ту сторону оврага до самой рощи. И вотъ я забился гуще въ кусты и слышу, какъ недалеко, шагахъ въ тридцати, на полянѣ, одиноко пашетъ мужикъ. Вдругъ среди глубокой тишины я ясно и отчетливо услышалъ крикъ: «Волкъ бѣжитъ!» Я вскрикнулъ и внѣ себя отъ испуга, крича въ голосъ, выбѣжалъ на поляну, прямо на пашущаго мужика. Это былъ нашъ мужикъ Марей.—Мужикъ лѣтъ пятидесяти, плотный, довольно рослый, съ сильною просѣдью въ темнорусой, окладистой бородѣ. Я зналъ его, но до того никогда почти не случалось мнѣ заговорить съ нимъ. Онъ даже остановилъ кобыленку, заслышавъ крикъ мой, и когда я, разбѣжавшись, уцѣпился одной рукой за его соху, а другою за его рукавъ, то онъ разглядѣлъ мой испугъ.—Волкъ бѣжитъ!—прокричалъ я, задыхаясь. Я весь трясся, крѣпко уцѣпился за его зипунъ и, должно быть, былъ очень блѣденъ. Онъ смотрѣлъ на меня съ безпокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.— Ишь вѣдь испужался, ай-ай,—качалъ онъ головой.—Полно, родный. Ишь, малецъ, ай!

Онъ протянулъ руку и вдругъ погладилъ меня по щекѣ.— «Ну, полно же, ну, Христосъ съ тобой, окстись.» Но я не крестился; углы губъ моихъ вздрагивали, и кажется это особенно его поразило. Онъ протянулъ тихонько свой толстый, съ чернымъ ногтемъ, запачканный въ землѣ палецъ, тихонько дотронулся до вспрыгивающихъ губъ моихъ, улыбаясь мнѣ какою-то длинною, материнскою улыбкою...

И тутъ, въ Сибири, припомнилась мнѣ эта нѣжная, материнская улыбка бѣднаго крѣпостного мужика, его кресты, его пока-

чиванье головой: «Ишь, вѣдь, испужался, малецъ!» И особенно этотъ толстый его, запачканный въ землѣ палецъ, которымъ онъ тихо и съ робкою нѣжностью прикоснулся къ вздрагивавшимъ губамъ моимъ. И вотъ, когда я сошелъ съ наръ и оглядѣлся кругомъ, помню, я вдругъ почувствовалъ, что могу смотрѣть на этихъ несчастныхъ совсѣмъ другимъ взглядомъ, и что вдругъ, какимъ-то чудомъ, исчезла совсѣмъ всякая ненависть и злоба въ сердцѣ моемъ. Я пошелъ, вглядываясь въ встрѣчавшіяся лица.

Этотъ обритый и ошельмованый мужикъ, съ клеймами на лицѣ и хмѣльной, орущій свою пьяную, сиплую пѣсню, вѣдь это то-же, можетъ быть, тотъ же самый Марей: вѣдь я же не могу заглянуть въ его сердце.»

Я подробно, хотя и съ большими сокращеніями, передалъ «эпизодъ» съ мужикомъ Мареемъ, и потому прежде всего, что, по моему, это уже не просто эпизодъ, а одно изъ тѣхъ только съ перваго взгляда неважныхъ событій, которыя глубоко и невольно залегаютъ въ впечатлительную дѣтскую душу, долго лежатъ тамъ подъ грудой разныхъ другихъ мыслей и чувствъ, и потомъ вдругъ, накопивши за время своего долгаго молчанія невѣроятную силу и мощь, появляются на сцену и сразу надолго опредѣляютъ какъ убѣжденія, такъ и дѣятельность человѣка. Подъ сѣрымъ армякомъ, подъ закорузлой дикой грубостью русскаго крестьянина, подъ его «звѣрскимъ невѣжествомъ»—Достоевскій всегда искалъ и находилъ «глубину человѣческаго чувства», тонкую, почти материнскую нѣжность въ отношеніи ко всякому слабому, несчастному, страдающему. Эти то качества онъ, вмѣстѣ съ Константиномъ Аксаковымъ, называлъ «высокимъ образованіемъ народа нашего», эти-то качество и заставляли его вѣрить въ народную правду, вѣчно святую, никогда непреходящую, хотя и загрязненную, забитую. Конечно, не одни дѣтскія воспоминанія виноваты въ этомъ; но нельзя отрицать и того, что они играли, быть можетъ, первенствующую даже роль. Самъ Достоевскій по крайней мѣрѣ на сторонѣ послѣдняго мнѣнія: «безъ святого и драгоцѣннаго, унесеннаго въ жизнь изъ воспоминаній дѣтства—говоритъ онъ—не можетъ и жить человѣкъ. Иной, по видимому, о томъ и не думаетъ, и все-же эти воспоминанія безсознательно да сохраняетъ, и приэтомъ самыя сильнѣйшія и вліяющія воспоминанія почти всегда тѣ, которыя остаются изъ дѣтства.»

Но вотъ и еще эпизодъ, тоже изъ области общенія съ народомъ,

относящійся къ описываемой эпохѣ: «Мнѣ было всего еще 9 лѣтъ отъ роду,—разсказываетъ Достоевскій—какъ, помню, однажды, на третій день Свѣтлаго праздника, все наше семейство сидѣло за круглымъ столомъ, за чаемъ, и разговоръ шелъ какъ разъ о деревнѣ. Вдругъ отворилась дверь и на порогѣ показался нашъ дворовый человѣкъ, Григорій Васильевъ, сейчасъ только изъ деревни прибывшій. Въ отсутствіе господъ ему даже поручалось управленіе деревней, и вотъ вдругъ, вмѣсто управляющаго, всегда одѣтаго въ нѣмецкій сюртукъ и имѣвшаго солидный видъ, явился человѣкъ въ старомъ зипунишкѣ и лаптяхъ. Изъ деревни пришелъ пѣшкомъ, а войдя, всталъ въ комнатѣ, не говоря ни слова: «Что это?—крикнулъ отецъ въ испугѣ.—Посмотрите, что это»?—«Вотчина сгорѣла-съ»!—пробасилъ Григорій Васильевъ. Описывать не стану, что̀ за тѣмъ послѣдовало. Отецъ и мать были люди небогатые, трудящіеся—и вотъ такой подарокъ къ Свѣтлому дню! Съ перваго страху вообразили, что полное разореніе, бросились на колѣна и стали молиться; мать плакала. И вотъ вдругъ подходитъ къ ней наша няня, Алена Фроловна, служившая у насъ по найму, вольная то есть. Всѣхъ она насъ, дѣтей, взростила и выходила, была она тогда лѣтъ 45-ти, характера яснаго, веселаго и всегда намъ разсказывала такія славныя сказки! Жалованья она не брала у насъ уже много лѣтъ: «Не надо мнѣ», и накопилось ея жалованья рублей 500 и лежали они въ ломбардѣ,—и на старость пригодятся,—и вотъ она вдругъ шепчетъ мамѣ: «коли надо вамъ будетъ денегъ, возьмите и мои, а мнѣ что, мнѣ не надо...»

Быть можетъ, 9-ти лѣтній Достоевскій и не совсѣмъ ясно понималъ въ то время, что̀ это значитъ отдать 500 рублей, которые «пригодятся на старость», но впослѣдствіи, когда этотъ эпизодъ всплылъ на поверхность души, онъ послужилъ не малымъ аргументомъ въ пользу основной точки зрѣнія нашего великаго писателя. Достоевскій никогда не отрицалъ, что народъ грубъ, невѣжественъ, звѣрообразенъ; но онъ зналъ (и еще больше—вѣрилъ), что подо всѣмъ этимъ таится высокая душа, таится народная правда, краеугольный камень которой—сочувствіе страданію и самопожертвованіе. И эти дѣтскіе эпизоды, къ которымъ онъ постоянно возвращается, ни на минуту не выходятъ у него изъ головы, разъ ему приходится говорить или писать о народѣ. Это то и есть «великое и святое», безъ чего «не можетъ жить человѣкъ».

Но къ разсказу.—Учить дѣтей стали очень рано. Сама мать водила указкой по букварю и заставляла повторять за собою: «азъ.. буки.. вѣди..» Брали и учителей на домъ. Одинъ изъ нихъ, какой-то отецъ дьяконъ, разсказывалъ священную исторію особенно хорошо и производилъ на своихъ учениковъ сильное впечатлѣніе, хотя, какъ педагогъ стараго образца, и требовалъ, чтобы тѣ вызубривали урокъ наизусть по «Начаткамъ» митрополита Филарета. Самъ отецъ занимался со старшими—Михаиломъ и Ѳедоромъ—латынью, причемъ «братья, занимаясь по часу и болѣе, не смѣли не только сѣсть, но даже облокотиться на столъ. Стоятъ, бывало, какъ истуканчики, склоняя и спрягая попеременно. Братья очень боялись этихъ уроковъ, происходившихъ всегда по вечерамъ. Отецъ, при всей своей добротѣ, былъ чрезвычайно взыскателенъ и нетерпѣливъ, а главное очень вспыльчивъ. При малѣйшемъ промахѣ со стороны братьевъ сейчасъ-же раздавался крикъ.» Потомъ дѣтей отдали въ пансіонъ къ какому-то Чермаку, педагогу, впрочемъ заботливому и не безъ любви обучавшему своихъ питомцевъ всей премудрости, требовавшейся школьной программой того времени. Кстати, можно замѣтить, что Ѳед. Мих. еще въ дѣтствѣ недурно изучилъ французскій языкъ и радовалъ своего отца—имянинника, читая ему въ дни ангела отрывки изъ «Генріады» наизусть.

Вообще, несмотря на скудость средствъ, заставлявшую всю семью тѣсниться въ двухъ-трехъ комнатахъ цѣлыми зимами, родители Достоевскаго не жалѣли денегъ, чтобы дать своимъ дѣтямъ по возможности хорошее воспитаніе. Было оно только немного страннымъ и строгимъ. До 16—17 лѣтъ дѣтей держали какъ маленькихъ, никуда не пускали ихъ однихъ, заставляли отправляться и возвращаться въ школу педантически аккуратно, никогда не давали ни копѣйки карманныхъ денегъ, словомъ, слишкомъ уже тянули на помочахъ. Мало того: дѣти исключительно росли въ собственной семьѣ, не имѣя товарищей и не зная, что дѣлается въ Божіемъ мірѣ, за больничными стѣнами. Оттого - то Ѳед. Мих. никогда и впослѣдствіи не могъ научиться жить съ людьми. Виноватъ въ этомъ отчасти и характеръ его, слишкомъ капризный, меланхолическій, такъ сказать «тяжкодумный», отчасти и непривычка. Что онъ постоянно былъ въ семьѣ—это, конечно, прекрасно, но зато послѣ ему пришлось дорого поплатиться за это. Наука общенія съ себѣ подобными не

всякому дается сразу: она требуетъ, какъ и все другое, опыта. Опыта-то Достоевскому и не доставало. Онъ и самъ жалѣлъ объ этомъ не разъ, но помочь горю не могъ. Очень требовательный къ себѣ и другимъ, обидчивый до крайности, раздражительный и самолюбивый, воспалявшійся въ одно мгновеніе, еще скорѣе остывавшій, онъ былъ мало пригоденъ для товарищества и дружбы. И напрасно впослѣдствіи приписывалъ онъ свой разрывъ съ кружкомъ Бѣлинскаго и «Современника» *только* различію въ убѣжденіяхъ: здѣсь дѣло проще: слишкомъ ласковое отношеніе къ себѣ, слишкомъ требовательное къ другимъ.

Обратимъ вниманіе еще на одну серію внушеній, шедшую уже прямо отъ отца. Тотъ, человѣкъ угрюмый, подозрительный, болѣзненно недовѣрчивый, словомъ по характеру своему одинъ изъ русскихъ неудачниковъ (вѣдь неудачникамъ судьба и снисходить можетъ, а они все-же такъ «неудачниками въ душѣ» и остаются), хотя, быть можетъ, и невольно, но постоянно пугалъ дѣтей. Представьте себѣ эти уроки латинской грамматики, во время которыхъ надо было каждую минуту дрожать и опасаться, чтобы вмѣсто «amant» не сказать «amamant», или чего нибудь въ этомъ родѣ,—эту необходимость—скрывать отъ отца каждую шалость, каждую ребяческую выходку! Отецъ не билъ—это правда, но это суровое, требовательное отношеніе къ дѣтству, эти раздраженныя вспышки, этотъ подозрительный, угрюмый взглядъ и полное, повидимому, отсутствіе добродушія дѣйствуютъ ничуть не хуже и не лучше розогъ. Недовѣрчивость, а тѣмъ болѣе постоянная, систематическая недовѣрчивость мучительно вліяетъ на дѣтей. Она уничтожаетъ простоту, искренность и сердечность въ семьѣ и, дѣйствительно, посмотрите, напр., какой впослѣдствіи пытки стоило Достоевскому написать письмо къ отцу, въ которомъ онъ проситъ выслать 40 руб. асс.! Больной подозрительностью сынъ пишетъ еще къ болѣе больному подозрительностью отцу и ежеминутно ожидаетъ, что его обвинятъ въ обманѣ, кутежахъ, расточительности, тогда какъ ему просто нужны эти несчастные 40 р. на самое необходимое! Но онъ не смѣетъ прямо сказать, что ему нужно: онъ клянется, божится, распинается, чтобы отецъ не счелъ его обманщикомъ, эксплоататоромъ и пр.! Тяжело читать такія психопатическія, вымученныя вещи, тяжело видѣть эту нервность въ 17-ти лѣтнемъ ребенкѣ, проявляющуюся въ отношеніи къ отцу. Но, значитъ, такъ оно было и раньше, хотя біографы, по ка-

кой-то стыдливости, объ этомъ умалчиваютъ. Не говоря уже о томъ, что отецъ передалъ своему сыну по наслѣдству болѣзненную недовѣрчивость къ себѣ, людямъ, жизни вообще—онъ своимъ обращеніемъ еще усилилъ и раздулъ ее. Онъ былъ строгъ и не столько въ смыслѣ справедливости, сколько неукоснительной требовательности. Своимъ обращеніемъ, своими разговорами онъ постоянно внушалъ дѣтямъ, что жизнь—это тяжелая, трудная вещь, гдѣ человѣка за ничтожную ошибку ждетъ гибель. Онъ совѣтовалъ, конечно, брать примѣръ съ себя, въ своей исполнительности, аккуратности и пр. Въ мѣру это хорошо, но для такого впечатлительнаго и такъ уже трусливо настроеннаго, къ тому-же больного *) ребенка, какъ Ѳед. Мих., подобныя внушенія ничего, кромѣ вреда, принести не могли. Уже съ дѣтства привыкъ онъ бояться жизни, уже въ дѣтствѣ проявилось въ немъ то недовѣрчивое, подозрительное отношеніе къ себѣ и другимъ, которое совершенно испортили его юность. Съ нимъ надо было обходиться поосторожнѣе, не пугать, а ласкать и беречь эту геніальную, но страшно неуравновѣшанную натуру, пріучать ее къ жизни, а не отпугивать отъ нея.

Но все-же дѣтство Достоевскаго—самая счастливая пора его жизни. Строгость отца умѣрялась ласками матери, однообразіе городской жизни красилось лѣтними деревенскими впечатлѣніями, неровный обидчивый характеръ мальчика не встрѣчалъ въ семьѣ суровыхъ и жесткихъ отпоровъ. Какъ ни вяла и однообразна была эта семейная жизнь, въ ней все-же было то тихое, спокойное и дружное, къ чему постоянно тянуло Достоевскаго. Легко представить себѣ эту большую, тѣсную семью, собравшуюся за вечернимъ чаемъ, эти споры дѣтей съ отцомъ о превосходствѣ Пушкина надъ Жуковскимъ, страстное цитированіе любимыхъ стихотвореній, мирное чтеніе Карамзина и успокоивающее впечатлѣніе торжественнаго стиля его «Исторіи». Сальныя свѣчи, горѣвшія на столѣ въ видахъ экономіи, каждый вечеръ освѣщали теперь уже изчезнувшія на вѣки лица. Тутъ и отецъ съ усталымъ и угрюмымъ выраженіемъ лица и добрая улыбающаяся мать, и самъ Ѳед. Мих., маленькій, нервный, юркій, съ блестящими и восторженными глазами. И еще многіе тутъ большіе и малые; даже старуха няня

*) Въ дѣтствѣ онъ страдалъ галлюцинаціями. Мы это видѣли уже въ разсказѣ о мужикѣ Марѣ.

приплелась сюда-же и дремлетъ въ углу, ежеминутно спуская петли на своемъ чулкѣ и прислушиваясь къ одушевленному чтенію.

* * *

Изъ всей семьи ближе чѣмъ съ другими Ѳед. Мих. сошелся съ братомъ своимъ, Михаиломъ. Они были почти сверстники, вмѣстѣ играли, вмѣстѣ учились, потомъ — вмѣстѣ читали. Объ этихъ чтеніяхъ — своего рода приготовительномъ курсѣ литературной дѣятельности—намъ надо сказать нѣсколько словъ. Но сначала маленькое замѣчаніе. Есть такіе (напр. покойный Ор. Ѳ. Миллеръ), которые увѣряютъ, что Ѳ. М. Достоевскій былъ очень образованный человѣкъ. Что онъ былъ начитанъ—это несомнѣнно, но въ образованности его, понимая подъ этимъ хотя нѣкоторое знакомство съ наукой, право можно сомнѣваться. И это сомнѣніе основательно: прочтите всю его переписку, всѣ его сочиненія, и вы не увидите ни одной строчки, которая выражала бы хоть самый ничтожный интересъ къ вопросамъ науки. Сомнительно даже, чтобы онъ хорошо зналъ исторію русскаго общества и русскаго народа—обстоятельство, недурно объясняющее нѣкоторые изъ его знаменитыхъ парадоксовъ. Но читалъ онъ, особенно въ молодости, очень много, и надо прямо сказать, что болѣе безпорядочное чтеніе трудно себѣ и вообразить. Системы ни малѣйшей. Читается все, что попадается подъ руку, преимущественно романы и поэзія. Десяти лѣтъ Достоевскій увлекается «Разбойниками» Шиллера, потомъ идутъ Диккенсъ, Вальтеръ Скотъ, Зандъ, Шекспиръ, Гюго и пр.; изъ русскихъ: Карамзинъ, Жуковскій, Пушкинъ и т. д. Что Достоевскій понималъ этихъ авторовъ, что они были для него безконечно полезны—это очевидно, но онъ никогда не изучалъ ихъ. Оттого-то до конца жизни остался онъ литературно начитаннымъ человѣкомъ, что, быть можетъ, достаточно для великаго романиста, но маловато для публициста и редактора журналовъ. Даже психопатіей и психіатріей, какъ науками, Достоевскій не занимался никогда и если онъ все-же можетъ быть названъ величайшимъ изъ психопатологовъ, то виноватъ въ этомъ его геній, а никакъ не образованность.

Это безпорядочное, лишенное всякой исторической перспективы, чтеніе развивало талантъ Достоевскаго, гуманизировало его, но вмѣстѣ съ тѣмъ давало и слишкомъ уже обильную пищу его фантазіи, которую могла бы дисциплинировать, хоть отчасти, наука. Но науки не было и безумная, неразсчетливая жизнь однимъ сердцемъ, однимъ воображеніемъ измучила Достоевскаго до конца и быстро

довела его до того душевнаго кризиса, съ которымъ мы познакомимся въ слѣдующей главѣ. Пока-же еще нѣсколько подробностей объ этомъ чтеніи.

Въ молодости Достоевскій читалъ горячо, страстно, съ увлеченіемъ, не дававшимъ спать ему цѣлыя ночи. Исторію Карамзина онъ зналъ почти наизусть, страстно любилъ Пушкина, предпочитая его Жуковскому; потомъ съ еще большей горячностью набросился на Жоржъ Зандъ, открывшую передъ нимъ новый міръ общественныхъ задачъ и отношеній. Въ этихъ увлеченіяхъ товарищемъ ему былъ братъ Михаилъ, и на этой общности умственныхъ интересовъ и выросла ихъ дружба. Особенно глубокое впечатлѣніе на Достоевскаго произвела Жоржъ Зандъ. Въ нижеслѣдующихъ строкахъ онъ самъ прекрасно говоритъ объ этомъ:

«Появленіе Жоржъ-Занда въ литературѣ совпадаетъ съ годами моей первой юности, и я очень радъ теперь (1876 г.), что это такъ уже давно было, потому что теперь, слишкомъ тридцать лѣтъ спустя, можно говорить почти вполнѣ откровенно. Надо замѣтить, что тогда только это и было позволено,—т. е. романы; остальное все, чуть не всякая мысль, особенно изъ Франціи, было строжайше запрещено. О, конечно, весьма часто смотрѣть не умѣли, да и откуда бы могли научиться: и Меттернихъ не умѣлъ смотрѣть, не то, что наши подражатели. А потому и проскакивали «ужасныя вещи», напримѣръ, проскочилъ весь Бѣлинскій... Но романы все-таки дозволялись, и сначала, и въ срединѣ, и даже въ самомъ концѣ, и вотъ тутъ-то, и именно на Жоржъ-Зандѣ, оберегатели дали тогда большого маха... Надо замѣтить и то, что у насъ, несмотря ни на какихъ Магницкихъ и Липранди, еще съ прошлаго столѣтія всегда тотчасъ же становилось извѣстнымъ о всякомъ интеллектуальномъ движеніи въ Европѣ, и тотчасъ же изъ высшихъ слоевъ нашей интеллигенціи передавалось и массѣ, хотя чуть-чуть интересующихся и мыслящихъ людей. Точь въ точь то-же произошло и съ европейскимъ движеніемъ тридцатыхъ годовъ. Объ этомъ огромномъ движеніи европейскихъ литературъ, съ самаго начала тридцатыхъ годовъ, у насъ весьма скоро получилось понятіе. Были уже извѣстны имена многихъ новыхъ явившихся ораторовъ, историковъ, трибуновъ, профессоровъ. Даже, хоть отчасти, хоть чуть-чуть извѣстно стало и то, куда клонитъ все это движеніе. И вотъ особенно страстно это движеніе проявилось въ искусствѣ—въ романѣ, а главнѣйшее—у Жоржъ-Занда. Правда, о

Жоржъ-Зандѣ Сенковскій и Булгаринъ предостерегали публику еще до появленія ея романовъ на русскомъ языкѣ. Особенно пугали русскихъ дамъ тѣмъ, что она ходитъ въ панталонахъ, хотѣли испугать развратомъ, сдѣлать ее смѣшной. Сенковскій, самъ же собиравшійся переводить Жоржъ-Занда въ своемъ журналѣ «Библіотека для чтенія», началъ называть ее печатно г-жей Егоромъ Зандомъ, и, кажется, серьезно остался доволенъ своимъ остроуміемъ. Впослѣдствіи, въ 48 году, Булгаринъ печаталъ объ ней въ «Сѣверной Пчелѣ», что она ежедневно пьянствуетъ съ Пьеромъ Леру у заставы и участвуетъ въ Аѳинскихъ вечерахъ, въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, у разбойника министра внутреннихъ дѣлъ Ледрю-Роллена. Я это самъ читалъ и очень хорошо помню. Но тогда, въ 48 году, Жоржъ-Зандъ была у насъ уже извѣстна почти всей читающей публикѣ и Булгарину никто не повѣрилъ... Мнѣ было, я думаю, лѣтъ шестнадцать, когда я прочелъ въ первый разъ ея повѣсть «Ускокъ», — одно изъ прелестнѣйшихъ первоначальныхъ ея произведеній; я помню, я былъ потомъ въ лихорадкѣ всю ночь... Жоржъ-Зандъ не мыслитель, но это одна изъ самыхъ ясновидящихъ предчувственницъ (если только позволено выразиться такою кудрявою фразою) болѣе счастливаго будущаго, ожидающаго человѣчество, въ достиженіи идеаловъ котораго она бодро и великодушно вѣрила всю жизнь, и именно потому, что сама, въ душѣ своей, способна была воздвигнуть идеалъ. Сохраненіе этой вѣры до конца обыкновенно составляетъ удѣлъ всѣхъ высокихъ душъ, всѣхъ истинныхъ человѣколюбцевъ... Она основывала свои убѣжденія, надежды и идеалы на нравственномъ чувствѣ человѣка, на духовной жаждѣ человѣчества, на стремленіи его къ совершенству и къ чистотѣ, а не на муравьиной необходимости. Она вѣрила въ личность человѣческую безусловно (даже до безсмертія ея), возвышала и раздвигала представленіе о ней всю жизнь свою—въ каждомъ своемъ произведеніи, и тѣмъ и признавала ея свободу»... Жоржъ-Зандъ вѣрила въ будущее человѣчества, вѣрила въ грядущее счастье и для многихъ, въ томъ числѣ и для Достоевскаго, ея романы были великолѣпной демократической школой.

## III

Смерть матери и переѣздъ въ Петербургъ.—Лучъ идеализма.—Дурныя впечатлѣнія.—Инженерное училище.—Одиночество.—Тяжелая юность.—Бѣдные люди.—Разрывъ съ Бѣлинскимъ.—Неудачи.—Болѣзнь.

Для большинства людей—юность самое счастливое время жизни: вѣрится въ себя, свои силы, здоровье, будущность, и эта вѣра даетъ яркую окраску каждому крохотному событію, которое человѣкъ, съ обычнымъ въ эти годы эгоизмомъ, толкуетъ въ свою пользу. Господствуетъ убѣжденіе,—вѣрнѣе, настроеніе, что всѣ на тебя смотрятъ и радуются, желаютъ всякаго благополучія и что вообще «я»—какая-то совсѣмъ особенная величина въ жизни, которой предназначено совершить нѣчто особенное, и что къ моему то «я» жизнь будетъ, не въ примѣръ прочимъ, добра и снисходительна. Все это наивно, самонадѣянно, свѣтло и радостно; все это у большинства. У Достоевскаго совершенно наоборотъ: его переписка, его думы за юные годы—это переписка и думы изъ подполья. Господствующее настроеніе—меланхолія, подозрительное отношеніе къ жизни, мучительное недовѣріе къ себѣ. Изрѣдка какіе-то чисто *террористическіе* взрывы юношеской самонадѣянности. Болѣзненное воображеніе, не знающее удержу, ни іоты выдержки и дисциплины, безумно-расточительная жизнь сердцемъ; совсѣмъ особенное самолюбіе навыворотъ, которое ищетъ дѣятельности, ищетъ славы, но изъ-за робкой трусливости, приниженности предпочитаетъ сидѣть въ углу. Самолюбіе, какъ-бы обиженное и глубокооскорбленное, заставляетъ повсюду и въ каждомъ словѣ, движеніи видѣть обманъ, неискренность; рядомъ съ этимъ—ничѣмъ неудовлетворяющаяся требовательность въ отношеніи къ другимъ. Все это завершается страшнымъ душевнымъ кризисомъ и исключительной катастрофой въ обстоятельствахъ жизни.—Переходимъ къ фактамъ.

Въ началѣ 1837 г. умерла мать Достоевскаго. Отецъ рѣшился отправить сыновей въ Петербургъ, въ инженерное училище. «Былъ май мѣсяцъ, разсказываетъ Ѳед. Мих.,—мы ѣхали на долгихъ почти шагомъ и стояли на станціяхъ часа по два, по три. Помню, какъ надоѣло намъ наконецъ это путешествіе, продолжавшееся почти недѣлю. Мы съ братомъ стремились тогда въ новую жизнь, мечтали о чемъ-то ужасно, обо всемъ «прекрасномъ и высокомъ». Тогда это словечко было свѣтло и выговаривалось безъ ироніи. И сколько тогда было и ходило такихъ словечекъ! Мы вѣрили чему-то страстно и хотя мы оба знали прекрасно все, что требовалось къ экзамену изъ математики, но мечтали мы только о поэзіи и о поэтахъ. Братъ писалъ стихи, каждый день стихотворенія по три—даже дорогой, а я безпрерывно въ умѣ сочинялъ романъ изъ венеціанской жизни».—Съ удовольствіемъ отмѣчаемъ этотъ дрожащій юными силами лучъ идеализма, которому было суждено такъ скоро, хотя къ счастью на время только, затеряться подъ грудой другихъ обидныхъ и грубыхъ впечатлѣній. Кстати, потому только, что къ слову пришлось, называютъ обыкновенно Достоевскаго консерваторомъ, чуть-чуть не реакціонеромъ, но любопытно было бы знать, что общаго съ консерватизмомъ имѣетъ полный вѣры въ будущее идеализмъ Достоевскаго?—Но это между прочимъ: возвращаемся къ разсказу.

Поступить въ училище удалось только Ѳед. Мих., братъ его былъ забракованъ на докторскомъ осмотрѣ. Эта первая неудача тяжело подѣйствовала на Достоевскаго: ему не только приходилось разстаться съ любимымъ, единственнымъ въ жизни другомъ, но и провести въ одиночествѣ цѣлые года. Съ товарищами онъ не сближался. Его любимымъ развлеченіемъ была прогулка, одинокія мечты. «Онъ очень далеко держалъ себя,—разсказываетъ г. Савельевъ,—отъ начальства и старшихъ товарищей... Его можно было видѣть и въ бытность его въ старшемъ классѣ большею частью одного—или сидящимъ за своимъ столикомъ, занимающимся, или гуляющимъ по комнатамъ, всегда съ понуренною головою и сложенными назадъ руками! Нравы инженернаго училища, допускавшіе господство старшихъ товарищей надъ младшими, драку, кутежи—совсѣмъ ему не нравились.*) Онъ и на другихъ производилъ

*) Вотъ одинъ характерный эпизодъ: «натянутое положеніе между воспитанниками 1-го и 2-го кл. разыгралось наконецъ общей дракой въ камерахъ. Молодежь схватилась въ рукопашную. Вспомнили про

впечатлѣніе мистика, идеалиста и предпочиталъ держаться въ сторонкѣ, будучи или только воображая себя—у Достоевскаго это не всегда разобрать можно—несчастнымъ. Науками онъ занимался съ усердіемъ, но безъ любви, фронтомъ—съ отвращеніемъ. Выправка и муштровка, военные нравы стараго времени, грубые, но откровенные, ни на минуту не привлекали его. Болѣзненное самолюбіе, нѣжность душевная, физическая слабость держали его въ одиночествѣ. Если вполнѣ вѣрить его письмамъ за это время, то настроеніе его дѣйствительно было ужасно. Постоянный недостатокъ въ деньгахъ давалъ себя чувствовать очень замѣтно; прибавьте къ этому нелюбимое дѣло, товарищей, съ которыми не было ни одного пункта соприкосновенія.

«Не знаю,—спрашиваетъ онъ въ письмѣ къ брату,—стихнутъ ли когда мои грустныя идеи?» Или: «У меня есть проектъ: сдѣлаться сумасшедшимъ... Братъ, грустно жить безъ надежды. Смотрю впередъ и будущее меня ужасаетъ... Я ношусь въ какой-то холодной, полярной атмосферѣ, куда не заползалъ лучъ солнечный; я давно не испытывалъ взрывовъ вдохновенія... за то часто бываю въ такомъ настроеніи, какъ шильонскій узникъ послѣ смерти братьевъ въ темницѣ. Не залетитъ ко мнѣ райская птичка поэзіи, не согрѣетъ охладѣлой души! Ты говоришь, что я скрытенъ; но вотъ уже и прежнія мечты меня оставили, мои чудныя арабески, которыя создавалъ я нѣкогда, сбросили позолоту свою. Тѣ мысли, которыя лучами своими зажигали душу и сердце, нынче лишились пламени и теплоты. Сердце мое очерствѣло... Дальше ужасаюсь говорить... Мнѣ страшно сказать, ежели все прошлое было одинъ золотой сонъ, кудрявыя грезы».

Тутъ много риторики, много *самосочиненія* (самъ Достоевскій это «самосочиненіе» считаетъ удѣломъ каждаго), но допустимъ $^1/_{10}$ долю истины и то страшно за бѣднаго юношу 17 лѣтъ. Одиночество, безденежье, обидчивость — реальная почва такого настроенія. Рядомъ съ этимъ, съ полной уже силой проявляется

---

ружья и бросились за ними. Къ счастію, въ это время явился командиръ роты Скалонъ и вскрикнулъ: «Да вы меня погубить хотите! Не хочу быть вашимъ командиромъ! Въ отставку выйду!» Молодежь сразу пріостановилась. Съ крикомъ «ура!» подняли Скалона на плечи и понесли по камерамъ. Придя къ себѣ, Скалонъ разсадилъ всѣхъ кругомъ. По командѣ «цѣлуй направо», старшій классъ поцѣловалъ младшій, по командѣ «цѣлуй налѣво», младшіе возвратили поцѣлуй старшимъ.

по наслѣдству полученный меланхолическій темпераментъ. Болѣзненное недовѣріе къ себѣ и другимъ дѣлаетъ мучительной жизнь среди людей. Сколько внутренней муки, сколько жалобы въ упомянутомъ уже письмѣ къ отцу, съ просьбою выслать 40 рублей Вотъ оно:

«Милый, добрый Родитель мой! Неужели Вы можете думать, что сынъ Вашъ, прося отъ Васъ денежной помощи, проситъ у Васъ лишняго. —Богъ свидѣтель, ежели я хочу сдѣлать Вамъ хоть какое бы то ни было лишенье, не только изъ моихъ выгодъ, но даже изъ необходимости.—Какъ горько то одолженье, которымъ тяготятся мои кровные. У меня есть голова, есть руки. Будь я на волѣ, на свободѣ, отданъ самому себѣ, я бы не требовалъ отъ Васъ копѣйки; я обжился бы съ желѣзной нуждою. Стыдно было бы тогда мнѣ и заикнуться о помощи.—Теперь я Вамъ высказываю себя одними обѣщаньями въ будущемъ; но это будущее недалеко и Вы со временемъ увидите.—

Теперь же, любезный Папенька, вспомните, что я *служу* въ полномъ смыслѣ слова.—Волей или неволей, а я долженъ сообразоваться вполнѣ съ уставами моего теперешняго общества.—Къ чему же дѣлать исключенье собою?—Подобныя исключенія подвергаютъ иногда ужаснымъ непріятностямъ. Вы сами это понимаете, любезный Папенька. Вы жили съ людьми.—Теперь: лагерная жизнь каждаго воспитанника военно-учебныхъ заведеній требуетъ по крайней мѣрѣ 40 р. денегъ. (Я вамъ пишу все это потому, что я говорю съ отцомъ моимъ).—Въ эту сумму я не включаю такихъ потребностей, какъ напримѣръ: имѣть чай, сахаръ и проч. Это и безъ того необходимо, и необходимо не изъ одного приличія, а изъ нужды. Когда вы мокнете въ сырую погоду подъ дождемъ въ полотняной палаткѣ, или въ такую погоду, прійдя съ ученья усталый, озябшій, безъ чаю, можно заболѣть, что̀ со мною случилось прошлаго года на походѣ.—Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимаго на 2 пары простыхъ сапоговъ 16 р.—Теперь мои вещи: книги, сапоги, перья, бумага и т. д. и т. д. должны же лежать гдѣ нибудь. Для этого я долженъ имѣть сундукъ, ибо въ лагеряхъ нѣтъ никакихъ строеній, кромѣ палатокъ. Койки наши—это куча соломы, покрытая простынею. Спрашивается, не имѣя сундука, куда я положу все это.—Нужно знать, что казна не заботится, нужно-ли мнѣ мѣсто или нѣтъ; не заботится, имѣю-ли я сундукъ. Ибо экза-

мены кончатся; слѣд. книги не нужны; казна одѣваетъ меня, слѣд. сапоги не нужны и т. д.. Но безъ книгъ какъ я проведу время? 3-хъ паръ казенныхъ сапогъ не станетъ и въ городѣ на полгода!— Слѣд. мнѣ нѣтъ казеннаго мѣста поставить сундука, который необходимъ для меня. Въ палаткѣ общей я стѣсню товарища, слѣд. сдѣлаю непріятность другимъ, да и мнѣ просто не позволятъ держать сундукъ въ палаткѣ, ибо никто въ палаткѣ не держитъ: слѣд. для моей поклажи я долженъ буду имѣть мѣсто. Мѣсто я найду уговорившись, (какъ всѣ дѣлаютъ) съ какимъ нибудь изъ солдатъ-служителей нашихъ поставить сундукъ мой. За это надобно заплатить. Слѣд. за покупку сундука по крайней мѣрѣ цѣлковый.

За провозъ туда и сюда . 5 цѣлковыхъ.
За мѣсто . . . . . 2 »
За чистку мнѣ сапоговъ . 5 »

Это условная такса съ служителемъ.

На этой реальной почвѣ безденежья и одиночества и выросло юношески страстное, нетерпѣливое міросозерцаніе.

Жизнь, говоритъ Достоевскій, отвратительна. Хорошо лишь то, что далеко отъ нея, отъ ея земного счастья, что *духовно*. «Одно только состояніе и дано въ удѣлъ человѣку,—атмосфера души его состоитъ изъ сліянія неба съ землею; какое-же противозаконное дитя природы человѣкъ: (въ немъ) законъ природы нарушенъ... Мнѣ кажется, что міръ нашъ чистилище духовъ небесныхъ, отуманенныхъ грѣшною мыслью. Мнѣ кажется, міръ принялъ значеніе отрицательное, и изъ высокой, изящной духовности вышла сатира... Видѣть одну жестокую оболочку, подъ которой томится вселенная, *знать, что одного взрыва воли достаточно, чтобы разбить ее и слиться съ вѣчностью*... Ужасно!.. Какъ малодушенъ человѣкъ! Гамлетъ! Гамлетъ!..»

Это уже мысли о самоубійствѣ. Обыденная жизнь—плотская грѣховность. Надо отрѣшиться отъ нея, чтобы возстановить высокую, изящную духовность. Отуманивающія грѣшныя мысли отъ плоти, отъ стремленія къ земному счастью. Аскетизмъ, страданія очищаютъ душу. Достоевскій увлекается своимъ товарищемъ Шидловскимъ. Почему? «Взглянуть на него—это мученикъ! Онъ изсохъ, щеки впали, большіе глаза его сухи и пламенны. Духовная красота его лица возвысилась съ упадкомъ физической; онъ страдалъ! Тяжко страдалъ! Боже мой, какъ любилъ онъ какую-то дѣвушку.

Она же вышла за кого-то замужъ. *Безъ этой любви онъ не былъ бы чистымъ, возвышеннымъ, безкорыстнымъ жрецомъ поэзіи!.»* Это не философія, но ясный зародышъ будущихъ полумистическихъ, полуфантастическихъ порадоксовъ.

* * *

Въ 1839 году скончался отецъ Достоевскаго; въ 1843 г. Ѳед. Мих. окончивъ полный курсъ наукъ, былъ выпущенъ на дѣйствительную службу. «По выходѣ изъ училища, началась холостая, цыганская и полная лишеній жизнь Ѳед. Мих. Нельзя сказать, чтобы онъ не былъ обезпеченъ. Вмѣстѣ съ казеннымъ жалованьемъ и высылками опекуна, онъ получалъ до 5 тыс. руб. асс. въ годъ... Но онъ былъ крайне непрактиченъ, деньги уходили у него сквозь пальцы съ неимовѣрной быстротой». Для чего-то онъ держалъ квартиру, за которую платилъ 100 р. ас. въ мѣсяцъ. Отказывать себѣ въ чемъ бы то ни было онъ не желалъ. Просто на просто онъ транжирилъ деньги; всѣ его расходы были расходами капризнаго, прихотливаго человѣка. Къ тому-же онъ любилъ играть на билліардѣ (впослѣдствіи въ рулетку) и конечно проигрывалъ. Постоянное безденежье мучило его самого, но справиться съ собой онъ не могъ и не умѣлъ. Расходы тщеславія занимали въ его бюджетѣ первое мѣсто; онъ и самъ понималъ, что это не умно, но продолжалъ такъ дѣлать. Иногда точно ребенка его радовало, что онъ можетъ «бросать» деньги. Въ этомъ онъ какъ будто видѣлъ проявленіе или доказательство своей силы. Когда въ 1844 г. онъ оставилъ службу, потому что та не въ мѣру ему надоѣла, то безденежье стало хроническимъ.

Достоевскій транжирилъ деньги, всю свою жизнь транжирилъ ихъ и никогда, развѣ въ самое послѣднее время, и то благодаря женѣ, не научился сводить концы съ концами. Кажется, умный былъ человѣкъ и прекрасно понималъ, что эти вѣчные авансы, долги—закабаляютъ его, подвергаютъ массѣ униженій, дѣлаютъ его рабомъ литературнаго рынка, а все-же жилъ такъ, какъ будто сроку жизни только одинъ день. Мотовство конечно недостатокъ съ точки зрѣнія пуризма и добродѣтели, но съ другой, научной точки зрѣнія, это уже болѣзнь. Что такое мотъ? Прежде всего, человѣкъ со слабой волей, съ неодолимымъ влеченіемъ къ покупкамъ, съ такими прихотями и капризами, которые сразу вспыхиваютъ въ душѣ, сразу заполоняютъ всю область сознанія и требуютъ, чтобы ихъ немедленно удовлетворяли. Тутъ и тщеславіе, и

сластолюбіе; но суть не въ нихъ: суть именно въ этой неодолимости мгновенныхъ прихотей, въ этомъ полномъ отсутствіи дисциплины воли, которая страдаетъ отъ самой краткой отсрочки. «Съ этими влеченіями къ покупкамъ я не могъ бороться, разсказываетъ одинъ психопатъ,—я не могъ себя убѣдить. Я приходилъ въ отчаяніе, но оказывался безсильнымъ». (См. Кюллера «Современные психопаты» стр. 96). И Достоевскій приходилъ въ отчаяніе, постоянно даже пребывалъ въ отчаяніи и все-же не могъ подѣлать съ собой ничего. Вѣчное безденежье—его хроническая мука. Онъ чувствовалъ себя немного лучше, спокойнѣе, когда въ карманѣ были деньги, и между тѣмъ спѣшилъ пробросать ихъ. Онъ стремился, какъ и всякій, къ свободѣ, независимости, къ самостоятельности, и самъ постоянно всю жизнь закабалялъ себя. Завтрашній день, угрозы нищеты тревожили его безпрестанно, однако онъ не принималъ, не могъ принять противъ нихъ никакихъ мѣръ. Прекрасно описано это душевное настроеніе въ романѣ «Игрокъ», произведеніи, вообще говоря, слабомъ, но очень характерномъ для Достоевскаго. Никакой дисциплины у человѣка, ни малѣйшей возможности бороться съ моментально зародившейся въ душѣ прихотью. Это, конечно, болѣзнь. Но еще маленькое соображеніе, котораго даже доказывать не берусь: Достоевскій страдалъ невѣріемъ въ себя: не давали ли ему эти траты, это бросаніе денегъ *призрачнаго, мгновеннаго* сознанія своей силы. «Вѣдь могу-же бросать я деньги,—разсуждалъ онъ,—сотни могу бросать... Не парія же, значитъ, я, не нищій»... А нищеты, необходимости «сократиться», войти въ узкія рамки жизни онъ боялся больше всего. Онъ стремился въ жизни къ исключительному, особенному; обыденное пугало его, вызывало отвращеніе. Къ тому-же и тщеславія въ немъ было болѣе, чѣмъ слѣдуетъ.

Бросивъ службу, Достоевскій занялся литературой, и это на всю уже жизнь.

Можно удивляться, какъ онъ съ первыхъ-же шаговъ на этомъ новомъ, почти незнакомомъ для него поприщѣ начинаетъ метаться изъ стороны въ сторону, подчиняясь внушеніямъ своей нетерпѣливой, ни на іоту не выдержанной натуры. Различные проэкты ежеминутно возникаютъ въ его головѣ, на первыхъ порахъ представляются, конечно, блестящими и увлекательными, но проходитъ немного времени, встрѣчаются неминуемыя жизненныя затрудненія, и Достоевскій охладѣваетъ къ своимъ проэктамъ такъ же быстро.

какъ быстро и воспалился. Сначала онъ хочетъ заняться преимущественно переводами и очень энергично приглашаетъ къ сотрудничеству брата Михаила. Недоконченный въ русскомъ переводѣ романъ «Матильда» прежде всего привлекаетъ его вниманіе. Надо докончить этотъ переводъ, надо издать романъ. Отъ этого проэкта Достоевскій въ восторгѣ. «Романъ, пишетъ онъ брату, раскупится; Никитенко предсказываетъ успѣхъ. Притомъ любопытство уже возбуждено. 300 экземпляровъ окупаютъ всѣ издержки печати. Пусти весь романъ въ 8-ми томахъ по цѣлковому— у насъ барыша семь тысячъ. Пиши не медля, хочешь или нѣтъ»... Слѣдуетъ проэктъ о переводѣ Шиллера и новыя страстныя изложенія этого проэкта въ письмахъ къ брату, но конечно ни «Матильда», ни «Шиллеръ» на свѣтъ не появились. Но въ это же время идетъ и первая самостоятельная работа: Достоевскій сидитъ за первымъ своимъ романомъ «Бѣдные Люди», начатомъ еще въ инженерномъ училищѣ. Кромѣ «Братьевъ Карамазовыхъ», это единственное произведеніе, за которымъ Достоевскій посидѣлъ и не разъ передѣлывалъ. «Кончилъ я его, пишетъ онъ къ брату въ 1845 г., совершенно чуть-ли еще не въ ноябрѣ мѣсяцѣ, но въ декабрѣ вздумалъ весь передѣлать; передѣлалъ и переписалъ, но въ февралѣ началъ опять обчищать, обглаживать, вставлять и выпускать. Около половины марта я былъ готовъ и доволенъ». Достоевскій хотѣлъ не торопиться. «Я, пишетъ онъ, далъ клятву, что коль и до зарѣзу доходить будетъ, крѣпиться и не писать на скоро, на заказъ. Заказъ задавитъ, загубитъ все. Я хочу чтобы произведеніе мое было отчетливо, хорошо. Взгляни на Пушкина, на Гоголя. Написали немного, а оба ждутъ монументовъ. И теперь Гоголь беретъ на печатный листъ 1000 р. с., а Пушкинъ продавалъ одинъ стихъ по червонцу». Романомъ своимъ Ѳед. Мих. «серьозно доволенъ», но его берутъ сомнѣнія: гдѣ удастся помѣстить? Хочется въ «Отеч. Зап., но тамъ «груда рукописей, не прочтутъ пожалуй». Но за то, если удастся, «литературная будущность, жизнь—все обезпечено». Несмотря однако на то, что «романъ вещь строгая и серьезная», Достоевскимъ вдругъ овладѣваютъ сомнѣнія: «а вдругъ не примутъ?» «Не пристрою романа, пишетъ онъ, такъ можетъ быть и въ Неву... Что-же дѣлать? Я ужь думалъ обо всемъ! Я не перенесу смерти моей idée fixe.»

Все однако устроилось лучше, чѣмъ могъ ожидать Достоевскій...

«Былъ май мѣсяцъ сорокъ пятаго года. Въ началѣ зимы я на-

чалъ вдругъ «Бѣдные люди», мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего еще не писавши. Кончивъ повѣсть, я не зналъ, какъ съ ней быть и кому отдать. Литературныхъ знакомствъ я не имѣлъ совершенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В. Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего тогда не написалъ, кромѣ одной маленькой статейки «Петербургскіе шарманщики» въ одинъ сборникъ. Зайдя ко мнѣ, онъ сказалъ: «принесите рукопись (самъ онъ еще не читалъ ее); Некрасовъ хочетъ къ будущему году сборникъ издать, я ему покажу». Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку; мы подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мысли, что пришелъ съ своимъ сочиненіемъ и поскорѣй ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти ни слова. Я мало думалъ объ успѣхѣ, а этой партіи «Отечественныхъ Записокъ», какъ говорили тогда, я боялся; Бѣлинскаго я читалъ уже нѣсколько лѣтъ съ увлеченіемъ, но онъ мнѣ казался грознымъ и страшнымъ и—осмѣетъ онъ моихъ «Бѣдныхъ людей», думалось мнѣ иногда. Но лишь иногда... Писалъ я ихъ со страстью, почти со слезами—«неужели все это, всѣ эти минуты, которыя я пережилъ съ перомъ въ рукахъ надъ этой повѣстью,—все это ложь, миражъ, невѣрное чувство?» Но думалъ я такъ разумѣется, только минутами и мнительность немедленно возвращалась. Вечеромъ того же дня, какъ я отдалъ рукопись, я пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о «Мертвыхъ душахъ» и читали ихъ, въ который разъ—не помню. Воротился я домой уже въ четыре часа, въ бѣлую, свѣтлую, какъ днемъ, петербургскую ночь. Стояло прекрасное теплое время, и войдя къ себѣ въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и сѣлъ у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня удивившій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба чуть сами не плачутъ. Они наканунѣ вечеромъ воротились рано домой, взяли мою рукопись и стали читать на пробу: «съ десяти страницъ видно будетъ». Но прочтя десять страницъ, рѣшили прочесть еще десять, а затѣмъ, не отрываясь, просидѣли уже всю ночь до утра, читая вслухъ и чередуясь, когда одинъ уставалъ. «Читаетъ онъ про смерть студента—передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоровичъ,—и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отецъ за гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывается, разъ и другой, и вдругъ не выдержалъ, стукнулъ ладонью по рукописи: «Ахъ, чтобъ его!» Это про васъ-то, и этакъ мы всю ночь. Когда они кон-

чили (семь печатныхъ листовъ), то въ одинъ голосъ рѣшили идти ко мнѣ немедленно: «Что-жь такое что спитъ, мы разбудимъ его, это выше сна!» Потомъ, приглядѣвшись къ характеру Некрасова, я часто удивлялся той минутѣ: характеръ его замкнутый, почти мнительный, осторожный, мало сообщительный. Такимъ, по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ всегда казался, такъ что та минута первой встрѣчи была воистину проявленіемъ самаго глубокаго чувства. Они пробыли у меня тогда съ полчаса, въ полчаса мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ полслова понимая другъ друга, съ восклицаніями, торопясь, говорили о поэзіи и о правдѣ, и о «тогдашнемъ положеніи», разумѣется, и о Гоголѣ, цитируя изъ «Ревизора» и изъ «Мертвыхъ душъ», но главное о Бѣлинскомъ. «Я ему сегодня же снесу вашу повѣсть, и вы увидите,—да вѣдь человѣкъ то, человѣкъ-то какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите, какая эта душа!—восторженно говорилъ Некрасовъ, тряся меня за плечи обѣими руками.—Ну, теперь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!» Точно я могъ заснуть послѣ нихъ! Какой восторгъ, какой успѣхъ, а главное—чувство было дорого. Помню ясно: «У иного успѣхъ: ну, хвалятъ, встрѣчаютъ, поздравляютъ, а вѣдь эти прибѣжали со слезами, въ четыре часа, разбудить, потому что это выше сна... Ахъ, хорошо!» Вотъ что я думалъ, какой тутъ сонъ!»

На Достоевскаго пахнуло славой. По своей истеричности онъ даже преувеличивалъ свой успѣхъ. «Ну, братъ—пишетъ онъ въ 1846 году,—никогда, я думаю, слава моя не дойдетъ до такого апогея, какъ теперь. Всюду почтеніе неимовѣрное, любопытство насчетъ меня страшное. Я познакомился съ бездною народа, самаго порядочнаго. Князь Одоевскій проситъ меня осчастливить своимъ посѣщеніемъ, а графъ Соллогубъ рветъ на себѣ отъ отчаянія волосы. Панаевъ объявилъ ему, что есть талантъ, который ихъ всѣхъ въ грязь втопчетъ. Соллогубъ обѣжалъ всѣхъ и, зашедши къ Краевскому, вдругъ спросилъ его: «Кто этотъ Достоевскій? Гдѣ мнѣ достать Достоевскаго?» Краевскій, который никому въ усъ не дуетъ и рѣжетъ всѣхъ напропалую, отвѣчаетъ ему, что «Достоевскій не захочетъ вамъ сдѣлать чести и осчастливить своимъ посѣщеніемъ».. Всѣ меня принимаютъ какъ чудо. Я не могу даже раскрыть рта, чтобы во всѣхъ углахъ не повторяли: Достоевскій то-то сказалъ, Достоевскій то-то хочетъ сдѣлать. Бѣлинскій любитъ меня какъ нельзя болѣе. Тургеневъ влюбленъ въ меня...»

Прочтя «Бѣдные люди,» Бѣлинскій сказалъ Некрасову: «Приведите мнѣ Достоевскаго, приведите его скорѣе», и когда тотъ привелъ, то встрѣтилъ его сначала (минуты двѣ) важно и сдержанно, а потомъ вдругъ заговорилъ пламенно, съ горящими глазами: «Да вы понимаете-ль сами-то, что̀ вы это такое написали? Вы только непосредственнымъ чувствомъ, какъ художникъ, это могли описать. Но осмыслили-ли вы сами-то всю эту страшную правду, на которую вы намъ указали! Не можетъ быть, чтобы вы въ 20 лѣтъ ужь это понимали... Да вѣдь этотъ вашъ несчастный чиновникъ, вѣдь онъ до того заслужился и до того довелъ себя уже самъ, что даже и несчастнымъ-то себя не *смѣетъ* почесть отъ приниженности, и почти за вольнодумство считаетъ малѣйшую жалобу... Вѣдь это ужасъ! Это трагедія! Вы до самой сути дѣла дотронулись, самое главное разомъ указали!... Цѣните-же вашъ даръ и оставайтесь вѣрнымъ ему, и будете великимъ писателемъ»... Бѣлинскій очевидно увидѣлъ въ «Бѣдныхъ людяхъ» подтвержденіе своей любимой мысли, что ненормальныя общественныя условія коверкаютъ, ломаютъ, обезчеловѣчиваютъ человѣка, доводя его до такого ничтожества, когда онъ теряетъ образъ и подобіе!... Талантомъ Достоевскаго, самимъ Достоевскимъ онъ увлекся до послѣдней степени. Достоевскій отвѣчалъ ему тѣмъже. Выйдя отъ Бѣлинскаго, онъ остановился на углу его дома, смотрѣлъ на небо, на свѣтлый день и стыдливо думалъ про себя: «и неужели вправду я такъ великъ?» Имъ овладѣлъ какой-то робкій восторгъ: «О я буду достойнымъ этихъ похвалъ, и какіе люди! Я заслужу, постараюсь стать такимъ-же прекраснымъ, какъ они; пребуду вѣренъ! О, какъ я легкомысленъ, и если-бы Бѣлинскій только узналъ, какія во мнѣ есть дрянныя, постыдныя вещи! А все говорятъ, что эти литераторы горды, самолюбивы! Впрочемъ этихъ людей только и есть въ Россіи, они—одни, но у нихъ однихъ истина, а истина, добро, правда всегда побѣждаютъ и торжествуютъ надъ порокомъ и зломъ... Мы побѣдимъ; о, къ нимъ, съ ними!!!»

Достоевскій попалъ конечно въ избранный литературный кружокъ, кружокъ дѣйствительно лучшихъ людей того времени. Но—увы—не надолго. Почему?—это вопросъ трудный, но миновать его нельзя. Вотъ что расказываетъ Панаева-Головачева въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ объ этомъ періодѣ жизни Достоевскаго:

«Достоевскій пришелъ къ намъ въ первый разъ вечеромъ съ

Некрасовымъ и Григоровичемъ, который только-что вступалъ на литературное поприще. Съ перваго взгляда на Достоевскаго видно было, что это страшно нервный и впечатлительный молодой человѣкъ. Онъ былъ худенькій, маленькій, бѣлокурый, съ болѣзненнымъ цвѣтомъ лица; небольшіе сѣрые глаза его какъ-то тревожно переходили съ предмета на предметъ, а блѣдныя губы нервно передергивались. Почти всѣ присутствовавшіе тогда у насъ уже были ему знакомы, но онъ, видимо, былъ сконфуженъ и не вмѣшивался въ общій разговоръ. Всѣ старались занять его, чтобы уничтожить его застѣнчивость и показать ему, что онъ членъ кружка. Съ этого вечера Достоевскій часто приходилъ вечеромъ къ намъ; застѣнчивость его прошла, онъ даже выказывалъ какую-то задорность, со всѣми заводилъ споры, очевидно изъ одного упрямства, противорѣчилъ другимъ. По молодости и нервности, онъ не умѣлъ владѣть собой и слишкомъ явно высказывалъ свое авторское самолюбіе и самомнѣніе о своемъ писательскомъ талантѣ. Ошеломленный неожиданнымъ, блистательнымъ первымъ своимъ шагомъ на литературномъ поприщѣ и засыпанный похвалами компетентныхъ людей въ литературѣ, онъ, какъ впечатлительный человѣкъ, не могъ скрыть своей гордости передъ другими молодыми литераторами, которые скромно выступали на это поприще съ своими произведеніями. Съ появленіемъ молодыхъ литераторовъ въ кружкѣ, бѣда была попасть имъ на зубокъ, а Достоевскій, какъ нарочно, давалъ къ этому поводъ, показывая своею раздражительностію и высокомѣрнымъ тономъ, что онъ несравненно выше ихъ по своему таланту. И пошли перемывать ему косточки, раздражать его самолюбіе уколами въ разговорахъ; особенно на это былъ мастеръ Тургеневъ,— онъ нарочно втягивалъ въ споръ Достоевскаго и доводилъ его до высшей степени раздраженія. Тотъ лѣзъ на стѣну и защищалъ съ азартомъ иногда нелѣпые взгляды на вещи, которые сболтнулъ въ горячности, а Тургеневъ ихъ подхватывалъ и потѣшался. У Достоевскаго явилась страшная подозрительность, вслѣдствіе того, что одинъ пріятель передавалъ ему все, что говорилось въ кружкѣ лично о немъ и о его «Бѣдныхъ людяхъ». Пріятель Достоевскаго, какъ говорятъ, изъ любви къ искусству, передавалъ всѣмъ, кто о комъ что сказалъ Достоевскій заподозрилъ всѣхъ въ зависти къ его таланту и почти въ каждомъ словѣ, сказанномъ безъ всякаго умысла, находилъ, что желаютъ умалить его произведеніе, нанести ему обиду; онъ приходилъ уже къ намъ съ накипѣвшей злобой.

придирался къ словамъ, чтобы излить на завистниковъ всю желчь, душившую его. Вмѣсто того, чтобы снисходительнѣе смотрѣть на больного нервнаго человѣка, его еще сильнѣе раздражали насмѣшками. Достоевскій претендовалъ и на Бѣлинскаго за то, что онъ играетъ въ преферансъ, а не говоритъ съ нимъ о его «Бѣдныхъ людяхъ».

— Какъ можно умному человѣку просидѣть даже десять минутъ за такимъ идіотскимъ занятіемъ, какъ карты, а онъ сидитъ по два и по три часа!—говорилъ Достоевскій съ какимъ то озлобленіемъ.—Право, ничѣмъ не отличишь общества чиновниковъ отъ литераторовъ: то же тупоумное препровожденіе времени.

Бѣлинскій избѣгалъ всякихъ серьезныхъ разговоровъ, чтобы не волноваться. Достоевскій приписывалъ это охлажденію къ нему Бѣлинскаго, который иногда, слыша разгорячившагося Достоевскаго въ спорѣ съ Тургеневымъ, потихоньку говорилъ Некрасову, игравшему съ нимъ въ карты:—«Что это съ Достоевскимъ, говоритъ какую-то безсмыслицу, да еще съ такимъ азартомъ». Когда Тургеневъ, по уходѣ Достоевскаго, разсказывалъ Бѣлинскому о рѣзкихъ и неправильныхъ сужденіяхъ Достоевскаго о какомъ нибудь русскомъ писателѣ, то Бѣлинскій ему замѣчалъ:

— Ну, да вы хороши, сцѣпились съ больнымъ человѣкомъ, подзадориваете его, точно не видите, что онъ въ раздраженіи, самъ не понимаетъ, что говоритъ.

Когда Бѣлинскому передавали, что Достоевскій считаетъ себя уже геніемъ, то онъ пожималъ плечами и съ грустью говорилъ:

— Что за несчастье, вѣдь несомнѣнный у Достоевскаго талантъ, а если онъ, вмѣсто того, чтобы разработать его, вообразитъ уже себя геніемъ, то вѣдь не пойдетъ впередъ. Ему непремѣнно надо лечиться, все это происходитъ отъ страшнаго раздраженія нервовъ. Должно быть потрепала его, бѣднаго, жизнь! Тяжелое настало время, надо имѣть воловьи нервы, чтобы они выдержали всѣ условія нынѣшней жизни. Если не будетъ просвѣта, такъ чего добраго всѣ поголовно будутъ психически больны!...

Разъ Тургеневъ при Достоевскомъ описывалъ свою встрѣчу въ провинціи съ одной личностью, которая вообразила себя геніальнымъ человѣкомъ, и мастерски изобразилъ смѣшную сторону этой личности. Достоевскій былъ блѣденъ какъ полотно, весь дрожалъ и убѣжалъ, не дослушавъ разсказа Тургенева. Я замѣтила всѣмъ:—къ чему изводить такъ Достоевскаго?—но Тургеневъ

былъ въ самомъ веселомъ настроеніи, увлекъ и другихъ, такъ что никто не придалъ значенія быстрому уходу Достоевскаго. Тургеневъ сталъ сочинять юмористическіе стихи на Дѣвушкина, героя «Бѣдныхъ людей», будто бы тотъ написалъ благодарственные стихи Достоевскому, что онъ оповѣстилъ всю Россію объ его существованіи, и въ стихахъ повторялось часто «мамочка».

Съ этого вечера Достоевскій уже болѣе не показывался къ намъ и даже избѣгалъ встрѣчи на улицѣ съ кѣмъ нибудь изъ кружка. Разъ, встрѣтивъ его на улицѣ, Панаевъ хотѣлъ остановиться и спросить, почему его давно не видно, но Достоевскій быстро перебѣжалъ на другую сторону. Онъ видѣлся только съ однимъ своимъ пріятелемъ, бывшемъ въ кружкѣ, и тотъ сообщалъ, что Достоевскій страшно бранитъ всѣхъ и не хочетъ ни съ кѣмъ изъ кружка продолжать знакомства, что онъ разочаровался во всѣхъ, что это все завистники, безсердечные и ничтожные люди».

Самъ Достоевскій объясняетъ дѣло иначе: свой разрывъ съ Бѣлинскимъ и его кружкомъ онъ приписывалъ исключительно различіи въ убѣжденіяхъ. Вотъ что говоритъ онъ потомъ въ письмѣ къ Страхову, вспоминая объ этомъ разрывѣ: «я обругалъ Бѣлинскаго болѣе какъ явленіе русской жизни, нежели какъ лицо. Это было самое смрадное, тупое и позорное явленіе русской жизни... Живи онъ теперь, съ пѣной у рта бросился бы вновь писать поганыя статьи свои, позоря Россію, отрицая великія ея явленія (Пушкина)... Но вотъ еще что: вы никогда его не знали, а я зналъ и видалъ и теперь осмыслилъ вполнѣ. Этотъ человѣкъ ругалъ мнѣ.... и между тѣмъ никогда онъ не былъ способенъ самъ себя и всѣхъ двигателей міра сопоставить съ Христомъ для сравненія. Онъ не могъ замѣтить того, сколько въ немъ и въ нихъ мелкаго самолюбія, злобы, нетерпѣнія, раздраженія, подлости» и пр... все въ доказательство того, что Бѣлинскій былъ поганое явленіе и плохой критикъ.

Надо однако замѣтить, что это не единственный отзывъ Достоевскаго о Бѣлинскомъ; онъ мѣнялъ свое мнѣніе, смотря по настроенію. Да развѣ не видно, какъ много *личнаго*, мелкаго, самолюбиваго раздраженія въ приведенныхъ словахъ. Иногда Достоевскій отзывался о Бѣлинскомъ совершенно иначе*), и если взять его-же современное свидѣтельство о разрывѣ, то тамъ объ убѣжденіяхъ

*) Въ письмѣ отъ 1846 г онъ напр. называетъ его „благороднымъ“.

и ихъ различіи ни слова. Эта сторона дѣла особенно рѣзко выступила на сцену послѣ.

Очевидно прежде всего, что люди не сошлись характерами; да и съ кѣмъ могъ бы близко сойтись Достоевскій въ эту эпоху при своей мнительности, болѣзненномъ, раздраженномъ самолюбіи? Барича Тургенева, всегда спокойнаго, самоувѣреннаго, остроумнаго, онъ могъ просто даже возненавидѣть именно потому, что самъ онъ представлялъ нѣчто діаметрально противоположное. Но онъ могъ-бы преклониться передъ высокой нравственностью Бѣлинскаго.

Онъ не сдѣлалъ однако и этого и разладъ, даже вражда быстро смѣнили мимолетную дружбу и, съ нашей точки зрѣнія, чтобы ни говорилъ по этому поводу самъ Достоевскій, объ этомъ положительно нельзя не пожалѣть. Ужь дурному-бы отъ Бѣлинскаго онъ во всякомъ случаѣ ничему не научился и отъ общенія съ нимъ, отъ близости къ нему могли-бы только окрѣпнуть и перейти въ дѣйствительность юношескія мечтанія о независимой литературной работѣ, о необходимости крѣпиться и не насиловать своего творчества, хотя-бы внѣшнія матеріальныя затрудненія и вынуждали къ тому. Правда и Бѣлинскій былъ литературнымъ поденщикомъ, до конца дней своихъ пребывавшимъ въ кабалѣ, но эта поденная работа никогда не могла измѣнить его взгляда на литературу, какъ на великое и святое дѣло. Принципъ литературной независимости и направленія впервые появился въ русской жизни вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ, и эта независимость была нравственнымъ требованіемъ, на которое не должны были вліять ни нищета, ни внѣшній гнетъ. Странно, что Достоевскій, забывъ все это, обобщилъ дѣятельность Бѣлинскаго подъ именемъ «поганаго явленія», но еще страннѣе, что такой эпитетъ не вызывалъ въ немъ никакого раскаянія. Это уже больше чѣмъ раздраженіе, это истеричная, ничѣмъ не сдержанная злоба, на которую, несомнѣнно, былъ способенъ Достоевскій. Какъ бы то ни было, онъ отшатнулся отъ Бѣлинскаго и потерялъ многое, прежде всего то руководительство, въ которомъ такъ нуждалась его недисциплинированная натура. Онъ предпочелъ связаться съ Краевскимъ, который затягивалъ его авансами и высасывалъ изъ него всѣ соки, играя роль благодѣтеля. Достоевскій принялся работать во всю и быстро истощился.—Но вернемся на минуту назадъ.

Успѣхъ «Бѣдныхъ людей» превзошелъ всякія ожиданія и это не

надолго приподняло душевное настроеніе Достоевскаго, но приподняло именно какъ у больного: онъ серьезно вообразилъ, что онъ добился славы, что онъ чуть-ли не первая литературная величина въ Россіи, чуть-ли не выше Гоголя.

Разочарованіе наступило быстро; за неудачами дѣло не стало. Виноватъ во всемъ этомъ прежде всего самъ Достоевскій. Онъ сейчасъ-же задолжалъ повсюду, принялся писать черезъ силу, взялся за десять работъ и быстро надорвался не столько даже отъ работы, сколько отъ этой разбросанности и болѣзненной впечатлительности. Ему хотѣлось написать сразу дюжину повѣстей и разсказовъ и столько-же фельетоновъ. Между прочимъ онъ работалъ и надъ своимъ романомъ «Двойникъ», работалъ вяло, скучно, принуждая себя, выматывая и вымучивая изъ себя. Онъ опять жалуется на скуку: «я, пишетъ онъ брату, рѣшительно никогда не имѣлъ у себя такого тяжелаго времени. Скука, грусть, апатія и лихорадочное, судорожное ожиданіе чего-то лучшаго мучаетъ меня. А тутъ болѣзнь. Чортъ знаетъ что такое! Кабы какъ нибудь пронеслось все это!» Онъ положительно заваленъ работой: «Къ 5-му числу Генваря,—пишетъ онъ другой разъ,—обязался поставить Краевскому первую часть моего романа «Неточка Незванова»... Пишу день и ночь»... Долги мучаютъ. «Я плачу все долги мои посредствомъ Краевскаго. Вся задача моя заработать ему все въ зиму и быть ни копѣйки не должнымъ въ лѣто. Когда-то я выйду изъ долговъ. Бѣда работать поденьщикомъ! Погубишь все, и талантъ, и юность, и надежды, омерзѣетъ работа и сдѣлаешься наконецъ пачкуномъ, а не писателемъ.» Или: «Ты не повѣришь. Вотъ уже третій годъ моего литературнаго поприща, и я какъ въ чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходитъ за невременьемъ. Хочется остановиться. Сдѣлали они мнѣ извѣстность сомнительную, и я не знаю, до которыхъ поръ пойдетъ этотъ адъ... Тутъ бѣдность, срочная работа,—кабы покой!..» Безденежье и литературныя неудачи постоянно навѣваютъ тяжелыя мысли.

«Двойникъ» не удался, не удался до того, что онъ опротивѣлъ самому Достоевскому. На эту неудачу онъ не разъ жалуется въ письмахъ, говоря: «и «наши», Бѣлинскій, всѣ недовольны мною за Голядкина... Вся публика нашла, что до того Двойникъ «скученъ», вялъ, что читать нѣтъ возможности.» Но особенно поразилъ Достоевскаго неуспѣхъ Хозяйки (1847). Дѣйствительно, это очень слабая въ литературномъ отно-

шеніи вещь, но почему-то, по какому-то самообману творчества, Достоевскій писалъ ее съ громаднымъ увлеченіемъ. «Это не то что Прохарчинъ»,—говоритъ онъ,—которымъ я страдалъ все лѣто.» Не дописавъ еще разсказа до конца, онъ думалъ, что выходитъ лучше «Бѣдныхъ людей.» Между тѣмъ разсказъ не только никому не понравился, но Бѣлинскій назвалъ его нервической чепухой, и съ литературной точки зрѣнія былъ совершенно правъ. Надъ Достоевскимъ начали уже посмѣиваться. Про него говорили, что онъ исписался. Иногда онъ и самъ такъ думалъ. Онъ напрягалъ свои послѣднія силы, чтобы создать нѣчто крупное, но по торопливости у него ничего не выходило. Настроеніе духа было ужасно. Это было настроеніе таланта, закабалившаго себя въ положеніе литературнаго поденщика, настроеніе нервнаго, впечатлительнаго человѣка, хотѣвшаго сразу добиться всего и терявшаго все больше изо дня въ день. Онъ работалъ судорогами, ежеминутно перебѣгая отъ восторга передъ самимъ собой къ полному отчаянію. «Я все!»—«я нуль!»—онъ то и дѣло перескакивалъ съ одного полюса на другой.

Болѣзнь между тѣмъ принимала опасную форму. Это была болѣзнь не тѣла, а духа: Достоевскій былъ не столько боленъ въ дѣйствительности, сколько воображалъ себя больнымъ. Онъ постоянно лечился. То ему казалось, что онъ сходитъ съ ума, то полагалъ въ себѣ чуть-ли не чахотку. Отъ мнительности онъ и на самомъ дѣлѣ хворалъ. Его любимымъ развлеченіемъ было читать медицинскія книжки и выискивать въ себѣ опасные симптомы. Онъ мучился и доходилъ до того, что становился невыносимымъ самъ себѣ. Онъ самъ себѣ надоѣлъ и опротивѣлъ до послѣдней степени возможнаго. Съ нетерпѣніемъ, принимавшимъ форму страстнаго аффекта, онъ ждалъ отъ жизни какого-то толчка, какой нибудь встряски. То и дѣло восклицаетъ онъ: «когда же все это перемѣнится, когда все это кончится». Неудовлетворенное самолюбіе мучило его, самая жизнь пугала. Она грозила ему нуждой, всяческими ужасами, рисовала ему картины чуть-ли не голодной смерти или смерти въ больницѣ. Утомленный физически, надломленный и надорванный нравственно, онъ все яснѣе сознавалъ, что *такъ* жить больше онъ не можетъ. А какъ жить—онъ не зналъ. Литературная лямка давила и язвила плечи. Отъ нея ломило грудь, и между тѣмъ по слабости духа онъ тянулъ ее безъ отдыха, тянулъ изо дня въ день, мутно, безцѣльно, съ какимъ-то отчаяніемъ смотря впередъ, въ будущее!.. Все время онъ какъ будто страдалъ отъ тяжелаго предчувствія: оно оправдалось

## IV.

Кружокъ Петрашевскаго. — Арестъ. — Ссылка на каторгу. — Бліяніе каторги на характеръ и міросозерцаніе Достоевскаго.

40-вые годы были эпохой сильнаго, хотя и невиднаго броженія. Мы еще и теперь во многомъ продолжаемъ жить на ихъ счетъ. Въ это время интеллигентная русская мысль приняла новую форму, новую форму приняла и литература. Послѣ долгаго блужданія по дебрямъ нѣмецкой идеалистической философіи, русская мысль пришла наконецъ къ сознанію задачъ общественныхъ и гражданскихъ; благодаря этому и литература приняла иной характеръ, такъ какъ и она стала сознавать себя общественной силой. Появилось понятіе о направленіи.

Эта новая фаза сознанія прекрасно обрисована Бѣлинскимъ въ словахъ, относящихся еще къ 1842-му году. «Духъ нашего времени таковъ, говоритъ великій критикъ, что величайшая творческая сила можетъ только изумить на время, если она ограничится птичьимъ пѣніемъ, создастъ себѣ свой міръ, не имѣющій ничего общаго съ исторической и философской дѣйствительностью современности, если она вообразитъ, что земля недостойна ея, что ея мѣсто на облакахъ, что мірскія страданія и надежды не должны смущать ея поэтическихъ видѣній и таинственныхъ созерцаній. Съ однимъ естественнымъ талантомъ не далеко уйдешь. Талантъ имѣетъ нужду въ разумномъ содержаніи, какъ огонь въ маслѣ, чтобы не погаснуть. Свобода творчества легко согласуется съ служеніемъ современности. Для этого не нужно принуждать себя писать на темы, насиловать фантазію; для этого нужно только быть гражданиномъ, сыномъ своего общества и своей эпохи, усвоить себѣ его интересы, слить свои стремленія съ его стремленіями. Для этого нужна симпатія, любовь, здоровое практическое чувство истины, которая не отдаляетъ убѣжденія отъ дѣла, сочиненія отъ жизни».

Интеллигентная мысль принимала все болѣе и болѣе практическій характеръ. Въ какое нибудь десятилѣтіе она сдѣлала громадный переходъ отъ нѣмецкаго оптимистическаго идеализма къ соціализму. Милютинъ въ это время (конецъ 40-хъ годовъ) началъ писать свои политико-экономическіе этюды, Валеріанъ Майковъ свои критическія статьи. Между прочимъ все чаще и чаще высказывались вотъ какія мысли: «самое важное характерное явленіе современной жизни заключается въ сильномъ стремленіи общества къ матеріальнымъ интересамъ. Вещественное благосостояніе человѣка занимаетъ умы всѣхъ сословій. Удобство земного существованія, довольство—вотъ главный вопросъ, вопіющая забота нашего вѣка. Метафизическая эпоха германской жизни кончилась; вниманіе и надежды обратились къ требованіямъ общественной жизни, которой нечего дѣлать въ холодной отлеченности философскихъ системъ. Первенство принадлежитъ наукамъ общественнымъ, интересы дѣйствительности должны быть разлиты по всему обществу и главная задача науки показать законы равномѣрнаго распредѣленія блага по всѣмъ классамъ. (Отеч. Зап. 1848 г. кн. X).

Настроеніе, вызвавшее такія мысли понять не трудно; не трудно и опредѣлить, какъ должно было такое настроеніе смотрѣть на крѣпостное право. Оно могло его отрицать не только уже съ филантропической точки зрѣнія или во имя общечеловѣческой справедливости, но и ясно понимать его экономическій и политическій вредъ. Французская литература (Жоржъ Зандъ), масса либеральныхъ сочиненій, проникнувшихъ въ Россію контрабанднымъ путемъ, укрѣпили русскую мысль въ этой практической точкѣ зрѣнія. Молодежь бродила, она устраивала кружки, ассоціаціи. Самый извѣстный былъ кружокъ Петрашевскаго и другіе, зависящіе отъ него. Къ одному изъ нихъ, Дуровскому, принадлежалъ и Достоевскій.

«Дуровцы», какъ вспоминаетъ Милюковъ въ своихъ бѣдахъ, «не мало сѣтовали на строгость цензуры. Но особенно занимали ихъ политическіе вопросы и прежде всего вопросъ объ освобожденіи крестьянъ». Да и какъ онъ могъ не занимать, напр., Достоевскаго, когда тотъ выросъ на Шиллерѣ, Гюго, Жоржъ Зандѣ и всегда всю жизнь свою стоялъ на сторонѣ униженныхъ и оскорбленныхъ. Но о революціи Достоевскій ни о какой не мечталъ. Онъ прямо говорилъ, что народъ нашъ не пойдетъ по стопамъ европейскихъ

революціонеровъ. «Я помню,—прибавляетъ Милюковъ, какъ съ обычной своей энергіей Достоевскій читалъ стихотвореніе Пушкина «Уединеніе». Какъ теперь слышу восторженный голосъ, съ какимъ онъ произнесъ заключительный куплетъ:

„Увижу-ль, о друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря?..

Только разъ Достоевскій вспылилъ и увлекся. Когда однажды споръ сошелъ на вопросъ: «ну, а если бы освободить крестьянъ оказалось невозможнымъ иначе какъ черезъ возстаніе?»—Достоевскій воскликнулъ:—«такъ хотя бы черезъ возстаніе!».. На слѣдствіи «Достоевскій, сознаваясь въ участіи въ разговорахъ о возможности нѣкоторыхъ перемѣнъ и улучшеній, отозвался, что предполагалъ ожидать этого отъ правительства». Въ кружкѣ на Достоевскаго возлагались большія надежды какъ на пропагатора. «Какъ теперь, разсказываетъ Дебу, вижу я передъ собою Ѳед. Мих. на одномъ изъ вечеровъ у Петрашевскаго вижу и слышу его расказывающимъ о томъ, какъ былъ прогнанъ сквозь строй фельдфебель финляндскаго полка, или же о томъ, какъ поступаютъ помѣщики со своими крѣпостными. Не менѣе живо помню его, разсказывающаго свою «Неточку Незванову» гораздо полнѣе, чѣмъ она была напечатана. Помню, съ какимъ живымъ, человѣческимъ чувствомъ относился онъ и тогда къ тому общественному продукту, олицетвореніемъ котораго явилась у него впослѣдствіи Сонечка Мармеладова»... Въ общемъ же взгляды и программа петрашевцевъ сводились къ тому, чтобы при помощи кружковъ и пропаганды возбудить общество сначала къ ненависти, а потомъ и къ уничтоженію крѣпостного права. Но ни о какой «конституціи» они не мечтали, наоборотъ даже—презирали ее. Изъ европейскихъ ученій они прониклись прежде всего соціализмомъ по формуламъ и картинамъ, даннымъ Фурье. Къ современному же европейскому строю они относились такъ же отрицательно, какъ и къ русскому.

У Достоевскаго это осталось навсегда. Когда онъ въ «Дневникѣ» говоритъ о современномъ положеніи Европы, онъ повторяетъ мысли петрашевцевъ. Вотъ они: «Новые побѣдители міра (буржуа, третье сословіе) оказались, можетъ быть, еще хуже прежнихъ деспотовъ, а свобода, равенство и братство оказались лишь громкими фразами... Политическая смѣна побѣди-

телей не принесла никакихъ результатовъ: въ жизни осталось униженныхъ и оскорбленныхъ столько же, сколько ихъ было и раньше, если не больше того. Великая революція (1789) не рѣшила ни одного соціальнаго вопроса, не примирила основного противорѣчія богатства и бѣдности. Въ Европѣ богатство и бѣдность стоятъ другъ противъ друга съ оружіемъ въ рукахъ. Въ этомъ ея страшное зло, въ этомъ угроза будущихъ кровавыхъ революцій. А Россія (прибавляетъ впослѣдствіи Достоевскій уже послѣ періода реформъ) сразу порѣшила вопросъ съ пролетаріатомъ, освободивъ крестьянъ съ землею».

Но въ 1849 г. крестьяне еще не были освобождены и Достоевскій сталъ революціонеромъ.

Достоевскій-революціонеръ... Неправда-ли, эти два слова другъ съ другомъ не вяжутся. Мы привыкли считать Достоевскаго за искренняго и убѣжденнаго христіанина, за проповѣдника мрачной вѣры въ очищающую силу страданія... И вдругъ онъ оказывается готовымъ выйти на площадь чуть не съ краснымъ флагомъ въ рукахъ и провозгласить новую жизнь по тому самому праву, которое онъ впослѣдствіи такъ энергично и даже съ такой ненавистью отрицалъ. Что побудило его къ этому? Можно прямо утверждать, что никакой доктрины въ головѣ у него не было и ни изъ за какой доктрины онъ не дѣйствовалъ. Это, прежде всего человѣкъ чувства, живущій конкретными впечатлѣніями, боязливый и мнительный, но способный на взрывы своеволія, именно благодаря своей мнительности и боязливости. Фанатикъ и доктринеръ Петрашевскій не нравился ему отъ начала до конца. Но личное доброе чувство его было возмущено постоянно повторяющимися передъ его глазами сценами насилія. Пѣвецъ униженныхъ и оскорбленныхъ, благодаря неудачамъ, благодаря своей собственной мрачной жизни, вдругъ, на время, почувствовалъ противъ нее какую-то ожесточенную злобу. Онъ рѣшился возстать на нее, найдя для этого силы въ своемъ собственномъ отчаяніи. Такъ бываетъ и бываетъ нерѣдко: мгновенныя рѣзкія вспышки—удѣлъ слабыхъ и недисциплинированныхъ натуръ; сила ихъ—не сила воли, убѣжденія, а сила отчаянія... Результатомъ этого былъ сначала арестъ, потомъ—ссылка. Взятый въ ночь на 22 апрѣля 1849-го года, Достоевскій вмѣстѣ съ другими попалъ въ крѣпость и, конечно, въ одиночное заключеніе.

Первое время онъ какъ будто не очень даже былъ пораженъ

этимъ обстоятельствомъ; много читалъ, задумалъ два романа и три повѣсти и довольно бодро смотрѣлъ на будущее.

Больше всего заботился онъ, повидимому, не о своей собственной судьбѣ, а о судьбѣ брата своего Михаила, человѣка уже семейнаго и по ошибкѣ арестованнаго вмѣстѣ съ нимъ. Вотъ что пишетъ онъ ему изъ крѣпости: «Я несказанно обрадовался, любезный братъ, письму твоему. Получилъ я его 11-го іюня. Наконецъ-то ты на свободѣ, и воображаю, какое счастье было для тебя увидѣться съ семьей. То-то они, думаю, ждали тебя! Вижу, что ты уже начинаешь устраиваться по новому. Чѣмъ-то ты теперь занятъ и, главное, чѣмъ ты живешь? Есть-ли работа и что именно ты работаешь? Лѣто въ городѣ тяжело! Да къ тому-же ты говоришь, что взялъ другую квартиру и уже, вѣроятно, тѣснѣе!..» Самъ онъ «не унываетъ». «Конечно, пишетъ онъ, скучно и тошно, да что-же дѣлать? Впрочемъ не всегда и скучно. Вообще мое время идетъ чрезвычайно неровно,—то слишкомъ скоро, то тянется. Другой разъ даже чувствуешь, что какъ будто уже привыкъ къ такой жизни и что все равно. Я конечно гоню всѣ соблазны отъ воображенія, но другой разъ съ ними не справишься, а прежняя жизнь такъ и ломится въ душу съ прежними впечатлѣніями и прошлое переживается снова. Да, впрочемъ, это въ порядкѣ вещей. Теперь большею частью ясные дни и немного веселѣе стало. Но ненастные дни невыносимѣе. Казематъ смотритъ суровѣе... Времени даромъ я не терялъ: выдумалъ три повѣсти и два романа; одинъ изъ нихъ пишу теперь, но боюсь работать много!..» «Сплю я, продолжаетъ онъ,—часовъ 5 въ сутки и раза по четыре въ ночь просыпаюсь. Всего тяжелѣе время когда смеркнется, а въ 9 часовъ у насъ темно... Какъ бы я желалъ хоть одинъ день пробыть съ вами! Вотъ ужь скоро три мѣсяца нашего заключенія; что-то дальше будетъ. Я только и желаю, чтобы быть здоровымъ, а скука дѣло переходное, да и хорошее расположеніе духа зависитъ отъ меня одного. Въ человѣкѣ бездна тягучести и жизненности, и я, право, не думалъ, чтобы было столько, а теперь узналъ по опыту...» Слѣдующее письмо изъ крѣпости написано уже въ болѣе минорномъ тонѣ, но видно, что Достоевскій по прежнему продолжаетъ бороться и что въ самой глубинѣ души его все еще не изчезаетъ надежда на возможность возвращенія къ жизни, оставленной за стѣнами крѣпости. «На счетъ себя, пишетъ онъ, ничего не могу сказать опредѣленнаго. Все та-же неизвѣстность касательно

нашего дѣла. Частная жизнь моя по прежнему однообразна; но мнѣ опять позволили гулять въ саду, въ которомъ 17 деревьевъ. И это для меня счастье. Кромѣ того я могу имѣть теперь свѣчу по вечерамъ—и вотъ другое счастье. Третье будетъ, если ты мнѣ поскорѣе отвѣтишь и пришлешь «Отеч. Зап.»; ибо я, въ качествѣ иногородняго подписчика, жду ихъ какъ эпохи, какъ соскучившійся помѣщикъ въ провинціи. Хочешь мнѣ прислать историческихъ сочиненій? Это будетъ превосходно... Но всего лучше если-бы ты прислалъ мнѣ Библію... О здоровьѣ моемъ ничего не могу сказать хорошаго. Вотъ уже цѣлый мѣсяцъ, какъ я просто ѣмъ касторовое масло и тѣмъ только и пробиваюсь на свѣтѣ. Геморой мой ожесточился до послѣдней степени и я чувствую грудную боль, которой прежде не бывало... Но и къ тому-же, особенно къ ночи, усиливается впечатлительность; по ночамъ длинные, безобразные сны и, сверхъ того, съ недавняго времени мнѣ все кажется, что подо мной колышется полъ и я въ моей комнатѣ сижу словно въ пароходной каютѣ».....

По окончательному приговору суда Достоевскій былъ отправленъ на каторгу, въ Омскій острогъ срокомъ на 4 года.

* * *

Дорога до Тобольска прошла благополучно, только часто случалось отмораживать себѣ или пальцы, или носъ, или уши. «Когда мы въ Тобольскѣ уже—вспоминаетъ Достоевскій—въ ожиданіи дальнѣйшей участи, сидѣли въ острогѣ на пересыльномъ дворѣ, жены декабристовъ умолили смотрителя и устроили на квартирѣ его свиданіе съ нами. Онѣ благословили насъ въ новый путь, перекрестили и каждаго надѣлили Евангеліемъ—единственная книга, позволенная въ острогѣ». Изъ Тобольска Достоевскаго и Дурова отправили въ Омскъ, во «второй разрядъ каторги».

Началась многострадательная жизнь... Но мы не будемъ много разсказывать о ней нашимъ читателямъ, а поговоримъ лучше, пользуясь случаемъ, объ одномъ изъ замѣчательныхъ произведеній Достоевскаго—его «Запискахъ изъ Мертваго Дома». Въ нихъ Достоевскій сконцентрировалъ всѣ свои острожныя впечатлѣнія, въ нихъ онъ на вѣки заклеймилъ то «недавнее давнопрошедшее», которое было вмѣстѣ съ другими недугами русской жизни уничтожено великими реформами минувшаго царствованія. Все разсказанное въ «Запискахъ» было и ничего такого болѣе нѣтъ: нѣтъ

ни ужасныхъ майоровъ, именующихъ себя «майорами Божьей милостью», нѣтъ истерзанныхъ и искалѣченныхъ подъ палками людей. Записки—историческій документъ и, прочтя ихъ, нельзя не воскликнуть: «слава Богу, что все это миновало». Какъ помнитъ читатель, разсказъ ведется отъ лица нѣкоего Александра Петровича, дворянина, сосланнаго во второй разрядъ каторги за убійство жены.

«Второй разрядъ каторги, въ которомъ я находился, говоритъ онъ, состоявшій изъ крѣпостныхъ арестантовъ подъ военнымъ начальствомъ, былъ несравненно тяжелѣе остальныхъ двухъ разрядовъ, т. е. 3-го заводскаго и перваго въ рудникахъ. Тяжелѣе онъ былъ нетолько для дворянъ, но и для всѣхъ арестантовъ, именно потому, что начальство и устройство этого разряда—все военное, очень похожее на арестантскія роты въ Россіи. Военное начальство строже, порядки тѣснѣе: всегда въ цѣпяхъ, всегда подъ конвоемъ, всегда подъ замкомъ; а этого нѣтъ въ такой силѣ въ первыхъ двухъ разрядахъ».

Но благодаря маленькимъ, имѣвшимся въ запасѣ деньгамъ, это тяжелое положеніе хоть немного да облегчалось: арестантъ могъ имѣть чай со своимъ особымъ чайникомъ и кое-какую дополнительную ѣду, хотя и острожная пища была, по его словамъ, сносна; хлѣбъ даже славился въ городѣ, зато щи изобиловали тараканами, на что арестанты впрочемъ не обращали ни малѣйшаго вниманія. «Помню ясно, говорится въ Запискахъ—что съ перваго шагу въ этой жизни меня поразило то, что я какъ будто и не нашелъ въ ней ничего особенно поражающаго, необыкновеннаго или, лучше сказать, неожиданнаго. Мнѣ показалось даже, что въ острогѣ гораздо легче жить, чѣмъ я воображалъ дорогой. Самая работа показалась мнѣ вовсе не такъ тяжелой, каторжной, и только довольно долго спустя догадался, что тягость и каторжность этой работы не столько въ трудности и безпрерывности ея, сколько въ томъ, что она принужденная, обязательная, изъ подъ палки». Работалъ онъ однако съ усердіемъ, «радостно», чтобы укрѣпить свое здоровье, и особенно любилъ сгребать снѣгъ и толочь алебастръ.

Первые три дня послѣ прибытія на каторгу его не «гоняли» на работу, а дали отдохнуть и осмотрѣться. Но кромѣ этого ни какой льготы не полагалось и черезъ три дня началась уже настоящая каторжная жизнь. Стоило ему только появиться въ острожной казармѣ, какъ онъ немедленно-же увидѣлъ будущихъ сво-

ихъ «сотоварищей» и передъ нимъ мелькнули десятки обезображенныхъ, клейменныхъ лицъ. Тутъ были и фальшивые монетчики», и молоденькій каторжный съ тоненькимъ личикомъ, успѣвшій уже зарѣзать 8 душъ, и много мрачныхъ, угрюмыхъ физіономій, обритыхъ на полъ головы и обезображенныхъ, съ ненавистью смотрѣвшихъ вокругъ себя и между прочимъ на него, дворянина-бѣлоручку. Только войдя въ свою казарму, арестантъ очутился *впервые* «среди дыма и копоти, среди ругательствъ и невыразимаго цинизма, въ мефитическомъ воздухѣ, при звонѣ кандаловъ, среди проклятій и безстыднаго хохота». Весь изломанный и измученный отъ чудовищныхъ впечатлѣній дня, онъ улегся на голыхъ нарахъ, положивъ подъ голову свои платье, вмѣсто подушки, которой, кстати сказать, у него не было, накрылся тулупомъ и постарался заснуть. Но сонъ не шелъ. Мрачныя мысли копошились въ головѣ, тяжелыя, неясныя предчувствія давили сердце. Онъ думалъ о будущемъ, о предстоящихъ ему четырехъ годахъ «такой» жизни, которые разростались въ его воображеніи въ цѣлую вѣчность, и самымъ ужаснымъ представлялось ему то, что все это время онъ «ни разу, ни одной минуты не будетъ одинъ: на работѣ всегда подъ конвоемъ, дома съ 200 товарищей и ни разу, ни разу одинъ». Товарищество по неволѣ, товарищество изъ подъ палки всегда тяжело, тѣмъ болѣе здѣсь въ острогѣ, гдѣ оно къ тому-же постоянно. Народъ собрался всякій: «иной изъ кантонистовъ, другой изъ черкесовъ, третій изъ раскольниковъ, четвертый православный мужичекъ, семью, дѣтей, милыхъ оставилъ на родинѣ, пятый—жидъ, шестой—цыганъ, седьмой—неизвѣстно кто. И всѣ-то они должны ужиться вмѣстѣ во что-бы то ни стало, согласиться другъ съ другомъ, ѣсть изъ одной чашки, спать на однихъ нарахъ». Были правда и интеллигентные товарищи, но съ ними, повидимому, онъ не могъ сойтись очень близко. Ему предстояло одиночество, убійственная по своему однообразію каторжная жизнь, полная матеріальныхъ неудобствъ и тяжелыхъ мыслей. Одинъ день былъ похожъ на другой какъ двѣ капли воды, и всю жизнь по необходимости приходилось сконцентрировать внутри себя. Попробуемъ же возстановить этотъ одинъ день. Вставали рано, нехотя, особенно зимой, по барабану, умывались въ ведрахъ, въ водѣ сомнительной чистоты и закусывали чернымъ хлѣбомъ, если не было у кого своего чаю. Уже съ первой минуты послѣ пробужденія зачастую начиналась

ссора и брань. Бранились и ссорились изъ за всякихъ пустяковъ, бранились подолгу, артистически, съ большимъ вниманіемъ къ этому искусству, съ стремленіемъ къ особо ловкимъ и обиднымъ выраженіямъ, что высоко цѣнилось въ острогѣ. До драки дѣло не доходило, но постоянно могло дойти: только «товарищи», понимая, какія неудобства вызоветъ для всѣхъ эта самая драка, останавливали обыкновенно ссорившихся, разъ замѣчали, что дѣло становится серьезнымъ. Потомъ, съѣвши по ломтю хлѣба, каторжные послѣ переклички отправлялись на работу. Шли партіями, обыкновенно молча, угрюмо. Находились правда болтуны, старавшіеся забавлять другихъ своимъ добровольнымъ шутовствомъ, но къ нимъ относились съ большимъ, подавляющимъ даже презрѣніемъ, называя «безполезными» людьми. Каторжные всѣми способами старались поддерживать свое достоинство, понимая его, конечно, по своему. Это достоинство заключалось прежде всего въ сдержанности, въ «соблюденіи себя», въ своего рода угрюмой сосредоточенности. Такъ что разговаривали по душѣ мало, изрѣдка переругивались. При встрѣчѣ съ кѣмъ нибудь просили милостыню. Разъ какъ-то, вспоминаетъ Алек. Петр., встрѣтился намъ по дорогѣ мѣщанинъ, остановился и засунулъ руку въ карманъ. «Изъ нашей кучки немедленно отдѣлился арестантъ, снялъ шапку, принялъ подаяніе— пять копѣекъ и проворно воротился къ своимъ. Эти пять копѣекъ въ то же утро проѣли на калачахъ, раздѣливъ ихъ на всю нашу партію по ровну». Дойдя до мѣста работы, принимались за нее большею частью неохотно: торопиться было некуда. Работа рѣдко бывала со смысломъ, обыкновенно выдумывалась просто для того, чтобы занять праздныя руки. Заставляли напримѣръ растаскивать старыя барки, когда лѣсу вокругъ было множество и онъ буквально ничего не стоилъ. Сами каторжные понимали, что дѣло ихъ ненужно, и вяло, лѣниво стучали топорами. Оживленіе въ работѣ чувствовалось только иногда, когда задавали «урокъ» и можно было при усердіи окончить его скорѣе, чѣмъ значилось по росписанію. Тутъ уже бросали лѣнь въ сторону, появлялось даже соревнованіе. Арестантъ-дворянинъ старался работать какъ другіе, но сначала это ему не удавалось, «Куда-бы я ни приткнулся помогать имъ во время работы, говоритъ онъ, вездѣ я былъ не у мѣста, вездѣ мѣшалъ, вездѣ меня отгоняли прочь чуть не съ бранью». Даже самые послѣдніе изъ каторжанъ, паріи острога и тѣ презрительно относились къ дворянамъ-бѣлоручкамъ. Потомъ для

нихъ нашлась работа болѣе подходящая: ихъ стали посылать толочь алебастръ, вертѣть точильное колесо или за нѣсколько верстъ на берегъ Иртыша на кирпичный заводъ. Томительное ощущеніе вызывала, вѣроятно, эта близость къ природѣ, видъ могучей спокойной рѣки, широкая, безпредѣльно тянувшаяся киргизская степь. Сердце просилось туда, въ это приволье; но конвойные стояли на своихъ мѣстахъ, тяжелые кандалы звякали при всякомъ движеніи. Арестантъ старался работать какъ можно усерднѣе, чтобы укрѣпить свое здоровье и съ радостью замѣчалъ, что это ему удается, «Физическая сила, говоритъ онъ, въ каторгѣ нужно не меньше нравственной для перенесенія всѣхъ матеріальныхъ неудобствъ этой проклятой жизни». Послѣ работы возвращались домой, въ острогъ, обѣдали, потомъ ходили по двору, огороженному высокимъ зубчатымъ заборомъ, и наконецъ, послѣ вечерней переклички, всѣхъ запирали по казармамъ. Засыпали конечно не сразу. По различнымъ угламъ шли разговоры, разсказы, тамъ играли въ карты или въ спеціально острожныя скверныя игры, тамъ ссорились. Поставленная на ночь «парашка» распространяла вокругъ себя ужасную вонь, безчисленныя острожныя насѣкомыя, особенно почему-то жестокія, не давали непревычному человѣку засыпать по цѣлымъ часамъ. Такъ проходили будни. Въ праздники, когда дѣлать было совсѣмъ нечего, было еще тяжелѣе, томительнѣе. Алек. Петр. заполнялъ время, прогулкой считая и пересчитывая острожныя «палци», но это не разгоняло меланхолическихъ думъ. Только большіе праздники вносили въ жизнь нѣкоторое оживленіе. Передъ пасхой говѣли. Это говѣнье въ острогѣ оставило у героя «Записокъ» воспоминаніе на всю жизнь; «я давно, разсказываетъ онъ, не былъ въ церкви. Великопостная служба, такъ знакомая еще съ дѣтства въ родительскомъ домѣ, торжественныя молитвы, земные поклоны все это расшевелило въ душѣ моей далеко-далеко минувшее... и помню мнѣ очень пріятно было, когда, бывало, утромъ по подмерзшей за ночь землѣ насъ водили подъ конвоемъ, съ заряженными ружьями, въ Божій домъ. Въ церкви мы становились тѣсной кучкой у самыхъ дверей, въ самомъ послѣднемъ мѣстѣ. Я припоминалъ, какъ, бывало, еще въ дѣтствѣ, стоя въ церкви я смотрѣлъ на простой народъ, густо тѣснившійся у входа и подобострастно раступавшійся передъ густымъ эполетомъ. Тамъ у входа, казалось мнѣ, тогда и молились-то не такъ, какъ у насъ, молились

смиренно, земно, съ какимъ-то полнымъ сознаніемъ своей приниженности. Теперь и мнѣ пришлось стоять на этихъ мѣстахъ, даже и не на этихъ: мы были закованные и ошельмованные. Отъ насъ всѣ сторонились, насъ какъ будто боялись, насъ каждый разъ одѣляли милостыней, и, помню, мнѣ это было какъ-то пріятно, какое-то утонченное особенное ощущеніе сказывалось въ этомъ удовольствіи!» Въ праздники и острогъ принималъ праздничный видъ. Каторжные надѣвали чистыя рубахи, на лицѣ у всѣхъ было какое-то особенное выраженіе... но не надолго. Въ тотъ-же вечеръ большинство лежали на нарахъ пьяные, передравшіеся, безобразные. Въ воздухѣ — страшная ругань, невыносимая вонь; повсюду много свирѣпыхъ или умильныхъ пьяныхъ лицъ. Тоска отъ бездѣлья, отъ нахлынувшихъ праздничныхъ воспоминаній дѣтства, отъ безобразныхъ сценъ — заставляетъ бѣжать изъ казармы, хотя-бы на дворъ, къ заостреннымъ палямъ острога. Однажды на Рождество каторжные устроили «театръ». Острогъ оживился; новое дѣло заинтересовало всѣхъ. Каторжнымъ было пріятно, что имъ довѣряютъ такое дѣло, что само начальство приходитъ смотрѣть на игру ихъ товарищей-актеровъ, что они на этотъ разъ какъ-бы совсѣмъ люди, и въ это время было больше бодрости, меньше ругани, пьянства, распутства. Гордые оказаннымъ довѣріемъ, каторжные сами поддерживали дисциплину. «Только немного позволили этимъ людямъ пожить по своему, повеселиться по людски, прожить хоть часъ не по острожному, и человѣкъ нравственно мѣняется хотя-бы на нѣсколько минутъ».

Льготъ и послабленій дворянину никакихъ не дѣлалось. Онъ носилъ тѣ-же кандалы, какъ и обыкновенные каторжники, ѣлъ ту-же пищу, ходилъ въ томъ же костюмѣ и дѣлалъ ту-же работу. Но ему, конечно, все это было вдесятеро тяжелѣе, чѣмъ другимъ. Какъ человѣкъ интеллигентный онъ чувствовалъ ежеминутно такія лишенія, которыхъ не приходилось испытывать ни одному изъ его сотоварищей. Пришлось оставить привычку читать, такъ какъ книгъ въ каторгѣ читать не полагалось, допускали только Евангеліе и библію, которую, кстати сказать, у него украли. Если грубое обращеніе вызывало тогда протестъ даже со стороны обыкновенныхъ преступниковъ, бывшихъ крѣпостныхъ, то легко себѣ представить, каково было переносить ту-же самую грубость человѣку культурному. Какъ-бы тамъ ни говорили, каторжная жизнь была тяжелая, мрачная...

Дуровъ угасъ въ острогѣ: «вошелъ онъ въ острогъ молодой, красивый, добрый, а вышелъ полуразрушенный, сѣдой, безъ ногъ, съ одышкой».—Выносить эту жизнь становилось иногда совсѣмъ не подъ силу. Тогда уходили обыкновенно въ лазаретъ, гдѣ доктора были такіе хорошіе, ласковые. Матеріальныя неудобства и всяческія стѣсненія были и здѣсь тѣ-же самыя, но «принудительность» жизни по извѣстной программѣ чувствовалась меньше. Можно было полежать въ волю, хотя и на скверной койкѣ и въ невозможномъ больничномъ халатѣ, спать, не слушая барабана, не ходить на работу.

*
* *

Незамѣтно однако подошли мы къ труднѣйшему вопросу о вліяніи каторги на характеръ и міросозерцаніе Достоевскаго. По этому поводу говорятъ различно; самъ Достоевскій то проклиналъ эту жизнь, то какъ будто благословлялъ ее. О. Миллеръ полагаетъ, что жизнь на каторгѣ была «урокомъ народной правды для Достоевскаго». Майковъ рѣшительно утверждаетъ, что каторга была полезна. Ястжемскій думаетъ, что она развила литературный талантъ. Мнѣнія самого Достоевскаго противорѣчатъ одно другому. Н. К. Михайловскій приписываетъ каторгѣ вліяніе безусловно вредное, чисто отрицательное.

Вопросъ, какъ кажется, неразрѣшимъ. Отвѣчать на него à priori—нельзя, такъ какъ на разныхъ людей каторга несомнѣнно произведетъ разное впечатлѣніе. Однихъ она можетъ доканать совершенно, какъ напр. Дурова, другихъ озлобить, какъ Петрашевскаго, третьихъ смирить. Послѣднее выпало, повидимому, на долю Достоевскаго. Онъ смирился до самой глубины своего міросозерцанія, но опять таки нельзя утверждать, чтобы оно стало совсѣмъ другимъ послѣ каторги. Мистическія идеи бродили въ немъ и раньше, уваженіемъ къ христіанству онъ былъ проникнутъ и до каторги. Самый темпераментъ его, какъ увидимъ ниже, остался въ сущности тѣмъ-же неровнымъ, истеричнымъ, склоннымъ къ меланхоліи. Правда, Достоевскій въ письмахъ изъ Семипалатинска утверждаетъ, что онъ сталъ совершенно другой и меланхолія изсчезла безъ слѣда. Но все это было въ самомъ началѣ послѣ выхода изъ острога, когда меланхолія дѣйствительно неумѣстна. Потомъ Достоевскій говорилъ, что на каторгѣ онъ сошелся и братски соединился съ народомъ, но тутъ-же прибавляетъ, что ему трудно было бы разсказать исторію перерожденія его

убѣжденій. «Да и произошло-то это перерожденіе постепенно, послѣ долгаго времени».

Но совершенно въ сторонѣ оставить вопроса нельзя. Попытаемся же по мѣрѣ силъ отвѣтить на него безъ всякой предвзятой мысли и только на основаніи данныхъ біографіи. Если разсуждать по пословицѣ «все хорошо, что хорошо кончается», то, быть можетъ, въ извѣстномъ смыслѣ и каторга была полезна. Мы уже видѣли, что настроеніе Достоевскаго до ареста было во всѣхъ отношеніяхъ ужасно и грозило разрѣшиться самоубійствомъ. Жизнь безъ признака воли, торопливая, нетерпѣливая жизнь— вотъ что говоритъ намъ біографія о періодѣ, предшествовавшемъ аресту. Достоевскій мучительно ожидалъ какого-нибудь толчка какой нибудь перемѣны. Судьбѣ было угодно отправить его въ Омскій острогъ. Какой путь приняла бы его жизнь безъ этого посторонняго вмѣшательства — сказать трудно; можетъ быть онъ покончилъ бы съ собой, можетъ быть сталъ революціонеромъ столько-же по убѣжденію, сколько отъ отчаянія въ себѣ, можетъ быть время помогло-бы ему дисциплинироваться. Все это одинаково вѣроятно и одинаково гадательно. Толчокъ явился извнѣ. Мы видѣли, что онъ не особенно даже поразилъ Достоевскаго, такъ какъ душевный кризисъ назрѣлъ и требовалъ разрѣшенія. Но вѣдь отсюда не слѣдуетъ, чтобы каторга прошла безъ слѣда. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о ея вліяніи на здоровье, литературный талантъ и пр., твердо вмѣстѣ съ тѣмъ убѣжденные, что здоровье лучше поправить въ больницѣ, чѣмъ въ острогѣ, и что литературный талантъ для своего расцвѣта совсѣмъ не требуетъ такой радикальной перемѣны климата и обстановки, мы думаемъ, что вообще-то каторга произвела на Достоевскаго впечатлѣніе *подавляющее*, въ широкомъ смыслѣ слова. Правда, мысль, что онъ могъ не въ примѣръ прочимъ перенести такое тяжелое испытаніе, что самое тяжелое въ жизни пройдено придавала ему бодрости, но эта бодрость не выходила за предѣлы личной жизни и личной дѣятельности. Во всѣхъ другихъ сферахъ Достоевскій какъ-то замѣтно сократился. Нечего и говорить, что повтореніе петрашевской исторіи стало для него совсѣмъ немыслимымъ послѣ четырехлѣтняго пребыванія въ острогѣ. Отъ активной борьбы съ жизнью онъ отказался, хотя и прежде-то онъ брался за нее скорѣе отъ отчаянія, чѣмъ отъ какой другой причины. Онъ смирился, смирился въ томъ смыслѣ, что, видя

цѣлые годы вокругъ себя непреоборимыя преграды, слишкомъ глубоко проникся сознаніемъ своей личной слабости передъ окружающими его условіями. Формула «какъ хочу, такъ и дѣлаю» была уже совсѣмъ неприложима на каторгѣ. Острогъ—это сила, совершенно придавившая, уничтожившая личное «я». И Достоевскій какъ нельзя болѣе проникся этимъ внушеніемъ. Все, темпераментъ, взгляды остались тѣ-же, но извѣстнаго рода трусливость, запуганность передъ жизнью, и раньше бывшія въ немъ, рѣзче, яснѣе выступили наружу и совсѣмъ оттѣснили на задній планъ прежніе взрывы своеволія.

Мысль эта кажется проста, но, чтобы лучше убѣдиться въ ней, обратимся къ характеристикѣ внутренней жизни Достоевскаго на каторгѣ, тогда подавляющее впечатлѣніе послѣдней станетъ на нашъ взглядъ очевиднымъ.

Особенно мучило Достоевскаго то, что онъ былъ «не въ своемъ обществѣ»,—совсѣмъ чужимъ для всѣхъ своихъ невольныхъ товарищей. Дворянство, образованіе полагало между ними непроходимую пропасть.

«Важнѣе всего этого то, говоритъ онъ, что всякій изъ новоприбывающихъ въ острогъ, черезъ два часа по прибытіи, становится такимъ-же, какъ и всѣ другіе, становится у себя дома, такимъ-же равноправнымъ хозяиномъ острожной артели, какъ и всякій другой. Онъ всѣмъ понятенъ, и самъ всѣхъ понимаетъ, всѣмъ знакомъ, и всѣ считаютъ его за своего. *Не то съ благороднымъ, дворяниномъ... Какъ ни будь онъ справедливъ, добръ, уменъ—его цѣлые годы будутъ ненавидѣть и презирать всѣ, цѣлой массой; его не поймутъ, и главное, не повѣрятъ ему.* Онъ не другъ и не товарищъ, и хоть достигнетъ онъ наконецъ, съ годами, того, что его обижать не будутъ, но всетаки онъ будетъ не свой, и вѣчно мучительно будетъ сознавать свое одиночество и отчужденіе. Это отчужденіе дѣлается иногда совсѣмъ безъ злобы со стороны арестантовъ, а такъ, безсознательно. Не свой человѣкъ, да и только; а ничего нѣтъ ужаснѣе, какъ жить не въ своей средѣ. Мужикъ же, переведеный изъ Таганрога въ Петропавловскій портъ, тотчасъ же найдетъ тамъ такого-же точно русскаго мужика, тотчасъ же сговорится и сладится съ нимъ, а черезъ два часа они пожалуй заживутъ самымъ мирнымъ образомъ въ одной избѣ или шалашѣ». Волей неволей Достоевскому пришлось помириться съ своимъ уеди-

неніемъ и сосредоточиться исключительно на жизни внутренней, жизни своего сердца.

«Несмотря на сотни товарищей,—говоритъ онъ,—я былъ въ страшномъ уединеніи и полюбилъ, наконецъ, это уединеніе. Одинокій душевно, я пересматривалъ всю прошлую жизнь мою, перебиралъ все до послѣднихъ мелочей, вдумывался въ мое прошедшее, судилъ себя одинъ неумолимо и строго, и даже въ иной часъ благословлялъ судьбу за то, что она послала мнѣ это уединеніе, безъ котораго не состоялись-бы ни этотъ судъ надъ собой, ни этотъ строгій пересмотръ прежней жизни. И какими надеждами забилось тогда мое сердце! Я думалъ, я рѣшилъ, я клялся себѣ, что ужь не будетъ въ моей будущей жизни ни тѣхъ ошибокъ, ни тѣхъ паденій, которыя были прежде. Я начертилъ себѣ программу всего будущаго и положилъ твердо слѣдовать ей. Во мнѣ возродилась слѣпая вѣра, что я все это исполню и могу исполнить... Я ждалъ, я звалъ поскорѣе свободу; я хотѣлъ испробовать себя вновь, на новой борьбѣ. Порой захватывало меня судорожное нетерпѣніе. Но мнѣ было больно вспоминать теперь о тогдашнемъ настроеніи души моей»

Тяжело это, конечно, чувствовать себя одинокимъ среди сотенъ товарищей, не имѣть человѣка, съ которымъ можно бы подѣлиться думами своего наболѣвшаго сердца,—еще тяжелѣе укрощать въ себѣ постоянно накапливающуюся энергію, судорожные порывы къ дѣятельности,—ограничить свою жизнь однимъ углубленіемъ въ себя самого, въ воспоминанія о прежнихъ ошибкахъ и заблужденіяхъ, и наблюдать все ту же однообразную, уже опостылѣвшую обстановку. Въ этихъ грязныхъ и мрачныхъ палатахъ, среди чужихъ людей, не понимавшихъ его, не вѣровавшихъ въ него, Достоевскій все больше и больше, въ глубинѣ души своей, сталъ проникаться смиреніемъ. Могучимъ потокомъ лилось оно изъ постоянно читавшагося и перечитывавшагося Евангелія, изъ всей окружающей его обстановки, въ сравненіи съ которой онъ могъ не чувствовать себя такимъ маленькимъ, такимъ ничтожнымъ.

*Сила* жизни, представляемая этими высокими стѣнами острога, черезъ которыя *нельзя* пройти, этой жестокостью и вмѣстѣ съ тѣмъ *непреложностью* установленныхъ кѣмъ-то другимъ правилъ, которыя распоряжаются тобой какъ хотятъ, безъ всякаго вниманія къ *личной* твоей волѣ, безъ всякой заботы о личномъ твоемъ счастьѣ, наконецъ эта внушительная масса клейменыхъ каторж-

ныхъ, не хотящихъ признавать тебя, вѣрить въ тебя, прямо тебя *отрицающихъ*—все это произвело, да и не могло не произвести, на личность Достоевскаго подавляющее впечатлѣніе.

Самая жизнь заставила его смириться, и въ этомъ новомъ настроеніи духа онъ осудилъ самого себя, свои прежнія увлеченія, свою прошлую дѣятельность, потому что вся она имѣла источникомъ—сознаніе своей силы, служеніе своей волѣ, властное и требовательное отношеніе къ жизни вообще.

Въ этомъ раскаяніи, въ этомъ признаніи, что постигшая его кара вызвана его же собственными ошибками, заслужена, — онъ находилъ своеобразное и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ понятное утѣшеніе. Это не фатализмъ, но простой выводъ изъ христіанскаго ученія: личность свободна, а значитъ и отвѣтственна.

Читая одно Евангеліе, видя себя постоянно одинокимъ, маленькимъ, онъ смирился. Но отсюда до мистицизма еще далеко. Надо согласиться, что въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома» даже не пахнетъ мистицизмомъ — а написаны онѣ уже 10 л. спустя послѣ каторги; въ нихъ даже удивительно трезвый, удивительно здоровый взглядъ на человѣка и требованія человѣческой природы. Но уже съ этого времени лично въ отношеніи къ себѣ Достоевскій сталъ, прежде всего, проповѣдывать смиреніе, отрицать всякое властное, требовательное стремленіе въ жизни. Жизнь большая, удивительно большая, *неизвѣданной глубины* вещь. Не тебѣ, маленькому, слабосильному человѣку, возставать противъ нея. Ты и работать то-не умѣешь, и понимать жизни не умѣешь: просто не знаешь ея. Чего надо тебѣ? Своего счастья, удовлетворенія всѣхъ своихъ желаній? Но развѣ этого достаточно? Развѣ это не худшее рабство въ рукахъ собственныхъ страстей? Смирись прежде всего самъ. Посмотри, чѣмъ жилъ ты, что въ тебѣ есть, сколько тамъ, на днѣ души твоей, мелочности, подлости, пошлости. И не подступайся къ народу съ *своимъ* идеаломъ счастья, не навязывай ему *своего*: онъ знать тебя не хочетъ, онъ не вѣритъ въ тебя. Заслужи сначала его любовь, его расположеніе, его довѣріе. А способенъ ли ты хоть на это, хоть на эту дозу самоотреченія и самоограниченія, наградой за которое является и любовь, и довѣріе?.. Господствующей мыслью міросозерцанія становится: подавленіе своего «я» и *смиренное* служеніе другимъ.

Но вернемся къ разсказу. Несмотря на смиреніе и самобичеваніе, неутолимая жажда жизни оставалась. Достоевскій хотя

и называлъ, но совсѣмъ не считалъ себя «отрѣзаннымъ ломтемъ». Покинутая за Иртышемъ жизнь, оставленныя тамъ надежды изчезли не совсѣмъ. «Каторга будетъ длиться не вѣчность-же,—разсуждалъ онъ—Послѣ нея выйду на свободу, писать буду. Только не забыли ли *они* меня, примутъ-ли они меня опять въ свою среду? Не отсталъ ли я отъ нихъ?» Однажды въ руки ему попала книга журнала. Посмотрите, съ какой страстью набрасывается онъ на нее...

«Помню, я началъ читать съ вечера, когда заперли казарму, и прочиталъ всю ночь до зари. Это былъ номеръ одного журнала. Точно вѣсть съ того свѣта прилетѣла ко мнѣ; прежняя жизнь вся ярко и свѣтло возстала передо мною, и я старался угадать по прочитанному, много ли я отсталъ отъ этой жизни? много ли они прожили тамъ безъ меня; что ихъ теперь волнуетъ, какіе вопросы ихъ теперь занимаютъ? Я придирался къ словамъ, читалъ между строчками, старался находить таинственный смыслъ, намеки на прежнее; отыскивалъ слѣды того, что прежде, въ мое время, волновало людей, и какъ грустно мнѣ было теперь на дѣлѣ сознать, до какой степени я былъ чужой въ новой жизни, сталъ ломтемъ отрѣзаннымъ».

Между тѣмъ проходили годы. Наступалъ и послѣдній.

«Съ какимъ нетерпѣніемъ,—говоритъ онъ,—я ждалъ зимы, съ какимъ наслажденіемъ смотрѣлъ въ концѣ лѣта, какъ вянетъ листъ на деревѣ и блекнетъ трава въ степи» (на что люди въ нормальномъ положеніи смотрятъ всегда такъ грустно)... «Настала наконецъ эта зима, давно ожидаемая... Но странное дѣло: чѣмъ ближе подходилъ срокъ, тѣмъ терпѣливѣе и терпѣливѣе я становился... Замѣчу здѣсь мимоходомъ, что вслѣдствіе мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у насъ въ острогѣ какъ-то свободнѣе настоящей свободы, т. е. той, которая есть на самомъ дѣлѣ, въ дѣйствительности». «Наканунѣ самаго послѣдняго дня,—вспоминаетъ Достоевскій,—я обошелъ въ послѣдній разъ около паль весь нашъ острогъ... Здѣсь, здѣсь за казармами скитался я въ первый годъ моей каторги одинъ, сиротливый, убитый. Помню, какъ считалъ я тогда, сколько тысячъ дней мнѣ остается... На другое утро рано, еще передъ выходомъ на работу, когда только еще начинало свѣтать, обошелъ я всѣ казармы, чтобы попрощаться со всѣми арестантами. Много мозолистыхъ, сильныхъ рукъ протянулось ко мнѣ привѣтливо. Иные жали ихъ совсѣмъ по то-

варищески, но такихъ было немного. Другіе уже очень хорошо понимали, что я сейчасъ стану совсѣмъ другой человѣкъ, чѣмъ они... и прощались со мной хоть и привѣтливо, хоть и ласково, но далеко не какъ съ товарищемъ, а будто съ бариномъ. Иные отвертывались отъ меня и сурово не отвѣчали на мое прощаніе. Нѣкоторые посмотрѣли даже съ какою-то ненавистью»...

Но все-же годы испытанія кончились. «Да, съ Богомъ!—восклицаетъ самъ Достоевскій. Свобода, новая жизнь, воскресеніе изъ мертвыхъ... Экая славная минута»!..

* * *

Срокъ каторги окончился 2-го марта 1854 г. По окончаніи его, Достоевскій былъ зачисленъ рядовымъ въ сибирскій № 7 линейный батальонъ; 1-го октября былъ произведенъ въ прапорщики съ оставленіемъ при томъ же батальонѣ. Почти немедленно за этимъ возобновилась его переписка съ родными и друзьями, возобновилась и его литературная дѣятельность. Будучи въ Сибири, онъ написалъ «Дядюшкинъ сонъ», «Село Степанчиково». Тутъ же было задумано одно изъ лучшихъ его произведеній, «Записки изъ Мертваго Дома».

Пора однако, въ виду новыхъ событій въ жизни Достоевскаго, начать новую главу.

## V.

Возвращеніе изъ ссылки.—Изданіе „Времени“ и „Эпохи“.—Женитьба.—Годы за границей.

Изъ времени пребыванія Достоевскаго въ Сибири (послѣ каторги) мы пропустили одинъ эпизодъ—если и не особенно, быть можетъ, важный, то все-же, надо думать, очень характерный. Мы разумѣемъ любовь къ М. Д. Исаевой, закончившуюся женитьбой на ней Достоевскаго, въ Кузнецкѣ. *Кто* была М. Д.—мы отчасти знаемъ, *что* такое была она—остается неизвѣстнымъ и до сей поры. Хотя Достоевскій и вышелъ изъ острога больной (у него появилась падучая), безъ денегъ, но жажда жизни была сильнѣе всего: онъ поспѣшилъ влюбиться. Его любовь, какъ кажется, первая въ жизни была настоящей страстью. Какъ страсть, она вызывала ужасныя муки томленія, ревности. Повидимому, и М. Д. была не изъ спокойныхъ людей, а такая же подозрительная, ревнивая, мучительная натура, какъ и Достоевскій. Легко вообразить себѣ ихъ взаимныя отношенія, особенно если припомнить, что оба въ то время были буквально нищіе люди, что еще увеличивало ихъ и такъ уже тревожное настроеніе. Достоевскій любилъ, повидимому, съ какимъ-то самоотверженіемъ. По крайней мѣрѣ когда послѣ одной изъ безчисленныхъ ссоръ и «разставаній» будущая жена его увлеклась кѣмъ-то другимъ, вотъ что писалъ онъ о ней барону Врангелю, не совсѣмъ удачно принявъ на себя (вѣрнѣе, *вообразивъ*) роль друга: «Нельзя-ли пошевелить это дѣло, (т. е. выдачу пособія) чтобы оно разрѣшилось въ пользу Марьи Дмитріевны. Въ ея положеніи такая сумма цѣлый капиталъ, а въ теперешнемъ положеніи—ея единственный выходъ. Я трепещу, чтобы она, не дождавшись этихъ денегъ, не вышла замужъ. У *него* (кто это *онъ*—неизвѣстно), ничего нѣтъ, у ней—тоже». Послѣ этой ссоры, влюбленные

однако примирились. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ Достоевскій пишетъ тому-же Врангелю: «Если не помѣшаетъ одно обстоятельство, то я до масляницы женюсь—вы знаете на комъ. Она же (Мар. Дм.) любитъ меня до сихъ поръ. Она сама сказала мнѣ: *«да»*. *То, что я писалъ вамъ объ ней лѣтомъ* (объ ея увлеченіи другимъ), мало имѣло вліянія на ея привязанность ко мнѣ. Она скоро разувѣрилась въ своей новой привязанности. Еще лѣтомъ, по письмамъ ея, я зналъ объ этомъ. Мнѣ было все открыто. Она никогда не имѣла тайнъ отъ меня. О, еслибъ вы знали, что это за женщина!» Это уже тонъ восторженно-влюбленнаго. Повторяю, эпизодъ очень характерный, хотя и страшно скомканный, какъ въ біографіи, такъ и въ воспоминаніяхъ и даже въ письмахъ. Любопытна вотъ какая черта: Достоевскій самъ страстно влюбленный, беретъ на себя роль друга во время разрыва, устраиваетъ, по крайней мѣрѣ заботится о чужомъ благополучіи наперекоръ собственному, и это несмотря на свою страсть, на всю свою ревнивость. Моментъ сложный, едва затронутый самимъ Достоевскимъ въ его романѣ «Бѣсы»... Что это—самопожертвованіе, психопатическое смиреніе или, наконецъ, невѣроятная способность *самосочиненія*, которой такъ много у Достоевскаго? Вообразилъ себя человѣкъ вотъ такимъ-то, потомъ и дѣйствуетъ по воображенному образцу.

Но все-же несомнѣнно, что Достоевскій любилъ. Самъ онъ впослѣдствіи (1865 г.), въ письмѣ къ Врангелю, такъ характеризуетъ свою семейную жизнь съ Марьей Дмитріевной: «Другое существо, любившее меня и которое я любилъ безъ мѣры, жена моя, умерла въ Москвѣ, куда переѣхала за годъ до смерти своей отъ чахотки. Я переѣхалъ вслѣдъ за нею, не отходилъ отъ ея постели всю зиму 1864 г., и 16 апрѣля прошлаго года она скончалась, въ полной памяти, прощаясь, вспоминая всѣхъ, кому хотѣла въ послѣдній разъ отъ себя поклониться, вспомнила и объ васъ. Помяните ее хорошимъ, добрымъ воспоминаніемъ. О другъ мой, она любила меня безпредѣльно, я любилъ ее тоже безъ мѣры, *но мы не жили съ нею счастливо*. Все разскажу вамъ при свиданьи,—теперь-же скажу только то, что не смотря на то, что мы были съ ней положительно несчастны вмѣстѣ (по ея странному, мнительному и болѣзненно-фантастическому характеру), мы не могли перестать любить другъ друга, даже чѣмъ несчастнѣе были, тѣмъ болѣе привязывались другъ къ другу. Какъ ни странно это,

а это было такъ. Это была самая честнѣйшая, самая благороднѣйшая и великодушнѣйшая женщина изъ всѣхъ, которыхъ я зналъ во всю жизнь. Когда она умирала,—я хоть мучился, видя (весь годъ), какъ она умираетъ, хоть я цѣнилъ и мучительно чувствовалъ, что́ я хороню съ нею,—но никакъ не могъ вообразить, до какой степени стало больно и пусто въ моей жизни, когда ее засыпали землею. И вотъ ужъ годъ, и чувство все то-же, не уменьшается»...

Какъ бы то ни было, Достоевскій сейчасъ-же послѣ каторги вступилъ въ свою колею. Это—колея авансовъ, безденежья, литературной кабалы. Но тутъ уже она вызывалась дѣйствительной необходимостью. Сотни были забраны у Каткова, Кушелева и т д. Плещеевъ одолжилъ Достоевскому 1000 р. Эти деньги просто спасли его, и, благодаря имъ, онъ могъ выбраться изъ Сибири. Кстати: напрасно, повторяю, Достоевскій, а за нимъ и другіе полагали, что каторга изцѣлила его отъ душевной болѣзни. Это ужъ слишкомъ дешевая мысль. А наговорили по поводу ея куда какъ много. И О. Миллеръ наговорилъ, и Майковъ наговорилъ. Не въ нихъ однако дѣло: дѣло въ томъ, что Достоевскій остался такимъ же нетерпѣливымъ, мнительнымъ, истеричнымъ, неувѣреннымъ въ себѣ, какъ и до ссылки. Это дальнѣйшая біографія его достаточно подтверждаетъ. Ужъ терпѣнія въ немъ не было никакого. Онъ и оды изъ Сибири пишетъ на манеръ Карамзинскихъ, и прошеніями забрасываетъ, и просто мечется на одномъ мѣстѣ. Въ офицеры вышелъ — сейчасъ въ отставку, потомъ сейчасъ—въ Тверь, потомъ сейчасъ—въ Петербургъ. Хлопотъ много, безпокойствъ куча, начаты десятки произведеній, въ головѣ ежеминутно зарождаются новыя темы. Наконецъ-то зимою 1859 года онъ, благодаря стараніямъ и собственнымъ, и друзей, очутился въ Петербургѣ, съ женой и пасынкомъ.

* * *

Надо припомнить, какое это было время. Тогда начинались и почти уже заканчивались такъ называемые 60-ые годы, по пословицѣ «безъ году недѣля». Но сдѣлано за эти *дни* было такъ много, что мы еще и теперь додѣлываемъ и передѣлываемъ тогда начатое. За эту эпоху обыватель получилъ *личность*, да еще какую, всю совокупность тѣхъ качествъ, которыя украшаютъ человѣческую особь, право говорить, писать, даже думать посвоему, т. е. совсѣмъ по программѣ, изложенной въ знаменитыхъ стихахъ Фелицы. Какъ люди многоопытные и многозна-

ющіе, мы не можемъ, конечно, не произнести безъ нѣкоторой усмѣшки: идеалистъ былъ обыватель 60-хъ годовъ; но его идеализмъ былъ идеализмомъ земли. Онъ заботился о земномъ счастьѣ всѣхъ, интересовался только практическими вопросами и задачами, съ презрѣніемъ отвергалъ всякую метафизику и схоластику, и твердо вѣрилъ, что завтра «все это исполнится». Общественное возбужденіе было громадно. Происходила всеобщая эмансипація—мужика, дѣтей, гражданина. Всѣ считали себя призванными рѣшать, а если не рѣшать, то по крайней мѣрѣ обсуждать. Обсуждали дѣйствительно много... и надо согласиться, что въ темахъ для обсужденія недостатка не чувствовалось: новая жизнь, новые принципы, съ такой геніальной смѣлостью, съ такой глубокой внутренней правдой провозглашенные съ высоты престола, должны были, какъ всѣми эти сознавалось, открыть новую эру и новый періодъ русской исторіи. *Старое* возбуждало негодованіе, ненависть, злобу. Точно проснувшись отъ вѣкового сна, обыватель осмотрѣлся и увидѣлъ, что куда ни кинь—повсюду традиція и при томъ «не изъ лучшихъ», повсюду недостатки и при томъ коренные. Тамъ—тьма невѣжества, здѣсь лицемѣріе, въ третьемъ мѣстѣ приниженность, отъ которой и больно, и совѣстно становится на душѣ. Работы—сколько угодно: надо сносить цѣлыя груды мусора, подъ которыми безсильно и со стономъ пропадаетъ свободный человѣкъ, надо ободрить прежде всего этого самаго человѣка, слишкомъ робкаго и забитаго, чтобы можно было ожидать отъ него какихъ либо цѣлесообразныхъ поступковъ. Очертя голову люди принялись за работу; къ тому-же самому дѣлу съ восторгомъ и умѣніемъ протягивались тысячи рукъ; всѣ были полны вѣры въ будущее и даже въ ближайшій завтрашній день. Обывателю некогда было передохнуть и задуматься, некогда было засѣсть въ свой кабинетъ и сочинять философскія системы, съ тѣмъ чтобы съ точки зрѣнія общихъ принциповъ оправдывать свои поступки. Понукаемый вѣрой въ необходимость все пересоздать и все переустроить, постоянно занятый удовлетвореніемъ все новыхъ и новыхъ потребностей жизни, обыватель любилъ мысли ясныя и общедоступныя, такъ сказать прямо ведущія къ дѣлу. «Просвѣщеніе полезно»—говорилъ обыватель, и сейчасъ-же въ его головѣ возникала картина такого жизнеустройства, когда въ каждой деревушкѣ и притомъ на самомъ видномъ мѣстѣ будетъ стоять школа, а въ ней «любящій и преданный своему дѣлу преподаватель» станетъ

толковать своимъ ученикамъ, что никакой буки на свѣтѣ нѣтъ, а есть только одно невѣжество и тьма непониманія... «Женщины хотятъ учиться!»—«Ну и пускай ихъ учатся!» восклицалъ обыватель и начиналъ проэктъ о пятиэтажномъ зданіи, въ которомъ не токмо краткія начатки, но и высшая математика будутъ преподаваться интересующимся ими дамамъ и барышнямъ. Обыватель того времени терпѣть не могъ ни эстетики, ни покаянія, ни философіи, предпочитая имъ краткія правила, съ которыми можно сейчасъ-же приступить къ осушенію болотъ и обращенію безплодныхъ степей въ засѣянную ниву. Вѣчно преслѣдуя практическія цѣли, онъ былъ нѣсколько доктринеромъ, нѣсколько нетерпимымъ, немного педантомъ и скучнымъ. Гнался онъ не за оригинальнымъ, а за полезнымъ; безъ всякаго сожалѣнія выбрасывалъ онъ изъ головы тѣ мысли, которыя мѣшали его работѣ и заставляли съ меланхолическимъ видомъ спрашивать о цѣляхъ бытія. «Ну, что-же такое, что я эгоистъ?—восклицалъ онъ.—Мнѣ можетъ быть хорошо, когда всѣмъ хорошо, слѣдовательно»... И онъ усаживался за писаніе какого нибудь трактата о вентиляціи. Онъ, т. е. тогдашній обыватель, былъ рѣзокъ, съ презрѣніемъ отворачивался отъ споровъ на тему о свободѣ воли, началѣ всѣхъ началъ и пр. «Свобода воли!—горячился онъ... Позвольте... Вѣдь пошехонская губернія голодаетъ... А почему голодаетъ? Потому что кобылка весь хлѣбъ съѣла. А почему кобылка весь хлѣбъ съѣла? Потому что мужикъ не знаетъ, что съ ней дѣлать. А почему онъ не знаетъ, что съ кобылкой дѣлать? Потому что мы, баре интеллигентные, штудируемъ Гегеля и т. д. Работать надо, работатъ!» и обыватель съ упоеніемъ бросался въ самую свалку жизни...

Очевидно, какую роль при подобной точкѣ зрѣнія на жизнь должна была пріобрѣсти журналистика. Осматриваться и писать книги было некогда: жизнь шла такъ быстро, что и ежемѣсячники едва могли удовлетворять вдругъ пробудившуюся въ читателяхъ потребность знать все и судить обо всемъ. Подъ напоромъ общаго возбужденія старая жизнь отступала, новое, являвшееся на мѣсто ея, требовало и новыхъ свѣдѣній, и новыхъ принциповъ. Писать книги, обобщать взгляды, систематизировать мнѣнія было, повторяю, некогда и журналистика пріобрѣла первенствующее положеніи въ дѣятельности русской интеллигенціи. По своему практическому характеру она подходила такъ сказать вплотную къ жизни, наскоро давала общія точки зрѣнія и общіе принципы,

не выпуская изъ виду факта жизни. Тотъ-же практическій характеръ ея направленія дѣлалъ необходимой для него полемику и даже ожесточенную, такъ какъ ежеминутно задѣвались и личный эгоизмъ, и личные интересы. Словомъ журналъ сталъ всѣмъ, у него появилась своя философія, своя политика, своя поэзія и беллетристика: онъ былъ истинной осью русской интеллигентной мысли.

Достоевскій не остался, конечно, въ сторонѣ. Вмѣстѣ съ своимъ братомъ онъ задумалъ издавать журналъ «Время» и дѣйствительно издавалъ его слишкомъ два года. Журналъ пользовался успѣхомъ; на первый годъ у него было слишкомъ 2 тысячи подписчиковъ, на второй около 4-хъ, потомъ 4 и т. д. Ѳ. Достоевскій былъ и редакторомъ, и сотрудникомъ. Работалъ онъ поразительно много. Кромѣ невидной, но безконечно трудной редакторской работы, имъ написаны были для журнала «Униженные и оскорбленные» и «Записки изъ мертваго дома». Литературно-критическихъ статей, фельетоновъ, замѣтокъ о заграничной поѣздкѣ мы уже не считаемъ.

Сотрудники «Времени», потомъ «Эпохи» (Страховъ, Достоевскій, Ап. Григорьевъ) имѣютъ особенное наименованіе: *почвенники*. По поводу этой «почвенности» намъ надо сказать нѣсколько словъ. Въ сущности, это попытка примирить славянофильство и западничество въ русскомъ смыслѣ, т. е. съ цѣлью создать самостоятельное русское міросозерцаніе. Совсѣмъ не увлекаясь панславизмомъ, почвенники требовали для Россіи безусловной гегемоніи, признавали за ней какъ политическое, такъ и духовное первенство среди другихъ славянскихъ племенъ. У славянофиловъ они заимствовали идею о необходимости возвратиться къ основамъ народной жизни, отъ которыхъ насъ отвлекла излишняя подражательность, излишнее лакейство и холопство передъ Европой. Но европейской культуры они не отрицали, только требовали, чтобы она не подавляла русской самобытности, чтобы она была переработана и стала органическимъ элементомъ русской жизни. Европейская культура это только *средство*, а *не цѣль* для выясненія русскаго самобытнаго духа. Россія велика, и велика именно въ духовномъ, нравственномъ отношеніи. Она выше другихъ государствъ, какъ представительница нравственнаго начала. Это нравственное начало примиритъ въ концѣ концовъ всѣ противорѣчія западной жизни, и построенная на немъ русская культура завершитъ европейскую. Нравственное же начало, это начало *любви*, которая выше всѣхъ политическихъ и эконо-

мическихъ явленій. Поэтому: пользуясь европейской культурой, какъ средствомъ, не надо забывать, что суть-то, цѣль не въ томъ, чтобы стать европейцами, а въ томъ, чтобы пробудить въ себѣ заснувшую, заглохшую отъ холопства передъ Европой *самобытность*.

Благодаря главнымъ образомъ произведеніямъ самого Достоевскаго, «Время», повторяемъ, пользовалось успѣхомъ. Его погубила одна изъ самыхъ странныхъ статей, когда либо появлявшихся въ русской литературѣ, статья Страхова «Роковой вопросъ». Ея никто не понялъ. Многіе изъ публики остались ею недовольны, такъ какъ полагали, что въ ней выражена антипатія къ полякамъ; «Московскія Вѣд.» приняли статью за рѣзкое полонофильское profession de foi, и петербургская цензура запретила за нее журналъ.

О своей жизни за это время самъ Достоевскій разсказываетъ слѣдующее: «Я сотрудничалъ своему брату во «Времени». Все шло прекрасно. Мой «Мертвый домъ» сдѣлалъ буквально фуроръ и я возобновилъ имъ свою литературную репутацію. У брата были огромные долги при началѣ журнала и тѣ стали оплачиваться,—какъ вдругъ въ 1863 г., въ маѣ, журналъ былъ запрещенъ за одну самую горячую и патріотическую статью, которую ошибкой приняли за самую возмутительную... Дѣло скоро поняли какъ надо, но ужъ журналъ былъ запрещенъ. Братъ выхлопоталъ себѣ позволеніе продолжать журналъ подъ названіемъ «Эпоха». Позволеніе вышло только въ концѣ февраля 1864 г. 1-й номеръ не могъ появиться раньше 20-го марта. Новыхъ подписчиковъ не было, пришлось досылать «Эпоху» вмѣсто «Времени» за 6 рублей въ годъ. Братъ долженъ былъ дѣлать долги, здоровье-же его стало разстраиваться. Меня подлѣ него въ это время не было. Я былъ въ Москвѣ подлѣ умиравшей жены моей. Схоронилъ ее. Бросился въ Петербургъ къ брату,—онъ одинъ у меня оставался; черезъ три мѣсяца умеръ и онъ, прохворавъ всего мѣсяцъ. Послѣ брата осталось всего 300 руб., и на эти деньги его похоронили. Кромѣ того до 25 т. долгу. Семейство его осталось буквально безъ всякихъ средствъ,—хоть ступай по міру. Я у нихъ остался одной надеждой, и они всѣ, и вдова и дѣти, сбились въ кучу около меня, ожидая отъ меня спасенія. Брата моего я любилъ безконечно,—могъ-ли я ихъ оставить? — Я рѣшился. Поѣхалъ въ Москву, выпросилъ у старой и богатой моей

тетки 10000 рублей и, воротившись въ Петербургъ, сталъ издавать журналъ. Но дѣло было уже сильно испорчено: требовалось выпросить разрѣшеніе цензурное издавать журналъ. Дѣло затянулось такъ, что только въ концѣ августа могла появиться іюньская книжка. Подписчики, которымъ ни до чего дѣла нѣтъ, стали негодовать. Имени моего не позволила мнѣ поставить цензура ни какъ редактора, ни какъ издателя. Надобно было рѣшиться на мѣры энергическія. Я сталъ печатать разомъ въ трехъ типографіяхъ, не жалѣлъ денегъ, не жалѣлъ здоровья и силъ. Редакторомъ былъ одинъ я, читалъ корректуры, возился съ авторами, съ цензурой, поправлялъ статьи, доставалъ деньги, просиживалъ до шести часовъ утра, спалъ по 5 часовъ въ сутки и ввелъ въ журналъ порядокъ, но было уже поздно... На 1865 г. у насъ осталось только 1300 подписчиковъ. Теперь мы не можемъ за неимѣніемъ денегъ издавать журналъ и должны объявить временное банкротство, а на мнѣ кромѣ того 16000 долгу по векселямъ и 5000 на честное слово... О, другъ мой, я охотно бы пошелъ опять въ каторгу на столько-же лѣтъ, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободнымъ. Теперь опять начну писать романъ изъ подъ палки, т. е. изъ нужды, наскоро. Онъ выйдетъ эффектенъ. Но того-ли мнѣ надобно! Работа изъ нужды, изъ-за денегъ задавила, съѣла меня. И все таки для начала мнѣ нужно теперь три тысячи! Бьюсь по всѣмъ угламъ, чтобы достать ихъ,—иначе погибну! Чувствую, что только случай можетъ спасти меня! Изъ всего запаса моихъ силъ и энергіи осталось у меня на душѣ что-то тревожное и смутное, что-то близкое къ отчаянію. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояніе и въ добавокъ—одинъ... А между тѣмъ все мнѣ кажется, что я только что собираюсь жить. Смѣшно, неправда-ли? Кошачья живучесть!..»

Начинается эпоха большихъ романовъ, какой-то судорожной и порывистой дѣятельности, во время которой въ грудѣ неудобочитаемаго, наскоро написаннаго матеріала вдругъ мелькаетъ молнія не знающаго равнаго себѣ генія.

***

Лѣтомъ 1865 года (послѣ паденія «Эпохи», смерти брата Михаила, а также первой жены) Достоевскій уѣхалъ за-границу. Несмотря на ужасное состояніе духа, болѣзнь, возню съ кредиторами, онъ какимъ то удивительнымъ подъемомъ генія написалъ въ это

время лучшій свой романъ «Преступленіе и наказаніе». Успѣхъ былъ поразителенъ; романъ читали и зачитывались имъ, и рѣдкіе недовольные голоса были какъ то совершенно неслышны. Здѣсь, въ этомъ романѣ, Достоевскій рѣзко перемѣнилъ тему и главнымъ дѣйствующимъ лицомъ вывелъ уже не униженнаго и оскорбленнаго, а свой излюбленный впослѣдствіи типъ—кающагося нигилиста. Раскольниковъ—это властный, требовательный человѣкъ, который воображаетъ, что онъ имѣетъ какое то особенное, исключительное право на жизнь, что онъ одинъ можетъ возстать на все общество, «преступить» можетъ всѣ его узаконенія, нравы, вѣрованія во имя своей личной воли, во имя требованій своей личной мысли. За это Достоевскій безжалостно казнитъ его, заставляетъ совершить ужь совсѣмъ ненужное преступленіе (убійство Елизаветы), отправляетъ на каторгу. Душа такого гордаго, самомнящаго интеллигента нуждается въ очищеніи. Это очищеніе можетъ быть дано только страданіемъ. Суть жизни, правда ея—въ смиреніи. Слѣдовательно, въ этомъ романѣ Достоевскій выяснился и высказался вполнѣ. Потомъ онъ постоянно повторяетъ ту же тему, постоянно злобствуетъ, ненавидитъ оторванную отъ народа и христіанской правды интеллигенцію и постоянно «пытаетъ» ее въ своихъ романахъ. Но странная вещь—неужели этотъ самый Раскольниковъ не униженный и не оскорбленный? За что-же такъ преслѣдовать, такъ ненавидѣть его, такъ настойчиво лечить каторгой? Вѣдь онъ боленъ—это во первыхъ, вѣдь онъ нищій—это во вторыхъ, вѣдь онъ одинокъ въ этой жестокой, равнодушной окружающей его жизни... А между тѣмъ Достоевскій безъ всякаго колебанія выноситъ ему обвинительный приговоръ! Десятки разъ повторенная основная идея романа гласитъ: «человѣческая личность свободна, а слѣдовательно и отвѣтственна. Грѣхъ предполагаетъ наказаніе и это наказаніе нужно, необходимо нужно для нравственнаго очищенія... но, какъ приложить эту теорію къ героямъ самого Достоевскаго? Всѣ они почти безъ исключенія психопаты, такимъ же психопатомъ является и Раскольниковъ. Мы видимъ передъ собой истеричныхъ, эпилептиковъ и пр. и понимаемъ съ точки зрѣнія здраваго смысла, что ихъ прежде всего лечить надо, а Достоевскій говоритъ: «въ каторгу», куда онъ и отправляетъ для излеченія Раскольникова. Художественнымъ геніемъ, безсознательнымъ процессомъ проникновенія великій романистъ самъ оправдалъ всѣхъ своихъ преступниковъ, но какъ мыслитель, становясь на

точку зрѣнія абсолютнаго индивидуализма, признавая свободу воли, вынесъ всѣмъ своимъ сумасшедшимъ обвинительный приговоръ. И приходится согласиться, что ни въ чемъ такой глубины анализа, ни въ чемъ такой дивной художественности, ни въ чемъ такой жестокой несправедливости не проявилъ Достоевскій, какъ именно въ лучшемъ своемъ романѣ.

Несмотря на большія деньги, полученныя за «Преступленіе и наказаніе», Достоевскій все-же сидѣлъ безъ гроша. Цѣлыя тысячи пошли на уплату долговъ и, только что окончивъ одну большую работу, онъ сейчасъ же поступаетъ въ кабалу къ нѣкоему издателю Стелловскому. Тотъ купилъ право изданія его сочиненій за 3000 р. и въ добавленіе потребовалъ отъ него новаго, нигдѣ не напечатаннаго романа. Былъ назначенъ срокъ, опредѣлена неустойка. Достоевскій, начавъ работать для Стелловскаго, ясно увидѣлъ, что если онъ будетъ писать, то не успѣетъ закончить романъ. Пришлось *диктовать*, и диктовалъ онъ своей будущей женѣ, Аннѣ Григорьевнѣ, которая записывала за нимъ стенографически. Анна Григорьевна приходила обыкновенно къ Достоевскому около полудня и работала до 2-хъ или 3-хъ часовъ. Сначала Достоевскій прочитывалъ то, что было продиктовано имъ наканунѣ, а потомъ диктовалъ дальше. Такая каторжная работа продолжалась три недѣли. Но повѣсть все-же удалось окончить, и нѣтъ худа безъ добра: за это время Ѳед. Мих. успѣлъ сблизиться съ Анной Григорьевной и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ (15 фев. 1867 г.) женился на ней.

Слѣдующіе 4 года Достоевскій провелъ за границей, преимущественно въ Германіи и Швейцаріи. Дефицитъ былъ конечно хроническимъ [1]); въ Женевѣ, напр., приходилось занимать по 5 или 10 франковъ у Огарева; часто дѣло доходило до того, что надо было закладывать платье, гнѣздиться въ одной комнатѣ и т. д. И это несмотря на самую усиленную работу—«по громадному роману въ годъ»: въ 1868 былъ написанъ «Идіотъ», въ 1869 повѣсть «Вѣчный мужъ», въ 1870-омъ «Бѣсы». Въ письмахъ своихъ за это время Достоевскій постоянно жалуется на нищету, на то что женѣ его приходится зимой закладывать послѣднюю шерстяную юбку, а самому ему—панталоны, чтобы получить два талера для

---

[1]) Кромѣ уплаты долговъ, Достоевскому приходилось еще много помогать семьѣ покойнаго брата, содержать своего пасынка и т. д.

телеграммы; жалуется на болѣзнь, на такое утомленное состояніе духа, что «не пишется». Съ какимъ-то отчаяніемъ восклицаетъ онъ: «никакъ, ну, никакъ не могу писать болѣе $3^1/_2$ листовъ въ мѣсяцъ. Это ужасно!»

Любопытныя подробности о его творческой работѣ мы находимъ въ этихъ-же письмахъ. Вотъ онѣ: «Не отвѣтилъ я вамъ до сихъ поръ потому, что буквально сидѣлъ, не разгибая шеи, за романомъ въ «Рус. Вѣст.» До того не удавалось, до того много разъ пришлось передѣлывать, что я наконецъ далъ себѣ слово не только не читать и не писать, но даже и не глядѣть по сторонамъ, прежде чѣмъ кончу то, что задалъ себѣ. И это вѣдь еще только самое первое начало. Говорятъ, что тонъ и манера разсказа должны у художника зарождаться сами собой. Это правда, но иногда въ нихъ сбиваешься, ихъ ищешь. Однимъ словомъ, никогда никакая вещь не стоила мнѣ большаго труда. Въ началѣ, т. е. еще въ концѣ прошлаго года, я смотрѣлъ на эту вещь («Бѣсы») какъ на вымученную, какъ на сочиненную, смотрѣлъ свысока. Потомъ посѣтило меня вдохновеніе настоящее и вдругъ полюбилъ вещь, схватился за нее обѣими руками—давай черкать написанное. Потомъ лѣтомъ опять перемѣна: выступило еще новое лицо, съ претензіей на настоящаго героя романа, такъ что прежній герой сталъ на второй планъ. Новый герой до того плѣнилъ меня, что я опять принялся за передѣлку». Горе въ томъ, что все это надо къ сроку, наскоро. Начало уже послано въ типографію «и вдругъ—пишетъ Ѳед. Мих.—я испугался: боюсь, что не по силамъ взялъ тему. Но серьезно боюсь, мучительно». «Эхъ—восклицаетъ онъ—если бы писать такъ, какъ пишетъ Тургеневъ». Рядомъ съ этимъ недовѣріе къ себѣ, даже къ своей репутаціи, боязнь, что редакція недовольна и пр. Повторяю — это невидная, но ужасная трагедія въ жизни Достоевскаго. Вся ненормальность, противоестественность работы на продажу, творческой къ тому-же работы—оставила такіе тяжелые, нехорошіе слѣды на дивныхъ произведеніяхъ генія! Рабъ, поденщикъ, литературный пролетарій—и всю свою жизнь такой! Тутъ есть отчего прійти въ отчаяніе.

Годы за границей тянулись скучно, однообразно. Мужу и женѣ обоимъ хотѣлось въ Россію, но и выѣхать не на что и кредиторы ждутъ тамъ. Свѣтъ и радость вносило въ жизнь только рожденіе дѣтей, ихъ лепетъ, ихъ первые шаги, но зато какъ мучительно было хоронить ихъ: «Охъ, Аполлонъ Николаевичъ,—пишетъ До-

стоевскій въ 1868 г. Майкову,—пусть, пусть смѣшна была моя любовь къ моему первому дитяти, пусть я смѣшно выражался объ ней во многихъ письмахъ многимъ поздравлявшимъ меня. Смѣшонъ для нихъ былъ только одинъ я, но вамъ, вамъ я не боюсь писать. Это маленькое 3-хъ мѣсячное созданіе, такое бѣдное, такое крошечное—для меня было уже лицо, характеръ. Она начинала меня знать, любить и улыбалась, когда я подходилъ. Когда я своимъ смѣшнымъ голосомъ начиналъ пѣть ей пѣсни, она любила ихъ слушать. Она не плакала и не морщилась, когда я ее цѣловалъ; она останавливалась плакать, когда я подходилъ. И вотъ теперь мнѣ говорятъ въ утѣшеніе, что у меня еще будутъ дѣти. А Соня гдѣ? Гдѣ эта маленькая личность, за которую я, смѣло говорю, крестную муку приму, чтобы только она была жива. Но, впрочемъ, оставимъ это: жена плачетъ. Послѣ завтра мы наконецъ разстанемся съ нашей могилкой и уѣдемъ куда нибудь».

## VI.

## Слава.

8-го іюня 1871 года, не видя никакого выхода изъ затруднительныхъ денежныхъ обстоятельствъ и въ то же время чувствуя, что оставаться долѣе за границей невыносимо, Достоевскіе вернулись въ Петербургъ. Въ 1873 г. Достоевскій, по предложенію князя Мещерскаго, сдѣлался редакторомъ «Гражданина», получая по 200 рублей въ мѣсяцъ, кромѣ платы за статьи. Въ 1875 г. имъ написанъ романъ «Подростокъ», который и былъ напечатанъ въ вѣчной памяти «Отечественныхъ Запискахъ» за 1875 годъ. Послѣдній фактъ заслуживаетъ нѣкотораго вниманія, показывая намъ, до какой высоты дошла слава Достоевскаго: журналы совсѣмъ другого направленія соглашаются печатать, и даже съ радостью, его произведенія. Въ 1876 году Достоевскій приступилъ къ изданію «Дневника писателя».

Денежныя обстоятельства его—фактъ въ біографіи Достоевскаго очень существенный—значительно поправились за это время. Анна Григорьевна, его жена, взяла на себя хлопоты по изданіямъ прежнихъ произведеній и такимъ путемъ доставила мужу доходъ отъ 2 до 3-хъ тысячъ руб. въ годъ. Много помогалъ и гонораръ: за «Подростка» напр. Достоевскій получалъ по 250 руб. съ листа, за «Братьевъ Карамазовыхъ» по 300 р., «Дневникъ писателя» также доставлялъ недурной доходъ: въ 1876 г. у него было 1980 подписчиковъ и, кромѣ того, въ розничной продажѣ каждый номеръ расходился въ 2 или 2,500 экземплярахъ. Нѣкоторые номера потребовали 2-го или даже третьяго изданія. Въ 1877 г. у «Дневника» было уже 3,000 подписчиковъ, да столько-же №№ расходилось въ розничной продажѣ. Одинъ №, выпущенный въ 1880 г., въ августѣ мѣсяцѣ, содержавшій въ себѣ знаменитую рѣчь

о Пушкинѣ, напечатанъ былъ въ 4,000 экз. и разошелся въ нѣсколько дней. Было сдѣлано новое изданіе въ 2,000 экз. и разошлось безъ остатка. Единственный № Дневника на 1881 г. печатался уже въ 8,000 экземплярахъ. Всѣ эти 8,000 были распроданы въ дни выноса и погребенія. Сдѣлано было второе изданіе въ 6,000 экз. и разошлось нарасхватъ.

Такимъ образомъ, мы, очевидно, вступили въ періодъ созрѣвшей уже и все возраставшей славы. Но эта слава достигла апогея во время печатанія въ «Рус. Вѣст.» и выхода въ свѣтъ знаменитаго послѣдняго романа «Братьевъ Карамазовыхъ»—удивительной эпопеи человѣческой мерзости, безпорядочности и психопатіи. По нашему мнѣнію, это высшее, что было написано Достоевскимъ, хотя критика, обыкновенно, отдаетъ преимущество «Преступленію и Наказанію» или «Запискамъ изъ Мертваго Дома». Но, какъ кажется, никогда Достоевскій не пытался сдѣлать такого широкаго захвата жизни, какъ именно «въ Братьяхъ Карамазовыхъ». Всѣ его особенности, вся его индивидуальность какъ нельзя болѣе полно вылились въ этомъ романѣ. Это, такъ сказать—его завѣщаніе, которое мы можемъ принять или отвергнуть, но не оцѣнить котораго по достоинству было бы грустно. Самъ Достоевскій, кстати сказать, придавалъ «Братьямъ Карамазовымъ» наибольшее значеніе. Онъ мучился этимъ романомъ цѣлыхъ десять лѣтъ. Первые намеки на него мы встрѣчаемъ въ письмахъ къ Майкову 1869 и 70 гг. Вотъ что пишетъ Достоевскій: «Это будетъ мой послѣдній романъ. Объемомъ въ «Войну и Міръ» и идею вы же похвалили,—сколько я покрайней мѣрѣ соображаюсь съ нашими прежними разговорами съ вами. Этотъ романъ будетъ состоять изъ пяти большихъ повѣстей. Повѣсти совершенно отдѣлены одна отъ другой, такъ что ихъ можно будетъ пускать въ продажу отдѣльно. Первую повѣсть я назначаю Каширеву: тутъ дѣйствіе еще въ 40-хъ годахъ. Общее названіе романа есть «*Житье великаго грѣшника*», но каждая повѣсть будетъ носить названіе отдѣльно. Главный вопросъ, который проведется во всѣхъ частяхъ—тотъ самый, которымъ я мучился сознательно и безсознательно всю мою жизнь—*существованіе Божье*. Герой впродолженіе жизни то атеистъ, то вѣрующій, то фанатикъ, то опять атеистъ. 2-я повѣсть будетъ происходить вся въ монастырѣ. На эту 2-ю повѣсть я возложилъ всѣ мои надежды. Можетъ быть скажутъ наконецъ, что не все писалъ пустяки. Хочу выставить Тихона Задонскаго, подъ другимъ

именемъ конечно. 13-ти лѣтній мальчикъ, участвовавшій въ совершеніи уголовнаго преступленія, развитый и развратный, будущій герой всего романа, посаженъ въ монастырь родителями (кругъ высшій, образованный) для исправленія и обученія... Главное— Тихонъ и мальчикъ»...

Въ этомъ абрисѣ трудно не узнать будущихъ Карамазовыхъ. Тихонъ преобразился въ Зосиму; 13-ти лѣтній мальчикъ въ Алешу. Въ томъ уже фактѣ, что мальчику 13 лѣтъ, видно, такъ сказать, предчувствіе карамазовщины, т. е. мерзкой наслѣдственности, которая, передавая ребенку похоти, портитъ его уже съ пеленокъ. Муки о существованіи Божіемъ воплощены въ Иванѣ Карамазовѣ и, дѣйствительно, никогда никакой атеистъ не опускался до такой глубины скептицизма и анализа, которая вложена въ легенду о великомъ инквизиторѣ.

Самъ Достоевскій, повторяю, этимъ романомъ дорожилъ больше всего; самая мысль романа была *самой* душевной его мыслью. Правъ онъ или не-правъ, но тутъ онъ весь, цѣликомъ. Одна психопатологическая сторона чего стоитъ: тутъ и галлюцинаты (Иванъ, Ѳерапонтъ), и мистики, и истеричные, и маньяки, мучители, эпилептики, нравственные автоматы, люди съ извращенными прихотями и вся страшная картина романа— (всеобщее какое-то бѣснованіе) развертывается на почвѣ мерзкой наслѣдственности — карамазовщины. Въ ней-то Достоевскій воплотилъ любимыя свои мысли, что «человѣкъ деспотъ отъ природы и стремится быть мучителемъ», что «тиранія есть привычка, обращающаяся въ потребность» и т. д.

Но, оставивъ въ сторонѣ подробности, постараемся покороче отвѣтить на вопросъ: что такое карамазовщина? Разсматривать ее можно различно—и съ точки зрѣнія науки, и съ точки зрѣнія самого Достоевскаго. Въ первомъ случаѣ — это наслѣдственный психозъ, которымъ страдаетъ цѣлая семья, во второмъ — это въ отцѣ и дѣтяхъ, т. е. въ двухъ поколѣніяхъ воплощенная грѣховность человѣка. Развратомъ въ романѣ занимаются почти всѣ: даже пятнадцатилѣтняя, истеричная Лиза и та «предлагаетъ себя» Ивану Карамазову. Но важнѣе этой физической грѣховности является другая—грѣховность души. Тутъ уже Достоевскій не поскупился на краски и, согласно съ своей теоріей, обобщилъ всю эту самую послѣдняго вида грѣховность въ одномъ и томъ же проявленіи—именно въ *отрицаніи*. Отрицается все: семья, об-

щество, нравственность, сама вѣра, самъ Богъ! Старикъ Карамазовъ не просто развратникъ и сластолюбецъ, онъ—атеистъ; Иванъ мучительно ищетъ вѣры, мучительно сомнѣвается; Алеша только *думаетъ*, что нашелъ ее въ монастырѣ; даже глупая г-жа Хохлакова и та «испытываетъ» силу божества, глупо, по-дѣтски, по бабьи, но все-же испытываетъ. У Карамазовыхъ и примыкающихъ къ нимъ нѣтъ Бога въ душѣ, оттого они не только развратники, но и преступники, дѣйствительные или «in spe»—безразлично. Въ невѣріи этомъ все зло ихъ жизни, вся путаница ихъ мыслей, причина ихъ рабства тѣлу и изломанности, исковерканности ихъ несчастнаго духа. Отецъ Карамазовъ такъ на цинизмѣ и застылъ; на сластолюбиваго старца возстала его-же кровь въ лицѣ Смердякова, и развратный богохульникъ гибнетъ, унося съ собой въ могилу неудовлетворенную похоть. Другіе Карамазовы (кромѣ Дмитрія) ищутъ вѣры, какъ бы понимая инстинктивно, что только она и можетъ спасти ихъ. Но найдутъ-ли они или нѣтъ—мы не знаемъ: романъ остался неоконченнымъ. Два тома — это лишь вступленіе къ грандіозной эпопеи ищущаго вѣры атеизма, но развязку все-же мы можемъ предчувствовать. Въ лицѣ старца Зосимы Достоевскій утверждаетъ, что есть выходъ изъ сомнѣній души, путаницы мыслей изъ безплодной невѣрующей жизни вообще. Зосима въ міру тоже былъ великимъ грѣшникомъ: распутничалъ, транжирилъ чужимъ трудомъ пріобрѣтенныя деньги, поднималъ руку на ближняго своего. Но въ раскаяніи, въ угры сніяхъ совѣсти онъ обрѣлъ новую внутреннюю силу, и эта сила, побѣдивъ похоть, возродила его. Это сила любви, смиренія,—смиренія прежде всего. Зосима ушелъ въ монастырь, но не отрѣшился отъ міра, не ударился на путь суроваго аскетизма, но сталъ благодѣтельствовать другимъ, забывши себя. Вѣра, чистая христіанская вѣра поселилась въ душѣ его, «міръ» приходитъ къ нему въ лицѣ своихъ страждущихъ и обремененныхъ, и Зосима благодѣтельствуетъ имъ въ духѣ любви и правды. Отсюда тотъ ровный и мягкій свѣтъ, который разливаетъ фигура Зосимы по страницамъ романа, гдѣ съ такой поражающей яркостью выставлены всѣ тревоги, всѣ муки человѣческой души и жизни.

Исходъ Карамазовщины, повторяю,—это путь личнаго усовершенствованія, черезъ смиреніе, черезъ отреченіе отъ своего «я», но не отъ людей.

«Братья Карамазовы» отвлекли Достоевскаго на цѣлыхъ три года отъ публицистической дѣятельности. Но онъ всегда мечталъ вернуться къ ней; его впечатлительную натуру, воспламенявшуюся отъ самаго незначительнаго факта, всегда тянуло къ злобѣ дня. Въ 1881 г. онъ опять началъ издавать «Дневникъ», но умеръ, не успѣвъ продержать послѣдней корректуры. Какъ бы то ни было— забыть о его публицистической дѣятельности никакъ нельзя: при помощи ея Достоевскій имѣлъ громадное вліяніе на общественную мысль.

Въ «Дневникѣ» много противорѣчій, путаницы, странныхъ мыслей; но въ общемъ онъ имѣетъ вполнѣ опредѣленное направленіе и ясно выраженную основную мысль. Это—прежняя проповѣдь почвенниковъ, въ болѣе рѣзкомъ видѣ. Съ величайшею нетерпимостью Достоевскій относится съ «хо опству» и «лакейству» передъ Европой и изыскиваетъ почву для русской самобытности. Эта почва — народный духъ, православно-христіанскіе идеалы, воспринятые народомъ. Такая почва—существуетъ, поэтому Россія выше Европы, поэтому ей должна принадлежать гегемонія европейской цивилизаціи. Тутъ уже, особенно въ разсужденіяхъ о внѣшней политикѣ, Достоевскій часто впадаетъ въ шовинизмъ. Что-же новаго даетъ Россія? Демократизмъ и нравственныя начала жизни. «Мы всѣ демократы сверху донизу»—любилъ говорить Достоевскій. Нравственныя-же начала - тоже наша исключительная собственность: въ Европѣ господствуетъ идея *класса* и *историческаго* права. Оттого-то она мертва,— неподвижна. Россія сразу величайшія противорѣчія жизни разрѣшаетъ нравственнымъ подъемомъ, любовью. Доказательство — освобожденіе крестьянъ съ *землею*: это не только политическая мудрость, не только профилактика противъ пролетаріата, это нѣчто большее— высоко-нравственное, любовное отношеніе къ народу.

Совершенно понятно, что къ подобнымъ мыслямъ, особенно когда онѣ выражены въ слишкомъ уже рѣзкой и самоувѣренной формѣ и пересыпаны утвержденіями вродѣ того напр., что Константинополь долженъ быть нашъ немедленно, сейчасъ-же,—можно относиться различно. Но такъ какъ здѣсь совсѣмъ не мѣсто полемизировать съ Достоевскимъ, то оставимъ въ сторонѣ всѣ его парадоксы и шовинистскія вскрикиванія. Не менѣе интересенъ вопросъ, чего ради художникъ Достоевскій взялся за публицистику? Что у его было много хорошихъ мыслей—это несомнѣнно; одинаково

несомнѣнно, что никакой системы эти мысли изъ себя не представляли и никакой программой объединены не были. Оттого-то ихъ характеръ такой случайный, отрывочный. Самъ Достоевскій признается въ этомъ: «когда, пишетъ онъ, я сажусь писать (для Дневника) у меня 10—15 темъ, не меньше, но темы, которыя я излюбилъ больше, я поневолѣ откладываю: мѣста займутъ много, жару возьмутъ много и вотъ пишешь не то, что хотѣлъ... Вѣрите ли вы, напр., тому, что я еще не успѣлъ уяснить себѣ форму Дневника, да и не знаю, налажу ли это когда нибудь, такъ что Дневникъ хоть и два года будетъ продолжаться, а все будетъ вещью неудавшеюся! Но-жаль, если пропадетъ много хоть мимолетныхъ, но цѣнныхъ впечатлѣній». Достоевскому хочется проникнуть въ самую глубину современности, изучить ее во всѣхъ подробностяхъ и конечно изобразить въ большомъ романѣ. Его особенно интересуетъ молодое поколѣніе, семья и «многое другое». Оттого-то онъ и ведетъ дневникъ, чтобы знать жизнь во всѣхъ ея подробностяхъ. Это—матеріалъ, для будущаго. Факты, впечатлѣнія, мысли—все должно заноситься туда, чтобы не забылись. То приходитъ къ нему курсистка и онъ выноситъ свѣтлое и радостное впечатлѣніе о русской молодежи, то удается ему посѣтить Воспитательный домъ или колонію для малолѣтнихъ преступниковъ, то выслушать интересное дѣло.. Набросанныя на черно впечатлѣнія являются въ Дневникѣ... Велика-же должна была быть слава Достоевскаго, чтобы такая необдѣланная случайная вещь пользовалась успѣхомъ и мало того оказывала большое вліяніе на много численный кругъ читателей.

Дневникъ Писателя, повторяемъ, пользовался громадной популярностью. Съ выпускомъ каждаго новаго нумера, раскупавшагося на расхватъ, росла и слава писателя. Несомнѣнно, что одно время Достоевскій былъ для большинства самымъ виднымъ явленіемъ русской жизни, ея пророкомъ и апостоломъ. Послѣ появленія «Братьевъ Карамазовыхъ», въ особенности-же послѣ Пушкинской рѣчи—его слава достигла апогея. И Достоевскій это чувствовалъ, сознавалъ это. Только теперь, послѣ тридцати лѣтней литературной дѣятельности, изчезло наконецъ мучительное невѣріе въ себя, свои силы. «Одно мое имя стоитъ милліона» не безъ тщеславія говорилъ онъ и въ сущности былъ совершенно правъ. Онъ видѣлъ какіе восторги возбуждаетъ онъ во всѣхъ своихъ читателяхъ, какое довѣріе питаютъ къ нему его многочисленные поклонники, и наконецъ то нашла земное успокоеніе его многострадальная, такъ

безжалостно истерзанная жизнью душа. Вѣдь что это за ужасная участь выпала на долю Достоевскаго, и стоитъ, хотя на минуту, припомнить главныя ея событія, чтобы почувствовать, какъ мурашки начинаютъ ползать по спинѣ. Тяжелая юность съ постоянными настойчивыми мыслями о самоубійствѣ, съ мучительно подозрительнымъ отношеніемъ къ себѣ и людямъ, юность безъ любви, безъ вѣры, полная отчаянія и меланхолическихъ припадковъ, съ призракомъ, только *соблазнившимъ* призракомъ славы и суровыми тисками матеріальной кабалы и зависимости. Горячее воображеніе рисуетъ картины нищеты и заброшенности, болѣзненная мнительность отравляетъ всякое наслажденіе и даже не даетъ подойти къ нему; слабая воля не умѣетъ справиться съ прихотями и человѣкъ становится ихъ рабомъ, понимая весь ужасъ этого рабства. Такова—юность, потомъ—каторга, тяжелые годы выжиданій, постоянной борьбы съ неудовлетворенной, придавленной жаждой жизни. Потомъ славная минута освобожденія, но, къ сожалѣнію, только минута. Матеріальныя затрудненія портятъ все, отравляютъ самыя восторги творчества. Генію приходится работать изъ за денегъ, вымучивать и выпытывать изъ себя длиннѣйшіе романы, чтобы хоть какъ нибудь свести концы съ концами. Наконецъ — слава Богу! — все это кончено: трудомъ, испытаніями, страданіемъ заработаны слава, достатокъ, спокойствіе духа и тѣмъ отраднѣе можно ими пользоваться. Достоевскаго не только признали, не только поставили рядомъ съ Тургеневымъ и Толстымъ, но и повѣрили въ него. Высшее для писателя наслажденіе—возможность руководить чужою мыслью, а слѣдовательно и чужою жизнью стало ему доступнымъ. Онъ становится спокойнымъ, самоувѣреннымъ. Самый тонъ его писемъ мѣняется: онъ ровнѣе, какъ бы отъ сознанія силы, и утерялъ свою нервность и раздражительность; постоянно отражается на немъ какое то умиленное настроеніе духа. Повторяю—не даромъ досталась Достоевскому слава, и въ каждомъ знакомомъ съ обстоятельствами его многострадальной жизни она не можетъ не возбудить чувства нравственной удовлетворенности....

Но пока вернемся на минуту къ «Дневнику».

Особенно интересовался въ немъ Достоевскій судебными процессами, положеніемъ русской женщины и войной за освобожденіе славянъ.

Достоевскій былъ горячимъ и неизмѣннымъ приверженцемъ

женскаго движенія. Въ майскомъ выпускѣ «Дневника» за 1876 г. онъ восторженно заявляетъ, что въ русской женщинѣ заключена «одна наша огромная надежда, одинъ изъ залоговъ нашего обновленія». «Возрожденіе русской женщины,—говоритъ онъ,—въ послѣднія 20 лѣтъ оказалось несомнѣннымъ. Подъемъ въ запросахъ ея былъ высокій, откровенный, безбоязненный. Онъ съ перваго раза внушилъ уваженіе, по крайней мѣрѣ заставилъ задуматься... Русская женщина *цѣломудренно* пренебрегла препятствіями и насмѣшками. Она твердо заявила о своемъ желаніи участвовать въ общемъ дѣлѣ и приступила къ нему не только безкорыстно, но и самоотверженно. Русскій человѣкъ въ эти послѣднія десяти лѣтія страшно поддался разврату стяжанія, цинизма, матеріализма, женщина же осталась гораздо болѣе вѣрна чистому поклоненію идеѣ, служенію идеѣ. Въ жаждѣ высшаго образованія она проявила серьезность, терпѣнье и представила примѣръ величайшаго мужества».

Совершенно естественно по этому, если женщины оказывали Достоевскому особенное вниманіе. То онѣ приходили къ нему на квартиру поговорить, познакомиться, посовѣтоваться, то писали ему безчисленныя письма, въ которыхъ излагали самое интимное своей жизни, требуя руководительства. Хотя и мало было у Достоевскаго свободнаго времени, такъ какъ онъ былъ заваленъ работой и по изданію Дневника, и по отдѣлкѣ Братьевъ Карамазовыхъ, однако онъ и для разговоровъ находилъ минуты и старался обстоятельно отвѣчать на всѣ письма и запросы. Онъ принималъ даже на себя различныя хлопоты и порученія. Когда напр. одна кореспондентка сообщила ему, что она непремѣнно хочетъ учиться, а чтобы учиться ей приходится бѣжать отъ отца и жениха, котораго она не любитъ,—Достоевскій выхлопоталъ ей покровительство одной очень вліятельной дамы. Вмѣстѣ съ этимъ онъ совѣтовалъ быть осторожнѣе: «быть женою купца вамъ съ вашимъ настроеніемъ, конечно, невозможно. Но быть доброй женой и матерью—это вершина назначенія женщины... Вы поймете сами, что я ничего не могу сказать вамъ о томъ молодомъ человѣкѣ, о которомъ вы пишете. Впрочемъ вы пишете, что его не любите, а это *все*. Ни и изъ за какой цѣли нельзя уродовать свою жизнь. Если не любите, то и не выходите. Если хотите—пишите еще». Всѣ отвѣты Достоевскаго удивительно мягки, сердечны, откровенны. Онъ очень жалѣетъ напр. о неудачѣ экзамена изъ географіи другой своей кореспондентки, поддерживаетъ ея душевную бодрость.. «Не-

*

позволительно и непростительно—пишетъ онъ—такъ быть нетерпѣливой, такъ торопиться и въ ваши крошечные лѣта восклицать: изъ меня ничто не выйдетъ! Вы еще подростокъ, вы не доросли еще до права такъ восклицать. Напротивъ, при вашей настойчивости непремѣнно что нибудь да выйдетъ.. Въ васъ кажется есть и чувство, и теплота сердца, хотя вы капризны и избалованы. (Вы не сердитесь на меня за это?) Не сердитесь, дайте мнѣ вашу руку и успокойтесь. Боже мой! Съ кѣмъ не бываетъ неудачъ?» Еще въ одномъ письмѣ Достоевскій благословляетъ какую-то барышню на трудный подвигъ идти сестрой милосердія въ Сербію... Повсюду въ этихъ письмахъ удивительная сердечность и вмѣстѣ съ тѣмъ много бодрости душевной...

Судебными процессами Достоевскій одинаково интересовался, прежде всего какъ общественный дѣятель. Благодаря его вліянію и участію, была, напр., оправдана подсудимая Корнилова, такъ какъ Достоевскій своими статьями *доказалъ*, что она невинна. Не все, значитъ, страданіе нужно!

Пушкинскій праздникъ 1880 г. былъ его настоящимъ апофеозомъ, восторженнымъ признаніемъ его величія. Вотъ какъ рассказываетъ объ этомъ Н. Страховъ: «Какъ только началъ говорить Ѳедоръ Михайловичъ, зала встрепенулась и затихла. Хотя онъ читалъ по писанному, но это было не чтеніе, а живая рѣчь, прямо, искренно выходящая изъ души. Всѣ стали слушать такъ, какъ будто до тѣхъ поръ никто и ничего не говорилъ о Пушкинѣ. То одушевленіе и естественность, которыми отличается слогъ Ѳедора Михайловича, вполнѣ передавались и его мастерскимъ чтеніемъ. Не говорю ничего о содержаніи рѣчи, но, разумѣется, оно давало главную силу этому чтенію. До сихъ поръ слышу, какъ надъ огромною притихшею толпою раздается напряженный и полный чувства голосъ: «Смирись, гордый человѣкъ, потрудись, праздный человѣкъ!» Восторгъ, который разразился въ залѣ по окончаніи рѣчи, былъ неизобразимый, непостижимый ни для кого, кто не былъ его свидѣтелемъ. Толпа, давно зарядившаяся энтузіазмомъ и изливавшая его на все, что̀ казалось для того удобнымъ, на каждую громкую фразу, на каждый звонко произнесенный стихъ, эта толпа вдругъ увидѣла человѣка, который самъ весь полонъ энтузіазма, вдругъ услышала слово, уже несомнѣнно достойное восторга, и она захлебнулась отъ волненія, она ринулась всею душею въ восхищеніе и трепетъ. Мы тутъ же всѣ принялись цѣловать Ѳе-

дора Михайловича; нѣсколько человѣкъ, вопреки правиламъ, стали пробираться изъ залы на эстраду; какой-то юноша, какъ говорятъ, когда добрался до Ѳедора Михайловича, упалъ въ обморокъ. Восторгъ толпы заразителенъ. И на эстрадѣ, и въ «комнатѣ для артистовъ», куда мы ушли съ эстрады въ перерывъ засѣданія, всѣ были въ радостномъ волненіи и предавались похваламъ и восклицаніямъ. «Вы сказали рѣчь»,—обратился Аксаковъ къ Достоевскому, —«послѣ которой И. С. Тургеневъ, представитель западниковъ, и я, котораго считаютъ представителемъ славянофиловъ, одинаково должны выразить вамъ величайшее сочувствіе и благодарность». Не помню другихъ подобныхъ заявленій; но живо осталось въ моей памяти, какъ П. В. Анненковъ, подошедши ко мнѣ, съ одушевленіемъ сказалъ: «вотъ что̀ значитъ геніальная, художественная характеристика! Она разомъ порѣшила дѣло!»

Въ заключеніе біографіи скажемъ о послѣднихъ дняхъ жизни Достоевскаго и его похоронахъ. Этотъ разсказъ составленъ по воспоминаніямъ очевидцевъ:

«Дней за десять до той кратковременной болѣзни, которая свела Ѳедора Михайловича въ могилу, зашелъ къ нему Ѳ. Ѳ. Миллеръ напомнить ему о данномъ имъ обѣщаніи участвовать въ пушкинскомъ вечерѣ 29 января (въ день смерти поэта). Незванный гость, какъ это и часто случалось съ Ѳр. Ѳед., оказался для него хуже татарина. Ѳ. Ѳ. Миллеръ не сообразилъ, что Ѳедоръ Михайловичъ какъ разъ дописывалъ тогда январскій номеръ возобновляемаго имъ «Дневника Писателя». Онъ выбѣжалъ къ посѣтителю въ прихожую съ перомъ въ рукѣ, страшно взволнованный—отчасти, какъ самъ тутъ и высказалъ, опасеніемъ, пропуститъ-ли ему цензура нѣсколько такихъ строкъ, содержаніе которыхъ должно развиваться въ дальнѣйшихъ номерахъ «Дневника» втеченіе всего года. «Не пропустятъ этого,—говорилъ онъ,—и все пропало» (извѣстно, что, не имѣя средствъ для внесенія залога, онъ долженъ былъ издавать свой «Дневникъ» подъ предварительною цензурою). Строки, такъ его безпокоившія, надо думать, тѣ, которыми открывается 5-й отдѣлъ 1-й главы «Дневника» (подъ заглавіемъ: «Пусть первые (т. е. народъ) скажутъ, а мы пока постоимъ въ сторонкѣ, единственно чтобы уму-разуму поучиться»): На это есть одно магическое словцо, именно: «Оказать довѣріе». Да, *нашему народу* можно оказать довѣріе, ибо онъ достоинъ его. Позовите сѣрые зипуны и спросите ихъ самихъ объ ихъ нуждахъ, о томъ

чего имъ надо, и они скажутъ вамъ правду, и мы всѣ въ первый разъ, можетъ быть, услышимъ настоящую правду»... На другой же день Орестъ Ѳед. Миллеръ узналъ о внезапной болѣзни (разрывъ легочной артеріи) Достоевскаго и поспѣшилъ къ Аннѣ Григорьевнѣ въ сильнѣйшемъ безпокойствѣ о томъ, не вчерашніе-ли разговоры повредили Ѳедору Михайловичу. Къ успокоенію своему, О. Ѳ. узналъ, что вслѣдъ затѣмъ Ѳедоръ Михайловичъ былъ дѣйствительно сильно взволнованъ другимъ совсѣмъ посѣщеніемъ. Сильный припадокъ обыкновенной его болѣзни сразу сокрушилъ давно надломленный организмъ. Послѣднія 8 лѣтъ своей жизни Федоръ Михайловичъ страдалъ эмфиземой, вслѣдствіе катарра дыхательныхъ путей. Смертельный исходъ болѣзни произошелъ отъ разрыва легочной артеріи и былъ случайностью, которой никто изъ докторовъ не предвидѣлъ. Предсмертная болѣзнь началась съ 25 на 26 января небольшимъ кровотеченіемъ изъ носа, на которое Ѳедоръ Михайловичъ не обратилъ ни малѣйшаго вниманія. 26 января онъ былъ, повидимому, совершенно здоровъ, не хотѣлъ посовѣтоваться съ докторами насчетъ кровотеченія. Въ 4 часа по полудни сдѣлалось первое кровотеченіе горломъ. Тотчасъ привезли всегдашняго доктора Ѳедора Михайловича, Фонъ-Бретцеля. Уже при немъ, часа черезъ полтора послѣ перваго кровотеченія, произошло второе, болѣе сильное, причемъ больной потерялъ сознаніе. Когда онъ пришелъ въ себя, то пожелалъ исповѣдаться и причаститься. До прихода священника онъ простился съ женой и дѣтьми и благословилъ ихъ. Послѣ причащенія почувствовалъ себя гораздо лучше. Весь день 27 января кровотеченіе не повторялось и Ѳедоръ Михайловичъ чувствовалъ себя сравнительно хорошо. Очень заботился онъ о томъ, чтобы «Дневникъ Писателя» вышелъ непремѣнно 31 января. Просилъ Анну Григорьевну прочесть принесенныя корректуры и поправить ихъ. Потомъ просилъ читать ему газеты. 28 января до 12 часовъ все шло благополучно, но затѣмъ полила опять кровь и Ѳедоръ Михайловичъ очень ослабѣлъ. Въ это время къ нему заѣхалъ А. Н. Майковъ и провелъ у него все предобѣденное время, наблюдая и ухаживая за нимъ вмѣстѣ съ домашними. Во всю свою жизнь въ рѣшительныя минуты Ѳедоръ Михайловичъ имѣлъ обыкновеніе, по словамъ Анны Григорьевны, раскрывать на удачу то самое евангеліе, которое было съ нимъ въ каторгѣ, и читать верхнія строки открывшейся страницы. Такъ поступилъ онъ и тутъ, и далъ прочесть женѣ. Это было Матѳ. гл. III, ст. 11:

«Іоаннъ же удерживалъ его и говорилъ: мнѣ надобно креститься отъ Тебя и Ты-ли приходишь ко мнѣ? Но Іисусъ сказалъ ему въ отвѣтъ: не удерживай, ибо такъ надлежитъ Намъ исполнить великую правду». Когда Анна Григорьевна прочла это, Ѳедоръ Михайловичъ сказалъ:—«ты слышишь «не удерживай»,—значитъ я умру»,—и закрылъ книгу. Предчувствіе скоро оправдалось. За два часа до кончины Ѳедоръ Михайловичъ просилъ, чтобы Евангеліе было передано его сыну, Ѳедѣ. Послѣ обѣда А. Н. Майковъ вернулся къ больному уже не одинъ, а съ женою, и при нихъ въ 6½ часовъ вечера случилось послѣднее кровотеченіе, за которымъ слѣдовало безпамятство и агонія. Анна Ивановна Майкова сейчасъ же пустилась отыскивать еще доктора и привезла съ собой Н. П. Черепнина, котораго нашла у одного изъ его знакомыхъ. Но, когда они пріѣхали, уже наступалъ конецъ и Н. П. Черепнину довелось только услышать послѣднія біенія сердца Ѳедора Михайловича. Нѣсколько ранѣе пріѣхалъ Б. М. Маркевичъ, описавшій потомъ послѣднюю минуту смерти. (См. «Русскій Вѣстникъ» 1881 г. февраль). Ѳедоръ Михайловичъ скончался 28 января 1881 г., въ 8 часовъ 38 минутъ вечера.

Похороны Достоевскаго представляли явленіе, которое всѣхъ поразило. Такого огромнаго стеченія народа, такихъ многочисленныхъ и усердныхъ заявленій уваженія и сожалѣнія не могли ожидать самые горячіе поклонники покойнаго писателя. Можно смѣло сказать, что до того времени еще не бывало на Руси такихъ похоронъ. Всего яснѣе покажутъ дѣло цифры: въ погребальной процессіи, при выносѣ тѣла изъ квартиры (Кузнечный переулокъ, № 5) въ Церковь Св. Духа, въ Невской Лаврѣ, было несено 67 вѣнковъ и пѣли 15 хоровъ пѣвчихъ. 67 вѣнковъ—это значитъ 67 депутацій, 67 различныхъ обществъ и учрежденій, пожелавшихъ оказать почести умершему. 15 хоровъ пѣвчихъ—значитъ 15 различныхъ кружковъ и вѣдомствъ, имѣвшихъ возможность для этого снарядить пѣвчихъ. Какимъ образомъ составилась такая громадная манифестація—это составляетъ немалую загадку.

Очевидно, она составилась вдругъ, безъ всякой предварительной агитаціи, безъ всякихъ подготовленій, уговоровъ и распоряженій, потому что никто не ожидалъ смерти Достоевскаго, и время между неожиданнымъ извѣстіемъ о ней и похоронами (три дня) было слишкомъ коротко для какихъ-нибудь обширныхъ приготовленій. Слѣдовательно, почти каждая изъ 67 депутацій имѣетъ свою особенную исторію», *свое* признаніе величія умершаго писателя.

## VII.

## ИТОГИ.

Что далъ намъ Достоевскій.—Кающійся интеллигентъ. — Разладъ съ народомъ.—Необъятная сила.

Что-же далъ намъ Ѳед. Мих. Достоевскій, какъ литераторъ, какъ общественный дѣятель? Постараемся отвѣтить на этотъ вопросъ sine ira et studio. Но сначала замѣтимъ, что этотъ вопросъ вводитъ насъ въ самую трудную область идей, а Достоевскій все-же прежде всего былъ художникомъ. Но его постоянно тянуло къ публицистикѣ, къ злобѣ дня. Даже многіе его романы, напр.. «Бѣсы», имѣютъ очень замѣтную публицистическую тенденцію. Да и въ остальныхъ произведеніяхъ онъ формой разсказа часто прикрываетъ проповѣдь. Поэтому насчетъ идей Достоевскаго можно бы толковать съ полной основательностью, не будь у него даже «Дневника Писателя». Онъ всегда откликался на самое насущное, что выдвигала жизнь. Иногда съ большой легкостью превозглашалъ онъ, что Константинополь долженъ быть нашъ и что совсѣмъ уже пришла пора захватить его въ свои руки; иногда утверждалъ, что завершеніе европейской культуры—наше, русское дѣло. Конечно, такое мнѣніе очень пріятно. Но на немъ, какъ и на всѣхъ взглядахъ Достоевскаго о взаимныхъ отношеніяхъ Россіи и Европы теперь останавливаться не будемъ: объ этомъ нами достаточно сказано въ двухъ послѣднихъ главахъ.

Обратимся къ другой сторонѣ взглядовъ его, когда онъ говоритъ о народѣ и интеллигенціи, думаетъ о нихъ, страдаетъ за нихъ. Уже одно его отношеніе къ народу дало бы ему полное право на безсмертіе, а онъ къ тому же былъ и великимъ художникомъ, великимъ психопатологомъ. Сочувствіе къ народу, стояніе за него, даже подвижничество появилось у Достоевскаго еще въ юные годы. Осо-

бенно рѣзкую форму это «стояніе» приняло во время участія въ дуровскомъ кружкѣ. Тутъ Достоевскій часто говорилъ объ ужасахъ крѣпостного права, часто называлъ его самымъ мерзкимъ и отвратительнымъ явленіемъ русской жизни. Образъ крѣпостного мужика являлся въ его глазахъ однимъ изъ воплощеній безысходнаго горя, того громаднаго и мутнаго потока униженности и оскорбленія, который такъ жестоко, такъ бурно разливается по всей жизни. Достоевскій былъ впечатлителенъ, всякое чужое страданіе болѣзненно даже раздражало и мучило его. Онъ не могъ выносить никакого насилія, хотя и утверждалъ, что въ каждомъ человѣкѣ есть наклонность къ мучительству. Но самъ онъ никого не мучилъ, въ самомъ-то въ немъ никакой жестокости не было. Наоборотъ даже. «Всѣ мы вышли изъ гоголевской Шинели»—говорилъ онъ, и съ этого ясно выраженнаго сочувствія къ униженному и оскорбленному и началась его литературная дѣятельность. Никогда даже въ голову ему не приходила мысль, что страданіе Сони Мармеладовой, напр., необходимо, законно. Торговлю человѣкомъ онъ заклеймилъ съ большей силой, чѣмъ кто нибудь до него. Дѣйствительно, онъ проповѣдывалъ смиреніе, онъ признавалъ, что страданіе полезно... но только для кого?—для гордаго *интеллигента*, прежде всего полагающаго, что онъ имѣетъ право распоряжаться по своему образцу съ жизнью и перестраивать ее... Этому Достоевскій говорилъ: «смирись, гордый человѣкъ»...

Въ общемъ-же великомъ движеніи всей лучшей части русской литературы и русской интеллигенціи—въ стремленіи сблизиться съ народомъ, въ проповѣди той теперь уже ясной мысли, что забывши о народѣ, *онъ* народа, такъ сказать, нельзя сдѣлать ничего, Достоевскій все равно какъ своей публицистикой, такъ и нѣкоторыми своими произведеніями сыгралъ большую и, по нашему мнѣнію, несомнѣнно плодотворную роль. Правда, мы не раздѣляемъ нѣкоторыхъ мистическихъ идей Достоевскаго и не настолько увлекаемся имъ, чтобы не видѣть, какъ его нервный, истерическій темпераментъ постоянно вводилъ его въ противорѣчіе съ самимъ собой и заставлялъ высказывать совсѣмъ не остроумные парадоксы вродѣ того напр., что народъ ищетъ страданія, но намъ думается, что міросозерцаніе Достоевскаго безъ его мистическихъ и шовинистскихъ угловатостей очень просто, ясно и не можетъ остаться непонятымъ ни однимъ изъ русскихъ интеллигентовъ. Краеугольный камень этого міросозерцанія *народъ*, грязный, приниженный, сквер-

ный, но сохраняющій въ глубинѣ души своей внутреннюю, высокую правду. Внѣ народа, забывши о народѣ—нѣтъ правдивой жизни, нѣтъ настоящей дѣятельности. Уклоняясь во многомъ, Достоевскій въ этомъ пунктѣ по крайней мѣрѣ сходился со всѣми лучшими умами русской интеллигенціи. Его отношеніе къ народу бережно-любовное. Напомнимъ хотя-бы приведенный выше разсказъ о мужикѣ Мареѣ. Благодаря такому-то краеугольному камню-любви къ народу, русская литература и русская интеллигенція имѣютъ передъ собой несомнѣнно великую будущность, въ которой не забудется конечно и имя Достоевскаго. Онъ тоже интеллигентъ и даже одинъ изъ вождей интеллигенціи... А что такое русская интеллигенція? Позволю себѣ привести одинъ отрывокъ, нѣсколько рѣзкій по формѣ, нѣсколько крайній по мысли, но недурно передающій самую суть дѣла. Вотъ онъ въ видѣ рѣчи, обращенной однимъ дѣйствующимъ лицомъ разсказа къ другому: «Скажу я тебѣ, что всероссійская интеллигенція самая лучшая и привлекательная изъ всѣхъ существующихъ. Обойди ты весь свѣтъ и ничего подобнаго ей-не найдешь. Это своего рода роскошь и великолѣпіе, недостаточно еще оцѣненное, но поразительно прекрасное. И суть ея жизни именно въ этой самой *совѣстливости*. Ступай куда угодно — въ Америку, во Францію, въ Англію или хоть въ Патогонію, и начни ты проповѣдывать, что личное счастье — незаконно, что любовь, эгоизмъ и пр. — преступны. Да отъ тебя всѣ отвернутся. Какъ это такъ, что личное счастье не законно? Да что-же законно послѣ этого? А русскій интеллигентъ пойметъ это и прочувствуетъ. Съ той самой минуты, какъ онъ проснулся, онъ почувствовалъ упреки и угрызенія совѣсти и сталъ онъ философствовать. Беретъ онъ, напр., въ руки булку и сейчасъ-же передъ его совѣстливымъ воображеніемъ какая нибудь плантаторская картина. «Хлѣбъ воздѣланный рабами!» говоритъ онъ, и эта самая булка кажется ему горькою. Онъ любитъ, а передъ его глазами униженный «меньшой братъ», продающій за пятакъ все свое *человѣческое* достоинство, и любовь теряетъ въ его глазахъ всю свою привлекательность. Онъ помѣшался на народѣ, онъ ищетъ пути, чтобы приблизиться къ нему и слиться съ этой молчаливой массой, тысячелѣтіе выносившей на плечахъ всю русскую исторію. Безъ этого народа, безъ любви къ нему, любви дѣтской, наивной, мистической—немыслимъ россійскій интеллигентъ. Посмотри-ка, что онъ теперь дѣлаетъ: сколько тоски, сколько совѣ-

стливости въ его постоянныхъ исканіяхъ правды и именно мужицкой, народной правды. Онъ отрекается отъ всего, что составляетъ гордость и счастье обыкновеннаго смертнаго.. Оттуда-то, изъ этихъ деревень, изъ этихъ болотъ и полей черноземныхъ русская интеллигенція всегда получала и получаетъ свое душевное содержаніе. Ей совѣстно, именно совѣстно жить, забывъ мужичка, и отъ него-же заимствовала она свою знаменитую формулу: «жизнь по *правдѣ*» — а не по *праву* или доктринѣ. Если на западѣ господствуетъ наука, сознаніе необходимости—юридической или исторической все равно—то у насъ—*любовь*. Мы вѣруемъ въ нее, какъ въ какую-то таинственную силу, которая сразу разрушитъ всѣ преграды и установитъ новую жизнь прямо въ одно мгновеніе, безъ всякихъ этихъ «развитій экономическихъ противорѣчій.» Въ головѣ и сердцѣ каждаго русскаго интеллигента вѣчно сидитъ этотъ образъ новой, *любовной* жизни, и если мы когда нибудь чѣмъ нибудь искренне вдохновлялись, то именно этой правдивой жизнью, основанной на любви къ ближнему, не признающей ни какихъ формулъ кромѣ тѣхъ, которыя диктуются сердцемъ...» Такова одна изъ формъ русскаго народничества, къ которой довольно рѣзко примыкалъ Достоевскій.

Народъ и оторванный отъ народа интеллигентъ—это противорѣчіе больше всего занимало и мучило Достоевскаго. Къ оторванному отъ народа интеллигенту онъ былъ положительно безжалостенъ. Не стѣсняясь, выставлялъ онъ его въ самомъ ужасномъ видѣ, напр. въ «Бѣсахъ», требовалъ отъ него не только покаянія, но и страданія. Сердце Раскольникова открылось только на каторгѣ. Каторга была нужна ему, необходима даже. Въ чемъ-же вина его? Прежде всего въ гордости—и послѣ всего въ гордости. Эта гордость личной мысли, это самомнѣніе личнаго чувства, это властность личной воли. За это нужно наказывать, нужно страдать. Такой человѣкъ прежде всего смириться долженъ, чтобы понять, что не одинъ онъ въ жизни, что до личнаго его счастья никому и дѣла-то въ сущности нѣтъ, что никакого права требовать его онъ не имѣетъ. Онъ виноватъ, думалъ Ѳ. М., понимая свободу только(!) какъ разнузданность желаній, какъ право и возможность дѣлать все, что захочется, что идея равенства отражается въ немъ, прежде всего, какъ зависть къ другимъ, болѣе имущимъ.

Свобода и равенство и для Достоевскаго великія вещи, но

понимаетъ онъ ихъ иначе. «Настоящая свобода — говоритъ онъ—это одолѣніе своей воли такъ, чтобы подъ конецъ достигнуть такого нравственнаго состоянія, чтобы всегда, во всякій моментъ, быть самому себѣ настоящимъ хозяиномъ». Равенство-же не зависть, не желаніе взять у другого то, чего у тебя нѣтъ, а сознаніе своего человѣческаго достоинства, которое у всѣхъ то же самое. Поэтому-то герои «Бѣсовъ», Раскольниковъ, карамазовщина и вызывали со стороны Достоевскаго такой жестокій судъ, такой строгій приговоръ. Онъ безжалостно казнитъ всѣ тѣ явленія русской жизни, которыя пристрастна обобщилъ подъ общимъ наименованіемъ «анархическій индивидуализмъ». Такой индивидуализмъ ничего не видитъ въ жизни кромѣ себя, своей воли и полагаетъ, что все должно служить ей, все—средства для ея удовлетворенія, т. е. для счастья. Это счастье Достоевскій отрицалъ совершенно. Жизнь всегда представлялась ему ужасно труднымъ, ужасно серьезнымъ дѣломъ, своего рода подвигомъ, который каждому надлежитъ осуществить по мѣрѣ силъ и способностей. Осуществить же его можно только при самоотреченіи, извѣстномъ даже аскетизмѣ. Себя забыть надо, а полюбить дѣло; себя побѣдить надо прежде, чѣмъ взяться за него. Отрицая права на личное счастье, Достоевскій тѣмъ энергичнѣе проповѣдывалъ личное самосовершенствованіе, борьбу съ той самой карамазовщиной и анархизмомъ, которые сидятъ въ каждомъ изъ насъ. Все личное, индивидуальное, самовольное—грѣховно, и типъ кающагося грѣшника—любимый типъ Достоевскаго. Онъ даже романъ хотѣлъ писать подъ заглавіемъ «Великій грѣшникъ». Не то, чтобы онъ требовалъ отреченія отъ себя, своихъ силъ и способностей: онъ ненавидѣлъ, преслѣдовалъ только личную волю, стремленіе къ личному счастью. Его любимецъ — это старецъ Зосима въ «Братьяхъ Карамазовыхъ». Грѣшилъ человѣкъ, много грѣшилъ, кутилъ, распутничалъ, на другого поднималъ руку. И пострадалъ онъ именно за *властность* своей натуры, за то, что смѣлъ самого себя противоставить обществу, принять себя, свое достоинство за нѣчто высшее, чѣмъ достоинство другого человѣка; онъ спасся смиреніемъ, онъ сталъ человѣкомъ, лишь отрѣшившись отъ своего «я», выбросивъ изъ головы даже мысль, что это «я» есть нѣчто особенное, исключительное, такое, что имѣетъ право на «все». Послѣ побѣды надъ собой, можно и должно начинать дѣятельность. Гдѣ-же, въ чемъ найти ее?—Въ служеніи народу.

Эту мысль Достоевскій десятки разъ повторяетъ въ своемъ «Дневникѣ», призывая каждаго принести «хоть лепту». Не о великомъ дѣлѣ надо заботиться, а чтобы было оно любовно, чтобы исходило оно отъ сердца и шло въ народъ. «Не раздача имѣній обязательна—говоритъ онъ напр.—и не надѣвайте зипуна: все это лишь буква и формальность; обязательна и важна лишь рѣшимость ваша дѣлать все ради дѣятельной любви, все что возможно вамъ, что сами искренне признаете для себя возможнымъ. Всѣ-же старанія опроститься—лишь одно только переряживаніе, невѣжливое даже (по отношенію къ народу) и васъ самихъ унижающее. Вы слишкомъ сложны, чтобы опроститься, да и образованіе ваше не позволитъ вамъ стать мужикомъ. Лучше мужика вознесите до вашей осложненности. Будьте только искренни и простодушны. Это лучше всякаго опрощенья. Одна награда вамъ—любовь, если ее заслужите. Вѣдь глупъ мужикъ, дикъ мужикъ, необразованъ онъ какъ же говорить; что дѣла нѣтъ?..»

Достоевскій выдвигалъ всегда Россію на первое мѣсто. Онъ предсказывалъ ей великую и высокую будущность. Въ чемъ-жъ видѣлъ онъ залогъ этой великой и высокой будущности? Въ нашемъ *демократизмѣ*, въ повсюду, по всѣмъ классамъ общества распространенномъ сознаніи, что народу *служить* надо. Вотъ его слова: «правда, много въ теперешнихъ демократическихъ заявленіяхъ лжи и фальши, много и журнальнаго плутовства, много увлеченія... Тѣмъ не менѣе честность, безкорыстіе, прямота и откровенность демократизма въ большинствѣ русскаго общества не подвержены уже никакому сомнѣнію. Въ этомъ отношеніи мы, можетъ быть, представили или начнемъ представлять собою явленіе, еще не объявлявшееся въ Европѣ, гдѣ демократизмъ до сихъ поръ и повсемѣстно заявилъ себя еще только, воюетъ, а побѣжденный (будто-бы) верхъ еще и теперь даетъ страшный отпоръ. Нашъ верхъ побѣжденъ не былъ, но верхъ самъ сталъ демократиченъ, или, вѣрнѣе, народенъ, и кто-же можетъ отрицать это? А если такъ, то согласитесь сами, что насъ ожидаетъ счастливая будущность. И если въ настоящемъ еще многое неприглядно, то покрайней мѣрѣ позволительно питать большую надежду, что временныя невзгоды демоса непремѣнно улучшатся подъ неустаннымъ и безпрерывнымъ вліяніемъ впредь такихъ огромныхъ началъ (ибо иначе назвать нельзя), какъ всеобщее демократическое настроеніе и всеобщее согласіе на то всѣхъ русскихъ людей, начи-

ная съ самаго верха.» Тутъ конечно много идеализаціи, но идеализаціи хорошей.

Какъ же смотрѣлъ Достоевскій на народъ, разъ служеніе ему является первымъ самымъ большимъ и важнымъ дѣломъ въ жизни интеллигента? «Обстоятельствами всей почти русской исторіи—говоритъ онъ, народъ нашъ до того былъ преданъ разврату и до того былъ развращаемъ, соблазняемъ, мучимъ, что еще удивительно, какъ онъ дожилъ, сохранивъ человѣческій образъ, не то что сохранивъ красоту его. Но онъ сохранилъ и красоту своего образа. Кто истинный другъ человѣчества, у кого хоть разъ билось сердце по страданіямъ народа, тотъ пойметъ и извинитъ всю непроходимую пакостную грязь, въ какую погруженъ народъ нашъ, и сумѣетъ въ этой грязи найти брилліанты. Повторяю: судите русскій народъ не по тѣмъ мерзостямъ, которыя онъ часто дѣлаетъ, а по тѣмъ великимъ и свѣтлымъ вещамъ, по которымъ онъ и въ самой мерзости своей постоянно вздыхаетъ. Идеалы его чисты, сильны и святы». Это — христіанскіе идеалы. Они проявляются въ отреченіи отъ самого себя, въ стремленіи послужить другому, въ любви и состраданіи къ несчастному. Или вотъ какія, между прочимъ, наблюденія надъ народомъ сдѣлалъ Достоевскій на каторгѣ: въ каждомъ мужикѣ, даже арестантѣ, онъ увидѣлъ не только чувство правды, *душу*, но и сознаніе собственнаго достоинства, требованіе *справедливости*.

«Высшая и самая рѣзкая характеристическая черта нашего народа,—это чувство справедливости и жажда ея».—Или: «Арестантъ самъ знаетъ, что онъ арестантъ—отверженецъ, и знаетъ свое мѣсто передъ начальникомъ; но никакими клеймами, никакими кандалами не заставишь забыть его, что онъ человѣкъ. А такъ какъ онъ дѣйствительно человѣкъ, то, слѣдственно, и надо обращаться съ нимъ почеловѣчески. Боже мой! да человѣческое обращеніе можетъ очеловѣчить даже такого, на которомъ давно уже потускнѣлъ образъ Божій. Съ этими-то несчастными и надо обращаться наиболѣе почеловѣчески». Какой вмѣстѣ съ тѣмъ глубокой гуманностью проникнуто его отношеніе къ арестантамъ. Вездѣ онъ не только жалѣетъ ихъ, онъ въ нихъ видитъ людей, онъ за ними признаетъ человѣческое достоинство: «И сколько въ этихъ стѣнахъ погребено напрасно молодости, сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ. Вѣдь надо уже все сказать: вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. Вѣдь это,

можетъ быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, *незаконно*, безвозвратно. А кто виноватъ?.. То-то, кто виноватъ».

Въ каждомъ человѣкѣ *личность* есть, сознаніе собственнаго достоинства, стремленіе къ счастью, требованіе справедливости. Подавите все это, оно непремѣнно проявится, хоть судорогой, но проявится. Припомните разсужденіе Достоевскаго о значеніи денегъ въ острогѣ, или вотъ этотъ глубоко-замѣчательный отрывокъ:

«Удивляются иногда начальники, что вотъ какой нибудь арестантъ жилъ себѣ нѣсколько лѣтъ такъ смирно, примѣрно, даже десяточнымъ его сдѣлали за похвальное поведеніе, и вдругъ рѣшительно ни съ того, ни съ сего,—точно бѣсъ въ него влѣзъ,—зашалилъ, накутилъ, набуянилъ, а иногда даже просто на уголовное преступленіе рискнулъ, или на явную непочтительность передъ высшимъ начальствомъ, или убилъ кого нибудь, или изнасиловалъ и проч. Смотрятъ на него и удивляются. А между тѣмъ, вся-то причина этого внезапнаго взрыва въ томъ человѣкѣ, отъ котораго всего менѣе можно было ожидать его,—это тоскливое, судорожное проявленіе личности, инстинктивная тоска по самомъ себѣ, желаніе заявить себя, свою приниженную личность, вдругъ появляющееся и доходящее до злобы, до бѣшенства, до омраченія разсудка, до припадка, до судорогъ. Такъ, можетъ быть, заживо схороненный въ гробу и проснувшійся въ немъ колотитъ въ свою крышку и силится сбросить ее, хотя, разумѣется, разсудокъ могъ-бы убѣдить его, что всѣ усилія останутся тщетными. Но въ томъ-то и дѣло, что тутъ уже не до разсудка, тутъ судороги».

Правда такіе взгляды на народъ оказались слишкомъ «здравыми» для Достоевскаго. Впослѣдствіи они приняли другую, очень замѣтную окраску. Не чувство справедливости, не собственное достоинство выдвигалось уже на первый планъ—а смиреніе, способность побѣждать жизненное зло внутренней силой. Народъ за этотъ послѣдній періодъ является для Достоевскаго великой, *молчаливой* массой, въ глубинѣ которой таится вся жизненная правда, рѣшеніе всѣхъ вопросовъ, помощью любви, вѣры, нравственнаго первенствующаго во всемъ начала. Это такъ сказать кладезь всей сердечной премудрости, основа всего будущаго нашего и европейскаго, и

мѣнять его жизнь по собственной програмѣ, по собственнымъ интеллигентнымъ идеаламъ не только нельзя, но и прямо грѣховно. Народъ лучше знаетъ, что ему надо, и прежде всего надо выслушать его.

Съ какой-то ненавистью даже Достоевскій отгонялъ отъ своего излюбленнаго народа всѣхъ интеллигентныхъ реформаторовъ. Что есть у тѣхъ? Наука, свои идеалы, свои страсти. У народа —больше: у него правда. «Послушаемъ сѣрыхъ зипуновъ, писалъ Достоевскій въ послѣднемъ номерѣ своего дневника, что-то они скажутъ... А мы пока постоимъ въ сторонкѣ, чтобы научиться.» Иногда-же отрицаніе права интеллигенціи вмѣшиваться въ народную жизнь принимала гораздо болѣе рѣзкую и раздраженную форму. Парадоксальный, быстро раздражающійся, всегда рѣшающійся на крайности умъ не зналъ удержу и въ этомъ вопросѣ. Но все-же Достоевскій народникъ прежде всего, народникъ потому, что изъ всѣхъ факторовъ русской жизни народъ самый важный, большой. Внѣ народа нѣтъ дѣятельности, нѣтъ жизни. Это — сила, которой предназначено претворить въ себѣ все и разрѣшить всѣ наши вопросы однимъ великимъ, выстраданнымъ принципомъ— *любовью*.

Итакъ: обращеніе къ народу, служеніе ему въ духѣ христіанской любви и правды—таковъ завѣтъ Достоевскаго русской интеллигенціи. Всякій оторвавшійся отъ народной почвы гибнетъ, какъ рыба, выброшенная на сухую землю. Въ сближеніи съ народомъ наше будущее. Наше *обновленіе* началось съ него, т. е. съ этого сближенія, на путь котораго вступилъ Пушкинъ. «Все, что есть истинно прекраснаго въ нашей литературѣ,—говоритъ Достоевскій,—все взято изъ народа, начиная съ смиреннаго простодушнаго типа Бѣлкина, созданнаго Пушкинымъ. Не буду ужь упоминать о чисто народныхъ пѣсняхъ, созданныхъ въ наше время, но вспомните «Обломова», вспомните «Дворянское гнѣздо» Тургенева. Тутъ, конечно, не народъ; но все, что въ этихъ произведеніяхъ Гончарова и Тургенева вѣковѣчнаго и прекраснаго—все это отъ того, что они въ нихъ соприкоснулись съ народомъ. Это соприкосновеніе съ народомъ придало имъ необычайныя силы».

Такія же «необычайныя силы» получитъ и вся русская интеллигенція, соприкоснувшись, сблизившись съ народомъ, отдавши на служеніе ему всѣ силы. Народъ сторицею возвратитъ за это, научивъ ее своимъ христіанскимъ идеаламъ.

пр.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ
БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

# Л. Н. ТОЛСТОЙ

## ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Евгенія Соловьева.

Съ портретомъ Толстого, гравированнымъ въ Петербургѣ К. Адтомъ.

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ
„Банковская скоропечатня“ инж. П. Г. Гершуна, Мѣщанская, 5.
1894

# ОГЛАВЛЕНІЕ.


| | стр. |
|---|---|
| I. Дѣтство, отрочество и юность | 5 |
| II. Руссо и Нехлюдовщина | 35 |
| III. На Кавказѣ | 43 |
| IV. Подъ Севастополемъ | 50 |
| V. Въ Петербургѣ | 60 |
| VI. Въ Ясной Полянѣ и заграницей | 66 |
| VII. Вторая поѣздка заграницу | 70 |
| VIII. Писательская драма | 78 |
| IX. Семейная жизнь | 84 |
| X. Большіе романы | 91 |
| XI. О пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого | 108 |
| XII. Кризисъ | 116 |
| XIII. Ученіе Толстого | 124 |
| XIV. На вершинѣ славы | 143 |
| XV. Заключеніе | 148 |

# ИСТОЧНИКИ.

1) Полное собраніе сочиненій Льва Толстого, изд. 9-ое.

2) Исповѣдь.—Въ чемъ моя вѣра.

3) „Leo Tolstoj“, von Löwenfeld 1. Band.

4) Gespräche mit und über Tolstoj, von R. Löwenfeld.

5) Берсъ.—Воспоминанія.

6) Проф. Загоскинъ. Студенческіе годы графа Льва Николаевича Толстого. Истор. Вѣстникъ, Январь 94 г.

7) Статьи: Н. К. Михайловскаго, А. М. Скабичевскаго, Д. И. Писарева, Н. М. Страхова, С. А. Андреевскаго, Вогюэ, Брандеса, Ціона.

## I.

## Дѣтство, отрочество и юность.

Втеченіи XIX-го вѣка нѣсколько лицъ занимали первое мѣсто въ европейской литературѣ и являлись общепризнанными главарями умственнаго движенія. Сначала такое мѣсто принадлежало Гёте, къ каждому слову котораго жадно прислушивался весь образованный читающій міръ; послѣ Гёте долгое время литературный престолъ оставался незанятымъ, пока среди общихъ рукоплесканій на него не возсѣлъ блестящій и нервный Викторъ Гюго. По смерти Виктора Гюго самымъ виднымъ представителемъ и главаремъ является безъ всякаго сомнѣнія «великій писатель земли русской», гр. Левъ Николаевичъ Толстой.

Гр. Толстого знаетъ теперь весь читающій міръ на любой параллели и на любомъ меридіанѣ. Иностранная критика въ лицѣ самыхъ блестящихъ своихъ представителей, какъ Вогюэ, Цабель, Брандесъ, удѣляетъ ему гораздо больше вниманія, чѣмъ критика русская. Но я не знаю, есть ли въ Россіи человѣкъ, такъ или иначе причастный къ литературной или философской критикѣ, который не обострилъ бы своего пера о произведенія графа Толстого. Не могу припомнить всѣхъ, кто писалъ

на эту тему, но если назвать Д. Писарева, Анненкова, Григорьева, Михайловскаго, Скабичевскаго, Протопопова, проф. Козлова, Н. Страхова и т. д.,—то и этихъ именъ будетъ достаточно. Есть люди, избравшіе своею спеціальностью пропаганду идей гр. Толстого; есть другіе, преслѣдующіе эти идеи съ ожесточеніемъ и, такъ сказать, по пятамъ, напр. проф. казанскаго университета г. Гусевъ. Въ періодъ 1886—1889 г., и даже позже, нельзя было взять въ руки номера газеты или журнала, чтобы не натолкнуться на сужденія о Толстомъ. Стоитъ припомнить, какой шумъ произвела «Крейцерова Соната»,—шумъ на столько всеобщій, что даже музыкальные издатели поторопились выпустить въ свѣтъ эту забытую сонату Бетховена, хотя ни малѣйшаго отношенія ни къ музыкѣ, ни къ Бетховену произведеніе Толстого не имѣло. Все выходящее изъ подъ пера Толстого вы можете встрѣтить въ самыхъ разнообразныхъ слояхъ общества: его пьесы даются при дворцѣ, его сказки, азбука и христоматія читаются въ деревняхъ. Теперь мнѣ приходится пользоваться 9-мъ полнымъ собраніемъ сочиненій Толстого. Это небывалый въ Россіи фактъ: Пушкинъ при жизни видѣлъ одно полное изданіе своихъ созданій, Тургеневъ—три, Достоевскій вышелъ въ «посмертномъ».

Не менѣе имени графа Толстого извѣстно и прозвище его родового помѣстья «Ясной Поляны». Кто не былъ, или кому по крайней мѣрѣ не хотѣлось бы тамъ побывать? Заглянемъ и мы туда...

Расположенная въ Крапивенскомъ уѣздѣ, Тульской губерніи, въ пятнадцати верстахъ отъ города Тулы, имѣніе Ясная Поляна является мѣстомъ, куда постоянно стекаются безчисленные посѣтители и поклонники Л. Н. Толстого.

Ясная Поляна—родовое имѣніе князей Волконскихъ, перешедшее теперь въ родъ графовъ Толстыхъ,—внѣшнимъ своимъ видомъ ничѣмъ не отличается отъ обыкновенныхъ барскихъ помѣстій средней полосы Россіи, и если имя его стало общеизвѣстнымъ, то лишь потому, что здѣсь родился, провелъ свое дѣтство и почти безвыѣздно всю вторую половину своей жизни Левъ Николаевичъ Толстой. «Война и Миръ», «Анна Каренина», и всѣ многочисленныя произведенія послѣднихъ лѣтъ: «Исповѣдь», «Въ чемъ моя вѣра», «Смерть Ивана Ильича». «Крейцерова соната» и т. д. были созданы въ Ясной Полянѣ. Какъ Ферней Вольтера или Коппе m-me Сталь или Мекка Магомета, оно извѣстно всему міру.

Ясная Поляна. ея веселое и живописное положеніе, окружающій ее огромный казенный лѣсъ «Засѣка», самая усадьба съ вѣковыми липовыми аллеями, посаженными прадѣдомъ княземъ Волконскимъ, четыре пруда и вѣчно запущенный барскій садъ, обнесенный валомъ, описывались десятки разъ, какъ русскими, такъ и иностранцами. Про двѣ круглыя кирпичныя башни, стоящія въ замкѣ вала, возлѣ которыхъ когда-то, въ началѣ вѣка, постоянно дежурилъ часовой, свидѣтельствуя своимъ присутствіемъ о знатности помѣщика, генерала временъ Павла I-го — знаютъ одинаково и у насъ, и въ Европѣ, и въ Америкѣ. Теперь эти старыя кирпичныя башни полуразрушены, обросли мохомъ, а наслѣдникъ гордаго генерала и князя Волконскаго, въ простой рабочей блузѣ синяго цвѣта и высокихъ сапогахъ, бесѣдуетъ съ своими посѣтителями и поклонниками о жизни по ученію Христа и тайнѣ смерти, «отстранить которую отъ себя не можетъ человѣкъ никакими грозными каменными башнями, никакими вѣчно дежурящими часовыми».

Въ Ясной Полянѣ возвышался когда-то почтенный барскій домъ съ безконечной амфиладой залъ и комнатъ, гдѣ старое барство, окруженное покорною толпой холоповъ, питало свою гордость громадными доходами и безмѣрною властью надъ крѣпостными подданными. Почтенный барскій домъ сгорѣлъ уже давно, и вся усадьба состоитъ теперь изъ двухъ флигелей—изъ которыхъ въ одномъ живетъ гр. Толстой съ своимъ семействомъ, очень многочисленнымъ, а другой предназначенъ для паломниковъ Ясной Поляны и гостей.

Флигель, занятый семействомъ графа Толстого и имъ самимъ,—двухъ-этажный, очень простой архитектуры и безъ вся-

кихъ украшеній снаружи. Внизу находятся кабинетъ графа, его библіотека и спальня. Нигдѣ и ни въ чемъ незамѣтно даже слѣдовъ роскоши и того огромнаго милліоннаго состоянія, которымъ обладаетъ хозяинъ. Напротивъ, обстановка помѣщенія поражаетъ своей простотой, и лишь портреты предковъ, развѣшенные въ залѣ верхняго этажа, говорятъ еще, что посѣтитель находится въ гнѣздѣ стариннаго барства.

Кабинетъ самого Л. Н. Толстого напоминаетъ комнату прилежнаго и небогатаго студента. Столъ, нѣсколько стульевъ, диванъ, этажерка,—составляютъ всю мебель. Въ углу стоитъ бюстъ давно умершаго старшаго брата Льва Николаевича, Николая Толстого; по стѣнамъ развѣшано нѣсколько картинъ. Между этими послѣдними есть портретъ Шопенгауэра и фотографически снятая въ 1856 году группа русскихъ писателей: Толстого, Григоровича, Гончарова, Тургенева, Дружинина и Островскаго. На этой группѣ Л. Н. Толстой изображенъ въ военномъ мундирѣ съ скрещенными на груди руками; въ выраженіи всей его гордо выпрямившейся фигуры, а особенно въ небрежномъ взглядѣ вдумчивыхъ глазъ есть, какъ намъ показалось, что-то Лермонтовское. Группа любопытна: писатели земли русской не часто бываютъ вмѣстѣ, еще рѣже живутъ дружно между собой; и правда—черезъ немного лѣтъ послѣ 56-го года Гончаровъ разсорился съ Тургеневымъ, Тургеневъ хотѣлъ драться на дуэли съ Толстымъ... Но тогда еще все обстояло мирно и дружелюбно.

Библіотека графа богата и заключаетъ въ себѣ сочиненія на 6-ти или 7-ми языкахъ, которыми Л. Толстой свободно владѣетъ. Здѣсь можно найти всѣхъ классиковъ русской литературы и массу сочиненій по богословію. Наперекоръ духу конца нашего вѣка, Тертулліанъ и Василій Великій замѣняютъ собой Дарвина и Маркса, а холодныя, огромныя книги Спенсера уступили свое мѣсто толкованіямъ Евангелія.

Самъ хозяинъ и кабинета, и библіотеки, графъ Толстой, свободно допускаетъ къ себѣ каждаго, кто вздумаетъ придти или пріѣхать къ нему. Онъ никогда не отказывается отъ разговора и поученія, и для всякаго у него есть, если не ласковое слово утѣшенія, то по крайней мѣрѣ всегда искреннее и правдивое слово. Слишкомъ многочисленные посѣтители быть можетъ и утомляютъ его, но графъ не жалуется. Не жалуется онъ и на то, что многіе изъ этихъ посѣтителей вкривь и вкось разсказываютъ о своихъ съ нимъ бесѣдахъ

въ различныхъ журналахъ и газетахъ. И назойливость, и ложь исчезаютъ какъ незамѣтная мутная струя въ морѣ обожанія и восторга, окружающемъ графа Толстого. Это обожаніе и восторгъ растутъ изо-дня въ день и наперекоръ общему правилу растутъ по мѣрѣ того, какъ мы ближе знакомимся съ жизнью писателя и даже семейной его обстановкой. Въ этой жизни, какъ кажется, нѣтъ уже болѣе тайнъ: самъ графъ Толстой не считаетъ нужнымъ скрывать ничего, что касается его лично. Увлеченія и ошибки своей молодости, свои душевныя муки, едва не доведшія его до самоубійства, онъ подробно и страстно описалъ самъ въ своихъ произведеніяхъ. Его поклонники, какъ Левенфельдъ, родственники, какъ Берсъ, разсказываютъ намъ объ обстановкѣ его жизни, которую видѣли собственными глазами. «У меня ни отъ кого на свѣтѣ нѣтъ никакихъ тайнъ! пусть всѣ знаютъ, что я дѣлаю, если хотятъ»—часто говорилъ Л. Толстой.

Эти его слова между прочимъ и позволяютъ намъ приступить къ его біографіи.

---

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой родился 28-го августа 1828 года, слѣдовательно теперь онъ перешелъ уже предѣльный возрастъ, до котораго доживали русскіе писатели, за исключеніемъ очень немногихъ, напр. Державина, и однако ни его физическія силы, ни творческій геній не ослабли замѣтно: достаточно вспомнить, что всего 5 лѣтъ тому назадъ была создана «Крейцерова Соната», многія сцены которой могутъ идти вровень съ лучшими сценами «Войны и Мира».

Родоначальникомъ Л. Н. Толстого былъ современникъ и другъ Петра I-го, пожалованный за свои заслуги и между прочимъ за измѣну царевнѣ Софіи—Петръ Андреевичъ Толстой, потомокъ выходца изъ Пруссіи, носившаго прозваніе Dick, что́ по русски и значитъ «толстый». Отсюда и фамилія—Толстые. Графъ Петръ Андреевичъ занималъ важный дипломатическій постъ—былъ посломъ въ Константинополѣ, не разъ сиживалъ въ Семибашенномъ замкѣ въ случаѣ разногласія султана и императора, и по смерти завѣщалъ своему роду хорошее состояніе и легкую карьеру при дворѣ.

Браки Толстыхъ всегда были аристократическіе, безъ малѣйшаго признака mésaillance'а. Напр. мать Льва Николаевича—княжна Волхонская, бабушка—княжна Горчакова; бабушка по матери—княжна Трубецкая и т. д. Волхонскіе, Горчаковы,—

прямые потомки Рюрика и владѣтельныхъ рюриковичей. Самъ графъ Левъ Николаевичъ внѣшностью своей сильно напоминаетъ своего дѣда князя Николая Андреевича Волхонскаго— (въ «Войнѣ и Мирѣ» Болконскаго) хотя значительно крупнѣе его фигурой. «У обоихъ открытый и высокій лобъ съ творческими шишками; музыкальныя шишки, далеко выдающіяся впередъ, покрыты густыми отвисшими бровями, изъ подъ которыхъ точно проникаютъ въ чужую душу небольшіе и глубокосидящіе сѣрые глаза». Значитъ вполнѣ правъ былъ графъ Толстой, когда впослѣдствіи, до вѣроученія впрочемъ, онъ находилъ источникъ гордости своей въ томъ, что онъ «чистый аристократъ». Кровь Толстыхъ на самомъ дѣлѣ втеченіи почти двухъ столѣтій была чиста отъ всякой примѣси какихъ нибудь разночинныхъ элементовъ. Портреты, украшающіе залу яснополянскаго дома, принадлежатъ всѣ безъ исключенія титулованнымъ особамъ, князьямъ и графамъ, въ звѣздахъ и лентахъ, генераламъ и тайнымъ совѣтникамъ. Родовое дерево князя Волхонскаго поддерживаетъ святой Михаилъ, князь Черниговскій, погибшій когда-то смертью мученика въ ордѣ. Традиціи, унаслѣдованныя Толстымъ, — это традиціи стараго русскаго барства — обстоятельство, какъ мы это ниже увидимъ, далеко не лишенное интереса и своеобразнаго значенія. Это «старое барство» при Петрѣ Великомъ, переименованное изъ бояръ, стольниковъ, окольничьихъ и т. д. въ совѣтники различныхъ категорій, стригло себѣ волосы, брило бороды, одѣвалось въ нѣмецкое платье, ѣздило въ заморскія страны,—мечтало объ «огражденіи правъ своихъ» и быть можетъ о чемъ нибудь даже большемъ при Петрѣ II и Іоаннѣ VI, — вынесло жестокую ферулу Бирона при Аннѣ Ивановнѣ, расплатившись полностью за свои конституціонныя мечтанія, — достигло небывалаго расцвѣта при дворѣ Екатерины, гордо замкнулось въ своихъ усадьбахъ при Павлѣ Петровичѣ, — стояло впереди русскаго общества при Александрѣ I, впервые проникшись тутъ духомъ народолюбія и западными просвѣтительными идеями, и оказалось почти не у дѣлъ въ царствованіе императора Николая. Умственный расцвѣтъ этого стараго барства —первая четверть нашего вѣка, — эпоха, къ которой всегда съ особенной любовью обращался графъ Толстой, почерпнувъ изъ нея содержаніе своей геніальной эпопеи «Война и Миръ» и начатыхъ, но неоконченныхъ «Декабристовъ». Старое барство безпокойно волновалось тогда, искало правды и обновленія въ

массонствѣ, мистицизмѣ «дѣятельной добродѣтели»; составляло глухую оппозицію Аракчееву, Магницкимъ и Руничамъ, и послѣ безумныхъ по полному отсутствію какой-бы то ни было программы декабрьскихъ дней опять затолкалось и запинтриговало на дорожкахъ военной или придворной карьеры. Своеобразная сословная гордость отличала это старое русское барство, и для лучшихъ его представителей мужикъ и народъ были несомнѣнно всегда ближе, родственнѣе и понятнѣе, чѣмъ разночинецъ, торгашъ или иной какой нибудь представитель третьяго сословія. Свою антипатію къ этимъ новымъ элементамъ русскаго общества, а вмѣстѣ съ тѣмъ и народолюбіе, старое барство стало высказывать уже со временъ Радищева, и не разъ высказывалъ ее, какъ мы увидимъ ниже, и графъ Л. Н. Толстой.

Отецъ графа Л. Н. Толстого, подполковникъ Павлоградскаго гусарскаго полка, Николай Ильичъ Толстой участвовалъ въ кампаніи 12-го и 13-го годовъ. Видный, плѣнительный мужчина, пользовавшійся большимъ успѣхомъ въ свѣтѣ, онъ получилъ отъ отца своего, графа Ильи Андреевича, совершенно разоренное состояніе. Чтобы не положить тѣни на память отца, онъ, какъ Николай Ростовъ въ «Войнѣ и Мирѣ», удовлетворилъ всѣхъ кредиторовъ и остался совершенно не причемъ. На рукахъ его была старая мать, урожденная княжна Горчакова, привыкшая, разумѣется, къ роскошной и не думающей о завтрашнемъ днѣ жизни, и родственница Т. А. Ергольская, впослѣдствіи воспитавшая Льва Николаевича и жившая съ нимъ до самой своей смерти. На скромное жалованье офицера Николай Ильичъ существовать не могъ, и родственники его для поправленія обстоятельствъ прибѣгли къ обычному средству стараго барства и женили его на немолодой, некрасивой княжнѣ Марьѣ Ивановнѣ Волконской, единственной наслѣдницѣ одного изъ богатѣйшихъ русскихъ вельможъ. Эта семейная исторія послужила впослѣдствіи канвой для другой исторіи, съ такой поэтической прелестью разсказанной въ «Войнѣ и Мирѣ». Разореніе семейства Ростовыхъ, расчетъ съ кредиторами, выходъ Николая Ростова въ отставку, его женитьба на некрасивой княжнѣ Болконской извѣстны всякому русскому читателю. Но дѣйствительность преломилась сквозь призму поэзіи, и идеализируя преданія своей семьи и стараго барства вообще, графъ Толстой ввелъ цѣлую любовную эпопею между Николаемъ Ростовымъ и Марьей Болконской, почему на страницахъ романа бракъ является устроеннымъ по любви, а не по разсчету. Каковъ-бы

однако онъ ни былъ, бракъ оказался вполнѣ пристойнымъ. Родители Льва Николаевича жили преимущественно въ Ясной Полянѣ, и семейная жизнь ихъ протекала счастливо и безмятежно. Графиня Толстая, мать Льва Николаевича, умерла въ 1831 г., когда ея сыну было всего три года съ небольшимъ. 6 лѣтъ спустя сошелъ въ могилу и графъ Николай Ильичъ, и будущій великій писатель 9-ти лѣтъ отъ роду остался круглымъ сиротой.

Что были за люди родители графа Толстого, мы знаемъ очень мало. Портреты ихъ въ «Войнѣ и Мирѣ» (Николай Ростовъ и Марія Болконская) очевидно идеализированы, чтобы можно было положиться на нихъ, какъ на документъ. Въ романѣ Николай Ростовъ прекрасный хозяинъ, влюбленный въ свою жену, духовность и нѣжность ея натуры, — человѣкъ недалекій, недолюбливающій разсужденій и неумѣющій разсуждать, — прекрасный офицеръ и завидный служака, успокоившійся на томъ, что для разсужденій поставлены другіе, высшіе его, — и вмѣстѣ съ тѣмъ честная, открытая, непосредственная натура, обаяніе которой въ ея правдивости, хотя и узкой. Такой-же характеръ и у Вронскаго. Въ этихъ натурахъ нѣтъ разума, но есть разсудительность; нѣтъ героизма, но есть мужество; нѣтъ справедливости, но есть честь и честность. Они — исполнители, и мѣсто самостоятельнаго мышленія для нихъ замѣняютъ приказанія и указанія. Что именно такимъ не былъ отецъ Льва Николаевича, это можно утверждать навѣрное, и одинаково навѣрное можно утверждать, что во многомъ портретъ и подлинникъ схожи между собою. Графъ Николай Ильичъ во всякомъ случаѣ не былъ творческой натурой, что никакъ нельзя сказать о его женѣ. Про эту послѣднюю разсказываютъ, что «когда она, въ молодости, бывала на балахъ, то собирала вокругъ себя въ уборной молодыхъ дѣвушекъ и занимала ихъ ею же выдуманными сказками. Напрасно ждали кавалеры въ большой залѣ своихъ дамъ: тѣ не могли оторваться отъ сказокъ княжны Волконской». Въ «Войнѣ и Мирѣ» княжна Марья, некрасивая и слезливая, очерчена однако такими нѣжными штрихами, что вся ея фигура является сотканной изъ тончайшихъ нитей и производитъ впечатлѣніе чего-то неземного, высокаго и истинно-христіанскаго, несмотря на суевѣріе и пристрастіе къ странницамъ и легендамъ. Болѣзненная даже духовность натуры, воображеніе мистически настроенное, жажда самоотреченія и самопожертвованія, чудная привѣтливость и мягкость характера, порывъ къ небу и вѣчное стремленіе

уходить со своими мечтами въ міръ, гдѣ нѣтъ болѣзни и печали—всѣмъ этимъ графъ Толстой надѣлилъ тотъ образъ, въ которомъ онъ хотѣлъ изобразить свою мать. И вообще всякая женщина, при созданіи которой графъ Толстой жилъ нѣжными воспоминаніями о своей безвременно умершей матери, является у него человѣкомъ не отъ міра сего, натурой мечтательной и съ экзальтированнымъ воображеніемъ, про какихъ говорятъ: не «умираютъ онѣ, а улетаютъ на небо».

По смерти матери, воспитаніемъ дѣтей — четырехъ мальчиковъ и одной дѣвочки, совсѣмъ крохотнаго ребенка,—занялась дальняя родственница Толстыхъ, Ергольская. Въ 1837 г. вся семья переѣхала изъ Ясной Поляны въ Москву, такъ какъ старшій братъ Льва Николаевича, Николай, долженъ былъ готовиться въ университетъ; но лѣтомъ того же года скоропостижно умеръ графъ Николай Ильичъ, оставивъ послѣ себя пять человѣкъ дѣтей и очень разстроенное состояніе. Для сокращенія расходовъ часть семьи съ Ергольской вернулась опять въ Ясную Поляну. Дѣтей разумѣется учили, и учителями были и гувернеры-нѣмцы—одинъ изъ которыхъ достигъ безсмертія подъ именемъ Карла Ивановича въ «Отрочествѣ,» — и русскіе семинаристы въ тиковыхъ сюртукахъ, съ удареніемъ на «о».

По свидѣтельству покойной тетки Льва Николаевича, П. И. Юшковой, «въ дѣтствѣ онъ былъ очень шаловливъ, а отрокомъ отличался *странностью*, а иногда *неожиданностью* поступковъ, живостью характера и прекраснымъ сердцемъ» (Берсъ).

П. И. Юшкова разсказывала Берсу, что «однажды въ пути на почтовыхъ лошадяхъ, когда всѣ уже усѣлись въ экипажи, стали искать Льва Николаевича, который былъ тогда мальчикомъ. Въ это время голова его высунулась въ окнѣ станціи со словами «ma tante, я сейчасъ выхожу»! Половина головы его была обстрижена. Фантазія обстричь голову во время короткой остановки повидимому не объяснялась никакою надобностью.

Самъ Левъ Николаевичъ разсказывалъ при Берсѣ въ семейномъ кругу, что въ дѣтствѣ, лѣтъ семи или восьми, онъ возымѣлъ страстное желаніе *полетать по воздуху*. Онъ вообразилъ, что это вполнѣ возможно, если сѣсть на корточки и обнять руками свои колѣна; при этомъ, чѣмъ сильнѣе сжимать колѣна, тѣмъ выше можно полетѣть. Мысль эта долго не давала ему покоя, и наконецъ онъ рѣшился привести ее въ исполненіе. Онъ заперся въ классную комнату, влѣзъ на окно и въ точ-

ности исполнилъ все задуманное. Онъ упалъ съ окна на землю съ высоты около двухъ съ половиной саженей, отшибъ себѣ ноги и не могъ встать, чѣмъ не мало напугалъ домашнихъ. Таковы немногіе—(слишкомъ даже!)—подлинные факты изъ дѣтства великаго писателя.

Это время уже послужило Толстому темой для его перваго произведенія «Дѣтства», напечатаннаго въ «Современникѣ» 1852 года. Разумѣется, какъ во всемъ, что вышло изъ подъ пера Толстого, такъ и здѣсь, правда и вымыселъ переплетаются; но можно замѣтить, что въ художественной фантазіи Толстого есть одна характерная черта: всѣ свои усилія она сосредоточиваетъ не на томъ, чтобы отдѣлиться отъ дѣйствительности, а напротивъ, чтобы освѣтить и одухотворить ее. Въ большинствѣ произведеній Толстого героемъ является онъ самъ, его собственное душевное настроеніе, несомнѣнно имъ пережитое и перечувствованное. На эти произведенія мы смѣло можемъ положиться, какъ на автобіографическіе документы изъ области духовной жизни писателя.

Герой «Дѣтства», Николинька Иртеньевъ, въ разсказѣ, который ведется отъ его лица, знакомитъ насъ со всѣми своими дѣтскими впечатлѣніями и лицами его окружавшими. Мать и отецъ, нѣмецъ-гувернеръ Карлъ Ивановичъ Мауэръ, братъ Володя и сестра Любочка, нянька Наталья Савишна, юродивый Гриша—всѣ эти люди описаны съ удивительной художественностью, и ихъ разговоры, развлеченія, поступки переносятъ насъ въ давно минувшую эпоху стараго барства, его привольнаго, а подчасъ и разнузданнаго житья. Передъ нами семейная жизнь, гдѣ соблюдены всѣ приличія, гдѣ внѣшній лоскъ закрылъ ея зло и неправду,—страдалица мать, мистическая и экзальтированная натура,—принципы порядочнаго комильфотнаго существованія, безпечнаго и неодухотвореннаго ничѣмъ высокимъ.

Самъ Николинька, наслѣдовавшій отъ матери свою впечатлительность, свою наклонность къ мечтанію, свою неуравновѣшанную талантливую натуру—полностью обрисованъ въ первыхъ же сценахъ.

Онъ просыпается съ «разстроенными нервами» и чувствуетъ себя до глубины души обиженнымъ тѣмъ обстоятельствомъ, что его добродушнѣйшій гувернеръ Карлъ Ивановичъ неловко убилъ хлопушкой муху надъ его кроваткой. За чувствомъ обиды какъ-то сразу слѣдуетъ раскаяніе, а затѣмъ слезы.

На вопросъ, почему онъ плачетъ, мальчикъ сказалъ, что «плачетъ отъ того, что видѣлъ дурной сонъ: будто—maman умерла, и ее несутъ хоронить». Все это онъ выдумалъ, но когда Карлъ Ивановичъ, тронутый разсказомъ, сталъ утѣшать и успокаивать его, ему показалось, что онъ точно видѣлъ страшный сонъ, и «слезы полились уже отъ другой причины». Но еще нѣсколько минутъ, и мрачное настроеніе смѣнилось безпричинной веселостью и шаловливостью. За какихъ-нибудь полчаса и гнѣвъ, и обиженность, и раскаяніе, и слезы, и веселье.

Мальчикъ въ классной. Отсюда изъ оконъ на право видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большіе до обѣда. Бывало покуда поправляетъ Карлъ Ивановичъ листъ съ диктовкой, выглянешь въ ту сторону, видишь чорную головку матушки, чью нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говоръ и смѣхъ,—такъ сдѣлается досадно, что нельзя тамъ быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидѣть не за діалогами, а съ тѣми, кого я люблю? Досада перейдетъ въ грусть: Богъ знаетъ отъ чего и о чемъ такъ задумаешься, что и не слышишь, какъ Карлъ Ивановичъ сердится за ошибки.

Уже по этимъ нимъ подобнымъ сценамъ вы видите передъ собой даровитую, неуравновѣшанную натуру, съ удивительно чуткими нервами, себялюбивую и увлекающуюся, не умѣющую ни на іоту владѣть собой и сосредоточиваться на томъ, что нужно и приказано. Неожиданные рѣзкіе переходы отъ одного къ другому, преобладаніе чувствительности, застѣнчивость съ одной стороны, желаніе всѣмъ нравиться и стать на первомъ планѣ съ другой—подготовляютъ читателя къ будущему, гдѣ ребенка ждетъ столько ошибокъ, увлеченій, разочарованія, столько мучительныхъ минутъ раскаянія и сокрушенія о грѣхахъ своихъ.

Мучительный разладъ между мечтою и дѣйствительностью, т. е. тотъ самый, который впослѣдствіи такъ тяжело далъ себя почувствовать Толстому—начался очень рано уже въ дѣтскіе годы: мальчику хочется сидѣть на балконѣ вмѣстѣ съ большими, а вмѣсто этого его заставляютъ въ классной заниматься діалогами и диктантами; онъ хочетъ всѣмъ нравиться, быть находчивымъ, выдержаннымъ—и вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуетъ свою полную неприспособленность къ этому; его мучаетъ даже некрасивое лицо, непокорные вихристые волосы, широкій носъ, маленькіе сѣрые глаза. Спасеніе отъ всѣхъ этихъ бѣдствій онъ ищетъ въ мечтѣ, которой предается до одуренія, до полнаго умственнаго наркоза. Онъ еще не

знаетъ страданія, но слишкомъ уже хорошо знакомъ съ грустью и даже любитъ грустить, любитъ уходить въ созерцаніе и смакованіе собственнаго своего подчасъ выдуманнаго страданія, и вы чувствуете, какъ будущій князь Нехлюдовъ— этотъ ненужный и неумѣлый, хотя и порывисто благородный баричъ, подготовляется въ обстановкѣ, гдѣ родился и росъ Николинька Иртеньевъ.

---

Въ 1840 г. умерла опекунша сиротъ Толстыхъ, графиня Остенъ-Саксенъ, и опека перешла къ ихъ теткѣ П. И. Юшковой, жившей съ мужемъ въ Казани, куда и переѣхала вся семья Толстыхъ. Въ Казань же перешелъ изъ московскаго университета и старшій братъ Николай.

П. И. Юшкова, богатая знатная дама, принимала въ своей гостиной все «лучшее общество», и въ ея домѣ уже не было и помину о простой ясно-полянской жизни; напротивъ, все отъ обихода до взглядовъ свидѣтельствовало о родовитости, богатствѣ, связяхъ. Здѣсь, какъ мы скоро увидимъ, полностью расцвѣли и распустились комильфотныя стремленія Льва Николаевича. Все этому способствовало, и самая атмосфера юшковскаго дома, казалось, была проникнута заботою о томъ, чтобы все было на лучшій ладъ. Сама Юшкова мечтала для своихъ титулованныхъ племянниковъ о карьерѣ дипломатовъ или флигель-адъютантовъ. Ни въ чемъ другомъ не видѣла она смысла и счастья, какъ въ густыхъ эполетахъ, большихъ доходахъ, полной независимости. Сохранилось и ея изреченіе: rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme-il-faut, т. е. ничто такъ не полезно для молодого человѣка, какъ связь съ порядочной женщиной. Этой связи она, разумѣется, желала и для Льва Николаевича.

Съ переѣздомъ въ Казань закончилось и дѣтство Толстого. Почти неуловимые и неопредѣлимые штрихи отдѣляютъ эту первую пору жизни человѣческой отъ второй—отрочества, и чтобы охарактеризовать эти штрихи, обратимся опять къ духовной автобіографіи нашего писателя.

«Случалось ли вамъ, читатель—спрашиваетъ онъ—въ извѣстную пору жизни вдругъ замѣчать, что вашъ взглядъ но вещи совершенно измѣняется, какъ будто всѣ предметы, которые вы видѣли до тѣхъ поръ, вдругъ повернулись къ вамъ другою, неизвѣстной еще стороной. Такого рода моральная перемѣна произо-

шла во мнѣ въ первы разъ, во время нашего путешествія, съ котораго я и считаю начало моего отрочества.

«Мнѣ въ первый разъ пришла въ голову ясная мысль о томъ, что не мы одни, т. е. наше семейство, живемъ на свѣтѣ, что не всѣ интересы вертятся около насъ, а что существуетъ другая жизнь людей, ничего общаго не имѣющихъ съ нами, не заботящихся о насъ и даже не имѣющихъ понятія о нашемъ существованіи. Безъ сомнѣнія, я и прежде зналъ все это, но зналъ не такъ, какъ я это узналъ теперь, не сознавалъ, не чувствовалъ.

«Когда я глядѣлъ на деревни и города, которыя мы проѣзжали, въ которыхъ въ каждомъ домѣ жило по крайней мѣрѣ такое-же семейство, какъ наше; на женщинъ, дѣтей, которыя съ минутнымъ любопытствомъ смотрѣли на экипажъ и навсегда исчезали изъ глазъ; на лавочниковъ, мужиковъ, которые не только не кланялись намъ, но не удостоивали насъ даже взглядомъ, — мнѣ въ первый разъ пришелъ въ голову вопросъ, что-же ихъ можетъ занимать, ежели они нисколько не заботятся о насъ? Изъ этого вопроса возникли другіе: какъ и чѣмъ они живутъ, какъ воспитываютъ своихъ дѣтей, учатъ-ли ихъ, пускаютъ-ли играть, какъ наказываютъ?..

«Между дѣвочками и нами появилась какая-то невидимая преграда: у нихъ и у насъ были уже свои секреты, какъ будто онѣ гордились передъ нами своими юбками, которыя становились длиннѣе, а мы своими панталонами въ рейтузахъ».

Кончилось дѣтство—эта счастливая невозвратимая пора. Ребенокъ, все время жившій только собой и для себя, вдругъ неожиданно разсмотрѣлъ передъ глазами обширный Божій міръ, съ милліонами такихъ-же людей, какъ и онъ самъ,—людей, погруженныхъ въ собственныя думы, радости, печали. Онъ не сознаваль, да и не могъ еще сознать, своего мѣста въ этомъ обширномъ Божіемъ мірѣ: онъ не сознавалъ, да и не могъ еще сознать, тѣхъ отношеній, въ которыя онъ вступитъ и долженъ будетъ вступить съ этими милліонами ему подобныхъ, но онъ въ минуту прозрѣнія почувствовалъ себя частицей чего-то огромнаго, сложнаго, необъятнаго. Рамки дѣтскаго эгоизма раздвинулись и кончилось дѣтство. А какъ жаль, что кончилось оно.

«Послѣ молитвы—пишетъ Толстой—завернешься бывало въ одѣяльце; на душѣ легко, свѣтло и отрадно: однѣ мечты гонятъ другія,—но о чемъ онѣ? Онѣ неуловимы, но исполнены чистой любовью и надеждами на свѣтлое счастье. Вспомнишь бывало о Карлѣ Ивановичѣ и его горькой участи—единственномъ человѣкѣ, котораго я зналъ несчастливымъ—и такъ жалко станетъ, такъ полюбишь его, что слезы потекутъ изъ глазъ, и думаешь: дай Богъ ему счастье, дай мнѣ возможность помочь ему, облегчить его горе; я всѣмъ готовъ для него пожертвовать... Потомъ любимую фарфоровую игрушку — зайчика или собачку — уткнешь въ

уголъ пуховой подушки и любуешься, какъ хорошо, тепло и уютно ей тамъ лежать. Еще помолишься о томъ, чтобы Богъ далъ счастья всѣмъ, чтобы всѣ были довольны и чтобы завтра была хорошая погода для гулянья, повернешься на другой бокъ, мысли и мечты перепутаются, смѣшаются и уснешь тихо, спокойно, еще съ мокрымъ отъ слезъ лицомъ»...

Кончилось дѣтство.

«Вернутся-ли когда нибудь—продолжаетъ Толстой—та свѣжесть, беззаботность, потребность любви и сила вѣры, которыми обладаешь въ дѣтствѣ? Какое время можетъ быть лучше того, когда двѣ лучшія добродѣтели,—невинная веселость и безпредѣльная потребность любви—были единственными побужденіями въ жизни?..

«Гдѣ тѣ горячія молитвы, гдѣ лучшій даръ—тѣ чистыя слезы умиленія? Прилеталъ ангелъ-утѣшитель, съ улыбкой утиралъ слезы эти и навѣвалъ сладкія грезы неиспорченному дѣтскому воображенію.

«Неужели жизнь оставила такія тяжелыя слѣды въ моемъ сердцѣ, что навѣки отошли отъ меня слезы и восторги эти? Неужели остались однѣ воспоминанія?»

Но и однѣ воспоминанія, особенно такія чистыя, свѣтлыя, святыя, которыя сохранилъ Толстой на всю жизнь — ужасно много значатъ. У многихъ-ли остались они? да и этихъ немногихъ съ каждымъ днемъ становится все меньше и меньше!

---

Въ Казани у Льва Николаевича былъ учитель и гувернеръ «St. Thomas,» описанный имъ впослѣдствіи подъ именемъ m-r Жерома. Этотъ-то «St. Thomas» и подготовилъ его къ поступленію въ университетъ.

Въ университетъ въ то время молодые баричи поступали очень рано, кто 14-ти, 15-ти, кто 16-ти лѣтъ,—поступали не изъ гимназій, какъ теперь, а прямо изъ классной помѣщичьяго дома, гдѣ большинство получало, разумѣется, подготовку очень сомнительную. Впрочемъ и въ стѣнахъ высшаго учебнаго заведенія наука не находилась въ особенной чести, и смѣло можно спросить себя: была ли она на самомъ дѣлѣ? Разумѣется, читались лекціи и внѣшній видъ научности соблюдался; но далѣе, глубже не забирались ни профессора, ни студенты. Громкія названія факультетовъ, вродѣ морально-политическаго, и предметовъ, какъ напр. эстетика, не должны смущать читателя: хорошихъ профессоровъ, особенно въ провинціи, или совсѣмъ не было, или они должны были молчать, ограничиваясь чтеніемъ записокъ, тщательно разсмотрѣнныхъ, проредактированныхъ, процензурованныхъ и пр. Извѣстно

изреченіе императора Николая Павловича: «и архіереямъ нельзя давать всякую книгу»; что же послѣ этого могли слышать студенты. Буря, пронесшаяся надъ русскими университетами во времена Магницкаго и Рунича, когда анатомію преподавали не по скелету, а по полотенцу, а въ карцерѣ для провинившихся слушателей морально-политическихъ и иныхъ наукъ висѣла картина Страшнаго суда—была еще въ памяти у всѣхъ; готовилась и новая буря, которой не много лѣтъ спустя предстояло разразиться надъ лучшимъ изъ университетовъ той эпохи—московскимъ. Наука, повторяю, въ чести не была, да, въ сущности, никто и не чувствовалъ въ ней ни малѣйшей надобности: государство поддерживало и содержало ее совсѣмъ не потому, что ему нужны были ученые юристы и знатоки римскихъ древностей, а просто, чтобы не ударить въ грязь лицомъ передъ Европой и не разрушать дѣла, начало которому было положено великой Екатериной. Интеллигенція только что возникала въ то время, а общества не было совершенно. Контингентъ студентовъ пополнялся главнымъ образомъ изъ дворянъ и помѣщичьихъ дѣтей. Странно даже спрашивать себя, зачѣмъ нужна была наука владѣльцу столькихъ-то и столькихъ-то душъ?.. Правда, университетскій дипломъ давалъ извѣстныя привилегіи по службѣ и право на штабъ-офицерскій чинъ, но кто же не знаетъ, что привилегіи университетскаго диплома ничто и даже меньше того сравнительно съ привилегіями рожденія, богатства, связей. Поэтому-то атмосфера ненужности, одинаково понятной и для профессоровъ и для студентовъ, наполняла собою университетскія аудиторіи и кабинеты; не слышалось живого слова, не видно было горячаго увлеченія, и чѣмъ-то затхлымъ и скучнымъ отзываются и наука, и лекціи того времени. Даже даровитые юноши, обладавшіе жаждой познанія и рвавшіеся къ источнику истины, быстро охладѣвали, переступивъ университетскій порогъ. Уже вступительный экзаменъ, на которомъ такъ много значила протекція, знакомство, взятка, нарушалъ невинность мечты, и нѣсколько выслушанныхъ лекцій вызывала сначала недоумѣніе, потомъ недовольство и наконецъ отвращеніе. Оставался, слѣдовательно, синій воротникъ студенческаго сюртука, шпага гражданскаго вѣдомства и возможность считать себя большимъ. Большинство, разумѣется, вполнѣ этимъ удовлетворялось тогда, какъ удовлетворяется оно и въ настоящее время.

«Бурна была, говоритъ проф. Загоскинъ, жизнь казанскаго студенчества 40-хъ и 50-хъ годовъ. Хранящіяся въ архивѣ мѣстнаго университета дѣла по инспекціи и канцеляріи попечителя представляютъ собою цѣлые томы производства по поводу зазорнаго поведенія студентовъ и даютъ длинную хронику скандаловъ и безобразій болѣе или менѣе публичнаго характера, бороться съ которыми были безсильны всѣ строгости университетской инспекціи того времени. О гомерическихъ кутежахъ и попойкахъ мы уже не говоримъ: они носили положительно хроническій характеръ; весь избытокъ жизни уходилъ на кутежи. Бывали конечно примѣры и студентовъ-аристократовъ, которые не чужды были безобразій, довольно таки колоссальнаго характера, какія учинялъ напр. симбирскій уроженецъ, князь Ч—евъ, развлекавшійся тѣмъ, что, вооружившись духовымъ ружьемъ, съ чердака обстрѣливалъ и держалъ въ постоянномъ осадномъ положеніи всю Поперечно-Красную улицу,— не говоря уже о цѣломъ рядѣ другихъ безобразій, которыми ознаменовалъ этотъ князекъ свое пребываніе въ университетѣ. Но говоря вообще, студенты-аристократы чуждались бурнаго разгула казанскихъ буршей стараго времени и образовывали свою особую группу, впадая при этомъ въ другую крайность—увлеченіе свѣтскою жизнью, наслажденіями болѣе тонкаго и комильфотнаго разврата... Балы, вечера, пикники, спектакли, живыя картины (въ которыхъ, кстати сказать, съ большимъ успѣхомъ принималъ участіе и Л. Н. Толстой), рысаки, женщины—составляли альфу и омегу этихъ самодовольныхъ барчатъ, которые поступали въ университетъ, сами не зная для чего. Юридическій факультетъ особенно изобиловалъ юношами этой послѣдней категоріи».

Лучшимъ изъ факультетовъ въ Казани былъ повидимому математическій, гдѣ подвизался въ то время Лобачевскій, но Л. Н. Толстой нѣсколько неожиданно поступилъ на факультетъ восточныхъ языковъ. Случилось это въ 1843 году, когда будущему писателю исполнилось всего 15 лѣтъ. Съ этого времени графъ Толстой считаетъ начало своей юности: гдѣ же *отрочество?*

Представивъ себѣ обстановку барскаго юшковскаго дома и плоскій идеалъ комильфотнаго существованія, при которомъ связь съ порядочной женщиной считается лучшимъ средствомъ, чтобы «оформить» молодого человѣка, читатель легко пойметъ, какъ съ внѣшней стороны жилось графу Толстому за эти

три года (1840—1843). Важныхъ опредѣляющихъ событій никакихъ; французъ-гувернеръ, смѣнившій нѣмца-дядьку, обучаетъ манерамъ и языкамъ; есть еще каждый день уроки русскаго языка, исторіи, математики, которые даются неблагообразными семинаристами, съ удареніемъ на «о»; есть балы, праздная прогулка и катанья.

«Весело, очень весело жили въ Казани въ ту дореформенную пору—продолжаетъ проф. Загоскинъ—конечно въ высшихъ сферахъ общества, дававшихъ главный колоритъ мѣстной общественности. Широкій размахъ казанской великосвѣтской жизни 40-хъ и 50-хъ годовъ носилъ характеръ послѣдней агоніи крѣпостного строя старой Россіи и давалъ себя особенно сильно чувствовать по зимамъ. Казань служила центромъ, къ которому тяготѣло все среднее Поволжье и Прикамье, являясь по отношенію къ нимъ маленькой столицей. Сюда съѣзжались на зиму богатыя помѣщичьи семьи, съ тѣмъ, чтобы повеселиться здѣсь послѣ лѣтней деревенской жизни, сдѣлать заказы, обшиться и пріодѣться, отдать въ ученье подростающихъ ребятъ, а при случаѣ подыскать приличную партію и дочкамъ своимъ... Гостепріимство было широкое, барское, котораго теперь нѣтъ уже и въ поминѣ. Холостому человѣку, напр., можно было вовсе не имѣть у себя стола, т.-е. существовало по крайней мѣрѣ 20—30 домовъ, куда ежедневно сходились обѣдать много лицъ безъ всякаго приглашенія. День распредѣлялся такъ: вскорѣ послѣ окончанія обѣда, выпивъ кофе и поболтавъ о всякой-всячинѣ, всѣ отправлялись по домамъ спать, что составляло общее обыкновеніе. Вечеромъ снова ѣхали куда-нибудь на раутъ или балъ, всегда заканчивавшійся лукулловскимъ ужиномъ; такія торжества затягивались далеко за полночь, и нерѣдко гостямъ приходилось возвращаться домой въ 5—6 часовъ утра. На слѣдующій день вставали часовъ въ 12, чтобы начать продѣлывать то же самое... Да, весело жили наши дѣды, но въ то же время и пусто до тошноты...»

По внѣшности, казанскій періодъ самый бѣдный, по внутреннему своему содержанію, — одинъ изъ самыхъ богатыхъ. Нечего и говорить, что излишняя воспріимчивость и склонность къ анализу не только не исчезли, но теперь-то и распускаются полностью. Неожиданныя эмоціи, произвольная почти смѣна настроеній портятъ мальчику жизнь; наркозъ мечты является по прежнему главнымъ источникомъ болѣзненнаго наслажденія: этимъ ядомъ графъ Толстой (или Николинька Иртеньевъ) продолжаетъ отравлять себя при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ. Безпричинныя слезы и безпричинное раздраженіе говорятъ о разстроенныхъ, слишкомъ чувствительныхъ нервахъ, созданныхъ нездоровой наслѣдственностью отъ утомленныхъ предковъ. Застѣнчивость заставляетъ запрятывать глубоко-глубоко въ душу и

свою доброту, и жажду любви, отчасти прежней чистой и свѣтлой, отчасти и новой, въ которой есть уже влеченіе къ женщинѣ.

Николинька Иртеньевъ цѣлые часы проводитъ на площадкѣ:

«безъ всякой мысли, съ напряженнымъ вниманіемъ прислушиваясь къ малѣйшимъ движеніямъ, происходящимъ на верху», или, «притаившись за дверью, съ тяжелымъ чувствомъ зависти и ревности слушаетъ возню въ дѣвичьей» и обсуждаетъ вопросъ: «каково было-бы его положеніе, ежели-бы онъ пришелъ наверхъ и такъ-же, какъ братъ, захотѣлъ-бы поцѣловать горничную Машу». Но рѣшиться на это онъ не смѣетъ и попадаетъ подчасъ въ довольно глупое положеніе, слыша, какъ Маша говоритъ брату: «вотъ наказаніе! что-же вы, въ самомъ дѣлѣ, пристали ко мнѣ... идите отсюда, шалунъ эдакій... Отчего Николай Петровичъ никогда не ходитъ сюда и не дурачится».. А бѣдный Николай Петровичъ сидитъ въ эту минуту подъ лѣстницей и все на свѣтѣ готовъ отдать, чтобы только быть на мѣстѣ шалуна брата.

Широкій носъ, некрасивое лицо мучаютъ по прежнему и даже сильнѣе прежняго.

«Я былъ стыдливъ отъ природы—разсказываетъ Толстой—но стыдливость моя еще увеличилась убѣжденіемъ въ моей уродливости. А я убѣжденъ, что ничто не имѣетъ такого разительнаго вліянія на направленіе человѣка, какъ наружность его, и не столько самая наружность, сколько убѣжденіе въ привлекательности или непривлекательности ея... Я былъ слишкомъ самолюбивъ, чтобы привыкнуть къ своему положенію, утѣшался какъ лисица, увѣряя себя, что виноградъ еще зеленъ, т. е. старался презирать всѣ удовольствія, доставляемыя пріятной наружностью, которымъ я отъ души завидывалъ, и напрягалъ всѣ силы своего ума и воображенія, чтобы находить наслажденіе въ гордомъ одиночествѣ»...

Передъ нами опять мотивы дѣтства, но обострившіеся, болѣе мучительные, оттого что болѣе себялюбивые... Громадный запасъ чувствительности, какъ жидкость изъ переполненной посуды, при малѣйшемъ толчкѣ выливается черезъ край. Настроеніе деспотически владѣетъ мальчикомъ, заставляя его продѣлывать самыя дикія и несообразныя вещи. Учится онъ не то чтобы плохо, а безпорядочно, не зная середины, то увлекаясь, то чувствуя полнѣйшее отвращеніе. Онъ очевидно боленъ, и боленъ прежде всего богатствомъ своей неуравновѣшанной, слишкомъ нервной натуры.

На него находитъ порою странность:

«Вспоминая свое отрочество—пишетъ онъ—и особенно то состояніе духа, въ которомъ я находился въ одинъ несчастный для меня день, я весьма ясно понимаю возможность самаго ужаснаго

преступленія, безъ цѣли, безъ желанія вредить, но такъ... изъ любопытства, изъ безсознательной потребности дѣятельности... Бываютъ минуты, когда будущее представляется человѣку въ столь мрачномъ свѣтѣ, что онъ боится останавливать на немъ свои умственные взоры, прекращаетъ въ себѣ совершенно дѣятельность ума и старается убѣдить себя, что будущаго не будетъ и прошедшаго не было. *Въ такія минуты*, когда мысль не обсуживаетъ впередъ каждаго опредѣленія воли, а единственными пружинами жизни остаются плотскіе инстинкты, я понимаю, что, ребенокъ, по неопытности особенно склонный къ такому состоянію, безъ малѣйшаго колебанія и страха, съ улыбкой любопытства раскладываетъ и раздуваетъ огонь подъ собственнымъ домомъ, въ которомъ спятъ его братья, отецъ, мать, которыхъ онъ нѣжно любитъ»...

*Въ такія минуты* мальчикъ начинаетъ бить, что попало подъ руку, дерется съ своимъ гувернеромъ и совершаетъ одинъ дикій поступокъ за другимъ, въ состояніи полной невмѣняемости. Онъ и самъ не знаетъ, что, какъ и зачѣмъ, и чувствуетъ лишь обиду и страданіе.

— «Оставьте меня,—кричитъ онъ сквозь слезы—никто вы не любите меня, не понимаете, какъ я несчастливъ! Всѣ вы гадки, отвратительны»...

Матери, которая поняла бы ребенка въ эти минуты и одна могла бы успокоить его своимъ ласковымъ любящимъ словомъ — нѣтъ, и бѣдное обиженное маленькое сердце ищетъ утѣшенія или лучше забвенія въ фантастическихъ мечтахъ:

«То мнѣ приходитъ въ голову, что должна существовать какая нибудь неизвѣстная причина общей ко мнѣ нелюбви и даже ненависти. (Въ то время я былъ твердо убѣжденъ, что всѣ, начиная отъ бабушки и до Филиппа кучера, ненавидятъ меня и находятъ наслажденіе въ моихъ страданіяхъ). Я должно быть не сынъ моей матери и моего отца, а несчастный сирота, подкидышъ, взятый изъ милости, говорю я самъ себѣ; и нелѣпая мысль эта не только доставляетъ мнѣ какое-то *грустное утѣшеніе*, но даже кажется совершенно правдоподобною. Мнѣ *отрадно* думать, что я несчастенъ не потому, что виноватъ, но потому, что такова моя судьба съ самаго моего рожденія, и что участь моя похожа на участь несчастнаго»...

Мечта работаетъ съ болѣзненной настойчивостью. Мальчикъ воображаетъ себя то подкидышемъ, то гусарскимъ генераломъ, то въ гробу, и живетъ своимъ воображеніемъ, совершенно забывая, гдѣ онъ и кто онъ.

«Послѣ сорока дней, думаетъ онъ напр.,—душа моя улетаетъ на небо; я вижу тамъ что-то удивительно прекрасное, бѣлое,

прозрачное, длинное, и чувствую, что это моя мать. Это что-то бѣлое окружаетъ, ласкаетъ меня, но я чувствую безпокойство и какъ будто не узнаю ея. Ежели это точно ты, говорю я, то покажись мнѣ лучше, чтобы я могъ обнять тебя. И мнѣ отвѣчаетъ ея голосъ: «здѣсь мы всѣ такіе, я не могу лучше обнять тебя. Развѣ тебѣ не хорошо такъ?»—Нѣтъ, мнѣ очень хорошо, но ты не можешь щекотать меня и я не могу цѣловать твоихъ рукъ...—«Не надо этого, здѣсь и такъ прекрасно»—говоритъ она, и я чувствую, что точно прекрасно, и мы вмѣстѣ съ ней летимъ все выше и выше»...

Мальчикъ упивается мечтами до одуренія и пресыщается ими. Онъ даже принуждаетъ себя мечтать, чтобы только забыться и вернуть блаженныя минуты опьяненія. Какъ настоящій «алкоголикъ», онъ пьетъ мечту, когда она уже противна ему.

Здоровыя мысли и чувства не могутъ вырости на этой почвѣ. Мы можемъ ожидать всего худшаго, и на самомъ дѣлѣ мальчикъ скоро начинаетъ ненавидѣть своего гувернера. «Да—разсказываетъ онъ,—это было настоящее чувство ненависти,—не той ненависти, про какую пишутъ только въ романахъ и въ какую я не вѣрю,—ненависти, которая будто бы находитъ наслажденіе въ дѣланіи зла человѣку,—внушаетъ вамъ непреодолимое отвращеніе къ человѣку, заслуживающему однако ваше уваженіе, дѣлаетъ для васъ противными его волосы, походку, шею, звукъ его голоса, всѣ его члены, всѣ его движенія, и вмѣстѣ съ тѣмъ какою-то непонятною силою притягиваетъ васъ къ нему и съ безпокойнымъ вниманіемъ заставляетъ слѣдить за малѣйшими его поступками».

Но откуда все это? Откуда такая ожесточенная ненависть, откуда столько страданія? Казалось бы, мальчику живется хорошо. Его никто не обижаетъ и никто его не унижаетъ, никакихъ лишеній онъ не терпитъ; напротивъ, онъ окруженъ и лаской, и вниманіемъ. Вокругъ него семья, которую онъ любитъ и которая его любитъ. Почему же нѣтъ счастья и нѣтъ удовлетворенности, почему душа безпокойно мечется въ обстановкѣ, которая по всей истинѣ и справедливости можетъ удовлетворить любого смертнаго? Но капризное, неуравновѣшанное чувство, слишкомъ прихотливое и требовательное, ищетъ чего-то большаго, совершеннаго, и вмѣсто радости то и дѣло погружается въ тоску и мрачное уныніе. Причина такой странности заключается, кажется, въ томъ, что геніальныя натуры вообще плохо приспособляются къ какимъ бы то ни было условіямъ нашего земного существованія, или,

какъ краснорѣчиво выражается Брандесъ, носятъ «печать Каина на челѣ». Онѣ слишкомъ нѣжны. Незамѣтный для обыкновеннаго смертнаго толчокъ вызываетъ въ нихъ боль и страданіе; та же чуткость дѣлаетъ ихъ непомѣрно требовательными и обидчивыми. Мало того, въ годы дѣтства и юности онѣ рѣдко бываютъ сами собой; минутное настроеніе такъ деспотически владѣетъ ими, что онѣ постоянно кого-то и что-то изображаютъ: то страдальца, то меланхолика, то человѣка, презирающаго все и вся. Вообразивъ себя тѣмъ или другимъ, онѣ поступаютъ по воображенію,—обстоятельство, которое и позволяетъ намъ понять общую характеристику, данную Толстымъ своему «отрочеству».

«По моему мнѣнію, говоритъ онъ.—*несообразность* между положеніемъ человѣка и его моральной дѣятельностью есть *вѣрнѣйшій признакъ истины*».

Какъ это такъ «несообразность» можетъ служить вѣрнѣйшимъ признакомъ истины? Это что-то вродѣ тертулліановскаго «вѣрю, потому что это безсмыслица». Однако Толстой правъ, но правъ не вообще, а лишь въ томъ случаѣ, когда имѣется въ виду болѣзненно-чуткая и напряженно-впечатлительная натура, такая т. е., которую Достоевскій мѣтко назвалъ «фантастической».

Никакого противорѣчія въ такой психологической несообразности нѣтъ. Представьте себѣ на самомъ дѣлѣ, что вы идете ночью по незнакомому лѣсу, идете въ одиночку и чего-то ежеминутно ожидаете. Страхъ и ожиданіе дѣлаютъ вашу впечатлительность значительно повышенною. Вы видите такъ, какъ никогда прежде не видѣли въ темнотѣ, слышите такъ, какъ не слышали никогда раньше; вы какъ будто различаете даже шумъ отъ упавшаго на землю древеснаго листа или шуршанье ползущаго насѣкомаго. Но эта-то чуткость, эта-то тонкость слуха и проницательность зрѣнія и обманываютъ васъ. Вы сознаете себя окруженнымъ всякими ужасами, которыхъ нѣтъ, потому что мозгъ вашъ ежеминутно получаетъ преувеличенныя представленія о внѣшнемъ мірѣ. Чтобы красивая рука не стала безобразной въ вашихъ глазахъ, не надо разсматривать ее въ лупу; чтобы жизнь не оттолкнула васъ отъ себя, не измучила бы васъ, не надо слишкомъ близко въ нее всматриваться. Такъ говоритъ благоразуміе, т. е. послѣднее, чего слушаются выдающіяся натуры.

Та же болѣзненная чуткость вызываетъ и обусловливаетъ

нравственное одиночество, въ которомъ пребываютъ таланты и геніи. На почвѣ этого одиночества выростаютъ странныя мысли, странные вопросы.

«Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ моральную жизнь—разсказываетъ Толстой—всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ, и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему.

«Разъ мнѣ пришла мысль, что счастье не зависитъ отъ внѣшнихъ причинъ, а отъ нашего отношенія къ нимъ; что человѣкъ, привыкшій переносить страданія, не можетъ быть несчастливъ; и чтобы пріучить себя къ труду, я, несмотря на страшную боль, держалъ по пяти минутъ въ вытянутыхъ рукахъ лексиконы Татищева или уходилъ въ чуланъ и веревкой стегалъ себя такъ больно по голой спинѣ, что слезы невольно выступали на глазахъ.

«Другой разъ, вспомнивъ вдругъ, что *смерть ожидаетъ меня каждый часъ*, каждую минуту, я рѣшилъ, не понимая, какъ не поняли того до сихъ поръ люди, что человѣкъ не можетъ быть иначе счастливъ, какъ пользуясь настоящимъ и не помышляя о будущемъ,—и я три дня подъ вліяніемъ этой мысли бросилъ уроки и занимался только тѣмъ, что лежа на постели наслаждался чтеніемъ какого нибудь романа и ѣдою пряниковъ съ кроновскимъ медомъ, которые я покупалъ на послѣднія деньги».

Мальчикъ умствуетъ въ своемъ произвольномъ одиночествѣ, мальчикъ чувствуетъ себя несчастнымъ и начинаетъ задумываться о смерти. Сколько отвлеченнаго въ направленіи его мысли и какъ мало связи между работой его мозга и впечатлѣніями окружающей дѣйствительности. Но мы уже видѣли, что въ дѣтствѣ Толстому очень хотѣлось полетать, и казалось, что это такъ просто: «стоитъ только обнять колѣнки покрѣпче руками»; и въ отрочествѣ у него та же жажда летанія, то же стремленіе непокорнаго духа отрѣшиться отъ земли и ея обыденныхъ, будничныхъ интересовъ. Мы уже предчувствуемъ, что онъ долженъ увлечься сомнѣніемъ, и долженъ увлечься имъ прежде всего потому, что жизнь не удовлетворяетъ его. Страданіе-же истинное или выдуманное—безразлично—ведетъ человѣка къ отрицанію. И самое полученное имъ воспитаніе не закрѣпило въ его головѣ ни одного твердаго правила: онъ и молился-то лишь по привычкѣ, исполняя какой-то обрядъ, а когда сверстникъ сказалъ ему, что не надо молиться, что смѣшно молиться,—онъ бросилъ это такъ легко, какъ будто сдулъ пушинку со своей одежды.

«Я воображалъ—продолжаетъ онъ свой разсказъ—что кромѣ меня никого и ничего не существуетъ во всемъ мірѣ, что предметы—не предметы, а образы, являющіеся только тогда, когда я на нихъ обращаю вниманіе, и что, какъ скоро я перестаю думать о нихъ, образы эти тотчасъ-же исчезаютъ. Были минуты, что я подъ вліяніемъ этой постоянной идеи доходилъ до такой степени сумасбродства, что иногда быстро оглядывался въ противоположную сторону, надѣясь врасплохъ застать пустоту (néant) тамъ, гдѣ меня не было.

Изъ всего этого тяжелаго моральнаго труда я не вынесъ ничего, кромѣ изворотливости ума, ослабѣвшей во мнѣ силы воли и привычки къ постоянному моральному анализу, уничтоживъ свѣжесть жизни и ясность разсудка».

Разумѣется, всѣ эти мысли и мыслишки кажутся мальчику въ высшей степени оригинальными и питаютъ его гордость. Съ сознаніемъ собственнаго достоинства и превосходства смотритъ онъ на остальныхъ смертныхъ, но—

«странно—разсказываетъ онъ,—приходя въ столкновеніе съ этими смертными, я робѣлъ передъ каждымъ, и чѣмъ выше ставилъ себя въ собственномъ мнѣніи, тѣмъ менѣе былъ способенъ съ другими не только выказывать сознаніе собственнаго достоинства, но не могъ даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое слово и движеніе».

Съ такими-то задатками начались университетскіе годы, а вмѣстѣ съ ними и юность.

* * *

Какъ мы видѣли раньше, Толстой нѣсколько неожиданно поступилъ на факультетъ восточныхъ языковъ, что, повидимому, можно объяснить лишь его юношеской страстью оригинальничать и идти иной дорогой, чѣмъ идутъ другіе, не справляясь даже о томъ, насколько она хороша. Учился онъ очень неудачно, главнымъ образомъ потому, что перебрасывался съ предмета на предметъ, не зная на чемъ ему остановиться. Въ сорокъ четвертомъ году мы видимъ его уже юристомъ, но и здѣсь дѣло не пошло. Онъ заинтересовался лишь на нѣсколько мѣсяцевъ лекціями профессора Мейера по государственному праву и взялся даже за самостоятельную работу сравненія «Духа Законовъ» Монтескье съ «Наказомъ» императрицы Екатерины, увлекся этой работой, а потомъ вскорѣ остылъ и къ ней.

Проф. Загоскинъ, подробно изслѣдовавъ документы, относящіеся къ университетскому періоду жизни Толстого, нарисовалъ слѣдующую ея картину, которую мы и резюмируемъ:

«Графъ Л. Н. не послѣдовалъ математическимъ наклонностямъ своихъ братьевъ; онъ избираетъ факультетъ восточныхъ языковъ,

къ поступленію на который усиленно и готовился втеченіи 42—44 гг., а дѣло это было не совсѣмъ легкое, такъ какъ для вступительнаго экзамена нужно было имѣть подготовку въ арабскомъ и турецко-татарскомъ языкахъ. Приближалась весна 44 г.,—время вступительныхъ университетскихъ испытаній. Въ это доброе старое время для юношей изъ богатыхъ аристократическихъ семей практиковалось облегченное средство для вступленія подъ сѣнь университетскихъ аудиторій: среди профессоровъ всегда находились покровители родовитыхъ и состоятельныхъ аспирантовъ на студенчество, которые или поселялись у своихъ будущихъ экзаменаторовъ въ качествѣ учениковъ-пансіонеровъ, или же брали у нихъ по ихъ спеціальностямъ приватные уроки (разумѣется за приличное вознагражденіе). Толстому, на бѣду, пришлось однако держать экзаменъ въ такое время, когда только-что отъ попечителя округа графа Мусина-Пушкина было получено строжайшее предложеніе: «малосвѣдущихъ не принимать». Несмотря на приватные уроки, онъ сбился и получилъ достаточное количество единицъ и двоекъ. Но ему разрѣшили дополнительные экзамены и онъ былъ принятъ «по разряду арабско-турецкой словесности». Что нашелъ онъ тутъ? Очень мало для ума, еще меньше для сердца. Но вѣроятно, что главная причина его хроническихъ университетскихъ неудачъ лежала не въ курсѣ преподаванія, не въ профессорахъ, а въ вліяніи той среды, среди которой онъ вращался. «Это, говоритъ Загоскинъ,—была среда, всецѣло проникнутая сословными предразсудками, пропитанная условными понятіями комильфотности и не находившая ничего лучшаго, какъ воскуриваніе фиміама ихъ высокопревосходительствамъ губернатору и губернаторшѣ и раздѣлять свое досужее время между картами, танцами и сплетнями, присоединяя къ этимъ развлеченіямъ по истинѣ безпримѣрное чревоугодіе. Домъ тетки молодыхъ гр. Толстыхъ П. И. Юшковой, мужъ которой, кстати сказать, рекомендовалъ себя откровенно стихами: «графъ Толстой—человѣкъ пустой-выдалъ дочь Полину—за Юшкова-скотину»,—является однимъ изъ видныхъ аристократическихъ домовъ Казани. Очень естественно, что этотъ домъ совмѣщалъ въ себѣ всѣ условія пустой, безсодержательной провинціальной великосвѣтской жизни. Какъ тетушка Полина Пльнишна, такъ и окружавшіе ее, систематически портили юношу, ломали его хорошую отъ рожденія натуру и развращали и его умъ, и его душу, и его сердце. Въ братьяхъ своихъ, кромѣ старшаго Николая, никакой нравственной поддержки онъ встрѣтить не могъ. Сергѣй Николаевичъ былъ яркимъ типомъ бонвивана, студента-франта, дамскаго поклонника и ловеласа, который никогда не прочь кутнуть и охотно беретъ отъ жизни все, что она способна дать ему; впослѣдствіе онъ женился на цыганкѣ и въ хора. Дмитрій, напротивъ, былъ ханжа и мистикъ, избѣгавшій всякихъ удовольствій и развлеченій свѣта, ходилъ по всѣмъ церковнымъ службамъ, постился, велъ абсолютно чистую жизнь; даже попечитель округа Мусинъ-Пушкинъ вынужденъ былъ уговаривать его танцовать на вечерахъ тѣмъ аргументомъ, что царь Давидъ плясалъ передъ ковчегомъ.

Судя по нѣкоторымъ горькимъ строкамъ изъ «Исповѣди»,

Л. Н. Толстому чувствовалось нехорошо въ этой обстановкѣ, «Всякій разъ, говоритъ онъ напр.,—когда я пытался высказать то, что составляло самыя задушевныя мои желанія—то, что я хочу нравственно быть хорошимъ—я встрѣчалъ презрѣніе и насмѣшки, а какъ только я предавался гадкимъ страстямъ, меня хвалили и поощряли». «Добрая тетушка моя, съ ироніей продолжаетъ онъ, чистѣйшее существо, всегда говорила мнѣ, что она ничего не желала-бы такъ для меня, какъ того, чтобы я имѣлъ связь съ замужнею женщиной. Еще другого счастья она желала мнѣ, того, чтобы я былъ адъютантомъ и лучше всего—у государя, а самаго большого счастья, того, чтобы я женился на богатой дѣвушкѣ и чтобы у меня было какъ можно больше рабовъ».

Примкнувши къ кружку студентовъ-аристократовъ, проводя все время на балахъ, вечерахъ и пикникахъ, гр. Толстой разумѣется занимался очень слабо и, не выдержавъ переходныхъ экзаменовъ на 2-й курсъ, перебрался попытать счастья на юридическій факультетъ, но встрѣтилъ здѣсь, по выраженію проф. Загоскина, «нѣчто невообразимое». «Факультетъ олицетворялся въ небольшой кучкѣ профессоровъ, съ преобладающимъ нѣмецкимъ элементомъ, которые служили предметомъ посмѣшища для студентовъ всѣхъ факультетовъ и всѣхъ курсовъ... Вотъ напримѣръ, полуюродивый профессоръ римскаго права Камбекъ, нѣмецъ, почти незнающій русскаго языка, который изъ года въ годъ начиналъ свой курсъ крикливымъ диктованьемъ: «Рымское право! Р—большое, И—тоже большое и пунктумъ... Запишите это сэбэ на бокѣ (т.-е. на поляхъ)». Диктованьемъ на ломаномъ русскомъ языкѣ передавалъ этотъ профессоръ и весь свой дальнѣйшій курсъ, въ которомъ встрѣчались напримѣръ такого рода перлы: «Рымляне ымэли своего орхіеррея, краго (профессоръ читалъ сокращенно *краго*, а не *которого*: такъ для него были переписаны лекціи) называли вэрховный жэрэбецъ (т.-е. жрецъ)». Другой профессоръ той же эпохи, криминалистъ Густавъ Фогель, слѣдующимъ образомъ иллюстрировалъ, напримѣръ, несостоятельность суда присяжныхъ: «Когда-то и гдѣ-то одна молодая дэвушка билла обвиняемая въ ужаснэйшемъ преступленіи, самымъ сквернэйшимъ образомъ учиненнаго... И ссудъ присяжныхъ оправдалъ ее!»

«Недуренъ былъ и профессоръ международнаго права Гельмутъ Винтеръ, совершенно не знавшій почти русскаго языка, и потому читавшій свои лекціи по какой-то ветхой тетрадкѣ по французски. Онъ скакалъ въ пафосѣ по аудиторіи, показывая наглядно картину вступленія въ 1813 году союзныхъ государей въ Парижъ, или картинно размахивалъ запачканнымъ въ табакѣ носовымъ платкомъ, демонстрируя слушателямъ морскіе сигналы, а не то такъ изображалъ ртомъ, немилосердно надувая щеки, салютаціонную канонаду»..

Лучше другихъ были проф. Мейеръ, Станиславскій, и др., но и у нихъ гр. Толстой мало чему научился, вѣрнѣе мало чему хотѣлъ научиться.

Разумѣется, и въ данномъ случаѣ говорить о неспособности къ труду Толстого, у котораго впослѣдствіи хватило невѣроятнаго

терпѣнія семь разъ подрядъ передѣлать «Войну и миръ», а еще позже, уже подъ старость, изучить всѣхъ комментаторовъ къ Евангелію—смѣшно. Профессорскія двойки, единицы и нули говорятъ намъ лишь о томъ, что никогда настоящаго интереса къ университетской наукѣ Толстой не питалъ и что самолюбіе его въ это время было направлено совсѣмъ на другое, чѣмъ на академическіе лавры, полученіе которыхъ и теперь-то не представляетъ никакихъ особенныхъ трудностей для обезпеченнаго человѣка, а сорокъ лѣтъ тому назадъ было и еще того легче,

Самолюбіе графа Толстого въ періодъ 43—47 годовъ стремилось прежде всего къ тому, чтобы быть вполнѣ приличнымъ, корректнымъ и даже свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ. Онъ не только самъ признается въ этомъ въ «Юности», но о томъ-же самомъ говорятъ и тѣ, кто сидѣлъ съ нимъ на одной скамейкѣ. Онъ принадлежалъ къ кружку «аристократовъ» и совершенно игнорировалъ сѣрую братію. Поза и движенія его были всегда вызывающія, выраженіе лица и глазъ презрительное, до разговора съ своими товарищами онъ не снисходилъ и держался даже обыкновенія не здороваться ни съ кѣмъ, приходя на лекціи, и не прощаться ни съ кѣмъ, уходя домой. У него была своя лошадь и свой кучеръ, шинель съ прекрасными бобрами и презрительный видъ, скрывавшій за собой огромное неудовлетворенное самолюбіе и болѣзненную застѣнчивость.

Симпатичнаго во всемъ этомъ мало, но я думаю, что за это время Толстой просто вообразилъ себя свѣтскимъ молодымъ человѣкомъ (чѣмъ онъ никогда ни позже, ни раньше не былъ)—и поступалъ по воображенію. Обстановка юшковскаго дома, многочисленные образцы для подражанія изъ казанской золотой молодежи, наставленія тетки и собственное неумѣніе быть простымъ и искреннимъ съ другими заставили его не только увлечься идеаломъ «comme il faut», но и утрировать этотъ идеалъ. Аристократическая сдержанность и презрительность въ обхожденіи едва ли могли нравиться ему по самому существу своему и вѣроятно доставляли ему гораздо больше непріятностей, чѣмъ удовольствія, но вѣдь фантастическія натуры объ этомъ не справляются: въ извѣстныя эпохи имъ непремѣнно надо играть какую нибудь роль, убѣдить себя, что эта роль истинная, настоящая и доводить свою игру до крайности, иногда до комизма.

«Мое любимое и главное подраздѣленіе людей въ юности—пишетъ Толстой—было на людей comme il faut и на comme il ne faut pas. Второй родъ подраздѣлялся еще на людей собственно comme il ne faut pas и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть съ собой равныя отношенія; вторыхъ—притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали,—я ихъ презиралъ совершенно. *Мое* comme il faut состояло—первое и главное—въ отличномъ французскомъ языкѣ и особенно въ выговорѣ. Человѣкъ, дурно говорящій по французски, тотчасъ-же возбуждалъ во мнѣ чувство ненависти. «Для чего-же ты хочешь говорить какъ мы, когда не умѣешь?» съ ядовитою усмѣшкой спрашивалъ я его мысленно. Второе условіе comme il faut были ногти длинные, отчищенные и чистые; третье—было умѣнье кланяться, танцовать и разговаривать; четвертое и очень важное было равнодушіе ко всему и постоянное выраженіе нѣкоторой изящной, презрительной скуки. Кромѣ того, у меня были общіе признаки, по которымъ я, не говоря съ человѣкомъ, рѣшалъ, къ какому разряду онъ принадлежитъ. Главнымъ изъ этихъ признаковъ кромѣ убранства комнатъ, перчатокъ, почерка, экипажа—были *ноги*. Отношеніе сапогъ къ панталономъ тотчасъ-же рѣшало въ моихъ глазахъ положеніе человѣка. Сапоги безъ каблука, съ угловатымъ носкомъ и концы панталонъ узкіе, безъ штрипокъ, это былъ *простой*; сапогъ съ узкимъ, круглымъ носкомъ и каблукомъ и панталоны узкія внизу, облегающія ногу, или широкія со штрипками, какъ балдахинъ стоящія надъ носкомъ,—это былъ человѣкъ mauvais genre».

Даровитые люди въ періодѣ своей неуравновѣшанности способны выдѣлывать такія глупости, которыя не подъ силу даже совсѣмъ глупому человѣку. Это общеизвѣстно; но за глупостями большихъ даровитыхъ людей скрывается всегда если и не что нибудь умное, то во всякомъ случаѣ глубокое. Тоже и въ этомъ случаѣ. Любопытно, что Лермонтовъ ощущалъ тоже самое: и Лермонтовъ стыдился быть простымъ и искреннимъ, и Лермонтовъ не хотѣлъ разговаривать съ Бѣлинскимъ, а цѣлыми часами весело болталъ съ Столыпинымъ и товарищами - уланами, и Лермонтовъ въ университетѣ держалъ себя вызывающе - гордо и презрительно. Дѣло тутъ прежде всего въ огромности самолюбія, безпокойнаго и мучительнаго. Подчиняясь ему и внушеніямъ юшковскаго дома, Толстой, повторяю, имѣлъ больше страданій чѣмъ радости.

«Странно то—продолжаетъ онъ,—что ко мнѣ, который имѣлъ положительную неспособность къ comme il faut, до такой степени привилось это понятіе. А можетъ-быть именно оно такъ сильно вросло въ меня отъ того, что мнѣ стоило огромнаго труда пріобрѣсти это comme il faut. Страшно вспомнить, сколько безцѣннаго, лучшаго въ жизни шестнадцатилѣтняго времени я потратилъ на

пріобрѣтеніе этого качества. Всѣмъ, кому я подражалъ,—все это, казалось, доставалось легко. Я съ завистью смотрѣлъ на нихъ и втихомолку работалъ надъ французскимъ языкомъ, надъ наукой кланяться, не глядя на того, кому кланяешься, надъ разговоромъ, танцованьемъ, надъ выработываньемъ въ себѣ самомъ ко всему равнодушія и скуки, надъ ногтями, на которыхъ я рѣзалъ себѣ мясо ножницами—и все таки чувствовалъ, что мнѣ еще много оставалось труда для достиженія цѣли»....

Дрожжи стараго барства удаляли Толстого (какъ и Лермонтова) отъ всего разночиннаго, чей напоръ, упрямый и не всегда особенно вѣжливый, онъ не могъ не чувствовать даже въ университетскихъ стѣнахъ. Вѣдь онъ видѣлъ около себя товарищей, хотя и не наблюдавшихъ гармоніи между сапогами и панталонами, но гораздо лучше учившихся, чѣмъ онъ, и гораздо болѣе, чѣмъ онъ, образованныхъ. Но искренне признать ихъ превосходство и отнестись къ нимъ по человѣчески не позволяли старыя барскія дрожжи. И Толстой все глубже и глубже уходилъ въ свою comme il faut'ность.

«Въ извѣстную пору молодости, говоритъ онъ,—послѣ многихъ ошибокъ и увлеченій, каждый человѣкъ обыкновенно становится въ необходимость дѣятельнаго участія въ общественной жизни, избираетъ какую-нибудь отрасль труда и посвящаетъ себя ей; но съ человѣкомъ comme il faut это рѣдко случается. Я зналъ и знаю очень, очень много людей—старыхъ, гордыхъ, самоувѣренныхъ, рѣзкихъ въ сужденіяхъ, которые на вопросъ, если такой задастся имъ на томъ свѣтѣ: «кто ты такой, и что ты тамъ дѣлалъ?»—не будутъ въ состояніи отвѣтить иначе, какъ je fus un homme très comme il faut».

Эта участь ожидала и меня.

---

Мы уже видѣли внѣшнюю жизнь и времяпрепровожденіе молодого барича, имѣвшаго собственную свою упряжку и собственныя свои значительныя карманныя деньги. Толстой впослѣдствіи съ отвращеніемъ вспоминалъ о кутежахъ и пьянствѣ своей юности. Но разумѣется этимъ не исчерпывалась его духовная жизнь, какъ не исчерпывалась она и заботами о панталонахъ и ногтяхъ. Умъ продолжалъ дѣятельно работать, и какъ этого можно было ожидать, въ прежнемъ скептическомъ направленіи. Кое-что изъ этой работы мы знаемъ. Однажды за какую-то незначительную провинность Толстой вмѣстѣ съ своимъ товарищемъ Назарьевымъ попалъ въ карцеръ на цѣлыя сутки. Къ мѣсту заключенія онъ явился разумѣется въ собственныхъ дрожкахъ, съ товарищемъ не поздоровался и, не зная чѣмъ занять себя, сталъ смотрѣть въ

окно, приказавъ предварительно кучеру разъѣзжать взадъ и впередъ передъ зданіемъ безъ всякаго толку и смысла. Но потомъ заключенные разговорились и принялись даже спорить. Назарьевъ разсказываетъ, что «вся неотразимая для меня сила сомнѣній его обрушилась на университетъ и университетскую науку вообще; «храмъ науки» не сходилъ съ его языка. Оставаясь неизмѣнно серьезнымъ, онъ въ такомъ смѣшномъ видѣ рисовалъ нашихъ профессоровъ, что, при всемъ желаніи оставаться равнодушнымъ, я хохоталъ какъ помѣшанный. «А между тѣмъ, заключилъ Толстой, мы съ вами вправѣ ожидать, что выйдемъ изъ этого храма полезными, знающими людьми. А что вынесемъ мы изъ университета? подумайте и отвѣчайте по совѣсти. Что вынесемъ мы изъ этого святилища возвратившись во свояси, въ деревню? На что будемъ мы пригодны? Кому нужны?».

Вопросы, которые ставитъ Толстой, очень умны и толковы и очевидно говорятъ намъ о томъ, что подъ скорлупой comme il faut'ности идетъ неустанная работа вдумчиваго духа. Особенно презрительно третировалъ въ то время Толстой исторію. «Исторія, говорилъ онъ, не что иное, какъ собраніе басенъ и сказокъ и ненужныхъ, а подъ часъ и безнравственныхъ мелочей. Какой смыслъ въ хронологіи? Кому и зачѣмъ нужно знать, что первый бракъ Іоанна Грознаго произошелъ въ 1550 г., а четвертый—въ 1572 г.? Кому какое дѣло до того, что Игорь былъ убитъ древлянами, а Олегъ прибилъ свой щитъ на вратахъ Царьграда?.. А обратите вниманіе на изложеніе нашихъ историковъ; тутъ перлъ на перлѣ. Прекрасный, добросердечный, полный самыхъ благихъ намѣреній царь Іоаннъ IV вдругъ ни съ того, ни съ сего становится грознымъ, палачемъ, кровопійцей... Почему? Какъ? Откуда это?.. Самодовольный историкъ такихъ вопросовъ не задаетъ себѣ и интересуется совершенно постороннимъ»...

Университетъ собственно не далъ Толстому ничего, да и не могъ ничего дать его непокорной, не признававшей никакихъ рамокъ и укладовъ натурѣ. Онъ требовалъ всегда гораздо большаго, чѣмъ ему предоставляли, отсюда недовольство, небрежность и презрѣніе. Но жизнь дала гораздо больше. Описаніе «Юности» Толстой начинаетъ словами:

«Я сказалъ, что дружба моя съ товарищемъ открыла мнѣ новый взглядъ на жизнь, ея цѣль и отношенія. Сущность этого взгляда состояла въ убѣжденіи, что назначеніе человѣка есть

стремленіе къ нравственному усовершенствованію, и что усовершенствованіе это легко, возможно и вѣчно. Но до сихъ поръ я наслаждался только открытіемъ новыхъ мыслей, вытекающихъ изъ этого убѣжденія, и составленіемъ блестящихъ плановъ нравственной дѣятельной будущности; но жизнь моя шла все тѣмъ же мелочнымъ, запутаннымъ и празднымъ порядкомъ. Тѣ добродѣтельныя мысли, которыя мы въ бесѣдахъ перебирали, еще нравились только моему уму, а не чувству. Но пришло время, когда эти мысли съ такою свѣжею силой моральнаго открытія пришли мнѣ въ голову, что я испугался, подумавъ о томъ, сколько времени я потерялъ даромъ, и тотчасъ же, въ ту же секунду захотѣлъ прилагать эти мысли къ жизни, съ твердымъ намѣреніемъ никогда уже не измѣнять имъ. И съ этого времени я считаю начало *юности*».

Разумѣется, никакихъ реальныхъ цѣлей и никакихъ реальныхъ путей къ совершенствованію Толстой въ то время не зналъ. Это было совершенствованіе *вообще*, куда вошелъ впослѣдствіи и идеалъ «comme il faut». По пріобрѣтенной въ дѣтствѣ привычкѣ совершенство ограничивалось главнымъ образомъ областью мечаній. Напр.:

...«Съ нынѣшняго дня я уже больше не буду смотрѣть на женщинъ. Никогда, никогда не буду ходить въ дѣвичью, даже буду стараться не проходить мимо; а черезъ три года выйду изъ-подъ опеки и женюсь непремѣнно... Буду дѣлать нарочно движенія какъ можно больше, гимнастику каждый день, такъ что, когда мнѣ будетъ двадцать пять лѣтъ, я буду сильнѣе Раппо. Первый день буду держать полпуда «вытянутою рукой» пять минутъ, на другой день двадцать одинъ фунтъ, на третій день двадцать два фунта и такъ далѣе, такъ что, наконецъ, по четыре пуда въ каждой рукѣ, и такъ, что буду сильнѣе всѣхъ въ дворнѣ; и когда вдругъ кто-нибудь вздумаетъ оскорбить меня, или станетъ отзываться непочтительно о *ней*, я возьму его такъ, просто, за грудь, подниму аршина на два отъ земли одною рукой и только подержу, чтобъ почувствовалъ мою силу, и оставлю; но, впрочемъ, и это не хорошо... нѣтъ, ничего, вѣдь я ему зла не сдѣлаю, а только докажу, что я...»

Вспоминая свое прошлое, юноша чувствовалъ подчасъ отвращеніе къ самому себѣ и раскаяніе, но раскаяніе до такой степени слитое съ надеждой на счастье, что оно не имѣло въ себѣ ничего печальнаго. Ему казалось, что такъ

«легко и естественно оторваться отъ всего прошедшаго, передѣлать, забыть все, что было, и начать свою жизнь со всѣми ея отношеніями совершенно снова, чтобы прошедшее не тяготило, не связывало меня. Я даже наслаждался въ отвращеніи къ прошедшему и старался видѣть его мрачнѣе, чѣмъ оно было. Чѣмъ чернѣе былъ кругъ воспоминаній прошедшаго, тѣмъ чище и свѣтлѣе выдавалась изъ него свѣтлая, чистая точка настоящаго и разливались радужные цвѣта будущаго. Этотъ-то голосъ раскаянія и страстнаго желанія совершенства и былъ главнымъ новымъ ду-

шевнымъ ощущеніемъ въ ту эпоху моего развитія, и онъ-то положилъ новыя начала моему взгляду на себя, на людей и на міръ Божій».

Рядомъ съ скептической появилась, какъ видитъ читатель, и еще новая, хотя и робко звучащая струна совершенствованія. То кровь кипитъ, то силъ избытокъ,—такъ какъ никакой ясной цѣли въ этомъ совершенствованіи, повторяю, не было. Хотѣлось быть лучше другихъ, умнѣе другихъ, сильнѣе другихъ; хотѣлось инстинктивнаго сознанія той мощи, которая была вложена въ глубину натуры, но не проявлялась еще наружу и дремала и грезила, предаваясь ребяческимъ мечтамъ. Хотѣлось власти, почестей, славы, къ чему рвалось честолюбивое «я», какъ все живое рвется къ огню и свѣту. Хотѣлось женской любви и ласки, отъ которой юное неиспорченное существо оживаетъ, какъ цвѣтокъ отъ утренней росы. Хотѣлось и нравственныхъ подвиговъ, хотѣлось самоотверженія, хотя честолюбивые инстинкты заставляли искать всегда перваго мѣста.

## II.

## Руссо и Нехлюдовщина.

Въ 1847 году, не сдавъ даже экзаменовъ на третій курсъ, Л. Н. Толстой, побуждаемый между прочимъ тѣмъ обстоятельствомъ, что старшіе братья, окончивъ курсъ, уѣхали изъ Казани, вышелъ изъ университета, такъ мало ему приглянувшагося, и отправился въ Ясную Поляну, гдѣ прожилъ почти безвыѣздно до 1851 года. «Утро помѣщика» даетъ намъ лучшую характеристику его тогдашней жизни, какъ «Дѣтство, Отрочество и Юность» вѣрно отражаетъ въ себѣ его жизнь до этого времени. «Я выхожу изъ университета, пишетъ графъ Толстой, *чтобъ посвятить себя жизни въ деревнѣ, потому что чувствую, что рожденъ для нея. Главное зло заключается въ самомъ бѣдственномъ, жалкомъ положеніи мужиковъ*, и зло такое, которое можно исправить только трудомъ и терпѣніемъ. *Не моя ли священная и прямая обязанность заботиться о счастьи этихъ семисотъ человѣкъ, за которыхъ я долженъ буду отвѣчать Богу?* Не грѣхъ ли покидать ихъ на произволъ грубыхъ старостъ и управляющихъ изъ за плановъ наслажденія и честолюбія? и зачѣмъ искать въ другой сферѣ случаевъ быть полезнымъ и дѣлать добро, когда мнѣ открывается блестящая и

ближайшая обязанность. Я пошелъ по совершенно особенной дорогѣ, но которая хороша и, я чувствую, приведетъ меня къ счастью».

Въ подчеркнутыхъ мною словахъ и выраженіяхъ читатель не можетъ не замѣтить чего-то совершенно новаго и даже внезапнаго. Вѣдь раньше о томъ, чтобы посвятить себя жизни въ деревнѣ, о жалкомъ положеніи мужиковъ, о священной обязанности заботиться о счастьи семисотъ человѣкъ не было и помину. Наоборотъ даже... Но на подобныя внезапныя и рѣзкія перемѣны въ настроеніи намъ еще придется не разъ, а много разъ, натолкнуться въ біографіи Толстого.

Мы видѣли, что графъ Л. Н. Толстой родился, выросъ и провелъ свою юность въ крѣпостнической обстановкѣ. 9—10-ти лѣтнимъ мальчикомъ онъ владѣлъ уже сотнями душъ и почти половину жизни своей прожилъ на счетъ яснополянскихъ мужиковъ, которые поили и кормили его и позволяли безпрепятственно переходить изъ одной фазы развитія въ другую, питать вѣру, страдать сомнѣніями, стремиться къ совершенствованію и увлекаться идеаломъ свѣтскаго молодого человѣка. Крестьянскимъ трудомъ вспоенъ и вскормленъ великій художественный талантъ земли русской, слава и гордость нашей литературы и нашего народа.

Говорю все это я безъ малѣйшей тѣни упрека кому и чему-бы то ни было, такъ какъ кто-же можетъ быть повиненъ въ первородномъ грѣхѣ русской общественной жизни. Я просто указываю на фактъ, пропустить который не имѣю ни права, ни возможности, и притомъ фактъ огромной важности. Вѣдь владѣніе семистами душъ и позволило развиться безпрепятственно художественному дарованію графа Толстого, позволило ему безъ всякой торопливости переписать семь разъ «Войну и Миръ»—эту грандіозную эпопею русской народной жизни, нашу Иліаду, все еще неоцѣненную и непонятую, именно потому, что она слишкомъ громадна. Право, если ужъ о томъ зашла рѣчь, мнѣ кажется порою, что еще 20—30 лѣтъ такой-же мелкой растерзанной литературной работы, которая совершается теперь на нашихъ глазахъ, и мы будемъ смотрѣть на «Войну и Миръ» съ такимъ-же чувствомъ почтительнаго удивленія, съ какимъ греки исторической эпохи смотрѣли на грандіозныя постройки Пелазговъ и Львиныя ворота, остатки стѣнъ, приписывая ихъ титанамъ и сторукимъ гигантамъ. Благодаря даровому крѣпостному труду, русская литература за какихъ

нибудь пол-столѣтія стала классической, и ничего подобнаго ея быстрымъ успѣхамъ со времени «Руслана и Людмилы» и кончая «Анной Карениной» мы не видимъ даже на Западѣ.

Я не поклонникъ бѣдности и лишеній, не вѣрю, чтобы они оказывали благопріятное впечатлѣніе на развитіе творчества и думаю, что даже громадный талантъ изъ суровой школы нищеты и лишеній выноситъ одно зло. Когда для созданія выдающагося произведенія прописывается рецептъ, въ которомъ фигурируютъ чердакъ, нетопленная комната, сонъ вмѣсто обѣда, голодная жена и голодныя ребята—я всегда вспоминаю слова Гете: «Истинно-великое произведеніе можетъ быть создано только здоровымъ духомъ.»

Но это между прочимъ. Передъ нами стоитъ другой вопросъ объ отношеніи графа Толстого къ народу въ годы его юности. Въ періодъ увлеченія comme-il-faut'ностью онъ, какъ мы видѣли, прямо презиралъ народъ и мужика. Но къ этому скверному чувству уже и тогда примѣшивался другой оттѣнокъ, неясный, робкій, но все-же замѣтный, какъ замѣтенъ слабый зеленый ростокъ побѣга на чорной землѣ...

«Когда, — читаемъ мы въ «Юности» — на прогулкахъ въ деревнѣ я встрѣчалъ крестьянъ и крестьянокъ на работахъ, несмотря на то, что *простой народъ не существовалъ для меня,* я испытывалъ всегда безсознательное сильное смущеніе и старался, чтобы они меня не видѣли».

Что простой народъ «не существовалъ для меня», это съ точки зрѣнія дрожжей стараго барства понятно, но не менѣе понятно и это безсознательное сильное смущеніе честной и правдивой натуры, честность и правдивость которой были завалены кучей мусора.

Отсюда, отъ этого «безсознательнаго, хотя и сильнаго смущенія», до любви къ мужику сначала, до преклоненія передъ его нравственными и жизненными идеалами впослѣдствіи еще очень и очень далеко. Но намъ, несмотря даже на неполноту относящихся сюда документовъ, необходимо подробно разсмотрѣть этотъ процессъ сближенія Толстого съ мужикомъ и народомъ. Почему надо подробно разсмотрѣть—это всякій знаетъ самъ.

Первою ступенью было признаніе мужика человѣкомъ, въ отношеніи котораго у всякаго есть свои нравственныя обязанности. Это немного, но что дѣлать съ жизнью, гдѣ за усвоеніемъ такого элементарнаго правила приходится обращаться къ

западной просвѣтительной литературѣ и философамъ, которые въ самой пріятной и изящной формѣ сообщали, что мужикъ—человѣкъ.

Полагаю, что просвѣтительная литература оказала немалое вліяніе на развитіи гр. Толстого. Мы видѣли, что въ университетѣ онъ занимается сравненіемъ «Наказа» и «Духа Законовъ»; къ этому же времени относится его увлеченіе Руссо. «Вспоминая особенности Льва Николаевича, говоритъ Берсъ,—необходимо упомянуть объ отношеніи его къ произведеніямъ и взглядомъ Ж. Ж. Руссо. Нѣтъ сомнѣнія, что они имѣли огромное вліяніе на его произведенія. Онъ увлекался и зачитывался ими еще въ ранней молодости" («Воспоминанія» стр. 26).

Руссо и Толстой—родственные геніи. Исходная точка ихъ разсужденій одна и та же; но я думаю, что если-бы они встрѣтились теперь съ глазу на глазъ, они не поняли-бы другъ друга. Какъ и о Бернарденѣ-Сенъ-Пьерѣ, авторѣ знаменитаго когда-то проэкта «вѣчнаго міра», Руссо сказалъ-бы о Толстомъ: «онъ—мечтатель»...

Руссо любитъ природу, хотя и въ этой его любви, какъ вообще во всякомъ его чувствѣ, есть что-то аффектированное, больное. Онъ любитъ природу не за нее самое, а скорѣе за то, что ненавидитъ не-природу, нашу цивилизацію, «эту громадную надстройку человѣческаго разума и глупости, зла и преступленій, лжи и неправды надъ прекраснымъ Божьимъ міромъ.» Руссо любитъ мужика, крестьянина, и опять таки главнымъ образомъ потому, что ненавидитъ не-крестьянина, аристократа, торгаша, чиновника.

Руссо прежде всего—обиженное сердце. Въ немъ, въ этомъ чуткомъ, болѣзненномъ и геніальномъ человѣкѣ, за время его долгой страдальческой жизни накопилось столько зла, раздраженія, ненависти, зависти, что онъ разучился любить, разучился быть искреннимъ и правдивымъ. Его застѣнчивость обратилась въ подозрительность и манію преслѣдованія, доброта въ аффектированную чувствительность. Его геній великъ и правдивъ лишь въ ненависти.

Онъ былъ лакеемъ, нищимъ, труженикомъ и никогда не зналъ счастья. Его молодость прошла въ нищетѣ и лишеніяхъ, его старость—въ изгнаніи. Съ первой минуты своей сознательности онъ научился бояться окружающихъ его людей и окружающей его жизни. Онъ ненавидѣлъ цивилизацію и боялся ее, но онъ понималъ, что человѣкъ безсиленъ отказаться отъ прош-

лаго и исторіи; онъ понималъ, что цивилизація для насъ неизбѣжное зло. Нигдѣ и ни разу не сказалъ онъ, что надо или можно вернуться къ дикой или первобытной жизни. Его судьба была слишкомъ сурова, чтобы онъ могъ вѣрить во всемогущество человѣка.

«Руссо былъ несомнѣнно человѣкомъ будущаго, а не прошедшаго, и именно въ этомъ направленіи повліялъ на европейскую мысль, поспособствовалъ образованію цѣлой школы. Оставимъ въ покоѣ фантастичность очертаній, въ которыхъ рисовалась воображенію Руссо историческая колыбель человѣчества. Не въ этомъ дѣло. Злое слово Вольтера: «читая Руссо, такъ и хочется побѣжать на четверинкахъ» — это злое слово справедливо только въ очень поверхностномъ смыслѣ, если имѣть въ виду лишь живописную страстность отдѣльныхъ выраженій. Въ сущности, Руссо не отрекался ни отъ одного изъ духовныхъ и матеріальныхъ благъ, добытыхъ цивилизаціей, но онъ желалъ иного ихъ распредѣленія и направленія, именно такого, въ какомъ располагалось скудное достояніе первобытнаго человѣка. Иначе говоря, Руссо отвергаетъ на степень развитія цивилизація, а ея типъ, и, наоборотъ, въ первобытной жизни онъ цѣнитъ лишь ея типъ (общее равенство), ни мало не сомнѣваясь, что невѣжество, суевѣріе, нищета грубость, какъ спутники низшей ступени развитія, подлежатъ изгнанію. Задача будущаго состоитъ по Руссо совсѣмъ не въ томъ, чтобы всѣ люди или какая-нибудь ихъ часть бѣгали на четверинкахъ, а въ сочетаніи первобытнаго типа (т. е. всеобщаго равенства) съ высокой степенью развитія» (Н. К. Михайловскій).

Таковъ Руссо, но не таковъ, какъ послѣ увидимъ, гр. Толстой. А между тѣмъ у нихъ много общаго, и въ этомъ общемъ на первомъ планѣ надо поставить вражду и ненависть къ лицемѣрнымъ формамъ нашей культурной жизни, гдѣ столько дѣлается для формы, для приличія, для общественнаго мнѣнія, что самому человѣку и его внутренней правдѣ не остается совершенно мѣста. Руссо хотѣлъ, чтобы формы жизни были приспособлены къ этой внутренней человѣческой правдѣ и позволяли-бы ей свободно проявляться наружу. Толстой хочетъ отказаться отъ этихъ формъ, и полагаетъ, что это возможно. Одинъ, видя передъ собой храмъ лжи, говоритъ: «разберите его, тщательно сберегая всякій камень, гвоздь, балку, и изъ этого матеріала вамъ удастся *быть можетъ* воздвигнуть храмъ.

правды.» Другой требуетъ, чтобы былъ воздвигнутъ новый храмъ.

Какъ измученный несчастный человѣкъ, Руссо по необходимости скептикъ. Онъ не вѣритъ въ подъемъ духа, онъ знаетъ, что вліяніе прошлыхъ 50 вѣковъ сильнѣе вліянія будущихъ 50 лѣтъ, что этихъ прошлыхъ 50 вѣковъ не вычеркнешь изъ организма человѣка, изъ его привычекъ и вѣрованій. Со всѣмъ этимъ надо считаться, все это можно только приспособлять, передѣлывать, но создавать нѣчто новое, прямо противоположное—это мечта, это безумный сонъ...

Конечно, противорѣчіе между Руссо и Толстымъ развилось только впослѣдствіи. Въ юности онъ только увлекался страстными тирадами во славу природы и простоты жизни, во славу честнаго труда. И это увлеченіе не прошло безслѣдно; напротивъ, заброшенное великимъ женевцемъ зерно упало на родную почву, хотя до плодовъ было еще далеко. Увлекаясь Руссо, Толстой не могъ уже болѣе презирать народъ, и подъ вліяніемъ Руссо безсознательное и смутное смущеніе обратилось въ желаніе исполнить свой нравственный долгъ передъ крѣпостными семьюстами душами. Легко однако видѣть, что въ этихъ первыхъ попыткахъ сближенія много теоретическаго, навѣяннаго и мало сердца. Перечтите «Утро помѣщика», замѣнивши вездѣ, съ позволенія самого автора, «князя Нехлюдова» «графомъ Толстымъ».

Сюжетъ простъ и вразумителенъ:

«Доживши до девятнадцати лѣтъ и дойдя до третьяго курса университета, графъ Л. Толстой убѣждается въ томъ, что онъ достаточно образованъ и что ему давно пора приниматься за практическую дѣятельность. Онъ пріѣзжаетъ на лѣто въ свое имѣніе, видитъ тамъ, что мужики его разорены до тла, и, рѣшившись посвятить свою жизнь на улучшеніе ихъ участи, выходитъ изъ университета съ тѣмъ, чтобы навсегда поселиться въ деревнѣ. Толстой занимается своимъ дѣломъ безкорыстно, добросовѣстно и очень усердно. По воскресеньямъ, напримѣръ, онъ обходитъ утромъ дворы тѣхъ крестьянъ, которые обращались къ нему съ просьбами о какомъ-нибудь вспомоществованіи; тутъ онъ внимательно вникаетъ въ ихъ нужды, приматривается къ ихъ быту, помогаетъ имъ хлѣбомъ, лѣсомъ, деньгами и старается посредствомъ увѣщаній внушать имъ любовь къ труду или искоренять ихъ пороки.

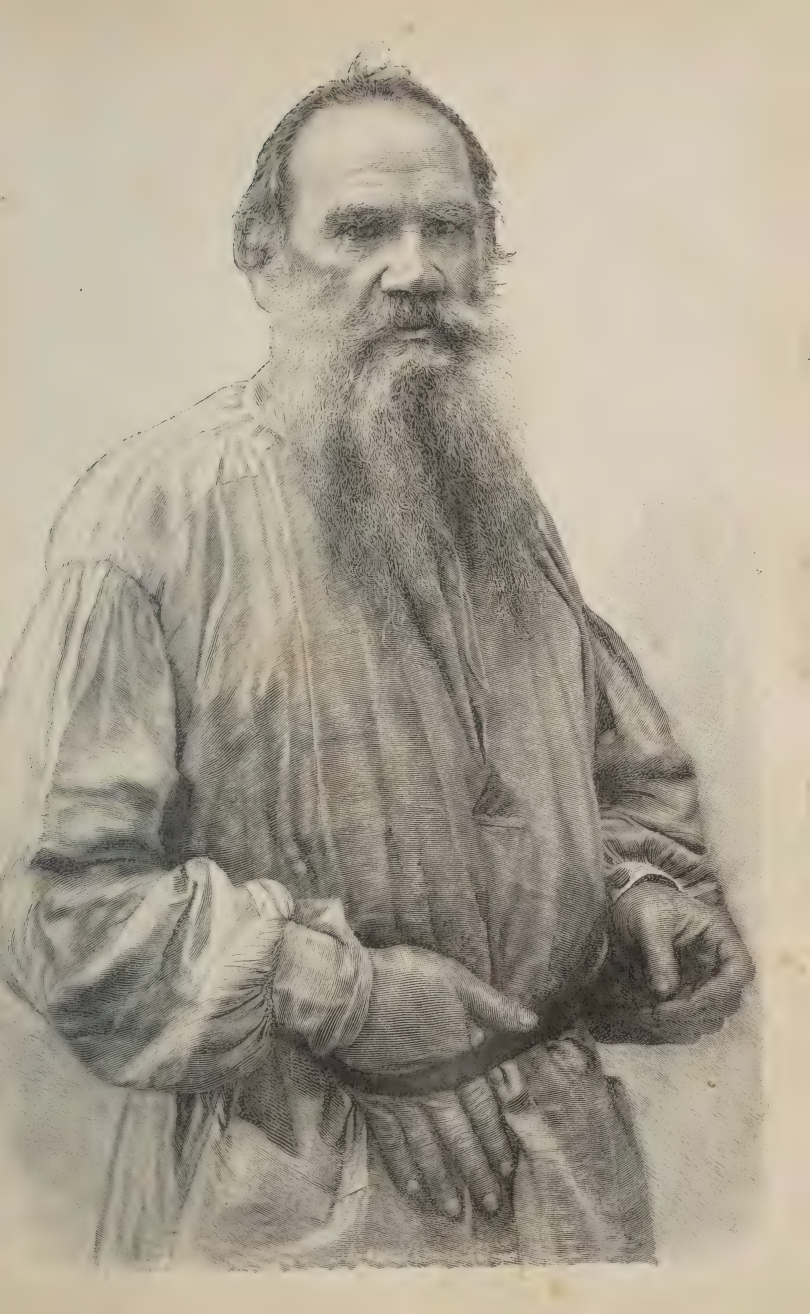
Одинъ изъ такихъ обходовъ составляетъ сюжетъ нашей повѣсти. Приходитъ Л. Толстой къ Ивану Чурисенку, просившему себѣ какихъ-то кольевъ или сошекъ для того, чтобы подпереть свой развалившійся дворъ. Видитъ Толстой, что все строеніе дѣйствительно никуда не годится, и Чурисенокъ разсказываетъ

ему совершенно равнодушно, что у него въ избѣ накатина съ потолка его бабу пришибла. «По спинѣ какъ колыхнетъ ее, такъ она до ночи замертво пролежала». Толстой, думая облагодѣтельствовать Чурисенка, предлагаетъ ему переселиться на новый хуторъ, въ новую каменную избу, только что выстроенную по герардовской системѣ. «Я,—говоритъ,—ее, пожалуй, тебѣ отдамъ въ долгъ за свою цѣну; ты когда-нибудь отдашь». Но Чурисенокъ говоритъ: «воля вашего сіятельства», и въ то же время прибавляетъ, что на новомъ мѣстѣ имъ жить не приходится; а баба, та самая, что замертво лежала, бросается въ ноги молодому помѣщику, начинаетъ выть и умолять барина оставить ихъ на старомъ мѣстѣ, въ старой развалившейся и опасной избѣ. Чурисенокъ, тихій и не говорливый, какъ большая часть нашихъ крестьянъ, придавленныхъ бѣдностью и непосильнымъ трудомъ, становится даже краснорѣчивымъ, когда начинаетъ описывать прелесть стараго мѣста. «Здѣсь на міру мѣсто, мѣсто веселое, обычное; и дорога, и прудъ тебѣ, бѣлье, что̀-ли, бабѣ стирать, скотину-ли поить,—и все наше заведеніе мужицкое, тутъ искони заведенное, и гумно, и огородишка, и ветлы—вотъ, что̀ мои родители садили; и дѣдъ, и батюшка наши здѣсь Богу душу отдали, и мнѣ только-бы вѣкъ тутъ свой кончить, ваше сіятельство, больше ничего не прошу». Что̀ тутъ будешь дѣлать? Нельзя-же благодѣтельствовать насильно. Толстой отказывается отъ своего намѣренія и совѣтуетъ Чурисенку обратиться къ крестьянскому міру съ просьбой о лѣсѣ, необходимомъ для починки двора. Къ міру, а не къ помѣщику приходится обращаться въ этомъ случаѣ потому, что Толстой отдалъ въ полное распоряженіе самихъ мужиковъ тотъ участокъ лѣса, который онъ опредѣлилъ на починку крестьянскаго строенія. Но у Чурисенка на всякое дѣло есть свои собственные взгляды, и онъ говоритъ очень спокойно, что у міра просить не станетъ. — Толстой даетъ ему денегъ на покупку коровы и идетъ дальше. Входитъ онъ во дворъ къ Епифану или Юхванкѣ-Мудреному. Толстому извѣстно, что этотъ мужикъ любитъ по-своему сибаритствовать, куритъ трубку, обременяетъ свою старуху-мать тяжелой работой и часто продаетъ для кутежа необходимыя принадлежности своего хозяйства. Теперь Толстой узналъ, что Юхванка хочетъ продать лошадь; помѣщикъ хочетъ посмотрѣть, возможна-ли эта продажа безъ разстройства необходимыхъ работъ. Оказывается, что продавать не слѣдуетъ, и Толстой рѣшительно запрещаетъ Юхванкѣ эту коммерческую операцію. Юхванка въ разговорѣ съ бариномъ лжетъ ему въ глаза самымъ наглѣйшимъ образомъ и нисколько не смущается, когда Толстой на каждомъ шагу выводитъ его на свѣжую воду. Толстой, какъ юноша и моралистъ, старается растрогать Юхванкину душу увѣщаніями и упреками, а Юхванка, продувная бестія, каждымъ своимъ словомъ показываетъ своему барину совершенно ясно, что онъ непремѣнно расхохотался-бы надъ его совѣтами, если-бы его не удерживало тонкое пониманіе галантерейнаго обращенія. — Пороть меня ты не будешь, — думаетъ Юхванка,—потому что совсѣмъ никого не порешь; на поселеніе тоже не сошлешь—пожалѣешь; а въ солдаты я не гожусь, спереди

двухъ зубовъ нѣту. Значитъ, ничѣмъ ты меня не озадачишь, и на всѣ твои разговоры я вѣжливымъ манеромъ плевать намѣренъ.— И Толстой, совершенно отмѣнившій въ своемъ хозяйствѣ тѣлесныя наказанія, до такой степени живо чувствуетъ свое безсиліе передъ сорванцомъ Юхванкой, что принужденъ по временамъ умолкать и стискивать зубы для того, чтобы не расплакаться тутъ-же на Юхванкиномъ дворѣ передъ глазами нераскаяннаго грѣшника. Кончается визитъ тѣмъ, что баринъ, строго запретивъ продавать лошадь, тайкомъ отъ безпутнаго Юхванки даетъ денегъ его матери на покупку хлѣба».

Дальше идетъ разсказъ и еще о нѣсколькихъ мытарствахъ по крестьянскимъ избамъ; въ результатѣ то же самое, т. е. ничего, или вѣрнѣе одинъ вопросъ: почему-же эта просвѣтительная и гуманная попытка графа Толстого окончилась такъ неудачно? Писаревъ рѣшаетъ вопросъ просто: «Юный помѣщикъ, говоритъ онъ, самымъ добросовѣстнымъ образомъ старается слить вино новое въ мѣха старые,—задача неисполнимая: мѣха ползутъ врозь, и вино проливается на полъ, или, говоря безъ метафоръ, новая гуманность пропадаетъ безъ пользы и даже приноситъ вредъ (мужички распустились), когда приходитъ къ соприкосновеніе съ старыми формами крѣпостного быта».

Эта *общая* причина настолько понятна, что нечего о ней и распространяться. Филантропія въ отношеніи къ крѣпостному безправному мужику, настоенная на барскихъ дрожжахъ и идеяхъ просвѣтительной литературы, никогда никакого проку не приносила, да и не могла принести. Но есть еще и частная причина. Толстому едва исполнилось двадцать лѣтъ и, говоря его собственными словами, онъ «слишкомъ сильно сознавалъ въ себѣ присутствіе всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать—броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не сознавая за что, не зная зачѣмъ. Я носилъ въ себѣ это сознаніе, былъ гордъ имъ и, не зная этого, былъ счастливъ имъ». Въ личной жизни Толстого только что начинался тотъ періодъ, который Гете такъ мѣтко назвалъ «Die Wanderjahre»—годы блужданія, и на самомъ дѣлѣ скоро мы увидимъ его на Кавказѣ, подъ Севастополемъ, въ Москвѣ, Петербургѣ, Самарѣ, заграницей. Не могла-же барская филантропія, къ тому же очевидно безплодная, наполнить его существа и бытія. Не исчезло еще и желаніе закончить университетскій курсъ, почему въ 1847 г. Толстой ѣдетъ въ Петербургъ, начинаетъ держать экзаменъ, но, сдав-



дозв. ценз. спб. 11 января 1895 г. тип. тов. „общ. польза“, б. подъяч., 39

ши два или три, возвращается въ свою любимую Ясную Поляну, гдѣ его ожидаетъ охота, чистый воздухъ, семья и много другихъ развлеченій.

## III.

## На Кавказѣ.

Три года, проведенные въ Ясной Полянѣ на лонѣ природы, пролетѣли незамѣтно и безъ особенныхъ треволненій. Но въ 1851 г. гр. Толстой сильно проигрался и увидѣлъ, что при прежней своей жизни онъ никакъ не съумѣетъ уплатить долга. Это-то и было одной изъ причинъ, побудившихъ его отправиться на Кавказъ—не на службу, а просто для перемѣны мѣста, впечатлѣній и ради экономіи. Онъ это и сдѣлалъ, давши себѣ предварительно разъ двадцать слово «больше этихъ проклятыхъ картъ никогда не брать въ руки».

На Кавказѣ въ то время служилъ офицеромъ старшій его братъ, Николай Николаевичъ, съ которымъ онъ былъ особенно близокъ и друженъ.

Въ тарантасѣ, въ сопровожденіи прислуги, братья поѣхали изъ Казани на лѣвый, т. е. восточный флангъ нашей позиціи, вдоль Волги. Ѣзда на лошадяхъ скоро наскучила. Они пріобрѣли громадную лодку, уставили на нее тарантасъ, сѣли и предоставили себя теченію рѣки, занимаясь чтеніемъ и любуясь природой. Путешествіе длилось около трехъ недѣль, пока они пріѣхали въ Астрахань. На нижнемъ теченіи Волги, приставая къ берегамъ, они то и дѣло встрѣчались съ полудикими калмыками, вѣчно сидящими у костра. Въ то время калмыки были еще огнепоклонниками.

Воспоминанія объ этой поѣздкѣ сохранились впрочемъ самыя смутныя. Не то о Кавказѣ. Л. Толстой всегда любилъ вспоминать о своемъ пребываніи тамъ на югѣ. Богатая природа, чудная охота, которой онъ предавался со страстью почти всю свою жизнь, вплоть до нравственнаго переворота, война съ горцами—все это нравилось ему и все это его вдохновляло. Тамъ впервые проснулось его творчество, тамъ мысль объ опрощеніи впервые явилась ему въ голову.

Кавказская жизнь Л. Н. Толстого очень богата всевоз-

можными эпизодами. Одинъ изъ этихъ эпизодовъ послужилъ темою повѣсти «Кавказскій Плѣнникъ», почему мы его и приведемъ въ изложеніи Берса.

«Мирный чеченецъ Содо, съ которымъ Левъ Николаевичъ былъ друженъ, купилъ молодую лошадь и пригласилъ друга проѣхаться съ нимъ изъ крѣпости, гдѣ былъ расположенъ тогда отрядъ русскаго войска. Съ ними поѣхали верхомъ еще два офицера артиллеріи. Несмотря на запрещеніе начальствомъ такихъ поѣздокъ въ виду ихъ опасности, они ничѣмъ не вооружились, кромѣ шашекъ. Испытавъ свою лошадь, Содо предоставилъ это и другу, а самъ пересѣлъ на его иноходца, который, какъ извѣстно, скакать не умѣетъ. Они были уже верстахъ въ пяти отъ крѣпости. Неожиданно передъ ними показалась группа чеченцевъ человѣкъ въ двадцать. Чеченцы начали вынимать ружья изъ чехловъ и раздѣлились на двѣ партіи. Одна партія преслѣдовала двухъ офицеровъ, поскакавшихъ обратно въ крѣпость, и настигла ихъ. Одинъ изъ нихъ былъ изрубленъ, а другой попался въ плѣнъ. Содо, а за нимъ и Левъ Николаевичъ пустились по другому направленію, къ казачьему пикету, расположенному въ одной верстѣ. Гнавшіеся чеченцы уже приближались къ нимъ. Имъ предстояла перспектива лишиться жизни или очутиться въ плѣну, и слѣдовательно сидѣть въ ямѣ, потому что горцы вообще отличаются жестокостью въ обращеніи съ плѣнными. Левъ Николаевичъ, имѣя возможность ускакать на рѣзвой лошади своего друга, не покинулъ его. Содо, подобно всѣмъ горцамъ, никогда не разставался съ ружьемъ, но, какъ на бѣду, оно не было заряжено. Тѣмъ не менѣе онъ нацѣлилъ имъ на преслѣдователей и, угрожая, покрикивалъ на нихъ. Судя по дѣйствіямъ преслѣдовавшихъ, они намѣревались взять въ плѣнъ обоихъ, особенно Содо, для мести, а потому не стрѣляли. Обстоятельство это спасло ихъ. Они успѣли приблизиться къ пикету, гдѣ зоркій часовой издали замѣтилъ погоню и сдѣлалъ тревогу. Выѣхавшіе навстрѣчу казаки принудили чеченцевъ прекратить преслѣдованіе».

«... Содо, продолжаетъ Берсъ,—искренно любилъ своего друга. Однажды онъ воспользовался случаемъ удружить своему кунаку. Какъ то Левъ Николаевичъ проигрался въ карты и вошелъ въ долгъ. Уплатить въ срокъ не было возможности, а извѣстія изъ деревни не оправдали ожидаемой получки денегъ. Это мучило его. Положеніе среди молодежи богатаго юнкера

графа Толстого, не заплатившаго карточный долгъ въ срокъ, имъ назначенный, для самолюбія его было ужасно. Онъ приходилъ въ отчаяніе и прибѣгнулъ къ молитвѣ. Посланный отъ Содо прервалъ молитву и подалъ письмо. Въ письмѣ было разорванное обязательство. Оказалось, что наканунѣ Содо удачно игралъ въ карты и воспользовался выигрышемъ для подарка другу мучившаго его долга".

На службу, какъ я сказалъ выше, гр. Толстой сначала и не думалъ даже поступать. Все его время наполнялось чтеніемъ и главное—охотой подъ руководствомъ стараго казака Епишки, извѣстнаго русскимъ читателямъ подъ именемъ Ерошки, одного изъ характернѣйшихъ лицъ въ «Казакахъ»... Встрѣтившись однако съ однимъ изъ своихъ родственниковъ, занимавшимъ важное мѣсто въ штабѣ, гр. Толстой по его совѣту опредѣлился юнкеромъ въ артиллерію и не разъ принималъ участіе въ мелкихъ стычкахъ, описанныхъ имъ впослѣдствіи въ «Набѣгѣ», «Рубкѣ лѣса», „Казакахъ". До службы же онъ жилъ очень скромно на 5 рублей въ мѣсяцъ и скоро выплатилъ мучившій его карточный долгъ.

Какимъ путемъ Толстой открылъ въ себѣ литературный талантъ, неизвѣстно. Очень можетъ быть, что виноватъ въ этомъ былъ его старшій братъ, неравнодушный къ литературѣ, а очень можетъ быть и то, что творческія стремленія искали себѣ выхода и выраженія. Въ Ясной Полянѣ эти стремленія тратились на музыку, которой Толстой предавался со страстью; но заниматься музыкой въ лагерѣ или крѣпости было невозможно. Первымъ (въ 1852 г.) было написано „Дѣтство", за которымъ немедленно же послѣдовали: «Утро помѣщика», «Случай», «Отрочество», составленъ былъ планъ «Казаковъ», задумана «Юность».

«Дѣтство», законченное 9 іюля 1852 г., было отправлено въ «Современникъ» Некрасову, который поторопился напечатать эту повѣсть, учуявъ по ней нарожденіе новаго сильнаго таланта.

---

Обратимся теперь къ тому, что составляетъ сущность біографіи Л. Н. Толстого—его духовной жизни. Что думалъ онъ и какъ чувствовалъ онъ себя на Кавказѣ?

Разумѣется, у 23-лѣтняго даровитаго писателя не могло быть одного господствующаго настроенія. Настроенія мѣнялись въ зависимости отъ обстановки и окружающихъ лицъ. Были мечты о славѣ литературной, о военной славѣ, было даже желаніе опроститься.

Живя въ казацкой станицѣ (на лѣвомъ берегу Терека, недалеко отъ Кизляра), въ обществѣ казака Епишки, этого хитраго, себѣ на умѣ, но цѣльнаго человѣка, безъ противорѣчій внутри себя, видя себя окруженнымъ такими-же, какъ Епишка, цѣльными, живущими безъ аффектацій, безъ надломленности, а просто такъ, какъ трава растетъ, людьми; охотясь за фазанами и кабанами, бродя по лѣсамъ и болотамъ, припоминая отвратительные вечера, проведенные за картами или въ обществѣ продажныхъ цыганокъ, что́ должно было казаться особенно отвратительнымъ въ свѣжемъ воздухѣ и подъ тѣнью громадныхъ каменныхъ титановъ хребта,—Толстой проникался прелестью этой простой, не знающей душевной надломленности жизни. Съ какимъ восторгомъ вспоминаетъ онъ впослѣдствіи о пережитомъ имъ настроеніи въ казацкой станицѣ и говоритъ:

«Мнѣ пишутъ письма соболѣзнованія, боятся, что я погибну, зарывшись въ этой глуши;—говорятъ про меня: онъ загрубѣетъ, отъ всего отстанетъ и чего добраго, женится на казачкѣ. Какъ страшно! Въ самомъ дѣлѣ, не погубить бы мнѣ себя, тогда какъ на мою долю могло выпасть великое счастіе стать мужемъ графини Б., камергеромъ или дворянскимъ предводителемъ. Какъ вы мнѣ всѣ гадки и жалки! Вы не знаете, что такое счастіе и что такое жизнь? *Надо разъ испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ.* Надо видѣть и понимать, что я каждый день вижу передъ собой вѣчные неприступные снѣга горъ и величавую женщину въ ея первобытной красотѣ. Поймите одно или вѣрьте одному: надо видѣть и понять, что́ такое правда и красота, и въ прахъ разлетится все, что вы говорите и думаете, всѣ ваши желанія счастія и за меня, и за себя. *Счастіе—это быть съ природою, видѣть ее, говорить съ нею*».

«Надо испытать жизнь во всей ея безыскусственной красотѣ, чтобы понять счастье". А что такое счастье? *Не больше*, какъ быть съ природой, видѣть ее, говорить съ нею». Не больше? А куда-же дѣть мечты о славѣ и власти, о восторгѣ и преклоненіи ближнихъ? Вѣдь они вѣчно тутъ, и кипятъ и бурлятъ въ молодой жадной интеллигентной душѣ... Стать Епишкой, не думать о завтра, жить, какъ трава растетъ, умирать, какъ падаетъ съ дерева увядшій листъ, не оставивъ по себѣ ни слѣда, ни воспоминанія, или быть подстрѣленнымъ чеченцемъ, не пропѣвши даже своей лебединой пѣсни—увы!—все это не дано интеллигенту...

Вѣдь рядомъ съ мечтами объ опрощеніи у того-же Толстого идутъ другія мечты... о полученіи георгіевскаго креста и украшеніи груди своей этимъ знакомъ отличія. А вѣдь для «простоты» ни креста, ни отличій не надо. По разсказу Берса:

«Во время службы на Кавказѣ, Левъ Николаевичъ *страстно* желалъ получить Георгіевскій крестъ и былъ даже къ нему представленъ, но не получилъ его, вслѣдствіе личнаго нерасположенія къ нему одного изъ начальниковъ. Эта неудача *огорчила* его, но вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнила его взглядъ на храбрость. Онъ пересталъ считать храбрыми тѣхъ, кто лѣзли въ сраженіе и домогались знаковъ отличія. Его идеаломъ храбрости сдѣлалось разумное отношеніе къ опасности.»

Толстой страстно желаетъ получить георгіевскій крестъ, какъ нѣсколько лѣтъ спустя опять таки страстно желаетъ получить флигель-адъютантство, какъ еще немного позже клянется убить себя, если за него не выдадутъ замужъ Софью Андреевну Берсъ, и смыслъ всѣхъ этихъ страстныхъ желаній только тотъ, что не вычеркнешь изъ сердца своего тѣхъ инстинктовъ, потребностей и привычекъ, которые завѣщаны вѣками. Не вычеркнешь ихъ особенно въ молодости—въ этотъ періодъ напора эгоистическихъ страстей... Да и зачѣмъ ихъ вычеркивать?.. Страсть эта—тотъ вѣтеръ, о которомъ моряки говорятъ: «попутный или противный—плыть можно, *лишь-бы былъ вѣтеръ.*» Страсть—сама жизнь, и такъ какъ, разъ появившись, она уничтожаетъ вопросъ о «смыслѣ жизни», то она пожалуй и есть искомый таинственный смыслъ нашего бытія...

Находясь постоянно въ обществѣ казаковъ и солдатъ, Толстой полюбилъ простой народъ, полюбилъ уже сердцемъ, а не разсудкомъ только, какъ это было подъ вліяніемъ просвѣтительной философіи. Особенное сердечное впечатлѣніе произвели на него солдаты—эти излюбленные герои величайшаго произведенія Толстого «Войны и Мира», эти «*они*», научившіе впослѣдствіи Пьера Безухова правдѣ жизни... Читая кавказскіе разсказы, вы уже предчувствуете Петра Каратаева и его наивный, дѣтскій, но исполненный глубочайшаго смысла фатализмъ...

Мнѣ кажется, что полюбить простой народъ на Кавказѣ было гораздо легче (съ точки зрѣнія традицій стараго барства), чѣмъ въ Ясной Полянѣ. Тамъ между бариномъ и мужикомъ стояла непроходимая стѣна—крѣпостныя отношенія. Мужикъ являлся грязнымъ, забитымъ, вонючимъ вьючнымъ животнымъ; здѣсь онъ то и дѣло оказывался *героемъ*. Когда человѣкъ невольно считаетъ себя выше другого, можетъ ли онъ полюбить его?—Нѣтъ. Казаки не позволяли Толстому считать себя выше ихъ; онъ самъ видѣлъ, что солдаты выше его. Установилось равенство. А любовь возможна только при немъ.

Въ кавказскихъ впечатлѣніяхъ Толстого есть и еще одинъ мотивъ, всю важность котораго я хотѣлъ-бы особенно вразумительно представить читателю. Ясности ради, позволю себѣ привести маленькій отрывокъ изъ поэмы Лермонтова «Валерикъ»:

Уже затихло все; тѣла
Собрали въ кучу. Кровь текла
Струею дымной по каменьямъ;
Ея тяжелымъ испареньемъ
Былъ полонъ воздухъ. Генералъ
Сидѣлъ въ тѣни на барабанѣ
И донесенья принималъ.
Окрестный лѣсъ, какъ-бы въ туманѣ,
Синѣлъ въ дыму пороховомъ...
А тамъ, вдали — грядой нестройной,
Но вѣчно гордой и спокойной,
Въ своемъ нарядѣ снѣговомъ
Тянулись горы — и Казбекъ
Сверкалъ главой остроконечной...
И съ грустью тайной и сердечной
Я думалъ: «жалкій человѣкъ!
Чего онъ хочетъ?.. Небо ясно,
Подъ небомъ мѣста много всѣмъ,
Но безпрестанно и напрасно
Одинъ враждуетъ онъ... *Зачѣмъ?..*

Чѣмъ былъ Кавказъ во время Толстого? Отчасти, разумѣется, тѣмъ-же, чѣмъ онъ является и въ настоящее время — мѣстомъ удивительнымъ по своей красотѣ и разнообразію своей природы, гдѣ переѣздъ въ нѣсколько часовъ переноситъ васъ изъ царства «орловъ и метелей» въ нѣжныя и зеленыя долины Грузіи или нижняго Терека,—страною, гдѣ лавры, мирты, кипарисы цвѣтутъ на свѣжемъ воздухѣ, гдѣ почти ни на одну минуту не упускаете вы изъ виду снѣговой шапки Казбека или Эльбруса. Для сѣверянина или жителя средней Россіи Кавказъ всегда имѣлъ и будетъ имѣть особенную прелесть чего-то грандіознаго, неожиданнаго, поражающаго. Горячее, пламенное солнце, бурныя стремительныя рѣки, раздвигающія скалы съ какимъ-то злымъ ропотомъ, молчаливые заросшіе лѣсомъ утесы, на вершинахъ которыхъ гнѣздятся орлы да люди, голубое прозрачное небо, громадные дубовые лѣса, заросшія азаліями, въ пахучихъ вѣтвяхъ которыхъ гнѣздятся безчисленные неутомимые соловьи, какой-то странный синій оттѣнокъ горъ—все это будитъ фантазію, навѣваетъ думы и образы... Теперь, правда, большая дорога пролегаетъ тамъ и здѣсь, въ долинѣ Куры то и дѣло слышится свистъ

локомотива, громыханіе поѣздовъ, наполненныхъ нефтью, острый запахъ угля... Исполнилось то, что говорилъ Лермонтовъ:

И желѣзная лопата въ каменную грудь,
Добывая мѣдь и злато, врѣжетъ страшный путь...

—но во время Толстого, слишкомъ сорокъ лѣтъ тому назадъ. дикая поэзія природы была замѣтнѣе, больше на виду... Не рѣзче ли и чувствовалось тогда противорѣчіе между гордымъ миромъ природы и безпокойнымъ ропотомъ человѣка?.. Вѣдь, какъ и все въ мірѣ, Кавказъ пошлѣетъ. Тотъ самый чеченецъ, который нѣкогда горѣлъ страстнымъ желаніемъ зарѣзать васъ или подстрѣлить, мечтаетъ лишь о полученіи двугривеннаго на чай, порою за довольно грязное порученіе. Въ ущельяхъ, гдѣ прежде безраздѣльно царили мятели и орлы, тамъ и здѣсь понастроены рестораны, кабаки и хуже того. То же въ тѣни миртовъ, лавровъ и акацій. Казбекъ разумѣется по прежнему «сіяетъ своими вѣчными снѣгами», какъ грань алмаза, но по грузинской дорогѣ, вмѣстѣ съ его бѣлой шапкой, заостренной какъ сахарная голова, виду вашему открывается гостепріимная гостинница, откуда постоянно доносится пьяный гулъ. Тутъ-же васъ ожидаютъ назойливые грязные ребятишки, которые бѣгаютъ за вами какъ собаченки и пищатъ просьбы о пятакѣ или пятіалтынномъ. Самъ грузинъ не льетъ уже вина на узорные шальвары, потому что вино распродано еще до сбора, а предпочитаетъ во многихъ мѣстахъ пиво и водку. Поэтичныхъ черкешенокъ вы не увидите, или-же встрѣтите ихъ на базарѣ торгующими гнилыми грецкими орѣхами, а еще чаще въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ бы не слѣдовало быть ни поэтичнымъ, ни непоэтичнымъ женщинамъ. Самая природа получила тамъ и здѣсь рѣзкій отпечатокъ жадности, нищеты человѣческой. Лѣса повырублены; самъ Терекъ бьется безъ прежняго задора: онъ точно одряхлѣлъ, нѣтъ ужъ болѣе ничего кровожаднаго и страшнаго въ его когда-то кровожадной и страшной пасти—Дарьяльскомъ ущельи.

Но сорокъ слишкомъ лѣтъ тому назадъ красоты поэтическія и прелесть Кавказа выдавались рѣзче, рельефнѣе и опредѣленнѣе... И какъ странно было видѣть среди этой грандіозной могучей природы маленькихъ людей, мучающихъ себя, убивающихъ себя, интригующихъ, завидующихъ, — и даже любящихъ и ненавидящихъ. Странной казалась смерть живого существа отъ крошечной пульки подъ суровыми взглядами хо-

лоднаго Казбека, подъ вѣковыми чинарами, шептавшими о чемъ-то вѣчномъ, таинственномъ...

Какъ же не задать себя вопроса «зачѣмъ?..» Перечтите кавказскіе разсказы Толстого и вы увидите этотъ вопросъ на каждой страницѣ. Это вопросъ высокой и вмѣстѣ съ тѣмъ наивной (съ нашей точки зрѣнія) души художника...

## IV.

## Подъ Севастополемъ.

Война скрываетъ въ себѣ много рѣзкихъ противорѣчій—жестокости и гуманности, нашей безсознательной симпатіи къ ближнему и нашей вражды къ нему, разъ онъ съ другими, чѣмъ мы, погонами, нашей жалости къ страдающему и нашей радости при видѣ раненаго или умирающаго врага. Но эти рѣзкія противорѣчія, затемненныя молодостью, надеждами на крестъ и военные лавры, не открылись Толстому на Кавказѣ во всей ихъ полнотѣ, въ чемъ была между прочимъ повинна и самая обстановка. Войны на Кавказѣ, строго говоря, никакой не было, а происходилъ безконечной рядъ турнировъ, что было давно, уже—задолго до Толстого, замѣчено проницательнымъ взглядомъ Ермолова, который, явившись на Кавказъ, первымъ дѣломъ заявилъ: «довольно за крестами гоняться, пора начать дѣло дѣлать». Совершенно другимъ представляется намъ оборона Севастополя и севастопольская кампанія вообще. Здѣсь Россія грудь грудью боролась съ половиной Западной Европы, гораздо болѣе культурной, лучше ея вооруженной, богатой и многочисленной, и война была страшная, грандіозная, хотя и сосредоточившаяся на ничтожномъ пространствѣ земли. Здѣсь-же, подъ Севастополемъ, окрѣпла мысль Толстого и впервые является передъ нами въ полной зрѣлости.

Севастопольская кампанія подготовлялась долгіе годы. Россію не любили въ Англіи, терпѣть не могли во Франціи, боялись въ Австріи и завидовали ей въ Пруссіи. И понятно, почему такъ оно было. Императоръ Николай распоряжался въ Европѣ почти такъ-же, какъ у себя дома. Онъ читалъ нравоученія и дѣлалъ предписанія европейскимъ монархамъ, какъ своимъ подданнымъ. Укротивъ венгерцевъ, онъ сталъ какъ-бы опекуномъ Австріи и поотечески относился къ ея тогда еще мо-

лодому монарху. Онъ былъ недоволенъ Пруссіей за реформы 48-го года и явно выказывалъ свое недовольство. Онъ отказался признать Наполеона III-го императоромъ и отказывалъ ему въ титулѣ mon frère... Но его боялись и долгое время страхъ сдерживалъ всѣ попытки противодѣйствія этому невиданному авторитету, напоминавшему авторитетъ Людовика XIV-го и Наполеона I-го.

Война началась въ 1853 г. и на первыхъ порахъ пришлось бороться съ одной Турціей, которую до поры до времени Европа поддерживала лишь тайно; 2-го іюля русскія войска перешли Прутъ и заняли Молдавію. 4 ноября была оффиціально объявлена война, а 30-го числа того-же мѣсяца адмиралъ Нахимовъ уничтожилъ турецкій флотъ при Синопѣ. Это взбудоражило и испугало европейцевъ: тотчасъ-же послѣ синопской битвы французы и англичане объявили Россію войну, а черезъ годъ началась знаменитая осада Севастополя, искупившая всѣ предыдущіе грѣхи этой кампаніи.

Графъ Толстой съ открытіемъ Восточной войны перепросился въ дунайскую армію и былъ прикомандированъ къ главному штабу главнокомандующаго графа Горчакова. Взявши отпускъ, онъ съѣздилъ сначала къ себѣ въ Ясную Поляну, повидался тамъ съ братьями и Ергольской и немедленно-же отправился на театръ военныхъ дѣйствій, рѣшившись повидимому во что бы то ни стало пріобрѣсти военные лавры, ускользнувшіе отъ него на Кавказѣ.

Замѣтимъ между прочимъ, что, какъ солдатъ и офицеръ, Л. Н. Толстой отличался всегда безукоризненною храбростью. Сначала разумѣется къ этой его храбрости примѣшивалось тщеславное желаніе выказать себя съ самой блестящей стороны, но впослѣдствіи осталось лишь спокойное мужество, которое онъ цѣнилъ какъ лучшее и высшее качество военнаго человѣка. Въ своихъ произведеніяхъ онъ не разъ ставитъ себѣ вопросъ, что можно считать за храбрость и кто дѣйствительно храбръ, и всегда отвѣчаетъ въ томъ смыслѣ, что храбръ тотъ, кто при какихъ-бы то ни было обстоятельствахъ исполняетъ свой долгъ солдата или офицера безразлично. Не бояться смерти не значитъ быть храбрымъ, потому что нѣтъ на свѣтѣ человѣка, который-бы не боялся смерти; за то есть много такихъ, которые говорятъ, что они не боятся, и хвастаютъ этимъ. Истинно храбрые люди — солдаты на

вопросъ: «а ты развѣ боишься?» всегда отвѣчаютъ у Толстого: «а то какъ-же?» Рваться безъ толку впередъ, нарочно выбирать самыя опасныя мѣста, когда этого совсѣмъ ненужно гарцовать подъ непріятельскими пулями—совсѣмъ не значитъ быть храбрымъ, а только или тщеславнымъ, или отчаяннымъ, т. е. человѣкомъ лишь очень и очень относительно полезнымъ, а въ большинствѣ случаевъ прямо вреднымъ. Солдаты не считаютъ постыднымъ или унизительнымъ наклонить голову при летящей бомбѣ или лечь на землю, когда разрывается граната; но тѣ-же солдаты не задумываясь идутъ въ адскій огонь, *когда это нужно*. Вотъ она, истинная храбрость, безъ заботъ о знакахъ отличія, о мнѣніи другихъ, безъ ложнаго стыда и безъ признака тщеславія. Такіе типы, какъ капитанъ Хлоповъ въ «Набѣгѣ», Тушинъ и Тимохинъ въ «Войнѣ и Мирѣ»—подлинные храбрецы, но ничего эффектнаго они не производятъ. Вотъ маленькая сценка изъ «Набѣга», иллюстрирующая взгляды Толстого.

«Что-же онъ храбрый былъ? спросилъ я капитана.—А Богъ его знаетъ: все бывало впереди ѣздитъ; гдѣ перестрѣлка, тамъ и онъ.—Такъ стало быть храбрый, сказалъ я.—Нѣтъ, это не значитъ—храбрый, что суется туда, куда его не спрашиваютъ.—Что-же вы называете храбрымъ? Храбрый? Храбрый? повторялъ капитанъ съ видомъ человѣка, которому въ первый разъ представляется подобный вопросъ:—храбрый тотъ, который ведетъ себя какъ слѣдуетъ, сказалъ онъ, подумавъ немного».

Я вспомнилъ, что Платонъ опредѣляетъ храбрость *знаніемъ того, чего нужно и чего не нужно бояться*, и несмотря на общность и неясность выраженія въ опредѣленіи капитана, я подумалъ, что основная мысль обоихъ не такъ различна, какъ могло бы показаться, и что даже опредѣленіе капитана вѣрнѣе опредѣленія греческаго философа, потому что, еслибъ онъ могъ выражаться такъ же, какъ Платонъ, онъ вѣрно сказалъ бы, что храбръ тотъ, кто боится только того, *чего слѣдуетъ бояться*, а не того, *чего не нужно бояться*. Мнѣ хотѣлось объяснить свою мысль капитану.—Ну ужъ этого не умѣю вамъ доказать, сказалъ онъ, накладывая трубку:—а вотъ у насъ есть юнкеръ, такъ тотъ любитъ пофилософствовать. Вы съ нимъ поговорите. Онъ и стихи пишетъ.

Я для того выписалъ цѣликомъ всю эту маленькую сценку, чтобы читатель увидѣлъ и еще одинъ элементъ храброй души, какъ она является передъ нами въ произведеніяхъ Л. Толстого. Этотъ элементъ—простодушіе, граничащее иногда съ наивностью ребенка. На самомъ дѣлѣ, припомните Тушина, по дѣтски застыдившагося, когда его увидѣли безъ сапогъ,—или Тимохина постоянно краснѣющаго, разъ къ нему обращаются съ рѣчью; того-же Хлопова, «что-то ужъ очень долго набивав-

шаго въ углу трубку», т. е. попросту плакавшаго послѣ полученія вѣсточки отъ своей старухи матери. Вѣдь это все дѣти, большія, хорошія дѣти, въ чистомъ сердцѣ которыхъ грязь жизни не оставила ни одного пятна.... Эти храбрецы—дѣти народа, сохранившіе непорванными всѣ духовныя связи съ породившей ихъ почвой.

Эту-то храбрость видѣлъ передъ собой постоянно графъ Толстой, эту то храбрость онъ уважалъ и цѣнилъ, и ее-то старался выработать въ себѣ. Расширьте теперь область ея примѣненія, выведите ее изъ лагеря или поля сраженія и вы получите то рѣдкое и драгоцѣнное качество, которое можетъ быть названо мужествомъ жизни. И оно, какъ и храбрость, принадлежитъ прежде всего народному (но не интеллигентному) духу и составляетъ красоту его.

Надо быть большимъ человѣкомъ и обладать проницательнымъ взглядомъ художника, чтобы разсмотрѣть эту красоту и умѣть любоваться ею. Толстой съумѣлъ сдѣлать это, и почва для любви къ народу и сердечной къ нему привязанности была готова. Нехлюдовщина, теоретическое признаніе отвѣтственности передъ мужикомъ, красивыя фразы просвѣтительной философіи отчасти на Кавказѣ, но главнымъ образомъ подъ стѣнами Севастополя, замѣнились другимъ, болѣе прочнымъ и высокимъ чувствомъ—любовью и преклоненіемъ передъ красотой народной души. Пока эта красота выражалась прежде всего въ *храбрости*. Впослѣдствіи, какъ увидимъ, Толстой разсмотрѣлъ и большее—*мужество жизни*.

Въ Севастополь Толстой прибылъ въ ноябрѣ 1854 года и остался здѣсь вплоть до конца осады. Въ маѣ 55-го онъ назначенъ былъ командиромъ горнаго дивизіона и принималъ горячее участіе въ несчастной для насъ битвѣ при Черной рѣчкѣ (11-го августа).

Вотъ что, между прочимъ, говоритъ о немъ одинъ изъ его севастопольскихъ сослуживцевъ: «Толстой своими разсказами и наскоро набросанными куплетами одушевлялъ всѣхъ и каждаго въ трудныя минуты боевой жизни. Онъ былъ въ полномъ смыслѣ душой нашего общества. Толстой съ нами—и мы не видимъ какъ летитъ время, и нѣтъ конца общему веселью; нѣтъ графа, укатилъ въ Симферополь,—и всѣ носы повѣсили. Пропадаетъ день, другой, третій. Наконецъ возвращается, ну точь въ точь блудный сынъ,—мрачный, исхудалый, недовольный собой Отведетъ меня въ сторону подальше и начнетъ покаяніе.

Все разскажетъ:—какъ кутилъ, игралъ, гдѣ проводилъ дни и ночи, и приэтомъ, вѣрите ли, казнится и мучится, какъ настоящій преступникъ. Даже жалко смотрѣть на него, — такъ убивается. Вотъ это какой человѣкъ! Однимъ словомъ, странный и не совсѣмъ для меня понятный, а съ другой стороны это былъ рѣдкій товарищъ, честнѣйшая душа и забыть его рѣшительно невозможно.»—(Историч. Вѣстн., ноябрь 90 г.)

Съ однимъ изъ куплетовъ, сочиненныхъ графомъ Толстымъ, случилась маленькая исторія, познакомиться съ которой не безъинтересно. Пѣсня относилась къ несчастной битвѣ 4-го августа и, написанная въ народномъ духѣ, скоро пріобрѣла широкую популярность. Ее, говоря безъ преувеличенія, распѣвало все войско. Содержаніе ея слѣдующее:

Какъ четвертаго числа
Насъ нелегкая несла
Гору забирать...
Баронъ Вревскій, генералъ,
Къ Горчакову приставалъ
Когда подъ шафе:
Князь, возьми ты эту гору,
Не входи со мною въ ссору,
Не то донесу.
Собирались на совѣты
Все большія эполеты,
Даже плащъ—Бекокъ...
Полицмейстеръ плащъ Бекокъ
Никакъ выдумать не могъ,
Что ему сказать.
Долго думали, гадали,
Топографы все писали
На большомъ листу.
Гладко писано въ бумагѣ,
Да забыли про овраги,
А по нимъ ходить.
. . . . . .
Глядь, Ресадъ возьми да съ просту
И повелъ насъ прямо къ мосту:
Ну-ка на ура.
На ура! Мы зашумѣли
Да лезервы не поспѣли,
Кто то перевралъ.
На Федюхины высоты
Насъ пришло всего три роты,
А пошли полки.
Наше войско небольшое,
А француза было втрое
И секурсу тьма.
Ждали выйдетъ съ гарнизона
Намъ на выручку колонна,
Подали сигналъ,
А тамъ N N генералъ
Все акафисты читалъ...
И пришлось намъ отступать...

(*«Русская Старина» 1884 г., Т. № 41*)

Толстой какъ разъ въ это время ожидалъ награды за дѣло при Черной и мечталъ даже о флигель-адъютантствѣ, но до свѣдѣнія начальства дошло, что авторъ сатирической пѣсни—онъ, и съ мечтами о флигель-адъютантствѣ пришлось распроститься, какъ два года назадъ съ мечтами о георгіевскомъ крестѣ...

Несмотря на безпокойную военную жизнь, Толстой и подъ Севастополемъ не бросилъ литературныхъ занятій. Здѣсь были имъ написаны «Севастополь въ декабрѣ 1854», «Севастополь въ маѣ 55 г.», «Рубка лѣса» и «Севастополь въ августѣ 55 г.». Разсказываютъ, что императрица Александра Ѳеодоровна плакала, читая первый Севастопольскій очеркъ Толстого, а государь Ни-

колай I приказалъ «слѣдить за жизнью молодого писателя» и даже перевести его съ 4-ой батареи въ болѣе безопасное мѣсто.

27-го августа Толстой участвовалъ при штурмѣ Севастополя, когда былъ взятъ Малаховъ курганъ, и затѣмъ его отправили курьеромъ въ Петербургъ. Этимъ и заканчивается его военная карьера.

---

Намъ надо теперь поближе присмотрѣться къ севастопольскимъ впечатлѣніямъ нашего великаго писателя.

«Первое впечатлѣніе ваше отъ Севастополя, разсказываетъ Толстой, непремѣнно самое непріятное: странное смѣшеніе лагерной и городской жизни, краснаго города и грязнаго бивуака, не только не красиво, но кажется отвратительнымъ безпорядкомъ; вамъ даже покажется, что всѣ перепуганы, суетятся, не знаютъ, что дѣлать. Но вглядитесь ближе въ лица этихъ людей, движущихся вокругъ васъ, и вы поймете совсѣмъ другое. Посмотрите хоть на этого фурштадтскаго солдатика, который ведетъ поить какую-то гнѣдую тройку и такъ спокойно мурлыкаетъ себѣ что-то подъ носъ, что, очевидно, онъ не заблудился въ этой разнородной толпѣ, которой для него и не существуетъ, но что онъ исполняетъ свое дѣло, какое бы оно ни было—поить лошадей или таскать орудія—такъ же спокойно, самоувѣренно и равнодушно, какъ бы все это происходило гдѣ-нибудь въ Тулѣ или Саранскѣ. То же выраженіе читаете вы и на лицѣ этого офицера, который, въ безукоризненно бѣлыхъ перчаткахъ, проходитъ мимо, и въ лицѣ матроса, который куритъ, сидя на баррикадѣ, и въ лицѣ рабочихъ солдатъ, съ носилками дожидающихся на крыльцѣ бывшаго собранія, и въ лицѣ этой дѣвицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкамъ перепрыгиваетъ чрезъ улицу».

Во всемъ этомъ нѣтъ ничего героическаго, великаго. Но прежде чѣмъ сомнѣваться, сходите на бастіоны, посмотрите защитниковъ Севастополя на самомъ мѣстѣ защиты, или лучше зайдите прямо напротивъ въ домъ, бывшій прежде севастопольскимъ собраніемъ и гдѣ на крыльцѣ стоятъ солдаты съ носилками,— вы увидите тамъ защитниковъ Севастополя, увидите тамъ ужасныя и грустныя, великія и забавныя, но изумительныя, возвышающія душу зрѣлища.

Вотъ напр. одно изъ „возвышающихъ душу зрѣлищъ,“ описанное почти шекспировскою кистью:

— Ты куда раненъ?—спрашиваете вы нерѣшительно и робко у одного стараго и исхудалаго солдата, который, сидя на койкѣ, слѣдитъ за вами добродушнымъ взглядомъ и какъ будто приглашаетъ подойти къ себѣ. Я говорю: «робко спрашиваете», потому что страданія, кромѣ глубокаго сочувствія, внушаютъ почему-то страхъ оскорбить и высокое уваженіе къ тому, кто переноситъ ихъ.

— Въ ногу, отвѣчаетъ солдатъ; но въ это самое время вы сами замѣчаете по складкамъ одѣяла, что у него ноги нѣтъ выше колѣна.—Слава Богу теперь, прибавляетъ онъ:—на выписку хочу.

— А давно ты уже раненъ?

— Да вотъ шестая недѣля пошла, ваше благородіе.

— Что же, болитъ у тебя теперь?

— Нѣтъ, теперь не болитъ ничего; только какъ будто въ икрѣ ноетъ, когда непогода, а то ничего.

— Какъ же ты это былъ раненъ?

— На 5-мъ баксіонѣ, ваше благородіе, какъ первая бандидировка была: навелъ пушку, сталъ отходить, этакимъ манеромъ, къ другой амбразурѣ, какъ *онъ* ударитъ меня по ногѣ, ровно какъ въ яму оступился, глядь, а ноги нѣтъ.

— Неужели больно не было въ эту первую минуту?

— Ничего; только какъ горячимъ чѣмъ меня пхнули въ ногу.

— Ну, а потомъ?

— И потомъ ничего; только какъ кожу натягивать стали, такъ саднило какъ будто. Оно первое дѣло, ваше блогородіе, *не думать ничего*: какъ не думаешь, оно тебѣ и ничего. Все больше оттого, что думаетъ человѣкъ.

Въ это время къ намъ подходитъ женщина въ сѣренькомъ полосатомъ платьѣ и повязанная чернымъ платкомъ; она вмѣшивается въ вашъ разговоръ съ матросомъ и начинаетъ разсказывать про него, про его страданія, про отчаянное положеніе, въ которомъ онъ былъ четыре недѣли, про то, какъ, бывши раненъ, остановилъ носилки, съ тѣмъ чтобы посмотрѣть на залпъ нашей батареи, какъ Великіе Князья говорили съ нимъ и пожаловали ему 25 рублей, и какъ онъ сказалъ имъ, что онъ опять хочетъ на бастіонъ, съ тѣмъ, чтобъ учить молодыхъ, ежели уже самъ работать не можетъ. Говоря все это однимъ духомъ, женщина эта смотритъ то на васъ, то на матроса, который, отвернувшись и какъ будто не слушая ея, щиплетъ у себя на подушкѣ корпію, и глаза ея блестятъ какимъ-то особеннымъ восторгомъ.

— Эта хозяйка моя, ваше благородіе! замѣчаетъ вамъ матросъ съ такимъ выраженіемъ, какъ будто говоритъ: «ужъ вы ее извините. Извѣстно, бабье дѣло — глупыя слова говоритъ».

А смыслъ этихъ впечатлѣній, этихъ возвышающихъ душу зрѣлищъ тотъ, что вы «молча склоняетесь передъ этимъ молчаливымъ, безсознательнымъ величіемъ и твердостью духа, этою стыдливостью передъ собственнымъ достоинствомъ».

Молчаливый героизмъ безъ эффектныхъ фразъ, безъ всякаго тщеславнаго желанія выставить себя и сосредоточить на себѣ вниманіе, и вмѣстѣ съ этимъ милое, нѣжное добродушіе русскаго солдата, умѣющаго быть деликатнымъ какъ любящая женщина, полностью изображены Толстымъ въ его Севастопольскихъ разсказахъ. Онъ вдохновляется прежде всего этимъ, и вы ясно видите, что онъ любитъ (а не просто описываетъ) то, чѣмъ вдохновляется. Толстой первый заглянулъ

въ душу стараго дореформеннаго солдата и первый создалъ его типъ или, вѣрнѣе, цѣлую галлерею типовъ, теперь уже родныхъ и близкихъ каждому русскому читателю. Въ жизни, полной самоотреченія, невыносимой тяготы и лишеній, почти нечеловѣческихъ, жизни безъ тѣни личнаго счастья, безъ семьи, безъ будущаго, съ вѣчнымъ поднятымъ надъ головой обухомъ, съ неуходящимъ ни на шагъ призракомъ смерти—Толстой учуялъ что-то таинственное, прекрасное и чистое, какъ звѣзда на небѣ. И онъ склонился передъ этимъ, и вѣра въ народъ утвердилась въ его сердцѣ разъ на всю жизнь. Какъ ни мѣнялось впослѣдствіи міросозерцаніе Толстого, какъ ни глубоко погружался онъ въ безнадежное отрицаніе—эта вѣра спасала его и вызывала послѣ каждаго паденія къ новой жизни, новой работѣ.

Если въ кавказскихъ разсказахъ Толстого на первый планъ выступаетъ противорѣчіе между природой и человѣкомъ, миромъ одной и суетливостью и кровожадностью другого, то въ севастопольскихъ разсказахъ почва этихъ противорѣчій шире, разнообразнѣе и глубже.

Во время перемирія разыгрывается напр. такая сцена:

Вотъ пѣхотный бойкій солдатъ, въ розовой рубашкѣ и шинели въ накидку, съ сопровожденіи другихъ солдатъ, которые, руки за спину, съ веселыми, любопытными лицами стоятъ за нимъ, подошелъ къ французу и попросилъ у него огня закурить трубку. Французъ разжигаетъ, расковыриваетъ трубочку и высыпаетъ огня русскому.

— Табакъ *бунъ*, говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, и зрители улыбаются.

— Oui, bon tabac, tabac turc,—говоритъ французъ:—et chez vous autre tabac—russe? bon?

— Русъ—бунъ,—говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, при чемъ присутствующіе покатываются со смѣху. — *Франсе, бунъ, бонжуръ мусье!* говоритъ солдатъ въ розовой рубашкѣ, сразу ужъ выпуская весь свой зарядъ знаній языка и треплетъ француза по животу и смѣется. Французы тоже смѣются.

— Ils ne sont pas jolis, ces b... de Russes,—говорилъ одинъ зуавъ изъ толпы французовъ.

— De quoi ils rient donc?—говоритъ другой, черный съ итальянскимъ выговоромъ, подходя къ нашимъ.

— Кафтанъ бунъ, говоритъ бойкій солдатъ, разсматривая шитыя полы зуава, и опять смѣется.

— Ne sors pas de ta ligne, à vos places sacré nom! кричитъ французскій капралъ и солдаты съ видимымъ неудовольствіемъ расходятся.

Не странно ли будетъ видѣть потомъ, всего черезъ нѣсколько часовъ, этихъ добродушныхъ людей, такъ весело раз-

говаривающихъ другъ съ другомъ, съ ожесточенными и освирѣпѣвшими лицами прокалывающихъ другъ друга штыками. Вражды между ними нѣтъ никакой; если бы не странная стихійная сила, руководящая ими, они долго бы еще продолжали бесѣдовать и смѣяться, а потомъ вмѣстѣ и дружно принялись бы за работу. Но «бѣлые флаги спрятаны, и снова свистятъ орудія смерти и страданій, снова льется невинная кровь и слышатся стоны и проклятія».

Дикая и страшная трагедія человѣческой жизни разыгрывается на поляхъ сраженій. Гдѣ и въ чемъ можно найти ей оправданіе, и вмѣстѣ съ Толстымъ невольно спрашиваешь себя: «неужели эти люди—христіане, исповѣдующіе одинъ великій законъ любви и самоотверженія,—глядя на то, что они сдѣлали, съ раскаяніемъ не упадутъ вдругъ на колѣна передъ Тѣмъ, Кто далъ имъ жизнь, вложилъ въ душу каждаго, вмѣстѣ со страхомъ смерти, любовь къ добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, какъ братья?»...

Нѣтъ, не обнимутся. Цвѣтущая долина засыпается мертвыми тѣлами, опять свистятъ орудія смерти, прекрасное солнце спускается къ синему морю, синее море, колыхаясь, блеститъ на золотыхъ лучахъ солнца, а люди, какъ дикіе звѣри, бросаются другъ на друга и рвутъ другъ друга зубами...

Гете замѣтилъ какъ-то, что истинный художникъ всегда ребенокъ. Какъ ребенокъ, онъ наивенъ, удивляется тому, чему уже перестали удивляться мы, опытные люди, и задаетъ такіе вопросы, которые уже не существуютъ для насъ. Въ узкомъ ущельѣ Валерика великій и наивный ребенокъ Лермонтовъ, видя передъ собой окровавленные трупы такъ недавно еще веселыхъ и полныхъ жизни людей, спрашиваетъ: «зачѣмъ?»; подъ стѣнами Севастополя тотъ же вопросъ не даетъ ни минуты покоя другой великой наивной душѣ—душѣ Толстого. Онъ, какъ художникъ, не понимаетъ и не можетъ понять того, что какъ будто понимаемъ мы, что пожалуй самъ онъ понимаетъ, какъ офицеръ, какъ командиръ дивизіона, какъ защитникъ Севастополя, мечтающій о флигель-адъютантствѣ. Но художникъ «наивенъ", его чуткое сердце не можетъ успокоиться на тѣхъ объясненіяхъ и отвѣтахъ, на которыхъ успокаивается обыденный смертный; цвѣтущая долина, заваленная мертвыми тѣлами, для него не просто поле сраженія, гдѣ побѣдили мы или французы, гдѣ было столько-то стычекъ, гдѣ столько-то убито, столько-то ранено; эта цвѣтущая долина для него

что-то страшное, таинственное, преступное, вызывающее одинъ и тотъ же роковой вопросъ: «зачѣмъ?»

Во второмъ Севастопольскомъ разсказѣ («Севастополь въ маѣ») передъ нами развертывается и другое противорѣчіе, поразившее Толстого. Это противорѣчіе народнаго и интеллигентнаго духа. Молчаливый героизмъ народа и тщеславная суетливость интеллигента никогда еще до той поры такъ рѣзко не противопоставлялись другъ другу. Впослѣдствіи Толстой построилъ на немъ свою эпопею «Войны и мира», но впервые оно было уже постигнуто имъ подъ стѣнами Севастополя. Интеллигентъ носится съ своимъ *я*, не можетъ ни на минуту отдѣлаться отъ заботъ о немъ. Это маленькое требовательное *я* суетится, безпокоится, страдаетъ и радуется, смотря по тому, хорошо ли ему или дурно, тепло ему или холодно.

Желаніе выставить себя съ самой выгодной стороны, выдвинуться въ первый рядъ—это тщеславное суетливое желаніе ни на минуту не исчезаетъ изъ интеллигентной души, и безконечныя интриги, разнузданная игра себялюбія — иногда совершенно невинная, дѣтская, иногда скверная—потому что корыстолюбивая, постоянно происходитъ на почвѣ молчаливаго народнаго героизма. Идти на бастіонъ значитъ идти почти на вѣрную смерть, и вотъ по дорогѣ туда культурный человѣкъ штабсъ-капитанъ Михайловъ думаетъ: «и каково будетъ удивленіе и радость Наташи, когда она вдругъ прочтетъ въ *Инвалидѣ* описаніе, какъ я первый влѣзъ на пушку и получилъ Георгія. Капитана я долженъ получить по старому представленію. Потомъ очень легко я въ этомъ же году могу получить маіора по линіи, потому что не мало перебито, да и еще, вѣрно, много перебьютъ нашего брата въ эту кампанію. А потомъ опять будетъ дѣло и мнѣ, какъ извѣстному человѣку, поручатъ полкъ... подполковникъ... Анну на шею... полковникъ... и въ мечтахъ своихъ штабсъ-капитанъ Михайловъ добрался уже до генеральскаго чина... Тотъ же штабсъ-капитанъ Михайловъ на музыкѣ въ саду весь поглощенъ соображеніями о томъ, какъ и съ кѣмъ ему поздороваться, къ кому подойти, съ кѣмъ заговорить. Онъ избѣгаетъ компаніи своихъ товарищей армейцевъ, потому что одинъ изъ нихъ въ верблюжьихъ штанахъ и безъ перчатокъ, а другой кричитъ ужасно громко на весь садъ,—но не рѣшается и подойти къ «аристократамъ»... «Что ежели, спрашиваетъ онъ себя, они вдругъ мнѣ не поклонятся, или поклонятся и будутъ продолжать го-

ворить между собою, какъ будто меня нѣтъ, или вовсе уйдутъ отъ меня и я тамъ останусь одинъ?..»

Ребячество капитана Михайлова вызываетъ лишь улыбку, какъ вызываютъ улыбку и его ненужныя мысли. Но можно не только улыбаться, а и задуматься, видя поразительное и странное сочетаніе культурной ярмарки тщеславія и эгоизма съ молчаливымъ героизмомъ простого народа.

Въ культурномъ человѣкѣ слишкомъ сильно чувство личности; это-то и портитъ все дѣло. Лишь въ минуты нравственнаго прозрѣнія спрашиваетъ онъ себя: «что значатъ смерть и страданія такого ничтожнаго червяка, какъ я, въ сравненіи съ столькими смертями и страданіями»... Но видъ чистаго неба, блестящаго солнца, красиваго города опять приводитъ культурную душу въ обычное состояніе маленькихъ себялюбивыхъ заботъ, опасеній, мечтаній... Быть лучше, сильнѣе, красивѣе другого—вотъ нервъ культурнаго бытія и въ этомъже его главное противорѣчіе съ народнымъ духомъ.

Ярмарка тщеславія съ одной стороны, молчаливый героизмъ съ другой—ежеминутно были на глазахъ у графа Толстого подъ стѣнами Севастополя. Чему симпатизировать, что любить—онъ зналъ и ни минуту не колебался въ своемъ выборѣ. Но по самой жизни своей, по практическимъ цѣлямъ, онъ принадлежалъ еще ярмаркѣ тщеславія и былъ глубоко огорченъ, когда убѣдился, что не получитъ флигель-адъютантскихъ эксельбантовъ.

## V

## Въ Петербургѣ.

Въ Петербургъ гр. Толстой пріѣхалъ въ концѣ 55-го года. Передъ 27-лѣтнимъ офицеромъ, богатымъ и титулованнымъ, къ тому севастопольскимъ героемъ разумѣется были раскрыты всѣ двери «лучшихъ», какъ это принято говорить, домовъ. Его принимали вездѣ, вездѣ ласкали и холили, всячески за нимъ ухаживали... Чего казалось-бы лучше? Впереди блестящая карьера, полная возможность устроить блестящую партію съ какой нибудь милой и титулованной Китти Щербацкой, а между тѣмъ Толстой рѣдко чувствовалъ себя хорошо и большую часть времени находился въ какомъ-то безпокойномъ и тревожномъ настроеніи духа. Литературная извѣстность и ореолъ севасто-

польскаго героя не могли разумѣется не льстить молодому тщеславію, но успокоиться и почить на пріобрѣтенныхъ лаврахъ невозможно вдумчивому человѣку. Тѣмъ болѣе, очевидно, что Толстымъ по наслѣдству получена наклонность разсматривать все съ мрачной точки зрѣнія—результатъ духовнаго переутомленія ряда поколѣній. Исторія его развитія и жизни была-бы совсѣмъ другая, если-бы онъ могъ повторить гордыя слова, сказанныя когда-то Прудономъ: «четырнадцать моихъ прадѣдовъ были земледѣльцами; укажите мнѣ болѣе благородное происхожденіе!»

На двухъ фотографическихъ снимкахъ, сохранившихся отъ петербургскаго періода, гр. Толстой является исключительно въ литературномъ обществѣ. На первомъ изъ этихъ снимковъ онъ изображенъ вмѣстѣ съ Григоровичемъ, Гончаровымъ, Тургеневымъ, Дружининымъ и Островскимъ; на второмъ—съ Некрасовымъ, Саллогубомъ, Панаевымъ, опять Тургеневымъ и Григоровичемъ. Передъ нами стало-быть вся редакція «Современника» и всѣ свѣтила русской литературы 50-хъ годовъ. Тургеневъ былъ въ то время излюбленнымъ и славнѣйшимъ писателемъ, Некрасовъ пропѣлъ уже многія изъ своихъ лучшихъ пѣсенъ, Григоровича знали всѣ какъ автора «Антона Горемыки», а Дружининъ считался первымъ критикомъ, пока на смѣну ему не пришелъ сначала Чернышевскій, а потомъ Добролюбовъ.

Среди аристократовъ литературы гр. Толстой былъ своимъ. Его «Севастопольскіе разсказы» были по заслугамъ оцѣнены публикой, а «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» хотя и не пользовались широкой популярностью, заставили видѣть въ авторѣ большой и серьезный талантъ.

Но ни съ кѣмъ изъ писателей Толстой близко не сошелся. Въ его натурѣ, повидимому, мало данныхъ для дружбы, или эти данныя не могутъ уравновѣсить слишкомъ большой чуткости и проницательности. Истинно друженъ онъ былъ всего одинъ разъ въ жизни съ старшимъ братомъ своимъ Николаемъ Николаевичемъ. Съ Тургеневымъ Толстой жилъ даже на одной квартирѣ, но особаго расположенія ни съ той, ни съ другой стороны не было: они не понимали другъ друга, спорили до хрипоты и скоро разошлись по разнымъ дорогамъ.

Изъ этого петербургскаго періода Фетъ сохранилъ такое воспоминаніе. «Я, разсказываетъ онъ, только разъ видѣлъ Льва Николаевича Толстого у Некрасова вечеромъ и съ первой

минуты замѣтилъ въ молодомъ Толстомъ невольную оппозицію всему общепринятому въ области сужденій.

«Я не могу признавать, говорилъ напр. Левъ Николаевичъ Тургеневу, чтобы высказанное вами было вашимъ убѣжденіемъ. Я стою съ кинжаломъ или саблею въ дверяхъ и говорю: «пока я живъ, никто сюда не войдетъ». Вотъ это убѣжденіе! А вы другъ отъ друга стараетесь скрывать сущность вашихъ мыслей и называете это убѣжденіемъ». — «Зачѣмъ же вы къ намъ ходите?» задыхаясь спрашивалъ Тургеневъ. — «Зачѣмъ мнѣ спрашивать у васъ, куда мнѣ ходить! И праздные разговоры ни отъ какихъ моихъ приходовъ не превратятся въ убѣжденія».

О той-же оппозиціи Толстого всему общепризнанному, о рѣзкости его мнѣній и т. д. говоритъ и Панаевъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» и, какъ кажется, будетъ нетрудно объяснить причины и источникъ такого настроенія.

Толстой только вернулся изъ подъ Севастополя; въ его ушахъ все еще гремѣли орудія, раздавались стоны и хрипъ раненыхъ; тамъ-же на поляхъ битвы онъ первый разъ оцѣнилъ простого русскаго человѣка, его безхитростную душу, его молчаливый героизмъ. Въ Петербургѣ не только не было ничего похожаго на только что видѣнное и испытанное, а было какъ разъ противоположное, особенно въ томъ кругу знатныхъ баръ и богатыхъ прославленныхъ литераторовъ, въ которомъ вращался Толстой. Жизнь онъ велъ «легкую», веселую, праздную и видѣлъ вокругъ все такую-же жизнь, которая считалась приличной, комильфотной и вполнѣ удовлетворительной въ нравственномъ отношеніи. Не представлялась-ли эта блестящая обстановка гостиныхъ, этотъ постоянный флиртъ между праздными мужчинами и праздными женщинами, эти кутежи въ загородныхъ ресторанахъ, карточная игра, эти пустопорожніе разговоры объ убѣжденіяхъ чѣмъ-то обиднымъ послѣ серьезныхъ и страшныхъ севастопольскихъ впечатлѣній? Отказаться отъ этой жизни Толстой въ то время не могъ, но онъ чувствовалъ и зналъ, что это не «та», не настоящая жизнь, что въ ея легкомысліи и праздности есть и безнравственное, и даже прямо преступное. Толстой серьезенъ, порою серьезенъ до мрачности, его умъ вдумчивъ и настойчивъ, и войти въ петербургскую колею, увлечься времяпрепровожденіемъ богатаго и знатнаго литератора онъ не могъ уже и тогда. Въ самомъ литературномъ кружкѣ, къ которому онъ принадлежалъ, многое должно было раздражать его

и особенно Тургеневъ съ его европеизмомъ, англоманствомъ и изящно барскими взглядами на литературу, искусство, прогрессъ, исторію. Противъ грубости Толстой никогда ничего не имѣлъ, но онъ всегда морщился отъ всякой неискренности, отъ всякой заученной красивой фразы, а вѣдь этихъ фразъ въ литературныхъ и барскихъ гостиныхъ ему приходилось слушать безъ числа. И онъ ссорился, спорилъ до хрипоты и все это совсѣмъ не было стояніемъ за правду, а просто взрывами раздраженія на легкую праздную жизнь, на пустопорожніе разговоры, на самого себя.

Вѣдь мы знаемъ, чѣмъ въ концѣ концовъ завершились его исканія правды и какимъ путемъ достигъ онъ если и не полнаго счастья, то по крайней мѣрѣ спокойствія духа. Для этого Толстому понадобилось не только сердцемъ своимъ, но и разумомъ, но и всей жизнью, ея обстановкой и обиходомъ, стать органической частицей простой народной массы. Въ 27 лѣтъ сдѣлать этого было нельзя, особенно Толстому, котораго условія его жизни и воспитанія, традиціи рода, родные и знакомые тянули совсѣмъ въ другую сторону. Прекрасно сказано по этому поводу у Н. К. Михайловскаго:

«Легко было Прудону вѣровать въ народъ и требовать отъ другихъ такой-же вѣры, когда онъ самъ вышелъ изъ народа: онъ вѣровалъ въ себя. Такого непосредственнаго единенія между Толстымъ и народомъ нѣтъ. Легко было Прудону смѣло констатировать оборотную сторону цивилизаціи, когда эта оборотная сторона непосредственно давила его и близкихъ его. Такого давленія гр. Толстой не испытываетъ. Легко было Прудону говорить, что, выражаясь словами гр. Толстого, «въ поколѣніяхъ работниковъ лежитъ и больше силы, и больше сознанія правды и добра, чѣмъ въ поколѣніяхъ лордовъ, бароновъ, банкировъ и профессоровъ». Прудону было легко говорить это, когда отецъ его былъ бочаромъ, мать кухаркой, а самъ онъ наборщикомъ; когда онъ имѣлъ право сказать одному легитимисту: «у меня четырнадцать прадѣдовъ крестьянъ, назовите хоть одну фамилію, которая насчитывала бы столько благородныхъ предковъ». Но гр. Толстой находится скорѣе въ положеніи того легитимиста, который получилъ этотъ отпоръ. Оставьте въ сторонѣ вопросъ о томъ, вѣрны или невѣрны тѣ выводы, къ которымъ пришелъ Прудонъ, и тѣ, къ которымъ пришелъ гр. Толстой. Положимъ, что и тѣ и другіе такъ же далеки отъ истины, какъ пещерные люди отъ гр. Толстого. Обратите вниманіе только на слѣдующее обстоятельство: вся обстановка, всѣ условія жизни, начиная съ пеленокъ, гнали Прудона къ тѣмъ выводамъ, которые онъ считалъ истиной; всѣ условія жизни гр. Толстого, напротивъ, гнали и гонятъ его въ сторону отъ того, что онъ считаетъ истиной. И если онъ все-таки пришелъ къ ней, то какъ бы онъ себѣ ни противо-

рѣчилъ, вы должны признать, что это мыслитель честный и сильный, которому довѣриться можно, котораго уважать должно».

Самые литературные кружки первой половины пятидесятыхъ годовъ не могли не вызвать въ Толстомъ сначала недовѣрія, а потомъ и враждебности. Это было какое-то странное, переходное время отъ величайшаго гнета конца николаевской эпохи къ значительной свободѣ новаго царствованія. Тяжелая атмосфера недавно пережитаго еще не замѣнилась новой, а лишь медленно и робко оттѣснялась ею. Пока длилась осада Севастополя и война, старые принципы и старыя правила безпрепятственно царили въ жизни и всѣ подчинялись имъ. Писатели, жившіе въ то время, надо отдать имъ полную справедливость—умѣли недурно приспособиться къ обстановкѣ и чувствовали себя и счастливыми, и довольными. Бѣлинскій умеръ въ 48 г. и его мѣсто трибуна не было занято никѣмъ. Если не о немъ, то о его проповѣди забыли даже въ кружкѣ близкихъ ему лицъ и, какъ дѣти, вырвавшіяся изъ подъ строгаго надзора, предались легкомыслію, самодовольству, чистой красотѣ. Нѣсколько одностороннее, но въ сущности глубоко вѣрное описаніе литературнаго легкомыслія того времени далъ намъ самъ Толстой:

«Мнѣ, разсказываетъ гр. Толстой—было 26 лѣтъ, когда я пріѣхалъ послѣ войны въ Петербургъ и сошелся съ писателями. Меня приняли какъ своего, льстили мнѣ даже. И не успѣлъ я оглянуться, какъ сословные писательскіе взгляды на жизнь усвоились мною и уже совершенно изгладили во мнѣ всѣ мои прежнія попытки сдѣлаться лучше. Взгляды эти подъ распущенность моей жизни подставили теорію, которая ее оправдывала. Теорія утверждала, что жизнь вообще идетъ развиваясь и что въ этомъ развитіи главное участіе принимаемъ мы, люди мысли, а изъ людей мысли главное вліяніе имѣемъ мы, художники, поэты. Наше призваніе учить людей, не зная чему: художникъ-де и поэтъ учитъ безсознательно. Я считался чудеснымъ художникомъ и поэтомъ, и потому мнѣ очень естественно было усвоить эту теорію. И вотъ я художникъ, поэтъ писалъ и училъ, самъ не зная чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ прекрасный столъ, квартира, женщины, общество, у меня была слава: значитъ то, чему я училъ, было очень хорошо. Теорія эта о развитіи жизни и значеніи поэзіи была вѣра и я былъ однимъ изъ жрецовъ ея. Быть жрецомъ ея было очень выгодно и пріятно. И я довольно долго жилъ въ этой вѣрѣ, не сомнѣваясь въ ея истинности. Но на второй и особенно на третій годъ такой жизни я сталъ сомнѣваться въ непогрѣшимости этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Первымъ поводомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой вѣры не всѣ были согласны между собою. Одни изъ нихъ говорили: «мы—самые хорошіе и полезные учители; мы учимъ тому, что нужно, а другіе

учатъ неправильно». А другіе говорили: «нѣтъ, мы настоящіе, а вы учите неправильно» И они спорили, ссорились, бранились, обманывали, плутовали другъ противъ друга.

Люди мнѣ опротивѣли, и самъ я себѣ опротивѣлъ. Я понялъ, что въ своемъ самообольщеніи мы не замѣчали, что ничего не знаемъ, что мы не знаемъ самаго главнаго, что на самый просто и, вмѣстѣ, единственно важный вопросъ жизни: что хорошо, что дурно—мы не умѣемъ найти никакого точнаго отвѣта. И вотъ мы, не зная этого единственно важнаго въ жизни, не зная добра и зла, чему-то кого-то учили, кричали, не слушая другъ друга, иногда потакая другъ другу и восхваляя другъ друга, съ тѣмъ, чтобы и меня похвалили, иногда же раздражаясь другъ противъ друга—совершенно какъ въ сумасшедшемъ домѣ. И я, смутно чувствуя ложь эту, не зная, гдѣ истина, страдалъ, но не имѣлъ духа отречься отъ тщеславнаго чина художника, поэта, учителя,—и гордость моя, и сумасшедшая увѣренность, что я призванъ учить людей, самъ не зная чему, все болѣе и болѣе болѣзненно развивались. Такъ я жилъ, предаваясь этому безумію, еще шесть лѣтъ».

Но и предаваясь безумію, Толстой въ святая святыхъ души своей не могъ мириться съ нимъ. Онъ спорилъ и ссорился, отрицалъ Шекспира, не хотѣлъ стоять на колѣнахъ передъ Пушкинымъ—что тогда требовалось литературнымъ уставомъ,—смѣялся надъ нѣсколько чувствительнымъ народничествомъ, процвѣтавшимъ съ легкой руки Григоровича, и сердился на всѣхъ и вся, и на изящныя манеры, и на изящный языкъ, и на изящныя теоріи чистой красоты.

Недовольный Петербургомъ. онъ скоро уѣхалъ изъ него. Нѣсколько странно объясняетъ причины этого недовольства г. Берсъ, говоря: «Петербургъ никогда Льву Николаевичу не нравился: онъ не могъ ничѣмъ выдвигаться въ высшемъ кругу Петербурга, служебной карьеры онъ не домогался, большимъ состояніемъ не владѣлъ, а громкой славы писателя тогда еще не составилось у него».

Считать всѣ эти мелочи главной причиной недовольства я не могу, но что и эти мелочи могли играть нѣкоторую роль, я это охотно допускаю съ точки зрѣнія дрожжей стараго барства. Но въ святая святыхъ души, не исчезая, таилось преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ народа и его страданія. Оно то и навело Толстого на такія мысли.

«Счастье вотъ что... счастье, чтобы жить для другихъ. И это ясно..Въ человѣка вложена потребность счастья, стало быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно

будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія-же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія? Какія? Любовь, самоотверженіе»... Но это еще не правило жизни, это настроеніе.

## VI.

## Въ деревнѣ и заграницей.

Полагаю, никто не станетъ требовать отъ меня, чтобы я представилъ всю жизнь гр. Л. Н. Толстого вытянутой въ одну линію, а самого Л. Н. каждую минуту сокрушающимся о грѣхахъ своихъ, о противорѣчіяхъ цивилизаціи и ищущимъ опять-таки каждую минуту правды и истины. Жизнь гр. Толстого, какъ и всякаго человѣка, исполнена противорѣчій. Великое сегодня—завтра представлялось ему ненужнымъ и пустымъ, что съ точки зрѣнія нервной молодости совершенно логично. Всѣхъ уклоненій отъ господствующаго настроенія, искавшаго близости съ народомъ, я перечислять не буду. Но на нѣкоторыхъ остановиться необходимо. Главнымъ изъ этихъ послѣднихъ было отмѣченное еще нами при описаніи юности стремленіе къ личному совершенствованію. Стремленіе это принимало самую разнообразную форму, вплоть до гимнастическихъ упражненій на трапеціи и съ тяжелыми гирями, и ужъ самъ графъ Толстой виноватъ, что придалъ этимъ невиннымъ развлеченіямъ мрачный характеръ, разсказывая о нихъ впослѣдствіи въ «Исповѣди».

«Теперь вспоминая то время, я вижу ясно, что вѣра моя — то, что кромѣ животныхъ инстинктовъ двигало моей жизнью— единственная вѣра моя въ то время была вѣра въ совершенствованіе, въ прогрессъ. Но въ чемъ она была, какая была цѣль ихъ, я бы не могъ сказать. Я старался совершенствовать себя умственно и учился всему, чему могъ и на что наталкивала меня жизнь. Я старался совершенствовать свою волю, составлялъ себѣ правила, которымъ старался слѣдовать. Совершенствовалъ себя физически, всякими упражненіями изощряя силу и ловкость и всякими лишеніями пріучая себя къ выносливости и терпѣнію. И все это я считалъ совершенствомъ въ примѣненіи къ себѣ. Началомъ всего этого было, разумѣется, нравственное совершенствованіе, но вскорѣ оно подмѣнилось совершенствованіемъ вообще, т. е. желаніемъ быть

лучше не передъ самимъ собою или передъ Богомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими людьми. И скоро это желаніе быть лучше передъ другими подмѣнилось желаніемъ быть сильнѣе другихъ... *Гадко* вспомнить даже объ этомъ. Но, говоря совсѣмъ безпристрастно, я не могу обвинять въ этомъ только себя. Напротивъ, у меня и тогда было горячее желаніе добра. Но я былъ молодъ, у меня были страсти, и я оказывался совершенно одинокъ каждый разъ, когда хотѣлъ уйти отъ страстей и идти къ добру... Честолюбіе, властолюбіе, корыстолюбіе, любострастіе, гордость, гнѣвъ, месть—всѣ эти проявленія индивидуальной силы уважались людьми, и я, проявляя эти отвратительныя страсти, становился похожъ на другихъ взрослыхъ людей и этимъ вызывалъ въ нихъ одобреніе...»

Толстому *гадко* было впослѣдствіи вспоминать о своемъ стремленіи къ совершенствованію, но на самомъ дѣлѣ не все-же было гадко въ этомъ стремленіи, а напротивъ многое хорошо, симпатично и даже, если хотите, комично. Толстой увлекался гимнастикой, и вотъ по утрамъ въ Ясной Полянѣ, когда къ нему являлся бурмистръ за приказаніями, то происходила такая напр. сцена: «баринъ въ трико виситъ внизъ головой, на трапеціи раскачивается, выкидываетъ различные пируеты и въ то-же время бесѣдуетъ о запашкахъ и умолотѣ...»

—Барское дѣло!..—подумывалъ вѣроятно бурмистръ, почесывая у себя въ затылкѣ и почтительно слѣдя за бариномъ, чудесно выдѣлывавшимъ козла.

Смѣшно-то это смѣшно, но что-же тутъ гадкаго?..

Въ Ясную Поляну Толстой вернулся изъ Петербурга въ 56 году, нѣсколько утомленный столичною жизнью, ея пустопорожнимъ и не всегда чистымъ времяпрепровожденіемъ, внимательно присматривался къ сельскому быту, усердно занимался хозяйствомъ, увлекался даже полевыми работами...

«Понравилось ему—съ добродушной ироніей пишетъ въ это время его братъ Николай—какъ работникъ Юфанъ растопыриваетъ руки при пахотѣ, и вотъ Юфанъ для него эмблема сельской силы, вродѣ Микулы Селяниновича. Онъ самъ широко разставляя локти, берется за соху и юфанствуетъ». Литературная работа на лонѣ природы идетъ успѣшно. За это время были написаны «Юность», «Встрѣча въ отрядѣ», «Метель», «Записки маркера», «Два гусара».

Но и на этотъ разъ Ясная Поляна не могла полностью удовлетворить его, и онъ отправился за-границу.

«Въ это время—писалъ онъ впослѣдствіи, держась своей обычной мрачной точки зрѣнія на свое прошлое—я поѣхалъ за-границу. Жизнь въ Европѣ и сближеніе мое съ передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше въ той вѣрѣ совершенствованія вообще, потому что ту же самую вѣру я нашелъ и у нихъ. Вѣра эта приняла во мнѣ ту обычную форму, которую она имѣетъ у большинства образованныхъ людей нашего времени. Вѣра эта выражалась словомъ прогрессъ. Только изрѣдка, не разумъ, а чувство возмущалось противъ этого общаго въ наше время суевѣрія, которымъ люди заслоняютъ отъ себя непониманіе жизни. Но это были только рѣдкіе случаи сомнѣній; въ сущности же я жилъ, продолжая исповѣдывать вѣру въ прогрессъ... «Все развивается, и я тоже развиваюсь, а зачѣмъ это я развиваюсь вмѣстѣ со всѣми—это видно будетъ. Такъ бы я долженъ былъ формулировать тогда свою вѣру»...

Толстой былъ за-границей всего два раза (1857 и 59 г.) Не смотря на его собственную характеристику этимъ поѣздкамъ, приходится съ нимъ не согласиться, а сказать, что за-граница принесла очень много пользы, если и не самому графу, то по крайней мѣрѣ дѣлу русскаго народнаго образованія, находившемуся еще тогда въ зачаточномъ состояніи.

О первой поѣздкѣ Толстого В. П. Боткинъ писалъ между прочимъ Дружинину: «письмо Толстого ко мнѣ занимаетъ всего только одну страничку, но исполнено свѣжести и бодрости. Германія очень заинтересовала его, и онъ хочетъ потомъ поближе узнать ее. Черезъ мѣсяцъ онъ ѣдетъ въ Римъ». Толстой довольно долгое время пробылъ въ Парижѣ, гдѣ встрѣтился съ Тургеневымъ, но не совсѣмъ удачно: «Толстой, продолжаетъ тамъ же В. П. Боткинъ—пишетъ о свиданіи своемъ съ Тургеневымъ: оба они опять блуждаютъ въ какомъ-то мракѣ, грустятъ, жалуются на жизнь, ничего не дѣлаютъ и тяготятся, какъ кажется, своимъ респективными отношеніями». Объ этихъ же респективныхъ отношеніяхъ говоритъ и Тургеневъ въ одномъ изъ своихъ писемъ отъ 1857 г. «Съ Толстымъ я все-таки не могу сблизиться окончательно: слишкомъ мы врозь глядимъ»...

Замѣтимъ, что по многимъ и многимъ причинамъ первая поѣздка должна была оставить по себѣ тяжелое впечатлѣніе въ душѣ Толстого. Въ Парижѣ онъ видѣлъ смертную казнь, «обличившую ему всю шаткость суевѣрій

прогресса», и въ то же время умеръ его старшій любимый братъ, Николай. Это была свѣтлая, незамѣнимая личность. «Талантливый собесѣдникъ и разсказщикъ, говоритъ Тургеневъ, онъ жилъ всегда или у себя въ деревнѣ, или въ маленькомъ чрезвычайно простомъ домикѣ въ Москвѣ въ самой невозможной квартирѣ, чуть ли не въ лачугѣ гдѣнибудь въ отдаленномъ кварталѣ, охотно дѣлясь всѣмъ съ послѣднимъ бѣднякомъ»... Здѣсь-то смерть и взглянула впервые на Толстого своими страшными глазами. Правда, вокругъ него умирали и раньше, умирали на Кавказѣ и подъ Севастополемъ, но все это были чужіе люди, съ жизнью которыхъ не чувствовалось неразрывной связи.

«И вотъ этотъ умный, добрый, серьезный человѣкъ.— вспоминалъ впослѣдствіи Толстой о своемъ братѣ—еще молодымъ, заболѣлъ чахоткой, страдалъ болѣе года и мучительно умеръ, не понимая, зачѣмъ онъ жилъ, еще меньше понимая, зачѣмъ онъ умеръ...

«Ничто въ жизни не дѣлало на меня такого впечатлѣнія. Правду онъ говаривалъ, что хуже смерти ничего нѣтъ. А какъ хорошенько подумать, что она все-таки конецъ всего, то и хуже жизни ничего нѣтъ... Для чего хлопотать, стараться, коли отъ того, что былъ Николай Николаевичъ Толстой, ничего не осталось!...

«За нѣсколько минутъ передъ смертью, онъ задремалъ и вдругъ очнулся и съ ужасомъ прошепталъ: да что же это такое?—Это онъ ее увидѣлъ, это поглощеніе самого себя въ ничто. А ужъ ежели онъ ничего не нашелъ, за что ухватиться, что же я-то найду? Еще меньше. И ужъ вѣрно ни я, и никто такъ не будетъ до послѣдней минуты бороться съ нею, какъ онъ».

Этотъ моментъ (смерть брата) я считаю важнѣйшимъ опредѣляющимъ моментомъ для цѣлаго періода жизни Толстого. Послѣ этой смерти онъ поторопился вернуться въ Россію и цѣлый годъ провелъ въ тяжеломъ настроеніи духа. Онъ написалъ за это время «Люцернъ» и «Альбертъ», и чѣмъ-то мрачнымъ вѣетъ отъ обоихъ этихъ разсказовъ и ихъ безконечно грустныхъ сюжетовъ... Толстого стала мучить мысль о смерти, тѣмъ болѣе, что въ своей груди онъ чувствовалъ присутствіе той же болѣзни, которая свела въ могилу его брата.

Онъ уже часто сталъ разсуждать о жизни съ точки зрѣнія смерти и значитъ, въ минуту наиболѣе сильно овладѣвавшихъ имъ думъ, переставалъ жить. «Нельзя уговорить

камень, пишетъ онъ въ 1860 г., чтобъ онъ падалъ кверху, а не книзу, куда его тянетъ. Нельзя смѣяться шуткѣ, которая наскучила. Нельзя ѣсть, когда не хочется. *Къ чему все, когда завтра начнутся муки смерти, со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожествомъ, нулемъ для себя*». «Я беру жизнь, — продолжаетъ онъ, — какъ она есть. Какъ только дойдетъ человѣкъ до высшей степени развитія, такъ онъ увидитъ ясно, что все дичь, обманъ, и что правда, которую все-таки онъ любитъ лучше всего, что эта правда ужасна, что какъ увидишь ее хорошенько, ясно, такъ очнешься и съ ужасомъ скажешь, какъ братъ: «да что-жъ это такое?» Но, разумѣется, покуда есть желаніе знать и говорить правду, стараешься знать и говорить. Это одно, что осталось у меня изъ моральнаго міра, выше чего я не могу стать. Это одно я и буду дѣлать, только не въ формѣ вашего искусства. Искусство есть ложь, а я ужъ не могу любить прекрасную ложь»...

Къ чему *все*, когда завтра начнутся муки смерти, «со всею мерзостью лжи, самообмана, и кончатся ничтожествомъ, нулемъ для себя»? Новый страшный и огромный вопросъ прибавился къ вопросамъ прежде бывшимъ и если не сейчасъ, то позже, занялъ первенствующее положеніе. Съ этой поры тѣнь смерти начинаетъ падать на всѣ лучшія страницы, вышедшія изъ подъ пера Толстого, а картины смерти то и дѣло вдохновляютъ его. Смерть—муза философіи, и эта формула какъ нельзя лучше оправдалась въ жизни Толстого. Довольно легкомыслія, веселости, суетливыхъ заботъ о своемъ *я*,—довольно игры, тщеславія и гордости,—довольно смѣха и шутокъ, вѣдь есть что-то страшное, что послѣ жизни ожидаетъ каждаго изъ насъ, и это страшное, это неотразимое—смерть. Какъ же примирить съ нею мою жажду вѣчности, мою любовь къ себѣ, мое настойчивое требованіе личнаго счастья?

## VII.

## Вторая поѣздка заграницу и педагогическія занятія.

Между первой и второй заграничной поѣздкой Толстого прошло около года. Этотъ годъ онъ провелъ въ деревнѣ и между прочимъ занимался съ крестьянскими дѣтьми. Строй будущей яснополянской школы несомнѣнно вырисовывался уже

передъ нимъ въ это время, но, прежде чѣмъ устроить школу, онъ хотѣлъ серьезно подготовиться къ этому дѣлу, вся огромная необходимость котораго тѣмъ яснѣе выступала на первый планъ, чѣмъ оживленнѣе шли приготовленія къ манифесту 19-го февраля. Здѣсь я желаю напомнить читателю нѣсколько строкъ изъ статьи «Яснополянская школа въ декабрѣ и ноябрѣ» — строкъ, гдѣ изложены драгоцѣнныя мысли, хотя и самъ Толстой не разъ измѣнялъ имъ и не разъ имъ противорѣчилъ.

«Я вижу, говоритъ Толстой, людей честныхъ, добрыхъ, членовъ благотворительныхъ обществъ, которые готовы дать и даютъ одну сотую своего состоянія бѣднымъ, которые учредили и учреждаютъ школы и которые, прочтя это, скажутъ: не хорошо!—и покачаютъ головой. Зачѣмъ усиленно развивать крестьянскихъ дѣтей. Зачѣмъ давать имъ чувства и понятія, которыя враждебно поставятъ ихъ къ своей средѣ? Зачѣмъ выводить ихъ изъ своего быта? Я не говорю уже о тѣхъ, выдающихъ себя головой, которые скажутъ: хорошо будетъ устройство государства, когда всѣ захотятъ быть мыслителями и художниками, а работать никто не станетъ! Эти прямо говорятъ, что они не любятъ работать, и потому нужно, чтобы были люди не то, что неспособные для другой дѣятельности, а рабы, которые работали бы за другихъ. Хорошо ли, дурно ли, должно ли выводить ихъ изъ ихъ среды и т. д.— кто это знаетъ? И кто можетъ вывести ихъ изъ своей среды? Точно это какое-нибудь механическое дѣло. Ѳедька не тяготится своимъ оборваннымъ кафтанишкомъ, но нравственные вопросы и сомнѣнія мучатъ Ѳедьку, а вы хотите дать ему три рубля, катихизисъ и исторійку о томъ, какъ работа и смиреніе, которыхъ вы сами терпѣть не можете, одни полезны для человѣка. Три рубля ему не нужны, онъ ихъ найдетъ, когда они ему понадобятся, а работать научится безъ васъ такъ же, какъ дышать; ему нужно то, до чего довела васъ ваша жизнь, вашихъ десять незабитыхъ работой поколѣній. Вы имѣли досугъ искать, думать, страдать,— дайте же ему то, что вы выстрадали, ему этого одного и нужно; а вы, какъ египетскій жрецъ, закрываетесь отъ него таинственной мантіей, зарываете въ землю талантъ, данный вамъ исторіей. Не бойтесь, человѣку ничто человѣческое не вредно. Вы сомнѣваетесь? Отдайтесь чувству, и оно не обманетъ васъ. Повѣрьте его природѣ, и вы убѣдитесь, что онъ возьметъ только то, что заповѣдала вамъ передать ему исторія, что страданіями выработалось въ васъ»

Мы еще вернемся къ этому, пока-же нѣсколько словъ о второй заграничной поѣздкѣ Толстого. Онъ отправился туда съ цѣлью главнымъ образомъ изучать тамошнія школы и существующія въ нихъ системы преподаванія, но при этомъ онъ знакомился и съ постановкой благотворительнаго дѣла, а также, почему-то, устройствомъ тюремъ.

Прежде всего онъ отправился въ Берлинъ, слушалъ лекціи Дройзена и Дюбуа-Реймона, посѣщалъ музеи и особенное вниманіе обратилъ на тюрьму въ Моабитѣ, гдѣ введено было одиночное заключеніе. Дальше въ своихъ поѣздкахъ по Германіи онъ посѣщаетъ собранія ремесленныхъ союзовъ, устроенныхъ Шульце-Деличемъ, знакомится съ педагогической знаменитостью Дистервегомъ, но разочаровывается въ немъ за «сухость и черствость». Въ Вартбургѣ онъ заноситъ въ свою записную книгу слова: «Лютеръ великъ»,—отсюда ѣдетъ въ Дрезденъ, всюду по дорогѣ осматривая школы, и навѣщаетъ между прочимъ знаменитаго романиста Ауэрбаха, который былъ въ то время его любимцемъ за то вѣроятно, что старался писать книги для народа.

Войдя къ Ауэрбаху, Толстой отрекомендовался такъ: «Я Евгеній Бауманъ [1]) не по имени, а по характеру. Ваши книги заставили меня серьезно задуматься надъ многимъ и вообще глубоко и благотворно повліяли на меня». Вспоминая объ этомъ эпизодѣ, Ауэрбахъ говорилъ Скайлеру, что онъ ужасно испугался, когда какой то странно глядѣвшій господинъ сказалъ ему, что онъ—Евгеній Бауманъ.

«Я боялся, прибавилъ Ауэрбахъ, что онъ будетъ грозить мнѣ за пасквиль или диффамацію».

Изъ Дрездена онъ отправляется въ Киссингенъ, изучаетъ исторію педагогіи, сочиненія Бэкона, Риля, знакомится съ Фребелемъ и его сочиненіями, ѣдетъ въ Италію, Швейцарію, Марсель, Парижъ, Лондонъ, Брюссель, гдѣ близко сходится съ Прудономъ и Лелевелемъ, а въ Веймарѣ—съ Листомъ. Нужно замѣтить, что Левъ Николаевичъ серьезный знатокъ и любитель музыки и ежедневно проводилъ нѣсколько часовъ за роялемъ. Въ Веймарѣ онъ посѣщалъ дѣтскіе сады и черезъ Іену возвращается обратно въ Россію. За это время написаны имъ: «Три смерти», «Семейное счастье» и «Поликушка».

Вернувшись въ 1861 году въ Ясную Поляну, Левъ Николаевичъ занялъ мѣсто посредника и всецѣло отдался какъ новой своей обязанности, такъ и школамъ. Въ это же время онъ началъ издавать знаменитый свой педагогическій журналъ «Ясная Поляна», въ которомъ сообщалъ свѣдѣнія о методѣ, порядкѣ и ходѣ преподаванія въ Ясно-Полянской школѣ, этомъ

[1]) Герой одного изъ романовъ Ауэрбаха, имѣющій нѣкоторое отдаленное сходство съ Левинымъ.

необычайномъ явленіи нетолько у насъ въ Россіи, но и въ Европѣ. Это была первая вполнѣ свободная школа. Ученики приходили и уходили, когда хотѣли, дѣлали, что имъ угодно, учились только тѣмъ предметамъ и въ томъ видѣ, въ какомъ они имъ нравились, безъ всякаго принужденія, безъ малѣйшей дисциплины, кромѣ той, которую они вводили сами. Разсаживались не по стрункѣ за партами, а размѣщались, гдѣ кому было удобнѣе: одни лежали на животѣ, другіе развалились на креслѣ, третьи скучивались гдѣ нибудь въ уголкѣ или у окошка. Никакихъ принужденій, никакихъ приказаній не допускалось. Задача учителей заключалась въ томъ, чтобы интересомъ самаго преподаванія умѣть завладѣть вниманіемъ учениковъ и заставить ихъ водворить порядокъ. И вотъ въ этой свободной республикѣ преподаваніе шло крайне успѣшно, и ученики научились любить школу и ученье, благодаря тому, что всѣ учителя проникнуты были истиной, не разъ высказываемой Львомъ Николаевичемъ: «всякое принужденіе вредно и указываетъ на недостатокъ самаго метода и преподаванія.— Чѣмъ съ меньшимъ принужденіемъ учатся дѣти, тѣмъ методъ лучше; чѣмъ съ большимъ, тѣмъ хуже».—Учителя и во главѣ ихъ Левъ Николаевичъ старались выработать самый лучшій методъ при наибольшей свободѣ учениковъ.

Такова была эта школа, вызывающая удивленіе и теперь въ педагогахъ, напр. французскихъ, которые рѣшительно отказываются понять, какъ при такой анархіи водворялся свободный порядокъ. Не отрицая факта успѣшности преподаванія въ Ясно-Полянской школѣ, они стараются объяснить это громадной разницей между французскими городскими дѣтьми и русскими деревенскими ребятами, тогда какъ главная причина здѣсь кроется въ томъ, что громадное большинство учителей, какъ французскихъ, такъ и европейскихъ вообще, а нашихъ русскихъ въ частности, имѣютъ въ виду свое удобство, а не удобство учениковъ, и не придерживаются основного правила педагогической дѣятельности Льва Николаевича. Вотъ это основное правило: «учитель никогда не долженъ позволять себѣ думать, что въ неуспѣхѣ виноваты ученики, а твердо знать, что въ неуспѣхѣ виноватъ только онъ, потому что чѣмъ хуже самъ учитель знаетъ предметъ, которому онъ учитъ, тѣмъ ему нужнѣе строгость и принужденіе; напротивъ, чѣмъ больше учитель знаетъ и любитъ предметъ, тѣмъ естественнѣе и свободнѣе его преподаваніе».

Свободная его школа и издаваемый при ней журналъ «Ясная Поляна» породили недоразумѣніе въ правящихъ сферахъ, выразившееся въ слѣдующей интересной перепискѣ между министерствами Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія: Министръ Внутреннихъ Дѣлъ сообщилъ Министру Народнаго Просвѣщенія 3-го октября 1862 года:

«Внимательное чтеніе педагогическаго журнала «Ясная Поляна», издаваемаго графомъ Толстымъ, приводитъ къ убѣжденію, что этотъ журналъ, проповѣдующій совершенно новые пріемы преподаванія и основныя начала народныхъ школъ, нерѣдко распространяетъ такія идеи, которыя, независимо отъ ихъ неправильности, по самому направленію своему оказываются вредными. Не входя въ подробный разборъ доктрины этого журнала и не указывая на отдѣльныя статьи и выраженія, что впрочемъ не представляло-бы затрудненій, я считаю нужнымъ обратить вниманіе Вашего Превосходительства на общее направленіе и духъ этого журнала, нерѣдко низвергающіе основныя правила религіи и нравственности. Продолженіе журнала въ томъ-же духѣ, по моему мнѣнію, должно быть признано тѣмъ болѣе вреднымъ, что издатель, обладая замѣчательнымъ и, можно сказать, увлекательнымъ литературнымъ дарованіемъ, не можетъ быть заподозрѣнъ ни въ злоумышленности, ни въ недобросовѣстности своихъ убѣжденій. Зло заключается именно въ ложности и, такъ сказать, въ эксцентричности этихъ убѣжденій, которыя, будучи изложены съ особеннымъ краснорѣчіемъ, могутъ увлечь на этотъ путь неопытныхъ педагоговъ и сообщить неправильное направленіе дѣлу народнаго образованія. Имѣю честь сообщить о семъ Вамъ, Милостивый Государь, въ томъ предположеніи, что не изволите-ли Вы признать полезнымъ обратить особое вниманіе цензора на это изданіе.»

Получивъ это отношеніе, Министръ Народнаго Просвѣщенія поручилъ разсмотрѣть всѣ вышедшія книги журнала «Ясная Поляна» и сообщилъ Министру Внутреннихъ Дѣлъ отъ 24 октября того-же года, что какъ по собственному наблюденію министерства, такъ и по содержанію представленнаго ему, Министру, отчета о «Ясной Полянѣ», въ направленіи помянутаго журнала нѣтъ ничего вреднаго и противнаго религіи, но встрѣчаются крайности педагогическихъ воззрѣній, которыя подлежатъ критикѣ въ ученыхъ педагогическихъ журналахъ, а никакъ не запрещенію со стороны цензуры.

«Вообще, писалъ далѣе Министръ Народнаго Просвѣщенія, «я долженъ сказать, что дѣятельность графа Толстого по педагогической части заслуживаетъ полнаго уваженія и Министерство Народнаго Просвѣщенія обязано помогать ему и оказывать содѣйствіе, хотя не можетъ раздѣлить всѣхъ его мыслей, отъ которыхъ, послѣ многосторонняго обсужденія, онъ и самъ, вѣроятно, откажется».

Яснополянская школа просуществовала около трехъ лѣтъ и умерла естественной смертью, не столько отъ недостатка интереса со стороны Толстого, какъ отъ того, что каждый ребенокъ въ деревнѣ съ 150 жителями выучился всему, что онъ считалъ для себя нужнымъ, а новыхъ учениковъ не набиралось довольно, чтобы стоило содержать школу. Журналъ „Ясная Поляна“ тоже прекратился.

«Вопросъ о томъ, въ чемъ состоитъ критеріумъ того, чему и какъ должно учить, получалъ для меня все больше значенія»—говоритъ Левъ Николаевичъ, «только рѣшивъ его, я могъ быть увѣренъ, что то, чему и какъ я училъ, не было ни вредно, ни безполезно.

Въ то время я не нашелъ въ педагогической литературѣ не только сочувствія, не нашелъ даже противорѣчій, но совершеннѣйшее равнодушіе къ поставленному мною вопросу. Были нападки на нѣкоторыя подробности, мелочи, но самый вопросъ очевидно никого не интересовалъ. Я тогда былъ молодъ и это равнодушіе огорчало меня. Я не понималъ, что я съ своимъ вопросомъ: почему Вы знаете чему и какъ учить?—былъ подобенъ тому человѣку, который-бы, положимъ, хоть въ собраніи турецкихъ пашей, обсуждающихъ вопросъ о томъ, какъ побольше собрать податей, предложилъ имъ слѣдующее: Господа, чтобы знать, съ кого сколько брать податей, надо разобрать вопросъ: на чемъ основано наше право взиманія?... Очевидно, всѣ паши продолжали бы свое обсужденіе о мѣрахъ взысканія и только молчаніемъ отозвались-бы на неумѣстный вопросъ».

При содѣйствіи Льва Николаевича открыто было тогда 14 школъ, «но, говоритъ онъ, я такъ измучился посредничествомъ, школами и журналомъ, такъ тяжела мнѣ стала борьба по посредничеству, такъ смутно проявлялась дѣятельность моя въ школахъ, что я заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически, бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирцамъ: дышать воздухомъ, пить кумысъ и жить животною жизнью».

Остановимся теперь на впечатлѣніяхъ, вынесенныхъ Толстымъ изъ его педагогической дѣятельности. Несомнѣнно прежде всего, что къ своимъ занятіямъ онъ относился не просто какъ педагогъ, а какъ истинный художникъ. Нѣчто великое стояло передъ его воображеніемъ и манило къ себѣ. Каждый ребенокъ, посѣщавшій его школу, былъ не только педагогическимъ матеріаломъ, а живымъ человѣкомъ, душу котораго онъ изучалъ, чья фигура складывалась въ его умѣ въ художественный образъ. Припомните, что Толстой разсказываетъ о своихъ любимцахъ Ѳедѣ и Сенѣ. Читая и перечитывая посвященныя имъ страницы, невольно начинаешь соглашаться съ Н. К. Михайловскимъ, замѣтившимъ какъ-то, что въ IV-мъ томѣ полнаго собранія сочиненій Толстого, т. е. въ статьяхъ, посвященныхъ

Ясной Полянѣ, встрѣчаются художественные перлы, равныхъ которымъ не найдешь въ другомъ мѣстѣ. Вотъ напр. описаніе ночной прогулки графа Толстого съ его учениками.

«Мы пошли къ деревнѣ. Ѳедька все не пускалъ моей руки, теперь, мнѣ казалось, уже изъ благодарности. Мы всѣ были такъ близки въ эту ночь, какъ давно уже не были. Пронька пошелъ рядомъ съ нами по широкой дорогѣ деревни. «Вишь, огонь еще у Мазановыхъ!» сказалъ онъ. «Я нынче въ классъ шелъ, Гаврюха изъ кабака ѣхалъ пьяный-распьяный; лошадь вся въ мылѣ, онъ-то ее ожариваетъ... Я всегда жалѣю. Право! за что ее бить.»—«А надысь батя, сказалъ Семка, пустилъ свою лошадь изъ Тулы, она его въ сугробъ завезла, а онъ спитъ пьяный.»—«А Гаврюха такъ по глазамъ и хлещетъ... и такъ мнѣ жалко стало, еще разъ сказалъ Пронька:—за что онъ ее билъ? слѣзъ, да и хлещетъ». Семка вдругъ остановился. «Наши ужъ спятъ», сказалъ онъ, вглядываясь въ окна своей кривой черной избы. «Не пойдете еще?»—«Нѣтъ».—«Пра-ащайте, Л. Н.», крикнулъ онъ вдругъ и, какъ будто съ усиліемъ оторвавшись отъ насъ, рысью побѣжалъ къ дому, поднялъ щеколду и скрылся. «Такъ ты и будешь разводить насъ—сперва одного а потомъ другого?» сказалъ Ѳедька. Мы пошли дальше. У Проньки былъ огонь; мы заглянули въ окно: мать, высокая, красивая, но изнуренная женщина съ черными бровями и глазами, сидѣла за столомъ и чистила картошку; на срединѣ висѣла люлька; математикъ 2-го класса, другой братъ Проньки, стоялъ у стола и ѣлъ картошку съ солью. Изба была черная, крошечная, грязная. «Пропасти на тебя нѣтъ!» закричала мать на Проньку. «Гдѣ былъ?» Пронька кротко и болѣзненно улыбнулся, глядя на окошко. Мать догадалась, что онъ не одинъ, и сейчасъ перемѣнила выраженіе на нехорошее, притворное выраженіе. Остался одинъ Ѳедька. «У насъ портные сидятъ, оттого свѣтъ», сказалъ онъ своимъ смягченнымъ голосомъ; «нынѣшняго вечера прощай, Л. Н.», прибавилъ онъ тихо и нѣжно, и началъ стучать кольцомъ въ запертую дверь. «Отоприте», прозвучалъ его тонкій голосъ среди зимней тишины деревни. Ему долго не отворяли. Я заглянулъ въ окно: изба была большая; съ печи и лавки виднѣлись ноги; отецъ съ портными игралъ въ карты, нѣсколько мѣдныхъ денегъ лежало на столѣ. Баба, мачиха, сидѣла у свѣтца и жадно глядѣла на деньги. Портной, прожженый ерыга, молодой мужикъ, держалъ на столѣ карты, согнутыя лубкомъ, и съ торже-

ствомъ глядѣлъ на партнера. Отецъ Оедьки съ разстегнутымъ воротникомъ, весь сморщившись отъ умственнаго напряженія и досады, переминалъ карты и въ нерѣшительности сверху замахивался на нихъ своею рабочею рукой. «Отоприте!» Баба встала и пошла отпирать. «Прощайте! еще разъ повторилъ Оедька:—всегда такъ давайте ходить».

Это живое, истинное человѣческое, лишенное всякаго профессіональнаго педантизма отношеніе Толстого къ ученикамъ и было для него неизсякаемымъ источникомъ наслажденія. Онъ отдавался своему дѣлу со страстью и быть можетъ утвердился бы въ немъ, если-бы не эти надоѣдливыя постороннія обстоятельства, стоящія, какъ извѣстно, всегда на пути всякой дѣятельности. Препятствія, встрѣченныя графомъ Толстымъ были различны. Они шли, какъ мы видѣли только что, и отъ администраціи, и отъ сосѣдей-помѣщиковъ, почему-то подозрительно посматривавшихъ на графа-педагога. Меньше всего виновата крестьянская косность, хотя, разумѣется, Толстому приходилось наталкиваться и на нее Вотъ примѣръ, довольно характерный въ этомъ отношеніи:

«... Общество въ дер. Подосинкахъ нашло своего учителя и на предложеніе мое замѣстить выбраннаго ими учителя другимъ объявило, что не нуждается въ новомъ учителѣ и своимъ довольно. Учитель этотъ былъ отставной дьячекъ, уже 20 лѣтъ занимавшійся обученіемъ дѣтей.... Онъ предложилъ учить дешевле, чѣмъ въ другихъ школахъ... Я посѣтилъ эту школу во время ея цвѣтенія. Когда мы вошли, все было тихо тамъ; 24 мальчика, сидѣвшіе съ вырѣзными указками чинно вокругъ длиннаго стола, вдругъ запѣли на разные голоса. Во главѣ всѣхъ сидѣлъ сынъ огородника, лѣтъ 16-ти, въ синемъ кафтанѣ. Онъ запѣвалъ: «надѣющійся на ны»; сосѣдъ его, водя указкой по засаленной азбукѣ, пѣлъ: «слова подъ титлами: ангелъ, ангельскій, архангелъ, архангельскій»; и снова начиная: слова подъ титлами: ангелъ и т. д.; третій: «буки-арцы-азъ-бра;» четвертый—«премудрость.» Когда я вошелъ въ избу, они закричали, потомъ встали. Учителя не было. Я спросилъ, зачѣмъ они встали? Они объяснили, что меня ждали и что такъ имъ было приказано. Я попросилъ ихъ сѣсть и продолжать; всѣ начали опять съ тѣхъ же словъ: «надѣющіеся, слова подъ титлами» и т. д. Здѣсь я въ первый разъ видѣлъ классическую старинную школу».

Мужички, какъ видно, предпочли своего дьячка потому, что тотъ обходился имъ дешевле. Но вообще, повторяю, не эта сторона дѣла утомила Толстого и заставила его разочароваться.

Какъ во всемъ въ жизни, Толстой и въ педагогической дѣятельности стремился къ грандіозному и даже безусловному. Не обученіе грамотѣ было ему нужно, а воспитаніе человѣ-

ческаго характера путемъ любви, свободы и знанія. Нищенская программа нашихъ школъ была ему противна. Лучшимъ доказательствомъ того, какъ вѣрилъ онъ въ дѣтей и какъ высоко цѣнилъ ихъ дарованія, можетъ служить статья изъ журрала «Ясная Поляна», озаглавленная: «Кому у кого учиться писать (въ смыслѣ творчества): крестьянскимъ ребятамъ у насъ, или намъ у крестьянскихъ ребятъ?» Оказывается, что и самому графу Толстому было небезполезно «сочинять» вмѣстѣ съ Ѳедькой и Сенькой, то руководя ими, то подчиняясь имъ. Пусть читатель прочтетъ эту замѣчательную статью, краткая передача которой только бы испортила ее—и онъ пойметъ то огромное и безусловное, что носилось передъ воображеніемъ графа Толстого во время его занятій съ крестьянскими ребятами.

## VIII.

### Писательская драма.

Никогда раньше Толстой такъ тѣсно не сближался съ крестьянскимъ міромъ, какъ во время своего учительства въ Ясно-Полянской школѣ и мирового посредничества. Каждый день ему приходилось разговаривать съ различными «опчествами» или депутатами этого общества и вести долгія задушевныя бесѣды съ крестьянскими ребятами—бесѣды, такъ подробно описанныя имъ въ IV-мъ томѣ его сочиненій. Но это-то сближеніе и послужило поводомъ къ пересмотру всѣхъ своихъ культурныхъ теорій съ точки зрѣнія простого народа. Здѣсь-то и скрывается источникъ той писательской драмы, которая совершилась въ 61-мъ и въ 62-мъ годахъ и, вновь выплывши на сцену, 20 лѣтъ спустя довела Толстого до полнаго почти отрицанія собственной художественной дѣятельности. Нужно ли народу, т. е. массѣ, т. е. въ сущности всему человѣчеству, на которомъ культурные люди являются лишь наслоеніемъ, то, что я пишу?—Послѣ долгаго мучительнаго анализа Толстой отвѣтилъ: нѣтъ, не надо. Во имя чего я пишу? задалъ онъ себѣ другой вопросъ и опять-таки рѣзко отвѣтилъ себѣ: только во имя эгоизма, только во имя самоублаженія. Отсюда ясный выводъ: писательство—пустяки, потому что оно не нужно массѣ, и писательство вредно, безнравственно, скверно, потому что оно служитъ тому же алчному культурному *я*. А вѣдь смыслъ жизни въ любви, само-

отверженіи. Вліяніе Руссо, отмѣченное нами еще въ года юности, инстинктивное отвращеніе къ легкой, веселой и распущенной жизни, которую вели петербургскіе литераторы 50-хъ годовъ, преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ севастопольскихъ солдатъ, страхъ смерти, придававшій всякой мысли и чувству пессимистическое настроеніе—все это соединилось во-едино, чтобы заставить *писателя* Толстого признать вредъ *книгопечатанія*, *а художника* Толстого считать безполезнымъ или прямо вреднымъ *созданіе художественныхъ произведеній*. Есть не мало поэтическихъ картинъ, гдѣ скульпторъ бросаетъ свой рѣзецъ и разбиваетъ только что оконченную статую, гдѣ музыкантъ разбиваетъ свой инструментъ и т. д., но мотивомъ этого страшнаго недовольства художника собственнымъ созданіемъ всегда является невозможность достигнуть идеала. Этого мотива не было у Толстого. Его мѣра—не идеалъ искусства, а нужда и требованіе народа. Во имя этой нужды и требованій онъ отрекся отъ господствовавшей въ его время педагогики и отъ господствовавшихъ въ его время взглядовъ на литературу.

Кажется, Толстой недолюбливалъ Достоевскаго, но, право, чѣмъ больше вдумываешься въ дѣло, тѣмъ яснѣе видишь, что у обоихъ писателей земли русской много и много общаго. «Мы всѣ демократы и можемъ поступать и разсуждать лишь какъ демократы»—говорилъ Достоевскій... Онъ всегда проповѣдывалъ любовь, самоотреченіе, смиреніе. Онъ ненавидѣлъ легкій взглядъ на жизнь и съ его точки зрѣнія выходило, что «жизнь—задача громадная; что житейская борьба сурова, что не для радости живетъ человѣкъ, а для осуществленія нравственнаго идеала, въ жертву которому онъ долженъ принести свое *я*»... Правда, у Толстого нѣтъ мистической экзальтаціи и *припадковъ* творчества, но и его жизнь, какъ жизнь Достоевскаго,—постоянныя внутреннія муки, сомнѣнія, ожесточенная борьба съ самимъ собой, а единственный выходъ изъ этой скверной жизни нравственный долгъ и народъ...

«Для меня очевидно, писалъ Толстой въ 1861 г., что расположеніе журналовъ и книгъ, безостановочный и громадный процессъ книгопечатанія былъ выгоденъ для писателей, редакторовъ, издателей, корректоровъ и наборщиковъ. *Огромныя суммы народа косвенными путями перешли въ руки этихъ людей.* Книгопечатаніе такъ выгодно для этихъ людей, что для увеличенія числа читателей придумываются всевозможныя средства: стихи

повѣсти, скандалы, обличенія, сплетни, полемика, подарки, преміи, общества грамотности, распространенія книгъ и школы для увеличенія числа грамотныхъ... Но ежели число журналовъ и книгъ увеличивается, ежели литература такъ хорошо окупается, то стало быть она необходима, скажутъ мнѣ наивные люди. Стало быть откупа необходимы, что они хорошо окупались? отвѣчу я... *Литература, также какъ и откупа, есть только искусная эксплуатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа*... У насъ есть разные журналы, есть сочиненія Пушкина, Гоголя, Тургенева, Державина. И всѣ эти журналы и сочиненія, не смотря на давность существованія, неизвѣстны, не нужны для народа и не приносятъ ему никакой выгоды. Я говорилъ уже объ опытахъ, дѣланныхъ мною для привитія нашей общественной литературы народу. Я убѣдился, въ чемъ можетъ убѣдиться каждый, что для того, чтобы человѣку изъ русскаго народа полюбить чтеніе «Бориса Годунова» Пушкина или исторію Соловьева, надо этому человѣку перестать быть тѣмъ, чѣмъ онъ есть, т. е. человѣкомъ независимымъ, удовлетворяющимъ всѣмъ своимъ человѣческимъ потребностямъ. *Наша литература не прививается и не привьется народу*; надѣюсь—люди, знающіе народъ и литературу не усомнятся въ этомъ... Всякій добросовѣстный судья, неодержимый вѣрою прогресса, признается, что *выгодъ книгопечатанія для народа не было*... Но скажутъ можетъ быть, признавая мои доводы справедливыми, что прогрессъ книгопечатанія, не принося прямой выгоды народу, содѣйствуетъ его благосостоянію тѣмъ, что смягчаетъ нравы общества; что разрѣшеніе крѣпостного вопроса, напримѣръ, есть только произведеніе прогресса книгопечатанія. На это я отвѣчу, что смягченіе нравовъ общества еще нужно доказать, что я лично его не вижу и не считаю нужнымъ вѣрить на слово. Я не нахожу напримѣръ, чтобы отношенія фабриканта къ работнику были человѣчнѣе отношеній помѣщика къ крѣпостному... Главное же, что я имѣю сказать противъ такого аргумента, есть то, что, взявъ въ примѣръ хотя освобожденіе отъ крѣпостного права, я не вижу, чтобы книгопечатаніе содѣйствовало его прогрессивному разрѣшенію. Ежели бы правительство въ этомъ дѣлѣ не сказало своего рѣшительнаго слова, то книгопечатаніе безъ сомнѣнія разъяснило бы дѣло совершенно иначе. Мы видѣли, что большая часть органовъ требовала бы освобожденія безъ земли и приводила бы доводы, столь же кажущіеся разумными, остроумными, саркастическими. *Прогрессъ книгопечатанія*, какъ и прогрессъ электрическихъ телеграфовъ, *есть монополія извѣстнаго класса общества*, выгодная только для людей этого класса, которые подъ словомъ прогрессъ разумѣютъ свою личную выгоду, вслѣдствіе того всегда противорѣчащую выгодѣ народа. Мнѣ пріятно читать журналы отъ праздности: я даже интересуюсь Оттономъ, королемъ греческимъ. Мнѣ пріятно написать или издать статейку и получить по телеграфу извѣстіе о здоровьи моей сестрицы и знать навѣрное, какой цѣны я долженъ ожидать за свою пшеницу. Какъ въ томъ, такъ и другомъ случаѣ нѣтъ ничего предосудительнаго въ удовольствіяхъ, которыя я при этомъ испытываю, и въ желаніяхъ, которыя я имѣю, чтобы удобства

къ такого рода удовольствіямъ увеличивались, но *совершенно несправедливо будетъ думать, что мои удовольствія совпадаютъ съ увеличеніемъ благосостоянія всего человѣчества»*. (Сочиненія, т. IV, 192 и слѣд.)...

Въ подчеркнутыхъ мною фразахъ точка зрѣнія Толстого выяснена какъ нельзя лучше. Я несогласенъ съ ней, какъ несогласенъ съ тѣмъ, что высшая математика безполезна или вредна лишь потому, что она недоступна пониманію трехлѣтняго ребенка. Ребенокъ выростетъ. Да, едва ли теперь можно сказать, что «прогрессъ книгопечатанія есть монополія извѣстнаго класса общества», а ужъ если говорить о вредѣ, то на первый планъ надо выдвигать *монополію*, а ужъ никакъ не книгопечатаніе—простое орудіе для полезнаго и вреднаго, прекраснаго и сквернаго.

Но для меня теперь важна не мысль Толстого, а его настроеніе, его писательская драма, по поводу которой между прочимъ считаю нужнымъ напомнить, что впервые она была подвергнута блестящему анализу въ сочиненіяхъ Н. К. Михайловскаго въ 1875 году.

Я прошу теперь читателя серьезно вдуматься въ душевное состояніе писателя, пришедшаго къ вышеприведеннымъ воззрѣніямъ на книгопечатаніе и литературу,—писателя не ради куска хлѣба и не по какимъ-либо случайнымъ обстоятельствамъ, а такого, какъ графъ Толстой, т. е. писателя по призванію, неудержимо гонимаго на литературное поприще избыткомъ творческой силы. Положеніе истинно трагическое. Гр. Толстой совершенно справедливо говоритъ, что нѣтъ ничего предосудительнаго въ желаніи написать статейку и получить за нее деньги и извѣстность. Но гр. Толстой знаетъ, что этимъ именно непредосудительнымъ путемъ «огромныя суммы перешли въ руки лицъ», прикосновенныхъ къ литературѣ и книгопечатанію, что такъ именно слагается вся литература, эта искусная эксплуатація, выгодная только для ея участниковъ и невыгодная для народа». Человѣку, не напечатавшему во всю жизнь ни одной строки или писательствующему не по внутренней потребности — легко сказать то, что говоритъ гр. Толстой. Съ другой стороны, есть много людей. совершающихъ ужасныя преступленія и тѣмъ не менѣе спокойныхъ душой, потому что ихъ дѣйствія для нихъ не суть преступленія; они не сознаютъ ихъ преступности. Словомъ, когда сознаніе и потребности находятся тѣмъ или дру-

гимъ способомъ въ равновѣсіи, жить легко. Гр. Толстой, напротивъ, ясно сознаетъ, что литература есть одинъ изъ видовъ эксплуатаціи народа, и тѣмъ не менѣе участвуетъ въ ней, потому что, какъ вѣчному жиду таинственный голосъ не уставалъ говорить: иди, иди, иди, такъ и гр. Толстому внутренній голосъ, голосъ его богатоодаренной природы не устаетъ говорить: пиши, пиши, пиши.

Любопытно однако прослѣдить и за дальнѣйшимъ развитіемъ взглядовъ Толстого на тотъ-же предметъ. Въ тѣхъ-же ясно-полянскихъ статьяхъ онъ говоритъ напр.:

«Страшно сказать: я пришелъ къ убѣжденію, что все, что мы сдѣлали по этимъ двумъ отраслямъ (по музыкѣ и поэзіи), все сдѣлано по ложному, исключительному пути, не имѣющему значенія, не имѣющему будущности и ничтожному въ сравненіи съ тѣми требованіями и даже произведеніями тѣхъ же искусствъ, обращики которыхъ мы находимъ въ народѣ. Я убѣдился, что лирическое стихотвореніе, какъ напримѣръ: «Я помню чудное мгновенье», произведенія музыки, какъ послѣдняя симфонія Бетховена,—не такъ безусловно и всемірно хороши, какъ пѣсня о «Ванькѣ-клюшничкѣ» и напѣвъ «Внизъ по матушкѣ по Волгѣ»; что Пушкинъ и Бетховенъ нравятся намъ не потому, что въ нихъ есть абсолютная красота, но потому, что мы такъ же испорчены, какъ Пушкинъ и Бетховенъ, потому что Пушкинъ и Бетховенъ одинаково льстятъ нашей уродливой раздражительности и нашей слабости».

Или:

«Картина Иванова возбудитъ въ народѣ только удивленіе предъ техническимъ мастерствомъ, но не возбудитъ никакого, ни поэтическаго, ни религіознаго чувства, тогда какъ это самое поэтическое чувство возбуждено *лубочною картинкой Іоанна Новгородскаго и чорта въ кувшинѣ*. Венера Милосская возбудитъ только законное отвращеніе предъ наготой, предъ наглостью разврата—стыдомъ женщины. Квартетъ Бетховена послѣдней эпохи представится непріятнымъ шумомъ, интереснымъ развѣ только потому, что одинъ играетъ на большой дудкѣ, а другой на большой скрипкѣ. Лучшее произведеніе нашей поэзіи, лирическое стихотвореніе Пушкина, представится наборомъ словъ, а смыслъ его презрѣнными пустяками. Введите дитя народа въ этотъ міръ, (вы это можете сдѣлать и постоянно дѣлаете посредствомъ іерархіи учебныхъ заведеній, академій и художественныхъ классовъ)—онъ прочувствуетъ и прочувствуетъ искренно и картину Иванова, и Венеру Милосскую, и квартетъ Бетховена, и лирическое стихотвореніе Пушкина. Но войдя въ этотъ міръ, онъ будетъ дышать уже не всѣми легкими, уже его болѣзненно и враждебно будетъ охватывать свѣжій воздухъ, когда ему случится вновь выдти на него».

Слѣдуетъ-ли изъ этого, что не надо писать картинъ Иванова и Рафаэля, а изображать Ивана Новгородскаго и *чорта*

*въ кувшинѣ?* Въ 60-хъ годахъ такого вывода гр. Толстой еще не сдѣлалъ, а только рѣзко выставилъ противорѣчіе, изъ котораго можно сдѣлать однако выводы діаметрально противоположные...

Писательскую драму гр. Толстого Н. К. Михайловскій объясняетъ его десницей и шуйцей или, проще, старо-барскими дрожжами по наслѣдственности, воспитанію и условіямъ жизни рядомъ съ народническими демократическими симпатіями сердца и выводами разума, причемъ десница и шуйца никакъ не могутъ столковаться между собою. Графъ Толстой хотѣлъ-бы служить народу своимъ творческимъ талантомъ, быть народнымъ писателемъ, но «кругъ его умственныхъ интересовъ и слишкомъ широкъ, и слишкомъ узокъ для роли народнаго писателя. Съ одной стороны, онъ владѣетъ запасомъ образовъ и идей, недоступныхъ народу по своей широтѣ и высотѣ. Съ другой стороны, онъ какъ человѣкъ извѣстнаго слоя общества слишкомъ близко принимаетъ къ сердцу мелкія, узкія радости и тревоги этого слоя; слишкомъ ими занятъ, чтобы отказаться отъ поэтическаго ихъ воспроизведенія. Забавы аристократическихъ салоновъ и бури дамскихъ будуаровъ, несмотря на все ихъ ничтожество, очевидное для самого графа Толстого, очень его интересуютъ. Эти интересы—новый элементъ совершающейся въ его душѣ драмы—мѣшаютъ ему не только быть народнымъ писателемъ, но и идти по другому, косвенному пути: къ примиренію потребности поэтическаго творчества съ сознаніемъ нѣкоторой его грѣховности...»

Вопросъ о косвенныхъ путяхъ и примиреніи противорѣчій мы оставимъ пока въ сторонѣ и будемъ продолжать нашъ анализъ. Въ приведенныхъ изъ ясно-полянскихъ статей отрывкахъ читатель видитъ передъ собой разъѣдающій скептицизмъ, упирающійся пока въ глухой переулокъ и заканчивающійся мучительнымъ вопросомъ: «что-же дѣлать?». Читатель помнитъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что этотъ скептицизмъ являлся безусловно характернымъ для Толстого еще въ годы его отрочества и юности. Но форма осталась та же самая, сущность-же значительно измѣнилась. Скептицизмъ отрочества и юности безцѣленъ и непроизволенъ; онъ подкапывается подъ то или другое положеніе, не зная—зачѣмъ, не спрашивая себя—почему, а лишь повинуясь могучему инстинкту, заложенному природой, и наслаждается при этомъ собственной своей игрой. У него нѣтъ критеріума. Поздній скептицизмъ — другое дѣло. Онъ также

остръ, также мучителенъ и непроизволенъ, но у него есть уже исходный пунктъ. есть точка отправленія, откуда онъ совершаетъ свои аттаки и вылазки, есть, словомъ, знамя. Это знамя—народъ и народные интересы и вмѣстѣ съ тѣмъ невольное страстное желаніе отдѣлаться отъ собственной душевной надломленности.

«Я думаю, говоритъ тотъ-же Н. К. Михайловскій, что если-бы въ такомъ положеніи могъ оказаться человѣкъ дюжинный, онъ покончилъ-бы самоубійствомъ или пьянствомъ... Человѣкъ недюжинный будетъ разумѣется искать другихъ выходовъ».

Но выхода собственно Толстой самъ не нашелъ. Его на нѣкоторое время по крайней мѣрѣ выручила жизнь и могучая потребность жизни, инстинктъ счастья и наслажденія.

Какъ это случилось, какъ удалось Толстому не уничтожить въ себѣ сомнѣнія и замолчать ихъ на цѣлыя пятнадцать лѣтъ—мы увидимъ сейчасъ-же.

## IX.

### Семейная жизнь.

«Вернувшись отъ башкиръ, продолжаетъ свой разсказъ Л. Толстой, я женился. Новыя счастливыя условія семейной жизни совершенно отвлекли меня отъ всякаго исканія общаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время въ семьѣ, дѣтяхъ и потому въ заботахъ объ увеличеніи средствъ жизни. Стремленіе къ усовершенствованію, подмѣненное уже прежде стремленіемъ къ усовершенствованію вообще, къ прогрессу, теперь подмѣнилось стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ съ семьей было какъ можно лучше... Несмотря на то, что я считалъ писательство пустяками, я, все-таки, продолжалъ писать. Я вкусилъ уже отъ соблазна писательства, соблазна огромнаго денежнаго вознагражденія и рукоплесканій за ничтожный трудъ, и предавался ему какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго положенія и заглушенія въ душѣ всякихъ вопросовъ о смыслѣ жизни моей и общей. И я писалъ, научая тому, что для меня было единой истиной: что надо жить такъ, чтобы самому съ семьей было какъ можно лучше».

Толстой вернулся изъ Самарской губерніи прямо въ Москву съ значительно поправившимся здоровьемъ и безъ страха неми-

нуемой смерти отъ чахотки. Здѣсь, въ Москвѣ, онъ часто посѣщалъ домъ д-ра Берса, гдѣ были три дѣвушки, дочери хозяина. Выборъ Толстого палъ на среднюю, Софью Андреевну, хотя, кажется, всѣ три сестры были къ нему неравнодушны и всячески старались выказать ему свое расположеніе. Однажды, напр., Толстой, пріѣхавъ къ Берсамъ, сталъ разсказывать, что на-дняхъ онъ проигрался въ пухъ и прахъ за зеленымъ столомъ, почему и пришлось ему только что написанную повѣсть „Казаки" продать Каткову за 1000 р. Барышни расплакались, и быть можетъ эти-то слезы окончательно утвердили Толстого въ его рѣшимости испытать сладости семейной жизни. Онъ попросилъ руки Софьи Андреевны, но ему сначала отказали, потому что не хотѣли отдавать второй дочери раньше замужъ, чѣмъ первую. Однако дѣло уладилось. Окончательное объясненіе Л. Толстого съ будущей женой произошло точно такъ, какъ это описано въ «Аннѣ Карениной» въ сценѣ объясненія Левина съ Китти: однѣми начальными буквами... Это—маленькая странность и вмѣстѣ съ тѣмъ маленькій легкій штрихъ въ портретѣ Толстого и его страсти во всемъ идти особенной дорогой.

Свадьба была 23 сентября 1862 года. Толстому было 34 года, а его невѣстѣ 18. Разница лѣтъ нѣсколько велика. Такъ думалъ по крайней мѣрѣ самъ Толстой, когда писалъ свой романъ «Семейное счастье». Но его семейное счастье оказалось гораздо болѣе прочнымъ и устроеннымъ по другой программѣ, чѣмъ въ романѣ. Это счастье Ростовыхъ, Безуховъ, Левина и Китти Щербацкой...

Нѣсколько отрывковъ изъ писемъ къ Фету покажутъ настроеніе его въ первые мѣсяцы и годы послѣ женитьбы. «Я двѣ недѣли женатъ—пишетъ, напр., Толстой отъ 9 окт. 62 г.—и счастливъ, и новый, совсѣмъ новый человѣкъ...» Или: (1863 г.) «Теперь я пишу исторію пѣгаго мерина («Холстомѣръ»), къ осени думаю напечатать. Впрочемъ теперь какъ писать? Теперь незримыя усилія, даже зримыя и притомъ я въ хозяйствѣ опять прямо по уши. И Соня со мной. Управляющаго у насъ нѣтъ, есть помощники по полевому хозяйству и постройкамъ, а она одна ведетъ контору и кассу. У меня и пчелы, и овцы, и новый садъ, и винокурня. И все идетъ понемножку, хотя разумѣется плохо, сравнительно съ идеаломъ..» Или (1864 г.): «Жена моя совсѣмъ не играетъ въ куклы. Вы не обижайте. Она мнѣ серьезный помощникъ. Мы хозяйствуемъ понемножку. Я сдѣлалъ важное открытіе, которое спѣшу вамъ сообщить.

Прикащики, управляющіе и старосты есть только помѣха въ хозяйствѣ. Попробуйте прогнать все начальство и спать до 10 часовъ, и все пойдетъ навѣрное не хуже. Я сдѣлалъ этотъ опытъ и остался имъ вполнѣ доволенъ...»

Все пока дышетъ бодростью и радостью жизни. Пусть читатель припомнитъ кстати и маленькую художественную сценку изъ «Анны Карениной», сценку, очевидно списанную съ натуры. Долго казалось Левину его новое состояніе и новое счастье неестественнымъ. «За что именно мнѣ такое счастье? говорилъ онъ Китти. Ненатурально, слишкомъ хорошо», сказалъ онъ, цѣлуя ея руку. Китти думала объ этомъ иначе, по своему, непосредственно по женски. «Мнѣ, напротивъ, чѣмъ лучше, тѣмъ натуральнѣе»,—отвѣтила она мужу весьма основательно...

Сомнѣнія не прекратились совсѣмъ, но были глубоко подавлены «новымъ состояніемъ и новымъ счастьемъ...» Порядокъ, замѣнившій прежнюю распущенность, полное забвеніе кутежей и карточной игры, усиленныя хозяйственныя работы, а главное любовь, та любовь, сознавая въ себѣ которую Левинъ чувствовалъ, что «она спасетъ его отъ отчаянія и что любовь эта подъ угрозой отчаянія станетъ еще сильнѣе и чище», многочисленный семейный кружокъ, наконецъ—все это подѣйствовало на Толстого освѣжающимъ и обновляющимъ образомъ. Онъ часто говорилъ, что «онъ вполнѣ счастливъ въ семейной жизни и что онъ нашелъ не только любящую жену и прекрасную мать, но и помощницу въ его литературной дѣятельности». Онъ постоянно посвящалъ Софью Андреевну во всѣ свои писательскіе замыслы, думы и чувства.—«Она одна умѣетъ собрать и привести въ порядокъ всѣ клочки и бумаги, на которыхъ писались драгоцѣнныя строки. Она одна умѣетъ разобрать его въ высшей степени нечеткій почеркъ и изъ поспѣшно сдѣланныхъ имъ, вмѣсто цѣлыхъ словъ, штриховъ и линеекъ воспроизвести именно то, что мыслилъ и хотѣлъ написать ея мужъ. Онъ часто самъ удивлялся этому. Она съ примѣрной аккуратностью и бережливостью хранитъ для потомства всѣ рукописи какъ изданныхъ, такъ и неизданныхъ его сочиненій...»

Скоро пошли дѣти... Ощущенія отца при рожденіи перваго ребенка прелестно описаны въ «Аннѣ Карениной», и мнѣ остается только привести нѣсколько строкъ изъ этого описанія и напомнить о немъ читателю: «Левинъ зналъ и чувствовалъ только, что то, что совершилось, было подобно тому, что

совершилось годъ тому назадъ... на одрѣ смерти брата Николая. Но то было горе, это была радость... Но и то горе и эта радость были одинаково внѣ всѣхъ обычныхъ условій жизни, *были въ этой обычной жизни какъ будто отверстія, сквозь которыя показывалось что-то высокое.* И одинаково тяжело, мучительно наступило совершающееся, и одинаково непостижимо, при созерцаніи этого высшаго, *поднималась душа на такую высоту, которой она никогда не понимала прежде и куда разсудокъ не поспѣвалъ уже за нею...*»

Семья Л. Н. Толстого съ каждымъ годомъ становилась многочисленнѣе и въ настоящее время у него, кстати замѣтить, 9 человѣкъ дѣтей, изъ которыхъ пять сыновей. Младшій сынъ родился лишь въ 1891 г.

Мы видѣли, что въ юности Толстой увлекался Руссо; привязанность къ идеямъ, особенно педагогическимъ, великаго женевца осталась у него на всю жизнь. Поэтому между прочимъ всѣхъ дѣтей выкормила сама мать. Взгляды Руссо примѣнялись вообще, гдѣ только было возможно. Изъ дѣтской навсегда были изгнаны игрушки: старались какъ можно больше имѣть надъ дѣтьми личный надзоръ, а не поручать нянькамъ или боннамъ; дѣтямъ предоставлялась наибольшая свобода; было положено за правило не прибѣгать ни къ насилію, ни къ наказанію. Левъ Николаевичъ находилъ, что принципъ дѣтской самостоятельности нигдѣ не примѣняется такъ широко, какъ въ Англіи. Поэтому дѣти отъ трехъ до 8 или 9 лѣтъ поручались молодымъ англичанкамъ, которыя выписывались прямо изъ Англіи.

«Левъ Николаевичъ, разсказываетъ Берсъ, любилъ открывать ребенку его безсиліе въ природѣ и зависимость отъ взрослыхъ, но не съ цѣлью запугать, а открыть ему правду. Это дѣлалось иногда въ формѣ шутки и съ оттѣнкомъ ласки.

«Когда дѣти нуждались въ прислугѣ, имъ запрещалось приказывать. Они должны были просить, прибавляя непремѣнно слово: «пожалуйста». Для примѣра это дѣлалось самими родителями и прочими въ семьѣ.

«Независимо отъ состраданія къ ближнему, въ дѣтяхъ старались развить жалость къ животнымъ.

«Ложь преслѣдовалась строго и легко могла повлечь за собой наказаніе. Наказаніе очень рѣдко проявлялось въ какихъ нибудь дѣйствіяхъ, напр. заключеніе въ комнатѣ и т. п.; а выражалось преимущественно въ холодномъ обращеніи роди-

телей съ дѣтьми за ихъ проступки. Вообще наказывали только малыхъ. Какъ только замѣчалось раскаяніе, наказаніе немедленно отмѣнялось. У дѣтей никогда не вымогались обѣщанія не повторять проступковъ и просьбы о прощеніи ихъ. Откровенность и довѣріе дѣтей къ родителямъ развивались въ нихъ своевременной лаской.

«Всѣмъ этимъ руководили сами родители. Наказаніе дѣтей воспитателямъ безусловно возбранялось.

«Весь взрослый персоналъ Ясной Поляны обязанъ былъ помнить, что дѣти могутъ заимствовать все то, что они видятъ и слышатъ. Однако дѣтей не удаляли изъ общества взрослыхъ, если въ то время имъ не слѣдовало идти спать, учиться или т. п.

«Поэтому, когда наступало восемь часовъ вечера, и дѣти уходили спать, самъ Левъ Николаевичъ говорилъ: «ну теперь стало свободнѣе!»

Можно ли было тосковать, да и было ли время тосковать въ этомъ веселомъ дѣтскомъ мірѣ, да еще среди постоянныхъ заботъ и хлопотъ то о покупкѣ пензенскаго имѣнія, то о покупкѣ самарскаго имѣнія, то о заведеніи коннаго завода, то о тысячахъ хозяйственныхъ мелочей?... А вѣдь графъ Толстой, замѣтимъ это между прочимъ, былъ прекраснымъ хозяиномъ. Одна ключница, служившая у него 9 лѣтъ, разсказываетъ о немъ, какъ о хозяинѣ, вотъ что:

Графъ самъ слѣдилъ за всѣмъ хозяйствомъ и требовалъ, чтобы у него вездѣ была замѣчательная чистота, и въ коровникѣ, и въ свинятникѣ, и въ овчарнѣ.... Въ особенности онъ любовался на своихъ свиней, которыхъ держалъ до трехсотъ штукъ, сидѣвшихъ парами въ отдѣльныхъ небольшихъ хлѣвушкахъ.... Здѣсь графъ не терпѣлъ ни малѣйшей грязи: каждый день я и мои помощницы должны были перемывать ихъ всѣхъ, вытирать полъ и стѣны хлѣвушекъ; тогда, проходя по свинятнѣ утромъ, графъ бывалъ очень доволенъ, и громко приговаривалъ: «Какое хозяйство.... Какое хорошее хозяйство!»... Зато избави Богъ, если онъ замѣтитъ хоть малѣйшую грязь—сейчасъ разсердится, раскричится... Графъ былъ очень горячій баринъ, и пріѣзжавшій въ Ясную Поляну докторъ нѣсколько разъ говаривалъ ему при мнѣ: «Вамъ нельзя такъ сердиться, графъ, это очень вредно для вашего здоровья»... «Не могу,—отвѣчалъ обыкновенно графъ, и хочу сдержаться, да не могу, такой ужъ видно у меня характеръ»... Хозяйство давало графу въ то время хорошій доходъ: кромѣ свиней и поросятъ, у него было восемьдесятъ коровъ, пятьсотъ шленскихъ овецъ и очень много птицы... Между прочимъ мы сбивали отличное сливочное масло, которое продавали въ Москву по шестьдесятъ копѣекъ за фунтъ...

При этихъ постоянныхъ хлопотахъ гдѣ было найти время для сосредоточенной тоски или самоѣденія духа?

Повидимому Толстой и не тосковалъ, и былъ счастливъ, какъ можетъ быть счастливъ человѣкъ на нашей планетѣ. Правильная жизнь, значительные успѣхи по хозяйству, ростъ семьи, а вмѣстѣ съ этимъ и ростъ заботъ, настойчивая литературная работа, обезсмертившая русскую литературу, такъ какъ «Война и Миръ» была написана какъ разъ въ этотъ періодъ—отвлекала Толстого отъ того, что было постояннымъ источникомъ его душевныхъ страданіи, отъ него самого и его эгоизма. И его собственныя письма, и воспоминанія Берса одинаково изображаютъ его заботливымъ, жизнерадостнымъ семьяниномъ. Онъ самъ говоритъ, что въ то время руководился правиломъ, которое одно только казалось ему истиннымъ: дѣлать такъ, чтобы тебѣ самому и близкимъ твоимъ, т. е. семьѣ, было какъ можно лучше.

Вѣдь это вещь огромной неизмѣримой важности—какъ выйти изъ сферы собственнаго своего эгоизма,—и горе тому, кто на это совсѣмъ не способенъ. Большинство выходитъ путемъ семьи, меньшинство—путемъ общественный дѣятельности; лучшее, т. е. соединеніе того и другого выхода, притомъ соединеніе гармоническое, такъ, чтобы семья не мѣшала обществу, такъ, чтобы не развился до излишнихъ алчныхъ размѣровъ специфическій семейный эгоизмъ—это лучшее доступно лишь избраннымъ.

Толстой остановился на первомъ выходѣ, и лично для него это было великимъ счастьемъ Онъ отдохнулъ отъ своей душевной надломленности, и если не совсѣмъ отъ нея излѣчился, то лишь потому, что надломленность-то была слишкомъ велика, а выходъ не таковъ, который можетъ удовлетворить геніальную и вдумчивую натуру. Выходъ былъ самый элементарный.

Но все-же эгоизмъ семейный шире эгоизма личнаго, а не отъ этого ли послѣдняго страдалъ все время Толстой? Онъ перечисляетъ всѣ свои грѣхи—это грѣхи эгоизма и себялюбія: тутъ и корыстолюбіе, и любострастіе, и честолюбіе, и властолюбіе, и гордость, и гнѣвъ, и месть. Онъ страдаетъ отъ страха смерти: развѣ это не прежде всего страхъ за самого себя, свою личность, для которой смерть есть полное и обидное уничтоженіе; онъ противопоставляетъ культурныхъ людей и народъ: развѣ это не противопоставленіе алчной и себялюбивой личности, алчнаго и себялюбиваго «Я» съ природой и молчаливымъ героизмомъ народа?.. Семья вывела Толстого изъ закол-

дованнаго круга его собственной личности, его собственныхъ личныхъ желаній. Отъ своего *я* онъ убѣжалъ въ семейныя заботы, воспитаніе, хозяйство. Всего этого хватило на 15 лѣтъ.

За этотъ пятнадцатилѣтній періодъ, онъ, повторяю, представляется намъ любящимъ и рачительнымъ семьяниномъ, пишетъ письма о пшеницѣ и породистыхъ жеребцахъ, и пишетъ все это вполнѣ серьезно, потому что безъ всего этого никакъ нельзя обойтись, разъ хочешь, чтобы тебѣ и близкимъ твоимъ было какъ можно лучше.

Работалъ онъ очень много и надъ литературой, преимущественно зимою, всегда втеченіи цѣлаго дня, а подчасъ и до поздней ночи. Онъ никогда не ждалъ вдохновенія и держался того мудраго правила, что стоитъ сѣсть работать, и вдохновеніе само придетъ. Ежедневно, за самыми рѣдкими исключеніями, онъ садился за столъ и писалъ или изучалъ источники и матеріалы. За большія свои вещи онъ брался всегда лишь послѣ самой тщательной подготовки. Во время работы ему требовалось абсолютное спокойствіе. Никто, даже жена, не входили къ нему въ кабинетъ, когда онъ бывалъ занятъ. Одно время такой привилегіей пользовалась лишь его старшая дочь, когда была еще ребенкомъ. Знакомыхъ у него всегда было очень мало, такъ что лишь очень немногіе наѣзжали къ нему въ Ясную Поляну. Къ этимъ немногимъ принадлежали Н. Н. Страховъ (безусловно необходимая принадлежность каждаго великаго человѣка или даже псевдо-великаго, вродѣ Н. Данилевскаго), князь Урусовъ—математикъ, А. Фетъ-Шеншинъ, поэтъ-помѣщикъ и ожесточенный дворянинъ въ одно и то же время. Удѣляя даже своей семьѣ сравнительно немногіе часы дня, Толстой всегда бывалъ веселъ, добродушенъ и шутливъ.

«Нельзя—разсказываетъ Берсъ—передать съ достаточной полнотой того веселаго и привлекательнаго настроенія, которое постоянно царило въ Ясной Полянѣ (1862—1878 г.). Источникомъ его былъ всегда Левъ Николаевичъ. Въ разговорѣ объ отвлеченныхъ вопросахъ, о воспитаніи дѣтей, о внѣшнихъ событіяхъ,—его сужденіе было самое интересное. Въ игрѣ въ крикетъ, въ прогулкѣ онъ оживлялъ всѣхъ своимъ юморомъ и участіемъ, искренно интересуясь игрой и прогулкой. Не было такой простой мысли и самаго простого дѣйствія, которымъ-бы Левъ Николаевичъ не умѣлъ придать интереса и вызвать къ нимъ хорошаго и веселаго отношенія въ окружающихъ....

«Подчиняясь его вліянію и настроенію, дѣти безъ затрудненія совершали съ нимъ длинныя прогулки, напр. верстъ въ 15. Мальчики съ восторгомъ ѣздили съ нимъ на охоту съ борзыми собаками. Всѣ дѣти спѣшили на его зовъ, чтобы дѣлать съ нимъ шведскую гимнастику, бѣгать, прыгать... Зимою всѣ катались на конькахъ, но съ большимъ еще удовольствіемъ расчищали катокъ отъ снѣга. Со мной онъ косилъ, вѣялъ, дѣлалъ гимнастику, бѣгалъ въ перегонку и изрѣдка игралъ въ чехарду. Въ это время онъ всегда смѣялся. Когда намъ случалось проходить тамъ, гдѣ косили, онъ непремѣнно подойдетъ и попроситъ косу у того, кто казался наиболѣе уставшимъ. Я конечно слѣдовалъ его примѣру. При этомъ онъ всегда объяснялъ мнѣ вопросомъ, отчего мы, несмотря на хорошо развитую мускулатуру, не можемъ косить цѣлую недѣлю подъ-рядъ, а крестьянинъ при этомъ еще и спитъ на сырой землѣ и питается *однимъ хлѣбомъ?* — «Попробуй-ка ты такъ!» заключалъ онъ».

Съ семьей гр. Л. Н. Толстой не любилъ разставаться ни на одинъ день, всегда сѣтовалъ на неотложныя поѣздки и торопился какъ можно скорѣе вернуться домой.

## X.

## Большіе романы.

Мысль о большомъ цѣльномъ произведеніи, которое отразило бы въ себѣ не моментъ настроенія эпохи, а ее всю, появилась у Толстого очень давно, еще въ пятидесятыхъ годахъ. Его «Дѣтство», по замыслу того времени, должно было составить первую часть, «Отрочество» — вторую, «Юность» — третью, и наконецъ «Зрѣлый возрастъ» — четвертую. Но эту свою мысль Толстой осуществилъ лишь на половину: у него осталась незаконченной даже «Юность», лучшую и счастливѣйшую часть которой онъ обѣщалъ описать впослѣдствіи, но такъ и не описалъ. Большихъ романовъ у Толстого только два: «Война и Миръ» и «Анна Каренина». Они написаны въ пятнадцатилѣтній періодъ, который можетъ быть названъ періодомъ «семейнаго счастья».

Впрочемъ какъ этимъ эпитетомъ, такъ и вообще полнымъ внѣшнимъ благополучіемъ жизни Л. Н. Толстого особенно увлекаться не слѣдуетъ. Въ его натурѣ лежитъ источникъ внутреннихъ

непримиримыхъ противорѣчій,—душевная надломленность поколѣній,а не только его самого. Удачъ и счастья, выпавшихъ на его долю, смѣло-бы хватило на десять обыкновенныхъ смертныхъ; его литературный талантъ смѣло перевѣситъ всю совокупность литературныхъ талантовъ современности; его слава могла-бы удовлетворить самого Наполеона—эту ненасытную, воплощенную жажду славы. а доволенъ-ли онъ, и былъ-ли онъ доволенъ когда? Для людей, которые не могутъ, не смотря ни на что, признать законность личнаго счастья, видя передъ собой несчастье другихъ,—счастья и довольства на землѣ нѣтъ. Но эти люди и являются свѣточами міра. Чтобы избѣгнуть какъ нибудь проклятыхъ и мучительныхъ вопросовъ, они могутъ закрывать свои проницательные—я бы сказалъ даже пронзительные—глаза разными шорами: эгоизмомъ личнымъ и эгоизмомъ семейнымъ, смиреніемъ и непротивленіемъ. Увы, однако... печать Каина никогда не сходила съ чела геніевъ, какъ красиво выражается Брандесъ, особенно въ тѣ эпохи, когда жизнь кишитъ обидными и преступными противорѣчіями.

Были-ли описаны когда-нибудь муки великой и пытливой души? Фаустъ? Прометей? Чайльдъ Гарольдъ? Манфредъ? Демонъ?—Да, все это—геніальныя попытки описать муки великой и пытливой души, но во всѣхъ этихъ попыткахъ есть одинъ недостатокъ: онѣ слишкомъ общи. Дѣйствительность не мучаетъ, а терзаетъ, колетъ не ножемъ, а булавками, насылаетъ на Прометеевъ не коршуна, а миріады маленькихъ и злыхъ насѣкомыхъ, и самыя великія и пытливыя души не столько страдаютъ, сколько грустятъ...

Грусть, какъ сконцентрированное страданіе, какъ скверный осадокъ всѣхъ жизненныхъ впечатлѣній, никогда не покидала Толстого. Строго говоря, все написанное имъ невыразимо грустно: грустны и Севастопольскіе разсказы, и удивительный перлъ «Три Смерти», «Война и Миръ» и «Анна Каренина». Какъ древніе пророки, Толстой является въ нашемъ обществѣ «съ грустнымъ и строгимъ лицомъ». Его признанія—развѣ это не плачъ Іереміи?...

Но мы еще успѣемъ подробно ознакомиться со всѣмъ этимъ; пока-же только одинъ маленькій вопросъ: какъ бы могъ довольный человѣкъ въ разгарѣ семейнаго благополучія увлекаться Шопенгауэромъ? А между тѣмъ Толстой увлекается имъ, окруженный семьею и на вершинѣ доступной человѣку славы. Вотъ

что 30-го августа 69-го года онъ пишетъ напр. Фету: «Знаешь ли, что было для меня нынѣшнее лѣто? Неперестающій восторгъ передъ Шопенгауэромъ и рядъ духовныхъ наслажденій, которыхъ я никогда не испытывалъ... Не знаю, перемѣню ли я когда мнѣніе, но теперь я увѣренъ, что Шопенгауэръ—геніальнѣйшій изъ людей... Читая его, мнѣ непостижимо, какимъ образомъ можетъ оставаться имя его неизвѣстнымъ. Объясненіе только одно—то самое, которое онъ такъ часто повторялъ, что кромѣ идіотовъ на свѣтѣ почти никого нѣтъ»...

Пессимистическіе мотивы никогда не замолкали въ душѣ Толстого: они таились въ глубинѣ, а когда показывались наружу, то едва не доводили его до самоубійства. Скрытый, маскирующій себя пессимизмъ мы увидимъ и въ «Войнѣ и Мирѣ»...

Переходимъ къ нему. Какъ создавался этотъ романъ? Прежде всего несомнѣнно въ обстановкѣ самой счастливой по внѣшности. Толстой принялся писать его немедленно послѣ женитьбы, на лонѣ природы, счастливымъ мужемъ и удачливымъ хозяиномъ. На работу пошло больше пяти лѣтъ; романъ передѣлывался и переписывался *семь* разъ. Можно преклониться передъ такимъ терпѣніемъ и трудомъ, но кромѣ счастья творчество приносило художнику и много мукъ:

«Я тоскую и ничего не пишу—говоритъ Толстой въ письмѣ къ Фету отъ 17 ноября 64 г.,—а работаю мучительно. Вы не можете себѣ представить, какъ мнѣ трудна эта предварительная работа глубокой пахоты того поля, на которомъ я принужденъ сѣять. Обдумать и передумать все, что можетъ случиться со всѣми будущими людьми предстоящаго сочиненія очень большого, и обдумать милліоны возможныхъ сочиненій для того, чтобы выбрать изъ нихъ одну милліонную—ужасно трудно...

Но все же въ творчествѣ скрыто громадное счастье — сознаніе своей силы—и всякій истинный художникъ понимаетъ его.

«Я—пишетъ Толстой позже—довольно много написалъ своего романа нынѣшнюю осень. Ars longa, vita brevis, думаю я каждый день. Коли можно бы было успѣть $^1/_{100}$ долю исполнить того, что понимаешь, но выходитъ только $^1/_{1000}$ часть. Все-таки это сознаніе, что *могу*, составляетъ счастье нашего брата. Я нынѣшній годъ съ особенной силой его испытываю».

Или:

«А знаете, какой я Вамъ про себя скажу сюрпризъ: какъ меня стукнула объ землю лошадь и сломала руку, когда я послѣ дурмана очнулся, я сказалъ себѣ, что я литераторъ. На дняхъ выйдетъ 1-я половина, 1-й части 1805 года. Пожалуйста подробнѣе напишите свое мнѣніе. Ваше мнѣніе, да еще мнѣніе чело-

вѣка, котораго я не люблю, тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе я выростаю большой,—мнѣ дорого,—Тургенева. Онъ пойметъ. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера, печатаемое теперь мнѣ хотя и нравится болѣе прежняго, но слабо, кажется, безъ чего не можетъ быть, вступленіе. Но что дальше будетъ,—бѣда!... Напишите, что будутъ говорить въ знакомыхъ Вамъ различныхъ мѣстахъ, и главное, какъ на массу. Вѣрно пройдетъ незамѣченнымъ. Я жду этого и желаю—только бы не ругали, а то ругательства разстраиваютъ!... Я радъ, что Вы любите мою жену; хотя я ее люблю меньше моего романа, а все-таки, Вы знаете, жена!»

*Отъ 27-го іюля 1867 г.* «На дняхъ я пріѣхалъ изъ Москвы и предпринялъ строгое лѣченіе подъ руководствомъ Захарьина, и главное печатаю романъ въ типографіи Риса, готовлю и посылаю рукопись и корректуры, и долженъ такъ день за день подъ страхомъ штрафа и несвоевременнаго выхода. Это и пріятно, и тяжело».

Я привелъ всѣ документы, которые сохранились лично отъ Толстого по поводу написанія имъ «Войны и Мира». И писался, и печатался романъ очень долго. Первый его томъ появился въ 67-мъ году, послѣдній въ 69-мъ.

Кажется, ни объ одномъ изъ произведеній русскаго автора, за исключеніемъ развѣ «Отцовъ и Дѣтей» Тургенева, не писали такъ много, какъ о «Войнѣ и Мирѣ», и что особенно странно, большинство писавшихъ писали хорошо, недурно по крайней мѣрѣ. «Геній—говаривалъ улыбаясь Гете.—разводитъ громадные костры: изъ нихъ не трудно утащить по головешкѣ».

«Войну и Миръ» серьезно сравнивать можно лишь съ Иліадой. И тамъ и здѣсь передъ нами картина борьбы за существованіе, за жизнь цѣлаго народа, и тамъ и здѣсь народныя массы не сходятъ со сцены. Всегда и вездѣ вы чувствуете ихъ присутствіе, всѣмъ ходомъ событій руководятъ они. Теорія войны, философско-историческіе взгляды Толстого, судьба его главныхъ дѣйствующихъ лицъ опредѣлены и обусловлены *народомъ*. Народъ—герой романа и напрасно искать другого. У народа свои представители и выразители: главныхъ изъ нихъ два—Кутузовъ и Платонъ Каратаевъ.

Толстой идеализируетъ Кутузова. Это интересно для историка, но нисколько не интересно для насъ. Намъ важно опредѣлить, почему Толстой идеализируетъ Кутузова и какъ, съ какой точки зрѣнія онъ дѣлаетъ это?... Кутузовъ понимаетъ народный духъ и повинуется ему. Въ этомъ вся его заслуга.

«Въ 12-хъ и 13-хъ годахъ—пишетъ Толстой—Кутузова прямо обвиняли за ошибки». «Такова судьба не великихъ, не grand-hommes, которыхъ не признаетъ русскій умъ, а судьба

тѣхъ рѣдкихъ, всегда одинокихъ людей, которые, *постигая волю Провидѣнія, подчиняютъ ей свою личную волю.* Ненависть и прозрѣніе толпы наказываетъ этихъ людей за признаніе высшихъ законовъ». Толстой пораженъ, какъ это для русскихъ историковъ Наполеонъ можетъ быть предметомъ восхищенія, а «Кутузовъ—тотъ человѣкъ, который отъ начала до конца своей дѣятельности въ 1812 г., отъ Бородина и до Вильны, ни разу, ни однимъ дѣйствіемъ, ни словомъ не измѣняя себѣ, *являетъ необычайный въ исторіи примѣръ самоотверженія*, представляется имъ чѣмъ-то неопредѣленнымъ и блѣднымъ, и говоря о Кутузовѣ и 12-мъ годѣ, имъ всегда какъ будто немножко стыдно». (Стр. 256, ч. VIII).

Народныя-то черты характера, т. е. покорность волѣ Провидѣнія и ходу событій, самоотреченіе, отсутствіе личнаго требовательнаго тщеславія, вотъ что Толстой отмѣчаетъ въ Кутузовѣ, вотъ за что онъ возвеличиваетъ его. Кутузовъ, въ сущности, тотъ же Каратаевъ, но въ мундирѣ генералиссимуса.

«Кутузовъ — продолжаетъ Толстой свою восторженную характеристику—никогда не говорилъ о вѣкахъ, которые смотрятъ съ высоты пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приноситъ отечеству; онъ вообще ничего *не говорилъ о себѣ, не игралъ никакой роли*, казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ и говорилъ самыя простыя и обыкновенныя вещи».

Кутузовъ «вѣритъ по народному, признавая двѣ главныя силы—время и терпѣніе»; онъ молчаливъ, повидимому уступчивъ, на самомъ дѣлѣ несокрушимъ; онъ не признаетъ того, чего онъ самъ хочетъ, а признаетъ нѣчто высшее — волю народа. «Источникъ этотъ необычайной силы прозрѣнія въ смыслѣ совершающихся событій лежалъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его»... «Простая, скромная и потому истинно-величественная фигура эта не могла улечься въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія».

Кутузовъ, т. е. Кутузовъ «Войны и Мира», знаетъ, что *нельзя* управлять людьми, нельзя создавать событія, *нельзя* одерживать побѣды при помощи диспозицій, тактики и стратегики. Во время сраженія важна не численность солдатъ, не планы и распоряженія, а *духъ* войска, т. е. способность каждаго солдата къ полному самоотреченію и самозабвенію, а во время народной войны важна воля народа. его духъ,

его готовность къ полному самоотреченію. Зная за собой эту силу, Кутузовъ отказывается отъ всякихъ переговоровъ съ Наполеономъ. *знаетъ*, что Бородинская битва — побѣда, *убѣжденъ* до конца, что онъ побѣдитъ, что онъ не можетъ не побѣдить и не выгнать французовъ изъ Россіи.

Повторяю, Кутузовъ—это Каратаевъ въ фельдмаршальскомъ мундирѣ. Каратаевъ одинаково выразитель народа, но выразитель гораздо болѣе темный, безсознательный. Это прямо—горсточка земли-матери, народной массы и вмѣстѣ съ тѣмъ воплощеніе молчаливаго, смиреннаго народнаго героизма. Толстой, очевидно, восхищается Каратаевымъ и прежде всего его безсознательностью. Онъ пытается даже возвести это качество въ историко-философскій и нравственный принципъ и говоритъ: «*Только одна безсознательная дѣятельность приноситъ плоды*, и человѣкъ, играющій роль въ историческомъ событіи, никогда не понимаетъ его значенія. *Ежели онъ пытается понять его, онъ поражается безплодностью*». Въ другомъ мѣстѣ, кстати замѣтить, Толстой по тому же поводу выражается еще рѣшительнѣе: «Если, читаемъ мы, допустить, что жизнь человѣческая можетъ управляться разумомъ, то уничтожается самая возможность жизни». И такъ, нуженъ инстинктъ, безсознательность, и съ этой точки зрѣнія выше Каратаева ничего и быть не можетъ. Прежде всего въ Каратаевѣ совсѣмъ нѣтъ его самого, нѣтъ его собственной личности. Все это взяли себѣ и растратили другіе. Въ солдаты онъ попалъ не по очереди, за брата; жилъ и служилъ онъ не для себя, а для исполненія приказаній; застрѣлили его французы какъ собаку, и онъ ни словомъ, ни движеніемъ не могъ и не умѣлъ возразить противъ этого. Въ плѣну, въ казармѣ, въ жизни вообще онъ всегда доволенъ, всегда радостенъ, привѣтливъ, ласковъ. Онъ любитъ всѣхъ, одинаково ко всѣмъ привязывается, одинаково спокойно со всѣми разстается. Онъ не то чтобы фаталистъ, а просто, органически не признаетъ, чтобы одинъ отдѣльный человѣкъ могъ что-нибудь сдѣлать, играть какую-нибудь роль въ жизни, управлять событіями. Онъ знаетъ, что онъ, Платонъ Каратаевъ, весь цѣликомъ въ рукахъ чего-то грознаго, могучаго, всесильнаго. Это грозное, могучее, всесильное—жизнь. «Каждое его слово и каждое его дѣйствіе было проявленіемъ неизвѣстной ему, Платону Каратаеву, дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь.

Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ въ себѣ»... Таковъ Платонъ Каратаевъ, который былъ такимъ-же проявленіемъ народнаго духа, какъ Кутузовъ выразителемъ народной воли. Оба послушныя орудія стихійнаго, неотразимаго, огромнаго,—народной массы и жизни милліоновъ...

Сознать и возчувствовать въ себѣ народный духъ, слить себя съ массой, растворить свою личность въ этой массѣ, растворить ее безъ остатка, точно сахаръ въ водѣ—это и есть доступное и достижимое человѣческое счастье. Платону Каратаеву оно досталось сразу, органически, какъ зеленый цвѣтъ травѣ, какъ запахъ цвѣтку. Интеллигенту во имя этого растительнаго счастья надо страдать, искать, терпѣть. Такъ страдалъ, искалъ, терпѣлъ Пьеръ Безуховъ. И что-же онъ нашелъ? Невыразимую сладость смиренія и лишеній, и непосредственной жизни *безъ своей воли*. Вотъ, словами Толстого, что нашелъ Пьеръ Безухій:

«Онъ долго въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ этого успокоенія, согласія съ самимъ собою, того, что такъ поразило его въ солдатахъ въ Бородинскомъ сраженіи,—онъ искалъ этого въ филантропіи, массонствѣ, въ разсѣяніи свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романической любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мысли, и всѣ эти исканія и попытки—всѣ обманули его. И онъ, самъ не думая о томъ, получилъ это успокоеніе и это согласіе съ самимъ собою только черезъ ужасъ смерти, черезъ лишенія и черезъ то, что онъ понялъ въ Каратаевѣ. Тѣ страшныя минуты, которыя онъ переживалъ во время казни, какъ будто навсегда вытѣснили изъ его воображенія и воспоминанія тревожныя мысли и чувства, прежде казавшіяся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о Россіи, ни о войнѣ, ни о политикѣ, ни о Наполеонѣ. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что онъ не призванъ былъ и потому не могъ судить обо всемъ этомъ. «Россіи да лѣту—союзу нѣту», повторялъ онъ слова Каратаева, и эти слова *странно* успокоили его.

«И здѣсь, т. е. въ плѣну, въ грязномъ балаганѣ, теперь только въ первый разъ Пьеръ вполнѣ оцѣнилъ наслажденіе ѣды, когда хотѣлось ѣсть; питья, когда хотѣлось пить; сна, когда хотѣлось спать; тепла, когда было холодно; разговора съ человѣкомъ, когда хотѣлось говорить и послушать человѣческій голосъ. Удовлетвореніе потребностей—хорошая пища, чистота, свобода — теперь, когда онъ былъ лишенъ всего этого, казались Пьеру совершеннымъ счастіемъ, а выборъ занятія, т. е. жизнь, теперь, когда выборъ этотъ былъ такъ ограниченъ, казался ему такимъ легкимъ дѣломъ, что онъ забывалъ то, что избытокъ удобствъ жизни уничтожаетъ все счастіе удовлетворенія потребностей, а большая свобода выбора занятій,—та свобода, которую ему въ его жизни давали образованіе, богатство, положеніе въ свѣтѣ,—что эта-то

свобода и дѣлаетъ выборъ занятій неразрѣшимо труднымъ и уничтожаетъ самую потребность и возможность занятія».

Но довольно иллюстрацій, ибо дѣло видно и безъ нихъ. Историко-философскіе взгляды Толстого и нравственные выводы ясны. Человѣкъ не значитъ ничего. Надо отречься отъ себя и зажить безсознательной инстинктивной жизнью «ихъ», т. е. массы и Платона Каратаева. Только тогда возможна полнота жизни, а значитъ и полнота счастья. Интеллигентъ несчастливъ потому, что онъ слишкомъ раздуваетъ свое «я», слишкомъ большую роль приписываетъ ему, слишкомъ много заботится о немъ, создаетъ въ своемъ воображеніи героевъ, *будто-бы* управляющихъ людьми, *будто-бы* руководящихъ событіями, и самъ хочетъ быть героемъ, т. е. играть роль, управлять людьми, руководить событіями. Это—глупое, преступное желаніе. Человѣческое «я» не сила, а лишь призракъ силы. Сила не въ немъ,—въ чемъ-же?—«Только допустивъ безконечно малую единицу для наблюденія—дифференціалъ исторіи, т. е. однородныя влеченія людей, и достигнувъ искусства интегрировать (брать суммы безконечно малыхъ), мы можемъ подняться на постигновеніе законовъ исторіи». Сила исторіи, слѣдовательно, интегралъ, т. е. сумма безконечно большого числа безконечно малыхъ, т. е. перепутывающихся между собой желаній и стремленій людей.

Съ этой точки зрѣнія оправдывается все, ибо какъ можно не оправдывать какую бы то ни было потребность и сумму этихъ потребностей. И Толстой дѣйствительно оправдываетъ все—и кровавое движеніе народовъ съ запада на востокъ и съ востока на западъ. Онъ обвиняетъ лишь претензіи культурныхъ людей на управленіе себѣ подобными событіями и ихъ вѣру въ разумъ.

Къ общему смыслу «Войны и Мира» мнѣ еще придется вернуться. Пока же замѣчу, что изложенная выше философія есть философія чисто-пессимистическая, но лишь въ отношеніи личности. Я могу говорить: «вся жизнь не имѣетъ смысла, цѣли, значенія, а значитъ и моя личная жизнь не имѣетъ смысла: цѣли и значенія». Это полное отрицаніе. Или, я могу говорить, «лично я—ничто и ничего не значу, мой разумъ—ничто и ничего не значитъ; я и разумъ кое-что и значатъ что-то, когда они подчинены высшему началу, т. е. всей жизни, и исчезли въ ней, какъ по вѣрованію индійца отдѣльная душа исчезаетъ въ Парабрамѣ». Послѣднее и говоритъ Толстой.

Но откуда это, зачѣмъ это, зачѣмъ такая полнота самоотреченія, откуда такая прелесть растительной жизни?

Мы уже достаточно слѣдили за тѣмъ, какъ искалъ, колебался, отчаявался гр. Толстой. Передъ его острымъ, разъѣдающимъ анализомъ не устояло ничто. Про его героевъ замѣчено какъ-то, что они «съ освѣщенными внутренностями», но такимъ онъ былъ и самъ для себя всегда, каждую минуту жизни. Онъ постоянно прислушивался къ себѣ, постоянно смотрѣлъ на жизнь въ лупу, различалъ всѣ ея неровности и шероховатости, такъ же какъ и свои собственныя, и къ чему другому могъ онъ прійти, какъ не къ полному отрицанію не только земныхъ радостей, но даже и законности художественнаго творчества? Болѣзненно чуткій и впечатлительный, онъ не могъ найти, чѣмъ-бы ему удовлетвориться, на чемъ-бы ему успокоиться. Ничтожество и безсмыслица всего пугаетъ и отталкиваетъ его. Онъ прямо говоритъ: «*ежели человѣкъ пытается понять историческое событіе* (*т. е. жизнь*). *онъ поражается безплодностью*». Ясно значитъ, что источникъ страданія—разумъ человѣческій и личный требовательный эгоизмъ. Еще яснѣе, что надо уничтожить источникъ—и страданія не будетъ. Отсюда философія «Войны и Мира».

Припомню еще одно мѣсто изъ этого романа: «всѣ люди читаемъ мы, представлялись Пьеру солдатами, *спасающимися отъ жизни:* кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ романовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами. Только-бы не видать ее, эту страшную ее»... и изъ за пессимистической безличной философіи «Войны и Мира» дѣйствительно не видать ея, эту страшную ее... Исчезаетъ даже страхъ смерти, потому что *я* ничего не значу и ничего отъ смерти не теряю. А богатство, слава, привязанности, друзья?... Да вѣдь съ этой точки зрѣнія о потерѣ ихъ нечего даже и думать.

Личная жизнь тягостна, неразрѣшимо страшна. Человѣкъ боится утерять что нибудь лишь потому, что онъ любитъ себя, что онъ считаетъ себя *чѣмъ-то*... А если онъ просто дифференціалъ исторіи, невѣдомо кѣмъ интегриру-

емый и лишь въ интегрированномъ своемъ состояніи производящій то, что называется исторіей, то не страшна и самая смерть...

---

Опредѣливши, что человѣкъ можетъ или, вѣрнѣе, чего онъ не можетъ дѣлать, Толстой указываетъ и на то, что онъ долженъ дѣлать. Его долгъ—самоотреченіе и подчиненіе массовой жизни. Но въ массѣ преобладаетъ инстинктъ, безсознательное, и этотъ инстинктъ, это безсознательное сильнѣе всего, лучше всего. Женщина съ этой точки зрѣнія прежде всего мать, дѣтопроизводительница; такой и является въ концѣ концовъ поэтическая въ началѣ Наташа Ростова; семейная жизнь—назначеніе человѣка. Съ могучей діалектической силой Толстой разрѣшаетъ всѣ вопросы, которые тревожили и мучили его, и свой страхъ смерти кладетъ къ ногамъ своей системы и старается задавить его ея огромною логическою тяжестью... Система прекрасна, какъ созданіе высокаго творческаго духа; въ ея холодныхъ, безжалостныхъ выводахъ вы каждую минуту различаете живое біеніе живого человѣческаго сердца. Но, Боже мой, какое это измученное, какое это изстрадавшееся человѣческое сердце, съ какимъ ужасомъ заглядываетъ оно въ грядущую могилу, какъ страстно ждетъ покоя и забвенія, лишь-бы стереть съ себя печать Каинову. Два источника были всегда у человѣка, чтобы забыть эту страшную «ее» и ея роковую загадку: одинъ—увеличиваетъ наслажденія, другой—уменьшаетъ страданія. Но желанія—какъ соленая вода, сказалъ Будда: чѣмъ больше пьешь, тѣмъ больше хочется. Толстой пришелъ къ тому-же и на небытіи отдѣльной человѣческой личности строитъ свою систему. Онъ не останавливается ни передъ чѣмъ и отнимаетъ у человѣка даже религію, потому что религія даетъ человѣку сознаніе своего «я»... Разсказываютъ, что Достоевскій, прочтя «Войну и Миръ», ограничился лишь словами: «рече безумецъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть Богъ». Можетъ-ли удовлетворить кого нибудь эта стройная и прекрасная философская система?

Вопросъ громадный; я дамъ на него самый маленькій отвѣтъ: она совершенно не удовлетворяла самого Толстого, и онъ отрекся отъ нея со всей горечью раскаянія.

Что-же касается до самаго романа, то его будутъ еще изу-

чать цѣлыя поколѣнія. Это единственная народная эпопея, которая есть у насъ и для насъ ея смыслъ такой-же, какъ для англичанъ драма Шекспира.

Послѣ «Войны и Мира» Толстой разсчитывалъ написать романъ изъ эпохи Петра Великаго, но, проработавши за изученіемъ матеріаловъ нѣсколько лѣтъ, бросилъ свой замыселъ. Любопытныя подробности объ этомъ мы находимъ въ Воспоминаніяхъ Берса.

Въ письмѣ изъ Ясной Поляны отъ 19 ноября 1872 года графиня Толстая писала брату:

«А теперь у насъ очень, очень серьезная жизнь. Весь день въ занятіяхъ. Левочка сидитъ, обложенный кучею книгъ, портретовъ, картинъ, и нахмуренный читаетъ, дѣлаетъ отмѣтки, записываетъ. По вечерамъ, когда дѣти ложатся спать, разсказываетъ мнѣ свои планы и то, что онъ хочетъ писать; иногда разочаровывается, приходитъ въ грустное отчаяніе и думаетъ, что ничего не выйдетъ, иногда совсѣмъ близокъ къ тому, чтобы работать съ большимъ увлеченіемъ; но до сихъ поръ еще нельзя сказать, чтобы онъ писалъ, а только готовится. Выбралъ онъ время Петра Великаго...»

Въ другомъ письмѣ графини изъ Ясной Поляны отъ 19 декабря 1872 г. читаемъ:

«Всѣ мы очень заняты. Зима—это наша барская рабочая пора, и стоитъ она лѣтней мужицкой работы! Левочка все читаетъ изъ временъ Петра Великаго историческія книги и очень интересуется. Записываетъ разные характеры, черты, бытъ народа и бояръ, дѣятельность Петра и проч.

Самъ онъ не знаетъ, что будетъ изъ его работы, но мнѣ кажется, что онъ напишетъ опять подобную «Войнѣ и Миръ» поэму въ прозѣ, но изъ временъ Петра Великаго...»

Въ третьемъ письмѣ изъ Ясной Поляны отъ 23 февраля 1873 года идетъ рѣчь о томъ-же:

«Левочка все читаетъ и пытается писать, а иногда жалуется, что вдохновенія нѣтъ, а иногда говоритъ, что недостаточно подготовленъ, и все больше и больше читаетъ матеріалы изъ Петра Великаго...»

«Лѣтомъ 1873 года Левъ Николаевичъ прекратилъ изученіе этой эпохи. Онъ говорилъ, что мнѣніе его о личности Петра I діаметрально противоположно общему, и вся эпоха эта сдѣлалась ему несимпатичной. Онъ утверждаетъ, что личность и дѣятельность Петра I не только не заключали въ себѣ ничего великаго, а напротивъ того всѣ качества его были дурныя. Всѣ такъ-называемыя реформы его отнюдь не преслѣдовали государственной пользы, а клонились къ личнымъ его выгодамъ.

«Вслѣдствіе нерасположенія къ нему бояръ за его нововведенія, Петръ основалъ городъ Петербургъ только для того, чтобъ удалиться и быть свободнѣе въ своей безнравственной жизни. Сословіе бояръ имѣло тогда большое значеніе и слѣдовательно было для него опасно. Нововведенія и реформы почерпались изъ Саксоніи, гдѣ законы были самые жестокіе того времени, а свобода нравовъ процвѣтала въ высшей степени, что особенно нравилось Петру Первому съ курфюрстомъ Саксонскимъ, принадлежавшимъ къ самымъ безнравственнымъ личностямъ изъ числа коронованныхъ особъ того времени. Близость съ пирожникомъ Меншиковымъ и бѣглымъ швейцарцемъ Лефортомъ онъ объяснялъ презрительнымъ отвращеніемъ къ Петру I всѣхъ бояръ, среди которыхъ онъ не могъ найти себѣ друзей и товарищей для разгульной жизни. Но болѣе всего онъ возмущался гибелью царевича Алексѣя».

«Одинаково неудачна была попытка написать романъ изъ эпохи Декабристовъ. Толстой два раза принимался за него, съ двѣнадцатилѣтнимъ промежуткомъ, но дальше 4-ой главы не пошелъ.

«Декабрьскій бунтъ онъ изучалъ при лучшихъ условіяхъ. Онъ пользовался не только тѣмъ, что объ этомъ напечатано, но и множествомъ фамильныхъ записокъ, мемуаровъ и писемъ, которые повѣрялись ему съ условіемъ сохранить семейныя тайны. Зимою 1877—1878 гг. онъ ѣздилъ въ Петербургъ осмотрѣть Петропавловскую крѣпость.

«Въ семейномъ кругу онъ разсказывалъ, что звуковая азбука, существующая въ тѣхъ мѣстахъ заключеній, впервые создана декабристами. Когда имъ запрещались переговоры и такимъ способомъ, они доходили до такого искусства, что дѣлали это на ходу, напр., стуча палочкой о заборы, чего стража не замѣчала. Между тѣмъ Левъ Николаевичъ со слезами на глазахъ разсказывалъ, какъ одинъ декабристъ, заключенный въ крѣпости, упросилъ смѣнявшагося часового купить ему яблоко и далъ послѣднія деньги. Часовой принесъ прелестную корзину фруктовъ и деньги назадъ. Оказалось, что посылалъ это купецъ, когда узналъ о личности заключеннаго. Декабристъ, полковникъ кавалергардскаго полка, Лунинъ, удивлялъ Льва Николаевича своею несокрушимою энергіею и сарказмомъ. Въ одномъ изъ писемъ съ каторги къ своей сестрѣ, находившейся въ Петербургѣ, онъ осмѣялъ назначеніе министромъ графа Киселева. Письмо разумѣется шло

черезъ начальство работъ и содержаніе его сдѣлалось извѣстнымъ въ Петербургѣ. Лунинъ былъ прикованъ къ тачкѣ навсегда. Тѣмъ не менѣе смотритель каторжныхъ работъ, полный маіоръ и нѣмецъ по происхожденію, ежедневно уходилъ съ осмотра работъ, долго смѣясь еще по дорогѣ. Такъ умѣлъ Лунинъ насмѣшить его подъ землею и прикованный къ тачкѣ.

«Но вдругъ Левъ Николаевичъ разочаровался и въ этой эпохѣ. Онъ утверждалъ что *декабрьскій бунтъ есть результатъ вліянія французской аристократіи*, большая часть которой эмигрировала въ Россію послѣ французской революціи. Она и воспитывала всю русскую аристократію въ качествѣ гувернеровъ. Этимъ объясняется, что многіе изъ декабристовъ были католики. Если *все это было привитое и не создано на чисто русской почвѣ, Левъ Николаевичъ не могъ этому симпатизировать.*»

---

Объ «Аннѣ Карениной», написанной въ тотъ-же пятнадцатилѣтній промежутокъ времени, я распространяться не буду, такъ какъ это завело бы меня слишкомъ далеко, и разскажу только маленькій относящійся къ внѣшней исторіи романа эпизодъ. Онъ печатался, какъ извѣстно, въ «Русскомъ Вѣстникѣ», и когда дѣло дошло до 8-й части, то Катковъ отказался помѣстить ее въ томъ видѣ, въ какомъ она была ему прислана. Въ этой 8-ой части Толстой высказалъ на добровольческое движеніе взглядъ діаметрально расходившійся съ проповѣдью «Руск. Вѣст.», inde ira Каткова. Катковъ предложилъ передѣлать. Толстой пришелъ въ страшное негодованіе за поправки и говорилъ по этому поводу: «какъ смѣетъ журналистъ передѣлывать хотя одно слово въ моихъ произведеніяхъ»... Съ этой поры онъ прервалъ всякія сношенія съ «Русскимъ Вѣстникомъ» и его произведенія стали появляться или прямо отдѣльными изданіями или въ другихъ журналахъ.

Вернемся однако къ подробностямъ и мелочамъ жизни Толстого. «Война и Миръ» сразу поставила Толстого въ первый рядъ русской литературы и равными ему по славѣ были только Тургеневъ, Достоевскій, Щедринъ и Островскій. Литературная слава была ему пріятна и онъ съ удовольствіемъ говорилъ, что «хотя и не заслужилъ генерала отъ артиллеріи, за то сталъ генераломъ отъ литературы». А генераломъ онъ дѣйствительно былъ и есть, и притомъ подлиннымъ, несомнѣннымъ. Это питало его гордость и даже тщеславіе, въ чемъ

онъ самъ всегда искренно сознавался. По словамъ Берса «онъ былъ завзятый аристократъ и хотя всегда любилъ простой народъ, но еще болѣе любилъ аристократію. Середина между этими сословіями была ему несимпатична. Когда послѣ неудачъ молодости онъ пріобрѣлъ громкую славу писателя, онъ высказывалъ, что эта слава—величайшая радость и большое счастье для него. По его собственнымъ словамъ, въ немъ было пріятное сознаніе того, что онъ—писатель и аристократъ»... Оставляю за г. Берсомъ отвѣтственность за точность передачи мнѣній Толстого; думаю однако, что онъ нѣсколько преувеличилъ дѣло.

Нѣсколько отрывковъ изъ собственныхъ писемъ Толстого къ Фету, помѣщенныхъ во II-омъ томѣ «Воспоминаній» послѣдняго, обрисуютъ намъ какъ нельзя лучше мелочи и не мелочи жизни Толстого почти за 16 лѣтъ.

*Отъ 21 октября 1869 г.* «Покупка мною пензенскаго имѣнія разладилась. Шестой томъ (полнаго собранія) я окончательно отдалъ и къ 1-му ноября вѣрно выйдетъ. Для меня теперь самое мертвое время: Не думаю и не пишу и чувствую себя пріятно глупымъ.

*Отъ 4-го февраля 70 г.* «Я очень много читаю Шекспира, Гете, Пушкина, Гоголя, Мольера — обо всемъ этомъ многое хочется сказать. Я нынѣшній годъ не получаю ни одного журнала и ни одной газеты, и нахожу, что это очень полезно»...

Кстати замѣтить, Толстой вообще не любитъ ни газетъ, ни журналовъ. Когда его спрашиваютъ: «что читать?» онъ безъизмѣнно отвѣчаетъ: классиковъ. Къ классикамъ онъ причисляетъ и Пушкина. Пушкина онъ любитъ, но лучшими его произведеніями считаетъ прозаическія, особенно «Капитанскую дочку». Между собой и Пушкинымъ онъ видитъ, между прочимъ, различіе въ томъ, что послѣдній, описывая какую нибудь художественную подробность, дѣлаетъ это легко и не заботится, будетъ ли она понята читателемъ; онъ-же, Толстой, какъ-бы пристаетъ къ читателю съ этой подробностью и не оставляетъ ее, пока ясно ея не растолкуетъ. О Гете Толстой писалъ Левенфельду: «Боже правый! Да въ томъ то и заключается недостатокъ Гете, что, думая о прекрасномъ, онъ забываетъ о нравственномъ, а безъ него нельзя». *Нравственный* элементъ Толстой считаетъ необходимой принадлежностью всякаго великаго произведенія. Вотъ его подлинныя слова, обращенныя къ тому-же Левенфельду: «Посмотрите, какую громадную роль играетъ нравственный элементъ въ произведеніяхъ всякаго великаго поэта. Недавно одинъ молодой ученый отчетливо по-

казалъ, какъ глубоко былъ проникнутъ Лермонтовъ нравственными идеалами.»

*Отъ 17-го февраля 70 г.* «Всю зиму наслаждаюсь тѣмъ, что лежу, засыпаю и играю въ безикъ, хожу на лыжахъ, на конькахъ бѣгаю и больше все лежу въ постели больной, и лица драмы или комедіи (только что прочитанныхъ) начинаютъ дѣйствовать и очень хорошо представляютъ».

*Отъ 11-го мая 76 г.* «Я получилъ ваше письмо, возвращаясь потный съ работъ топоромъ и заступомъ, значитъ за 1000 верстъ отъ всего искуственнаго и въ особенности отъ нашего дѣла. Я только что отслужилъ недѣлю присяжнымъ, и это было для меня очень интересно и поучительно.

*Отъ 2-го октября 70 г.* «Я съ утра до ночи учусь по гречески. Я ничего не пишу, а только учусь. Я прочелъ Ксенофонта и теперь à livre ouvert читаю его. Для Гомера же нуженъ лексиконъ и немного напряженія. Но какъ я счастливъ, что на меня Богъ наслалъ эту дурь. Во-первыхъ, я наслаждаюсь, во-вторыхъ, убѣдился, что изъ всего истинно прекраснаго и просто прекраснаго, что произвело слово человѣческое, я до сихъ поръ ничего не зналъ; въ-третьихъ, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной никогда не стану. И виновать, и ей Богу, никогда не буду.

*Отъ 10-го іюня 71 г.* «Я былъ и есть боленъ, самъ не знаю чѣмъ, но похоже что то на дурное или хорошее, смотря потому, какъ называть конецъ. Упадокъ силъ и ничего не нужно кромѣ спокойствія, котораго нѣтъ. Жена посылаетъ меня на кумысъ.»

*Отъ 18 іюля 71 г.* «Самъ не знаю насколько я нездоровъ, но нехорошо уже то, что принужденъ и не могу не думать о моемъ бокѣ или груди. Я, какъ слѣдуетъ при кумысномъ леченьи, съ утра до вечера пьянъ, потѣю и нахожу въ этомъ удовольствіе. Читаю Геродота. Край здѣсь прекрасный, по своему возрасту только что выходящій изъ дѣвственности, по богатству, здоровью и въ особенности неиспорченности народа. Я, какъ всегда, примѣриваюсь, не купить ли имѣніе. Это мнѣ занятіе и лучшій предлогъ для узнанія настоящаго положенія края».

Кумысъ, какъ и первый разъ, поправилъ Толстого, и возвратившись изъ Самары онъ вновь открылъ школу и вернулся къ своимъ педагогическимъ занятіямъ. Въ это время онъ написалъ свою знаменитую «Азбуку» и христоматію для дѣтей и народа, куда, по своей обычной привычкѣ, помѣстилъ много автобіографическаго. Здѣсь онъ разсказалъ о своихъ собакахъ Милькѣ и Булькѣ, о томъ какъ его едва не задралъ медвѣдь на охотѣ и какъ онъ едва не попалъ въ плѣнъ на Кавказѣ. Въ 73-емъ году лѣченье кумысомъ пришлось повторить. Въ Самарской губерніи въ это время свирѣпствовалъ страшный голодъ, оффиціально однако непризнанный. Толстой энергично принялся за дѣло, составилъ подворную опись и ре-

зультатъ своихъ наблюденій изложилъ въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Противъ графа Толстого и Каткова губернаторъ конечно не пошелъ и не возражалъ,—пришлось согласиться съ фактомъ и принять мѣры.

Письмо о самарскомъ голодѣ очень интересно, хотя не столько по содержанію, сколько по формѣ. Толстой остается вѣренъ себѣ. Ни одной жалкой, бьющей по нервамъ фразы, ни одного упрека никому, но факты изложены такъ ярко, что вчужѣ страшно становится. Именно своей простотой, за которой видно глубокое впечатлѣніе, полученное авторомъ отъ нечеловѣческихъ страданій несчастныхъ башкиръ письмо должно было произвести потрясающее впечатлѣніе. Пожертвованія посыпались и въ данномъ случаѣ несомнѣнно, что одинъ Толстой самъ своимъ собственнымъ вліяніемъ спасъ отъ голодной смерти сотни и тысячи людей. До него молчали всѣ; власти докладывали, что все благополучно и «на Шипкѣ», какъ всегда, «все было спокойно».

Въ 73-мъ году была начата «Анна Каренина»—романъ, заключающій въ себѣ собственно два отдѣльныхъ произведенія: исторію любви Карениной и исторію духовнаго возрожденія Левина. Оба произведенія рѣшительно ничѣмъ между собой не связаны. Левину Толстой придалъ много чертъ и черточекъ личнаго своего характера. Кое какими подробностями исторія любви Левина напоминаетъ исторію самого Толстого, напр. сцена объясненія любви, препятствія къ браку, радости семейной жизни. Въ нижеслѣдующихъ письмахъ самого Толстого, взятыхъ изъ тѣхъ-же воспоминаній Фета, читатель найдетъ нѣсколько подробностей о созданіи романа.

Вотъ эти письма:

*24-го марта 74 года*: «Вы хвалите Каренину. Мнѣ очень пріятно, да и какъ я слышу, ее хвалятъ, но навѣрно никогда не было писателя столь равнодушнаго къ своему успѣху, какъ я. Съ одной стороны школьныя дѣла, съ другой—страшное дѣло—сюжетъ новаго писанія, овладѣвшій мною именно въ самое тяжелое время болѣзни ребенка, и самая эта болѣзнь и смерть!»

*24-го іюня 74 года*. «Смерть тетушки, какъ и всегда смерть близкаго дорогого человѣка, была совершенно новымъ единственнымъ и нежиданнымъ поразительнымъ событіемъ Чудесная жара, купанье, ягоды привели меня въ любимое мною состояніе умственной праздности и только настолько и остается духовной жизни, чтобы помнить друзей и думать о нихъ».

*26-го августа 75 года*. «Я два мѣсяца не пачкалъ рукъ чернилами и сердца мыслями. Теперь берусь за скучную и пошлую А. Каренину съ однимъ желаніемъ: поскорѣй опростать себѣ

мѣсто—досугъ для другихъ занятій, но только не педагогическихъ, которыя я люблю, но хочу бросить. Они слишкомъ много времени берутъ. Къ чему занесла меня судьба въ Самару—не знаю, но знаю, что я слушалъ рѣчи въ англійскомъ парламентѣ (вѣдь это считается очень важнымъ) и мнѣ скучно было и ничтожно было. А здѣсь вотъ мухи, нечистота, мужики, Башкирцы, а я съ напряженнымъ вниманіемъ, страхомъ вслушиваюсь (въ ихъ рѣчи) и чувствую, что все это очень важно».

*1-го марта 76 года.* «У насъ все не совсѣмъ хорошо. Жена не оправляется съ послѣдней болѣзни и нѣтъ у насъ въ домѣ благополучія и во мнѣ душевнаго спокойствія, которое мнѣ особенно нужно теперь для работы. Конецъ зимы и начало весны всегда мое самое рабочее время, да и надо кончить надоѣвшій мнѣ романъ».

*29-го апрѣля 76 года.* «У насъ началась весенняя и лѣтняя жизнь и полонъ домъ гостей и суеты. Эта лѣтняя жизнь для меня точно какъ сонъ; кое-что остается изъ моей реальной зимней жизни, но больше какія то видѣнія, то пріятныя, то непріятныя изъ какого-то безтолковаго, не руководимаго здравымъ разсудкомъ міра».

*18-го мая 76 года.* «То чувствуешь себя богомъ, что нѣтъ для тебя ничего сокрытаго, а то глупѣе лошади, и теперь я такой».

*13-го ноября 76 года.* «Я ѣздилъ въ Москву узнавать про войну. Все это волнуетъ меня очень. Хорошо тѣмъ, которымъ все это ясно, но мнѣ страшно становится, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тѣхъ условій, при которыхъ совершается исторія,—какъ дама какая нибудь А-ва съ своимъ тщеславіемъ и фальшивымъ сочувствіемъ къ чему то неопредѣленному—оказывается нужнымъ винтикомъ во всей машинѣ».

Сплю и не могу писать; презираю себя за праздность и не позволяю себѣ взяться за другое дѣло».

*7-го декабря 76 года.* «Я понемногу началъ писать и очень доволенъ собой».

*23-го марта 77 года.* «Голова моя лучше теперь, и насколько она лучше, настолько я больше работаю. Мартъ и начало Апрѣля самые мои рабочіе мѣсяца, а я все продолжаю быть въ заблужденіи, что то, что я пишу, очень важно, хотя и знаю, что черезъ мѣсяцъ мнѣ будетъ совѣстно это вспоминать».

*14-го апрѣля 77 года.* «Вы въ первый разъ говорите мнѣ о божествѣ—о Богѣ. А я давно уже не переставая думаю объ этой главной задачѣ. И не говорите, что нельзя думать,—не только можно, но должно. Во всѣ вѣка лучшіе, т. е. настоящіе, люди думали объ этомъ. И если мы не можемъ такъ-же какъ они думать объ этомъ, то мы обязаны найти *какъ*».

*6-го апрѣля 78 года.* «У Васъ такъ много привязанности къ житейскому, что если какъ нибудь оборвется это житейское, Вамъ будетъ плохо; а у меня такое къ нему равнодушіе, что нѣтъ интереса къ жизни, и я тяжелъ для другихъ однимъ вѣчнымъ переливаніемъ изъ пустого въ порожнее. Не думайте, что я рехнулся. А такъ—не въ духѣ».

*26 октября 78 года.* «Вотъ уже съ мѣсяцъ, коли не больше,

я живу въ чаду не внѣшнихъ событій (напротивъ, мы живемъ одиноко и смирно, но внутреннихъ, которыхъ назвать не умѣю. Хожу на охоту, читаю, отвѣчаю на вопросы, которые мнѣ дѣлаютъ, ѣмъ, сплю, но ничего не могу дѣлать, даже написать письмо. Обычная земная жизнь, со все усложняющимся воспоминаніемъ и ученіемъ дѣтей, идетъ какъ и прежде. Мы опять заняты самыми ясными опредѣленными дѣлами, а я самыми неопредѣленными и потому постоянно имѣю стыдливое сознаніе праздности среди трудовой жизни».

*16 февраля 79 г.* «Я не боленъ, не здоровъ, но умственной и душевной бодрости, которая мнѣ нужна—нѣтъ».

*25 мая 79 г.* «Давно я такъ не радовался на міръ божій, какъ нынѣшній годъ. Стою разиня ротъ, любуюсь и боюсь двинуться, чтобы не пропустить чего».

*13 іюля 79 г.* «Все мотаюсь, мучаюсь, тружусь, исправляюсь учусь и думаю, не доведется ли мнѣ заполнить пробѣлы, да и умереть, а все не могу не разворачивать самого себя».

*Отъ 28 іюня 1879 г.* «Я не отрицаю ни реальной жизни, ни труда, необходимаго для поддержанія этой жизни; но мнѣ кажется, что большая доля моей и вашей жизни наполнена удовлетвореніями не естественныхъ, а искуственно привитыхъ намъ воспоминаніемъ и самими нами придуманныхъ и перешедшихъ въ привычку потребностей,—праздный трудъ. Мнѣ бы очень хотѣлось быть твердо увѣреннымъ въ томъ, что я даю людямъ больше того, что получаю отъ нихъ; но такъ какъ я чувствую себя очень склоннымъ къ тому, что-бы высоко цѣнить свой трудъ и низко цѣнить чужой, то я не надѣюсь увѣриться въ безобидности для другихъ разсчета со мной однимъ усиленіемъ своего труда и избраніемъ тяжелѣйшаго (я непремѣнно увѣрю себя, что любимый мною трудъ есть самый нужный и трудный); я желалъ-бы какъ можно меньше брать отъ другихъ и какъ можно меньше трудиться для удовлетворенія своихъ потребностей,—и думаю такъ легче не ошибиться».

## XI.

## О пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого.

Въ послѣднихъ изъ только что приведенныхъ писемъ нельзя не замѣтить приближенія кризиса. Толстой говоритъ, что онъ. здоровый человѣкъ, постоянно думаетъ о смерти, а всякому извѣстно, что дѣйствительно здоровые люди не только не думаютъ о смерти, но считаютъ себя безсмертными или, точнѣе, поступаютъ и живутъ такъ, какъ будто они были безсмертны. Въ то же время онъ не перестаетъ думать о Богѣ—этой главной

задачѣ жизни. Ему становится подозрительной привязанность къ житейскому и онъ предостерегаетъ отъ нея Фета. Бодрость изчезла; расположеніе духа постоянно нехорошо, тревожно. Къ чему стремиться, зачѣмъ стремиться? Онъ желаетъ какъ можно меньше работать для удовлетворенія личныхъ своихъ потребностей, чтобы не заставлять другихъ служить себѣ. Программа близкаго кризиса уже изложена въ этихъ тревожныхъ и безпокойныхъ мысляхъ. Прежній скептицизмъ, обращенный на себя и все окружающее, возвращается съ удвоенной, накопленной силой, и мы предчувствуемъ, что уже ничто теперь не устоитъ противъ него. Обидныя и преступныя противорѣчія жизни выступаютъ ярко, рѣзко, неумолимо. Какъ это люди, одушевленные, допустимъ, самыми благородными и возвышенными идеями освобожденія и спасенія ближнихъ—въ данномъ случаѣ братьевъ-славянъ—могутъ идти убивать другихъ такихъже людей, гордиться своими кровавыми подвигами и принимать рукоплесканія... за что? за убійство?... А тутъ еще всякія мелочи вродѣ какой-то А—вой, которая «съ своимъ тщеславіемъ и фальшивымъ сочувствіемъ чему-то неопредѣленному»—суетится и хлопочетъ, гордо задираетъ голову, жужжитъ, какъ надоѣдливая муха, о страданіяхъ братьевъ, славянъ, о корпіи, кисетикахъ и трубочкахъ, а когда нахмуренное лицо слушателя говоритъ ей довольно ясно: «отстаньте, сдѣлайте милость», она съ убійственной язвительностью спрашиваетъ: «а, вы значитъ не сочувствуете братьямъ-славянамъ»?... а, значитъ освободительное движеніе для васъ ничего?— и пойдетъ, пойдетъ, какъ нѣкогда madame Кукшина, бесѣдуя съ которой, Базаровъ не могъ удержаться и не проговорить: «тьфу, дура!» Конечно, всѣ эти А—вы, Кукшины, занятыя сегодня куреніемъ табаку во имя эмансипаціи женщинъ, завтра щипаніемъ корпія во имя освободительнаго движенія братьевъ-славянъ, послѣ завтра продажей шампанскаго въ пользу голодающихъ или собираніемъ грошей на сестринскій подарокъ г-жѣ Аданъ и „la grande république française"—мелочь. Но онѣ безчисленны, онѣ жужжатъ какъ мухи, надоѣдаютъ, злятъ своимъ тщеславіемъ, самодовольствомъ, тупостью, билетами на благотворительные вечера и пр. Скучно и глупо, а вѣдь имя А—выхъ легіонъ, ихъ много.

Но прежде чѣмъ описывать кризисъ, я позволю себѣ сдѣлать небольшое отступленіе и поговорить о пессимизмѣ и руссофильствѣ графа Толстого.

Любопытно прежде всего, что при отрицаніи роли героевъ въ исторіи и низведеніи всего хода событій къ массовому началу Толстой постоянно говоритъ и повторяетъ, что это *русская* точка зрѣнія. «Русскій умъ—читаемъ мы напр.,—отказывается признать героя, который бы могъ управлять людьми, создавать событія». Въ характеристикѣ Кутузова мы встрѣчаемся съ тою же мыслью, хотя и не такъ еще рѣзко выраженной: «Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься въ ту *лживую форму европейскаго героя*, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія.» Я прошу читателя припомнить теперь ту характеристику, которую даетъ Толстой Наполеону и Кутузову. Собственно, это не характеристика, а противопоставленіе. То, что есть у Наполеона, непремѣнно отсутствуетъ у Кутузова. Наполеонъ проникнутъ сознаніемъ собственнаго величія; онъ самонадѣянъ, онъ знаетъ, что каждый его шагъ и слово принадлежитъ исторіи, и постоянно красуется, постоянно взвѣшиваетъ, что сказать, что сдѣлать; онъ убѣжденъ, что отъ него, отъ его генія зависитъ выиграть сраженіе, передвинуть многомилліонныя массы людей съ запада на востокъ или съ востока на западъ. Въ Кутузовѣ ничего этого нѣтъ. Тщеславіе, самомнѣніе, гордость, преувеличенное сознаніе собственной силы—это западный герой; простота, скромность, смиреніе—героизмъ русскій. Къ этимъ основнымъ чертамъ русскаго характера Толстой возвращается постоянно. О Пьерѣ Безуховѣ онъ говоритъ, напр.: «Два одинаково сильныя чувства неотразимо привлекли Пьера къ исполненію его намѣренія... Первое... другое было то *неопредѣленное, исключительно русское чувство презрѣнія ко всему условному, искусственному, человѣческому*—ко всему тому, что считается большинствомъ людей высшимъ благомъ міра...» Въ чемъ-же выражается это неопредѣленное исключительно русское чувство? «Это то чувство, говоритъ Толстой, вслѣдствіе котораго охотникъ-рекрутъ пропиваетъ послѣднюю копѣйку, запившій человѣкъ перебиваетъ зеркала и стекла безъ всякой видимой причины и зная, что это будетъ стоить ему его послѣднихъ денегъ,—то чувство, вслѣдствіе котораго человѣкъ, совершая (въ пошломъ смыслѣ) безумныя дѣла, какъ-бы пробуетъ свою личную власть и силу, заявляя присутствіе высшаго, стоящаго внѣ человѣческихъ условій суда надъ жизнью...» («Война и Миръ» т. III, стр. 500—501). Нельзя сказать, чтобы все это было особенно лестно. Графъ Толстой

однако не останавливается на этомъ и, давая характеристику различнымъ народностямъ, говоритъ: «Нѣмцы бываютъ самоувѣренными на основаніи отвлеченной идеи—науки, т. е. мнимаго знанія совершенной истины. Французъ бываетъ самоувѣренъ потому, что онъ почитаетъ себя лично, какъ умомъ, такъ и тѣломъ, непреодолимо обворожительнымъ какъ для мужчинъ, такъ и для женщинъ. Англичанинъ самоувѣренъ на томъ основаніи, что онъ гражданинъ благоустроеннѣйшаго государства въ мірѣ и потому, какъ англичанинъ, знаетъ всегда, что ему дѣлать нужно, и знаетъ, что все, что онъ дѣлаетъ, какъ англичанинъ, несомнѣнно хорошо. Итальянецъ самоувѣренъ потому, что онъ взволнованъ и забываетъ легко и себя, и другихъ. *Русскій самоувѣренъ именно потому, что онъ ничего не знаетъ и знать не хочетъ, потому что не вѣритъ, чтобы можно было вполнѣ знать что-нибудь.* Нѣмецъ самоувѣренъ хуже всѣхъ и тверже всѣхъ, и противнѣе всѣхъ, потому что онъ воображаетъ, что знаетъ истину, науку, которую онъ самъ выдумалъ, но которая для него есть абсолютная истина».

Опять-таки не лестно быть самоувѣреннымъ потому, что я ничего не знаю и знать ничего не хочу. А между тѣмъ несомнѣнно, что русскій характеръ и нелестныя (для меня напр.) черты этого характера прямо симпатичны гр. Толстому. Г-нъ Ціонъ на безъ основанія увѣряетъ даже, что не-русскаго человѣка Толстой и изобразить не можетъ иначе, какъ со злобой и сарказмомъ (Наполеонъ), съ ироніей и презрѣніемъ (Рамбаль, m-elle Бурьенъ). Въ французѣ Толстой видитъ только фразера, кривляку и хвастуна, хотя и очень добродушнаго; француженка—интриганка, произносящая съ закатомъ глазъ «ma mère, ma pauvre mère»...

Отчасти Ціонъ правъ. Всѣ типы иностранцевъ или русскихъ, зараженныхъ иностраннымъ вліяніемъ, у Толстого отрицательны. Пьеръ Безухій становится настоящимъ хорошимъ человѣкомъ только сблизившись съ «ними», съ массой и отдѣлавшись отъ заразы западнаго индивидуализма и западной вѣры въ разумъ. Самъ Толстой разочаровался въ европейцахъ за ихъ «западный духъ...»

Но «эта неспособность судить обо всемъ, что иностранное, происходитъ, по мнѣнію Ціона, не отъ незнанія, не отъ преднамѣренной враждебности» а отъ извѣстнаго склада ума,

пожалуй, структуры мозга, которая мѣшаетъ Толстому проникать въ геній другого народа, кромѣ русскаго.

По мнѣнію того-же Ціона Толстой нисколько не питаетъ ненависти къ европейскимъ народамъ и не испытываетъ слѣпого удивленія ко всему русскому. Слишкомъ ясновидящій, чтобы не замѣчать недостатковъ своихъ соотечественниковъ, онъ въ то же время слишкомъ искренній, чтобы не указывать на нихъ. Въ ряду многочисленныхъ національныхъ типовъ, разсѣянныхъ въ его романахъ, лишь очень немногіе внушаютъ къ себѣ симпатію... Его картины русскаго общества суть сатиры и тѣмъ болѣе жестокія, что тутъ уже одно сходство составляетъ горечь и что къ нимъ не примѣшивается задней мысли о томъ, что авторъ чернитъ намѣренно.

Все это какъ нельзя болѣе справедливо; несомнѣнно однако, что во время созданія «Войны и Мира» русскія симпатіи Толстого были энергичны и почти не допускали сомнѣній. Его преклоненіе передъ молчаливымъ героизмомъ народа заставило его преклониться и передъ русскимъ характеромъ... Платонъ Каратаевъ обрисованъ съ такой старательностью, такою любовью, какъ ни одно лицо въ романѣ, и сердце автора несомнѣнно на его сторонѣ...

Что-же особенно нравится Толстому въ русскомъ человѣкѣ? Прежде всего признаніе высшаго, стоящаго внѣ человѣческихъ условій суда надъ жизнью; а потомъ, какой-то странный жизнерадостный пессимизмъ.

Этотъ высшій, стоящій внѣ человѣческихъ условій судъ надъ жизнью иллюстрируется и разсказомъ Каратаева о купцѣ, несправедливо сосланномъ на вѣчныя каторжныя работы, и исторіей Пьера Безухова.

Въ разсказѣ Каратаева о купцѣ истина наконецъ открывается: «списали... послали бумагу, какъ слѣдоваетъ... Мѣсто дальнее, пока судъ да дѣло, пока всѣ бумаги списали какъ должно, по начальствамъ значитъ... До царя доходило. Пока что, пришелъ царскій указъ: выпустить купца, дать ему награжденья, сколько тамъ присудили; пришла бумага, стали старичка разыскивать... Гдѣ такой старичокъ, безвинно напрасно страдалъ? Отъ царя бумага вышла... Стали искать.—(Нижняя челюсть Каратаева вздрогнула).—А его ужъ Богъ простилъ, померъ... Такъ-то, соколикъ!—закончилъ Каратаевъ и долго, молча улыбаясь, смотрѣлъ передъ собой».

Есть значитъ высшій судъ надъ жизнью?..—Да, есть;—отвѣчаетъ Пьеръ Безухій въ минуту прозрѣнія, въ плѣну, въ грязи, въ униженіи.

«— Ха, ха, ха! смѣялся Пьеръ... И онъ проговорилъ вслухъ самъ съ собою:—Не пустилъ меня солдатъ... Поймали меня, заперли меня. Въ плѣну держатъ меня. Кого меня? Меня? Мою безсмертную душу! Ха, ха, ха!.. ха... ха... ха..!—смѣялся онъ съ выступавшими на глаза слезами. Онъ оглянулся вокругъ себя... Прежде громко шумѣвшій трескомъ костровъ и говоромъ людей, огромный бивакъ засыпалъ; красные огни костровъ потухали и блѣднѣли. Высоко въ свѣтломъ небѣ искрились звѣзды. Пьеръ взглянулъ въ небо, въ глубь уходящихъ, играющихъ звѣздъ. «И все это мое, и все это во мнѣ, и все это я! думалъ Пьеръ... И все это они поймали и посадили въ балаганъ, загороженный досками...» Онъ улыбнулся и пошелъ укладываться спать къ своимъ товарищамъ...»

Вотъ онъ судъ земной «загораживающій досками безсмертную душу человѣческую!...»

И рядомъ съ этимъ какой-то странный «жизнерадостный» пессимизмъ. Платонъ Каратаевъ—(а ему, кстати замѣтить, мы придаемъ *не меньшее* значеніе, чѣмъ придавалъ ему Толстой, сдѣлавъ его руководителемъ всей обновленной жизни главнаго героя романа—Безухова)—всегда веселъ, доволенъ, дѣятеленъ, всегда хлопочетъ, разговариваетъ, а между тѣмъ: «такъ-то другъ мой любезный, говоритъ онъ... Рокъ головы ищетъ. А мы все судимъ: то нехорошо, да то неладно.... *Наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ*: тянешь—надулось, а вытащишь — ничего нѣтъ». Припомните и опредѣленіе русской самоувѣренности; изреченію Каратаева позавидовалъ бы самъ Будда. Если дѣйствительно наше счастье — вода въ бреднѣ, то зачѣмъ же жить? а Каратаевъ хотя и зоветъ смерть Божьимъ прощеніемъ, думаетъ и о новыхъ важнѣющихъ портянкахъ и одерживаетъ бородинскія побѣды. Онъ даже веселъ, не напускной тщеславной веселостью преступника передъ казнью, а веселъ просто, органически, какъ хлопотливая ласточка...

Въ народныхъ типахъ Толстого неумолкаемо звучитъ пессимистическая и фаталистическая—(рокъ головы ищетъ)—струна. Та же струна слышна на каждой страницѣ «Войны и Мира», не смотря на все патріотическое и поразительное одушевленіе, съ какимъ написанъ романъ... Откуда это?

Ціонъ написалъ по этому поводу положительно интересное изслѣдованіе, съ выводами котораго я сейчасъ познакомлю читателя... «Отсутствіе стойкости, недостатокъ индивидуальной выдержки—такія черты характера не трудно обнаружить у большинства русскихъ. Возгараясь непомѣрнымъ энтузіазмомъ ко всякому начинанію, русскій человѣкъ скоро охладѣваетъ; встрѣчающіяся трудности, особливо если онѣ непредвидѣнныя и раздражающія, не замедлятъ охладить его пылъ. Вскорѣ онъ начинаетъ удивляться, что взялся за дѣло съ такою рьяностью». Этотъ недостатокъ выдержки дѣлаетъ уже человѣка склоннымъ къ пессимизму. «Въ русскомъ, продолжаетъ Ціонъ, слишкомъ значительна доза восточной крови, чтобы не отрѣшаться отъ индивидуализма. Но напротивъ, тѣмъ, что называютъ табуннымъ началомъ, онъ обладаетъ въ весьма сильной степени. Въ положеніи изолированномъ русскому не хватаетъ твердости, онъ отходитъ въ сторону и уступаетъ легко. Но ничто неспособно его заставить обратиться вспять, разъ что онъ чувствуетъ себя съ толпой. На міру и смерть красна».

Итакъ, по мнѣнію Ціона, становясь на точку зрѣнія своей націи, Толстой совершенно правъ, придавая мало значенія усиліямъ индивидуальной воли и напротивъ считая коллективную волю главнымъ двигателемъ.

Гдѣ же источники пессимистической окраски этой системы и этого міровоззрѣнія?.. Если физіологъ можетъ объяснять источникъ пессимистическаго настроенія нѣкоторыхъ философовъ условіями ихъ личной жизни (напр. слѣпота Дюринга, параличъ Гартмана и т. д.), то въ отношеніи Толстого сдѣлать это не легко. Ни природа, ни общество не были мачихами великаго писателя... Какъ разъ напротивъ. «Родовитость, значительное состояніе, наилучшія связи въ свѣтѣ, любящая и любимая семья, несравненные литературные успѣхи, небывалая слава, здоровье крѣпкое и цвѣтущее, обширныя познанія, пріобрѣтенныя безъ большихъ усилій—все это дано Толстому, какъ никому,—а онъ стыдится своихъ чудныхъ твореній, называетъ книгопечатаніе гибельнымъ изобрѣтеніемъ. Не странно ли все это?..»

Ціонъ разлагаетъ пессимизмъ графа Толстого на два элемента: племенной и личный. Не разъ было замѣчено, что какая-то печальная нотка преобладаетъ у всѣхъ безъ исключенія русскихъ поэтовъ, романистовъ, художниковъ, музыкантовъ. Поэты впадаютъ въ элегическій тонъ, романисты ста-

новятся реалистами и потому меланхоличными, какъ сама русская жизнь. Эта грустная нотка обязана воздѣйствію всей массы многообразныхъ условій русской дѣйствительности, начиная отъ суроваго климата, болѣзненной впечатлительности славянской натуры и кончая апатіей, порождаемой органическимъ убѣжденіемъ, что всякое доброе начинаніе должно роковымъ образомъ остаться безплоднымъ. Русскій человѣкъ какъ бы подавленъ грустными впечатлѣніями своей среды. Даже у такихъ юмористовъ, какъ Гоголь и Щедринъ, постоянно пробивается наружу меланхолическое настроеніе.

Таковъ племенной источникъ пессимизма, который можно назвать *подавленностью* личности. Личный же элементъ заключается, по мнѣнію Ціона, въ томъ, что, вступивъ въ свѣтъ, Толстой, какъ глубокій и проницательный психологъ, долженъ былъ сдѣлать неутѣшительныя наблюденія надъ дѣйствительностью. Чѣмъ ближе знакомился онъ съ какимъ-нибудь кружкомъ общества, тѣмъ непріятнѣе были его впечатлѣнія. Полной гармоніи жизни, которой требовала его душа, онъ не встрѣчалъ нигдѣ, да ея и нѣтъ на свѣтѣ. Такимъ образомъ Толстой сталъ жертвой своей несравненной проницательности, своего удивительнаго дара наблюденія. Съ юныхъ лѣтъ онъ уже смотритъ разочарованнымъ, получаетъ отвращеніе къ обществу и жизни. Не питая того благодушнаго презрѣнія, которое «спасаетъ отъ меланхоліи иныхъ разочарованныхъ людей, онъ отдается пессимизму»...

Я бы хотѣлъ отмѣтить и еще одинъ элементъ пессимизма Толстого—его пресыщеніе жизнью, отчасти по наслѣдству полученное, отчасти благопріобрѣтенное. Впрочемъ, самъ Ціонъ намекаетъ на это, говоря:

«Толстой творитъ легко. Чувствуется при чтеніи его произведеній, что образцовыя страницы въ нихъ вышли изъ головы писателя во всей своей красѣ, совершенно законченными, и не нуждаются ни въ какой ретуши. Къ столь счастливому дару присоединяется рѣдкое счастье, съ самаго начала своихъ литературныхъ дебютовъ, быть понятымъ, оцѣненнымъ и выдвинутымъ на видное мѣсто... Толстого осыпаютъ похвалами, лестными отзывами. Какое же вліяніе долженъ имѣть на него этотъ успѣхъ?

«Исповѣдь» повѣствуетъ объ этомъ откровенно и съ безусловной искренностью. Онъ презираетъ критику и своихъ читателей именно за то удивленіе, какимъ его награждаютъ, и онъ не безъ презрѣнія относится къ своимъ твореніямъ. Не измѣняя своей прямотѣ, своей честности, онъ приходитъ къ мысли, что онъ крадетъ деньги у публики, что его состояніе пріобрѣтено безчестно, что онъ—лишній тунеядецъ, подобно прочимъ своимъ

современникамъ. Съ непреклонною логикою, свойственной его расѣ, онъ весьма скоро убѣждается, что ручной трудъ—единственно честный, единственно достойный человѣка и, рѣшившись «идти въ народъ», нашъ писатель одѣвается «мужикомъ» и идетъ работать на поле.

Развѣ не это-же пресыщеніе, вызванное милліонами, праздной, легкой жизнью, праздной красавицей женой, заставило Пьера Безухова восчувствовать особенную прелесть голода, холода, жажды и вшей... даже вшей...? Излишекъ радости и излишекъ страданій всегда влекутъ къ недовольству и отвращенію отъ жизни.

Но какъ бы мы ни разлагали настроеніе Толстого, мы никогда не должны забывать, что наша жизнь сшита не по мѣркѣ великихъ людей. Тоска, грусть и отчаяніе почти неизбѣжны для слишкомъ богато одаренной натуры... „Вѣдь сердце поэта, говоритъ Гейне—центръ міра, какъ же не быть ему въ настоящее время разорваннымъ?»

## XII

## Кризисъ.

Мнѣ думается, что предыдущія главы должны были подготовить читателя къ наступленію кризиса въ душѣ Толстого, такъ какъ кризисъ этотъ никогда въ сущности не прекращался. Сомнѣнія и муки таились все время и наконецъ съ невѣроятной силой вырвались наружу. Случилось то же, что случается передъ нами на каждомъ пожарѣ: огонь сначала таится внутри зданія, языки пламени медленно переходятъ съ одного предмета на другой, лишь изрѣдка вырываясь сквозь окна или бросая на нихъ красное зарево. Но огонь окрѣпъ, пробрался сквозь крышу на свѣжій воздухъ и вдругъ зданіе вспыхиваетъ, какъ свѣча...

Что было ближайшимъ поводомъ кризиса—опредѣлить трудно. Да и нужно-ли искать этихъ ближайшихъ поводовъ? Они важны въ юности, важны для человѣка съ обыденнымъ умомъ, живущаго въ пріятной дремотѣ,—этому нуженъ толчокъ, встряска. Но Толстому въ описываемое время, т. е. во второй половинѣ 70-хъ годовъ, было уже около 56-ти лѣтъ, въ пріятной дремотѣ онъ не находился никогда. Его умъ работалъ неустанно. Когда корни растенія подкопаны, но остался еще одинъ тоненькій корешокъ, оно, хотя бы чахлое, все еще продолжаетъ

жить; но вотъ и этотъ корешокъ перерѣзанъ, и растеніе умираетъ. Подъ свои вѣрованія Толстой подкапывался всю жизнь, а въ какую минуту перерѣзалъ онъ послѣдній корешокъ—сказать нельзя. Онъ постоянно висѣлъ надъ пропастью отрицанія, висѣлъ держась за чахлый кустикъ, основу котораго грызли мыши. Рано или поздно кустикъ долженъ былъ оборваться, а человѣкъ слетѣть въ пропасть. Это собственное сравненіе Толстого. «Въ Исповѣди» онъ разсказываетъ о путникѣ, застигнутомъ въ пути разъяреннымъ звѣремъ. Спасаясь отъ звѣря, путникъ вскакиваетъ въ безводный колодезь. Но—увы—на днѣ колодца лежитъ драконъ съ разинутой пастью. Путникъ ухватывается за вѣтви растущаго въ расщелинѣ куста. Но кустъ рано или поздно долженъ оборваться, потому что двѣ мыши, черная и бѣлая, подтачиваютъ его стволъ съ разныхъ сторонъ. Путникъ видитъ это, понимаетъ, что онъ долженъ съ минуты на минуту упасть внизъ и погибнуть, и, видя и понимая все это, лижетъ засохшимъ языкомъ капли меда на листьяхъ куста.

Разъяренный звѣрь пустыни и драконъ—это смерть. Мыши—время, кустъ—жизнь... Капли меда—радости жизни... Пока есть медъ—есть и силы, и смыслъ, и призраки счастья...

«Такъ я жилъ, разсказываетъ Толстой о періодѣ своего «семейнаго счастья», но пять лѣтъ назадъ (1876 г.) со мною стало случаться что-то странное: на меня стали находить минуты сначала недоумѣнія, остановки жизни, какъ будто я не зналъ, какъ мнѣ жить, что мнѣ дѣлать, и я терялся и впадалъ въ уныніе.

Но это проходило, и опять я продолжалъ жить по прежнему. Потомъ эти минуты недоумѣнія стали повторяться чаще и все въ той же самой формѣ. Эти остановки жизни выражались всегда одинокими вопросами: зачѣмъ?... ну а потомъ?.. Сначала мнѣ казалось, что это такъ себѣ, безцѣльные, неумѣстные вопросы. Мнѣ казалось, что все это извѣстно и что если я захочу заняться ихъ ра рѣшеніемъ. то это не будетъ стоить мнѣ никакого труда, что теперь мнѣ н когда только этимъ заниматься, а когда вздумаю, тогда и отвѣты найду. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнѣе и настоятельнѣе требовались отвѣты и, какъ точки, падая все на одно мѣсто, сплотились эти вопросы безъ отвѣтовъ въ одно черное пятно. Я нашелъ, что это не случайное недомоганіе, а что-то очень важное; и что если повторяются все тѣ же вопросы, то надо отвѣтить на нихъ. Но только что я тронулъ ихъ и попытался разрѣшить эти казавшіеся мнѣ дѣтскими и простыми вопросы, я тотчасъ же убѣдился, что эти вопросы—самые глубокіе и важные въ жизни вопросы, и что сколько-бы я ни думалъ, я не могу разрѣшить ихъ. Прежде чѣмъ заняться самарскимъ имѣніемъ, воспитаніемъ сына, писаніемъ книги, надо знать, зачѣмъ я это буду дѣлать. Пока я не знаю—зачѣмъ, я не могу ничего дѣлать.

Ну, хорошо, у тебя будетъ 6 тысячъ десятинъ, 300 головъ лошадей, а потомъ?... И я совершенно опѣшивалъ и не зналъ, что думать дальше. Или, начиная думать о томъ, какъ я воспитаю дѣтей, я говорилъ себѣ: зачѣмъ?... Или, разсуждая о томъ, какъ народъ можетъ достигнуть благосостоянія, я вдругъ говорилъ себѣ: а мнѣ что за дѣло? Или, думая о славѣ, которую пріобрѣтутъ мнѣ мои сочиненія, я говорилъ себѣ: «Ну хорошо, ты будешь славнѣе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всѣхъ писателей въ мірѣ,—ну, и чтожъ?» И я ничего, ничего не могъ отвѣтить.

Остановилась тогда моя жизнь. Я могъ дышать, ѣсть, пить, спать, и не могъ не дышать, не ѣсть, не спать, но жизни не было, потому что не было такихъ желаній, удовлетвореніе которыхъ я находилъ бы разумнымъ. Если я желалъ чего, я впередъ зналъ, что удовлетворю или не удовлетворю мое желаніе—изъ этого ничего не выйдетъ. Если есть у меня не желанія, но привычки желаній прежнихъ, въ трезвыя минуты я знаю, что это—обманъ, что желать нечего. Какая то непреодолимая сила влекла меня къ тому, чтобы какъ нибудь избавиться отъ жизни. Мысль о самоубійствѣ была такъ соблазнительна, что я долженъ былъ употреблять противъ нея хитрости, чтобы не привести ее слишкомъ скоро въ исполненіе. Я не хотѣлъ торопиться только потому, что хотѣлось употребить всѣ усилія, чтобы распутаться. Если не распутаюсь, то всегда успѣю, говорилъ я себѣ... И это сдѣлалось со мною тогда, когда я былъ совершенно счастливъ—все у меня было: семья прекрасная, средства большія и все возраставшія, слава, уваженіе ближнихъ, здоровье, сила тѣлесная и душевная, кажется все...

Я ужс ничему въ жизни не могъ придать никакого разумнаго смысла. Все это такъ давно всѣмъ извѣстно. Не нынче, завтра придутъ болѣзни и смерть на любимыхъ людей, на меня, и ничего не останется, кромѣ смрада и червей. Дѣла мои, какія-бы они ни были, забудутся всѣ раньше или позже—это все равно. И, главное—меня не будетъ. Такъ изъ чего же хлопотать? Прежній обманъ радостей житейскихъ, заглушавшій ужасъ смерти, уже не обманывалъ меня. Сколько ни говорили мнѣ: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи,—я не могъ уже этого дѣлать, потому что слишкомъ долго дѣлалъ это прежде. Теперь я не могъ не видѣть дня и ночи, бѣгущихъ и ведущихъ меня къ смерти...

Тѣ двѣ капли меда, которыя дольше другихъ отводили мнѣ глаза отъ жестокой истины,—любовь къ семьѣ и къ писательству, которое я называлъ искусствомъ, — уже стали не сладки мнѣ. Семья?—говорилъ я себѣ,—но семья—жена, дѣти, они тоже люди. Они тоже должны или жить во лжи, или видѣть ужасную истину. Зачѣмъ же мнѣ жить? Зачѣмъ мнѣ любить ихъ, беречь, растить... и блюсти ихъ?—говорилъ Левинъ, рыдая. — Для того-же отчаянія, которое во мнѣ, или тупоумія? Любя ихъ, я не могу скрывать отъ нихъ истины, всякій шагъ въ познаніи приведетъ ихъ къ истинѣ. А истина—смерть... Искусство, поэзія? Долго подъ вліяніемъ успѣха, похвалы людской я увѣрялъ себя, что смерть, которая уничтожитъ—и дѣла мои, и память о нихъ ничтожна. Но скоро я увидѣлъ, что и это обманъ. Мнѣ ясно было, что искусство есть

украшеніе жизни, заманка къ ней. Но жизнь потеряла для меня всю заманчивость,—какъ же я могу заманивать другихъ? Пока я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ, хоть я и не умѣю выразить его,—отраженіе жизни въ искусствѣ доставляло мнѣ радость, мнѣ весело было смотрѣть на жизнь въ это зеркальце искусства. Но когда я сталъ отыскивать смыслъ жизни, зеркальце это стало мнѣ или мучительно, или ничтожно...

Зеркальце теперь говорило, что положеніе мое отчаянно и глупо; этимъ я не могъ утѣшаться. Хорошо мнѣ было любоваться его отраженіями, когда я вѣрилъ, что жизнь имѣетъ смыслъ. Тогда эта игра свѣтовъ—комическаго, трагическаго, трогательнаго, прекраснаго, ужаснаго въ жизни потѣшала меня. Но когда я узналъ, что жизнь безсмысленна и ужасна, игра въ зеркальце не могла уже забавлять меня. Но и этого мало. Если эта истина всегда была мнѣ извѣстна, я бы могъ быть спокойнымъ, зная, что это мой удѣлъ. Если бы я былъ, какъ человѣкъ, отъ рожденія безвыходно живущій въ лѣсу, изъ котораго онъ знаетъ, что выхода нѣтъ, я бы могъ жить.

Но я былъ какъ человѣкъ, заблудившійся въ лѣсу, на котораго нашелъ ужасъ отъ того, что онъ заблудился, и онъ мечется, желая выбраться на дорогу; знаетъ, что всякій шагъ еще больше путаетъ его, и не можетъ не метаться. Это было ужаснѣе всего... И чтобы избавиться отъ этого ужаса, я хотѣлъ убить себя. Я испытывалъ ужасъ передъ тѣмъ, что ожидаетъ меня, зналъ, что этотъ ужасъ ужаснѣе самаго положенія, но не могъ терпѣливо ждать конца. Какъ ни убѣдительно было разсужденіе о томъ, что все равно разорвется сосудъ въ сердцѣ или лопнетъ что нибудь, и все кончится,—я не могъ терпѣливо ожидать конца. Ужасъ тьмы былъ слишкомъ великъ, и я хотѣлъ поскорѣй, поскорѣе избавиться отъ него петлей или пулей. И вотъ это то чувство сильнѣе всего влекло меня къ самоубійству»...

Толстой по обыкновенной своей привычкѣ, разъ дѣло касается личной его жизни, говоритъ слишкомъ обще: «на него стали находить минуты унынія, жизнь его остановилась» и т. д. «Вкушая вкусихъ мало меду и се азъ умираю»—вотъ смыслъ предыдущихъ строкъ. Медъ исчезъ, возможность и охота наслаждаться медомъ исчезла—корень жизни надломился и великій человѣкъ на вершинѣ человѣческой славы опять стоитъ съ глазу на глазъ съ роковой тайной бытія и вперивъ въ безконечную пустоту вселенной свой испытующій взглядъ, спрашиваетъ себя: зачѣмъ, къ чему?

Кто-же разскажетъ, что тайна отъ вѣка,
Въ чемъ состоитъ существо человѣка...
Кто онъ? Откуда, куда онъ идетъ?
Кто тамъ вверху надъ звѣздами живетъ?

Это страшный вопросъ и правъ поэтъ, говоря:

Сколько головъ безпокойныхъ томилъ онъ,
Сколько имъ муки принесъ!

И вотъ счастливѣйшій изъ смертныхъ гр. Толстой прячетъ отъ себя шнурокъ, чтобы не повѣситься, и не ходитъ на охоту, чтобы не соблазниться слишкомъ легкимъ способомъ избавленія себя отъ жизни. Что-же такое жизнь? спрашиваетъ себя этотъ счастливѣйшій изъ смертныхъ и отвѣчаетъ: Кѣмъ-то сыгранная надъ нами злая и глупая шутка... Онъ смотритъ на веселыя, смѣющіяся лица дѣтей, на другія знакомыя, любимыя лица и думаетъ: пройдутъ года, и въ сущности немного лѣтъ всего, и замолкнетъ этотъ смѣхъ, и не останется ничего кромѣ смрада и червей. Что я и «вѣчность»? Обидный страшный звукъ—не больше.

Толстой говоритъ, что онъ «боялся жизни», «стремился отъ нея». Я думаю, что онъ всего сильнѣе боялся смерти. Приближающаяся старость, сѣдина и морщины, болѣзни—все это направляло умъ къ той странѣ, откуда не возвращался еще никто. Съ точки зрѣнія смерти, все суета, все глупо, не нужно, пусто. Дойти до такого настроенія, когда, смотря на смѣющіяся красныя губы, воображаешь ихъ себѣ изъѣденными червями, или, видя передъ собой лучистые, полные жизни глаза, думаешь о безобразныхъ впадинахъ черепа, набитыхъ землей и червями—значитъ не жить уже больше. Мы сейчасъ ближе ознакомимся съ этимъ процессомъ смерти и возрожденія. Но пока одно маленькое замѣчаніе.

Чѣмъ живъ человѣкъ? Своей привязанностью къ жизни прежде всего. Она не иллюзія, а мать всѣхъ иллюзій, надеждъ, ожиданій,—она источникъ силы, стремленія, радости. Разъ исчезла она, изчезло все. Привязанность къ жизни—инстинктъ, онъ не выдерживаетъ критики съ точки зрѣнія разума и не нуждается въ этой критикѣ. Я думаю даже, что такая критика преступна. Это понималъ Лермонтовъ, когда писалъ: я не хочу...

Чтобъ тайный ядъ страницы знойной
Смутилъ ребенка умъ спокойный
И сердце слабое увлекъ
Въ свой необузданный потокъ...

О, нѣтъ, *преступною* мечтою
Не ослѣпляя мысль мою,
Такой тяжелою цѣною
Я вашей славы не куплю...

Уничтожать въ другомъ привязанность къ жизни—преступная мечта. Это все, что есть у человѣка, это богатство всѣхъ его дней; отнимать его то же, что отнимать у нищаго суму и корку хлѣба у голоднаго. Когда паралитикъ Гартманъ говоритъ, что жизнь скучна—это не бѣда; но когда онъ съ нѣмецкой аккуратностью и несомнѣннымъ блестящимъ и лов-

кимъ діалектическимъ талантомъ начинаетъ перечислять всѣ радости бытія и подкапываться подъ чувство любви, дружбы, вѣры, счастья, я полагаю, что онъ совершаетъ преступленіе. Привязанность къ жизни—сумма всѣхъ инстинктовъ жизни, ихъ равнодѣйствующая, это таинственный жизненный элексиръ алхиміи; величіе разума въ томъ, чтобы увеличивать его, давать ему свободу проявленія, предохранять его отъ ошибокъ, но не заражать его тайнымъ ядомъ сомнѣнія. Сомнѣніе должно остановиться здѣсь; идти далѣе преступно. Такое страшное преступленіе совершилъ Гамлетъ, хотя онъ и любилъ Офелію болѣе, чѣмъ сорокъ тысячъ братьевъ. Онъ влюбленной, милой, полной жизни дѣвушкѣ показывалъ лишь черепъ и могильныхъ червей, онъ послалъ ее въ монастырь. Прямое убійство лучше и честнѣе, чѣмъ эта медленная отвратительная инквизиція.

Толстой подвергъ критикѣ разума самую привязанность къ жизни и дошелъ до мысли о самоубійствѣ. Это необходимо и логично. Онъ сообщилъ о своихъ сомнѣніяхъ всѣмъ, всему міру—это было бы преступленіемъ, если бы кризисъ его не кончился возрожденіемъ. Поэтому безъ боли и ужаса можемъ мы слѣдить за дальнѣйшими исканіями великой души. Эти исканія не приведутъ насъ къ глухому переулку и выведутъ на дорогу, по которой идти или не идти наше дѣло; все же дорога есть даже для Толстого.

Толстой обратился къ наукѣ. Спрашивая у одной стороны человѣческихъ знаній, онъ получилъ безконечное количество темныхъ отвѣтовъ о томъ, чего не спрашивалъ: о химическомъ составѣ звѣздъ, о происхожденіи видовъ и человѣка, о формахъ безконечно легкихъ невѣсомыхъ частицъ эфира, но отвѣта на вопросъ, въ чемъ смыслъ жизни, онъ не получилъ и разумѣется не могъ его получить, потому что наука этимъ вопросомъ не занимается и заниматься не можетъ. Все равно, какъ я не пойду въ X-й томъ законовъ справляться о томъ, что такое нравственность, и не долженъ обращаться къ китайской грамматикѣ, чтобы узнать, какъ излѣчиться мнѣ отъ болѣзни—такъ за рѣшеніемъ вопроса о смыслѣ жизни мнѣ нечего читать Дарвина, Лапласа, Лавуазье, Ляйеля. Смыслъ жизни—это конечная цѣль жизни, а ни о какихъ конечныхъ цѣляхъ наука не разсуждаетъ, давно уже убѣдившись, что такія разсужденія безплодны и невозможны.

Толстой обратился къ философіи. Здѣсь онъ, повидимому,

нашелъ выходъ изъ своего положенія, но этотъ выходъ былъ какъ разъ тотъ, который наводилъ на него такой ужасъ. Этимъ выходомъ была смерть. Онъ называетъ Сократа, Соломона, Будду, Шопенгауэра глубочайшими умами человѣчества. Чему же учатъ они? Толстой такъ формулируетъ ихъ воззрѣнія: «Къ чему мы, любящіе истину, стремимся въ жизни? Къ тому, чтобы освободиться отъ тѣла и отъ всего зла, вытекающаго изъ жизни тѣла. Если такъ, то какъ же намъ не радоваться, когда смерть приходитъ къ намъ? «Мы приблизимся къ истинѣ лишь настолько, насколько удалимся отъ жизни, говорилъ Сократъ, готовясь къ смерти. Мудрецъ всю жизнь ищетъ смерти и потому смерть не страшна ему».

Итакъ смыслъ жизни въ смерти?

Толстой обратился къ людямъ своего круга и нашелъ у нихъ четыре выхода изъ сомнѣній. Первый выходъ есть выходъ невѣдѣнія, состоящій въ томъ, чтобы не знать и не понимать того, что жизнь есть зло и безсмыслица. Второй выходъ есть выходъ эпикурейства. Человѣкъ знаетъ безнадежность своего положенія и все же говоритъ, какъ нѣкогда Соломонъ: «ѣшь съ веселіемъ хлѣбъ свой и пей въ радости сердца вино твое»... Третій выходъ—самоубійство. Четвертый—слабость и малодушіе. Понимая, что жизнь есть зло и безсмыслица, люди все же тянутъ ее.

Разумѣется, ни одного изъ этихъ четырехъ выходовъ не могъ принять Толстой, потому что нельзя не знать того, что знаешь, и не понимать того, что понимаешь.

И онъ обратился къ тому, кто всегда спасалъ его, кто всегда съ ласковой, доброй улыбкой протягивалъ ему, утопающему, руку—къ народу, массѣ.

«Благодаря, говоритъ онъ, какой-то странной физической любви къ настоящему рабочему народу, заставившей меня понять его и увидѣть, что онъ не такъ глупъ, какъ мы думаемъ, — я чуялъ, что если я хочу понимать смыслъ жизни, то искать этого смысла жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые утеряли его и хотятъ убить себя, а у тѣхъ милліардовъ живущихъ и отжившихъ людей, которые дѣлаютъ и на себѣ несутъ свою и нашу жизнь. И я оглянулся на огромныя массы людей, жившихъ вокругъ меня»...

«Вѣра—сила жизни.» Къ этому выводу пришелъ Толстой и противъ такого вывода никто никогда ничего возразить не можетъ. Вѣра—это воля жизни, сосредоточившаяся возлѣ одного опредѣленнаго стремленія и дающая смыслъ и цѣль всему нашему бытію.

Но гдѣ и какъ найти эту вѣру? Вопросъ, повидимому, не-

разрѣшимый. Если я ничего не хочу (кромѣ удовлетворенія самыхъ элементарныхъ потребностей), то кто заставитъ или научитъ меня хотѣть; если я ни къ чему не стремлюсь, то что заставитъ или научитъ меня стремиться? Знаніе пріобрѣтается легко, но пріобрѣсти вѣру, когда ея нѣтъ, большинству кажется совершенно невозможнымъ. Эту самую невозможность испыталъ и Толстой, пока не пришелъ наконецъ къ правилу: «живи по вѣрѣ, и ты повѣришь...» Но пришелъ онъ къ этому не сразу. Не мало времени искалъ онъ вѣры такъ же, какъ мы ищемъ знанія. Онъ обращался къ монахамъ, странникамъ и священникамъ, онъ ходилъ въ Оптинскую пустынь, онъ запирался каждое утро въ кабинетѣ и молился, онъ постился, говѣлъ. Наконецъ онъ сталъ изучать Евангеліе и вчитываться въ его безсмертныя слова, продолжая собирать въ то же время «свѣдѣнія о вѣрѣ», если можно такъ выразиться. Онъ сближался съ католиками, протестантами, раскольниками, старообрядцами, молоканами, изучалъ еврейскій языкъ подъ руководствомъ московскаго раввина Минора, все стремясь къ тому-же—къ пониманію Евангелія... Нѣсколько лѣтъ провелъ онъ въ этой умственной напряженной работѣ, познакомился со всѣми толкованіями, накопилъ массу спеціальныхъ знаній, самъ комментировалъ, продолжая страдать, наслаждаться и сомнѣваться... Такъ разсказываетъ онъ объ этихъ своихъ занятіяхъ:

«Я прожилъ на свѣтѣ 55 лѣтъ и, за исключеніемъ 14—15 дѣтскихъ, 35 лѣтъ я прожилъ нигилистомъ въ настоящемъ смыслѣ этого слова, то-есть не соціалистомъ и революціонеромъ, какъ обыкновенно понимаютъ это слово, а нигилистомъ въ смыслѣ отсутствія вѣры.

«Пять лѣтъ тому назадъ я повѣрилъ въ ученіе Христа, и жизнь моя *вдругъ* перемѣнилась: мнѣ перестало хотѣться того, чего прежде хотѣлось, и стало хотѣться того, чего прежде не хотѣлось. То, что прежде казалось мнѣ хорошо, показалось дурно, и то, что прежде казалось дурно, показалось хорошо. Случилось со мной то, что случается съ человѣкомъ, который вышелъ за дѣломъ и вдругъ рѣшилъ дорогой, что дѣло это ему совсѣмъ не нужно, и повернулъ домой. И все, что было справа, стало слѣва, и все, что было слѣва, стало справа: прежнее желаніе быть какъ можно дальше отъ дома перемѣ-

нилось на желаніе быть какъ можно ближе отъ него. Направленіе моей жизни—желанія стали другими: и доброе, и злое перемѣнилось мѣстами.

«Я такъ же, какъ разбойникъ на крестѣ, повѣрилъ ученію Христа и спасся. И это не далекое сравненіе, а самое близкое выраженіе того душевнаго состоянія отчаянія и ужаса передъ жизнью и смертью, въ которомъ я находился прежде, и того состоянія спокойствія и счастья, въ которомъ я нахожусь теперь. Я, какъ разбойникъ, зналъ, что жилъ и живу скверно, видѣлъ, что большинство людей вокругъ меня живутъ такъ же. Я такъ же, какъ разбойникъ, зналъ, что я несчастливъ, страдаю и что вокругъ меня люди также несчастливы и страдаютъ, и не видалъ никакого выхода, кромѣ смерти, изъ этого положенія. Я такъ же, какъ разбойникъ, къ кресту былъ пригвожденъ какой-то силой къ этой жизни страданій и зла. И какъ разбойника ожидалъ страшный мракъ смерти послѣ безсмысленныхъ страданій и зла жизни, такъ и меня ожидало то же» (1883 г.).

## XIII

## Ученіе Толстого.

Мы остановимся только на самыхъ существенныхъ пунктахъ:

1) *Основная идея жизни—идея религіозная.*

«Какъ ни храбрись,—говоритъ Толстой,—привилегированная наука съ философіей, увѣряя, что она рѣшительница и руководительница умовъ, она не руководительница, а слуга. Міросозерцаніе всегда дано ей религіей готовое, и наука только работаетъ на пути, указанномъ ей религіей. Религія открываетъ смыслъ жизни людей, а наука прилагаетъ этотъ смыслъ къ различнымъ сторонамъ жизни».

Ту же самую мысль онъ повторяетъ постоянно. Напр.:

«Философія, наука, общественное мнѣніе говорятъ: ученіе Христа неисполнимо потому, что жизнь человѣка зависитъ не отъ одного свѣта разума, которымъ онъ можетъ освѣтить самую эту жизнь, а отъ общихъ законовъ, и потому не надо освѣщать

эту жизнь разумомъ и жить согласно ему, а надо жить какъ живется, твердо вѣруя, что по законамъ прогресса историческаго, соціологическаго и другихъ, послѣ того, какъ мы очень долго будемъ жить дурно, наша жизнь сдѣлается сама собой очень хорошей»...

Такія нападки на науку и презрительный тонъ по адресу законовъ «историческихъ», «соціологическихъ» и другихъ не должны удивлять насъ. Наука никогда ничего не могла дать Толстому, потому что, какъ мы видѣли уже раньше, онъ спрашивалъ ее совсѣмъ не о томъ, о чемъ можно спрашивать науку.

Но если мы оставимъ въ сторонѣ слишкомъ рѣзкую формулировку Толстого, въ чемъ онъ постоянно грѣшитъ, говоря о наукѣ или философіи, и посмотримъ лишь на остовъ мысли, выраженной въ предыдущихъ словахъ, то найдемъ въ немъ, этомъ остовѣ мысли, совершенно справедливое указаніе на одну существенную черту научнаго и философскаго мышленія—именно на признаніе *«необходимости» въ жизни*. Наука и философія не могутъ такъ безпредѣльно вѣрить въ силу человѣческаго разума, какъ вѣритъ въ нее гр. Толстой. Наука и философія разсматриваютъ и изучаютъ человѣка не самого по себѣ взятаго, а въ отношеніи ко вселенной, къ исторіи, къ тому, что дѣлалось милліоны лѣтъ тому назадъ и будетъ дѣлаться милліоны лѣтъ спустя, когда насъ лично не было и не будетъ. Отсюда и различіе въ оцѣнкѣ. Поставивши человѣка рядомъ съ Казбекомъ или Монбланомъ, мы найдемъ, что онъ—предметъ очень малый съ виду; но поставивъ его рядомъ съ мухой, найдемъ, что онъ—существо довольно обширныхъ размѣровъ. Говоря о личной жизни и даже жизни отдѣльнаго поколѣнія въ сравненіи съ прошлой и будущей судьбой всего человѣчества и всей вселенной, мы едва-ли придадимъ имъ ту важность, которую необходимо придадимъ, разъ посмотримъ какъ на нѣчто самостоятельно сущее. Астрономъ, изучая образованіе вселенной, геологъ—образованіе земной коры, физикъ и химикъ—свойства и дѣятельность элементовъ, историкъ—прошлое человѣка, никакъ не могутъ проникнуться безусловнымъ уваженіемъ къ разуму человѣческому, потому что до сей поры они ни на чемъ не видѣли его слѣдовъ, или-же эти слѣды такъ же незначительны, какъ слѣды ребенка на гранитной скалѣ. Даже, повторяю, историкъ смѣло можетъ спросить себя, что-же

сдѣлалъ человѣческій разумъ? *Пока* слишкомъ мало. Величайшіе факты нашей новой европейской исторіи—переселеніе народовъ, паденіе крѣпостничества, развитіе капиталистической системы хозяйства—не носятъ на себѣ ни малѣйшихъ слѣдовъ разума человѣческаго. На какомъ-же основаніи можно возлагать на этотъ послѣдній такія большія надежды? Не говоря уже о томъ, что и понять-то что-нибудь очень трудно при несомнѣнной умственной косности и умственной забитости большинства людей—перевести это пониманіе въ дѣйствія въ 999 случаяхъ изъ 1000 прямо невозможно. Гр. Толстой утверждаетъ однако, что это очень легко. «*Только-бы,* говоритъ онъ, люди перестали себя губить и ожидать, что кто-то придетъ и поможетъ имъ»...

Только-бы... только... да въ этомъ «только» вся суть и заключается.

Но съ этой преувеличенной вѣрой Толстого въ силу человѣческаго разума и воли, съ его благороднымъ, хотя и утопическимъ убѣжденіемъ, что жизнь перемѣнится сразу, если мы того захотимъ и повѣримъ,—мы еще встрѣтимся. Пока-же, второй пунктъ, который гласитъ:

2) *Религіозная идея практична,* т. е. ведетъ человѣка не къ созерцанію, а къ дѣятельности, поступкамъ. Она даетъ человѣку правила жизни и прежде всего выводитъ его изъ заколдованнаго круга личнаго эгоизма.

Можно ли удовлетвориться личной своей жизнью? Графъ Толстой рѣшительно это отрицаетъ.

Всѣ тѣ безчисленныя дѣла, которыя мы дѣлаемъ для себя, въ будущемъ не нужны; все это обманъ, которымъ мы сами обманываемъ себя. Притчей о виноградаряхъ Христосъ разъясняетъ этотъ источникъ заблужденія людей..., заставляющаго ихъ принимать призракъ жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную. Люди, живя въ хозяйскомъ обработанномъ саду, вообразили, что они собственники этого сада. И изъ этого ложнаго представленія вытекаетъ рядъ безумныхъ и жестокихъ поступковъ, кончающихся ихъ изгнаніемъ, исключеніемъ изъ жизни; точно такъ-же мы вообразили себѣ, что жизнь каждаго изъ насъ есть наша личная собственность, что мы имѣемъ право на нее и можемъ пользоваться ею какъ хотимъ, ни передъ кѣмъ не имѣя никакихъ обязательствъ. По ученію Христа люди должны «понимать и чувство-

вать», что со дня рожденія и до смерти они всегда въ неоплатномъ долгу передъ кѣмъ-то, передъ жившими до нихъ и передъ живущими и имѣющими жить, и передъ тѣмъ, что было и есть и будетъ началомъ всего».

Нѣсколькими строками ниже Толстой говоритъ и понятнѣе: «жизнь истинная есть только та, которая продолжаетъ жизнь прошедшую, содѣйствуетъ благу жизни современной и благу жизни будущей».

Хотя мысль эта выражена въ очень общей и потому совершенно неубѣдительной формѣ, я все-же думаю, что ни наука, ни философія ничего противъ нея возразить не могутъ. Человѣкъ какъ личность на самомъ дѣлѣ находится въ неоплатномъ долгу передъ жившими, живущими и имѣющими жить, и давно уже не только сказано, но и доказано, что одинъ предоставленный самому себѣ, онъ, можетъ съ успѣхомъ развѣ обрости шерстью. Толстой вообще не устаетъ называть личную жизнь призракомъ—призрачной, откуда совершенно естественно вытекаетъ выводъ, что истинная жизнь можетъ быть основана лишь на «отреченіи отъ себя для служенія людямъ».

3) *Современное ученіе міра противорѣчитъ ученію Христа.* Толстой постоянно возвращается къ этой мысли и, надо согласиться, въ этомъ сила его ученія.

Онъ шелъ какъ-то по Москвѣ и увидѣлъ сторожа, грубо отгонявшаго нищаго отъ воротъ, гдѣ нищимъ стоять было воспрещено. «Евангеліе читалъ?» спросилъ сторожа Толстой. «Читалъ».—«А читалъ: «и кто накормитъ голоднаго...!» Я сказалъ ему это мѣсто. Онъ зналъ его, выслушалъ. И я видѣлъ, что онъ смущенъ. Ему видно больно было чувствовать, что онъ, отлично исполняя свою обязанность, гоняя народъ оттуда, откуда велѣно гонять, вдругъ оказался неправъ. Онъ былъ смущенъ и видимо искалъ отговорки. Вдругъ въ умныхъ черныхъ глазахъ его блеснулъ свѣтъ; онъ повернулся ко мнѣ бокомъ, какъ бы уходя. «А нашъ уставъ читалъ?» спросилъ онъ. Я сказалъ, что не читалъ. «Такъ и не говори», сказалъ сторожъ, тряхнувъ побѣдоносно головой и, запахнувъ тулупъ, молодецки пошелъ къ своему мѣсту. Это былъ единственный человѣкъ во всей моей жизни, строго логически разрѣшившій тотъ вѣчный вопросъ, который при нашемъ общественномъ строѣ стоялъ передо мною и стоитъ передъ каждымъ, называющимъ себя христіаниномъ».

Ученіе Христа построено на любви и братствѣ, наша жизнь

на силѣ. Сильный преобладаетъ надъ слабымъ, ученый надъ глупымъ, богатый надъ бѣднымъ, талантливый надъ безталаннымъ.

Что-же дѣлать? Прежде всего *одуматься* и спросить себя: приноситъ-ли мнѣ счастье та самая жизнь, на которую я трачу всѣ свои силы? Двухъ отвѣтовъ на этотъ вопросъ, по словамъ Толстого быть не можетъ. Мы живемъ по ученію міра, думаемъ о накопленіи богатствъ, о превосходствѣ надъ другими, о галантномъ воспитаніи дѣтей своихъ, хлопочемъ, безпокоимся, мучаемся и все это изъ за чего? Изъ за такихъ пустыхъ вещей, какъ чтобы жить какъ люди, или чтобы не жить хуже другихъ людей. Толстой одумался и пришелъ къ тому выводу, что: «въ своей исключительно въ мірскомъ смыслѣ счастливой жизни я наберу страданій, понесенныхъ мною во имя ученія міра, столько, что ихъ стало бы на хорошаго мученика во имя Христа. Всѣ самыя тяжелыя минуты моей жизни, начиная отъ студенческаго пьянства и разврата до дуэлей, войны и до того нездоровья и тѣхъ неестественныхъ и мучительныхъ условій жизни, въ которыхъ я живу теперь—все это есть мученичество во имя ученія міра. Да, я говорю про свою, еще исключительно счастливую въ мірскомъ смыслѣ жизнь. Мы не видимъ всей трудности и опасности исполненія ученія міра только потому, что мы считаемъ, что все, что мы переносимъ для него, необходимо».

«Пройдите по большой толпѣ людей, особенно городскихъ, и вглядитесь въ эти истомленныя тревожныя лица, и потомъ вспомните свою жизнь и жизнь людей, подробности которой вамъ удалось узнать; вспомните всѣ тѣ насильственныя смерти, всѣ тѣ самоубійства, о которыхъ вамъ довелось слышать, и спросите: во имя чего всѣ эти страданія, отчаяніе и горе, приводящія къ самоубійствамъ?»

Отвѣтъ Толстого простъ: мы мученики ученія міра. Оно, противоположное ученію Христа, ведетъ насъ къ братоубійственной борьбѣ, злобѣ, ненависти, ожесточенному одиночеству. Оно заставляетъ насъ желать гибели ближняго и опускаетъ руку, протянутую на помощь ему. Оно ставитъ для нашей дѣятельности не нужныя и пустыя цѣли, преслѣдуя которыя мы совершенно забываемъ объ истинномъ смыслѣ жизни. И это забвеніе не проходитъ даромъ: мы расплачиваемся за него преступленіями, самоубійствами, тяжелымъ и постояннымъ чувствомъ недовольства и неудовлетворенности. Гонясь за призра-

ками мірскихъ идеаловъ, мы ощущаемъ лишь пустоту и утомленіе. Въ нашей жизни нѣтъ *счастливыхъ* людей. «Поищите,—говоритъ Толстой,—между этими людьми и найдите отъ бѣдняка до богача человѣка, которому-бы хватало то, что онъ зарабатываетъ, на то, что онъ считаетъ нужнымъ, необходимымъ по ученію міра, и вы увидите, что не найдете и одного на тысячу. Всякій бьется изо всѣхъ силъ, чтобы пріобрѣсти то, что не нужно для него, но что требуется отъ него ученіемъ міра и отсутствіе чего онъ считаетъ для себя несчастіемъ. И какъ только онъ пріобрѣтетъ то, что требуется отъ него, потребуется еще другое и еще другое, и такъ безъ конца идетъ эта сизифова работа, губящая жизнь людей».

Итакъ, виновато «ученіе міра», и виновато прежде всего потому, что никогда, ни при какихъ усиліяхъ не обезпечиваетъ человѣку счастья. Преступленія и самоубійства, разрывныя бомбы и казни, чума и неурожаи, бунты и драки—вотъ повидимому тотъ матеріалъ, которымъ наполняется наше ежедневное существованіе. Изрѣдка выступаетъ на сцену какой нибудь «отрадный фактъ», такой микроскопическій, что сравнительно съ окружающимъ его зломъ онъ представляется камешкомъ, катящимся по крутизнѣ Казбека, и робкимъ блескомъ фонаря передъ темнотой пропасти, куда не достигаютъ даже лучи солнца. Гдѣ-же тутъ говорить о счастьѣ?... Чтобы было счастье, надо прежде всего держаться по Толстому знаменитаго правила:

4) *Не противься злу.*

Я совсѣмъ не оптимистъ и живу въ томъ убѣжденіи, что какъ ни страшно то зло, которое мы знаемъ, оно не составляетъ и сотой доли того зла, котораго мы не знаемъ. Мы не знаемъ и не можемъ знать, какъ страдаетъ мать, на рукахъ которой умираетъ голодный ребенокъ; мы не знаемъ и не можемъ знать, что испытываетъ человѣкъ, когда надъ нимъ опускается топоръ гильотины. Для насъ это гіероглифы. И однако, несмотря на такой взглядъ на вещи, я полагаю, что Толстой слишкомъ сгущаетъ краски. Онъ сгущаетъ ихъ, когда говоритъ, что страданій, перенесенныхъ имъ лично въ его исключительно счаст-

ливой жизни, хватило-бы на добраго христіанскаго мученика; сгущаетъ краски и тогда, когда говоритъ, что ученіе міра—одно сплошное зло.

Я не буду говорить банальной и пошлой фразы, что рядомъ со зломъ существуетъ и добро, рядомъ съ человѣконенавистничествомъ проявляется состраданіе... ну, филантропія, что-ли. Богъ съ ними. и съ добромъ нашей жизни, и съ филантропіей, такъ какъ очевидно не въ нихъ дѣло.

Я спрашиваю себя: что такое добро?—Добро—наслажденіе, и сумма этихъ наслажденій составляетъ счастье. Зло—страданіе. Въ результатѣ счастья—продолженіе жизни, въ результатѣ страданія—прекращеніе жизни, т. е. смерть. Смерть неминуема, если сумма наслажденій меньше суммы страданій; жизнь возможна лишь при томъ условіи, чтобы сумма наслажденій перевѣшивала сумму страданія. Это элементарный выводъ біологіи, и ясно, что вытекаетъ изъ него.

Пусть не Толстой. а другой кто нибудь, хотя-бы второй Шопенгауэръ или Гартманъ, составятъ списокъ всѣхъ проявленій зла. Исписавъ три стопы бумаги, они увидятъ себя лишь въ самомъ началѣ работы... И все-же жизнь продолжается, и все-же люди живутъ дольше, чѣмъ прежде, и все-же работа человѣчества не прекращается ни на минуту.

Сумма наслажденій превышаетъ сумму страданія. Но какъ? Гдѣ тотъ таинственный знакъ, который отрицательную величину обращаетъ въ положительную? Гдѣ то, что дѣлаетъ нашу жизнь, полную зла, все же способною на продолженіе жизни?

Я знаю, что отвѣтъ будетъ непріятенъ послѣдователямъ графа Толстого, и все же не вижу причины скрывать его. Этотъ таинственный знакъ, это то, что мы ищемъ, есть не что иное, какъ *противленіе злу*. Въ борьбѣ-то съ нимъ, постоянной, упорной, настойчивой, человѣчество находитъ неизсякаемый источникъ наслажденія, и эта-то борьба даетъ ему возможность переносить то, что съ точки зрѣнія разума непереносимо.

Не буду спорить о терминѣ: противленіе насиліемъ или безъ насилія. Насиліе насилію рознь. Мать, которая укладываетъ ласково и нѣжно своего ребенка, нехотящаго спать,—совершаетъ надъ нимъ насиліе; солдатъ, который грубо ведетъ ме-

ня за шиворотъ въ плѣнъ, совершаетъ надо мной насиліе; жена, которая не даетъ мнѣ больному того, что для меня вредно, совершаетъ насиліе; Толстой, который геніальной страницей, исполненной отрицанія, выводитъ меня изъ состоянія блаженнаго невѣдѣнія, совершаетъ надо мной насиліе, и лучшее доказательство, что это дѣйствительно насиліе, то, что я спорю съ нимъ. Въ одномъ случаѣ я дерусь, въ другомъ спорю, въ четвертомъ барахтаюсь, — и тамъ, и здѣсь противлюсь. Противленіе, какое-бы то ни было, даетъ перевѣсъ наслажденію надъ страданіемъ, и такъ было всегда, пока жило человѣчество. Троглодитъ, противившійся напавшему на него пещерному льву; русскіе люди, противившіеся вторженію Наполеона; публицистъ, противляющійся лжи и суевѣрію, — всѣ они насильники въ томъ или другомъ видѣ и всѣ они въ противленіи-то и находили наслажденіе, которое позволяло переносить страданіе.

Если-же мы признаемъ, что противленіе злу, давая человѣку неизсякаемый источникъ наслажденія, обусловливаетъ самую возможность жизни, погруженной въ зло, то мы поймемъ не только то, какъ это мы все еще живы, но и то, какъ мы будемъ жить дальше, хотя-бы зло возросло.

Но, скажутъ, Толстой не отрицаетъ противленія вообще. Онъ отрицаетъ лишь противленіе злу зломъ, насилію насиліемъ, и требуетъ, чтобы человѣкъ *шелъ дорогой добра, несмотря ни на что*. Это однако не такъ. Текстъ ясенъ: не противься злу, не больше и не меньше.

Мнѣ кажется, что хотя Толстой и сдѣлалъ текстъ о непротивленіи злому краеугольнымъ камнемъ своего ученія, все-же въ толкованіи этого текста онъ часто противорѣчитъ себѣ. Разъ онъ пишетъ: «слова эти: не противься злу и злому, понятыя въ *ихъ прямомъ значеніи*, были для меня истинно ключомъ, открывшимъ для меня *все*.» Что-же могутъ означать эти слова въ ихъ прямомъ значеніи? Не противься злу *никакъ*: ни зломъ, ни добромъ, ни насиліемъ, ни убѣжденіемъ, ничѣмъ, что находится въ твоемъ распоряженіи. Что-же это за „*все*", что могъ открыть Толстому ихъ прямой смыслъ? Если-бы онъ разсуждалъ не какъ живой и великій человѣкъ, а какъ логическая машина, онъ-бы сказалъ: это все есть полное ничто, это все есть переходъ aus individueller Nichtigkeit ins Urnichts т. е. нирвана. Однако Толстой требуетъ добра, правды, любви. Очевидно, что онъ придалъ тексту слишкомъ широкое значеніе, призналъ его за краеугольный камень своей нравствен-

ности и вмѣстѣ съ тѣмъ слишкомъ узкое, полагая, что онъ совмѣстимъ съ проповѣдью дѣятельной любви. Непротивленіе злу—требованіе отрицательное и, какъ таковое, можетъ вести лишь къ полному устраненію отъ жизни. Здѣсь очевидная путаница.

Кромѣ этого, никогда я не понималъ, и теперь не понимаю. почему вмѣсто текста отрицательнаго, Толстой не призналъ краеугольнымъ камнемъ текста положительнаго, о дѣятельной любви, напр.: «вѣра безъ дѣлъ мертва есть»? Много бы путаницы избѣжалъ онъ въ такомъ случаѣ. Но онъ настаиваетъ, что заповѣдь дѣятельной любви цѣликомъ вытекаетъ изъ заповѣди непротивленія злу. Какъ, какимъ образомъ? Дойдя до этого вопроса, Толстой всегда ставитъ точку и начинаетъ говорить о другомъ.

Для излюбленной своей теоріи непротивленія злу гр. Толстой не признаетъ рѣшительно никакихъ ограниченій, даже такихъ, которыя проистекали бы изъ чисто рефлективной стороны человѣческой природы. Въ своемъ знаменитомъ письмѣ къ Энгельгардту онъ говоритъ, что если бы зулусъ ворвался въ его домъ и на его глазахъ сталъ рѣзать его родного ребенка—онъ не противлялся бы.

Въ сказкѣ объ Иванѣ Дуракѣ и его двухъ братьяхъ есть такая страница:

«Перешелъ тараканскій царь съ войскомъ границу, послалъ передовыхъ разыскивать Иваново войско. Искали, искали — нѣтъ войска. Ждать, пождать—не окажется ли гдѣ? И слуха нѣтъ про войско, не съ кѣмъ воевать. Послалъ тараканскій царь захватить деревни. Пришли солдаты въ одну деревню, выскочили дураки, дуры, смотрятъ на солдатъ — дивятся. Стали солдаты *отбирать у дураковъ хлѣбъ, скотину*,—дураки отдаютъ и никто не обороняется. Пошли солдаты въ другую деревню — все то же. Походили солдаты день, походили другой, —вездѣ все то же: все отдаютъ, никто не обороняется и зовутъ къ себѣ жить: коли вамъ, сердешные, говорятъ, на вашей сторонѣ житье плохое, приходите къ намъ совсѣмъ жить. Походили, походили солдаты—нѣтъ войска; а все народъ живетъ, кормится и людей кормитъ, и не обороняется, а зоветъ къ себѣ жить. Скучно стало солдатамъ, пришли къ своему тараканскому царю.—Не можемъ мы, говорятъ, воевать; отведи насъ въ другое мѣсто; добро бы война была, это что—какъ кисель рѣзать. Не можемъ больше тутъ воевать.—Разсердился тараканскій царь, велѣлъ солдатамъ по всему царству пройти, разорить деревни, дома, хлѣбъ сжечь, скотину перебить.—Не послушаете, говоритъ, моего приказа, всѣхъ, говоритъ, васъ расказню.—Испугались солдаты, начали по царскому указу дѣлать. Стали *дома, хлѣбъ жечь, скотину бить*. Все не

обороняются дураки, только плачутъ: *плачутъ старики, плачутъ старухи, плачутъ малые ребята.*—За что, говорятъ, вы насъ обижаете? Зачѣмъ, говорятъ, вы добро дурно губите; коли вамъ нужно, вы лучше себѣ берите.—Гнусно стало солдатамъ. Не пошли дальше, и все войско разбѣжалось.

По смыслу разсказа «Крестникъ», выходитъ, что человѣкъ, убившій въ горячности разбойника, занесшаго уже топоръ надъ его матерью, совершилъ «великій грѣхъ».

Мнѣ кажется, что разсматривать подобныя правила съ ихъ философской стороны совершенно излишне: надо лишь самого себя поставить въ ту обстановку, которую описываетъ гр. Толстой, и спросить себя: что я въ такомъ случаѣ буду дѣлать. Буду ли я, какъ дуракъ изъ сказки «Ивана Царевича», видя, что на моихъ глазахъ насилуютъ мою жену, смиренно упрашивать насильщика: «да оставайся сердешный, совсѣмъ у насъ?» Буду ли я оставаться спокойнымъ и не противляющимся при убійствѣ моихъ дѣтей или матери? Я не могу оставаться спокойнымъ, и въ этомъ *не могу*—лучшій отвѣтъ на проповѣдь графа Толстого. Противъ возмущенія моего разсудка я еще въ силахъ бороться и въ силахъ подчинить его себѣ, но противъ возмущенія инстинкта, рефлекса, я такъ же безсиленъ, какъ безсиленъ не вздрогнуть, когда мнѣ неожиданно воткнули иголку въ спину,—безсиленъ не чихнуть, когда раздражили слизистую оболочку носа, не сжать зрачка, когда къ нему пододвинули свѣчу. Но инстинктъ, рефлексъ — это основаніе нашей человѣческой жизни, $^{9}/_{10}$ которой, кстати сказать, проходятъ въ совершенно безсознательныхъ процессахъ — и «уничтоживъ эту основу, я уничтожу самую возможность жизни», что впрочемъ блестяще высказано самимъ графомъ Толстымъ въ «Войнѣ и Мирѣ».

Переходимъ къ 5-му пункту ученія:

5) *Помогай ближнему и люби его.* Устанавливая это правило, гр. Толстой особенно колебался, особенно искалъ и мучился. Какъ и чѣмъ можно помогать ближнему? Его живое человѣческое сердце требовало подвиговъ самоотреченія и самопожертвованія, его аналитическій резонерствующій разумъ ни на минуту не переставалъ мудрствовать лукаво и въ этомъ своемъ мудрствованіи лукавомъ то и дѣло сталкивался съ живымъ призывомъ живого человѣческаго сердца. Уже съ дѣтства Толстого больше всего привлекала практическая сторона христіанства—ученіе о любви, самоотреченіи, милосердіи.

Казалось бы, это ученіе и должно было лечь въ основу всей нравственной его философіи, но резонирующій разумъ не позволяетъ такъ просто посмотрѣть на дѣло и, не придя въ сущности ни къ чему, доставляетъ своему владѣльцу лишь долгія муки безплодныхъ исканій. Всякій, я думаю, помнитъ, какъ Толстой, попавши однажды въ Ржановскій домъ въ Москвѣ —этотъ притонъ страшной нищеты, и притомъ нищеты безнадежной, не зналъ, что сдѣлать ему съ оставшимися у него 37-ю рублями. Этотъ эпизодъ вызвалъ у Михайловскаго горькую и блестящую страницу:

«Мы, говоритъ Н. К. Михайловскій, въ «Ржановомъ домѣ», въ самомъ центрѣ нищеты; она, хоть и пьяная и безобразная, но подлинная и несомнѣнная, кругомъ кишмя кишитъ. Гр. Толстому нужно отдѣлаться отъ 37 рублей, т. е. раздать ихъ. И посмотрите, какъ это оказывается трудно. Графъ и самъ раздумываетъ, и трактирщика Ивана Ѳедотыча на совѣтъ зоветъ, причемъ этотъ Иванъ Ѳедотычъ, эта піявица, сосущая и спаивающая нищету, оказывается и «добродушнымъ», и «добросовѣстнымъ». На совѣтъ приглашается еще и трактирный половой, и вотъ начинаются размышленія: куда дѣвать 37 рублей? Лакей предлагаетъ дать Парамоновнѣ, которая *«бываетъ и не ѣмши»*, но Иванъ Ѳедотычъ отвергаетъ Парамоновну, потому «загуливаетъ». Можно бы Спиридону Иванычу помочь, но и тутъ трактирщикъ находитъ препятствіе. Акулинѣ можно бы, да она «получаетъ». «Слѣпому», такъ тому самъ графъ не хочетъ: онъ его видѣлъ и слышалъ, какими онъ скверными словами ругается, и т. д. Согласитесь, что эта сцена поразительная и характерная: среди кишащей кругомъ нищеты графъ не знаетъ, какъ «отдѣлаться» отъ 37 рублей и все резонируетъ и резонируетъ, къ каковому занятію даже еще и трактирщика и полового привлекаетъ. *Неужели это живое чувство?* Пусть всякій, дѣйствительно простой сердцемъ человѣкъ пойдетъ съ 37 рублями въ карманѣ и съ рѣшимостью отъ нихъ отдѣлаться въ Ржановъ домъ, да посмотритъ хоть на Парамоновну, которая «бываетъ и не ѣмши»... А тутъ, помилуйте, «верстъ на тысячу въ окружности повѣстивъ свой добрый нравъ» и порѣшивъ важнѣйшіе вопросы наигуманнѣйшимъ образомъ, такъ безпокоятся объ 37 рубляхъ и такъ стараются, чтобы они достались пожалуй и такой, которая не ѣмши, но чтобы не «загуливала», а добродѣтелью сіяла. Это за тридцать-то семь рублей еще и добродѣтель имъ подавай... Нѣтъ, какъ хотите, а живого непосредственнаго чувства тутъ маловато».

Въ концѣ концовъ гр. Толстой пришелъ къ выводу, что помогать ближнему деньгами нельзя, ибо деньги—зло; нельзя помогать ему и знаніемъ, ибо всѣ мы—невѣжды и наука призрачна; нельзя помогать и заступничествомъ, ибо это ведетъ къ противленію.—Чѣмъ-же помогать?—*Любовью*...

Когда начался въ Россіи голодъ 91—92 гг., гр. Толстой

напечаталъ статью, въ которой признавались ненужными денежныя пожертвованія голодающимъ и отрицалось вообще всякое активное вмѣшательство въ жизнь, вѣрнѣе смерть милліоновъ людей. Такъ говорилъ резонирующій умъ. Прошло немного дней, и мы видимъ Толстого въ самомъ центрѣ нищеты, раздающаго хлѣбъ и деньги, устраивающаго даровыя столовыя.

Такъ заставило сдѣлать глубоко-любящее человѣческое сердце.

Что-же дѣлать въ концѣ концовъ, какъ остаться чистымъ среди жизненной грязи, какъ быть нравственнымъ среди безнравственныхъ, правдивымъ среди лжи, христіаниномъ среди торжествующаго ученія міра? Всѣ эти вопросы можно соединить въ одинъ: какимъ же путемъ добиться счастья и душевнаго спокойствія, гармоніи между словомъ и дѣломъ, убѣжденіями и жизнью? Въ отвѣтъ на это гр. Толстой выставляетъ передъ нами идеалъ мужицкой трудовой жизни.

«На вопросъ, что нужно дѣлать?—пишетъ гр. Толстой,—явился самый несомнѣнный отвѣтъ: прежде всего, что мнѣ самому нужно — мой самоваръ, моя печка, моя вода, моя одежда, все, что я самъ могу сдѣлать... На вопросъ, нужно-ли организовать этотъ физическій трудъ, устроить сообщество въ деревнѣ на землѣ,—оказалось, что все это ненужно, ибо человѣкъ, трудящійся самъ собой, естественно примыкаетъ къ существующему сообществу людей трудящихся. На вопросъ о томъ, не поглотитъ ли этотъ трудъ всего моего времени и не лишитъ ли меня возможности той умственной дѣятельности, которую я люблю, къ которой привыкъ и которую въ минуты самомнѣнія считаю небезполезною другимъ, отвѣтъ получился самый неожиданный. Энергія умственной дѣятельности усилилась и равномѣрно усиливалась, освобождаясь отъ всего излишняго, по мѣрѣ напряженія тѣлеснаго. Оказалось, что, отдавъ на физическій трудъ восемь часовъ,—ту половину дня, которую я прежде проводилъ въ тяжелыхъ усиліяхъ борьбы со скукой, у меня оставалось еще восемь часовъ.»

Графъ Толстой предлагаетъ такое распредѣленіе дня:

«День всякаго человѣка самой пищей раздѣляется на 4 части или 4 упряжки, какъ называютъ это мужики: 1) до завтрака; 2) отъ завтрака до обѣда; 3) отъ обѣда до полдника и 4) отъ полдника до вечера. Дѣятельность человѣка, въ которой онъ по самому существу своему чувствуетъ потребность, тоже раздѣляется на 4 рода: 1) дѣятельность мускульной силы, работа рукъ, ногъ, плечъ, спины—тяжелый трудъ, отъ котораго вспотѣешь; 2) дѣятельность пальцевъ и кисти рукъ—дѣятельность ловкости, мастерства; 3) дѣятельность ума и воображенія; 4) дѣятельность общенія съ другими людьми. Блага, которыми пользуется чело-

вѣкъ, тоже раздѣляются на 4 рода: всякій человѣкъ пользуется, во-первыхъ, произведеніями тяжелаго труда: хлѣбомъ, скотиной, постройками, колодцами, прудами и т. п.; во-вторыхъ—дѣятельностью ремесленнаго труда: одежей, сапогами, утварью и т. п.; въ-третьихъ—произведеніями умственной дѣятельности: наукъ, искусства; и въ-четвертыхъ —установленнымъ общеніемъ съ людьми. И мнѣ представилось, что лучше всего бы было чередовать занятія дня такъ, чтобы упражнять всѣ четыре способности человѣка и самому производить всѣ тѣ четыре рода благъ, которыми пользуются люди, такъ, чтобы одна часть дня—первая упряжка—была посвящена тяжелому труду, другая—умственному, третья—ремесленному и четвертая—общенію съ людьми. Мнѣ представилось, что тогда только уничтожится то ложное раздѣленіе труда, которое существуетъ въ нашемъ обществѣ, и установится то справедливое раздѣленіе труда, которое не нарушаетъ счастія человѣка».

*Общія замѣчанія объ ученіи гр. Толстого.* Взявши это ученіе въ совокупности, вы видите, что оно имѣетъ нѣсколько разнообразныхъ источниковъ, изъ которыхъ первый есть: ненависть къ ученію міра во имя ученія Христа.

Мнѣ кажется, что этотъ источникъ самый существенный, а заключенное въ немъ противорѣчіе—самое конкретное и удобопонятное. Въ главѣ о писательской драмѣ мы видѣли, чтó заставляло Толстого признавать безполезными и даже вредными свои произведенія. Онъ дѣлалъ имъ очную ставку съ нуждами и потребностями народа, и на этой очной мучительной ставкѣ геніальныя художественныя произведенія ясно выражали свою виновность. Но признаніе безполезности и даже вредности достигло крайняго своего напряженія, когда гр. Толстой спросилъ себя: чему онъ служитъ, что проповѣдуетъ? Оказалось, что какъ самая его жизнь, такъ и всѣ его произведенія служатъ ученію міра и проповѣдуютъ *силу*. Онъ хотѣлъ быть здоровѣе, умнѣе, славнѣе другихъ, онъ проповѣдывалъ прелесть семейной обезпеченной жизни, которую надо завоевать. Быть здоровѣе, умнѣе, славнѣе другихъ—значитъ быть сильнѣе ихъ. Завоевать себѣ семейную обезпеченную жизнь можно лишь силой красоты, ума, дарованія, богатства. Его лучшіе герои выдѣляются то какъ хозяева, то какъ таланты, т. е. выдѣляются своей силой.

Онъ увѣровалъ въ Христа, и служеніе силѣ, проповѣдь силы показалась ему и преступной, и грѣховной.

Ученіе Христа—ученіе любви. Христосъ запретилъ своимъ ученикамъ называть кого-бы то ни было погибшимъ и погибающимъ. Для него не существовало ни эллиновъ, ни іудеевъ, ни ра-

бовъ, ни свободныхъ—онъ зналъ только людей. Въ жизни онъ воплощалъ лишь одинъ законъ—законъ любви.

Толстой, какъ христіанинъ, идетъ по той-же дорогѣ. Его народные разсказы всѣ написаны на одну и ту же тему, что смиреніе, какъ законъ любви, выше какого-бы то ни было другого закона, служа которому человѣкъ служитъ самому себѣ.

Это настроеніе Толстого превратилось въ философскую систему; онъ говоритъ:

«Религія есть установленное человѣкомъ между собой и вѣчнымъ и безконечнымъ міромъ или началомъ и первопричиной его извѣстное отношеніе.

«Изъ этого отвѣта на первый вопросъ самъ собою вытекаетъ и отвѣтъ на второй.

«Если религія есть установленное отношеніе человѣка къ міру, опредѣляющее смыслъ его жизни, то нравственность есть указаніе и разъясненіе той дѣятельности человѣка, которая сама собой вытекаетъ изъ того или другого отношенія человѣка къ міру. А такъ какъ основныхъ отношеній къ міру или началу его извѣстно намъ только два, если разсматривать языческое общественное отношеніе какъ распространеніе личнаго, или три, если разсматривать общественное языческое отношеніе какъ отдѣльное, то нравственныхъ ученій существуетъ только три: нравственное ученіе первобытное дикое, личное нравственное ученіе языческое или общественное, и нравственное ученіе христіанское, т. е. служеніе Богу—или божеское.

«Изъ перваго отношенія человѣка къ міру вытекаютъ общія всѣмъ языческимъ религіямъ ученія о нравственности, имѣющія въ своей основѣ стремленіе къ благу отдѣльной личности и потому опредѣляющія всѣ состоянія, дающія наибольшее благо личности и указывающія средства пріобрѣтенія этого блага.

«Изъ этого отношенія къ міру вытекаютъ нравственныя ученія: эпикурейское въ низшемъ проявленіи, ученіе нравственности магометанское, обѣщающее грубое благо личности на этомъ и на томъ свѣтѣ, и ученіе свѣтской утилитарной нравственности, имѣющей цѣлью благо личности только на этомъ свѣтѣ.

«Изъ того же ученія, ставящаго цѣлью жизни благо отдѣльнаго человѣка, а потому избавленіе отъ страданій личности, вытекаютъ нравственное ученіе буддизма въ его грубой формѣ и свѣтское ученіе пессимистическое.

«Изъ второго языческаго отношенія человѣка къ міру, ставящаго цѣлью жизни благо извѣстной совокупности личностей, вытекаютъ нравственныя ученія, требующія отъ человѣка служенія той совокупности, благо которой признается цѣлью жизни. По этому ученію пользованіе личнымъ благомъ допускается только въ той мѣрѣ, въ которой оно пріобрѣтается всею тою совокупностью, которая составляетъ религіозную основу жизни. Изъ этого отношенія къ міру вытекаютъ извѣстныя намъ нравственныя уче-

нія древняго римскаго и греческаго міра, гдѣ личность всегда приносила себя въ жертву обществу, такъ же и нравственность китайская; изъ этого же отношенія вытекаетъ нравственность еврейская—подчиненіе своего блага благу избраннаго народа, и нравственность нашего времени, требующая жертвы личности для условнаго блага большинства. Изъ этого-же отношенія къ міру вытекаетъ нравственность большинства женщинъ, жертвующихъ всею своею личностью для блага семьи и главное — дѣтей.

«Изъ третьяго, христіанскаго, отношенія къ міру, состоящаго въ признаніи человѣкомъ себя орудіемъ высшей воли для исполненія ея цѣлей, вытекаютъ и соотвѣтствующія этому пониманію жизни нравственныя ученія, уясняющія зависимость человѣка отъ высшей воли и опредѣляющія требованія этой воли. Изъ этого отношенія человѣка къ міру вытекаютъ всѣ высшія, извѣстныя человѣчеству нравственныя ученія: пифагорійское, стоическое, буддійское, браминское, таосійское въ ихъ высшемъ проявленіи и христіанское въ его настоящемъ смыслѣ, требующее отреченія отъ личной воли и отъ блага не только личнаго, но и семейнаго и общественнаго во имя исполненія открытой намъ въ нашемъ сознаніи воли того, кто послалъ насъ въ жизнь. Изъ этого другого или третьяго отношенія къ безконечному міру или началу его вытекаетъ дѣйствительная, нелицемѣрная нравственность каждаго человѣка, несмотря на то, что онъ номинально исповѣдуетъ или проповѣдуетъ какъ нравственность, или чѣмъ хочетъ казаться.

«Такъ что человѣкъ, признающій сущность своего отношенія къ міру въ пріобрѣтеніи для себя наибольшаго блага, сколько-бы онъ ни говорилъ о томъ, что онъ считаетъ нравственнымъ жить для семьи, для общества, для государства, для человѣчества или для исполненія воли Бога, можетъ искусно притворяться предъ людьми, обманывая ихъ, но дѣйствительнымъ мотивомъ его дѣятельности будетъ всегда только благо его личности, такъ что, когда представится необходимость выбора, онъ пожертвуетъ не своей личностью для семьи, для государства, для исполненія воли Бога, а всѣмъ для себя, потому что, видя смыслъ своей жизни только въ благѣ своей личности, онъ не можетъ поступать иначе до тѣхъ поръ, пока не измѣнитъ своего отношенія къ міру» («Сѣверный Вѣстникъ», Январь 1895).

Толстой не считается и не хочетъ считаться ни съ исторіей нашей жизни, ни съ устройствомъ нашего организма. Онъ теперь такъ-же безусловно вѣритъ въ силу человѣческаго разума и воли, какъ прежде, въ эпоху «Войны и Мира», безусловно отрицалъ ее. Онъ убѣждаетъ насъ любить и вѣрить, и думаетъ, что мы станемъ любить и вѣрить, разъ мы поймемъ, какъ преступна и злобна наша жизнь, основанная на стремленіи къ силѣ, на преклоненіи передъ силой, на служеніи силѣ.

Гамлету казалось порою, что одинъ ударъ ножа можетъ прекратить всѣ его муки, колебанія, сомнѣнія. Тол-

стому кажется, что одно усиліе воли и пониманія переродитъ насъ и нашу жизнь. Онъ и говоритъ поэтому: «одумайтесь»

Одуматься всегда хорошо. Возражать противъ того, что надо одуматься—было-бы преступно. Но такъ-ли это спасительно? Во-первыхъ, кто можетъ одуматься? Я допускаю, что у Толстого милліонъ читателей. Изъ этого милліона пусть 100 тысячъ, т. е. десятая часть, пойдутъ по его стопамъ. Но что-же могутъ эти 100 тысячъ сдѣлать съ 50 вѣками исторіи, тысячами милліонами человѣчества, устройствомъ организма и наслѣдственностью? Толстой не признаетъ наслѣдственности, какъ Руссо; онъ думаетъ, что человѣкъ родится свободнымъ, чистымъ и добрымъ—ну, а какъ наслѣдственность существуетъ, ну, а какъ человѣкъ родится не свободнымъ, не чистымъ, не добрымъ? Вѣдь это послѣднее предположеніе справедливѣе. Толстой вѣруетъ, что разумъ такъ-же легко можетъ справиться съ инстинктами, какъ человѣкъ съ муравьемъ. О такой силѣ разума исторія не говоритъ ничего, а говоритъ какъ разъ наоборотъ. Не было эпохи, когда люди не понимали, что ихъ жизнь страшно далека отъ совершенства, и не было эпохи, когда это пониманіе совершенно перерождало-бы ихъ.

Когда-то Толстой приравнивалъ отдѣльнаго человѣка къ безконечно-малой величинѣ—дифференціалу, т. е. геометрическому непротяженному центру. Это была крайность, но крайность гораздо болѣе близкая къ истинѣ, чѣмъ та, въ которую онъ вдался теперь. «Дифференціалъ» исторіи превратился въ титана, свободно двигающаго горами... Когда-то Толстой всѣмъ существомъ своимъ принадлежалъ теоріи исторической необходимости. Теперь вмѣсто необходимости передъ нами всевозрождающая сила любви, вѣры, пониманія. Человѣкъ, дойдя до бездонной пропасти, въ испугѣ поворачиваетъ въ сторону прямо противоположную и думаетъ, что теперь нашелъ истинный путь? А вдругъ и тамъ пропасть еще глубже, еще мрачнѣе...

Встаньте, повторяю, на точку зрѣнія возможности и невозможности, потому что, нѣтъ-нѣтъ, на нее становится самъ Толстой. Любовь—выше, чище, могущественнѣе денегъ. Это несомнѣнно. Но можно ли было помочь любовью 17-ти милліонамъ голодающихъ? Безбрачіе, учитъ Толстой въ «Крейцеровой Сонатѣ» выше брака. Зачѣмъ-же въ Послѣсловіи онъ говоритъ: «могій вмѣстити да вмѣститъ» и только? Если все дѣло въ томъ, чтобы вмѣстилъ могій вмѣстить, то ученіе превращается въ обыкновенную проповѣдь морали, спасительность которой относительна.

Въ проповѣди Толстого есть одна сторона, къ которой нельзя не отнестись съ полнымъ уваженіемъ и любовью. Никто такъ рѣзко, какъ онъ, не выставлялъ еще противорѣчій нашей жизни. Но какъ избавиться отъ этихъ противорѣчій? Разрубить-ли Гордіевъ узелъ или развязать его? Разрубить—лучше, пріятнѣе, честнѣе, но это невозможно. А разъ невозможно, то...

Жить, какъ живется? спроситъ читатель.

Такой выводъ дѣлаетъ и самъ Л. Толстой. Но этотъ выводъ совершенно несправедливъ.

Говорить, что необходимо признавать прошлое и считаться съ условіями исторіи, ея традиціей, привычками и устройствомъ организма, зломъ и добромъ нашей жизни, нашими страстями и инстинктами—не значитъ проповѣдывать квіэтизмъ. Кромѣ многихъ грѣховъ у человѣка есть и еще одинъ неискупимый—грѣхъ самонадѣянности.

Это грѣхъ всякаго безусловнаго нравственнаго ученія.

Я не буду останавливаться на многочисленныхъ противорѣчіяхъ въ ученіи графа Толстого и лишь упомяну о нѣкоторыхъ самыхъ важныхъ и бросающихся въ глаза. Возьмите его ученіе о женщинахъ. Въ 1884 г. онъ писалъ напр.: «идеальная женщина, по мнѣ, будетъ та, которая, усвоивъ высшее міросозерцаніе своего времени, отдастся своему женскому, непреодолимо вложенному въ нее призванію—родить, выкормить и воспитаетъ наибольшее количество дѣтей, способныхъ работать для людей, по усвоенному ею міросозерцанію...» Итакъ рожать, какъ можно больше рожать. Перечтите теперь «Крейцерову сонату». Смыслъ ея совершенно ясенъ; выходитъ, что самое лучшее совсѣмъ не рожать, и идеальной женщиной оказывается уже не та, которая отдается своему непреодолимо въ нее вложенному призванію, а та, которая это самое призваніе уничтожитъ или разрушитъ въ себѣ.

Противорѣчіе это самое любопытное именно потому, что тутъ рѣчь идетъ о жизни и смерти. Чего собственно хочетъ Толстой—жизни-ли для человѣчества или смерти? Положа руку на сердце—я этого не знаю и сомнѣваюсь, чтобы кто-нибудь это зналъ и могъ безъ колебанія отвѣтить на поставленный вопросъ. Проповѣдуя упорно—трудовую жизнь, физическую работу, любовь, Толстой, повидимому, проповѣдуетъ жизнь и вѣритъ, что счастливое существованіе человѣка на землѣ не только возможно, но и необходимо; онъ ставитъ каждому ясную и опредѣленную цѣль: нравственное усовершенствованіе;

онъ пишетъ страстныя страницы въ защиту того, что хорошая христіанская жизнь легче, чѣмъ та, которую мы ведемъ. Послѣ этого появляется «Крейцерова соната» и въ Ясную Поляну летятъ десятки и сотни вопросовъ: «что лучше: жить или умирать? «Крейцерова соната» всѣми безъ колебанія была признана за проповѣдь смерти. Въ «Послѣсловіи» Толстой идетъ на компромиссъ и говоритъ, что безбрачіе есть идеалъ, вполнѣ неосуществимый, какъ и всѣ идеалы. *Раньше* ничего подобнаго Толстой никогда не высказывалъ и всегда смотрѣлъ на свое ученіе какъ на такое, которое можетъ быть осуществлено полностью и даже немедленно.

Такія противорѣчія меня нисколько не удивляютъ; удивительно, если-бы ихъ не было. Въ началѣ 60-ыхъ годовъ Толстой недоумѣвалъ, кому у кого учиться—намъ ли у народа или народу у насъ, и защищалъ и то и другое мнѣніе; въ «Войнѣ и Мирѣ» онъ, низведя личность человѣка до дифференціала исторіи, вмѣстѣ съ тѣмъ проповѣдуетъ личное и семейное счастье, какъ лучшее изъ всего, и въ сущности, какъ художникъ, впадаетъ въ еще болѣе рѣзкое противорѣчіе съ собой какъ мыслителемъ, и, удѣляя радостямъ и страданіямъ своихъ дифференціаловъ столько блестящихъ страницъ, такъ успѣваетъ заинтересовать ими читателя, что этотъ послѣдній очень груститъ, когда одинъ дифференціалъ умираетъ, или радуется, когда другая дифференціалка выходитъ замужъ. На почвѣ философіи «Войны и Мира» можетъ быть создана лишь свифтовская сатира или Comedie de la vie humaine. Но графъ Толстой такъ серьезно копается въ душѣ своихъ дифференціаловъ, что эта душа пріобрѣтаетъ несоизмѣримую важность.

Утверждали нѣкогда, что графъ Толстой—великій художникъ и плохой мыслитель. Это совершенно несправедливо: какъ мыслитель, графъ Толстой величина крупная. Онъ блестящій діалектикъ, его мысли всегда оригинальны и глубокое его громадное образованіе несомнѣнно. Его противорѣчія не тѣ, которыя то и дѣло бываютъ у человѣка, плохо думающаго; а *противорѣчія живого человѣческаго сердца, руководимаго однако болѣзненно скептическимъ умомъ.*

Существуютъ формулы въ химіи, въ нравственности, въ общественной жизни. Существуютъ люди, для которыхъ вся жизнь есть формула, хотя-бы вродѣ: блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ... Для этихъ людей формула необходима, какъ пища, питье и одежда. Она указываетъ имъ, что сказать, какъ

ступить, когда сѣсть, когда улыбнуться и даже—какъ любить; а больше всего она указываетъ, какъ жить, не мучаясь ни нравственными, ни иными противорѣчіями. Формула спасительна: руководясь ею, человѣкъ можетъ быть спокойнымъ и неунывающимъ. Онъ знаетъ, что родителей надо любить, Бога бояться, начальству повиноваться безпрекословно, въ обществѣ держать себя весело,—знаетъ, что не нами міръ начался и не нами этотъ міръ кончится. Формула играетъ для него ту же роль, какъ рельсы для локомотива: и ѣхать легко, и въ сторону никогда никуда свернуть невозможно. Съ формулой тепло, какъ въ шубѣ или у печки, весело, какъ за стаканомъ вина, чувствуешь себя легко и пріятно, какъ въ дружеской компаніи.

Но никогда ни одна формула не могла подчинить себѣ Толстого. Онъ отбросилъ формулу личнаго и семейнаго счастья, формулу воспринятаго ученія; онъ ищетъ истины, какъ Лиръ искалъ покоя въ ту страшную безумную ночь, которая, казалось, должна была сдѣлать безумными всѣхъ. Тяжело, мучительно жить безъ формулы. Вы, имѣя милліонъ денегъ и всемірную славу, знаете, что сдѣлать по формулѣ; но безъ нея, безъ этой спасительной няни, убаюкивающей и успокаивающей во снѣ—что дѣлать вамъ? Законно ли мое счастье? Не преступна-ли моя жизнь? Не вредны-ли мои дѣла? Ни комфортъ, ни любовь, ни уваженіе не даютъ покоя ищущей душѣ. Судьба Толстого—судьба Агасфера. Таинственный голосъ ежеминутно слышится ему и говоритъ: иди... ищи... иди... ищи... Онъ идетъ и ищетъ. Идетъ въ великолѣпные салоны и находитъ тамъ Борисовъ Друбецкихъ, Вронскихъ, Карениныхъ; идетъ въ помѣстья и находитъ тамъ Ростовыхъ, Нехлюдовыхъ, Болконскихъ; идетъ «къ нимъ» въ народъ, къ Поликушкамъ, героямъ Севастополя...А голосъ не умолкаетъ ни на минуту и прежніе таинственные: «иди... ищи... иди... ищи...» слышатся постоянно. Путникъ усталъ: онъ видитъ, что дорога безконечна, что ея черная лента, какъ былинная змѣя норманновъ, обвиваетъ весь міръ, что въ ея громадномъ кольцѣ нельзя найти начала, исходной точки, что самая жизнь это потокъ, несущійся въ пропасть,—онъ хочетъ отдохнуть, забыться, хочетъ убить себя. Но надо идти... Запыленный, измученный, онъ поднимается опять, съ ужасомъ смотря все въ ту-же и ту-же роковую загадку бытія...

Передъ нами грандіозная картина вѣчнаго безпокойнаго исканія... По легендѣ Агасферъ попадаетъ наконецъ въ Іеру-

салимъ въ ту роковую минуту, когда Сила предавала распятію и смерти Любовь... Агасферъ вмѣстѣ съ ликующей рабской толпой идетъ по пыльной раскаленной улицѣ, взбирается на Голгоѳу и вдругъ чувствуетъ, что на него упалъ кроткій, страдальческій взглядъ, полный милосердія, состраданія, жалости. Это что-то новое, это уже не прежній повелительный голосъ: иди—ищи... Этотъ взглядъ обѣщаетъ отраду и надежду... «И Христосъ,—заканчиваетъ легенда, — возложилъ на Агасфера крестъ свой...» На Голгоѳѣ Агасферъ остановился и впервые почувствовалъ миръ въ душѣ, этой измученной, надломленной душѣ...

Такова исторія Толстого. Отъ него требуютъ какихъ-то формулъ, упрекаютъ его за противорѣчія. Онъ не можетъ дать формулы: онъ—вѣчное исканіе, частичка того-же потока, который мы зовемъ жизнью. Развѣ этотъ потокъ можетъ остановиться?...

## XIV

### На вершинѣ славы.

Въ новой фазѣ своихъ вѣрованій Толстой началъ раздавать свое имущество, вести простую трудовую жизнь, усиленно работать съ крестьянами въ полѣ и писать для нихъ книги. Появляются изданія «Посредника» и народныя его книжки милліонами расходятся по всей Россіи. Въ 1886 году онъ говорилъ Данилевскому: «Болѣе 30 лѣтъ назадъ, когда нѣкоторые нынѣшніе писатели, въ томъ числѣ и я, начинали только работать, въ стомилліонномъ русскомъ государствѣ грамотные считались десятками тысячъ; теперь послѣ размноженія сельскихъ и городскихъ школъ они, по всей вѣроятности, считаются милліонами. И эти милліоны русскихъ грамотныхъ стоятъ передъ нами, какъ голодные галчаты, съ раскрытыми ртами и говорятъ намъ: «господа родные писатели, бросьте намъ въ эти рты достойной васъ и насъ умственной пищи; напишите для насъ, жаждущихъ живого литературнаго слова; избавьте насъ отъ все тѣхъ же лубочныхъ Ерусланов Лазаревичей, Милордовъ, Георговъ и

прочей рыночной пищи». Простой и честный русскій народъ стоитъ того, чтобы мы отвѣтили на призывъ его доброй и правдивой души. Я объ этомъ много думалъ и рѣшился по мѣрѣ силъ попытаться на этомъ поприщѣ». Попытки Толстого положили начало цѣлой обширной уже литературы для народа, которая съ каждымъ днемъ все болѣе расширяется, но, къ сожалѣнію, еще и до настоящей минуты не выработала себѣ опредѣленной цѣли и направленія. Проповѣдь смиренія, ненависти и презрѣнія къ умственному труду и т. д. — не рѣдкость въ этихъ грошевыхъ сѣробумажныхъ книжечкахъ.

Но это одна сторона его жизни; другая, во всякомъ случаѣ не менѣе важная, есть личныя его сношенія съ людьми. Сотни посѣтителей со всѣхъ концовъ Россіи, Европы и Америки ежедневно приходятъ къ нему со своими сомнѣніями, страданіями, нерѣшенными вопросами и, подобно покойному Всеволоду Гаршину, уходятъ съ добрымъ чувствомъ, болѣе примиренные съ жизнью. Еще большая масса людей обращается къ нему письменно и изъ Сибири, и изъ Америки, и на каждое серьезное письмо онъ шлетъ задушевный отвѣтъ.

Нѣтъ той газеты, нѣтъ того журнала, ни въ Европѣ, ни въ Америкѣ, которые не посвящали бы ему своихъ столбцовъ и зорко не слѣдили бы за каждымъ словомъ, выходящимъ изъ подъ его пера. Совершенно справедливо замѣчаетъ Н. Н. Страховъ, говоря: «Большую долю всемірной извѣстности Толстого нужно приписать не его художественнымъ произведеніямъ, а именно тому религіозно-нравственному перевороту, который въ немъ совершился и смыслъ котораго онъ стремился высказать и своими писаніями, и своею жизнью.» Какъ бы мы ни судили объ этомъ переворотѣ, но очевидно образованный міръ былъ пораженъ зрѣлищемъ человѣка, въ которомъ съ такою силою, безъ всякихъ внѣшнихъ толчковъ, сказались вѣчные запросы души человѣческой. Нужно отдать людямъ честь: никакое литературное мастерство не могло привлечь ихъ любопытства и уваженія въ такой степени, какъ та душевная исторія, которая совершилась и совершается предъ ихъ глазами въ Ясной Полянѣ. Нѣкто Лиліенбахъ высказываетъ слѣдующее: «во всѣхъ образованныхъ слояхъ обоихъ полушарій Толстой является любимымъ писателемъ». Поль Фло-

беръ сравниваетъ его съ Шекспиромъ, а Матью Арнольдъ считаетъ его самой мощной силой въ области литературы. Посмотримъ же, какъ живетъ теперь Левъ Николаевичъ. Любопытную картину этой жизни даетъ намъ В. Г. въ своемъ описаніи посѣщенія Ясной Поляны.

«Прибывъ въ Ясную Поляну,—говоритъ онъ,—я засталъ Льва Николаевича за кладкой печи у одной вдовы-крестьянки. Я спрашивалъ у встрѣчныхъ крестьянъ, не видали ли они Льва Николаевича? Мужики мнѣ отвѣчали съ особеннымъ удовольствіемъ, что графъ уже на работѣ. Войдя въ указанную избу, я засталъ Льва Николаевича передъ печкой. Онъ былъ погруженъ въ работу и лишь изрѣдка перекидывался словомъ съ хозяйкой. Еслибы я раньше не видѣлъ Толстого, я бы на этотъ разъ могъ его принять за кого-нибудь изъ деревенскихъ рабочихъ. Его грязная, вымазанная сажей и глиной бѣлая рубашка, ремешокъ вмѣсто пояса, просторные крестьянскіе сапоги, по голенище запачканные въ глинѣ, вполнѣ гармонировали съ красивой головой и широкой спиной, на которой выступалъ сквозь рубашку обильный трудовой потъ. Хозяйка же, безъ малѣйшаго раболѣпства, даже можно сказать по товарищески, подавала ему совѣты и вѣроятно въ трудѣ Льва Николаевича не видѣла ничего особеннаго: ей просто помогалъ добрый человѣкъ».

«Послѣ завтрака Л. Н. пошелъ читать или писать и часа черезъ полтора пришелъ къ той избѣ, гдѣ намѣревался поставить крышу на сараѣ. Онъ оказался въ томъ же нарядѣ, исключая блузы, которую онъ перемѣнилъ на болѣе чистую. Вѣроятно всякому извѣстно, что Л. Н. денежной помощи нуждающемуся человѣку не признаетъ, но у себя въ деревнѣ онъ старается принести посильную помощь крестьянамъ личнымъ трудомъ, доставленіемъ матеріала для построекъ и для посѣва».

Теперь является вопросъ: почему же Л. Н. предпочитаетъ помогать крестьянамъ не деньгами? и этотъ вопросъ задалъ ему В. Г., увидавъ, что дочь графа работаетъ на полѣ одного изъ бѣдныхъ крестьянъ.

«Я думаю,—сказалъ ему Толстой,—что обязанность каждаго человѣка работать для другихъ, кто нуждается въ помощи, и

работать по крайней мѣрѣ часть дня своими руками. Лучше работать для бѣднаго и съ бѣднымъ въ его особомъ занятіи, нежели работать на высшемъ, болѣе высокомъ и пожалуй болѣе вознагражденномъ интеллектуальномъ полѣ и давать бѣднымъ результаты. Въ первомъ случаѣ вы не только помогаете тѣмъ, кто нуждается въ помощи, но вы показываете, что вы не считаете ихъ прозаическую работу ниже своего достоинства. т. е. вы научаете ихъ самоуваженію. Если-же вы работаете исключительно на вашемъ болѣе высокомъ интеллектуальномъ полѣ и даете бѣдняку результатъ вашего труда, какъ вы давали бы милостыню нищему, то вы поощряете лѣность и подчиненность; вы устанавливаете соціальное, сословное различіе между вами и принимающими вашу милостыню, вы разрушаете въ немъ уваженіе и довѣріе къ себѣ».

Вернемся къ воспоминаніямъ В. Г. «Итакъ, Л. Н. отправился послѣ завтрака класть крышу на сараѣ бѣдной деревенской вдовы, которой, по примѣру Л. Н., пришелъ помогать сосѣдъ-мужичекъ и еще какой-то паренекъ. Этотъ мужикъ, Прокофій, худой, истощенный, заправлялъ работами и дѣйствительно, входя въ роль, командовалъ, какъ слѣдуетъ, безъ стѣсненія. Льву Николаевичу нравилась его новая работа. Онъ съ видимымъ наслажденіемъ подпиливалъ бревна, вырубалъ гнѣзда для стропилъ, обстругивалъ деревянные гвозди. При постановкѣ стропилъ Л. Н. выказалъ значительную силу и ловкость, перетаскивая громадныя бревна и поднимая ихъ вверхъ. Л. Н. строилъ сарай *въ первый разъ и относился* къ этой работѣ съ той же любовью, какъ и къ кладкѣ печи на краю деревни.

«Всякій день, пока я былъ у Л. Н., онъ послѣ завтрака отправлялся на деревню доканчивать вдовій сарай и возвращался домой поздно. Работалъ онъ неутомимо, такъ что Прокофій не разъ съ сердечнымъ удовольствіемъ говорилъ: «Ишь, ишь, куда полѣзъ дѣдъ. И не смается». Всѣ, кому нужно было видѣть Льва Николаевича, являлись къ нему въ деревню и тутъ-же, или помогая ему, или просто сидя на бревнышкахъ среди навоза, бесѣдовали съ нимъ. Во время отдыха, около пяти часовъ, если Л. Н. не уходилъ домой, всѣ усаживались въ ближайшей избѣ и, утоляя свой голодъ хлѣбомъ и квасомъ, снова разсуждали о явленіи борьбы за существованіе и проч.» Въ заключеніе В. Г. говоритъ: «Нужно удивляться Толстому въ

его умѣніи распредѣлять свое рабочее время. Постоянно занятый физическимъ трудомъ, развлекаемый массою посѣтителей знакомыхъ и незнакомыхъ, онъ находилъ время отвѣчать на письма, читать, думать и писать самыя разнообразныя вещи, начиная съ разсказовъ для народа и кончая разсужденіями на тему міровыхъ вопросовъ».

Рафаилъ Лёвенфельдъ, посѣтившій Л. Н. въ 1890 году, разсказываетъ, что во время его пребыванія Л. Н. ежедневно отправлялся работать въ полѣ, гдѣ рядомъ съ нимъ помогала крестьянкамъ и дочь его Марья Львовна и ежедневно къ нему являлись различные посѣтители: то приходила дѣвушка изъ деревни, то пріѣзжали за «Крейцеровой сонатой», то просто издалека являлась какая нибудь барыня, чтобы увидать его и пожать ему руку. Тутъ же пришелъ изъ дальней деревни крестьянинъ посовѣтываться съ нимъ о домашнихъ дѣлахъ. Левъ Николаевичъ, внимательно выслушавъ крестьянина, обстоятельно разъяснилъ ему, какъ нужно, по его мнѣнію, во всѣхъ затруднявшихъ его случаяхъ поступать согласно ученію Христа, и крестьянинъ, тронутый до слезъ, удалился, обѣщаясь исполнить все такъ, какъ посовѣтывалъ ему Л. Толстой.

---

Голодный годъ 1891—92 г. прибавилъ новую блестящую страницу къ біографіи Толстого, которой я и позволю себѣ заключить свой очеркъ. Мы видѣли, какъ онъ училъ и искалъ правды, какъ переходилъ онъ отъ служенія силѣ къ служенію труду и наконецъ—любви. Любовь завершила циклъ развитія и осѣнила своимъ крыломъ могучую больную душу...

Исторія голоднаго года еще слишкомъ на памяти у всѣхъ насъ, чтобы надо было ее разсказывать. Мы видѣли грустное и печальное зрѣлище громадныхъ пространствъ, занесенныхъ снѣгомъ, подъ которымъ безъ одежды, безъ пищи, безъ дровъ, безъ слова жалобы, а съ тихой покорностью умирали сотни и тысячи людей, не зная зачѣмъ они жили, еще меньше зная зачѣмъ они умираютъ... Мы въ это время устраивали филантропическія чтенія и филантропическіе танцы, мы грустили, что такъ все это нехорошо вышло, мы почувствовали въ душѣ обновляющую силу состраданія—увы не надолго, но мы не знали что дѣлать. Толстой первый нашелъ выходъ. Вмѣстѣ съ своею семьей онъ первый отправился въ самую среду голодающихъ и, пользуясь своимъ славнымъ именемъ, кормилъ въ устроенныхъ имъ столовыхъ сотни и тысячи людей. Онъ ни

на минуту не покидалъ своего поста. Пожертвованія шли къ нему со всѣхъ концовъ Россіи, Европы, Америки. Онъ сдѣлалъ что могъ, спасая близкихъ отъ голодной смерти.

Наперекоръ своему ученію, онъ бралъ деньги, раздавалъ деньги, помогалъ деньгами. Такъ горячій ключъ, занесенный снѣгомъ, пробиваетъ ледяную кору и жаркой грѣющей струей вырывается наружу. Такъ любящее человѣческое сердце, замолкшее подъ холоднымъ резонерствомъ, начинаетъ биться съ прежней силой любви и состраданія, несмотря на ледяную кору логическихъ аргументовъ, разъ это сердце есть, разъ оно способно любить, сострадать.

---

## Заключеніе.

Толстой началъ свою литературную дѣятельность въ 1851 г., выступивъ «Дѣтствомъ» въ «Современникѣ» Некрасова. «Дѣтство» обратило на себя вниманіе, хотя преимущественно лишь въ кружкахъ, прикосновенныхъ къ литературѣ. «Севастопольскіе разсказы» сдѣлали имя Толстого популярнымъ въ широкой публикѣ, но истинная слава послѣдовала лишь за «Войной и Миромъ» (1865—69 г.) Въ Европу произведенія Толстого стали проникать лишь въ 70-хъ годахъ, хотя сначала довольно туго. Начало ученія относится къ 1881-му году.

Таковъ послужной литературный списокъ графа Толстого, охватывающій собою періодъ 33-хъ лѣтъ. За эти 33 года русская публика смѣнила нѣсколько кумировъ, изъ которыхъ каждому въ свое время поклонялась до упаду. Въ 50-хъ годахъ первенствовалъ Тургеневъ, въ 60-хъ—Островскій, отчасти Тургеневъ и Писемскій, въ 70-хъ,—какъ ни странно такое сочетаніе именъ,—Достоевскій и Щедринъ, но 80-ые годы почти безраздѣльно принадлежатъ Толстому, который, какъ указалъ я выше, доставлялъ почти всю умственную пищу второй ихъ половинѣ.

Въ литературу эпитетъ «великій» былъ пущенъ Тургеневымъ въ его предсмертномъ письмѣ къ Толстому. Толстой названъ здѣсь великимъ писателемъ земли русской. Тургеневъ, замѣтимъ, имѣетъ въ виду исключительно художественныя произведенія.

Подъ опредѣленіемъ Тургенева нельзя не подписаться, и величіе Толстого, какъ художника, не требуетъ доказательствъ. Мы и не будемъ этого доказывать и, основываясь отчасти на громадной критической литературѣ, отчасти на собственномъ изученіи, постараемся дать оцѣнку художественнаго дарованія Толстого, не надоѣдая читателю восторгомъ и восклицательными знаками.

Сначала о слогѣ. Это не слогъ Тургенева,—гладкій и полированный, носящій на себѣ слѣды тонкой ювелирной работы, красивый и легкій какъ афинскія постройки,—не слогъ Достоевскаго, нервный, пронизывающій, подъ-часъ растрепанный,—это слогъ всегда ясный, простой, сильный, украшенный мѣткими и оригинальными образами и почти всегда небрежный. Въ молодости Толстой заботился о красотѣ и изяществѣ языка: въ «Казакахъ» (1861 г.) есть еще страницы стиля, но, начиная съ статей въ журналѣ «Ясная Поляна», стиль исчезъ. Въ слогѣ Толстого есть многое, что напоминаетъ характеристику его внѣшности, данную какъ-то Тургеневымъ: «Это, писалъ Тургеневъ,—человѣкъ высокаго роста, могучаго сложенія, по наружному виду дюжій и свыкшійся съ деревенскою жизнью (rustique). Не совсѣмъ правильныя черты лица обличаютъ умъ необыкновенный». Въ этомъ портретѣ вы какъ бы узнаете героя-богатыря, Микулу Селяниновича нашей литературы. Толстой на самомъ дѣлѣ не заботится о фразѣ и не боится сдѣлать стилистическую ошибку. Къ красивымъ, изящно построеннымъ фразамъ онъ питаетъ искреннее отвращеніе, и это отвращеніе появилось у него уже въ юности. Тогда онъ между прочимъ нападалъ на Пушкина за то, что тотъ писалъ стихами. Стиховъ Толстой не любитъ и теперь, хотя самъ два раза согрѣшилъ въ этомъ отношеніи—оба раза впрочемъ въ шутку. Стилистическихъ неправильностей можно найти не мало даже на лучшихъ страницахъ «Войны и Мира», но странно, этотъ не всегда красивый и всегда небрежный слогъ въ концѣ концовъ начинаетъ нравиться вамъ больше всякаго другого, все равно какъ некрасивое даже лицо любимой женщины нравится вамъ больше, чѣмъ лицо Мадонны. Слогъ Толстого, какъ и все толстовское, подкупаетъ и порабощаетъ васъ своей мощью, запасомъ громадной заключенной въ немъ силы и наконецъ своей ясностью и точностью. «Разница между мною и Пушкинымъ та, говорилъ Толстой Берсу,—что Пушкинъ, описывая художественную подробность, дѣлаетъ это легко и

не заботится о томъ, будетъ ли она замѣчена и понята читателемъ, а я какъ бы пристаю къ читателю съ этою художественной подробностью, пока ясно не растолкую ее». Прибавить лишнюю вводную фразу или лишнее придаточное предложеніе Толстой не остерегается. Онъ пишетъ, точно домъ строитъ на каменномъ фундаментѣ, и знать не хочетъ, будетъ ли это красиво: главное, чтобы было тепло, удобно, прочно и, что за бѣда, если какой нибудь флигель (придаточное предложеніе) выпятится впередъ?

Отсутствіе фразы въ стилѣ вводитъ насъ въ самую глубь психологіи Толстого какъ художника: онъ всегда и неизмѣнно искренній. Онъ пишетъ то, что думаетъ, и только такъ, какъ думаетъ. Это очень важное обстоятельство, и не могу удержаться, чтобы не напомнить маленькаго остроумнаго разсужденія Берне на эту тему: «Удивительная вещь этотъ письменный столъ, это перо, бумага и чернильница! Кажется, нѣтъ болѣе невинныхъ предметовъ, а между тѣмъ... Я знаю людей умныхъ, честныхъ, безусловно правдивыхъ, но стоитъ имъ только взять въ руки невинное перо, придвинуть къ себѣ невинный листъ бумаги и сѣсть за невинный письменный столъ, какъ сейчасъ же они начинаютъ писать не то, что думаютъ, или по крайней мѣрѣ не такъ, какъ думаютъ. Чтобы это значило—не знаю, но я знаю вотъ что: человѣкъ, который за письменнымъ столомъ не можетъ быть такъ-же искрененъ, какъ самъ съ собой, съ своимъ другомъ, съ любимою и преданною женщиною, никогда, даже подъ угрозой личнаго знакомства съ Меттернихомъ, не долженъ садиться за невинный столъ и брать въ руки невинное перо. Моя статья—мое родное излюбленное дѣтище, а не любовница, купленная за деньги»... Такъ писать, какъ того требуетъ Берне, могутъ лишь литературные избранники, и даже не всѣ литературные избранники, потому что Цицеронъ, Петрарка, Гейне несомнѣнно дѣлали фразы. Чтобы передъ письменнымъ столомъ сохранить полную искренность, не дать себя увлечь въ сторону стиля ни одной случайности—надо видѣть въ своихъ созданіяхъ родное дѣтище и понимать, что это дѣтище ищетъ правды и будетъ въ сущности живо лишь этой правдой. Небрежный въ слогѣ, Толстой по 30—40 разъ передѣлываетъ каждое свое произведеніе, а его гигантская эпопея «Война и Миръ» переправлялась и переписывалась *семь* разъ. Искренность всегда проста и

въ сущности идеально простъ слогъ Толстого: его фразы, какъ вѣтви и листья дерева, располагаются свободно и просто, нисколько не заботясь, какое впечатлѣніе произведутъ они на глазъ просвѣщеннаго туриста.

Лишенный фресокъ и арабесокъ, слогъ Толстого эпически спокоенъ. Въ немъ нѣтъ и слѣда нервности, присущей Достоевскому, нѣтъ лирическихъ порывовъ и даже лирическаго безпорядка многихъ страницъ Гоголя. Толстой пишетъ, какъ будто рѣшаетъ сложную математическую задачу со множествомъ неизвѣстныхъ, понимая, что пропустить что нибудь, самую мелочь, самую простую подстановку, значитъ непремѣнно придти къ ошибкѣ и невѣрности. Эпическое спокойствіе изложенія есть одна изъ характернѣйшихъ особенностей художественнаго дарованія Толстого. Она зависитъ отъ многаго и прежде всего отъ громадной, почти феноменальной художественной памяти великаго писателя земли русской.

«Толстой помнитъ всѣ жизненные процессы такъ счастливо, что, вызывая ихъ изъ прошлаго въ своемъ воображеніи, онъ ихъ можетъ списывать съ дѣйствительности по-секундно, какъ если бы они развертывались передъ нимъ живьемъ и во всякую минуту останавливались по его волѣ передъ его умственнымъ взоромъ, чтобы онъ успѣвалъ захватить изъ нихъ всѣ необходимыя ему подробности. Понятно поэтому, что поставленный лицомъ къ лицу съ этой волшебной ярко вспыхнувшей картиной въ качествѣ спокойнаго наблюдателя, Толстой можетъ такъ сказать сотворять минувшую дѣйствительность во второмъ экземплярѣ, безъ всякой фальши, пораждаемый забвеніемъ характернѣйшихъ частностей событія или, наоборотъ,—вызываемой важною окраской произвольными ретушами того, что когда-то было такъ просто и что невольно кажется изъ отдаленія чѣмъ-то непомѣрно значительнымъ. Часто бываетъ, что писатель въ своемъ отношеніи къ нѣкогда пережитому событію смѣшиваетъ впечатлѣнія прошлаго и переноситъ чувства, навѣянныя однимъ событіемъ, на другое, хотя и сродное съ изображаемымъ, но во многомъ отъ него отличное,—смѣшиваетъ различные источники радости, грусти, тревоги и т. д. Съ Толстымъ ничего подобнаго не можетъ случиться. Для него не существуетъ никакихъ обмановъ зрѣнія, когда онъ смотритъ въ перспективы прошлаго. Читая толстовское описаніе бала, смерти, дождя, родовъ, сраженія, переѣзда на дачу, раздумья въ кабинетѣ, вѣнчанія и т. д.,—вы удивляетесь не только всеобъемлемости воспоминаній автора, но и упорной энергіи самаго описательнаго процесса. Этому художнику совсѣмъ невѣдомы такіе житейскіе факты, которые бы, несмотря на кажущуюся незначительность, не раскрыли бы въ себѣ, при ближайшемъ вниманіи, своихъ интересныхъ особенностей. Поэтому за что бы ни взялся Толстой, онъ можетъ вамъ дать цѣлую главу—и вы, ни мало не безпокоясь о пріостановившейся фабулѣ романа,—

начинаете входить въ матерію какого-нибудь самаго будничнаго эпизода съ неизмѣнно живымъ, возрастающимъ участіемъ».

«Спокойствіе и выдержка творческаго процесса у Толстого дѣлаютъ то, что въ предметахъ, неизбѣжно волнующихъ самого писателя, Толстой никогда не дѣлаетъ пропусковъ противъ жизни, и сколько-бы ни была тяжела и мучительна тема,—Толстой никогда не утомится настолько, чтобы прозѣвать правду и придти, подъ вліяніемъ собственной надорванности, къ концу ранѣе, чѣмъ слѣдуетъ. Такъ онъ провелъ Ивана Ильича черезъ всѣ мытарства долгаго умиранія, отъ простого ощущенія неловкости до нестерпимыхъ болей, сопровождаемыхъ безсознательнымъ, животнымъ выкрикиваньемъ одного лишь страшнаго звука «у! у!...»

(*С. А. Андреевскій*).

Вторая причина эпическаго спокойствія изображенія—это выстраданная и выношенная страсть, которая чувствуется за каждый страницей, вышедшей изъ подъ пера Толстого. Изъ біографіи читатель видитъ, что если Толстой и выражаетъ просто свои мысли, то приходитъ онъ къ своимъ мыслямъ не только не просто, а путемъ самыхъ жестокихъ внутреннихъ мукъ. Не знаю, былъ ли онъ счастливъ когда нибудь въ своей жизни: онъ о своемъ счастьѣ упоминаетъ только одинъ разъ въ письмѣ къ Фету двѣ недѣли послѣ свадьбы. А Левину, двойнику Толстого, его личное счастье постоянно кажется ненатуральнымъ, неестественнымъ, отчасти даже преступнымъ. Я думаю, всякій замѣчалъ или читалъ по крайней мѣрѣ, что сильные люди спокойны въ самыя критическія минуты, хотя-бы это было спокойствіе смерти. Признаюсь откровенно (б. м. это крайность), эпическій тонъ Толстого въ нѣкоторыхъ сценахъ, напр. въ сценѣ убійства Верещагина или смерти Андрея Болконскаго, напоминаетъ мнѣ спокойствіе могилы въ которой бьется, рычитъ и корчится зарытый въ нее живой мертвецъ.

Третья причина эпическаго изложенія Толстого—его громадный аналитическій умственный аппаратъ. Эта особенность генія Толстого отмѣчена давно и блестяще проявилась уже въ «Дѣтствѣ»; кульминаціоннаго-же пункта она достигла, по моему мнѣнію, въ «Смерти Ивана Ильича». Иностранные и русскіе критики зовутъ Толстого художникомъ анатомомъ и видятъ въ этихъ анатомическихъ пріемахъ творчества причину и силы, и слабости автора «Войны и Мира». Выступая въ печати съ своимъ пронизывающимъ психологическимъ анализомъ, Толстой рисковалъ быть непонятымъ, потому что, наполняя свои страницы длинными монологами дѣйствующихъ

лицъ—этими причудливыми молчаливыми бесѣдами людей про себя, Толстой создавалъ совершенно новый смѣлый пріемъ въ литературѣ: такихъ монологовъ до него не писалъ еще никто. Но онъ заставилъ слушать себя, заставилъ читателя, затаивъ дыханіе, слѣдить за безконечной вереницей мыслей, пробѣгающихъ въ головѣ его героевъ, за всѣми мимолетными настроеніями ихъ сердца, за всѣми прихотливыми арабескими ихъ фантазіи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, почему въ крупныхъ произведеніяхъ Толстого нѣтъ, строго говоря, ни одного лица, которое мы могли-бы любить или ненавидѣть? Ни Наташа Ростова, захватывающая сначала читательское сердце своей жизнерадостной молодостью, ни Пьеръ Безуховъ, этотъ толстый добродушный умный человѣкъ, не могутъ стать нашими любимцами. Все равно какъ въ житейскихъ отношеніяхъ ни привязанность, ни дружба, ни любовь не устоятъ, разъ вскрыты всѣ душевные тайники любимаго человѣка, такъ и въ искусствѣ, въ романѣ. Герои Тургенева являются всегда передъ нами при нѣсколько фантастическомъ освѣщеніи, какъ бы при лунномъ свѣтѣ или свѣтѣ молніи; герои Толстого всегда, по счастливому выраженію С. А. Андреевскаго, ходятъ съ освѣщенными внутренностями, и въ концѣ концовъ мы подъ очаровательной жизнерадостностью Наташи Ростовой видимъ лишь эгоизмъ самки, за философіей Андрея Болконскаго—его сословную гордость, за достоинствами Безухаго—его самодовольство, иногда, какъ въ эпилогѣ напр., просто даже обидное. Раньше мы видѣли, что громадный аналитическій аппаратъ Толстого роковымъ образомъ велъ его къ пессимизму и меланхоліи: Толстой слишкомъ всматривался въ себя и людей, чтобы не разглядѣть въ глубинѣ души каждаго изъ насъ чего нибудь очень и очень далекаго отъ совершенства.

Такія-то стороны генія Толстого создали его стиль—этотъ ясный, точный стиль, привлекающій читателя не красотой, не изяществомъ, а своей силой, серьезностью, искренностью. Не торопясь, не нервничая, Толстой шагъ за шагомъ подчиняетъ себѣ воображеніе и умъ читателя; накладывая штрихъ на штрихъ, онъ рисуетъ своихъ героевъ, точно высѣкая изъ мрамора. Отъ каждаго удара молотка отдѣляется лишь нѣсколько пылинокъ камня; нужны сотни тысячъ этихъ ударовъ, чтобы изъ глыбы вышла фигура; нужны тысячи штриховъ, чтобы портретъ Толстого былъ готовъ. Какъ Гомеръ, описывая щитъ Ахил-

леса, не пропускаетъ ни одной линіи, такъ и Толстой не пропускаетъ ничего изъ душевной жизни своихъ героевъ...

Онъ реалистъ въ полномъ смыслѣ этого слова, хотя его реализмъ имѣетъ много особенностей, носящихъ на себѣ рѣзкую печать огромной его индивидуальности. Французы, любящіе формулы, называютъ этотъ реализмъ «идеалистическимъ», противоставляя его реалистическому натурализму Флобера, Зола, Мопасана. Посмотримъ, въ чемъ тутъ суть. Прежде всего замѣтимъ, что Толстой почти никогда не выдумываетъ. Большая часть его произведеній носитъ автобіографическій характеръ. Въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ», «Юности» онъ разсказалъ свои собственныя дѣтство, отрочество и юность; въ «Утрѣ помѣщика»—свои собственныя неудачныя попытки осчастливить крестьянъ по программѣ просвѣщеннаго помѣщика; въ «Люцернѣ»—свои собственныя заграничныя впечатлѣнія, какъ въ севастопольскихъ разсказахъ то, что онъ видѣлъ въ дни знаменитой осады. «Война и Миръ» явилась плодомъ долгаго изученія историческихъ документовъ, относящихся къ 12-му году, и кромѣ того здѣсь масса лицъ, списанныхъ съ натуры. Пьеръ Безухой напр.—одно изъ воплощеній самого Толстого; Марія Болконская—его мать, Николай Ростовъ—отецъ, и т. д. Разумѣется, Толстой то и дѣло отступаетъ отъ факта, но излишняго простора своему воображенію онъ не даетъ никогда. Въ «Аннѣ Карениной» мы видимъ то же самое, такъ какъ трудно не узнать въ Левинѣ самого Толстого и извѣстная сцена объясненія въ любви между Левинымъ и Китти произошли въ дѣйствительности въ 1862-мъ году между самимъ Толстымъ и Софьей Андреевной Берсъ, теперь графиней Толстой. Біографію Толстого можно смѣло написать по его собственнымъ произведеніямъ, и она выйдетъ полной особенно во всемъ, что касается душевной жизни великаго писателя. Не упоминаю уже объ «Исповѣди», гдѣ Толстой раскрылъ свою душу съ такою откровенностью, съ какой никто раньше его не дѣлалъ, даже Руссо, хвастающій искренностью въ своихъ Confessions, вся послѣдняя часть которыхъ оказывается однако бредомъ человѣка, страдающаго маніей преслѣдованія. Толстой разсказалъ намъ все—и крупное, и мелкое изъ своей жизни, не забылъ даже исторію своихъ собакъ Милки и Бульки, эпизода на медвѣжьей охотѣ, когда медвѣдица едва не разгрызла ему черепа, ни того, какъ онъ едва не попался въ плѣнъ на Кавказѣ. Эготизмъ Толстого

постояненъ и онъ ни на минуту не можетъ отказаться отъ него, даже когда выводитъ на сцену не себя а другихъ людей.

Надъ печалями и радостями его лицъ всегда витаетъ все тотъ же знакомый намъ геній; мы знаемъ, что онъ, этотъ геній, разберетъ по косточкамъ каждое ихъ горе и каждую радость и дастъ намъ свои выводы о жизни,—выводы человѣка, одареннаго глубочайшимъ проникновеніемъ въ нѣдра дѣйствительности, который пронизываетъ эту дѣйствительность до самыхъ сокровенныхъ ея тайниковъ, побуждаемый неутомимымъ исканіемъ истины, — и который во всѣхъ направленіяхъ съ горечью наталкивается въ концѣ концовъ на зловѣщее сѣрое пятно, заслоняющее собою всякія дальнѣйшія исканія.

(*С. А. Андреевскій*).

Толстой въ одной изъ самыхъ послѣднихъ своихъ статей, именно въ предисловіи къ переводу дневника Аміэля, замѣтилъ между прочимъ:

«Писатель вѣдь дорогъ и нуженъ намъ *только въ той мѣрѣ, въ которой онъ открываетъ намъ внутреннюю работу своей души,* само собою разумѣется, если работа эта новая, а не сдѣланная прежде. Что-бы онъ ни писалъ: драму, ученое сочиненіе, повѣсть, философскій трактатъ, лирическое стихотвореніе, критику, сатиру,—намъ дорога въ произведеніи писателя только эта внутренняя работа его души, а не та архитектурная постройка, въ которую онъ большею частью, да я думаю и всегда, уродуя ихъ, укладываетъ свои мысли и чувства».

Слова эти какъ нельзя лучше приложимы къ самому Толстому: намъ то онъ и дорогъ прежде всего потому, что открываетъ внутреннюю работу своей души, и работа эта дѣйствительна нова.

Итакъ, самонаблюденіе, никогда не покидающее Толстого, его собственная семейная хроника и историческіе документы, на изученіе которыхъ онъ тратитъ цѣлые годы—вотъ почва его реализма... Но, повторяю, это реализмъ особенный, уживающійся съ безмѣрною субъективностью и въ высшей степени оригинальнымъ идеализмомъ какъ въ научномъ, такъ и въ обыденномъ значеніи этого слова.

По словамъ Вогэю, Толстой всегда остается «высшимъ судьей своихъ персонажей, какъ президентъ суда относительно подсудимыхъ». Типы Толстого одинъ изъ русскихъ критиковъ называетъ «замаскированными приговорами». Это совершенно справедливо, и это нисколько не мѣшаетъ реализму.

«Толстой, продолжаетъ Вогюэ, отводитъ мѣсто тривіальности, потому что она встрѣчается въ жизни и потому еще, что онъ желаетъ живописать жизнь во всей ея полнотѣ; но такъ какъ онъ не чувствуетъ пристрастія къ сюжетамъ тривіальнымъ, то онъ даетъ имъ мѣсто второстепенное, какое они занимаютъ и въ дѣйствительности. На улицѣ, въ гостяхъ, наталкиваешься иногда на отвратительные предметы; рѣдко гдѣ ихъ не встрѣтишь. Толстой показываетъ какъ разъ то, что слѣдуетъ, чтобы не заподозрили, что улица и домъ заранѣе прибраны». Не избѣгая т. н. соблазнительныхъ сценъ, Толстой однако отличается полнымъ цѣломудріемъ своей фантазіи, такъ что его произведенія, даже «Анну Каренину», можно дать любой неиспорченной дѣвушкѣ, не боясь, что чтеніе испортитъ ее. Если онъ то и дѣло изображаетъ пошлость, мелочность, эгоизмъ, чисто животныя ожесточенно половыя страсти—то кто же виноватъ въ этомъ. Но рядомъ съ этимъ онъ отводитъ то и дѣло мѣсто *героизму*—чувству, которое онъ повидимому наиболѣе цѣнитъ въ человѣкѣ. Та страсть, которую Фурье называлъ унитой (страстью единенія), страсть, возводящая въ высокую степень волю отдѣльнаго человѣка, и для Толстого, какъ для Фурье, является вѣнцомъ человѣческой природы.

Реалистъ до мозга костей, Толстой идеалистъ уже потому, что онъ всегда тенденціозенъ, что онъ всегда моралистъ. Моральный элементъ онъ считаетъ необходимымъ въ каждомъ художественномъ произведеніи; онъ винитъ Гете за отсутствіе этого моральнаго элемента и радуется, видя его у Лермонтова. Свой разрывъ съ петербургскими литературными кружками, гдѣ въ 50-хъ годахъ процвѣтало чистое искусство, Толстой объяснялъ гордыми словами: «Я буду писать, но не такъ какъ вы, потому что я знаю, *зачѣмъ* я буду писать». Зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы проповѣдывать, учить, потому что Толстой столько же художникъ, сколько моралистъ, философъ. Онъ хочетъ, какъ Сократъ, учить людей *благу*. Правда, смыслъ этого блага часто мѣнялся втеченіи тридцати трехъ-лѣтней литературной дѣятельности, пройдя черезъ три момента опредѣленія: *силу*, обезпечивающую личное благо, *трудъ*—обезпечивающій общее благо, *любовь*, обезпечивающую блаженство. Мы еще вернемся ко всему этому, пока же замѣтимъ, что послѣдняя формула, къ которой пришелъ Толстой и которую онъ проповѣдуетъ. такова: «Миръ между людьми есть высшее доступное на землѣ благо людей».

Итакъ передъ нами художникъ и моралистъ, поэтъ и философъ, реалистъ и идеалистъ. Мы видѣли источники толстовскаго реализма, которые перечислили кажется всѣ, начиная съ огромной памяти и кончая изученіемъ историческихъ документовъ. Гдѣ-же источники идеализма? Ихъ два:

*1) религіозность*;

*2) народничество.*

Изъ всего того, что написалъ Вогюэ о Толстомъ—а онъ написалъ очень много умнаго—мнѣ больше всего нравится одно блестяще развитое французскимъ критикомъ положеніе: «За всѣмъ, что изображено Толстымъ, говоритъ Вогюэ,—чувствуется присутствіе чего то огромнаго, страшнаго, таинственнаго»... Это присутствіе чего-то огромнаго страшнаго таинственнаго поражаетъ французскаго критика, но оно не должно поражать насъ, русскихъ читателей, потому что Толстого мы узнали послѣ Гоголя, Достоевскаго и—хотѣлось бы прибавить—Лермонтова. Это что-то огромное, страшное, таинственное есть загадка человѣческой жизни. Позволю себѣ привести изъ «Войны и Мира» страницу, которую справедливо считаютъ характернѣйшей для пониманія Толстого. Вотъ эта страница:

«Только выпивъ бутылку или двѣ вина, Пьеръ смутно сознавалъ, что тотъ запутанный, *страшный узелъ жизни*, который ужасалъ его прежде, не такъ страшенъ, какъ ему казалось. Съ шумомъ въ головѣ, болтая, слушая разговоры или читая послѣ обѣда и ужина, онъ безпрестанно видѣлъ этотъ узелъ какою-нибудь стороной его. Но только подъ вліяніемъ вина онъ говорилъ себѣ: «Это ничего. Это я распутаю—вотъ у меня и готово объясненіе. Но теперь некогда,—я послѣ обдумаю все это!» Но это *послѣ* никогда не наступало.

«Натощакъ, поутру, всѣ прежніе вопросы представлялись столь же неразрѣшимыми и страшными, и Пьеръ торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто-нибудь приходилъ къ нему.

«Иногда Пьеръ вспоминалъ о слышанномъ имъ разсказѣ о томъ, какъ на войнѣ солдаты, находясь подъ выстрѣлами, старательно изыскиваютъ себѣ занятіе, для того, чтобы легче переносить опасности. И Пьеру всѣ люди представлялись такими солдатами, спасающимися отъ жизни: кто честолюбіемъ, кто картами, кто писаніемъ законовъ, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто виномъ, кто государственными дѣлами. Нѣтъ ни ничтожнаго, ни важнаго, все равно: только бы спастись отъ нея, какъ умѣю!» думалъ Пьеръ.—*Только бы не видать ее, эту страшную ее.*»

*Только-бы не видѣть ее!* Да развѣ вся драма жизни Толстого не въ этомъ восклицаніи? Развѣ не приходилось ему десятки сотни, разъ завидовать людямъ, у которыхъ на

все готовыя формулы, на все готовыя меню—на обѣдъ и ужинъ, на любовь и бракъ, на радость и горе, на умъ и глупость?... Всю долгую жизнь смотрѣла на Толстого смерть своими страшными глазами, всю долгую жизнь видѣлъ онъ передъ собой таинственную пропасть вѣчности. Онъ сказалъ недавно объ Аміэлѣ вотъ что:

«Впродолженіи всѣхъ 30-ти лѣтъ своего дневника онъ чувствуетъ то, что мы всѣ такъ старательно забываемъ,—то, что мы всѣ приговорены къ смерти и казнь наша только отсрочена.. И отъ этого-то такъ искренна, серьезна и полезна эта книга».

Да, страхъ смерти, страхъ передъ той страной, откуда никто не возвращался—такова красная нить жизни Толстого. Онъ искалъ забвенія въ карточной игрѣ, въ кутежахъ, въ поцѣлуяхъ любимой женщины, въ низведеніи человѣческой личности, а значитъ и себя самого къ дифференціалу, т. е. безконечно малой величинѣ исторіи, въ религіозномъ и нравственномъ резонерствѣ и... что-же онъ нашелъ? Спокойствіе духа... Изъ за этого не стоило хлопотать такъ долго, не стоило такъ много страдать... Противопоставьте все то, что говорилъ Толстой о знаменитыхъ упряжкахъ, общемъ благѣ, общемъ счастьѣ и пр.—раскрытой могилѣ, гдѣ скроются и упряжки, и физическій трудъ, и семейное счастье, и общее счастье—и вы получите тотъ самый нуль, съ котораго началъ гр. Толстой.

Но это исканіе и есть источникъ идеализма Толстого. Ему, какъ живому человѣку, нуженъ Богъ, во имя котораго можно даже уничтожить себя. Онъ искалъ Бога всю жизнь и нашелъ его наконецъ, какъ и слѣдовало, на Голгофѣ. Этотъ Богъ—любовь, самоотреченіе.

Чтобы *тебя* не было—вотъ единственный путь человѣческаго счастья. Возьми семью и уйди въ ея жизнь. Такъ сдѣлалъ Левинъ. Возьми народъ и уйди въ его жизнь. Такъ сдѣлалъ самъ Толстой. Возьми любовь и претвори въ ней свой эгоизмъ—такъ сдѣлалъ опять таки самъ Толстой. Только чтобы тебя не было, не было-бы твоей требовательной, себялюбивой личности,—иначе—страхъ смерти, ужасъ смерти, невозможность примириться со смертью...

Какъ и Достоевскому, религіозная проблема всегда представлялась Толстому наиважнѣйшей. Какъ онъ самъ, такъ и всѣ его герои, заняты прежде всего исканіе ъ Бога. Андрей Болконскій и Безухій въ «Войнѣ и Мирѣ» Левинъ въ «Аннѣ Карениной», десятки другихъ лицъ, не смотря на свою внѣш-

нюю счастливую обстановку, постоянно ощущаютъ какую-то неудовлетворенность, отравляющую имъ лучшія минуты. Оттого-то Толстой, несмотря на свою огромную художественную память, никогда не могъ унизиться до протокола... Надѣляя главныхъ своихъ дѣйствующихъ лицъ муками невѣрующей души, ставя ихъ то и дѣло съ глазу на глазъ съ загадкой жизни, Толстой этимъ самымъ то и дѣло задаетъ себѣ и рѣшаетъ нравственно-религіозные вопросы.

Въ отвѣтахъ, которые онъ даетъ, можно замѣтить всегда одну характерную особенность. Толстой практиченъ. Его тянетъ къ работѣ, къ дѣятельности. Изъ религіи онъ прежде всего извлекаетъ ея дѣйственный элементъ. Вопросъ о смыслѣ жизни то и дѣло подмѣняется у него вопросомъ: «что-же мнѣ дѣлать?»...

Второй источникъ идеализма Толстого—его народничество. Съ народничествомъ русскій читатель знакомъ хорошо, поэтому мнѣ нечего особенно о немъ распространяться. Въ современной своей формѣ оно явилось въ сороковыхъ годахъ и въ основѣ его лежало состраданіе и любовь къ крѣпостному безправному мужику. Съ той поры Антонъ Горемыка, Хори и Калинычи заполонили нашу литературу. Въ семидесятыхъ годахъ было въ шутку замѣчено, что сквозь толпу литературныхъ мужиковъ также трудно протолкаться, какъ за десять лѣтъ передъ тѣмъ сквозь «жаждущихъ знанія и просвѣщенія» барышень. Народничеству или отдали свою дань, или безъизмѣнно служили почти всѣ замѣчательные писатели земли русской. Списокъ ихъ длиненъ: Григоровичъ, Тургеневъ, Щедринъ, Достоевскій, Рѣшетниковъ, М. Вовчокъ, В. Слѣпцовъ, Гл. Успенскій, Л. Толстой, В. Короленко и т. д.—все это народники, хотя, разумѣется, каждый по своему. По своему народникъ и Л. Толстой. Съ его легкой руки, между прочимъ, привилась литературная тема о стремленіи интеллигента сблизиться съ народомъ и въ немъ найти правду жизни. Теперь это тема совсѣмъ захватанная, но въ 61-мъ году она имѣла всю прелесть новизны, разработанная къ тому-же вѣроятно въ лучшемъ изъ чисто художественныхъ произведеній Толстого—повѣсти «Казаки».

Противопоставленіемъ народа и интеллигенціи Толстой занимается постоянно. Этому противопоставленію посвящены всѣ кавказскіе и севастопольскіе разсказы. «Утро помѣщика», «Три смерти», лучшія страницы изъ «Войны и Мира», «Плоды

просвѣщенія». Толстой несомнѣнно идеализируетъ народную жизнь, хотя бы и испорченную уже фабрикой, солдатчиной и пр. Мерзость этой жизни, выставленная во «Власти Тьмы», какъ бы уравновѣшивается фигурой старца Акима, душа котораго младенчески чиста. Мы выше подробно разобрали народническія тенденціи графа Толстого; мы видѣли, съ какими запросами обращалась къ народу его надломленная интеллигентная душа, съ какимъ напряженіемъ искалъ онъ правды въ дѣтски безсвязныхъ рѣчахъ Каратаева, какъ томила его громадность долга нашей цивилизаціи передъ народомъ... Всему этому посвящена наша біографія.

КОНЕЦЪ.

Дозв. цензуры. СПБ., 15 мая 1894 г. Тип. тов. „Общ. польза", Б. Подъяч., 39.

Д. И. Писаревъ.

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ
БІОГРАФИЧЕСКАЯ БИБЛІОТЕКА Ф. ПАВЛЕНКОВА.

# Д. И. ПИСАРЕВЪ

## ЕГО ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

Евгенія Соловьева.

Съ портретомъ Писарева, гравированнымъ въ Лейпцигѣ Геданомъ.

2-е изданіе,

дополненное неизданными письмами Д. И. Писарева.

ЦѢНА 25 КОП.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Е. Евдокимова, Троицкая ул., № 18.
1894.

**Философія Герберта Спенсера**, въ сокращ. изложеніи. *Коллинса*. Перев. съ англійскаго *П. Мокіевскаго*. Ц. 2 руб.

**Законы подражанія**. *Тарда*. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к.

**По волнамъ безконечности**. Астроном. фантазія *К. Фламмаріона*. Перев. съ франц. *В. Ранцева*. 350 стр., съ портр. автора. Ц. 80 к.

**Пессимизмъ**. *Дж. Сёлли*. Популярн. обзоръ всѣхъ пессимист. ученій. Пер. съ англ. подъ редак. и съ предисл. *В. Яковенко*. Ц. 1 р. 50 к.

**Домашній опредѣлитель поддѣлокъ**. *А. Альмедингена*. Ц. 60 к.

**На всякій случай!** Совѣты по домоводству. *А. Альмедингена*. Цѣна 50 к.

**На всякій случай!** *Его-же*. Ч. 2-я. Ц. 50 к.

**Гигіена женщины**. *М. Тило*. Ц. 40 к.

**Гигіена семьи**. *Гебера*. Ц. 50 к.

**Берегите легкія!** Гигіенич. бесѣды д-ра *Нимейера*. Съ 30 рис. Ц. 75 к.

**Гигіена дѣтства**. Д-ра *Перье*. Перев. съ франц. *Русаковой*, пересмотр. д-ромъ А. И. Добровольскимъ. Ц. 50 к.

**Уходъ за больными дѣтьми**. Д-ра *Э. Перье*. Перев. съ франц. *Э. Русаковой*, пересмотрѣнный д-ромъ А. И. Добровольскимъ. Ц. 50 к.

**Уходъ за больными въ семьѣ**. Д-ра *Энцлера*. Перев. съ нѣм. *Гусаковой*, пересмотр. д-ромъ А. И. Добровольскимъ. Ц. 50 к.

**Сохраненіе здоровья**. Гигіена въ примѣненіи къ обыденной жизни. *Д-ра Эйдама*. Ц. 40 к.

**Бактеріи и ихъ роль въ жизни человѣка**. Д-ра *Мигулы*. Перев. съ нѣмецкаго. Съ 35 рис. Ц. 1 руб.

**Предсказаніе погоды**. *Г. Далле*. Переводъ съ франц. Съ 40 рис. Ц. 1 р. 25 к.

**Дарвинизмъ**. *Э. Ферьера*. Пер. съ франц. Популярное изложеніе ученія Дарвина Ц. 60 к.

**Жизнь на Сѣверѣ и Югѣ**. (Отъ полюса до экватора). *А. Брема*. Дополн. къ его сочин. «Жизнь животн.». Со многими рис. Ц. 2 р.

**Первобытные люди**. *Дебьера*. Переволъ съ франц. и дополнилъ *М. Энгельгардтъ*. Съ 84 рисунками. Ц. 1 р.

**Фабричная гигіена**. *В. В. Святловскаго*. 720 стр. и 153 рис. Ц. 4 р.

**Рабочій вопросъ**. Его значеніе въ настоящемъ и будущемъ. *А. Ланге*. Ц. 1 р. 25 к.

**Огородничество**. Практическія наставленія. *Ф. Шубелера*. Съ 137 рис. Ц. 60 к.

**Который часъ?** *И. Вавилова*. Популярное руководство для повѣрки часовъ безъ помощи часовщика и для устройства солнечныхъ часовъ. Съ 13 рис. Книжка эта одобрена Академіей Наукъ. Ц. 30 к.

**Записки желудка**. Съ англійскаго. Ц. 50 к.

**Міръ грёзъ**. Д-ра *Симона*. Сновидѣнія, галлюцинаціи, сомнамбулизмъ, экстазъ, гипнотизмъ, иллюзіи. Перев. съ франц. Ц. 1 р.

**Ручной трудъ**. Составилъ *Графиньи*. Руководство къ домашнимъ занятіямъ ремеслами. Перев. съ франц. Съ 400 рис. Ц. 1 р. 50 к. Въ папкѣ 1 р. 75 к. Въ переплетѣ 2 руб.

**Усталость**. Популярно-научн. бесѣды профес. *Моссо*. Перев. съ итальян. *М. Манасеиной*. Съ 30 рис. Ц. 1 р. 25 к.

**Экстазы человѣка**. *П. Мантегацца*. Переводъ съ 5-го итальянск. изданія. Ц. 1 р. 50 к.

**Физіологическая психологія**. *Цигена*. Перев. съ нѣм., подъ редакціей профес. *Чижа*. Съ 21 рис. Ц. 75 к.

**Умственныя эпидеміи**. Историко-психіатрическіе очерки. Д-ра *Реньяра*. Переводъ съ франц. *Эл. Зауэрг*. Съ 110 рис. Ц. 1 р. 75 к.

**Свѣтъ Божій**. Популярные очерки міроцѣдѣнія. 6-е изд., съ 65 рис. Ц. 30 к.

**Общедоступная астрономія**. *К. Фламмаріона*. Съ 100 рис. Ц. 1 р.

**Разсказы о небѣ**. *К. Фламмаріона*. Перев. съ франц. *Е. Предтеченскаго*. Съ 64 рис. Ц. 50 к.

**Телефонъ и его практическія примѣненія**. *Майера* и *Присса*. Перев. съ нѣм. и англ. *Д. Головъ*. Съ 293 рис. Ц. 2 р. 50 к.

**Электричество въ природѣ**. *Дж. Лари*. Пер. съ франц. *Д. Голова*. Съ 102 рис. Ц. 1 р. 25 к.

**Электрическіе элементы**. Соч. *Ніоде*. Со многими рисунками. Ц. 2 р.

**Электрическіе аккумуляторы**. *Ренье*. Съ 76 рис. Ц. 1 р. 25 к.

**Электрическое освѣщеніе**. Составилъ *В. Чиколевъ*. Съ 151 рис. Ц. 2 р. 50 к.

**Домашнее электрическое освѣщеніе и уходъ за аккумуляторами**. *Сэломонса*. Перевелъ съ 6-го англ. изд. *Д. Головъ*. Практич. руковод. для любит. 81 рис. и 2 діагр. расчета діам. проводовъ. Ц. 1 р. 25 к.

**О безопасности электрическаго освѣщенія**. *В. Чиколева*. Съ 6-ю рисунками. Ц. 25 к.

**Электричество и магнитизмъ**. *Л. Гано* и *Ж. Маневрье*. Пер. *Ф. Павленкова*, *В. Черкасова* и *С. Степанова*. 340 рис. Ц. 1 р. 50 к.

**Популярныя лекціи объ электричествѣ и магнитизмѣ**. *Хволльсона*. Съ 230 рис. Ц. 2 р.

**Главнѣйш. приложенія электричества**. *Э. Госпиталье*. Съ 145 рис. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.

**Электрическая передача энергіи** (передача силы на разстояніе). Сост. *Каппъ*. Съ рис. въ текстѣ. Перев. *Д. Голова*. Ц. 1 р. 60 к.

**Электричество въ домашнемъ быту**. *Э. Госпиталье*. Со множествомъ рисунк. Ц. 2 р.

**Электрическіе звонки**. *Боттона*. Съ кратк. свѣдѣніями о воздуш. звонкахъ. 114 рисунк. Перев. съ англ. *Д. Головъ*. Ц. 1 р.

**Психологія великихъ людей**. Проф. *Жоли*. Перев. съ франц. 2-е изд. Ц. 1 р.

**Соціальн. жизнь животныхъ**. *Эспинаса*. Пер. съ франц. *Ф. Павленкова*. 2-е изд. Ц. 2 р. 50 к.

**Единство физическихъ силъ**. Опытъ популярно-научн. философіи. *А. Секки*. Перев. съ франц. *Ф. Павленкова*. 3-е изд. Ц. 2 р. 50 к.

**Психологія вниманія**. Д-ра *Рибо*. Перев. съ франц. 2-е изд. Ц. 50 к.

**Современные психопаты**. Д-ра *Л. Кюллера*. Переводъ съ франц. Ц. 1 р. 50 к.

**Геніальность и помѣшательство**. *П. Ломброзо*. Съ портр. автора и рис. 2-е изд. Ц. 1 р.

**Вредныя полевыя насѣкомыя**. Сост. *Иверсенъ*. Съ 43 рис. Ц. 80 к.

**Эйфелева башня**. Состав. *Г. Тисандье*. Съ 34 рисунк. Ц. 50 к.

**Хлѣбный жукъ**. Чтенія для народа. Съ 3 рис. Бар. *Н. Корфа*. Ц. 10 к.

**Воздушное садоводство**. *Н. Жуковскаго*. Съ 73 рис. 2-е изд. Ц. 60 к.

**Школьный садоводъ**. *Л. Волотовскаго*. Цѣна 20 к.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.


| | | стр. |
|---|---|---|
| | Отъ автора | 4 |
| | Предисловіе | 5 |
| I. | Дѣтство. — Семья Писаревыхъ.—Знаменское.—Воспитаніе.—Вліяніе матери.—Знаменскій владѣтельный принцъ.—Отношеніе Писарева къ матери и его собственный взглядъ на полученное имъ воспитаніе | 11 |
| II. | Гимназическіе годы. — Писаревъ въ Петербургѣ.—Votre fils tendre et respectueux. Enfant d'une bonne maison.—Взглядъ Писарева на гимназическое образованіе.—Любовь. | 21 |
| III. | «Университетская наука».—Мытарства въ области филологіи и исторіи.—Кружокъ.—Дружба съ Трескинымъ.—Чистая наука.—Начало кризиса.—Семейный раздоръ | 28 |
| IV. | Начало литературной дѣятельности.—«Разсвѣтъ» Кремпина.—Писаревъ нашелъ себя.—Научныя потуги.—Кризисъ приближается | 46 |
| V. | Неудачи любви.—Въ психіатрической больницѣ.—Dementia melancholica | 53 |
| VI. | Выздоровленіе.—Восторги любви.—Начало сотрудничества въ «Русскомъ Словѣ».—Г. Е. Благосвѣтловъ.—О вліяніи Благосвѣтлова на Писарева.—«Уличные типы».—«Идеализмъ Платона».—Кандидатъ университета.—Воинствующій эгоизмъ | 67 |
| VII. | «Схоластика XIX вѣка».—Умственный демократизмъ.—Быстрые успѣхи. — Новая глава романа. — Трагическій эпизодъ | 85 |
| VIII. | Въ крѣпости.—Письма къ матери | 92 |
| IX. | Міросозерцаніе Писарева.—Эмансипація личности.—Утилитаризмъ. — «Реалисты». — Принципъ экономіи силъ.—Любовь, трудъ, знаніе.—Разладъ съ «Современникомъ».—Отношеніе Писарева къ народу.—Педагогическіе взгляды Писарева.—Писаревъ какъ критикъ | 115 |
| X. | На свободѣ.—Разрывъ съ Благосвѣтловымъ.—Новая любовь.—Изъ воспоминаній о Писаревѣ А. М. Скабичевскаго.—Слава.—Переходъ въ «Отечественныя Записки».—Смерть Писарева | 137 |
| XI. | **ЗАКЛЮЧЕНІЕ** | 152 |

# ОТЪ АВТОРА.

Предлагаемый читателю біографическій очеркъ явился, такъ сказать, результатомъ коллективнаго труда, причемъ бо̀льшая часть свѣдѣній о дѣтствѣ и юности Д. И. Писарева заимствованы изъ воспоминаній о немъ его сестры В. И. Писаревой, къ сожалѣнію еще не напечатанныхъ. Для исторіи умственнаго развитія Писарева самымъ цѣннымъ документомъ — не считая разумѣется сочиненій—явились его собственныя письма къ матери, ея же рукой переписанныя въ 13 толстыхъ тетрадей. Эти письма очень многочисленны и отличаются полной откровенностью и обиліемъ подробностей. Писаревъ не скрывалъ никогда отъ матери ни одного движенія своего сердца, ни одной мысли. Необходимо еще упомянуть и о личныхъ разсказахъ тѣхъ, кто зналъ Д. И. Писарева и по прошествіи 25 лѣтъ сохранилъ о немъ самое теплое, а иногда и восторженное воспоминаніе.—Второе, выходящее теперь въ свѣтъ, изданіе біографіи отличается отъ перваго какъ новой группировкой матеріала, такъ и значительно бо̀льшимъ количествомъ приводимыхъ въ немъ отрывковъ изъ неизданныхъ писемъ Писарева.

*Авторъ.*

# Предисловіе.

Дойдя въ своихъ «Воспоминаніяхъ» до 1859 года Шелгуновъ говоритъ: «Съ этого года мои воспоминанія получаютъ другой характеръ. Я вступаю въ сношенія съ людьми, память о которыхъ связана съ лучшими годами моей жизни... И какая же это память, какая благоговѣйная память и какъ она дорога мнѣ! Самая широкая гуманность и великодушныя чувства нашли въ этихъ людяхъ лучшихъ своихъ поборниковъ... Если у меня, старика, у котораго уже нѣтъ будущаго, бываютъ еще теплыя и свѣтлыя минуты въ жизни, то только въ воспоминаніяхъ о нихъ».

Нашъ очеркъ посвященъ жизни и дѣятельности одного изъ тѣхъ людей, память о которомъ была благоговѣйной для честнаго Шелгунова, т. е. Д. И. Писарева. Мы вполнѣ понимаемъ ту отвѣтственность, которую беремъ на себя, тѣмъ болѣе, что на этой благоговѣйной памяти накопилось съ теченіемъ времени столько лжи и самыхъ разнузданныхъ клеветническихъ выходокъ, что сразу смыть всю эту грязь является едва ли возможнымъ. Вѣдь о Писаревѣ еще и теперь въ модѣ такіе разсказы, въ которыхъ онъ фигурируетъ въ качествѣ человѣка, для котораго не было ничего святаго въ жизни; вѣдь еще недавно одинъ изъ самыхъ наглыхъ представителей современной критики (Волынскій) печатно увѣрялъ, что дѣятельность Писарева въ конечномъ результатѣ сводилась къ растлѣнію литературы. Для опроверженія подобныхъ разсказовъ и мнѣній есть только одно оружіе—полная правдивость, полное отсутствіе укрывательства. Этого мы и будемъ держаться при изложеніи нашего очерка.

Мы признаемъ, что Писаревъ былъ большою умственной силой, что онъ какъ критикъ и публицистъ сыгралъ важную и плодотворную роль въ исторіи нашего умственнаго развитія, мы высоко цѣнимъ его умственныя силы, его личныя дарованія, но памятуя, что каждый человѣкъ—дитя своей эпохи, предпочитаемъ начать свое изложеніе съ характеристики того общественнаго движенія, среди котораго жилъ и работалъ Писаревъ. Это движеніе, извѣстное подъ именемъ «шестидесятыхъ годовъ», можетъ быть понято правильно лишь при условіи сравненія его съ тѣмъ, которое предшествовало ему и породило его. Мы говоримъ о сороковыхъ годахъ нашего вѣка.

* * *

Между сороковыми и шестидесятыми годами—разница вообще очень существенная. Въ настоящую минуту, напримѣръ, мы гораздо ближе къ первымъ, чѣмъ къ послѣднимъ. Шестидесятые годы мы не прочь даже развѣнчивать, и наши современные гимназисты ясно представляютъ себѣ «всѣ ихъ крайности и увлеченія». Указываютъ на криминальные проступки: развѣнчаніе Пушкина и Лермонтова, ожесточенные нападки на Тургенева, утверждаютъ даже, что тогда сапоги предпочитались Шекспиру, что̀ впрочемъ несправедливо. Но главная бѣда шестидесятыхъ годовъ—это преклоненіе передъ пользой. «Польза, польза, — патетически восклицаетъ г. Мережковскій.—Чей свѣтлый умъ не помрачало это слово въ нашъ вѣкъ?» И свѣтлые умы шестидесятыхъ годовъ находились въ помраченіи отъ этого ужаснаго призрака. Что у нихъ за идеалы? «Искусство должно служить жизни», «человѣкъ обязанъ стремиться къ общему благу».—Боже мой, скука какая! Какъ все это мелко, утилитарно, какъ малъ ро̀змахъ и вмѣстѣ съ тѣмъ какая ожесточенная, узкая нетерпимость. «Современникъ» громитъ Тургенева, онъ же чуть не съ пѣной у рта набрасывается на Писарева; Писаревъ въ лоскъ отдѣлываетъ Щедрина, каждый мѣсяцъ раздается вызывающій свистъ. Словомъ—что-то ужасное, ни съ чѣмъ не сообразное. Разсмотрѣть же за всѣмъ этимъ ужаснымъ и несообразнымъ живое человѣческое начало, глубокую вѣру, хотѣвшую горы сдвинуть съ мѣста,—не легко. Нападать гораздо легче, тѣмъ болѣе, что угловатостей у шестидесятниковъ — сколько угодно.

Люди сороковыхъ годовъ первые почувствовали, что они чужды этой начинавшейся новизнѣ. Тургеневъ разсорился съ «Современникомъ», Григоровичъ оставилъ литературу, «обожаемому» 20 лѣтъ тому назадъ Пушкину былъ брошенъ гордый вызовъ. Даже Лермонтовъ, повторяю, не уцѣлѣлъ, въ чемъ были повинны впрочемъ не шестидесятые годы, а Зайцевъ, состоявшій при Писаревѣ въ качествѣ адъютанта и ежеминутно готовый доводить до абсурда его точку зрѣнія. Теперь причина этого разрыва между двумя поколѣніями для насъ ясна. Попробуемъ оформулировать ее.

Сороковые годы отличались немалой отвлеченностью. Гегель былъ объявленъ царемъ мысли. Къ нему обращались всѣ мыслящіе и чувствующіе люди за рѣшеніемъ всѣхъ своихъ сомнѣній, какъ къ новому дельфійскому оракулу, и вопрошали его «что есть истина?».

Къ сочиненіямъ Гегеля подходили «со страхомъ и вѣрою», какъ выразился Огаревъ, и готовы были «стоять предъ нимъ на колѣняхъ», какъ говоритъ Грановскій. «Есть вопросы, — писалъ послѣдній,—на которые человѣкъ не можетъ дать удовлетворительнаго отвѣта. Ихъ не рѣшаетъ и Гегель, но все, что доступно теперь знанію человѣка, и самое знаніе у него чудесно объяснено». Изученіе философіи Шиллинга и Гегеля превратилось въ настоящій культъ. Философскія системы не только передумывались, но и переживались. Ничтожныя книженки о Гегелѣ «исправно выписывались и зачитывались до дыръ, до пятенъ въ нѣсколько дней». Увлеченіе доходило до смѣшного: «всякое простое чувство возводилось въ категоріи», все опредѣлялось по субстанціямъ, гуляли не для того, чтобы освѣжиться и отдохнуть, а чтобы «отдаться пантеистическому чувству единства съ космосомъ». Все это любопытно и поучительно. Гегеліанская закваска не могла исчезнуть очень долго, и опять-таки тѣже шестидесятые годы въ извѣстной статьѣ г. Антоновича не только попытались развѣнчать Гегеля, но и обратить его въ ничто. Въ искусствѣ сороковыхъ годовъ Гегель также былъ учителемъ. Съ его точки зрѣнія, цѣль искусства—воспроизводить прекрасное, проявлять гармонію. Таково его единственное назначеніе. Всякая другая цѣль: очищеніе, нравственное совершенствованіе, поучительность,—только подробности, аксессуары или слѣдствія. Созерцаніе красоты вызываетъ въ насъ тихое и чистое наслажденіе, несовмѣстимое съ грубыми удовольствіями чувственнаго характера: оно поднимаетъ душу надъ обычною сферою ея помысловъ, предрасполагаетъ ее къ благороднымъ рѣшеніямъ и великодушнымъ поступкамъ путемъ тѣснаго сродства, существующаго между чувствами и идеями добра, красоты и истины. Это и было исповѣданіемъ вѣры людей 40-хъ годовъ, оттого-то Бѣлинскій и написалъ между прочимъ цѣлый томъ о Пушкинѣ, а Анненковъ просидѣлъ нѣсколько лѣтъ надъ изданіемъ сочиненій поэта. Гдѣ, на самомъ дѣлѣ, такъ проявилась гармонія, гдѣ такъ воспроизводилось прекрасное, какъ не у Пушкина? Ему покланялись, его «обожали», читали и комментировали, и впервые поняли его.

Искусство, творчество—вотъ высшее въ жизни. Только здѣсь человѣкъ лучше всего, полнѣе всего, безъ всякой зависимости проявляетъ самого себя и получаетъ наслажденіе, равнаго которому нѣтъ на землѣ. Григоровичъ трогательно высказалъ этотъ взглядъ въ заключительныхъ словахъ своихъ воспоминаній. Разумѣется,

это не мѣшало людямъ сороковыхъ годовъ быть гуманистами, въ нихъ жило сознаніе человѣческаго достоинства, и они возмущались видя это достоинство затоптаннымъ въ грязь. Но еще больше, чѣмъ возмущенія, было радости, высокой, несоизмѣримой ни съ чѣмъ радости творчества, созерцанія красоты, проявленія гармоніи.

Это одна сторона сороковыхъ годовъ. Была въ нихъ и другая, развившаяся и опредѣлившаяся лишь въ шестидесятые. Я говорю о демократической струнѣ, о жалости ко всѣмъ униженнымъ и оскорбленнымъ, о желаніи счастья человѣку, какимъ бы онъ ни былъ въ настоящую минуту. Оказалось, что созерцать красоту и проявлять гармонію по крайней мѣрѣ недостаточно. Вѣдь у того же пророка Гегеля есть прямо обидныя слова. Напр.: «нечего—говоритъ онъ—проливать слезы и жаловаться, что хорошимъ и нравственнымъ людямъ часто и даже большей частью плохо живется, тогда какъ дурнымъ и злымъ хорошо». Позвольте, какъ такъ нечего плакать? Нѣтъ, тутъ есть отъ чего плакать, надо не только красоту созерцать, не только проявлять гармонію, но и думать о томъ, во имя того работать, чтобы «хорошимъ и нравственнымъ людямъ» на самомъ дѣлѣ хорошо жилось. «Мы—говорила демократическая партія сороковыхъ годовъ—ровно ничего не имѣемъ противъ красоты и гармоніи. Мы обожаемъ ихъ и покланяемся имъ, только чтоже прикажете дѣлать съ униженными и оскорбленными?» Бѣлинскій глубоко задумался надъ этимъ и съ своей обычной страстностью написалъ слѣдующія строки: «Мнѣ говорятъ: «развивай всѣ сокровища своего духа, для свободнаго самонаслажденія духомъ; плачь, дабы утѣшиться; скорби, дабы возрадоваться; стремясь къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а споткнешься—падай, чортъ съ тобой, таковскій и былъ, с... с...! Благодарю покорно, Егоръ Ѳедоровичъ Гегель, кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ удалось влѣзть на высшую ступень развитія,—я и тамъ попросилъ бы васъ отдать отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрія, инквизиціи Филиппа II и пр., и пр., иначе я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастья и даромъ, если не буду спокоенъ насчетъ каждаго изъ моихъ собратій по крови».

Это прямо пророческія слова. Бѣлинскій какъ нельзя лучше угадалъ то направленіе, по которому пойдетъ мысль русская. И она

поклонится философскому колпаку, и она будетъ имѣть честь донести, «что если дисгармонія — условіе гармоніи, то ужъ конечно не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи».

Сороковые годы выработали идеалъ человѣка, научно и эстетически развитой культурной личности, стоящей на высшей ступени развитія. Это было настолько ново въ Россіи, что мудрено было не увлечься такимъ идеаломъ. И имъ увлекались, больше даже—его боготворили. Надо, необходимо надо возвыситься надъ мерзкой и пошлой дѣйствительностью, надо умѣть находить красоту во всемъ, и въ сіяніи солнца, и въ жизни мужика. Только тотъ, кто достигъ высшей ступени развитія, кто позналъ наслажденія творчества — можетъ съ полнымъ достоинствомъ носить названіе человѣка. Есть одна таинственная, притягательная область—область искусства, въ которой, отдаваясь порывамъ вдохновенія, талантъ можетъ постигнуть всю красоту, всю гармонію жизни.

Но тутъ же началась и реакція. Человѣкъ—человѣкомъ, но гдѣ же гражданинъ? Русская мысль сороковыхъ годовъ слишкомъ мало думала о гражданствѣ. Обиженный жизнью, окружающимъ его формализмомъ, жестокостью, человѣкъ инстинктивно искалъ какого-нибудь примиренія съ дѣйствительностью и находилъ его въ творчествѣ, искусствѣ... Но звучала уже въ эти богатые годы другая струна:

Поэтомъ можешь ты не быть,
Но гражданиномъ быть обязанъ...

Этой струнѣ не всѣ сочувствовали, не всѣ, прямо говоря, поняли ее. Слишкомъ трудно было отказаться отъ принятыхъ взглядовъ; съ этими взглядами связано такъ много дивныхъ воспоминаній, имъ же люди были обязаны «долей истиннаго счастья»... На сцену выступили люди «весьма даровитые», но «холодные и замкнутые»*). Опираясь на тѣ же сороковые годы, на ихъ демократизмъ, на ихъ увлеченіе Жоржъ-Зандомъ, на ихъ стремленіе осуществить свою мысль въ дѣйствительности,—они выдвинули на сцену прежде всего гражданскіе мотивы и идею нравственнаго долга человѣка передъ обществомъ. Это было нѣсколько скучно. Прежніе кумиры легко не могли найти себѣ мѣста и часто даже не находили его. Совершенно естественно почему. Въ сороковыхъ годахъ мирно уживались два направленія: эстетическое и гуманитарное. Лучшіе пред-

*) Такъ г. Григоровичъ почему-то называетъ Н. А. Добролюбова.

ставители сороковыхъ годовъ (какъ Тургеневъ, Григоровичъ и т. д.) соединяли въ себѣ то и другое. Они столько же взывали къ состраданію и уваженію къ униженному и оскорбленному, сколько заботились и о красотѣ формы. Они были классиками искусства и вмѣстѣ съ тѣмъ людьми, глубоко сочувствовавшими страданіямъ Антона Горемыки.

Но настала пора, и «общегуманитарныя» воззрѣнія пришлось перевести на практическій языкъ. Какъ же, спросили себя, устроить дѣло такъ, чтобы Антонъ Горемыка не только возбуждалъ сочувствіе и состраданіе людей, достигшихъ высшихъ ступеней развитія, но и вообще «былъ бы счастливъ?» Законно ли, чтобы человѣкъ, описывая страданія Горемыки, чувствовалъ высочайшее художественное наслажденіе и «испытывалъ истинное счастье?»...

Тутъ, какъ хотите, что-то такое есть.

Подвергнувъ «что-то такое» тщательному анализу, нашли, что люди сороковыхъ годовъ, воспитанные на Гегелѣ и его эстетикѣ, на общегуманитарныхъ воззрѣніяхъ, на доктринѣ, которая хотя и соглашалась признавать зло существующаго, но постоянно старалась примирить его во имя дивной красоты и общей гармоніи мірозданія,—были больше людьми, чѣмъ гражданами, имѣющими ясное и опредѣленное представленіе о тѣхъ путяхъ, которыми можетъ процвѣтать и развиваться, и совершенствоваться дорогое отечество. Надо было найти эти пути. Расколъ неминуемо долженъ былъ явиться, и люди сороковыхъ годовъ временно или навсегда устранили себя отъ литературной дѣятельности.

Но этотъ расколъ не заключалъ въ себѣ ничего принципіальнаго; излюбленныя идеи 40-хъ годовъ получили лишь спеціальную окраску. Дѣятели 60-хъ годовъ ведутъ свое литературное происхожденіе отъ дѣятелей 40-хъ, но они выдвинули на первый планъ лѣвую сторону, выдвинули поклонъ Бѣлинскаго философскому колпаку и музу Некрасова. Ихъ главной задачей было разрѣшить вопросы о голодныхъ и раздѣтыхъ паріяхъ XIX вѣка и первая, основная черта шестидесятыхъ годовъ (также какъ сороковыхъ) былъ ихъ *демократизмъ*, но демократизмъ не отвлеченный, а практическій и требовательный.

---

## I.

Дѣтство.—Семья Писаревыхъ.—Знаменское.—Воспитаніе.—Вліяніе матери.—Знаменскій владѣтельный принцъ.—Отношеніе Писарева къ матери и его собственный взглядъ на полученное имъ воспитаніе.

Первые годы жизни Д. И. Писарева переносятъ насъ на границу Орловской и Тульской губерній, въ родовое имѣніе Писаревыхъ—Знаменское.

Знаменское рѣшительно ничѣмъ не отличалось отъ другихъ помѣщичьихъ усадьбъ того времени. Административнымъ и духовнымъ центромъ его являлся старый каменный домъ въ три этажа, съ мастерскими въ нижнемъ, жилыми комнатами въ среднемъ и совершенно заброшеннымъ верхнимъ этажемъ, наводившимъ на дѣтей таинственный страхъ. Внутри—огромная передняя, вѣчно биткомъ набитая степенными, взрослыми лакеями, на лицахъ которыхъ тѣмъ ярче запечатлѣно высокое сознаніе собственнаго достоинства, чѣмъ дольше они протянули лямку; за передней—огромная зала въ 6 оконъ, съ необъятнымъ билліардомъ по срединѣ, огромными старинными часами въ углу и тяжелыми, неуклюжими, домашняго издѣлія стульями вдоль стѣнъ; изъ одного ряда оконъ открывается видъ на рѣку и прудъ. Дальше—гостиная, большая, глубокая, всегда, даже въ самые жаркіе дни, прохладная и хмурая отъ отсутствія солнца. Двери гостиной выходили прямо на балконъ съ ветхими деревянными перилами и широкими лѣстницами, спускавшимися по обѣ стороны въ садъ, носившій скромное названіе палисадника, по сравненію съ двумя другими, еще бо̀льшими садами. За гостиной помѣщалась дѣтская, свѣтлая, веселая, большая комната окнами на юго-востокъ, весь день залитая солнцемъ; подъ окнами разстилался просторный барскій дворъ со службами, разступавшимися по обѣ стороны, чтобы дать мѣсто вымощенной камнемъ дорожкѣ къ бѣлой каменной церкви. А вотъ и двѣ старыя развѣсистыя ели, вѣчно темныя, черно-зеленыя, вѣчно кивавшія своими мохнатыми вершинами, таинственно шептавшимися о чемъ-то. Длинный корридоръ отдѣлялъ дѣтскую отъ дѣвичьей и спальной—большой темной комнаты, съ окнами, круглый день заставленными черными ручными ставнями. Постоянно раскрытыя двери вели изъ спальной въ образную.

Таково было родовое гнѣздо Писаревыхъ. Высокій, трехъ-этажный каменный домъ, стоявшій на пригоркѣ, окруженный многочис-

ленными службами, садами — съ скромной маленькой церковью передъ собой—властно царилъ надъ подчиненными ему владѣніями. Все въ домѣ было старое, помѣщичье, помнившее еще XVIII вѣкъ,— старыми были и покосившаяся крыша, и обросшіе мхомъ камни фундамента, и дворянскія идеи, твердо засѣвшія въ головахъ обладателей этого помѣщичьяго гнѣзда.

Въ началѣ сороковыхъ годовъ въ немъ дружно и братски жила большая семья Писаревыхъ—нѣсколько сестеръ и братьевъ вмѣстѣ. Текла ихъ жизнь весело, шумно и привольно; безъ тяжелыхъ думъ и душевныхъ потрясеній, безъ гнетущей мысли о завтрашнемъ днѣ и изнуряющаго труда изъ-за куска насущнаго хлѣба, держались они мудраго правила—«довлѣетъ дневи злоба его», и заглядывать впередъ не любили. Да и зачѣмъ? И впереди ждало ихъ тоже самое. Привольное и сытное житье, такъ какъ блаженнымъ временамъ крѣпостничества въ то время не предвидѣлось еще и конца.

Семья Писаревыхъ жила также, какъ жили въ то время всѣ дворянскія семьи средней руки; знаменскій домъ, особенно со времени женитьбы отца Дмитрія Ивановича, былъ, что называется, открытымъ, и въ него съѣзжалось множество гостей, все больше изъ мѣстной провинціальной аристократіи; а когда сюда же переселилась тетка Писарева, бойкая, красивая и умная, молодая вдова, къ этому обществу примкнула и молодежь какого-то коннаго полка, стоявшаго поблизости въ уѣздномъ городѣ Задонскѣ. Писаревы были радушны, гостепріимны и хлѣбосолы на широкую ногу. Они были дворянами чистой крови, и это отражалось не только на внѣшнемъ обиходѣ ихъ жизни, но и на всемъ складѣ міросозерцанія. Было въ этомъ міросозерцаніи и хорошее, и дурное, какъ всегда въ Россіи, помѣсь культурнаго съ азіатскимъ, французскаго языка съ крѣпкимъ національнымъ словомъ и шампанскаго съ водкой. Отличались Писаревы и безалаберностью, и широкимъ барскимъ великодушіемъ, полнымъ пренебреженіемъ къ деньгамъ и мелочнымъ разсчетамъ, отличались и рыцарски вѣжливымъ отношеніемъ къ женщинамъ. Амуры и адультеры разумѣется играли не малую роль въ ихъ жизни, но всякая нескромность въ этомъ случаѣ, всякій малѣйшій оттѣнокъ хвастовства и фатовства считались чуть-ли не уголовными преступленіями. Къ чести Писаревыхъ надо однако сказать, что, несмотря на въѣвшееся въ ихъ плоть и кровь крѣпостничество, они были достаточно «аристократами» въ лучшемъ смыслѣ этого слова, чтобы не обижать своихъ холопокъ и хамокъ и не заводить себѣ гаремовъ, что̀ по тому времени было исключеніемъ. Съ этими чертами характера

мирно уживались барское самодурство, какая-то удаль и дикое молодечество. Навязать себѣ на шею уголовное дѣло такъ себѣ, здорово живешь, чтобы потѣшить свою удалую голову, избить до полусмерти духовное лицо за то, что оно не свернуло съ дороги съ подобающей поспѣшностью,—все это было ни-по-чемъ. Но за такія безобразія господа хорошо платили, почему и именовались «хорошими».

Какъ истые баре, Писаревы держали себя въ высокомѣрномъ отдаленіи отъ сермяжной толпы своихъ подданныхъ и жили рядомъ съ ними, совершенно чуждые ихъ быту и нуждамъ. Люди они были не жестокіе, а положительно добрые, но между тѣмъ на ихъ душѣ лежитъ не одна дикая выходка самодурнаго произвола. Заставить напр. ключницу, почтенную женщину, принадлежавшую къ дворовой аристократіи, цѣлый день катать пустыя бочки изъ одного подвала въ другой за то, что она осмѣлилась не въ ту же минуту явиться на барскій призывъ и отозваться, что занята установкой кадокъ въ погребѣ; послать человѣка пѣшкомъ верстъ за 15 за ту великую провинность, что онъ забылъ на постояломъ дворѣ бариновъ чубукъ, или велѣть тому же человѣку за какую-нибудь ошибку или просто неловкость дать самому себѣ опредѣленное количество пощечинъ—это все такіе эпизоды, имя которымъ легіонъ.

Въ такой-то чисто барской, помѣщичьей обстановкѣ и родился 2-го октября 1840 года Дм. Ив. Писаревъ.

Его воспитаніемъ первые годы исключительно занялась мать. Что̀ это было за воспитаніе—представить себѣ не трудно. Мать Писарева—добрая, прекрасной и чистой души женщина, получила образованіе такое же, какое получали въ то время всѣ барышни достаточныхъ дворянскихъ семействъ. Умѣнье говорить и даже думать по-французски, un peu de musique, слабое знаніе нѣмецкаго языка, немножко исторіи и географіи—вотъ и все образованіе. Къ этому надо прибавить хорошія манеры и нѣсколько отдаленное знакомство съ русскимъ языкомъ и литературой.

Принявшись за воспитаніе сына, мать Писарева разумѣется не имѣла никакой педагогической подготовки. Дурно или хорошо, эту подготовку должна была замѣнить страстная материнская любовь, страстное желаніе сдѣлать изъ сына *хорошаго* человѣка. Но хорошій человѣкъ—понятіе относительное. Въ сороковые годы оно означало благовоспитаннаго джентльмэна, умѣющаго держать себя въ обществѣ, великолѣпно говорящаго по-французски и по-нѣмецки, знающаго музыку, словомъ приличнаго во всѣхъ отношеніяхъ. Изъ

Писарева долженъ былъ получиться «jeune homme correcte et bien élevé» — каковой и получился на самомъ дѣлѣ.

Мать принялась за дѣло съ большою торопливостью, происходившей вѣроятно отъ сознанія собственной неумѣлости, отъ робости передъ такимъ большимъ дѣломъ, какъ воспитаніе возлюбленнаго сына. 4-хъ лѣтъ отъ роду Писаревъ уже бѣгло читалъ по-русски, а по-французски говорилъ, какъ маленькій парижанинъ. Въ такихъ успѣхахъ повинны столько же громадныя способности ребенка, его удивительная память, сколько и старательность, приложенная матерью въ дѣлѣ воспитанія. Безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что Писаревъ учился цѣлый день. Мать такъ дорожила каждой минутой, такъ была полна желанія научить ребенка всему, что̀ знала сама, что даже время прогулокъ не пропадало непроизводительно; не было и тутъ отдыха дѣтской мысли: все время отдавалось упражненіямъ во французскомъ языкѣ; сначала мать придумывала цѣлые длинные разговоры, цѣлыя длинныя исторійки на русскомъ языкѣ, употребляя въ нихъ заученныя ребенкомъ слова, а онъ переводилъ ихъ на французскій. Маленькому Писареву это занятіе очень понравилось, а въ скоромъ времени онъ и самъ сталъ выдумывать разговоры, изящно отдѣлывая и округляя свои фразы; особенное же удовольствіе ему доставляло то, когда въ прогулкѣ принималъ участіе кто-нибудь изъ взрослыхъ, взапуски съ нимъ придумывавшихъ примѣры на слова, и тогда ребенокъ выбивался изъ силъ выказать все свое «мастерство словесныхъ дѣлъ».

На физическое развитіе обращалось вниманія очень мало. Писарева разумѣется держали въ теплѣ и холѣ, хорошо кормили, но изъ-за французскихъ діалоговъ совершенно забывали о необходимости для мальчика побѣгать и порѣзвиться. Какъ неопытная воспитательница, мать шла по линіи наименьшаго сопротивленія, обративъ все свое вниманіе на изощреніе тѣхъ способностей, которыя и такъ даны были въ избыткѣ Писареву самой природой, т. е. памяти и воображенія. Но она и не думала, что рыхлаго, мало подвижнаго, слишкомъ «умственнаго» мальчика надо прежде всего пріучить къ движенію и воспитать въ немъ физическое и нравственное мужество. Нужно было тормошить, не умъ — самъ по себѣ въ высшей степени подвижный, а весь организмъ, которому жизнь предназначала столько труда, лишеній и страданія. Но этого не было.

Разумѣется, ни одна демократическая струйка не примѣшивалась къ воспитанію барича. Все равно, какъ сами Писаревы не считали нужнымъ сближаться съ своими сермяжными подданными,

такъ не считали они нужнымъ допускать подобное сближеніе и со стороны своего сына. Будущему дипломату или кавалергарду не требовалось заглядывать въ курныя избы, слышать деревенскія пѣсни или сказки няни-старухи о царевнахъ и царевичахъ, лѣшихъ и домовыхъ. Онъ не долженъ былъ видѣть ничего непріятнаго, грубаго, грязнаго. Вѣдь въ то время не знали еще ни Антона-Горемыки, ни мужика Морея; народническое движеніе еще не начиналось и совершенствомъ существованія считали уйти какъ можно дальше отъ зипуновъ и курныхъ избъ, а не приблизиться къ нимъ. По понятіямъ царившимъ въ знаменскомъ домѣ баричъ могъ лишь утерять свои прекрасныя барскія качества, сойдясь съ мужичьемъ, заразиться предразсудками и суевѣріями, грубыми манерами и т. д., но выиграть ничего не могъ. И, совершенно логично съ точки зрѣнія такихъ понятій, Писарева держали въ полномъ невѣдѣніи насчетъ деревни и деревенской жизни, употребляя всѣ усилія на то, чтобы привить ему европейскій лоскъ. Онъ такъ и выросъ ни разу не взглянувъ въ курную избу, не унеся изъ дѣтскихъ лѣтъ ни одного хорошаго или дурнаго воспоминанія, въ которомъ фигурировалъ бы мужикъ или хотя-бы старуха-няня.

Писаревъ росъ одинъ, постоянно окруженный взрослыми, которые то баловали его, то наказывали, то испытывали надъ нимъ различныя системы воспитанія, но товарищества онъ не зналъ до самой своей юности. А между тѣмъ и у него проявлялась потребность въ сверстникахъ, съ которыми онъ могъ бы порѣзвиться и быть можетъ даже подраться немного—въ предѣлахъ, дозволимыхъ à un enfant d'une bonne maison. Разскажу по этому поводу комическій эпизодъ. Матери однажды пришла фантазія потѣшить сына, исполнивъ его завѣтную мечту—имѣть возлѣ себя товарища, и вотъ его сестру Вѣру одѣли въ его же собственное платье, сдѣлали ей косой проборъ и представили въ качествѣ новаго брата Васи. Писаревъ пришелъ въ восторгъ отъ этой новости, хотя превосходно видѣлъ, что никакого новаго лица нѣтъ, а есть только переодѣванье, но дѣвочка вошла въ свою роль и стала болѣе мальчикомъ, чѣмъ онъ самъ, и обнаружила такое буйство, что ее снова пришлось обратить въ сестру Вѣрочку. Мистификація продолжалась однако дня три, и, когда дѣвочка появилась опять въ своемъ платьицѣ, Писаревъ залился горькими слезами и долго не могъ утѣшиться отъ своей разбитой мечты. «Какъ только я подумаю, что Вѣрочка ужъ больше не мальчикъ», восклицалъ онъ ежеминутно, а за этимъ восклицаніемъ слѣдовалъ новый потокъ горячихъ дѣтскихъ слезъ.

Выростая на діалогахъ и всевозможныхъ «экзерциціяхъ», вѣчно окруженный взрослыми, безъ товарищей и рѣзвыхъ игръ, Писаревъ былъ ребенкомъ очень вялымъ, физически дряхлымъ, серьезнымъ не по лѣтамъ и до смѣшного трусливымъ, зато почтительности и чисто пассивнаго повиновенія въ немъ было столько, что ихъ смѣло можно было сократить въ нѣсколько разъ. Вотъ еще нѣсколько эпизодовъ, достаточно ярко характеризующихъ будущаго нигилиста и сокрушителя вѣрованій.

Писаревъ постоянно нюнилъ. Достаточно было самаго незначительнаго повода, чтобы изъ его глазъ полился обильный потокъ слезъ. Онъ плакалъ, когда его «обижала» маленькая сестра, плакалъ, когда кто-нибудь не соглашался признать его любимой куклы—какого-то безносаго гусара—великолѣпною, плакалъ каждый день, достаточно краснорѣчиво доказывая этимъ свою болѣзненную чувствительность. Эта же чувствительность, какъ результатъ физической дряблости, обусловливала и смѣшную, совершенно безпричинную трусость. Такъ напр., онъ до смерти боялся маленькой рыженькой собаченки «Дурочки», безвреднѣйшаго существа въ мірѣ, которое отличалось однако ярымъ задоромъ. Лежитъ бывало «Дурочка» на своемъ мѣстѣ, на мягкомъ креслѣ,—входитъ маленькій Писаревъ въ комнату, долго вглядывается въ собаку, и замѣтивъ, что та спитъ, крадется на цыпочкахъ, чтобы не разбудить своего врага; но одинъ неосторожный шагъ—собаченка просыпается и тѣмъ съ бо̀льшимъ задоромъ лаетъ и кидается на ребенка, чѣмъ тише тотъ старается пройти; мальчикъ плачетъ и кричитъ отъ испуга. Въ такихъ случаяхъ въ ходъ событій вмѣшивался обыкновенно отецъ. Считая воспитаніе дѣломъ женскимъ, онъ предоставилъ его исключительно женѣ, сохраняя однако за собой верховный надзоръ. Этотъ верховный надзоръ ограничивался впрочемъ преимущественно наказаніями, и зачастую въ старинномъ барскомъ домѣ раздавался умоляющій голосъ маленькаго Писарева: «Папа, сѣки, сѣки, только не больно!»

Сѣкли главнымъ образомъ за плаксивость, такъ какъ по части почтительности и повиновенія Писаревъ смѣло могъ быть поставленъ въ примѣръ всѣмъ своимъ сверстникамъ. Читаетъ онъ напр. исторійку изъ дѣтской книги подъ заглавіемъ «L'enfant raisonneur», гдѣ разсказывается объ испорченномъ мальчикѣ, который на всѣ приказанія взрослыхъ отвѣчалъ вопросами, зачѣмъ да почему? и—о ужасъ!—позволялъ себѣ вдаваться въ самыя неподходящія разсужденія. Писаревъ, пораженный уже самымъ заглавіемъ, окончательно всталъ втупикъ и долго приставалъ къ матери съ распро-

сами: «Mais, maman, est-ce qu'il y a de tels enfants, est-ce qu'on peut ne pas obéir, quand maman et papa ordonnent quelque chose?»*) До какихъ вообще геркулесовыхъ столбовъ доходило его послушаніе, можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ. Ребенку было не болѣе 4-хъ лѣтъ въ то время, когда мать повезла его въ гости къ какимъ-то родственникамъ. Мальчика стали ласкать и первымъ дѣломъ дали кусочекъ конфеты и ложку варенья въ ротъ. Что было тутъ дѣлать? Матери въ комнатѣ не случилось, а съѣсть что-нибудь сладкое безъ ея позволенія Писаревъ считалъ совершенно невозможнымъ, но съ другой стороны лакомство предлагала «ma tante» и выказать явное непослушаніе такому крупному авторитету тоже не приходилось; Писаревъ избралъ средній путь: взялъ—что̀ давали, но продержалъ варенье во рту до прихода матери, не рѣшившись проглотить его иначе, какъ съ разрѣшенія начальства.

Много подобныхъ эпизодовъ изъ дѣтскихъ и отроческихъ лѣтъ Писарева разсказываютъ его близкіе, но мы не будемъ на нихъ останавливаться, хотя отмѣтить эту черту воспитанія не только не мѣшаетъ, но и прямо необходимо.

Въ воспитаніи этомъ однако, несмотря на всѣ его странности, несмотря на то, что велось оно наугадъ и лишало ребенка всей его самостоятельности, было не мало и хорошаго. Прежде всего изъ Писарева сдѣлали, какъ выражается его сестра, «воплощенную правду и искренность». Отъ матери у него не было ничего завѣтнаго, не было той мысли и чувства, которыми, разъ сознавши ихъ, онъ не спѣшилъ бы подѣлиться съ нею съ полной откровенностью.

Впрочемъ эта его общительность проявлялась не относительно только одной матери, но съ нею онъ охотнѣе всего дѣлился своими впечатлѣніями. Правдивость его—все равно какъ послушаніе—доходила до крайнихъ предѣловъ возможнаго: онъ не только самъ никогда не лгалъ словами или дѣйствіями, но его глубоко возмущала всякая неправда въ другихъ, если онъ успѣвалъ замѣтить ее. Встрѣчаясь иногда съ какой-нибудь самой незначительной ложью, онъ широко раскрывалъ глаза и спрашивалъ: «Mais comment donc, maman, mais est-ce que cela est possible?..» (Но какъ же, мама? Развѣ это возможно?) Очень строгъ былъ онъ и къ самому себѣ. Однажды—ему было только девять лѣтъ—его повезли говѣть въ монастырь. Къ исповѣди онъ готовился съ величайшимъ благоговѣніемъ, былъ со-

*) Но, мама, развѣ есть такія дѣти, развѣ можно не слушаться, когда папа или мама что-нибудь приказываютъ?

средоточенъ и молчаливъ цѣлый день, боясь впасть въ какой-либо грѣхъ. Онъ ужасно боялся забыть какой-нибудь изъ своихъ «дурныхъ поступковъ», припоминалъ съ матерью все, что казалось ему нехорошимъ, но каковъ же былъ его ужасъ, когда, вернувшись отъ священника, онъ вспомнилъ, что на душѣ его остался тяжкій грѣхъ: забылъ сказать, что два раза солгалъ: разъ—пропустивши въ нѣмецкой книгѣ, которую читалъ, нѣсколько скучныхъ страницъ, воспользовавшись тѣмъ счастливымъ обстоятельствомъ, что гувернантка его Эмилія Францовна сладко задремала, въ другой—скрывши, что сломалъ игрушку, которую спустилъ украдкой подъ полъ между щелями половицъ. Забывчивость, которая показалась ему ложью, такъ долго мучила мальчика, что матери лишь съ трудомъ удалось успокоить его.—Эта черта характера Писарева осталась у него на всю жизнь.

Не менѣе важно и то, что воспитаніе развило въ немъ значительную дозу самоувѣренности. Это—недостатокъ, скажутъ пожалуй строгіе моралисты. Это—достоинство, скажу я, и достоинство, которое нужно цѣнить на вѣсъ золота, такъ какъ чего же стоитъ человѣкъ, который сомнѣвается въ каждомъ чувствѣ своемъ, въ каждой мысли, въ каждомъ впечатлѣніи? Ровно ничего онъ не стоитъ. Разумѣется, нельзя доводить такой точки зрѣнія до крайности; но вѣдь это предполагается всегда, разъ говорятъ о свойствахъ человѣческой души. Вѣра въ себя необходима для дѣятельности, иначе все будетъ вываливаться изъ рукъ, и ни одна мысль не дойдетъ до конца, испуганная своей собственной смѣлостью. Запасшись этимъ прекраснымъ качествомъ, Писаревъ избѣгалъ многихъ страданій и сберегъ много силъ. Не пришлось ему восклицать съ мучительной злобой въ душѣ:

Ахъ ты, страсть роковая, безплодная,
Отвяжись, не тумань головы.

Не пришлось испытать и горькихъ минутъ застѣнчивости и самоотрицанія...

Приведу однако нѣсколько фактовъ. «Единственный сынъ наслѣдникъ»—Писаревъ въ дѣтствѣ сосредоточивалъ на себѣ все вниманіе и заботы взрослыхъ: любовались имъ многочисленные дяди, не менѣе многочисленныя тетки и всякіе родственники и родственницы, наѣзжавшіе гостить въ просторный знаменскій домъ, баловала и любила его безъ памяти старуха-бабушка, обожала прислуга, боготворила съ какимъ-то страстнымъ увлеченіемъ, съ ревнивою исключительностью совершенно влюбленная въ него мать. Писаревъ былъ центральнымъ свѣтиломъ знаменскаго міра, и пріѣзжій,

коротко знакомый съ порядками въ домѣ, могъ легко заключить по выраженію лица выбѣгавшихъ ему на встрѣчу слугъ, здоровъ или боленъ малютка. Ребенокъ и самъ такъ привыкъ видѣть, что каждое его слово, каждое его движеніе замѣчается, что недостатокъ вниманія къ нему задѣвалъ его за живое и оскорблялъ дѣтское самолюбіе. Пріѣхалъ разъ въ Знаменское гость изъ церемонныхъ,—кажется, елецкій предводитель дворянства; Писарева въ гостинной не было, онъ вошелъ въ комнату, когда уже завязался живой разговоръ между гостями и хозяевами, и крайне удивился, что его появленіе не произвело обыкновеннаго впечатлѣнія: никто не обратился къ нему съ привѣтствіемъ, его даже не замѣтили, хотя, по настоянію пожилой няни Ѳеоны, онъ не преминулъ шаркнуть ножкой и произнести «бонжуръ», и—еще большая обида!—онъ мнилъ себя особенно интереснымъ, потому что облачился въ только что сшитый сюртучекъ и штанишки и охорашивался съ большимъ самодовольствомъ. И каково же было его разочарованіе: вошелъ, поклонился—и никого не поразилъ... Сѣлъ онъ за свой столикъ, поигралъ нѣсколько минутъ, но видно обида заговорила сильнѣе: не вытерпѣлъ, подошелъ къ гостю и пресерьозно спросилъ: «отчего вы меня не замѣчаете и не разговариваете? Всѣ всегда говорятъ со мной!»...

Писаревъ твердо былъ убѣжденъ, что всѣ—особенно мать— къ каждому его слову, къ каждому чувству отнесутся внимательно и любовно. Онъ никогда не слыхалъ этихъ глупыхъ: «отстань, мнѣ некогда», «выростешь—узнаешь» и т. д. Его дѣтская исключительная даже любознательность удовлетворялась по мѣрѣ своего появленія. Онъ видѣлъ, что всѣ находятъ величайшее удовольствіе въ его обществѣ—это льстило его самолюбію, это заставляло цѣнить себя.

Въ общемъ — счастливое дѣтство. Писаревъ жилъ въ теплѣ и холѣ, среди ласки и любви. Онъ долго не видалъ тѣхъ мрачныхъ и суровыхъ сторонъ дѣйствительности, которыя испортили дѣтство и юность другихъ нашихъ публицистовъ и писателей. Хотя вскорѣ состояніе Писаревыхъ пошатнулось, но до нищеты было еще далеко, и Писаревъ вышелъ въ жизнь точно изъ теплицы, — изящный, гордый, самоувѣренный...

* *
*

Въ эти дѣтскіе, а впослѣдствіи и юношескіе годы отношенія къ матери, какъ видитъ читатель, стоятъ на первомъ планѣ. Мать пріучила Писарева къ полной и безусловной откровенности, она

любила его съ тою страстностью, тѣмъ увлеченіемъ, которыя требовали, чтобы сынъ принадлежалъ ей цѣликомъ, безраздѣльно, чтобы онъ дѣлился съ нею каждымъ своимъ помысломъ. Такая любовь недалека отъ ревности и того особеннаго вида деспотизма, которому лучшее названіе—материнскій. И мать впослѣдствіи дѣйствительно ревновала Писарева ко всякой женщинѣ, которая становилась между ними,—впослѣдствіи же она глубоко страдала отъ каждаго самостоятельнаго вѣрованія и каждой самостоятельной мысли, появлявшихся въ головѣ сына. Ей хотѣлось, чтобы Писаревъ на всю жизнь остался тѣмъ милымъ покорнымъ мальчикомъ, какимъ онъ былъ въ дѣтствѣ, чтобы лишь возлѣ нея изливалъ онъ свои страданія и лишь съ ней одной дѣлилъ всѣ радости. Это—извѣстная ошибка излишней любви,—ошибка, вызывающая столько мукъ и разочарованій въ семейной жизни. Мы увидимъ ихъ послѣ, но мнѣ бы хотѣлось уже въ настоящую минуту подготовить къ нимъ читателя и указать на ихъ грустную необходимость.

«Многія черты моего характера—писалъ впослѣдствіи Писаревъ своей матери—огорчали другихъ людей, но не потому, что эти черты наносили имъ большой убытокъ, а потому, что они желали, чтобы я былъ не такой человѣкъ, а другой. Эти люди были неправы, и къ числу ихъ принадлежала и ты. Неправы они были потому, что хотѣли невозможнаго. Каковъ есть человѣкъ, таковъ и есть, и другимъ онъ не будетъ и быть не можетъ. Пока ты желала передѣлать меня, я стоялъ въ оборонительномъ положеніи, потому что мнѣ, какъ и всякому другому человѣку, чрезвычайно дорога неприкосновенность и самостоятельность характера. Человѣкъ защищаетъ ее, какъ свою жизнь, совершенно инстинктивно, когда даже не понимаетъ, что̀ такое самостоятельность и неприкосновенность. На этомъ основаніи вѣчная борьба между воспитателями и дѣтьми. Воспитатели обыкновенно хотятъ сдѣлать слишкомъ много, и это имъ не удается, и въ эту ошибку впадаютъ именно самые усердные и умные воспитатели, къ числу которыхъ принадлежишь и ты. Ошибка эта впрочемъ не приноситъ нисколько вреда; жаль только, что воспитателю она доставляетъ много хлопотъ и даже огорченій: она ведетъ обыкновенно къ тому, что между воспитателемъ и воспитанникомъ, переходящимъ уже въ мужской возрастъ, поселяется на время холодность и натянутость отношеній. Но какъ только воспитатель мирится съ характеромъ воспитанника, какъ съ существующимъ фактомъ, тотчасъ же исчезаетъ всякая холодность и начинается прежнее дружелюбіе. Вотъ самый простой очеркъ нашихъ отношеній съ тобой; вотъ почему между нами было что-то неладно и вотъ почему мы теперь большіе друзья съ тобой и съ каждымъ годомъ будемъ дружиться все сильнѣе.» (1863 г.).

---

## II.

Гимназическіе годы. — Писаревъ въ Петербургѣ—Votre fils tendre et respectueux. Enfant d'une bonne maison.—Взглядъ Писарева на гимназическое образованіе. — Любовь.

Когда Писареву минуло 11 лѣтъ, было рѣшено на семейномъ совѣтѣ везти его въ Петербургъ, въ гимназію. Тяжело было матери разставаться съ своимъ ненаглядным сокровищемъ, неразлучнымъ съ ней съ самаго дня рожденія, но его польза стояла на первомъ планѣ, а отецъ замѣтилъ со свойственной ему добродушной рѣзкостью выраженій: не свиней же ему съ кнутомъ пасти въ деревнѣ. Доставить мальчика въ Петербургъ и сдать его съ рукъ на руки лучшему другу и родственницѣ г-жи Писаревой взялся одинъ изъ дядей Дм. Ив., братъ его отца, который отъ души любилъ мальчика, гордился его успѣхами и возлагалъ огромныя надежды на его будущую карьеру, предсказывая родителямъ, что онъ будетъ министромъ или посланникомъ. Трудно сказать, съ какой стороны и въ какомъ отношеніи Писаревъ могъ подавать поводъ родителямъ и близкимъ людямъ прочить его въ дипломаты, только для «хрустальной коробочки» мечтали именно объ этой карьерѣ.

Зная маленькія средства родителей Писарева, одинъ изъ его богатыхъ дядей вызвался платить за него въ гимназію и впослѣдствіи въ университетъ съ тѣмъ, что современемъ, когда молодой человѣкъ станетъ на ноги и выйдетъ на дорогу, онъ возвратитъ ему истраченное. Это обязательство выполнялось свято до тѣхъ поръ, пока Д. И. Писаревъ, этотъ образецъ повиновенія и всяческихъ добродѣтелей, насажденныхъ въ его сердцѣ домашнимъ воспитаніемъ, оказался отщепенцемъ и разрушилъ розовыя надежды на карьеру, объявивъ категорически, что хочетъ жениться на своей двоюродной сестрѣ, *не хочетъ* быть ни министромъ, ни дипломатомъ, а лишь сотрудникомъ журналовъ...

6-го декабря 51-го года Писаревъ выѣхалъ изъ родного гнѣзда, напутствуемый слезами, наставленіями, горячими молитвами и тетрадками французскихъ и нѣмецкихъ словъ, которыя ему вмѣнялось въ непремѣннѣйшую обязанность повторять, чтобы не забыть языки.

Разставаясь съ роднымъ гнѣздомъ, Писаревъ горько плакалъ—и этими слезами начались его гимназическіе годы. Enfant d'une bonne maison, enfant bien élevé, votre fils tendre et respectueux—словомъ, тотъ самый Писаревъ, котораго мы видѣли подъ кровлею родитель-

скаго дома, не сходитъ со сцены еще нѣсколько лѣтъ. Весь гимназическій курсъ не вызвалъ въ немъ ни одной новой мысли, ни одного новаго душевнаго движенія. Таково мнѣніе самого Писарева, съ такимъ неподражаемымъ юморомъ высказанное имъ въ слѣдующихъ строкахъ:

«Итакъ, я—студентъ. Позади меня въ близкомъ прошедшемъ лежитъ побѣжденная груда личныхъ враговъ моихъ, груда тѣхъ учебниковъ, которыхъ сумма въ совокупности называется гимназическимъ курсомъ. Надъ этой хаотической грудой поверженныхъ и безсильныхъ противниковъ, какъ символъ примиренія и прощенія, сіяетъ кроткимъ и умилительнымъ блескомъ первая серебряная медаль съ изображеніемъ богини мудрости и съ многозначительной надписью «преуспѣвающему». Внѣшніе результаты моего пребыванія въ гимназіи оказываются блистательными; внутренніе результаты поражаютъ неприготовленнаго наблюдателя обиліемъ и разнообразіемъ собранныхъ свѣдѣній: логарифмы и конусы, усѣченныя пирамиды и неусѣченные параллепипеды перекрещиваются съ гекзаметрами Одиссеи и асклепіадовскими размѣрами Горація; рычаги всѣхъ трехъ родовъ, ареометры, динамометры, гальваническія баттареи приходятъ въ столкновеніе съ Навуходоносоромъ, Митридатомъ, Готфридомъ Бульонскимъ и нескончаемыми рядами цифръ, составляющихъ неизбѣжное хронологическое украшеніе слишкомъ извѣстныхъ историческихъ учебниковъ Смарагдова, Зуева и Устрялова. А города, а рѣки, а горныя вершины, а германскій союзъ, а неправильные греческіе глаголы, а удѣльная система, а генеалогія Ивана Калиты! И при всемъ томъ мнѣ только 16 лѣтъ, и я все это превозмогъ и превозмогъ единственно только по милости той драгоцѣнной способности, которою обильно одарены гимназисты. Той же самой способностью одарены вѣроятно и въ той же степени кадеты и семинаристы, лицеисты и правовѣды, да и вообще все обучающееся юношество нашего отечества. Эта благодатная сила не что иное, какъ колоссальная сила забвенія. Юношество понимаетъ, что эта магическая сила представляетъ для него единственное средство спасенія; только при помощи ея оно, выдержавши свои многочисленные экзамены, навсегда очищаетъ свою голову отъ переполняющихъ и засоряющихъ ее ингредіентовъ».

Это случилось и съ самимъ Писаревымъ. Быстро пришлось ему выбросить изъ головы всѣ синусы и косинусы, всѣхъ Навуходоносоровъ и Аннибаловъ, и если онъ нѣсколько рѣзко отзывается о гимназическомъ курсѣ, то, какъ ниже увидитъ читатель, онъ имѣлъ на то свои основательныя причины. Прежде всего отмѣчаетъ онъ чисто механическую систему усвоенія и говоритъ:

«Во время учебнаго года гимназистъ удерживаетъ заразъ въ своей головѣ только тотъ маленькій кусочекъ каждой учебной книги, который учитель въ ближайшій классъ можетъ потребовать къ осмотру; въ одно время въ его мозгу живутъ независимо другъ отъ друга кусочки разныхъ предметовъ; такъ какъ ни одинъ предметъ не вмѣщается въ

мозгу въ своей цѣлости, то эти кусочки живутъ и шевелятся сами по себѣ безъ всякой связи съ цѣлымъ, такъ точно, какъ живутъ и шевелятся сами по себѣ куски разрѣзаннаго земляного червя. Когда наступаетъ пора экзаменовъ, тактика немедленно перемѣняется: эйнъ, цвей, дрей, куски разрѣзаннаго червяка сбѣгаются и сростаются въ надлежащемъ порядкѣ. Начинается церемоніальный маршъ червяковъ черезъ мозги гимназистовъ, по порядку, назначенному въ росписаніи экзаменовъ, проходятъ предметы одинъ за другимъ, и самъ гимназистъ испытываетъ рядъ изумительнѣйшихъ превращеній: сегодня онъ Архимедъ, черезъ три дня Цицеронъ, черезъ недѣлю—Гомеръ».

Быть Архимедомъ, Цицерономъ, а черезъ недѣлю Гомеромъ—вещь разумѣется «пріятная во всѣхъ отношеніяхъ», но каковы свойства такого Архимеда? Для опредѣленія ихъ Писаревъ предлагаетъ «вѣрное средство»:

«Положимъ—говоритъ онъ—что сегодня, 21-го мая, экзаменъ изъ географіи происходитъ блистательно. Проходитъ два дня, 24-го числа тѣ же воспитанники приходятъ экзаменовзться изъ латинскаго языка. Пусть тогда объявятъ юношамъ, что экзамена изъ латинскаго языка не будетъ, а повторится уже выдержанный экзаменъ изъ географіи. Вы посмотрите, тто это будетъ. По рядомъ распространится паническій страхъ: будущіе друзья науки увидятъ ясно, что они попали въ засаду; начнется такое избіеніе младенцевъ, какого не было со времени неистоваго царя Ирода; кто 21-го мая получилъ 5 балловъ, примирится на трехъ, а кто довольствовался тремя баллами, тотъ не скажетъ ни одного путнаго слова»...

Если Писаревъ отзывается такъ рѣзко, если во всемъ гимназическомъ курсѣ онъ не хочетъ видѣть рѣшительно ничего хорошаго, то виновато быть можетъ въ этомъ то обстоятельство, что во время писанія статьи знаменитому публицисту былъ также смѣшонъ гимназическій курсъ, какъ и онъ самъ, его собственная личность въ періодъ гимназическихъ годовъ. Кѣмъ и чѣмъ былъ онъ тогда? «Enfant bien élevé», «enfant d'une bonne maison»—ни больше, ни меньше. Онъ самъ откровенно сознается въ этомъ:

«Наша учащаяся молодежь распадается на двѣ рѣзко обозначенныя категоріи: направо идутъ овцы, неспособныя краснѣть; налѣво—козлища, весьма способныя краснѣть, нюнить и лѣниться. Первыя спокойно и радостно тупѣютъ, вторыя злятся и кусаютъ ногти. Изъ первыхъ выходятъ примѣрные чиновники, изъ вторыхъ—широкія натуры, а иногда и даровитые дѣятели... Я принадлежалъ въ гимназіи къ разряду овецъ; я не злился и не умничалъ, уроки зубрилъ твердо, на экзаменѣ отвѣчалъ краснорѣчиво и почтительно и въ награду за всѣ эти несомнѣнныя достоинства былъ признанъ преуспѣвающимъ... Хотя я и до сихъ поръ не сообщилъ фактическихъ подробностей о моемъ *развитіи*, но я осмѣливаюсь думать, что изъ всего того, что я наговорилъ, про-

нищательный читатель уже составилъ себѣ приблизительное и притомъ довольно вѣрное понятіе о томъ, что я смыслилъ при поступленіи моемъ въ университетъ; скажу я ему еще, что любимымъ занятіемъ моимъ было раскрашиваніе картинокъ въ иллюстрированныхъ изданіяхъ, а любимымъ чтеніемъ—романы Купера и особенно очаровательнаго Дюма. Пробовалъ я читать исторію Англіи Маколея, но чтеніе и подвигалось туго, и казалось мнѣ подвигомъ, требующимъ сильнаго напряженія умственныхъ силъ... На критическія статьи журналовъ я смотрѣлъ какъ на кодексъ гіероглифическихъ надписей, прилагавшихся къ книжкѣ исключительно по заведенной привычкѣ, для вида и для счета листовъ; я былъ твердо убѣжденъ, что этихъ статей никто понимать не можетъ и что природѣ человѣка совершенно несвойственно находить въ чтеніи ихъ малѣйшее удовольствіе. Я долженъ признаться, что въ отношеніи къ нѣкоторымъ журналамъ я даже до сего дня не исцѣлился отъ этого спасительнаго заблужденія... Началъ я также, будучи ученикомъ седьмого класса, читать «Холодный Домъ», одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ романовъ Диккенса, и не дочиталъ: длинно такъ и много лицъ, и ничего не сообразишь, и шутитъ такъ, что ничего не поймешь; такъ на томъ и оставилъ, порѣшивъ, что «Les trois mousquetaires» не въ примѣръ занимательнѣе. Ну, а русскіе писатели—Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Кольцовъ? Читатель, мнѣ стыдно за моихъ домашнихъ воспитателей, стыдно и за себя—зачѣмъ я ихъ слушалъ. Русскихъ писателей я зналъ только по именамъ. «Евгеній Онѣгинъ» и «Герой нашего времени» считались произведеніями безнравственными, а Гоголь — писателемъ сальнымъ и въ приличномъ обществѣ совершенно неумѣстнымъ. Тургеневъ допускался, но конечно я понималъ его также хорошо, какъ понималъ геометрію, Маколея и Диккенса. «Записки Охотника» ласкали какъ-то мой слухъ, но остановиться и задуматься надъ впечатлѣніемъ было для меня немыслимо. Словомъ, я шелъ путемъ самаго благовоспитаннаго юноши».

Писаревъ вѣрно нарисовалъ свой портретъ: во время гимназическаго курса онъ выдавался лишь своими блестящими способностями и удивительной покорностью: изъ него смѣло можно было веревки вить, до того почтительно привыкъ онъ относиться ко всякому авторитету или, прямо говоря,—начальству. Его заставляли изучать латинскую грамматику—онъ изучалъ ее, заставляли маршировать—онъ маршировалъ. Память и способность дѣлали ученье очень легкимъ и помогали получать пятерки на каждомъ шагу. Писаревъ этими пятерками очень гордился и чуть ли не о каждой изъ нихъ сообщалъ въ письмахъ своей матери. Возлѣ этихъ пятерокъ сосредоточивалось за этотъ періодъ все его тщеславіе: онъ носился съ ними, какъ носится ребенокъ съ своими игрушками, и—кто бы могъ предвидѣть, что придетъ день, и почтительный ученикъ 7-го класса, не понимающій даже Диккенса, станетъ во главѣ освободительнаго движенія русской мысли?..

На письмахъ Писарева за это время (1850—56) останавливаться не приходится. Если въ нихъ и есть что-нибудь замѣчательнаго, то никакъ не содержаніе, а лишь форма. Положительно можно залюбоваться, какъ 14—15-лѣтній мальчикъ изящно отдѣлываетъ каждую свою фразу, съ какой легкостью и плавностью разсказываетъ онъ о видѣнномъ и слышанномъ, какъ умѣло обращается онъ со словомъ—русскимъ или французскимъ безразлично, отыскивая всегда самое подходящее. Пишетъ и говоритъ онъ повидимому съ большимъ удовольствіемъ, ему совсѣмъ не надо принуждать себя: перо само бѣжитъ по бумагѣ, само знаетъ, что̀ надо написать. Замѣтимъ еще, что за это время Писаревъ все чаще обращается къ русскому языку, сплошныхъ «французскихъ» писемъ уже нѣтъ. Форма, повторяю, блестящая, но содержаніе совершенно отсутствуетъ. Все оно сводится къ маленькимъ эпизодамъ гимназической жизни. Чтобы показать всю поразительную невинность 15 и 16-ти лѣтняго Д. И. Писарева, приведу изъ кипы писемъ, относящихся къ 55-му и 56-му годамъ, нѣсколько отрывковъ:

«Depuis plus d'une semaine je suis sujet fidèle d'Alexandre II, car Lundi dernier j'ai prêté serment de fidelité à notre Empereur, à l'église du gymnase. Cela m'a donné un petit sentiment d'orgueil que moi aussi je suis en âge de faire un acte aussi sérieux et de contracter un engagement aussi solennel» *).

Это трогательно и даже торжественно! Въ слѣдующемъ письмѣ Писаревъ сообщаетъ своему отцу новость, которая очень заинтересовала его самого: «Военнымъ перемѣнили форму; вмѣсто мундировъ дали имъ казакины, полы короткія въ 7 вершковъ, воротникъ у нихъ будетъ разрѣзной. Я уже видѣлъ Вонляревскаго въ этой формѣ; это очень красиво. Генераламъ же новая форма: вмѣсто лосинъ и ботфортъ у нихъ красные брюки съ золотыми лампасами, а на каскѣ султанъ изъ перьевъ вмѣсто волосъ». Дальше Писаревъ переходитъ къ своимъ собственнымъ дѣламъ. «Будете ли вы катать яйца въ этомъ году?—спрашиваетъ онъ родителей.—Вѣрно будете! И вы также? Неправда ли, mon chèr oncle? Желалъ бы я провести съ вами эту недѣлю. То-то веселье-то... Я страшно люблю катать яйца... Вчера мы уже нѣсколько разъ катали»...

*) «Уже болѣе недѣли, какъ я—вѣрноподданный Александра II-го, потому что прошлый понедѣльникъ принималъ присягу на вѣрность нашему императору въ гимназической церкви. Это вызвало во мнѣ маленькое чувство гордости, такъ какъ я увидѣлъ, что меня считаютъ достаточно взрослымъ, чтобъ совершать такіе серьозные акты и принимать на себя такія торжественныя обязательства».

Передъ вами, словомъ, настоящій ребенокъ, несмотря на свои 16 лѣтъ.

Подобныхъ цитатъ изъ писемъ Писарева можно бы сдѣлать десятки, но я не вижу въ этомъ особенной надобности. Читатель понялъ, надѣюсь, съ какимъ благовоспитаннымъ мальчикомъ имѣетъ онъ дѣло. Мальчикъ изучаетъ латинскую грамматику, мальчикъ маршируетъ, онъ очень доволенъ собой и всѣмъ окружающимъ. Живется ему какъ нельзя болѣе спокойно: въ домѣ родственниковъ относятся къ нему внимательно и ласково, мать издали въ каждомъ письмѣ шлетъ ему свое благословеніе.

Каждое лѣто на каникулы Писаревъ уѣзжалъ къ себѣ домой, въ Грунецъ *). Его тянетъ туда, тянетъ не только привязанность къ матери, не только желаніе погулять и порѣзвиться на свѣжемъ воздухѣ, но и любовь къ кузинѣ Раисѣ. За всѣми перипетіями этой любви, начавшейся еще въ дѣтствѣ, тлѣвшей въ періодъ гимназическихъ годовъ подъ грудой благонамѣренности и вокабулъ всѣхъ языковъ—и ярко разгорѣвшейся въ юности,—намъ придется слѣдить довольно внимательно. Можно прямо утверждать, что эта любовь сыграла въ жизни Писарева громадную роль и была, если можно такъ выразиться, опредѣляющимъ моментомъ въ развитіи его міросозерцанія. Она первая заставила его сдѣлать громадную брешь въ почтительности и привычкѣ во всемъ полагаться на старшихъ; первая поставила Писарева, его личное чувство, его личную страсть въ противодѣйствіе съ окружающей обстановкой и всевозможными авторитетами—отца, матери, дяди. Опираясь на свою любовь и дѣйствуя во имя своего «я», Писаревъ впервые, и притомъ самымъ рѣзкимъ, положительнымъ образомъ формулировалъ свою теорію эгоизма и право каждаго на самостоятельное счастье, которому другіе могутъ сочувствовать или не сочувствовать, но вмѣшиваться въ него, предъявлять ему свои требованія—не смѣютъ. Повторяю, если не придавать значенія этой любви къ Раисѣ, то метаморфоза Писарева изъ невиннаго агнца въ человѣка съ рѣзко опредѣленной и ярко выраженной индивидуальностью навсегда должна остаться въ большей или меньшей степени непонятной. Не *все* любовь разумѣется, но во *многомъ* повинна и она.

Намъ придется вернуться ненадолго къ дѣтскимъ годамъ Писарева. Ему только что минуло 9 лѣтъ, когда на семейномъ совѣтѣ

---

*) Послѣ продажи Знаменскаго Писаревы перебрались въ другое свое имѣніе—Грунецъ. Съ этой поры ихъ денежныя дѣла стали идти изъ рукъ вонъ плохо.

было рѣшено, что отецъ и мать возьмутъ къ себѣ въ домъ на воспитаніе девятилѣтнюю кузину его Раису, у которой нѣсколько времени тому назадъ умерла мать. Черезъ нѣсколько дней дѣти были неразлучны, и маленькій Писаревъ пришелъ въ восторгъ, когда ему объявили, что Раиса поѣдетъ съ нимъ и его родителями въ Грунецъ и будетъ тамъ жить и учиться вмѣстѣ съ нимъ.

«Между двоюроднымъ братомъ и сестрой, — разсказываетъ В. И. Писарева, — въ скоромъ времени сложились странныя отношенія, совершенно впрочемъ логично вытекавшія изъ характеровъ того и другого и изъ тѣхъ личныхъ особенностей, которыя развила въ нихъ жизнь и воспитаніе. Раиса увидѣла рано лицомъ къ лицу жизнь со всѣми ея сѣрыми, неприглядными сторонами. Съ первыхъ дѣтскихъ лѣтъ судьба бросала ее въ дома разныхъ родственниковъ, изъ которыхъ каждый продѣлывалъ съ ней «кто во что гораздъ»; такъ, одни подвергали ее воспитательнымъ экспериментамъ собственнаго изобрѣтенія, между тѣмъ какъ другіе предоставляли ребенка на произволъ судьбы, ни въ чемъ ему не перечили и имѣли въ виду телько физическое воспитаніе... Поэтому Раиса умѣла понимать людей, съ которыми ее сталкивала судьба, сразу, на лету, съ поразительной быстротой взгляда схватывать сущность обстановки, въ которую попадала, и, не взявши ни одной фальшивой ноты, сразу же прилаживаться къ ней. И это несмотря на 9-лѣтній возрастъ. Спеціально женскіе инстинкты были въ ней сильно развиты: она желала нравиться, была кокетлива, и воображеніе ея было сильно развито чтеніемъ всевозможныхъ, для дѣтскаго возраста неподходящихъ, романовъ».

Такова дама сердца маленькаго Писарева. Какъ рыцарь и кавалеръ, онъ оказался очень настойчивымъ въ своемъ ухаживаньи, нѣсколько впрочемъ неуклюжъ, и быстро пріобрѣлъ симпатіи кузины. Онъ учился вмѣстѣ съ ней, и хотя для Раисы едвали былъ особенно пріятенъ переходъ отъ полной свободы къ весьма выдержанному образу жизни, а отъ чтенія всевозможныхъ и даже прямо невозможныхъ романовъ къ изученію вокабулъ французскихъ и нѣмецкихъ и ко всякаго рода развивающимъ и укрѣпляющимъ память діалогамъ, но она примирилась съ своей участью и недурно устроилась возлѣ своего навѣки преданнаго ей рыцаря, котораго разумѣется совершенно забрала въ свои хорошенькія, маленькія ручки. Тотъ помогалъ ей въ урокахъ, объяснялъ, по мѣрѣ силъ, что ей было непонятно, никогда при этомъ не задѣвая ея самолюбія.

Такъ началась любовь, трагическое окончаніе которой намъ скоро придется увидѣть.

---

## III.

«Университетская наука».—Мытарства въ области филологіи и исторіи.—Кружокъ.—Дружба съ Трескинымъ.—Чистая наука.—Начало кризиса.—Семейный раздоръ.

Шестнадцатилѣтній розовый юноша Писаревъ въ 1856 г. поступилъ въ С.-Петербургскій университетъ филологомъ. Для избранія филологіи, какъ спеціальности, были многія основательныя причины. Описавъ свое невинное и близкое къ блаженству состояніе духа за періодъ прохожденія гимназическаго курса, Писаревъ продолжаетъ: «Что-то манило меня въ университетъ; въ словахъ «студентъ, профессоръ, аудиторія, лекція» заключалась для меня какая-то необъяснимая прелесть; что-то свободное, молодое, умное чуялось мнѣ въ студенческой жизни; мнѣ хотѣлось не кутежей, не шалостей, а *какихъ-то* неиспытанныхъ ощущеній, *какой-то* дѣятельности, *какихъ-то* стремленій, которымъ я не могъ дать тогда ни имени, ни опредѣленія, но на которыя непремѣнно разсчитывалъ наткнуться въ стѣнахъ университета...»

Отъ шестнадцатилѣтняго мальчика разумѣется нельзя было и ожидать чего-нибудь болѣе опредѣленнаго, къ тому же возлѣ него не было никого, чтобы растолковалъ ему, что надо дѣлать. Самъ же онъ, любя невѣдомый университетскій міръ въ совокупности, не чувствовалъ никакого особеннаго влеченія къ тому или другому кругу наукъ. Поэтому Писаревъ, полюбовавшись на синеву воротника и на блескъ золоченаго эфеса шпаги, выбралъ факультетъ прямо наугадъ.

«По математическому—рѣшилъ онъ—не пойду, потому что математику ненавижу и въ жизни своей не возьму больше ни одного математическаго сочиненія въ руки; по естественному тоже не пойду, потому что и тамъ есть кусочекъ математики, да и физика почти то же самое, что математика; юридическій факультетъ сухъ (это рѣшеніе можетъ показаться довольно отважнымъ, тѣмъ болѣе, что я тогда еще въ глаза не видалъ ни одного юридическаго сочиненія, — но я уже замѣтилъ прежде, что мы мыслимъ афоризмами, такъ случилось и со мною); въ камеральномъ факультетѣ нѣтъ никакой основательности. (Вотъ вамъ еще афоризмъ, который ничуть не хуже предыдущаго). Управившись такимъ образомъ съ четырьмя факультетами, я увидалъ, что передо мной остаются въ ожиданіи только два: историкофилологическій и восточный.... Развѣ на восточный? Поѣхать при посольствѣ въ Персію или Турцію... жениться на азіатской красавицѣ?.. Это впрочемъ пустяки... А вотъ что: вѣдь на восточномъ придется осиливать нѣсколько грамматикъ, которыя, пожалуй, будутъ похуже греческой... Ну и Богъ съ нимъ! Значитъ—на филологическій».

На томъ Писаревъ и закончилъ свои размышленія.

Въ атмосферѣ филологическаго факультета онъ быстро проникся научнымъ духомъ. Въ началѣ впрочемъ онъ чувствовалъ себя очень неловко въ обществѣ своихъ же товарищей студентовъ. Тутъ онъ впервые услышалъ такія вещи, которыя заставили его задуматься. Говорили объ исторической критикѣ, объ объективномъ творчествѣ, объ основѣ миѳовъ, объ отраженіи идей въ языкѣ, о гриммовскомъ методѣ, о міросозерцаніи народныхъ пѣсенъ; ухитрялись даже спорить и, къ ужасу Писарева, разсуждали о тѣхъ критическихъ и ученыхъ статьяхъ въ журналахъ, которыя были ему недоступны, какъ полярные льды. «Я—разсказываетъ Писаревъ—только моргалъ глазами и даже не пытался скрыть того, какъ глубоко удручаетъ меня сознаніе моего внутренняго *безгласія*».

Итакъ, надо было учиться, чтобы понять эти мудрые термины, эти таинственные вопросы. Но *какъ* учиться? Прежде чѣмъ окончательно выступить на свою дорогу, Писареву пришлось претерпѣть чуть-ли не сорокъ мытарствъ, изъ которыхъ о наиважнѣйшихъ мы упомянемъ:

*Мытарство 1-е.* Сблизившись съ студентами, проф. Креозотовъ (Касторскій) предложилъ имъ однажды предпринять общую работу. Мечтавшій о строго-научной дѣятельности, Писаревъ навострилъ уши. Предложеніе Креозотова состояло въ томъ, чтобы общими силами перевести съ греческаго географическое сочиненіе Страбона. Предложеніе было принято, и каждый желающій получилъ по пяти печатныхъ листовъ довольно мелкаго греческаго текста. «Я—говоритъ Писаревъ—ревностно началъ переводить и потому могу объяснить читателю, что эта была за работа. Представьте себѣ, что какой-нибудь господинъ раскрылъ передъ вами атласъ, взялъ въ руку указку и, водя ею взадъ и впередъ по картѣ, разсказываетъ вамъ, что вотъ это мысъ А, а въ двухъ верстахъ отъ него заливъ В... и все въ томъ же родѣ. И такихъ прогулокъ по атласу набирается листовъ до сорока, а мнѣ предстояло перевести 5,—т. е. 80 страницъ. Читатель понимаетъ конечно, какъ сильно такая работа могла обогатить умъ и какъ важно было для русской публики получить изданіе Страбона въ русскомъ переводѣ... Дѣло, какъ и слѣдовало ожидать, расклеилось. Креозотовъ собралъ растерзанныя части своего Страбона».

*Мытарство 2-е.* Изученіе кельтической поэзіи. Впрочемъ о судьбѣ этого изученія мы ровно ничего не знаемъ; самъ Писаревъ лишь вскользь упоминаетъ о немъ въ письмѣ къ матери отъ 1857 г.,

и, надо думать, кельтическую поэзію постигла участь перевода Страбона.

*Мытарство 3-е.* Еще не раздѣлавшись съ Страбономъ, Писаревъ вздумалъ обратиться къ тому же Креозотову за совѣтомъ по части строго-научныхъ занятій. Краснѣя отъ волненія, онъ «покаялся» ему, что желаетъ спеціально заняться исторіей и убѣдительно просилъ его объяснить, какъ надо поступать въ такомъ затруднительномъ случаѣ. Выслушавъ исповѣдь юноши, Креозотовъ немедленно посовѣтовалъ ему читать энциклопедію Эрша и Грубера и кромѣ того источники древней исторіи—Геродота, Фукидида и пр. Но, увы!—злой рокъ преслѣдовалъ Писарева. Взявши въ библіотекѣ первый томъ энциклопедіи, онъ увидѣлъ, что даже буква А далеко не исчерпывается этимъ томомъ, который однако оттягивалъ ему руки. Разсчитавъ, что Эрша и Грубера пришлось бы читать лѣтъ десять,—Писаревъ предпочелъ не тревожить больше ни одного изъ фоліантовъ. Такъ же поступилъ онъ и съ Геродотомъ.

А между тѣмъ научный духъ не укрощался. Было задѣто и самолюбіе. Трое или четверо изъ близкихъ товарищей Писарева уже отмежевали себѣ ту или другую науку для спеціальныхъ занятій; другіе говорили, что выборъ ихъ еще не установился, но что вотъ они читаютъ то-то и то-то и при этомъ размышляютъ такъ-то и такъ-то. Письма Писарева отъ 57-го года полны мечтами о магистерскомъ экзаменѣ, о каѳедрѣ. Очевидно, эта мечта не даетъ ему ни минуты покоя. Онъ даже подбадриваетъ себя и говоритъ: «я нахожусь въ самомъ блаженномъ настроеніи духа: утромъ штудирую Гегеля, вечеромъ читаю Геродота. Наконецъ-то познакомился я съ настоящей наукой!..»

До настоящей науки было однако далеко. Пока онъ аккуратно посѣщаетъ и записываетъ лекціи. Особенно интересовали его лекціи профессора Телицына *), читавшаго теорію языка и исторію древней русской словесности.

«Въ этихъ лекціяхъ,— говоритъ Писаревъ, — было дѣйствительно много хорошаго. Телицыну было лѣтъ тридцать съ небольшимъ: онъ любилъ студентовъ и искалъ между ними популярности; лекціи свои онъ составлялъ съ большой старательностью и всегда заканчивалъ ихъ какой-нибудь фіоритурою, которая неминуемо должна была поднять въ душѣ студентовъ цѣлую бурю добрыхъ и возвышенныхъ чувствъ... Я увлекался въ одно и то же время и чувствомъ массы, и своею личною потребностью найти себѣ учителя, за которымъ я могъ бы слѣдовать

*) Проф. Сухомлинова.

съ вѣрою и любовью. Мысли о занятіяхъ исторіей замерли во мнѣ, благодаря совѣтамъ Креозотова. Въ этихъ мысляхъ никогда не было ничего серьознаго, и я думалъ приняться за исторію только потому, что исторія—самая яркая наука нашего факультета; она первая бросается въ глаза; и я схватился за нее, какъ ребенокъ хватается за пламя свѣчи... Теперь же, когда я всѣмъ сердцемъ возлюбилъ Телицына, теперь, когда онъ гальванизировалъ меня и товарищей моихъ лукавыми хвостиками своихъ лекцій, теперь, когда въ душѣ моей зародилось неудержимое желаніе посвятить себя—чему, зачѣмъ?—ну все равно—чему бы-то ни было, а только посвятить себя,—наука, истина, свѣтъ, дѣятельность, прогрессъ, развитіе такъ и кувыркались у меня въ головѣ, и это кувырканье казалось мнѣ ужасно плодотворнымъ, хотя изъ него ничего не выходило, да и выйти ничего не могло. «Хочу служить наукѣ, хочу быть полезнымъ, возьмите мою жизнь и сдѣлайте изъ нея что-нибудь полезное для науки. Восторгу было много, смыслу мало»...

*Мытарство 4-е.* Послѣдняя лекція Телицына передъ святками 1856 г. была ознаменована многознаменательнымъ событіемъ. Обожаемый профессоръ сказалъ своимъ слушателямъ, что для пользы науки и для назиданія студентовъ слѣдуетъ перевести нѣсколько умныхъ изслѣдованій и разсужденій. На долю Писарева досталась «зловѣщая брошюра Штейнталя»... Онъ мысленно перекрестился и протянулъ къ ней руку. Брошюра трактовала о «языкознаніи Вильгельма Гумбольдта и философіи Гегеля», и когда Писаревъ приступилъ къ чтенію, то у него съ первыхъ же строкъ закружилась голова. Онъ не понималъ ни одной фразы и, видя себя окончательно погибшимъ, рѣшился не читать, а прямо переводить, причемъ, къ его собственному изумленію и «независимо отъ его воли», являлся какой-то общій смыслъ, точно также, какъ въ чтеніи чичиковскаго Петрушки изъ отдѣльныхъ буквъ всегда составлялось какое-нибудь слово, которое иногда и чортъ знаетъ что̀ значило.

Писаревъ довелъ работу до конца, но конецъ мытарствъ былъ еще очень далекъ. Однажды тотъ же Телицынъ сообщилъ ему, что недавно вышла въ свѣтъ подробная біографія В. Гумбольдта, написанная Гаймомъ, и что было бы хорошо, если бы онъ по этой книгѣ написалъ статью. Писаревъ взялся и за это, и знаете сколько времени, притомъ самаго упорнаго труда, потратилъ онъ на біографію В. Гумбольдта, которая, очевидно, была совершенно ненужна ему—цѣлыхъ 16 мѣсяцевъ!..

Легко было почувствовать послѣ такихъ мытарствъ и испытаній самое искреннее отвращеніе ко всякаго рода принудительной работѣ, тѣмъ болѣе, что эта работа была дѣйствительно принудительная, такъ какъ самъ Писаревъ, совершенно недоумѣвая, что-

ему дѣлать и какъ осуществить свои восторженныя мечты,—подчинялся каждому совѣту съ тою почтительностью, тѣмъ же отсутствіемъ скептицизма, которыя характеризуютъ его дѣтскіе и гимназическіе годы.

Но всему есть предѣлъ.

«Еще двѣ-три такія побѣды—говорилъ Пирръ—и мнѣ придется бѣжать изъ Италіи»... «Еще двѣ-три такихъ работы—и мнѣ придется сойти съ ума»—могъ сказать Писаревъ.

* * *

Дѣйствуя на перекоръ своей природѣ и проводя цѣлые мѣсяцы за тяжелой и утомительной работой, Писаревъ очевидно долженъ былъ находиться подъ чьимъ-нибудь вліяніемъ. Это и было на самомъ дѣлѣ. Съ одной стороны впечатлѣнія дѣтства внушали ему мысль о необходимости безпрекословнаго повиновенія старшимъ, съ другой—краснорѣчивыя фіоритуры Телицына оказывали свое непремѣнное воздѣйствіе на юную душу, но все же на первый планъ надо поставить вліяніе товарищескаго кружка и особенно студента Трескина. «Мы,—разсказываетъ Писаревъ о членахъ своего кружка,—называли себя людьми мысли, хотя конечно не имѣли ни малѣйшаго права называть себя такъ. Новые студенты могли называть Добролюбова своимъ учителемъ, но мы относились къ Добролюбову и «Современнику» вообще съ высокомѣріемъ, свойственнымъ нашей кастѣ. Мы ихъ не читали и гордились этимъ, говоря, что и читать не стоитъ»...

Словомъ, передъ нами кружокъ изъ 8-ми жрецовъ чистой науки. Писаревъ примкнулъ къ нему въ зиму 57 года, т. е. на второмъ уже курсѣ, и всѣмъ своимъ существомъ отдался его жизни и интересамъ. Изъ всѣхъ 8-ми онъ былъ самый младшій и годами, и жизнью; всякому болѣе или менѣе приходилось сталкиваться съ суровыми сторонами дѣйствительности, и только Писаревъ вошелъ въ кружокъ розовымъ птенцомъ прямо изъ-подъ крыла мамаши и тетки. Смѣлыя, восторженныя, хотя весьма неопредѣленныя рѣчи новыхъ товарищей, ихъ юный, весьма незрѣлый скептицизмъ, не выходившій изъ сферы религіозныхъ вопросовъ, сначала ошеломили Писарева, но вскорѣ увлекли его неотразимымъ обаяніемъ чего-то молодого, живого, свѣжаго,—чего онъ ждалъ когда-то въ своихъ гимназическихъ мечтаніяхъ о таинственной студенческой жизни.

И дѣйствительно, нельзя не отдать справедливости кружку, съ которымъ Писарева свели обстоятельства; всѣ его члены, какъ на подборъ, были люди честные, чистые и даже—въ большей или меньшей степени—даровитые. Но, не смотря на всѣ эти благопріятныя условія, этотъ кружокъ, при всѣхъ своихъ свѣтлыхъ сторонахъ, принесъ долю вреда каждому изъ своихъ членовъ. Молодежь не только тѣсно сомкнулась между собой, но и замкнулась въ узкую жизнь своего кружка, совершенно оторвавшись отъ окружающей общей жизни и глядя даже на нее съ нѣкоторымъ высокомѣрнымъ презрѣніемъ. Это были—или только воображали что были—вдохновенные поэты, рожденные не для житейскаго волненья, не для корысти, не для битвъ... Съ вдохновеннымъ видомъ, сверкающими глазами и пылающимъ лицомъ молодые люди произносили пламенныя рѣчи о томъ, что надо посвятить свою жизнь наукѣ, надо отдаться всецѣло чистому знанію, надо отказаться во имя святого призванія отъ всѣхъ житейскихъ благъ и наслажденій—словомъ, молодые жрецы науки жаждали зарыться въ фоліанты, поселиться на различныхъ петербургскихъ чердакахъ и предаться священнодѣйствію. На знамени кружка крупными буквами было написано:

«Подвижничество!»

Любопытную и поучительную исторію образованія кружка мы находимъ въ воспоминаніяхъ А. М. Скабичевскаго о Писаревѣ. А. М. Скабичевскій начинаетъ свою «исторію» издалека, еще съ гимназическихъ временъ:

«Въ Ларинской гимназіи, разсказываетъ онъ, былъ нѣкогда преподаватель русскаго языка Николай Павловичъ Корелкинъ. Человѣкъ энергическій, живой, горячій, онъ былъ своего рода свѣтиломъ среди гимназическихъ преподавателей своего времени, и воспитанники, на которыхъ онъ производилъ самое обаятельное вліяніе, никогда его не забудутъ. Поклонникъ Гегеля и Бѣлинскаго, почитатель Гоголя, онъ былъ слишкомъ живой человѣкъ, чтобы вносить въ преподаваніе и пропагандировать какую-либо узкую схоластическую ученость. Воспитанники его въ шестомъ классѣ уже были знакомы близко со многими произведеніями русской литературы и Гоголемъ. О Бѣлинскомъ Корелкинъ не говорилъ ни слова; въ то время имя это было одно изъ самыхъ запрещенныхъ въ стѣнахъ гимназіи, но это не мѣшало ему проводить идеи и взгляды Бѣлинскаго на русскую литературу. Въ 1855 году Николай Павловичъ Корелкинъ умеръ, и надо сказать, что внезапная смерть его произвела на двухъ его воспитанниковъ 6-го класса гораздо сильнѣйшее впеча-

тлѣніе, чѣмъ всѣ его горячія рѣчи и наставленія. Имъ показалось, что міръ опустѣлъ съ его смертью; онъ сдѣлался въ ихъ глазахъ предметомъ поклоненія; каждое слово его, запечатлѣнное въ ихъ памяти, имѣло въ ихъ глазахъ неприкосновенность святыни; они собирали и сохраняли каждый его ничтожный автографъ. Въ то же время вся окружающая ихъ обстановка показалась имъ вдвое будничнѣе, пошлѣе и грязнѣе со смертью этого человѣка, и они исполнились ожесточеннаго протеста противъ этой обстановки. Они соединились въ тѣсную дружбу и рѣшились въ память незабвеннаго человѣка посвятить всю жизнь свою внутреннему, духовному саморазвитію. Въ мечтахъ объ этомъ духовномъ саморазвитіи прошелъ послѣдній годъ пребыванія ихъ въ 7 классѣ. Все время они посвящали тому, что сходились бесѣдовать о взаимномъ внутреннемъ саморазвитіи, все болѣе и болѣе знакомились съ русской литературой, кончая впрочемъ только Гоголемъ, и писали различныя повѣсти, драмы и комедіи. Въ то же время къ гимназическому начальству, со всѣми его жиденькими учебниками, уроками, баллами, они относились съ явнымъ пренебреженіемъ, выказывая это пренебреженіе открытыми заявленіями презрѣнія къ ихъ преподаванію.

По выходѣ изъ гимназіи, дружба двухъ юношей не разорвалась, а сплотилась еще крѣпче, несмотря на то, что они пошли по разнымъ дорогамъ: одинъ поступилъ въ университетъ на филологическій факультетъ, а другой пошелъ въ моряки. Мало-по-малу общія и неопредѣленныя мечты о духовномъ саморазвитіи получили болѣе опредѣленный характеръ. Корелкинъ, увлекая своихъ воспитанниковъ Гоголемъ, очевидно, выбиралъ для чтенія лучшія его произведенія и совершенно умалчивалъ о послѣднемъ періодѣ его дѣятельности. Друзья же наши, воспринявши отъ своего учителя поклоненіе Гоголю, сами начали изучать этого писателя во всѣхъ подробностяхъ его жизни и докопались конечно до «Переписки съ друзьями». При узкомъ кругѣ развитія и темныхъ мечтахъ о духовномъ самосовершенствованіи, «Переписка съ друзьями» подѣйствовала на юношей потрясающимъ образомъ, по крайней мѣрѣ на одного изъ нихъ. Весь міръ представился имъ погрязшимъ въ грѣховной, языческой суетности. Ужъ не говоря о всякаго рода страстяхъ и похотяхъ, даже самыя невинныя развлеченія, вродѣ куренія табаку, танцевъ и обыденныхъ разговоровъ, стали казаться вещами предосудительными, недостойными мыслящаго человѣка и унижающими его. Мечтателямъ нашимъ казалось, что въ каждую минуту вся природа человѣка должна быть устремлена къ одному—

къ нравственному самосовершенствованію, къ воплощенію въ своей особѣ идеала истиннаго христіанина; каждое произнесенное слово должно было имѣть высшую цѣль и значеніе, а за каждымъ безполезнымъ разговоромъ слѣдовали угрызенія совѣсти. Но такъ какъ подобнаго рода постоянное напряженіе всѣхъ силъ немыслимо въ природѣ человѣка, то за излишними напряженіями должны были слѣдовать истощенія и паденія, тогда всплывали на верхъ всѣ подавляемыя молодыя страсти и начиналась та отчаянная борьба съ демонами, которая такъ прекрасно характеризуетъ средневѣковой аскетизмъ. Обуреваемый такимъ образомъ страстями и будучи не въ силахъ бороться съ ними, одинъ изъ нашихъ молодыхъ аскетовъ (другой былъ болѣе спокойнаго и флегматическаго темперамента и демоны не смущали его такъ, какъ перваго) придумалъ слѣдующій выходъ: ему представилось, что та же самая борьба, которая такъ тяжела и невыносима для человѣка, замкнутаго въ самомъ себѣ, съ его одиночными силами, будетъ не въ примѣръ легче, когда подвижничество будутъ раздѣлять нѣсколько людей и помогать другъ другу въ борьбѣ со страстями и въ нравственномъ самосовершенствованіи; къ тому же высшая цѣль мыслящаго человѣка заключается не въ одномъ личномъ самосовершенствованіи, а въ томъ, чтобы всѣхъ окружающихъ людей дѣлать мыслящими и подымать до своего идеала. Вслѣдствіе этихъ соображеній, молодой аскетъ задумалъ основать «общество мыслящихъ людей», съ колоссальной цѣлью возродить въ мірѣ христіанство въ его истинномъ, идеальномъ смыслѣ. Проектъ товарищей по гимназіи,—и они всѣ тотчасъ же увлеклись этимъ проектомъ. Общество возникло на слѣдующихъ основаніяхъ: каждую недѣлю должны происходить общія собранія для благочестивыхъ разговоровъ и взаимной нравственной поддержки, причемъ члены общества должны употреблять особенныя усилія для поддержки и спасенія того изъ братьевъ, которому невыносимо станетъ бороться со страстями и онъ воззоветъ къ нимъ о помощи; въ то же время каждый членъ долженъ заботиться о распространеніи общества путемъ привлеченія кого-нибудь изъ своихъ близкихъ и знакомыхъ на дорогу высшаго, духовнаго саморазвитія. Такого рода неофиты назывались въ обществѣ оглашенными, и иногда эти оглашенные призывались въ общія собранія для того, чтобы они поучались и утверждались на новой дорогѣ. До какого фантастическаго сумасбродства и фанатизма доходили нѣкоторые члены общества, можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра. На одномъ изъ засѣданій былъ поднятъ вопросъ объ отношеніяхъ между мужчинами и

женщинами. Женщинъ въ этомъ обществѣ не было, но предполагалось, что съ распространеніемъ общества будутъ въ немъ участвовать и женщины. Каковы же должны быть отношенія между мужчинами и женщинами въ духѣ высшаго духовнаго саморазвитія? Очевидное дѣло, что между мужчиною и женщиною должна быть только высшая, всеобъемлющая духовная любовь христіанина къ христіанину, такой же нравственный союзъ для взаимной поддержки, какъ и между всѣми членами общества безъ различія пола, а такъ какъ малѣйшее нечистое помышленіе унижаетъ уже мысль человѣка, то половыя влеченія должны быть совершенно исключены изъ отношеній мужчинъ и женщинъ. «Прекрасно возражали нѣкоторые скептики: но что же будетъ, когда общество наше выростетъ до того, что приметъ въ свои нѣдра все человѣчество, и человѣчество, слѣдуя принципамъ нашего общества, отвергнетъ всякую плотскую связь между мужчиною и женщиною; тогда человѣчество, а слѣдовательно и общество наше, просуществуетъ всего 100 лѣтъ, пока не умретъ послѣдній членъ его и вмѣстѣ съ нимъ не вымретъ все человѣчество». Тогда скептикамъ возражали: «во-первыхъ, пусть лучше человѣчество, достигнувши высшей своей цѣли и назначенія вымретъ въ теченіе 100 лѣтъ, нежели оно тысячелѣтія будетъ погрязать въ грѣхѣ, суетности и униженіи; а во-вторыхъ, какъ дерзаете вы извѣдать всѣ тайны всеблагого и всесильнаго Провидѣнія? Въ награду за такое подвижничество человѣчества, въ его власти ниспослать чудо и сдѣлать людей безсмертными, или же, можетъ быть, Провидѣніе устроитъ, что люди будутъ рождаться какимъ-нибудь чудеснымъ образомъ, помимо плотскаго грѣха». Скептикамъ нечего было возражать на такіе доводы, и они смолкали. Вся эта исторія продѣлывалась въ концѣ 1857 г., когда члены «общества мыслящихъ людей» были уже на 2-мъ курсѣ».

Подвижничество кружка было столько же дѣломъ, сколько настроеніемъ, преимущественно даже послѣднимъ. Примкнувъ къ кружку, Писаревъ увлекся этимъ таинственнымъ подвижничествомъ, что̀ между прочимъ и заставило его посвятить цѣлыхъ 16 мѣсяцевъ безплодной для него работѣ надъ біографіей В. Гумбольдта.

Ближе всего сошелся онъ съ своимъ товарищемъ Трескинымъ. О̀ послѣднемъ намъ необходимо сказать нѣсколько словъ. Дружба обоихъ студентовъ была основана, кромѣ чисто личнаго, непосредственнаго влеченія, на томъ, что каждый изъ нихъ, хотя и по своему, переживалъ тотъ же нравственный кризисъ. Болѣзненный, нервно раздражительный, страстно порывистый Трескинъ подда-

вался свѣтлому обаянію смѣлой и самоувѣренной личности своего товарища. Онъ вносилъ въ свои отношенія къ нему, особенно въ медовые мѣсяцы дружбы, нѣсколько даже сантиментальный характеръ; онъ былъ просто влюбленъ въ Писарева, примѣнялъ къ нему теоріи о различныхъ магнетическихъ токахъ, увѣрялъ, что даже не глядя въ его сторону чувствуетъ его приближеніе и т. д. Иногда его нѣжность доходила до смѣшного, онъ ничего не ѣлъ лакомаго, не подѣлившись съ другомъ, причемъ послѣдній трунилъ надъ нимъ и увѣрялъ, что они разыгрываютъ между собой сцены достойныя Пульхеріи Ивановны и Аѳанасія Ивановича. Это—несмотря на коренное различіе характеровъ. Писаревъ — *скрытая вольница*, Трескинъ—подвижникъ, хотя и не въ широкомъ масштабѣ.

Трескинъ былъ воплощеніемъ мрачнаго, сосредоточеннаго страданія; несмотря на скептицизмъ въ области религіи, онъ по натурѣ былъ мистикомъ; всякое свое отрицаніе онъ бралъ съ боя, страдая до холоднаго пота и нервной дрожи, часто пугаясь своихъ собственныхъ мыслей, какъ дѣти пугаются своихъ собственныхъ голосовъ въ темной комнатѣ. Каждый смѣлый шагъ въ области мысли немедленно же вызывалъ въ немъ реакцію въ противуположную сторону, и онъ часто дѣлился съ другомъ своими сомнѣніями, говоря:

— А имѣемъ ли мы право касаться такихъ вопросовъ, не излишняя ли это дерзость съ нашей стороны?

Трескинъ бросался на колѣна передъ павшими алтарями со слезами раскаянія на глазахъ, съ глубокой болью въ сердцѣ; онъ отрывалъ отъ себя прошлое съ кровью и мучительными страданіями, потому что невозможно было остановить разъ начавшуюся работу ума. Въ нравственныхъ вопросахъ онъ былъ неумолимо строгъ къ самому себѣ и другимъ; малѣйшая фальшь, малѣйшее уклоненіе отъ какого-то мечтательнаго, невозможно высокаго идеала приводили его въ негодованіе, и Писаревъ часто, шутя, называлъ его *цензоромъ нравовъ*.

Очевидно, что съ такимъ человѣкомъ Писаревъ могъ быть друженъ лишь до поры до времени, лишь до поры до времени могъ онъ быть друженъ и со всѣмъ кружкомъ. Птенецъ окрылялся очень быстро, а индивидуальность скрытой вольницы тянула совсѣмъ не въ сторону сидѣнія и плаканья на рѣкахъ вавилонскихъ.

Тогда начинался разгаръ 60-хъ годовъ или, какъ любятъ выражаться иные публицисты, видѣлось уже зарево грядущаго пожара. Къ этому зареву намъ надо присмотрѣться, хотя замѣтимъ, что не-

смотря на истеченіе слишкомъ тридцати лѣтъ дѣйствительная его сущность извѣстна намъ лишь приблизительно.

Еще и теперь во многихъ умахъ господствуетъ то странное представленіе, что неизвѣстно какъ и откуда, но по всей вѣроятности изъ какого-нибудь ужаснаго мѣста вродѣ болотъ меотійскихъ или лѣсовъ муромскихъ вышли семинаристы, неумытые, грязные, всклокоченные, полные нравственной заразы и дерзости. Семинаристы эти, пользуясь снисходительностью власти, стали творить всякія безобразія и съ удареніемъ на *о* проповѣдывать разрушеніе основъ семейныхъ и государственныхъ, безполезность искусства и Пушкина и многія другія одинаково ужасныя вещи. Но вскорѣ дерзость новаторовъ переполнила чашу терпѣнія, снисходительность власти исчезла и семинаристамъ было приказано скрыться опять за меотійскія болота. Водворилась тишина.

Такая суздальская картина, имѣющая существовать еще неизвѣстно сколько времени, подвергалась не разъ значительному разукрашиванію и даже художественной (!) обработкѣ. Не разъ у добрыхъ читателей и добрыхъ читательницъ исторгались слезы состраданія описаніемъ бѣдствій юныхъ дѣвъ, подвергшихся тлетворному вліянію лохматыхъ нигилистовъ, не разъ изображались семейныя бури и трагедіи, вызванныя новыми идеями, не разъ эти нашествія бурсаковъ на Россію уподоблялись вторичному вторженію Мамая и его необузданнаго воинства. Художники (!) изображали намъ слезы покинутыхъ женъ и отчаяніе брошенныхъ мужей, пискъ и рыданіе на произволъ оставленныхъ младенцевъ, мерзость нигилизма и прелесть Домостроя. Не зачѣмъ возвращаться ко всему этому и оставивъ въ сторонѣ нравственную оцѣнку эпохи, попробуемъ подойти къ ней съ другой стороны.

Какъ бы ни называли ее—-мрачной или свѣтлой, есть одинъ эпитетъ, который совсѣмъ не подходитъ къ ней: ее нельзя назвать сѣренькой. Обычные будни уступили тогда мѣсто исканію и броженію. Отъ высшихъ до нисшихъ волновались всѣ и безпокойно искали новыхъ формъ жизни, новыхъ идей, новыхъ кумировъ. Это броженіе, эти безпокойные порывы духа—первое что бросается намъ въ эпохѣ, о которой идетъ рѣчь.

Съ точки зрѣнія хронологіи ея началомъ можно считать смерть императора Николая и окончаніе крымской войны. Умирая, Николай I уложилъ съ собой въ могилу цѣлую систему патріархальную и суровую систему, основанную на крѣпостномъ правѣ и подчиненіи отдѣльнаго человѣка личности, строгому режиму, какъ семейной,

такъ и государственной жизни. Крымская война по плану должна была послужить апофеозомъ старой крѣпостной Россіи и доказать всей Европѣ не только силу и величіе отечества, но и вредъ всякихъ новшествъ, всякихъ свободныхъ идей и учрежденій. Грандіозная эпопея двѣнадцатаго и слѣдующихъ годовъ очевидно носилась передъ воображеніемъ Николая. Онъ, чей голосъ мощно и властно раздавался въ Европѣ втеченіи тридцати лѣтъ, разсчитывалъ крымскою побѣдоносной кампаніей стереть съ лица земли все, что оставилъ по себѣ бурный и революціонный сорокъ-восьмой годъ. Дѣйствительность не оправдала ожиданій. Защита Севастополя прибавила блестящую страницу въ наши лѣтописи, но торжества надъ Европой доставить не могла. Напротивъ, крымская кампанія съ поразительной ясностью доказала намъ, что мы бѣдны и глупы, и что первая наша задача заключается не въ усмиреніи революціонной Европы, а въ заботѣ о собственномъ благополучіи. Но достигнуть его при сохраненіи старыхъ порядковъ и преданій оказывалось невозможнымъ, а всѣ эти старые порядки и преданія гнѣздились главнымъ образомъ въ крѣпостныхъ отношеніяхъ.

Паденіе крѣпостного права было лишь самымъ крупнымъ и виднымъ проявленіемъ паденія крѣпостныхъ отношеній вообще. «Трудиться для себя» было лишь одной частностью, одной стороной болѣе широкаго стремленія «жить для себя». А жить для себя хотѣли всѣ: и мужики, и разночинцы, и молодое поколѣніе баричей. Но строгая ферула Николаевской эпохи сдерживала это хотѣніе; оно проявилось, когда ферула исчезла.

Здѣсь приходится отмѣтить одинъ фактъ, на который до сей поры обращалось слишкомъ мало вниманія. Я говорю о *пластичности* того поколѣнія, которое выступило на сцену послѣ крымской кампаніи и играло главную роль въ теченіи слѣдующаго десятилѣтія.

Бываютъ эпохи, какъ это всякому извѣстно, когда общество состоитъ изъ личностей особенно пластичныхъ, особенно воспріимчивыхъ, на лету схватывающихъ новыя вѣянія; бываютъ эпохи гораздо болѣе тяжелыя и скучныя — личности нелегки на подъемъ и глухи ко всему, что не носитъ на себѣ печати старины. Значеніе внѣшнихъ условій ничуть отъ этого не умаляется, такъ

какъ степени воспріимчивости и глухоты могутъ быть очень различны.

Шестидесятые годы были движеніемъ массовымъ, движеніемъ охватившимъ значительную часть общества и проникшимъ въ такіе уголки, что просто приходится диву даваться, какъ это такъ могло произойти. Другой разъ недостаточно десяти томовъ капитальнѣйшаго научнаго изслѣдованія, чтобы убѣдить въ чемъ-нибудь человѣка, тогда было довольно одного слова, одного намека. Почему? Для этого была подготовлена почва. Но отвѣтить такъ,— значитъ ровно ничего не отвѣтить.

Пластичность и воспріимчивость людей шестидесятыхъ годовъ рѣзко бросаются въ глаза, какъ только начинаешь знакомиться съ бо́льшимъ числомъ біографій людей этого времени. Мысли и убѣжденія хватались тогда на лету съ такою же нетерпѣливой страстностью, такою же удивительной торопливостью, какъ это было, скажемъ, въ иныя эпохи французской или нѣмецкой исторіи. Эта «физіологическая» сторона историческихъ явленій разработана такъ мало, что гораздо легче указать на нее, чѣмъ разъяснить. А между тѣмъ странно было бы отрицать ея значеніе, еще страннѣе отрицать самый фактъ ея существованія.

С. В. Ковалевская въ своихъ въ высшей степени любопытныхъ литературныхъ воспоминаніяхъ разсказываетъ о томъ переполохѣ, который произошелъ въ ихъ уѣздѣ при первомъ же заревѣ шестидесятыхъ годовъ.

«Жили себѣ— читаемъ мы— жители Палибина мирно и тихо: росли и старились, ссорились и мирились другъ съ другомъ; ради препровожденія времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи или другого научнаго открытія, вполнѣ убѣжденные однако, что всѣ эти вопросы принадлежатъ чуждому, удаленному отъ нихъ міру и никогда непосредственнаго соприкосновенія съ ихъ обыденной жизнью имѣть не будутъ. *И вдругъ, откуда ни возьмись*, совсѣмъ рядомъ съ ними объявились признаки какого-то страннаго броженія, которое несомнѣнно подступало все ближе и ближе и грозило подточиться подъ самый строй ихъ тихой, патріархальной жизни. И не только съ одной какой-нибудь стороны грозила опас-

ность; она шла какъ будто разомъ, отовсюду. Можно сказать, что въ этотъ промежутокъ времени, отъ начала 60-хъ до начала 70-хъ годовъ, всѣ интеллигентные слои русскаго общества были заняты только однимъ вопросомъ: семейнымъ разладомъ между старыми и молодыми. О какой дворянской семьѣ не спросишь въ то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились съ дѣтьми. И не изъ-за какихъ-нибудь вещественныхъ, матеріальныхъ причинъ возникали ссоры, а единственно изъ-за вопросовъ чисто теоретическаго, абстрактнаго характера. «Не сошлись убѣжденіями!»—вотъ только и всего; но этого «только» вполнѣ достаточно, чтобы заставить дѣтей побросать родителей, а родителей—отречься отъ дѣтей. «Дѣтьми», особенно дѣвушками, овладѣла въ то время словно эпидемія какая-то — убѣгать изъ родительскаго дома. Въ нашемъ непосредственномъ сосѣдствѣ, пока еще Богъ миловалъ, все обстояло благополучно; но изъ другихъ мѣстъ уже приходили слухи: то у того, то у другого помѣщика убѣжала дочь, которая за границу—учиться, которая въ Петербургъ—къ «нигилистамъ».

Самъ Писаревъ разсказываетъ намъ въ своихъ воспоминаніяхъ слѣдующее:

«Уже въ 1858 и въ 1859 гг. студенты, поступившіе въ университетъ, не были похожи на насъ, студентовъ III и IV курсовъ. Поступая въ университетъ, мы были робки, склонны къ благоговѣнію, расположены смотрѣть на лекціи и слова профессоровъ, какъ на пищу духовную и какъ на манну небесную. Новые студенты, напротивъ того, были смѣлы и развязны и оперялись чрезвычайно быстро, такъ что черезъ какіе-нибудь два мѣсяца послѣ поступленія они оказывались хозяевами университета и сами поднимали въ студенческихъ кружкахъ дѣльные вопросы и серьезные споры. Они затѣвали концерты въ пользу бѣдныхъ студентовъ, приглашали профессоровъ читать публичныя лекціи для той же благотворительной цѣли; они устроили студенческую библіотеку; а мы, старые студенты, считавшіе себя цвѣтомъ университета и солью русской земли, мы остались въ сторонѣ, изобразили на лицахъ своихъ иронію и стали повторять стихъ Грибоѣдова: «шумите вы и только». Но скоро оказалось, что иронія наша никуда не годится, потому что новые студенты распоряжаются умно и успѣшно; оказалось, что движеніе и мысль пошли мимо насъ, и что мы отстали и превращаемся въ книжниковъ и фарисеевъ».

А вѣдь всего-на-всего прошло 2 года!.. Но, подхваченные массовымъ одушевленіемъ,—люди формировались очень быстро, иногда даже неожиданно для самихъ себя.

---

Нечего поэтому удивляться той быстротѣ и рѣзкости переворота, который произошелъ въ благовоспитанномъ Писаревѣ. Это, повторяю, было вполнѣ въ духѣ эпохи. Но этотъ переворотъ все же имѣлъ свои переходныя ступени и явился, такъ сказать, равнодѣйствующей цѣлаго ряда причинъ.

Я уже упоминалъ о томъ, что университетская жизнь не могла не отразить на себѣ вѣянія времени. Съ молодежью заговорили другимъ языкомъ: лекціи профессоровъ оживились; съ каѳедры раздавались слова, которыя привели бы въ неописанный ужасъ блюстителей порядка въ предшествующую эпоху; студентамъ были разрѣшены сходки; завѣдываніе кассой было передано въ ихъ распоряженіе; университетской молодежи было, словомъ, дано нѣчто вродѣ внутренняго самоуправленія, разумѣется весьма узкаго, но все же преисполнившаго студентовъ гордостью и восторгомъ; между профессорами и учащеюся молодежью стали завязываться простыя, почти товарищескія отношенія.

Эти новшества разстраивали кружокъ. Съ каждымъ днемъ ряды ученой партіи рѣдѣли, отчасти потому, что ученые кончали курсъ и поступали на службу въ разные департаменты, гдѣ они очень быстро затушевывались подъ общій тонъ чиновничества, отчасти и потому, что нѣкоторые ученые перебѣгали на сторону новыхъ студентовъ и дѣлались сами антагонистами университетской учености. Университетъ сближался съ жизнью лучшей части общества. Съ нею же сближался и Писаревъ.

Между тѣмъ какъ восторженный и фанатическій Трескинъ все больше предавался созерцанію вѣчнаго идеала и, возлюбивши всѣмъ юнымъ сердцемъ своимъ знаніе вообще и исторію среднихъ вѣковъ въ особенности, мечталъ обручиться съ своей мистической невѣстой—наукой и водвориться вмѣстѣ съ ней на чердакѣ вдали отъ шума городскихъ улицъ и соблазновъ міра, Писаревъ съ особеннымъ наслажденіемъ отдался университетской жизни съ ея шумомъ и гамомъ, ея сходками и удовольствіями.

На сходкахъ онъ говорилъ больше всѣхъ, кричалъ громче всѣхъ, и все это съ такимъ жаромъ и увлеченіемъ, что казалось готовъ былъ душу положить за дорогое товарищество. Во время скандаловъ съ профессорами не было человѣка болѣе рьянаго, чѣмъ онъ.

Вдыхая въ себя полной грудью окружавшую его атмосферу, онъ проникался ея настроеніемъ, а это настроеніе было совсѣмъ не научное, но чисто публицистическое. Повсюду являлись новшества и на практикѣ, разумѣется, каждому изъ новаторовъ приходилось столкнуться прежде всего съ семьей. Семья, основываясь на старыхъ традиціяхъ, считала себя вправѣ предъявлять вскормленному и вспоенному ею юношѣ свои требованія. Но удовлетворить имъ въ виду новыхъ вѣяній становилось все труднѣе. Прежде изъ рукъ семьи, которая кормила, поила, холила и дисциплинировала, личность прямо и непосредственно переходила въ руки государства, которое дисциплинировало, кормило, поило, но холило мало. Это былъ ея заколдованный кругъ. Теперь появилось «общество», «общественныя задачи», «общественные идеалы». Можно прямо сказать, что 60-ые годы открыли въ Россіи *общество*, каковаго раньше на сценѣ не было, развѣ въ случайныя экстренныя минуты затруднительнаго состоянія отечества.

Большинству изъ дѣятелей 60-хъ годовъ пришлось, повторяю, столкнуться съ семьей. Писаревъ не только не избѣгъ общей участи, но и претерпѣлъ ее до конца.

Слыша объ университетскихъ подвигахъ своего благовоспитаннаго племянника, дядя и тетка Писарева покачивали головами и были смущены тѣмъ болѣе, что ничего подобнаго они никогда не ожидали и ожидать не могли. Дядя сталъ дѣлать замѣчанія, которыя, увы!, приводили къ совершенно противнымъ имѣвшимся въ виду результатамъ, — и наконецъ махнулъ рукой, объявивши, что Dmitry a mal tourné et devint un Saint-Juste en miniature. Писаревъ же продолжалъ свое дѣло, сталъ показываться все рѣже и рѣже въ гостиной своихъ родственниковъ, гдѣ *теперь* онъ уже задыхался отъ царившей тамъ благочестивой и томительной скуки, и вмѣсто гостиной бѣжалъ куда-нибудь къ товарищу отводить душу или на сходку. Особенно огорчила старика-дядю слѣдующая выходка племянника: въ семьѣ было принято служить всенощную наканунѣ именинъ главы дома, но какъ разъ въ этотъ день была назначена сходка, и Писаревъ, несмотря на всѣ уговоры, категорически заявилъ, что на церковной службѣ онъ не будетъ. Это переполнило чашу,—и по безмолвному соглашенію было рѣшено разъѣхаться, чтобы не встрѣчаться больше въ жизни.

Рѣзкость и вызывающій тонъ такихъ поступковъ непріятнымъ образомъ поразятъ, быть можетъ, мягкую душу благонамѣреннаго читателя, и лично самому мнѣ ни рѣзкость, ни вызывающій тонъ

никогда не нравились. Но что дѣлать: чѣмъ туже стянуты пеленки, тѣмъ болѣе энергичныя движенія нужны, чтобы расправить члены. А пеленки, въ которыхъ обрѣтался Писаревъ до 18-ти лѣтъ, были затянуты туго, очень туго.

Гораздо болѣе серьезныя столкновенія ожидали его у себя дома, въ Грунцѣ. Обновившись, съ своей обычной рѣзкостью и прямолинейностью онъ высказалъ это своей матери. Та съ малолѣтства сжилась съ убѣжденіемъ, что въ Бога и родителей надо вѣрить свято, а послѣднимъ сверхъ того повиноваться безпрекословно. Въ сынѣ своемъ старалась она воплотить свой идеалъ человѣка, и казалось—добилась своей цѣли, и вдругъ совершенно неожиданно все это разлетѣлось въ прахъ. Писаревъ рѣзко и прямо объявилъ ей, что хочетъ жить и любить сознательно, что для человѣческаго достоинства ихъ обоихъ одинаково оскорбительно положеніе кумира и колѣнопреклоненнаго правовѣрнаго. Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ, и когда изъ области отвлеченностей перешли къ вопросамъ практической жизни, Писаревъ на вопросъ матери—ослушался ли бы онъ ея и женился ли бы противъ ея воли, объявилъ, что для него любимая женщина стоитъ выше всего въ мірѣ, что своей любви и своего счастья онъ не станетъ ломать ни для кого, и закончилъ рѣчь, высказавши, что твердо рѣшился жениться на Раисѣ, хотя знаетъ, что родители этого не хотятъ.

Дѣтская влюбленность Писарева успѣла за это время обратиться въ любовь и сосредоточила возлѣ себя всѣ его помыслы и вожделѣнія. Съ самаго дня отъѣзда въ гимназію онъ писалъ Раисѣ свои откровенныя, хорошія письма; пріѣзжая домой на каникулы, онъ столько же радовался свиданію съ матерью, сколько свиданію съ тою, образъ которой наполнялъ его дѣтскія и юношескія грезы.

Но тутъ же на первыхъ порахъ онъ попадаетъ въ положеніе Ромео и видитъ цѣлый заговоръ, направленный противъ его счастья, противъ всего его будущаго. Жизни безъ Раисы онъ въ то время представить себѣ не могъ. А между тѣмъ семья и всѣ старыя патріархальныя традиціи сыновней покорности и безусловной власти родительской заявили ему, что такъ не будетъ и что такъ быть не должно.

Любовь къ Раисѣ и противодѣйствіе этой любви и дали, по моему мнѣнію, плоть и кровь тѣмъ отвлеченнымъ, теоретическимъ воззрѣніямъ, которыя усвоилъ онъ себѣ за это время, подчиняясь общему настроенію.

Съ какой точки зрѣнія могъ онъ защищать противъ матери, противъ семьи, противъ всего въ мірѣ наконецъ—свою любовь?

Этой точкой зрѣнія должно было явиться нравственное достоинство личности, ея право на собственное счастье...

Вглядываясь пристальнѣе въ умственное движеніе 60-хъ годовъ, мы видимъ, что общій его характеръ былъ по преимуществу протестующій. Протестъ естественно направлялся противъ тѣхъ основъ или вѣрнѣе тормазовъ, которые дѣлали неподвижнымъ строй прежняго времени. Основами этими были патріархальность семьи и общественнаго режима. Обѣ эти дѣйствующія силы съ своей дисциплиной, съ своимъ настойчивымъ стремленіемъ подчинить себѣ мысль, волю и трудъ человѣка, съ своимъ безусловнымъ «veto» и столь же безусловнымъ *да будетъ* давили личность тяжестью своей вѣковой старины и авторитета. Онѣ отлились въ опредѣленныя, рѣзко очерченныя формы, перенеся передряги и неудачи; выразившись съ такою полнотой, съ какою возможно только выразиться, онѣ окаменѣли, и стояли какъ сфинксы—неподвижные и неизмѣнные. Эти сфинксы, какъ въ извѣстномъ греческомъ миѳѣ, могли уступить свое мѣсто и посторониться, чтобы очистить дорогу новшествамъ и молодой жизни, лишь въ томъ случаѣ, когда найдено будетъ слово, разрѣшающее ихъ вѣковую загадку. Исторія знаетъ такое слово и на сотни ладовъ постоянно повторяетъ его. Это слово — *человѣкъ, личность.*

Эмансипація личности—вѣчный лозунгъ всякаго прогрессивнаго движенія; такой же лозунгъ былъ и у 60-хъ годовъ.

Правда, та же эпоха, эмансипировавъ личность, поспѣшила подчинить ее новому авторитету — авторитету общества, но начало потока—тамъ же, гдѣ вообще начинаются историческіе потоки.

Воспринявши идею эмансипаціи личности въ ея отвлеченной, теоретической формѣ, Писаревъ сразу же въ обстоятельствахъ личной своей жизни нашелъ ей практическое примѣненіе. Любовь къ Раисѣ—какъ фонъ, женитьба на ней—какъ идеалъ, дали его взглядамъ и стремленіямъ ту плоть и нервы, которые впослѣдствіи съ такимъ блескомъ выразились въ его пропагандѣ личнаго счастья.

Этимъ онъ защищалъ самого себя, самое дорогое, что было въ его жизни,—тѣмъ гуще и ярче были краски, тѣмъ пластичнѣе образы.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ какъ мучительно все это было! Протестующія начала, прежній патріархальный строй, прежнія семейныя традиціи, настойчивыя, требовательныя, угрожающія даже, являлись и передъ 18-ти лѣтнимъ Писаревымъ не въ образѣ признан-

ныхъ враговъ, а въ образѣ любимой матери, которая не могла и не смѣла бороться, а могла лишь кротко упрекать со слезами на глазахъ, съ безконечной грустью въ чертахъ дорогого лица! Тяжела ты, шапка Мономаха, а еще тяжелѣе жестокая необходимость ломать счастье близкаго человѣка во имя безусловныхъ правъ своей нравственной личности...

Началась семейная трагедія со всѣми ея тяжелыми, неизбѣжными послѣдствіями. Въ мирную, любовную жизнь Писаревыхъ впервые вторглись невеселые мотивы. Отцы и дѣти, какъ въ большинствѣ тогдашнихъ русскихъ семействъ, стояли другъ противъ друга, не понимая другъ друга, обмѣниваясь то недоумѣвающими, то враждебными взглядами.

---

## IV.

Начало литературной дѣятельности.—«Разсвѣтъ» Кремпина.—Писаревъ нашелъ себя.—Научныя потуги.—Кризисъ приближается.

Намъ необходимо вернуться теперь нѣсколько назадъ и посмотрѣть какъ началась литературная дѣятельность Писарева.

«Въ началѣ зимы 58-го года,—разсказываетъ онъ,—мнѣ удалось найти работу въ одномъ журналѣ для дѣвицъ («Разсвѣтъ» Кремпина), начинавшемъ свое существованіе въ началѣ 59-го. Мнѣ было поручено вести въ этомъ журналѣ библіографическій отдѣлъ, т. е. указывать юнымъ читательницамъ на тѣ книги и журнальныя статьи, которыя могутъ обогатить ихъ умъ, не вредя чистотѣ и непорочности ихъ сердца. Направленіе журнала было сладкое, но приличное, и отъ изданій г-жи Ишимовй онъ отличался значительно. Мы даже за эмансипацію женщины стояли, стараясь конечно не огорчать такими сужденіями почтенныхъ родителей. Добродѣтель мы любили особенно горячо и объ ней говорили уже совершенно смѣло, такъ какъ добродѣтель — предметъ однаково пріятный и для дѣтей, и для родителей.

«Сначала я взглянулъ на свою новую работу преимущественно съ денежной точки зрѣнія: мои библіографическія замѣтки оплачивались по 30 р. с. за печатный листъ и доставляли мнѣ ежемѣсячно отъ 60 до 70 р. с. Для студента, бѣгавшаго въ публичную библіотеку, чтобы не издержать 5 рублей на книгу, это была цѣлая Калифорнія, я и ухватился за эту работу обѣими руками, чтобы удержать ее за собой. Редакторъ мой конечно замѣтилъ это, остался очень доволенъ моими стараніями, и мѣсяца черезъ два послѣ нашего знакомства мы уже были увѣрены, что не разстанемся безъ особенной необходимости, потому что оба чувствовали, насколько мы полезны другъ другу. Нечувствительно забралась ко мнѣ въ голову мысль, что эта работа можетъ под-

держивать меня и послѣ выхода изъ университета. Стало быть, думалъ я, если даже я не отыщу себѣ прочной спеціальности, бѣда не такъ велика, жить можно; чѣмъ яснѣй вырисовывалась для меня эта утѣшительная перспектива, тѣмъ сильнѣе я дорожилъ моей журнальной работой. Редакторъ поговаривалъ даже о томъ, что, когда я выйду изъ университета, онъ попроситъ меня быть его помощникомъ по редакціи. При мысли о такомъ повышеніи и благополучіи, я чувствовалъ даже головокруженіе и отвѣчалъ, опуская глаза, что всегда готовъ служить нашему общему дѣлу. Между тѣмъ работа начинала дѣйствовать на меня не съ одной денежной стороны: я привязывался къ ней искренне и сильно. Я писалъ свои жиденькія и невинныя статейки съ такимъ увлеченіемъ, съ какимъ мнѣ никогда не случалось работать надъ біографіей Гумбольдта. Мнѣ было пріятно всматриваться и вдумываться въ чтеніе книгъ и журнальныхъ статей, потому что я видѣлъ передъ собой близкую и вполнѣ доступную цѣль этого всматриванья и вдумыванья. Мнѣ было пріятно развивать на бумагѣ мои мысли и взгляды, потому что они были дѣйствительно мои, и я вполнѣ понималъ, что я пишу; я всей душой сочувствовалъ тому, что я старался объяснить или доказать. Я не производилъ ничего новаго и оригинальнаго, но для меня это было и ново, и оригинально.

«Для составленія моихъ библіографическихъ обзоровъ мнѣ приходилось читать много разнообразныхъ книгъ и статей, и мнѣ нравилось не только размышленіе и писаніе, но и пестрое чтеніе само по себѣ. Вся эта масса книгъ и статей составляла самый разнообразный сбродъ, но и во всемъ этомъ сбродѣ чувствовалось то обаятельное вѣяніе жизни, безъ котораго не можетъ существовать самый мрачный изъ современныхъ журналовъ. Мнѣ пришлось прочитать иного историческихъ статей Маколея, Прескотта и Мотлея, много педагогическихъ разсужденій, нѣсколько книгъ по естественнымъ наукамъ. Наконецъ въ 1859 году мнѣ пришлось говорить довольно подробно въ нашемъ журналѣ объ *Обломовѣ* и *Дворянскомъ гнѣздѣ*. Словомъ, библіографія моя насильно вытащила меня изъ закупоренной кельи на свѣжій воздухъ, и этотъ переходъ доставилъ мнѣ грѣховное удовольствіе, котораго я не могъ скрыть ни отъ самого себя, ни отъ другихъ.»

Итакъ, Писаревъ нашелъ себя.

Достаточно, думается намъ, прочесть любую статью Писарева, помѣщенную въ любомъ изъ томовъ его сочиненій, чтобы убѣдиться, что передъ вами настоящій, доподлинный журналистъ. «Поэты родятся», но «родятся» и журналисты. Само собою разумѣется, что путемъ усиленнаго труда, путемъ утомительной настойчивости можно выработать изъ себя все, что угодно—скрипача, романиста, скульптора—нельзя выработать въ себѣ лишь одной способности, безъ которой нѣтъ и не можетъ быть искусства, т. е. творчества. Можно сдѣлаться кѣмъ угодно, нельзя лишь сдѣлаться поэтомъ. Для этого нужны спеціальныя дарованія, а ихъ даетъ лишь «природа-мать»...

Все равно какъ музыканту нуженъ исключительный слухъ, художнику—зрѣніе, способное различать оттѣнки и переливы самыхъ близкихъ другъ другу цвѣтовъ, архитектору—чувство симметріи, такъ и журналистъ не можетъ обойтись безъ спеціальныхъ дарованій.

Такихъ дарованій у Писарева было въ избыткѣ, и несомнѣнно, что, выступая въ журналѣ Кремпина, онъ нашелъ наконецъ свою настоящую дорогу.

Уже въ немъ-ребенкѣ можно было ясно различить силу и способность выраженія; едва начиная лепетать, онъ «любилъ уже закруглять и отдѣлывать свои фразы». 7-ми лѣтъ онъ принялся за писаніе дѣтскаго романа, просиживая цѣлые дни за этимъ безконечнымъ произведеніемъ своей фантазіи. Все это его собственное, природное, неотъемлемое. А та страсть, съ которою онъ всегда защищалъ свои мнѣнія, та постоянная готовность спорить до слезъ, какою онъ отличался уже въ тѣ годы, когда у другихъ едва начинаетъ пробуждаться умъ? Вѣра въ свою мысль, потребность развивать ее, еще высшая потребность распространять эту мысль и привлекать на ея сторону, а иногда просто порабощать ей другихъ—вотъ качество, безъ котораго журналистъ—простой поденщикъ и ремесленникъ.

Въ мысли журналиста—истиннаго разумѣется — есть всегда что-то деспотическое, прямолинейное. Мысль эта дѣйствуетъ столько же на умъ, сколько на чувство и волю, заставляетъ себя любить и ненавидѣть. «Она всегда нравственна» въ научномъ смыслѣ слова, т. е. прямо или косвенно ведетъ къ поступкамъ. Въ ней необходимъ практическій, дѣйствующій элементъ, иначе она не можетъ быть силой.

Несмотря на всѣ свои попытки стать во что-бы то ни стало человѣкомъ науки, Писаревъ, потрать онъ на это даже не два, а цѣлыхъ 22 года, едвали бы добился своей цѣли. Его мысли не хватало ни спокойствія, ни медлительной настойчивости; слишкомъ горячая и страстная, она неслась безъ удержу, перепрыгивая черезъ препятствія, въ упоеніи отъ своей собственной красоты, силы и граціи. Она всегда клонилась вмѣстѣ съ тѣмъ къ оправданію и обвиненію, такъ какъ мысль эта была дѣйствующая, а не созерцательная. Вопросъ: *что дѣлать? что выйдетъ изъ этого?*—былъ для нея важнѣйшимъ.

Легкость и быстрота мысли, способность сразу овладѣвать сущностью предмета, отсутствіе той умственной настойчивости, ко-

торая обращаетъ столько же вниманія на мелочи и подробности, какъ и на главное, т. е. настойчивости, создавшей Дарвина, Бэкона, мѣшали Писареву стать человѣкомъ науки.

Другъ его Трескинъ постоянно преслѣдовалъ его за недостатокъ усидчивости въ трудѣ и упорства въ работѣ. Для Писарева достаточно было малѣйшаго толчка, самаго слабаго, едва брошеннаго намека, и онъ развивалъ мысль дальше, доводилъ ее до послѣднихъ логическихъ предѣловъ и излагалъ ее въ самой блестящей формѣ. Какъ истинный журналистъ, онъ былъ виртуозомъ изложенія.

Данныя природы влекли его къ журналистикѣ, случай и обстоятельства времени позволили ему рано, быть можетъ даже слишкомъ рано, «открыть самого себя».

Но—такова несчастная судьба Писарева: стоило ему только въ чемъ бы то ни было послушаться голоса своей природы и пойти за нимъ, какъ немедленно же въ томъ или другомъ видѣ возставалъ противъ него призракъ долга съ цѣлымъ запасомъ жалкихъ или угрожающихъ словъ. Онъ любитъ Раису и хочетъ жениться на ней, лишь въ этомъ одномъ полагая счастье свое,—семья не соглашается, семья протестуетъ, семья устраиваетъ всевозможныя препятствія.

Ему надоѣла наука, по крайней мѣрѣ та глупая наука, которою онъ по неопытности своей занимался цѣлыхъ два года. На лекціяхъ и при видѣ филологическихъ сочиненій онъ начинаетъ ощущать новую тяготу. Мысль его неудовлетворена, а между тѣмъ она—молодая, настойчивая, пытливая—ищетъ живой дѣятельности, которая развила бы ее и, давая ей необходимый просторъ, вела бы къ правдѣ и свѣту. Кажется, это найдено. Журнальная работа и связанное съ ней пестрое чтеніе приходится Писареву по душѣ. Онъ горячо увлекается новымъ знаніемъ, инстинктивно предчувствуя въ немъ дѣло всей своей жизни...

И что же?

Призракъ долга опять возстаетъ противъ него, и притомъ еще разъ въ самой непріятной формѣ.

«Товарищи мои (т. е. жрецы науки),—разсказываетъ онъ,—стали внушительно качать головами, говоря, что конечно журнальной работой заниматься позволительно для пріобрѣтенія матеріальныхъ средствъ, но что увлекаться ею не слѣдуетъ, потому что она отводитъ человѣка отъ науки и повергаетъ его въ пустословіе и пагубный диллетантизмъ. Мнѣ указывали съ соболѣзнованіемъ на поучительный примѣръ Добролюбова, который, видите ли вы, могъ бы быть дѣльнымъ ученымъ, а вмѣсто того сдѣлался пустымъ журналистомъ и увлекся суетою «Современника». Я съ своей стороны старался увѣрить всѣхъ въ моей

невинности, открещивался отъ примѣра Добролюбова и говорилъ, что никогда не пойду по такому предосудительному пути. Остатокъ прошедшаго, мертвый догматъ все еще висѣлъ надъ моей головой, и я употреблялъ послѣднія усилія, чтобы поддержать мою угасавшую вѣру въ величіе и святость филологіи».

Особенно энергично набросился на него излюбленный другъ и товарищъ Трескинъ. Тотъ, не разобравшій сначала, въ чемъ дѣло и къ какимъ результатамъ можетъ привести Писарева сотрудничество въ «Разсвѣтѣ», и взглянувшій на это занятіе довольно благосклонно, замѣтилъ, что вещи идутъ не совсѣмъ такъ, какъ онъ думалъ, и принялся менторствовать. Онъ сталъ говорить другу жалкія слова, въ родѣ того, что Писаревъ продалъ душу дьяволу, что онъ гоняется за грошами и пренебрегаетъ изъ-за презрѣнной прозы своимъ великимъ истиннымъ призваніемъ, что изъ него можетъ выработаться такой же пустословъ, какъ Добролюбовъ, словомъ, сталъ совѣтовать или совершенно бросить «Разсвѣтъ», или отказаться отъ критическаго отдѣла и, чтобы не потерять заработка, взяться за переводы, которые не могли занимать столько времени, да и не отвлекали бы мысль отъ серьезныхъ занятій.

Писаревъ раздражался этими совѣтами и увѣщаніями: съ одной стороны ему было больно и тяжело видѣть въ своемъ другѣ полное несочувствіе тому, что такъ сильно увлекло и занимало его, придавая новый смыслъ его умственной дѣятельности, съ другой—онъ глубоко возмущался педантизмомъ Трескина и его полнѣйшимъ непониманіемъ тѣхъ нравственныхъ мотивовъ, которые руководили имъ самимъ. Особенно оскорблялъ его упрекъ въ пристрастіи къ презрѣнному металлу. Писаревъ былъ всегда безсребренникомъ, хотя нѣкоторыя лица, съ которыми ему приходилось имѣть денежныя дѣла, быть можетъ считали его инымъ, когда онъ безцеремоннѣйшимъ образомъ уличалъ ихъ въ попыткѣ сбарышничать и заставлялъ выплачивать себѣ все до послѣдней копѣйки. Грошевые разсчеты и практическія соображенія всегда отходили у него на задній планъ, а сотрудничество въ «Разсвѣтѣ» было ему мило совершенно независимо отъ матеріальныхъ соображеній.

Но Трескинъ стоялъ на своемъ, ежедневно пилилъ Писарева, ярко рисовалъ ему идеалъ суроваго нравственнаго аскетизма и, встрѣчая противодѣйствіе, патетически восклицалъ:

— Ты погибъ!..

Видя наконецъ, что Писарева нельзя отвлечь отъ литературной работы, Трескинъ сталъ настаивать, чтобы онъ извлекъ изъ нея

хотя бы косвенную пользу, посвятивши ее систематической популяризаціи какой-нибудь спеціальности.

— Да нѣтъ ея у меня, этой спеціальности, пойми же ты наконецъ, милый,—тоскливо восклицалъ Писаревъ, тѣмъ болѣе раздражаясь, что отсутствіе этой самой спеціальности все-таки грызло его въ глубинѣ души и составляло его больное мѣсто...

Тогда Трескинъ перемѣнилъ тактику и съ видомъ глубочайшей научной добросовѣстности и не меньшаго научнаго безпристрастія сталъ обсуживать всякую статью, выходившую изъ-подъ пера Писарева, который прежде, чѣмъ отправлять свой трудъ въ печать, читалъ его другу, иногда горячо спорилъ съ нимъ, но все же отдавался ему на судъ, хотя статей по его указаніямъ не передѣлывалъ.

Судъ происходилъ такимъ образомъ. Писаревъ прочитывалъ какую-нибудь фразу, обыкновенно афоризмъ или парадоксъ, которые съ такой поразительной легкостью выходили изъ-подъ его пера. Трескинъ, поправляя очки, скромно вопрошалъ:

— А на чемъ это основано?

Начинался споръ.

— А ты читалъ то-то и то-то?—продолжалъ Трескинъ, и такъ какъ Писаревъ обыкновенно не читалъ, то этого было достаточно, чтобы упрекнуть его въ легкомысліи и пристрастіи къ словоизверженію.

Это была своего рода инквизиція, ежедневная и ежеминутная. Самъ Писаревъ не могъ не сознавать, что доля правды есть въ словахъ его друга, что на самомъ дѣлѣ онъ знаетъ слишкомъ мало, да и что особенно можно знать въ 18 лѣтъ? но когда эта доля правды преподносилась ему въ видѣ однихъ упрековъ и укоровъ, мучительно дѣйствовавшихъ на самолюбіе, преподносилась къ тому же лучшимъ его другомъ и товарищемъ,—онъ раздражался и мучился.

Упрекъ въ научной неосновательности приходилось слышать каждому изъ нашихъ журналистовъ. Упрекали въ этомъ Бѣлинскаго, Чернышевскаго, Добролюбова, упрекали и Писарева. Даже Н. К. Михайловскій, несомнѣнно самый «научный» изъ нашихъ публицистовъ, не разъ подвергался той же участи, т. е. тѣмъ же упрекамъ.

Происходитъ это, мнѣ думается, отъ двухъ причинъ. Вопервыхъ отъ нежеланія разграничить область науки и журналистики, а вовторыхъ отъ той легкости, съ какою можно критиковать журнальную статью, ставши на «научную точку зрѣнія».

Журналистика близка къ наукѣ, и несомнѣнно чѣмъ ближе она къ ней, чѣмъ больше принимаетъ она во вниманіе научное движеніе—тѣмъ лучше. Но все же области и методы ихъ совершенно раз-

личны. При томъ состояніи, въ какомъ обрѣталось лѣтъ 30—50 тому назадъ, а пожалуй и теперь еще обрѣтается—русское общество, наука можетъ оказывать вліяніе на самую незначительную часть его, на весьма незначительный кружокъ избранныхъ. Но тормошить необходимо, необходимо будить мысль и расширять кругозоръ читателя. Журналистъ достигаетъ этого столько же аргументаціей, сколько и обаяніемъ своего изложенія и своей личности. Выводъ науки, всегда отвлеченный, всегда слишкомъ общій, онъ обязанъ приспособить къ данному состоянію общества, къ размѣрамъ его пониманія, къ практическимъ задачамъ, предстоящимъ ему, иначе голосъ его будетъ голосомъ вопіющаго въ пустынѣ, а его статья—горохомъ въ стѣну. Наука, далекая отъ практическихъ задачъ жизни, можетъ подвигаться впередъ своимъ медленнымъ, торжественнымъ шагомъ, нисколько не смущая себя мыслью, что требованія ея осуществятся быть можетъ черезъ 1,200,000 лѣтъ; но не покажется ли смѣшнымъ тотъ публицистъ, который пишетъ въ глубокомъ убѣжденіи, что все сказанное имъ неосуществимо, а если осуществимо, то никакъ не на землѣ, а гдѣ-нибудь на Марсѣ или Венерѣ? Въ такомъ случаѣ пусть онъ лучше интегрируетъ уравненія и приноситъ посильную пользу въ области чистой математики.

Публицисту также необходима вѣра, любовь, ненависть и вообще вся субъективная сторона человѣческаго мышленія, какъ и аргументація. Онъ ведетъ человѣка къ дѣятельности, пунктъ его аттаки столько же воля, сколько и разумъ, почему синтезъ методовъ субъективнаго и объективнаго для него необходимъ.

Мало того. Онъ постоянно затрогиваетъ общественные вопросы. Какъ въ этомъ случаѣ можетъ онъ стоять исключительно на научной почвѣ? Гдѣ такая наука—соціологія? Есть только попытки, но вѣдь исторія не ждетъ, пока явится Дарвинъ соціологіи, и можетъ за это время накуралесить такъ, что потомъ и не расхлебать заваренной ею каши. Публицисту волей-неволей приходится подчасъ удовлетворяться неполными или неточными свѣдѣніями, предвосхищать выводъ, опираясь на свою любовь или ненависть, вмѣсто того, чтобы ждать работъ статистики, историческихъ изслѣдованій и Дарвиновъ—соціологіи. Въ этомъ есть своя неудобная сторона, но есть и хорошая.

Мы всегда оправдаемъ публицистику, если станемъ на ту очевидную точку зрѣнія, что люди руководятся въ своей дѣятельности столько же убѣжденіями, сколько мнѣніями. Мнѣніе—субъективно, источникъ его не въ научномъ анализѣ, не въ работѣ научной

мысли, а въ «настроеніи», — какъ результатѣ цѣлой совокупности неясныхъ для самого обладателя этого настроенія причинъ. Наука мнѣній не имѣетъ, а имѣетъ выводы и гипотезы; публицистика не можетъ ни игнорировать мнѣній, ни обойтись безъ нихъ. Конечно, чѣмъ научнѣе ея мнѣнія, чѣмъ ближе они къ дѣйствительному положенію вещей и ихъ законамъ, — тѣмъ пріятнѣе, но вѣдь это невсегда возможно.

Упрекать Писарева за недостаточную научную подготовку во время работы въ «Разсвѣтѣ» слѣдовало, но лишь при одномъ условіи, т. е. отдавая въ то же время полную справедливость его несомнѣнному публицистическому дарованію. Послѣднее—такая рѣдкость, такое громадное пріобрѣтеніе для общества, что чѣмъ бережнѣе къ нему относиться, тѣмъ лучше. А вмѣсто этого онъ слышалъ: — Это легкомысленно, это не обосновано. Ты того-то и того-то не прочелъ.

И онъ страдалъ отъ такого непониманія, страдалъ отъ роковой необходимости разрывать сердечныя связи со всѣмъ близкимъ, идя своей собственной дорогой.

---

## V.

Неудачи любви.—Въ психіатрической больницѣ.—Dementia melancholica.

Нравственный кризисъ между тѣмъ приближался къ своему трагическому окончанію. Но ни самъ Писаревъ и никто другой этого не ожидали.

Настали каникулы 59-го года. Писаревъ ожидалъ ихъ съ величайшимъ нетерпѣніемъ; никогда быть можетъ онъ такъ лихорадочно не рвался въ свой возлюбленный Грунецъ, какъ теперь. Кромѣ матери, которую онъ искренно любилъ, несмотря на происшедшій между ними въ предыдущемъ году разладъ, кромѣ семьи и всей дорогой ему родной обстановки, онъ ожидалъ увидѣть въ деревнѣ кузину. Объ этомъ свиданіи было говорено еще зимой въ письмахъ, оно было обѣщано ему матерью, которая, прійдя къ убѣжденію, что сына удержать нельзя и что если онъ не будетъ видѣть Раису въ Грунцѣ, онъ устроитъ это дѣло какъ-нибудь иначе, — рѣшилась сама стать во главѣ теченія. Но, увы, Писаревъ пріѣхалъ въ Грунецъ, а кузины не было: старый родственникъ, у котораго она го-

стила, глубоко убѣжденный, что l'amour—c'est une maladie *), объявилъ, что по мѣрѣ силъ не дастъ другимъ возможности дѣлать глупости, и не пустилъ Раису къ Писаревымъ.

Съ житейской точки зрѣнія все это было очень умно и благоразумно. Ну, можно ли въ самомъ дѣлѣ 19-лѣтнему юношѣ-студенту и къ тому же журналисту (а вѣдь журналисты и теперь еще въ глазахъ благоразумныхъ людей—народъ неосновательный, попросту прощалыги) думать о семьѣ и пр.?

Первый вопросъ Писарева по пріѣздѣ въ деревню былъ: — «А гдѣ же Раиса?»—«Гоститъ у дяди, отвѣчали ему, и онъ ее не пустилъ».

Это «не пустилъ» раздражило Писарева до бѣшенства. Итакъ—спрашивалъ онъ себя — противъ меня цѣлый заговоръ... Старыя брюзги и ворчуны вмѣшиваются въ мою судьбу и устраиваютъ ее по собственному усмотрѣнію. Посмотримъ...

Какъ у всякой даровитой, глубоко-самоувѣренной натуры, къ тому же натуры съ такой рѣзко выраженной индивидуальностью—препятствія только вызвали со стороны Писарева страстное желаніе борьбы и побѣды... Но онъ не зналъ еще, *какъ* бороться, и страдалъ невыносимо. «Мнѣ—разсказываетъ В. И. Писарева—часто случалось заставать брата невзначай въ саду или тѣнистой бесѣдкѣ, лежащимъ на травѣ или коврѣ съ раскрытой книгой въ рукахъ, между тѣмъ какъ глаза его были устремлены вдаль съ выраженіемъ упорной и тревожной мысли. Онъ не любилъ, чтобы его заставали въ такія минуты тяжелаго раздумья, въ немъ при этомъ просыпалась какая-то гордая, суровая стыдливость, и онъ старался завести рѣчь о какомъ-нибудь совершенно безразличномъ предметѣ, меньше всего интересовавшемъ его въ данную минуту».

Было дѣйствительно надъ чѣмъ призадуматься. *Я* хочу быть счастливымъ, *я* могу быть счастливымъ. Какое же дѣло *другимъ* до меня? Развѣ я мѣшаю имъ? Да наконецъ если это и такъ, какое право имѣютъ они мѣшать мнѣ?..

Эти вопросы не могли не вызвать злобы и раздраженія, такъ какъ отъ пассивной покорности Писаревъ давно уже отказался.

Но слѣдовалъ и еще цѣлый рядъ вопросовъ. Кто эти другіе? Во имя чего они впутываются не въ свое дѣло?

Эти другіе—семья, эти другіе—старый брюзга дядя, любящая мать, искренности которой Писаревъ въ данномъ случаѣ не совсѣмъ

*) Любовь—это болѣзнь.

довѣрялъ, полагая, что и она не безвинна въ отсутствіи Раисы, отецъ, — словомъ тѣ люди, которые воспитали его по извѣстному образцу, въ извѣстныхъ понятіяхъ и желали сдѣлать изъ него человѣка такого-то образца.

Раздражаться противъ личностей было возможно, но Писаревъ былъ слишкомъ уменъ, чтобы винить ихъ. Вся злоба по необходимости должна была обрушиться на понятія, которыя и «самихъ-то людей не дѣлаютъ счастливыми, и другимъ мѣшаютъ устраивать свою судьбу».

Дѣло доходило до окончательной ломки всего воспринятаго, заученнаго, внушенаго.

«Лѣто 59-го года—разсказываетъ Писаревъ—было для меня временемъ умственнаго кризиса. Всѣ понятія, лежавшія въ моемъ умѣ съ самаго дѣтства, всѣ готовыя сужденія, казавшіяся мнѣ неприкосновенною основою всего существующаго въ моей собственной личности, всѣ гипотезы, имѣющія такое тиранническое вліяніе на мысли и поступки большей части людей, — все это заколыхалось и какъ-то, помимо моей воли, стало обнаруживать мнѣ свою несостоятельность. Пока я безъ опредѣленной цѣли читалъ памятники и изслѣдованія, до тѣхъ поръ всѣ эти несообразности оставались нетронутыми и считались такими истинами, которыя ясны, какъ день, незыблемы, какъ гранитная стѣна, и величественнѣе Монблана или Казбека. Но когда пришлось читать и обдумывать все прочитанное съ практическою цѣлью, тогда мысль получила такой толчекъ, котораго дѣйствія и послѣдствія я не могъ ни предвидѣть, ни разсчитать. Пробудившееся стремленіе анализировать и всматриваться не можетъ быть по нашей волѣ опять погружено въ сонъ. Каждый человѣкъ, дѣйствительно мысливший когда-нибудь въ своей жизни, знаетъ очень хорошо, что не онъ распоряжается своею мыслью, а что напротивъ того сама мысль предписываетъ ему свои законы и совершаетъ свои отправленія такъ же независимо отъ воли, какъ независимо отъ этой воли совершается біеніе сердца и пищеварительная дѣятельность желудка. Человѣкъ боится подойти къ тѣмъ гипотезамъ, которыя величественнѣе Казбека и Монблана, а мысль не боится и подходитъ, и ощупываетъ эти гипотезы, и вдругъ докладываетъ, что это пустяки. Человѣкъ приходитъ въ ужасъ, но ужасъ оказывается безсильнымъ въ борьбѣ съ мыслью; мысль осмѣиваетъ и прогоняетъ ужасъ, и человѣку остается только качать головой, стоя на развалинахъ своего міросозерцанія. Наконецъ и качаніе головой прекращается, и тогда начинается новая умственная жизнь, въ которой мысль пользуется неограниченнымъ могуществомъ и не встрѣчаетъ себѣ нигдѣ ни отпора, ни сопротивленія. Въ этомъ царствѣ мысли живется тепло и весело, но періодъ перехода тяжелъ и мучителенъ. Умственный ростъ сопровождается болѣзнями какъ и ростъ физическій. У меня напряженіе ума во время переходной борьбы было такъ болѣзненно сильно, что оно повело за собой потрясеніе всего организма».

Писаревъ ничего не говоритъ о своей сердечной драмѣ. Но читатель не долженъ забывать о ней...

Чтобы не поддаться одному чувству, къ тому же чувству грусти, Писаревъ боролся, сколько хватало силъ, и искалъ утѣшенія въ работѣ. Въ «Разсвѣтъ» ежемѣсячно посылалось условленное число листовъ, время отдыха было занято чтеніемъ вслухъ въ семьѣ, а для чтенія, чтобы и тутъ время не пропадало непроизводительно для журналистики, выбиралось то, что могло служить матеріаломъ для критическихъ статей. Привезенные съ собой, въ чаяніи пробужденія научнаго духа, почтенные томы шлецеровскаго «Нестора» мирно покоились въ углу. Трескинъ правда укоризненно вздыхалъ и покашивался на заброшенные томы лѣтописца, но къ счастью проповѣдническій жаръ его нѣсколько охладѣлъ, потому что онъ самъ былъ занятъ денежной работой для того же кремпинскаго «Разсвѣта». Онъ переводилъ разсказы изъ временъ Меровинговъ и буквально страдалъ муками раздумья надъ каждой строчкой, перечеркивалъ, переписывалъ, улавливалъ «духъ подлинника» съ такой основательностью, какъ будто «ловилъ блохъ», словомъ трудился надъ переводомъ вѣроятно больше, чѣмъ самъ Тьерри надъ подлинникомъ. Призываемый ежеминутно на совѣтъ Писаревъ только пожималъ плечами и приводилъ пословицу: «assez de zèle, pas trop en faut»*).

Какъ ни увлекала работа Писарева, забыть своей грусти онъ не могъ. Онъ тосковалъ, раздражался безъ причины, искалъ одиночества.

Мать наконецъ не выдержала и сама отправилась за Раисой.

Ожидая ея возвращенія, Писаревъ провелъ нѣсколько дней въ мучительно-тревожномъ настроеніи духа. «Пріѣдетъ или не пріѣдетъ»? Онъ не могъ найти себѣ мѣста. Работа не клеилась, онъ начиналъ статью за статьей, рвалъ исписанные листы, бросался отъ одного дѣла къ другому...

Мать вернулась, но Раисы не было. Вмѣсто себя она прислала письмо. Прочтя его, Писаревъ упалъ на диванъ, закрылъ лицо руками и судорожно зарыдалъ, какъ маленькій ребенокъ.

Въ письмѣ Раиса говорила про неизмѣнность своей братской дружбы, про глубокое желаніе ему счастья и блага, но вмѣстѣ съ тѣмъ отказывалась наотрѣзъ быть его женой, «такъ какъ она любила другого»...

---

*) Довольно прилежанія, немного и надо его.

— Ну, что же,—заговорилъ наконецъ Писаревъ послѣ долгаго молчанія, во время котораго онъ какъ будто разсматривалъ свою рану...—Съ любовью, стало быть, дѣло покончено, но вѣдь не одна она въ жизни, жить ею одной и предаваться отчаянію, когда она погибла, недостойно мыслящаго человѣка и мужчины. Остается умственная дѣятельность, наука, трудъ—вотъ чему надо отдаться, вотъ средство вылечиться отъ горя... Придетъ современемъ новая любовь — хорошо, а нѣтъ — и безъ нея проживу одними умственными наслажденіями...

Но пока это были слова, слова...

Изъ близкихъ къ Писареву людей одинъ только Трескинъ почти радовался въ глубинѣ души тому, что сама судьба насильственно обрывала романъ друга. Проповѣдническій жаръ вспыхнулъ съ новой силой, и Трескинъ сталъ усердно приглашать Писарева окунуться съ головой въ обновляющія волны знанія и врачевать раны больной души вѣчно живыми источниками науки. Писаревъ замѣчательно умно отвѣчалъ ему:

— Я, милый, съ тобой не миндальничаю, не разыгрываю романа восторженной дружбы, а между тѣмъ я люблю тебя сильнѣе, чѣмъ ты меня, потому что ты мнѣ дорогъ самъ по себѣ, какой ты есть, ни больше, ни меньше. А изъ меня ты хочешь сдѣлать что-то такое и любишь во мнѣ произведеніе собственнаго творчества. И я убѣжденъ, что ты, какъ раздраженный художникъ, разобьешь непокорный кусокъ мрамора въ тотъ день, какъ убѣдишься, что я пойду не по твоей, а по своей дорогѣ.

Такъ тянулось лѣто. Кромѣ тихой грусти, ставшей въ послѣднее время преобладающимъ душевнымъ состояніемъ Писарева, въ немъ, какъ результатъ всего пережитаго и передуманнаго, стало сказываться какое-то умственное и нравственное утомленіе, какое-то «не по-себѣ», которое онъ старался всѣми силами преодолѣть и шутя приписывалъ слишкомъ долгому пребыванію на лонѣ природы. Онъ увѣрялъ самого себя, что облѣнился на лѣтней квартирѣ, какъ Аннибалъ на зимней, что стоитъ только встряхнуться и взять себя въ руки, какъ все пойдетъ по старому. Онъ задумывалъ написать зимой кандидатскую диссертацію, но тяжелое душевное настроеніе тревожило его самого. Прежняя рабочая энергія была будто парализована, писанье шло вяло, въ статьяхъ, которыя писались всегда прямо набѣло и блистали аккуратной чистотой, все чаще и чаще стали появляться «трагическія» помарки.

Онъ вышелъ изъ колеи.

Однако судьбѣ, руководившей романомъ его жизни, вздумалось еще разъ—и даже не послѣдній—дать ему надежду. Возвращаясь изъ Грунца въ Петербургъ, онъ заѣхалъ къ своему «счастливому сопернику» — тому самому Гарднеру, котораго любила Раиса. Къ своему удивленію, вмѣсто «счастливаго соперника» онъ встрѣтилъ больное, разбитое жизнью существо, за которымъ ему самому въ короткое время свиданія пришлось ухаживать, какъ за хилымъ и хворымъ ребенкомъ...

Въ первомъ же письмѣ къ матери Писаревъ сообщилъ ей о томъ, что выяснило ему свиданіе съ Гарднеромъ, и просилъ передать все это кузинѣ съ возможно большими предосторожностями, просилъ приласкать ее въ минуту тяжелаго горя и помочь ей перенести грустное испытаніе. Онъ прибавлялъ, что его рѣшеніе относительно кузины и собственной судьбы остается неизмѣннымъ, но что повторять ей теперь свое предложеніе онъ счелъ бы неуваженіемъ къ ея несчастной, сломленной въ самомъ стебелькѣ любви.

Итакъ, не все еще было потеряно, и Писаревъ съ обновленными силами вернулся въ Петербургъ. Здѣсь Кремпинъ встрѣтилъ его съ изысканной любезностью, товарищи—ласково, и Писаревъ ожилъ. Это сразу же отразилось на его письмахъ. Разсказавши матери о томъ, что ему удалось даже подружиться съ возлюбленнымъ кузины, онъ прибавляетъ:

«Я говорю теперь чистосердечно, что желаю пока одного: чтобы Раиса не умерла и чтобы сгоряча не дала себѣ обѣта дѣвственности. А тамъ—будетъ ли она моею женою, или женою другого —лишь бы была счастлива. Себѣ-то я всегда найду утѣшеніе въ области мысли. Теперь я могу себѣ представить только одно несчастье, которое сломило бы меня: сумасшествіе съ свѣтлыми проблесками сознанія. Все остальное: потеря близкихъ людей, потеря состоянія, глазъ, рукъ, измѣна любимой женщины,—все это дѣло поправимое, отъ всего этого можно и должно утѣшиться».

И въ этихъ строкахъ повторяется тотъ же самый мотивъ, то же самое желаніе отдать всю свою жизнь умственному труду. Наслажденіе мысли — вотъ къ чему должны свестись всѣ радости бытія. Но пока, повторяю, Писаревъ только мечталъ объ этомъ, и самое оживленіе духа было только вспышкой передъ полнымъ мракомъ, куда онъ скоро погрузился.

«Осенью 59-го года, — разсказываетъ онъ,—я пріѣхалъ съ каникулъ въ какомъ-то восторженномъ состояніи. Опрокинувъ въ умѣ своемъ всякіе Казбеки и Монбланы, я представлялся самому себѣ ка-

кимъ-то титаномъ, Прометеемъ, похитившимъ священный огонь: я ожидалъ, что совершу чудеса въ области мысли. Мнѣ случилось какъ-то въ обществѣ товарищей говорить о міросозерцаніи древнихъ грековъ, и я сказалъ, что греческая судьба, по всей вѣроятности, не что иное, какъ неизвѣстные законы природы. Эта мысль моя, находившаяся въ самой интимной связи съ общимъ ходомъ моихъ платоническихъ идей, чрезвычайно понравилась мнѣ и даже поразила меня какимъ-то благоговѣніемъ. Я вдругъ рѣшился провѣрить и доказать эту мысль и даже превратить ея развитіе въ кандидатскую диссертацію. Я принялся за Гомера съ тѣмъ неистовымъ рвеніемъ, которое всегда руководило моими любимыми занятіями. Мѣсяца два я работалъ неутомимо, прочелъ восемь пѣсенъ Иліады въ подлинникѣ и кромѣ того сдѣлалъ множество выписокъ изъ нѣмецкихъ изслѣдованій, трактовавшихъ о томъ же предметѣ. Товарищи мои смотрѣли на мои труды съ недоумѣніемъ и иногда дѣлали мнѣ выговоры за то, что я оставилъ славяно-русскія древности и такъ внезапно, очертя голову, бросился въ совершенно неизвѣстную мнѣ область науки. Но я объявилъ себя Прометеемъ и уже не обращалъ вниманія ни на какіе дружескіе совѣты. Вдругъ за пароксизмомъ восторженной и кипучей дѣятельности послѣдовалъ пароксизмъ утомленія и апатіи»...

И правда — слишкомъ даже достаточно вынесъ Писаревъ для одного человѣка. Борьба съ предразсудками, радужными иллюзіями и ребяческимъ міросозерцаніемъ была кончена, побѣжденные враги утратили свой грозный характеръ, они будто просили пощады, и побѣдитель остановился въ тяжеломъ раздумьѣ среди развалинъ своего прежняго счастья. Началась мучительная повѣрка итоговъ, возникъ грозный вопросъ, гдѣ же то нравственное достояніе, которымъ предстоитъ жить? Разрушенное старое оставляло по себѣ пустоту, отъ которой становилось тоскливо и холодно на душѣ.

У Писарева былъ выработанъ краеугольный камень міросозерцанія. Это его «я», свободная человѣческая личность, стремящаяся къ развитію и находящая въ немъ наслажденіе. Но въ данную минуту это сильное, гордое писаревское «я» чувствовало себя утомленнымъ, разбитымъ. Характеризуя свое душевное состояніе, Писаревъ приводилъ стихи Майкова:

Кругомъ—угрюмый видъ природы.
И звѣздъ иныхъ огнемъ
Небесъ таинственные своды
Осыпаны кругомъ.

Къ нимъ такъ и манитъ взоръ мой хладный,
Но ихъ спокойный видъ,
Ихъ блескъ унылый безотрадно
Мнѣ сердце леденитъ.

За все, чѣмъ прежде сердце жило,
Чѣмъ билось,—я дрожу
И въ даль туманную уныло,
Оставя руль, гляжу...

И не садится ангелъ бѣлый
Къ рулю въ мой утлый челнъ,
Какъ въ оны дни, когда такъ смѣло
Онъ велъ его средь волнъ...»

Въ Писаревѣ появились уже первые ясные признаки умственнаго разстройства. Всѣмъ и каждому говорилъ онъ, что онъ призванъ совершить великій переворотъ въ области искусствъ и науки. Его диссертація о судьбѣ оказалась мыльнымъ пузыремъ, онъ немедленно принялся за романъ все съ тою же мыслью открыть новые пути... Товарищи, не понимая, что съ нимъ дѣлается, и видя передъ собой какое-то гипертрофированное самомнѣніе, отшатнулись отъ него. Среди этихъ грустныхъ обстоятельствъ онъ, какъ больной, испуганный одиночествомъ ребенокъ, бросился въ объятія матери. Онъ писалъ ей грустныя письма, откровенно разсказывалъ все, что происходило въ немъ и вокругъ него, просилъ прощенія за свое недовѣріе, такъ измучившее ее лѣтомъ, просилъ забыть все прошлое и не отталкивать его.

Вотъ два отрывка изъ писемъ этого времени.

«Ради Бога, мама, прочти это посьмо... Если тебѣ сколько-нибудь дорого знать состояніе моей души, выслушай меня спокойно и вѣрь искренности моихъ словъ, хотя бы они показались тебѣ странными. Уже въ Грунцѣ, послѣ извѣстія, полученнаго отъ Раисы, я рѣшилъ сосредоточить въ себѣ самомъ всѣ источники моего счастья, *съ этого времени я началъ строить себѣ цѣлую теорію эгоизма,* любовался на эту теорію и считалъ ее неразрушимою. Эта теорія доставила мнѣ такое самодовольствіе, самонадѣянность и смѣлость, которыя при первой же встрѣчѣ очень непріятно поразили всѣхъ моихъ товарищей. Развитіе моей теоріи поразило ихъ еще болѣе, но я тогда не обратилъ на это никакого вниманія. Въ порывѣ самонадѣянности я взялся за вопросъ, взятый изъ науки мнѣ совершенно чуждой, и потратилъ на чтеніе по этому предмету 2 мѣсяца. Подъ вліяніемъ той же самонадѣянности я думалъ, что съ меня въ жизни довольно одного себя: будутъ привязанности, друзья, любовь, думалъ я,—хорошо, не будутъ— и безъ нихъ обойдусь и буду жить одной мыслью, въ вѣчность которой я твердо вѣрилъ, хотя и говорилъ, что оставляю это подъ сомнѣніемъ. Слѣдуя такой уродливой теоріи, я довольно равнодушно смотрѣлъ на тѣ привязанности, которыя уже успѣлъ пріобрѣсти въ жизни; я говорилъ и думалъ, что ежели бы умерли даже самые дорогіе мнѣ люди, я и тогда бы не страдалъ и старался бы тотчасъ же утѣшиться и забыть. При такомъ настроеніи было писано письмо, которое сооб-

щилъ тебѣ Ан. Д., но съ тѣхъ поръ, какъ оно написано, во мнѣ много измѣнилось. Я сталъ сомнѣваться и наконецъ совсѣмъ отвергнулъ вѣчность собственной личности, и потому жизнь, какъ я себѣ ее вообразилъ, показалась мнѣ сухою, безцвѣтною, холодною. Мнѣ нужны теперь привязанности, нужны случаи, въ которыхъ могли бы развернуться чувства и преданность, нужно теплое, разумное самопожертвованіе, надъ которымъ я такъ жестоко смѣялся нѣсколько дней тому назадъ... Я нахожусь теперь въ какомъ-то мучительномъ, тревожномъ состояніи, котораго причинъ не умѣю объяснить вполнѣ и котораго исхода еще не знаю».

Письмо заканчивается стономъ:

«Мама, прости меня, мама, люби меня!»

Вотъ другой отрывокъ:

«Ради Бога, мама, прости меня, напиши ко мнѣ. Ты не можешь себѣ представить, до какой степени тяжело чувствовать себя одинокимъ, отчужденнымъ отъ тѣхъ людей, которыхъ любишь очень сильно и передъ которыми глубоко виноватъ. Ты бы пожалѣла обо мнѣ, другъ мой мама, еслибы знала, какъ я жестоко наказанъ за свою самонадѣянность, за свой грубый эгоизмъ. Я себѣ самъ противенъ, потому что вижу, что когда мнѣ везетъ, я подымаю голову, когда является несчастіе, я падаю духомъ и прошу утѣшенія у всѣхъ, кто меня окружаетъ. Такъ случилось теперь. Пока ты была нѣжна со мною, я не понималъ и не цѣнилъ тебя, увлекаясь разными личными видами и планами, которымъ вѣроятно никогда не сбыться... Теперь, когда ты рѣшительно отказалась отъ меня, отталкиваешь меня, мнѣ дѣлается такъ страшно и больно. Я начиналъ къ тебѣ четыре письма и ни одного не рѣшился отправить: въ каждомъ изъ нихъ слишкомъ мрачно выставлялись мои опасенія за себя и мой взглядъ на будущее...»

«*Теперь, когда ты рѣшительно отказалась отъ меня, когда ты отталкиваешь меня*». Мать никогда отъ Писарева не отказывалась, никогда его не отталкивала. Но въ эту тяжелую пору въ немъ возникло болѣзненное недовѣріе, мучительная подозрительность, совершенно несвойственная его характеру. *Нѣкотораго* охлажденія къ себѣ товарищей Писаревъ дѣйствительно не могъ не замѣтить, но онъ преувеличивалъ его. Онъ былъ убѣжденъ, что всѣ окружающіе обвиняютъ его въ какомъ-то гнусномъ преступленіи, что его щадятъ и потому не высказываютъ, въ чемъ именно дѣло, а только съ презрѣніемъ отворачиваются отъ него, не давая ему даже возможности оправдаться. Онъ ловилъ съ изумительной, болѣзненной зоркостью и наблюдательностью каждую мелочь, не имѣвшую въ сущности никакого значенія, принималъ ее къ свѣдѣнію и истолковывалъ съ своей точки зрѣнія, какъ новое подтвер-

жденіе своей господствующей мысли, всеобщимъ къ нему презрѣніемъ и всеобщей къ нему враждой»...

Ходятъ наприм. друзья (Писаревъ и Трескинъ) въ сумеркахъ взадъ и впередъ по тѣсной, низкой чердачной комнатѣ, служившей имъ и рабочимъ кабинетомъ, и спальней, и пріемной—Трескинъ, чтобы не сталкиваться лбами въ потемкахъ, разумѣется свертываетъ въ сторону... Писаревъ садится на диванъ и томительно задумывается: «да, теперь ужъ нѣтъ никакого сомнѣнія, что онъ чувствуетъ ко мнѣ непобѣдимое отвращеніе и не хочетъ даже встрѣчаться со мной на одной половицѣ»...

Вскорѣ Писарева посадили въ карету и отвезли въ психіатрическую больницу, гдѣ онъ и пробылъ 4 мѣсяца.

Если я такъ подробно остановился на кризисѣ, который пришлось пережить Писареву, то для этого у меня были свои основательныя причины.

Мнѣ хотѣлось прежде всего показать, что каждое свое убѣжденіе Писаревъ бралъ съ боя, грудью, искупая его цѣною невыносимыхъ душевныхъ страданій, которыя довели его даже до помѣшательства. Слѣдовательно, приличіе—хотя-бы только приличіе—требуетъ, чтобы съ прозваніемъ «верхоглядъ», «холодный эгоистъ» и пр., которыми награждали Писарева его противники, было покончено. Это, вопервыхъ. А во-вторыхъ, если еще и теперь самый талантъ Писарева, его литературное краснорѣчіе, его вдохновенные пріемы борьбы, его на смерть бьющіе быстрые полемическіе удары поражаютъ своею свѣжестью и правдивостью — то разгадку этого ищите въ глубинѣ перенесенныхъ имъ страданій.

Жизнь, какъ мы это увидимъ, не дала ему личнаго счастья, но наградила многими талантами. Изъ этихъ талантовъ мнѣ бы хотѣлось на первомъ планѣ поставить талантъ *правды*. Читая произведенія Писарева вы видите, что высказанное имъ—сказано изъ глубины души, а это чего-нибудь да стоитъ. Можете не соглашаться съ нимъ, можете опровергать его — но не забывайте только, что въ лицѣ Писарева говоритъ съ вами сама дѣйствительность, сама искренность.

Въ этомъ дивная красота его сочиненій.

Если онъ ошибался, то лишь какъ человѣкъ ищущій истины. Такая ошибка заслуживаетъ полнаго уваженія. Но есть ли во всѣхъ его «Сочиненіяхъ» хотя одна фраза, которая не была бы выстрадана и куплена цѣною душевныхъ мукъ,—есть ли тамъ фраза, вызванная

посторонними соображеніями, словомъ — проданная фраза? Надъ этимъ стоитъ подумать.

Искренность и правда — вотъ основа и украшеніе всякаго таланта. Гдѣ иначе можетъ онъ найти свою непреодолимую силу, свое очарованіе, свою красоту, какъ не въ этой искренности? Въ ней есть обаяніе, и чувствовать ее можетъ всякій, кто не испорченъ въ самомъ корнѣ своемъ.

Въ дѣтствѣ Писарева звали «хрустальной коробочкой». Онъ не умѣлъ скрывать ничего, что было у него на душѣ, не умѣлъ утаивать ни мысли, ни чувства. Такимъ остался онъ на всю жизнь, такимъ является онъ намъ въ своихъ статьяхъ. Это правдивый, въ высшемъ смыслѣ этого слова, писатель, который даже ради благородныхъ цѣлей не согласился бы покривить душой. Говорю, что думаю, говорю то, что выстрадано мной, что пріобрѣтено мною собственными усиліями, что пережито мною. Таковъ его девизъ. Въ его міросозерцаніи, по моему, нѣтъ ничего отвлеченнаго, нѣтъ ничего такого, что пахло бы книгой или постороннимъ вліяніемъ. Всѣ его теоріи не больше и не меньше, какъ продуктъ тѣхъ жизненныхъ вліяній и столкновеній, которыя ему пришлось испытать. Въ нихъ какъ нельзя болѣе полно отразились его натура, характеръ, счастье и неудачи его бытія. Его статьи въ этомъ смыслѣ могутъ считаться лирическими, потому что въ нихъ все субъективно до послѣдней степени, и за каждой фразой вы легко можете различить какое-нибудь жизненное столкновеніе.

Мнѣ думается, что въ этомъ-то и заключаются главная красота и очарованіе произведеній Писарева. Что болѣе цѣнно, какъ ни возможность проникнуть въ глубину души другого, тѣмъ болѣе большого человѣка, — узнать, какъ онъ страдалъ и любилъ, какъ вѣрилъ и сомнѣвался, и при томъ знать, что каждое сказанное слово сказано изъ-за неотразимой потребности излить всю душу свою?

Общеніе съ искренней натурой дѣлаетъ насъ самихъ чище и нравственнѣе. Карлейль увѣрялъ, что говорить правду—это такое счастье, которое выпадаетъ на долю очень и очень немногихъ избранныхъ натуръ.

Мы на ложь обречены:
Роковымъ узломъ отъ вѣка
Въ слабомъ сердцѣ человѣка
Правда съ ложью сплетены.

Мы—это громадное большинство человѣчества,—большинство, которое къ тому же возростаетъ съ быстротой, способной привести

въ ужасъ. Мы лжемъ на каждомъ шагу изъ вѣжливости и приличія, изъ-за страха, изъ-за выгоды, изъ-за самолюбія, лжемъ поразительно много и часто. Въ этомъ случаѣ мы—настоящіе виртуозы: мы даже способны обманывать самихъ себя, и иллюзія играетъ въ нашей жизни гораздо большую роль, чѣмъ дѣйствительность. Въ этомъ-то и горе наше, что мы никакъ не можемъ быть тѣмъ, чѣмъ мы есть на самомъ дѣлѣ, и всегда стараемся казаться. Изъ сотни людей 99 не съумѣютъ разсказать своей жизни, не прикрасивши, не обѣливши самихъ себя, не очернивши другихъ. Таковъ уже роковой узелъ. Какъ это ни грустно, но необходимо имѣть «талантъ правды», а, какъ всякій талантъ, это—большая рѣдкость.

У Писарева онъ былъ въ высшей степени. Если въ его статьяхъ есть ошибки противъ логики, противъ науки, то нѣтъ зато ошибокъ противъ того жизненнаго опыта, который выпалъ на его долю, нѣтъ ошибокъ вызванныхъ сторонними соображеніями. Онъ говоритъ вамъ, что умственныя наслажденія выше всего, и на самомъ дѣлѣ для него это было такъ, и, только благодаря этимъ умственнымъ наслажденіямъ, ему удалось *сравнительно* спокойно перенести пять лѣтъ одиночнаго заключенія. Въ его теоріи эгоизма вы видите ясное отраженіе его рѣзко выраженной индивидуальности и той борьбы, которую ему пришлось вынести, защищая свою любовь. Пылкость и страстность его натуры и вмѣстѣ съ тѣмъ ея художественная полнота создали пылкій и страстный и вмѣстѣ съ тѣмъ художественный стиль.

Словомъ, можно положиться на каждую фразу, вышедшую изъ-подъ пера Писарева. Онъ всегда говорилъ правду, его мысль приросла къ дѣйствительности, а его критическія статьи—исторія его души.

Правдивая и искренняя мысль его никогда не шла ни на какой компромиссъ, ни на какую уступку. Смотря на собраніе своихъ сочиненій, онъ смѣло могъ сказать, что ни разу не покривилъ душой и что каждое слово сказанное въ нихъ заработано собственнымъ опытомъ, собственными страданіями и радостями. У него было глубоко развито чувство самоуваженія, которое не позволило бы ему говорить съ чужого голоса, еще больше были развиты та смѣлость и гибкость мысли, которыя характеризуютъ дѣйствительно талантливую натуру. Онъ вѣрилъ въ себя, потому что инстинктъ подсказывалъ ему, что можно вѣрить, потому что мысли его исходили изъ первоисточника, т. е. изъ жизненнаго опыта.

Полагаю, что правдивость Писарева какъ таланта, та свобода и смѣлость, даже задорная (иногда) смѣлость, съ какою онъ высказывалъ свои убѣжденія, имѣла еще и немалое философское значеніе. Вѣдь талантъ, желающій сохранить свою силу до конца во всей его свѣжести и неприкосновенности, не можетъ быть *ничьимъ* рабомъ, ни успѣха, ни золота, ни даже партійныхъ разсчетовъ, какъ бы широки они ни были. Духъ покровительства—его исконный врагъ, съ которымъ онъ безъ устали борется на протяженіи всей европейской исторіи. Всякій, я думаю, помнитъ прекрасныя страницы, посвященныя Боклемъ духу покровительства во Франціи. Прослѣдивъ за всѣми отраслями умственнаго труда, Бокль неопровержимыми фактами доказываетъ, что вѣкъ Людовика XIV былъ не золотымъ вѣкомъ литературы, науки и искусства, а, напротивъ, вѣкомъ ихъ упадка: то былъ вѣкъ нищеты, нетерпимости и притѣсненій, то былъ вѣкъ рабства, позора и бездарности. Причина этого заключалась въ правительственномъ покровительствѣ, въ желаніи подчинить науку, искусство и литературу правительственнымъ цѣлямъ. Никогда писатели не были вознаграждаемы съ большей щедростью, чѣмъ при Людовикѣ XIV, и никогда они не были такъ низки духомъ, такъ раболѣпны, такъ положительно неспособны къ выполненію своего великаго призванія апостоловъ знаній и проповѣдниковъ истины. Для того, чтобы пріобрѣсти расположеніе короля, даже самые знаменитые писатели жертвовали независимостью духа. Естественнымъ слѣдствіемъ этого было измельчаніе и раболѣпіе духа, а затѣмъ униженіе страны, что именно и случилось съ Франціей Людовика XIV...

Драма талантовъ (въ этомъ случаѣ трудно было бы подыскать другое слово), разыгравшаяся въ царствованіе короля-солнца, почти никогда не снимается съ репертуара всеобщей исторіи. Не повторяется ли она ежеминутно и въ наши дни? Одни таланты впадаютъ въ лицемѣріе и нетерпимость, связанные интересами партіи, къ которой они принадлежатъ. Но это зло искупается еще, хотя-бы отчасти, той пользой, которую можетъ принести талантъ, разъ партія, къ которой онъ принадлежитъ, преслѣдуетъ гуманныя цѣли. Гораздо большее, ничѣмъ не вознаградимое несчастіе заключается въ томъ, что талантъ, работающій теперь въ области искусства, науки, литературы является какъ бы подкупленнымъ съ первыхъ же шаговъ своей литературной или художественной дѣятельности. Деньги, захвативъ всѣ блага міра, завладѣли и областью искусства. На кого работаетъ журналистъ, художникъ, скульпторъ,

музыкантъ, для кого пишутся кантаты и симфоніи, для кого рисуются картины и высѣкаются статуи изъ мрамора?—Въ громадномъ большинствѣ случаевъ только для тѣхъ, кто можетъ платить. Одна литература, благодаря дешевизнѣ типографскаго дѣла, старается приподнять кое-гдѣ лежащее въ грязи и униженіи знамя гуманности и свободы духа. Почти все остальное принуждено холопствовать и приспособляться, и развѣ это приспособленіе не драма,—все равно какъ бы ни происходило оно, со скрежетомъ ли зубовнымъ, или веселіемъ изничтожившагося въ житейской борьбѣ сердца?

Истинное назначеніе таланта заключается совсѣмъ не въ томъ, чтобы приспособляться, а какъ разъ наоборотъ, въ томъ, чтобы приспособлять. Талантъ—сила, организующая по преимуществу. Онъ одинъ выступаетъ на сцену съ своей ясно сознанной, идущей отъ глубины души и жизненнаго опыта, идеей. Грандіозная смѣлость и вѣра въ самого себя нужны для этого. Невыносимо трудно возвыситься надъ массой, и не только трудно, а просто страшно. Всякое можетъ случиться. Поймутъ ли тебя или нѣтъ? Оцѣнятъ ли тебя и захотятъ ли оцѣнить? Правъ ли ты самъ? Кричать съ толпой, опираться на Мецената выгоднѣе и безопаснѣе. Различныя бѣды въ видѣ ненависти враговъ и отступничества друзей, проклятія близкихъ грозятъ смѣлому человѣку за его новшества. Для борьбы со всѣмъ этимъ нуженъ запасъ большихъ силъ. Къ счастью для таланта, смѣлость и искренность оказываютъ притягивающее, чарующее впечатлѣніе на людей. На его сторону становятся—поздно ли, рано ли—всѣ тѣ, что смутно сознавали высказанное имъ, кто въ его словахъ, его картинѣ, его звукахъ нашелъ воплощеніе своихъ затаенныхъ стремленій. Но «все же въ потѣ лица своего будете родить новую мысль и высказывать новое слово, въ потѣ лица и страданіяхъ сердца».

Мы видѣли, что Писареву пришлось пожертвовать семейнымъ спокойствіемъ и привязанностью товарищей, чтобы заработать право идти своей дорогой. Принципъ вынесенной имъ житейской борьбы онъ перенесъ и въ литературу: ничто и никогда не могло заставить его поступиться своею мыслью, разъ онъ считалъ ее истиной. Ей онъ готовъ былъ принести въ жертву и свои личныя привязанности, и даже интересы той партіи, которой въ душѣ онъ не могъ не сочувствовать. Истина выше всего и дороже всего, *какою бы она ни была*. Пусть даже она жестока, обидна, но она должна быть высказана, а тамъ—что будетъ. Своими лучшими статьями онъ не столько училъ публику, сколько пріучалъ ее думать и анализиро-

вать. Онъ являлся всегда передъ нею во всей цѣльности и непосредственности своей натуры, не скрывая ни одного изгиба своей мысли, ни одного оттѣнка своего настроенія. Онъ мечталъ не о томъ, чтобы имѣть около себя толпу преданныхъ, готовыхъ идти куда прикажете рабовъ, а людей, сознательно стремящихся къ той цѣли, которая имъ въ жизни дороже всего.

Мнѣ кажется, что это единственное условіе, при которомъ могутъ существовать *истинная* литература и *истинное* искусство. Ихъ «растлѣніе» начинается лишь съ того момента, когда ложь въ томъ или другомъ видѣ, вызванная какими бы то ни было посторонними соображеніями, вторгается въ ихъ область. Талантъ свободенъ, когда онъ безусловно откровененъ, полнота его свободы—полнота искренности. Разъ онъ служитъ чему бы то ни было и во имя этого служенія налагаетъ на себя какія бы то ни было стѣсненія и обязательства, онъ теряетъ лучшее, что въ немъ есть. Наибольшее, что онъ можетъ сдѣлать—это выразить самого себя и свою сущность, *каковы бы ни были они.*

«*Лишь безусловная свобода порождаетъ истину*»—таковъ философскій принципъ дѣятельности Писарева.

---

## VI.

Выздоровленіе. — Восторги любви. — Начало сотрудничества въ «Русскомъ Словѣ». — Г. Е. Благосвѣтловъ. — О вліяніи Благосвѣтлова на Писарева. — «Уличные типы». — Идеализмъ Платона». — Кандидатъ университета.—Воинствующій эгоизмъ.

Фантасмагорія длилась четыре мѣсяца. Писаревъ, какъ больной, страдавшій demetia melancholica, пользовался довольно значительной свободой въ стѣнахъ лечебницы, за нимъ мало слѣдили, хотя послѣ двухъ попытокъ самоубійства изолировали его, т. е. подвергли чему-то вродѣ одиночнаго заключенія, что довело его до скрытаго озлобленія и отчаянія и еще болѣе утвердило въ рѣшеніи бѣжать во что бы то ни стало *). Воспользовавшись благопріятнымъ

*) Писаревъ страдалъ dementia melancholica. Сущность его болѣзни сводилась къ мрачному состоянію души, вызвавшему двѣ попытки самоубійства, въ абсолютной подозрительности и потерѣ сознанія времени. Четыре мѣсяца казались ему однимъ безконечно долгимъ днемъ. Но все окружавшее его онъ понималъ какъ нельзя лучше.

случаемъ, онъ дѣйствительно убѣжалъ изъ больницы, выпрыгнувъ черезъ окно.

Онъ вернулся въ семью Трескина, гдѣ жилъ послѣ разрыва съ дядей, и тутъ немедленно же было рѣшено отвезти его въ Грунецъ на лоно природы. Самъ старикъ Трескинъ, горячо любившій Писарева, сопровождалъ его въ деревню.

Вотъ, кстати замѣтимъ, еще новое доказательство безусловной искренности натуры Писарева и того очарованія, которое онъ производилъ на окружающихъ своей правдивой смѣлостью. Старикъ Трескинъ принадлежалъ къ числу послѣднихъ могиканъ отживавшаго поколѣнія. Онъ былъ изъ тѣхъ цѣльныхъ, желѣзныхъ характеровъ, которые почти вывелись въ нашемъ дрябломъ поколѣніи, страдающемъ и блѣдностью мысли, и вялостью воли. Онъ обладалъ серьезнымъ, самостоятельно пріобрѣтеннымъ научнымъ образованіемъ, страстной любознательностью, неисчезнувшей даже въ глубокой старости, любовью къ чтенію и колоссальной памятью. Одной изъ преобладающихъ чертъ его натуры была суровая, щепетильная честность, благодаря которой онъ не разъ наживалъ себѣ враговъ и возстановлялъ противъ себя сильныхъ міра сего. Закончивши свою служебную карьеру и засѣвши въ своей квартирѣ, какъ медвѣдь въ берлогѣ, старикъ могъ съ гордостью сказать себѣ и дѣтямъ, что ни разу не покривилъ душою и не склонялъ своей гордой головы передъ неправдой. Все въ немъ было сильно и крупно, все порывисто и неожиданно; самодуръ и деспотъ въ семьѣ, гнувшій на колѣна все ему подвластное, заставлявшій трепетать каждаго, кто подходилъ къ нему—словомъ честный «николаевецъ»—онъ однако былъ способенъ и на нѣжность, и на великодушіе. Писаревъ какъ-то приглянулся ему. Старикъ увидѣлъ въ немъ ту же цѣльность и прямоту натуры, ту же готовность рѣзать правду, не обращая вниманія на стороннія соображенія. Среди безгласной, вѣчно испуганной семьи Писаревъ одинъ смѣло возвышалъ голосъ, не уступалъ старику ни шагу, грызся съ нимъ зубъ за зубъ и спорилъ совершенно какъ съ равнымъ. Первое время старикъ съ непривычки свирѣпо сдвигалъ брови и сверкалъ глазами, выслушивая возраженія, но молодая искренность Писарева одолѣла, и «лютый звѣрь укротился»...

Возвращаюсь къ разсказу. Воскресшаго изъ мертвыхъ Писарева встрѣтили въ деревнѣ съ распростертыми объятіями, и здѣсь, среди ласки и вниманія, на подножномъ корму больная душа быстро поправлялась. Все старое проснулось съ новой и большей силой, какъ

послѣ грозы,—проснулась любовь къ кузинѣ, проснулась страстная потребность труда.

Обновленная душа жаждала красоты и наслажденія. Этотъ періодъ времени былъ для него моментомъ самаго страстнаго увлеченія эстетикой: онъ зачитывался вдохновенными статьями Бѣлинскаго, нѣмецкими эстетиками и проникся особенно нѣжной любовью къ А. Майкову, въ которомъ особенно цѣнилъ проповѣдь гармоническаго наслажденія жизнью. Передъ нами чистый эпикуреецъ, желавшій дышать полной грудью и умѣвшій дышать ею.

Онъ переводилъ «Мессіаду» Клопштока, но уже и въ это время любимымъ его поэтомъ былъ Гейне, — привязанность, навсегда сохранившаяся у Писарева. «Атта Троль» переведена имъ.

Какъ бы желая подавить его избыткомъ счастья, и судьба въ это же блаженное время 60-го года написала цѣлую идиллическую главу его романа. Кузина наконецъ милостиво согласилась принять его предложеніе, и Писаревъ былъ твердо убѣжденъ, что наконецъ-то онъ будетъ полнымъ обладателемъ своего сокровища.

Кузину онъ любилъ до обожанія, со всѣмъ пыломъ первой страсти, восторгался каждымъ ея движеніемъ, видѣлъ откровеніе въ каждомъ ея словѣ, а ея маленькій, только что появившійся, разсказецъ провозгласилъ перломъ искусства и эпохой въ русской литературѣ.

Немудрено, что будущее рисовалось въ самомъ радужномъ освѣщеніи. Твердо убѣжденный, что всѣ его переводы купятся на вѣсъ золота, онъ не видѣлъ никакихъ матеріальныхъ препятствій къ женитьбѣ тотчасъ же по окончаніи курса, т. е. осенью 61-го года. Далѣе, разсчитывая зарабатывать вмѣстѣ съ будущей женой литературнымъ трудомъ много... очень много, онъ видѣлъ уже себя богатымъ человѣкомъ, мечталъ выкупить милое Знаменское, гдѣ родился, проводить въ немъ лѣто, какъ въ увеселительномъ замкѣ, выстроивши тамъ предварительно новый, изящный домъ, для котораго Раиса даже рисовала планы, а зимой—жить въ Петербургѣ, окруживши себя всевозможнымъ комфортомъ и самыми утонченными эстетическими наслажденіями. Онъ мечталъ сгруппировать въ своемъ салонѣ цвѣтъ умственной аристократіи, мечталъ видѣть центромъ, душой этого избраннаго кружка, свѣтиломъ первой величины — свою жену, которая разумѣется займетъ первое мѣсто въ литературѣ... Гражданская струна еще не просыпалась въ немъ и вмѣсто нея передъ нами ликованія интеллигентнаго эстетика.

Послѣ здороваго лѣтняго отдыха Писаревъ задумалъ серьезно заняться литературой. «Разсвѣтъ», заканчивавшій въ скромной безвѣстности свое литературное поприще, оказывался сферой слишкомъ тѣсной для развившагося и окрѣпшаго молодого дарованія. Писаревъ обратился къ Е. Туръ, издававшей въ то время «Русскую Рѣчь», прочелъ ей нѣсколько отрывковъ изъ своего разбора произведеній Марка Вовчка и сообщилъ сущность своего литературнаго и гражданскаго міросозерцанія. Талантливая писательница и умная женщина съумѣла оцѣнить яркое дарованіе и сильный, живой умъ Писарева, но сотрудничество его отклонила, найдя, что «юноша» слишкомъ увлекается культомъ красоты и чистаго искусства въ своемъ наивномъ эгоизмѣ и не признаетъ, кромѣ личныхъ, никакихъ другихъ интересовъ въ окружающей жизни. На прощаніе она предсказала ему скорый умственный переворотъ и плодотворную дѣятельность. Впослѣдствіи Писаревъ съ улыбкой вспоминалъ свое свиданіе съ Туръ,—пока же неудача нисколько не смутила его. Онъ крѣпко вѣрилъ въ свои силы и, имѣя въ карманѣ свои переводы, а въ сердцѣ сознаніе, что кузина любитъ его, отважно и бодро смотрѣлъ впередъ.

Духъ времени и голосъ природы потянули его къ журналистикѣ. Припомнимъ, что дѣлалось тогда въ этой области.

«Еще никогда не бывало въ Россіи такой массы листковъ, газетъ и журналовъ, какая явилась въ 1856—58 гг. Изданія появлялись какъ грибы, хотя точнѣе было бы сказать, какъ водяные пузыри въ дождь, потому что какъ много ихъ появлялось, такъ же много и исчезало. Одними объявленіями объ изданіяхъ можно было бы оклеить башню московскаго Ивана Великаго. Изданія были всевозможныхъ фасоновъ, размѣровъ и направленій, большія и малыя, дешевыя и дорогія, серьезныя и юмористическія, литературныя и научныя, политическія и вовсе неполитическія. Появлялись даже летучіе уличные листки. Вся печать съ оффиціальной доходила до 250 изданій.

«Главными мѣстами изданій, какъ и главными очагами русской мысли, были Москва и Петербургъ. Петербургскія изданія слѣдили преимущественно за интересами дня, за тѣмъ, что дѣлалось въ русскомъ мірѣ, за вопросами, которые намѣчались и разрѣшались. Петербургская печать была передовымъ и главнымъ боевымъ полкомъ. Она стремилась руководить и не однимъ общественнымъ мнѣніемъ и ставила иногда вопросы, если и не опережавшіе правительственную мысль, то пытавшіеся расчистить ей путь и дѣйствительно

расчищавшіе его. Москва больше теоретизировала и углублялась въ основы русскаго духа. Какъ только явилась бо́льшая свобода и повѣяло духомъ перемѣнъ, Москва принялась издавать славянофильскіе и полуславянофильскіе органы, объявила войну исторіи Запада и Петру Великому (конечно вмѣстѣ съ Петербургомъ), и въ поддержку «Русской Бесѣдѣ» Кошелева явился «Парусъ» Ив. Аксакова. Но та же Москва создала и солидный органъ на западно-европейской подкладкѣ, «Русскій Вѣстникъ», основанный въ 1856 г. въ умѣренно либеральномъ направленіи и сразу завоевавшій популярность интересомъ и дѣльностью содержанія. Въ Москвѣ же издавался тогда критическій органъ «Московское Обозрѣніе», въ которомъ участвовали только безымянные сотрудники, поставившіе себѣ задачей полную свободу и независимость отъ авторитетовъ. Но умственный центръ былъ не въ сердцѣ Россіи, а въ ея головѣ—въ Петербургѣ, гдѣ началъ издаваться и занялъ первое мѣсто между журналами «Современникъ». За *Современникомъ* стояли *Отечественныя Записки* и *Библіотека для чтенія*. Петербургъ не уступилъ Москвѣ, а превзошелъ ее обиліемъ и разнообразіемъ новыхъ органовъ. Въ Петербургѣ явился *Экономическій Указатель*, проповѣдывавшій свободу торговли, неограниченную конкурренцію и личную земельную собственность; *Искра*, юмористическій и сатирическій журналъ, основанный В. Курочкинымъ съ цѣлой компаніей поэтовъ и юмористовъ; *Русскій Дневникъ* Павла Мельникова, а въ 1858 г. *Русское Слово* графа Кушелева».

Такое оживленіе журналистики совершенно понятно и естественно. Начать хотя бы съ того, что фактически господствовала почти полная свобода печати. Свобода эта защищалась не столько закономъ, сколько общественнымъ мнѣніемъ, а такая защита не изъ дурныхъ. И само правительство, на первыхъ порахъ по крайней мѣрѣ, ровно ничего противъ нея не имѣло: напротивъ даже—къ журналистикѣ оно относилось съ большимъ, совершенно непонятнымъ по нынѣшнимъ временамъ вниманіемъ. Почему такъ было—мы знаемъ. Извѣстно, что Императоръ Николай I-й всю жизнь думалъ объ освобожденіи крестьянъ, но не могъ рѣшиться на это дѣло, не встрѣчая сочувствія въ приближенныхъ. Но все же секретные крестьянскіе комитеты засѣдали одинъ за другимъ и какъ бы по наслѣдству перешли въ новое царствованіе. Однако же въ первомъ секретномъ комитетѣ при Александрѣ II-мъ баронъ Корфъ высказалъ мнѣніе, что полувѣковыя попытки къ освобожденію крестьянъ изъ крѣпостного состоянія оттого не имѣли успѣха, что соображенія исте-

кали сверху, а не снизу, и что посему слѣдуетъ предоставить опытности и добрымъ чувствамъ дворянства выразить свое мнѣніе. Но не такое было время, чтобы ограничиться однимъ дворянствомъ. Разъ дѣло изъ секретнаго превратилось въ явное, оно не замедлило стать общимъ. Правительство совѣтовалось съ обществомъ, а органомъ этого послѣдняго была журналистика.

Быстро—потому между прочимъ что находилась въ умѣлыхъ рукахъ—пріобрѣла она такое положеніе, о которомъ прежде и слыхомъ не слыхали. Все равно какъ общество торопилось жить, такъ торопилась работать и журналистика. Общество сознавало, что нахлынула новая волна, и спѣшило пересмотрѣть всѣ безъ исключенія старые устои своей жизни, и надо согласиться, что нельзя было не спѣшить. Вѣдь эти старые устои всѣ цѣликомъ опирались на крѣпостное право, на даровой мужицкій трудъ. И вдругъ крѣпостное право исчезаетъ, унесенное какъ бы горнымъ потокомъ. Уничтожить крѣпостное право значило прорвать плотину. Естественно, что должна была обновиться вся жизнь съ головы до пятокъ, естественно, что вопросы о переустройствѣ возникали, какъ грибы. Писать книги, обобщать взгляды, систематизировать мнѣнія было, повторяю, некогда, и журналистика пріобрѣла первенствующее положеніе въ дѣятельности русской интеллигенціи. По своему практическому характеру она подходила такъ сказать вплотную къ жизни, наскоро давала общія точки зрѣнія и общіе принципы, не выпуская изъ виду фактовъ дѣйствительности. Журналъ сталъ истинною осью русской интеллигентной мысли.

Живую натуру не могло не потянуть въ эту сферу, полную одушевленія и кипучей работы. Не могли не соблазнять роль и положеніе журналиста. Позволю себѣ напомнить слѣдующія любопытныя строки изъ воспоминаній Н. В. Шелгунова.

«Тогда, правда, и время было такое, что на пиру русской природы первое мѣсто принадлежало литератору. Никогда, ни раньше ни послѣ, литераторъ не занималъ у насъ въ Россіи такого почетнаго мѣста. Когда на литературныхъ вечерахъ (они начались тогда впервые) являлся на эстрадѣ писатель, пользовавшійся симпатіями публики, стонъ стоялъ отъ криковъ, восторга и апплодисментовъ и стучанья стульями и каблуками. Это былъ не энтузіазмъ, а какое-то бѣснованіе, но совершенно вѣрно выражавшее то воодушевленіе, которое вызывалъ писатель въ публикѣ. И, дѣйствительно, между, тѣмъ временемъ, когда можно было разсказывать (и всѣ вѣрили), что Пушкина высѣкли за какое-то стихотвореніе, и 60-ми годами

легла уже цѣлая пропасть. Теперь писатель всталъ сразу на какую-то недосягаемую высоту. Въ умственную пору, когда, по общему мнѣнію, Пушкина можно было высѣчь, писатель не имѣлъ корней въ обществѣ и по своимъ интересамъ былъ для общества недосягаемъ. Поэтъ и беллетристъ услаждали тогда лишь праздный досугъ, доставляли занимательное чтеніе, а вкусы и требованія были еще настолько неразвиты, что извѣстной части *образованной* публики трагедіи Баркова были понятнѣе и выше *Полтавы* Пушкина. Въ шестидесятыхъ годахъ, точно чудомъ какимъ-то, создался внезапно совсѣмъ новый, небывалый читатель съ общественными чувствами, общественными мыслями и интересами, желавшій думать объ общественныхъ дѣлахъ, желавшій научиться тому, что онъ хотѣлъ знать. Когда можно было высѣчь Пушкина, у насъ была только литература (Сенковскій увѣрялъ, что у насъ была тогда не литература, а только книжная торговля), теперь же явилась печать, т. е. литература общественно-воспитательная, литература поучающая и учащая, а писатель, какъ творецъ этой литературы, сталъ общественнымъ учителемъ, воспитателемъ и пророкомъ, открывавшимъ горизонты будущаго, указывавшимъ идеалы и цѣли стремленіямъ. Отношенія между читателемъ и писателемъ установились теперь вполнѣ практическія, осязательныя, такъ сказать земныя, утилитарныя; писатель пересталъ только развлекать праздный досугъ, онъ сталъ наставникомъ и учителемъ общественнаго строительства».

Словомъ, «когда *весь* успѣхъ реформъ зависѣлъ отъ общественнаго развитія, нельзя было не ставить высоко тѣхъ, кто творилъ это развитіе».

Роль писателя была настолько живая и привлекательная, что было бы странно, еслибы талантъ не соблазнился ею.

---

По пріѣздѣ въ Петербургъ Писаревъ прежде всего отправился въ редакцію «Русскаго Слова»—день знаменательный не только для него самого, но и для нашей литературы.

«Русское Слово» издавалось тогда Кушелевымъ. Кушелевъ былъ графъ, милліонеръ и чистокровный аристократъ. Зачѣмъ собственно понадобилось ему имѣть свой органъ—неизвѣстно, развѣ что время было такое и къ печатному слову даже титулованныя особы чувствовали нѣкоторое пристрастіе. Впрочемъ самъ Кушелевъ почти ничего не писалъ и въ дѣла редакціи вмѣшивался также мало, какъ въ управленіе собственными многочисленными помѣстьями. Познакомившись въ Парижѣ съ Благосвѣтловымъ, онъ попросилъ его

взять на себя руководство журналомъ, на что Благосвѣтловъ и согласился. Мало по малу всѣ дѣла сосредоточились въ его рукахъ, а Кушелевъ въ концѣ концовъ подарилъ ему «Русское Слово» въ вѣчное и потомственное владѣніе. Что за человѣкъ былъ Благосвѣтловъ? Намъ не мѣшаетъ сейчасъ же отвѣтить на этотъ вопросъ, чтобы опредѣлить, какое вліяніе онъ имѣлъ или могъ имѣть на Писарева.

Разные люди смотрятъ на Благосвѣтлова различно. Иные склонны видѣть въ немъ исключительно гешефтмахера, человѣка мало-литературнаго, но умѣвшаго эксплоатировать въ свою пользу и общественное настроеніе того времени, и силы своихъ сотрудниковъ, главнымъ образомъ Писарева и Зайцева. Другіе напротивъ вѣрятъ, что Благосвѣтловъ былъ человѣкъ искренній и что въ «Русскомъ Словѣ» ему принадлежала крупная роль, какъ организатору и вдохновителю. У меня лично нѣтъ причины распинаться за Благосвѣтлова, ни ставить надъ нимъ крестъ, почему и буду говорить совершенно спокойно.

Литературнаго таланта у редактора «Русскаго Слова» незамѣтно. Два тома его сочиненій вялы и скучны, да и вообще Благосвѣтловъ писалъ плохо и не любилъ писать. Его работа была совершенно другая. Искренно ли любилъ онъ свой журналъ, или видѣлъ въ немъ средство вѣрной наживы—вопросъ трудный: надо полагать—и то, и другое, но во всякомъ случаѣ онъ отдавалъ ему все свое время. Онъ добровольно возложилъ на себя крестъ корректора, редактора, предпринимателя и несъ его съ какимъ-то самопожертвованіемъ. Въ редакціи онъ просиживалъ дни и ночи, возился съ сотрудниками, цензорами, типографіей, вмѣшивался въ каждую мелочь и внѣ своего журнала не признавалъ ничего. Онъ читалъ только для «Русскаго Слова», писалъ только для него и изъ 24-хъ часовъ отдавалъ ему 18.

Какъ редакторъ, онъ обладалъ однимъ несомнѣннымъ достоинствомъ: онъ былъ одаренъ чутьемъ людей, умѣлъ сразу узнавать характеръ человѣка, сразу опредѣлять, полезенъ-ли онъ, или безполезенъ для дѣла, умѣлъ группировать вокругъ себя нужныя силы и привязывать ихъ къ журналу. Успѣхъ въ его глазахъ оправдывалъ если не все, то многое, и стоило только ему замѣтить, что тотъ или другой изъ сотрудниковъ начинаетъ пользоваться вниманіемъ и сочувствіемъ публики, какъ онъ съ большимъ тактомъ немедленно же выдвигалъ его на видное мѣсто и предоставлялъ полную свободу. Но зато неудача была грѣхомъ въ его глазахъ, и въ этомъ

случаѣ, т. е. въ отношеніи къ неудачнику, сразу же проявлялась вся сухость и даже мелочность его натуры.

Изъ идей основательно воспринята была Благосвѣтловымъ, строго говоря, единственная, именно эмансипація личности. Онъ— долго жилъ за-границей, былъ довольно основательно образованъ, и эта эмансипація представлялась ему панацеей всѣхъ золъ. Она краеугольный камень его міросозерцанія. Онъ пропагандировалъ ее усердно и постоянно готовъ былъ довести до крайности все ея содержаніе. Въ этомъ случаѣ онъ оказывалъ на многихъ изъ своихъ сотрудниковъ вліяніе, надо думать, значительное, только не на Писарева, потому что Писаревъ самъ жизнью своей «заработалъ» ту же идею...

Разсказываютъ, что редакторская работа Благосвѣтлова происходила обыкновенно по ночамъ, среди полной тишины и одиночества кабинета. Благосвѣтловъ запирался на ключъ и начиналъ «править». Правилъ онъ всегда въ спеціальномъ направленіи. Надо замѣтить, что человѣкъ сухой, замкнутый, онъ никогда не имѣлъ близкихъ людей возлѣ себя, даже отъ семьи своей онъ держался вдалекѣ. Это одиночество невольное, тяжелое раздражало и мучило его тѣмъ сильнѣе, что онъ понималъ полную невозможность для себя стать другимъ и зажить другою жизнью. И вотъ вся злоба, накопившаяся втеченіи дня, мѣсяца, цѣлыхъ годовъ, выливалась въ этомъ «правленіи». Вставлять «словечки», злостные афоризмы, прибавлять яду — Благосвѣтловъ былъ большой мастеръ, а тогда было такое время, что ядъ нравился.

Способность къ усидчивому, кропотливому труду, неослабная, настойчивая энергія, чутье въ выбираніи нужныхъ людей, немалый запасъ редакторскаго такта и словечки — вотъ кажется все хорошее, что̀ было у Благосвѣтлова. А дальше—хорошаго мало.

Знающіе люди увѣряютъ, что въ его натурѣ было что-то аляповатое, грубое, глубоко-мѣщанское. Ни граціи, ни изящества, ни даже сердечности. Это отражалось столько же въ отношеніяхъ къ людямъ, сколько въ покроѣ его платья, въ обстановкѣ его квартиры въ тысячѣ другихъ мелкихъ подробностей его жизни. Разбогатѣвши, онъ задумалъ убрать свой домъ на широкую ногу, не пожалѣлъ денегъ на мебель, посуду и прочее, и все это вышло у него какъ-то по купечески, безъ всякой красоты и изящества. Такое же «купеческое» было у него самодовольствіе, такъ же рѣзко хвасталъ онъ своимъ «капиталомъ», нисколько не понимая, что человѣкъ, передъ которымъ онъ хвастаетъ, можетъ не только не интересо-

ваться этимъ, но и прямо обидѣться. По купечески разсчитывался Благосвѣтловъ и съ своими сотрудниками, любилъ недоплачивать и даже не изъ жадности, а изъ какого-то страннаго охотно-рядскаго принципа, и вообще платилъ ужасно мало. Цвѣтъ и красота «Русскаго Слова» — Писаревъ получалъ всего по 50 рублей съ листа, причемъ, надо замѣтить, по крайней мѣрѣ одинъ изъ 3 написанныхъ имъ листовъ не шелъ по цензурнымъ условіямъ, а Благосвѣтловъ платилъ лишь за напечатанное. По своей деликатности, Писаревъ денежныхъ разговоровъ не поднималъ, и, по полному отсутствію деликатности, Благосвѣтловъ все время продолжалъ платить по 50 р. с., отговариваясь тѣмъ, что Писаревъ работаетъ «очень легко», что «въ крѣпости расходовъ мало» и т. д.

Теперь, если мы примемъ во вниманіе, что Писаревъ сталъ работать въ «Русскомъ Словѣ» почти въ одно время съ Благосвѣтловымъ, что идея эмансипаціи личности была полностью разработана въ его головѣ, что по части словечекъ и злостныхъ афоризмовъ онъ не ощущалъ ни малѣйшей надобности, то къ чему же спрашивается сводится вліяніе Благосвѣтлова? Къ очень и очень немногому, если только къ чему-нибудь, хотя самъ Писаревъ это вліяніе признавалъ и даже отводилъ ему большую роль въ исторіи своего умственнаго развитія. Но это дѣлалось преимущественно изъ вѣжливости и для показанія солидарности. Для меня же несомнѣнно, что на первыхъ порахъ по крайней мѣрѣ Благосвѣтловъ пытался разыгрывать роль ментора, очень можетъ быть, что онъ заставилъ Писарева серьезно призадуматься надъ формулой чистаго искусства, но все же не такой былъ Писаревъ человѣкъ, чтобы говорить съ чужого голоса. Любая мысль должна была предварительно войти въ его плоть и кровь, органически слиться со всѣмъ его міросозерцаніемъ, и тогда только онъ принимался за ея пропаганду.

Благосвѣтловъ, отличавшійся пріятной манерой «водить» наклевывавшихся новыхъ сотрудниковъ и сильно возстановлявшій противъ себя этимъ пріемомъ всѣхъ, кому только приходилось имѣть съ нимъ дѣло, принялъ Писарева довольно свысока и взглянулъ на него тѣмъ болѣе покровительственно, что юноша сообщилъ ему не безъ гордости о своемъ сотрудничествѣ въ «Разсвѣтѣ». Но Писаревъ былъ неробкаго десятка и, нисколько не смутившись олимпійскимъ пріемомъ, отдалъ Благосвѣтлову «Атта Троль», заломивши при этомъ несообразную цѣну, совершенно развязно просилъ назначить день, когда онъ можетъ прійти за отвѣтомъ. Благосвѣтловъ сталъ тянуть и довелъ наконецъ Писарева до того, что тотъ потребовалъ

или категорическаго отвѣта, или рукопись. Дѣло однако благополучно уладилось, и «Атта Троль», проданный за 280 рублей, появился въ «Русскомъ Словѣ» за 1860 г. зимою.

Благосвѣтлову можно отдать ту справедливость, что онъ учуялъ Писарева и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ предложилъ ему постоянное сотрудничество, сначала впрочемъ въ отдѣлѣ библіографіи. Но очень скоро Писаревъ выступилъ статьями «Уличные типы» и «Идеализмъ Платона».

Забѣгая нѣсколько впередъ, посмотримъ—въ какую обстановку попалъ Писаревъ, сдѣлавшись сотрудникомъ «Русскаго Слова», и что за личности окружали его? Изъ этихъ послѣднихъ на первомъ планѣ стоитъ Благосвѣтловъ, котораго мы уже знаемъ немного. Въ немъ, нѣсколько выше, мы отмѣтили одну симпатичную черту пониманія талантовъ и это-то пониманіе и сыграло большую и плодотворную роль въ жизни Писарева. Стоило Писареву только написать 2—3 статьи, какъ Благосвѣтловъ сдѣлалъ его своимъ помощникомъ по редакціи и предоставилъ ему писать что̀ заблагоразсудится. Такое явное доказательство довѣрія не могло не подѣйствовать вдохновляющимъ образомъ на юнаго литератора, на котораго къ тому же со всѣхъ сторонъ сыпались многочисленныя восторженныя похвалы и не менѣе многочисленныя ожесточенныя порицанія. По поводу статьи Писарева «Схоластика XIX-го вѣка» молодежь того времени рѣшительно утверждала, что «теперь современная метафизика и мистика разрушены», и послѣ этой статьи стала смотрѣть на ея автора, какъ на своего руководителя. Видя успѣхъ своего юнаго сотрудника, Благосвѣтловъ не могъ не радоваться, потому что въ 61-омъ году «Русское Слово» только что вставало на ноги и было очень мало замѣтно благодаря сосѣдству «Современника», гдѣ еще царилъ въ то время духъ Добролюбова и Чернышевскаго. Благосвѣтловъ сообразилъ, что пустое мѣсто въ литературѣ, оставшееся послѣ Добролюбова, незадолго передъ этимъ погибшаго отъ злой наслѣдственной чахотки, можетъ быть занято Писаревымъ, мощный литературный талантъ котораго проявился сразу и быстро развертывался во всю свою ширину. Такъ какъ скверное учрежденіе литературной табели о рангахъ не существовало въ 60-хъ годахъ и писатели цѣнились по достоинству, то Писаревъ, несмотря на всю свою зеленую юность, не могъ не удостоиться со стороны Благосвѣтлова особенной ласки и особеннаго вниманія. Впродолженіе цѣлаго года (1861 — 62) мы видимъ ихъ на «ты» и почти неразлучными. Благосвѣтловъ играетъ роль ментора, борется

со страстишкой Писарева къ карточной игрѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ, желая доставить развлеченіе своему соредактору, устраиваетъ для него преферансъ по маленькой. Другіе сотрудники «Русскаго Слова» не могли смотрѣть на Писарева иначе какъ снизу вверхъ, хотя вообще эти «другіе сотрудники» не были лишены ни дарованія, ни свѣдѣній.

Выдѣлялся изъ нихъ въ то время особенно В. Зайцевъ, писатель къ сожалѣнію и совершенно несправедливо забытый въ настоящее время. Перечитывая его статьи въ «Русскомъ Словѣ», я не могъ не убѣдиться, что это былъ человѣкъ съ чутьемъ, понимавшій, что было нужно для той минуты, когда онъ работалъ. Кромѣ перевода Лассаля ничего крупнаго В. Зайцевъ послѣ себя не оставилъ, но это не причина, почему намъ бы не слѣдовало познакомиться съ нимъ и его убѣжденіями поближе. Дѣло въ томъ, что эпоха общественнаго возбужденія такъ глубоко волнуетъ каждаго причастнаго къ совершающемуся движенію, что даже дарованіе средней руки становится способнымъ къ цѣнному для жизни прозрѣнію. Въ нѣкоторой степени оно было и у Зайцева. Писалъ онъ, какъ это извѣстно, главнымъ образомъ библіографическія замѣтки и эти всѣ замѣтки представляли изъ себя цѣнный акомпаниментъ статей Писарева. Если Зайцевъ и не высказывалъ оригинальныхъ взглядовъ, то взглядовъ нужныхъ и полезныхъ онъ держался всегда твердо. Какъ и всѣ сотрудники «Русскаго Слова», онъ былъ утилитаріанцемъ и послѣдователемъ Милля, защищалъ эмансипацію женщинъ и вмѣстѣ съ тѣмъ его трезвый практическій умъ постоянно привлекалъ его вниманіе къ экономическимъ вопросамъ, вся важность которыхъ въ то время скорѣе предчувствовалась, но не сознавалась. Зайцевъ обладалъ своеобразнымъ хотя и нѣсколько грубоватымъ остроуміемъ, которымъ, надо сказать, подчасъ злоупотреблялъ. Но этого мы не поставимъ ему въ вину, потому что писатели 60-хъ годовъ вообще не отличались изяществомъ. Лишь двое изъ нихъ—Писаревъ и Добролюбовъ—никогда не грѣшили противъ правилъ литературнаго джентльменства. Съ публикой (это тоже было въ духѣ эпохи) Зайцевъ обращался за панибрата, шутилъ съ нею какъ съ близкимъ родственникомъ, любилъ такія выраженія какъ «подлость», «мерзость», «идіоты» и т. д. Къ Писареву онъ относился всегда искренно и почтительно, высоко ставилъ его дарованіе и спокойно уступалъ ему первое мѣсто. Особенно близки впрочемъ другъ къ другу ни Писаревъ, ни Зайцевъ никогда не были и ужъ разъ мы заговорили о сердечности, то за нею придется обра-

титься къ другому сотруднику «Русскаго Слова» именно Н. В. Шелгунову, имя котораго въ восьмидесятыхъ годахъ стало общее извѣстнымъ.

Н. В. Шелгуновъ не былъ крупной литературной силой и долгое время занималъ второстепенное мѣсто въ журналистикѣ, но всѣ недостатки его таланта выкупались полной искренностью, сердечностью и чуткостью, съ какой онъ относился къ вопросамъ времени. Получивши спеціальное образованіе лѣсничаго, Шелгуновъ охваченный массовымъ возбужденіемъ, презрѣлъ улыбавшуюся ему карьеру чиновника и мужественно вступилъ на литературную дорогу, которой не покидалъ уже до конца своихъ дней. Среди хронической бѣдности и лишеній Шелгуновъ ни разу не пожалѣлъ о своей измѣнѣ лѣсничеству и департаменту и вплоть до гробовой доски горѣлъ тѣми же чувствами, тою же любовью, которыя одушевляли его въ юные годы. Про эти свои юные годы онъ какъ-то замѣтилъ: «я вернулся изъ-за границы еще въ бо̀льшемъ чаду, чѣмъ туда поѣхалъ. Но въ этомъ чаду было много силы и самыхъ лучшихъ желаній. То былъ чадъ молодости, который зовется любовью». Не претендуя на первое мѣсто, не зная язвы тщеславія, губящей теперь столько хорошихъ людей, Шелгуновъ скромно занимался черной и невидной литературной работой, вѣруя въ ея пользу и необходимость. Мягкій и добродушный, онъ легко сходился съ людьми, да и вообще его тянуло къ нимъ. Разсказывая намъ о шестидесятыхъ годахъ, онъ съ особеннымъ удовольствіемъ вспоминаетъ о коллективной силѣ и коллективныхъ стремленіяхъ того времени. Его радуетъ, что *всѣ* хотѣли учиться и *всѣ* хотѣли работать. Онъ утверждаетъ, что съ «такой, коллективно направленной на благо силой можно было совершать чудеса и что нѣсколько чудесъ дѣйствительно совершилось». Пущенное имъ въ оборотъ названіе «идеалистъ земли» ближе всего подходитъ къ нему самому и этотъ идеализмъ неизмѣнно сидѣлъ въ его любящемъ и искреннемъ сердцѣ. Хотя его собственная извѣстность въ шестидесятые годы совершенно утопала въ лучахъ славы, окружавшей Писарева, онъ не завидовалъ, а даже радовался, что не перевелись на Руси большіе и смѣлые люди.

О другихъ сотрудникахъ «Русскаго Слова» я не считаю нужнымъ говорить и ограничусь лишь замѣчаніемъ, что въ ихъ ком-

паніи жить было можно и что если они не всегда симпатизировали другъ другу—какъ личностямъ, то въ сообществѣ писателей составляли дружный и выдержанный хоръ. Историкъ журналистики помянетъ ихъ когда-нибудь добрымъ словомъ.

Въ общемъ, замѣтимъ, что, благодаря главнымъ образомъ статьямъ Писарева, «Русское Слово» представляло изъ себя отдѣльную, ярко очерченную литературную группу, поставившую на своемъ писательскомъ знамени девизъ: «свобода личности». Эта-то свобода и борьба съ духомъ крѣпостничества въ области чувствъ, идей и убѣжденій и давала «Русскому Слову» право на самостоятельное существованіе. Проникнутый раціоналистическимъ духомъ, журналъ этотъ всѣ задачи времени сводилъ главнымъ образомъ къ просвѣщенію массъ и демократизаціи наукъ.

То и другое было вмѣстѣ съ тѣмъ и краеугольными камнями міросозерцанія Писарева.

---

Университетскій курсъ между тѣмъ приближался къ концу.

«Я—разсказываетъ Писаревъ—почти не ходилъ на лекціи, но работалъ сильно. Послѣ пріѣзда съ каникулъ я рѣшился писать диссертацію на медаль, на историческую тему, заданную Ироніанскимъ *). Предпріятіе было дерзкое. Тема была задана въ началѣ февраля, въ то время, какъ я еще отрицалъ солнце и луну; кто писалъ на эту тему, тотъ принялся за работу тотчасъ же послѣ объявленія задачи, а я началъ изучать предметъ диссертаціи въ началѣ октября, между тѣмъ какъ всѣ сочиненія должны быть представлены никакъ не позже первыхъ чиселъ января. Мѣсяцъ былъ употребленъ на чтеніе и выписки, а въ ноябрѣ я принялся писать. Дѣло пошло быстро и успѣшно, отчасти на живую нитку, кое-гдѣ на авось, съ широкими взглядами и рискованными обобщеніями. Я писалъ безъ черновой, потому что переписывать было бы некогда, и старался обработать предметъ такъ, чтобы произведеніе мое могло быть помѣщено въ какомъ-нибудь журналѣ. Къ началу января я кончилъ свой трудъ и замѣтилъ не безъ

---

*) Объ Аполлоніи Тіанскомъ. Ироніанскій — профессоръ Благовѣщенскій.

удовольствія, что въ немъ по крайней мѣрѣ 15 печатныхъ листовъ. Впрочемъ недостатокъ времени помѣшалъ мнѣ развить нѣкоторыя мысли, которыя были уже совсѣмъ выработаны въ моемъ умѣ; дѣлать было нечего: я махнулъ на нихъ рукою, написалъ на своей диссертаціи эпиграфъ «еже писахъ, писахъ» и представилъ ее, куда слѣдуетъ».

«Еже писахъ» оказалось однако произведеніемъ настолько блестящимъ и талантливымъ, что Писареву присудили серебряную медаль, но многіе изъ профессоровъ требовали для него золотой. Но золотая досталась его конкуренту Утину «за обстоятельность и основательность». Писаревъ съ спокойнымъ сердцемъ удовлетворился и серебряной, тѣмъ болѣе, что работа была зачтена ему за диссертацію. Чтобы закончить съ «Аполлоніемъ Тіанскимъ», скажемъ, что редакція «Русскаго Слова» открыла для него страницы своего журнала и выплатила Писареву что-то рублей 600.

Весной 61 года университетскій курсъ Писарева былъ законченъ, и притомъ не формально законченъ, но и по существу. Писаревъ махнулъ рукою на свои юношескія мечты о профессурѣ, о чистой наукѣ и весь съ головой погрузился въ журналистику. Съ этихъ поръ и надолго журналистика — его пища духовная, смыслъ и красота его умственнаго бытія. Связь со старыми товарищами оборвалась...

«Русское Слово»,—разсказываетъ онъ,—было преисполнено суеты и гордости, и благонравные товарищи мои, состоявшіе уже на дѣйствительной службѣ, бросили на меня прощальный взглядъ полный укора и сожалѣнія, когда увидѣли, что я беззаботно и весело пошелъ по скользкому пути журналиста. На статьи мои они смотрѣли съ глубокимъ презрѣніемъ, меня самого они рѣшительно и откровенно исключили изъ своего круга. О читатель, и это неправдоподобно, но и это правда. Они считали меня ренегатомъ, маленькимъ Брамбеусомъ, недостойнымъ сыномъ университетской науки, обратившимся противъ родной матери, и, надо сказать правду, они не ошибались въ этомъ отношеніи. Могъ ли же я ожидать послѣ этого себѣ помилованія? Вижу и понимаю, что мои товарищи, бывшіе филологи—люди честные и умные, вполнѣ достойные уваженія и сочувствія, но вижу также, что мнѣ съ ними уже не сойтись. Имъ предстоятъ двѣ дороги, и ни на одной изъ этихъ дорогъ я не встрѣчусь уже съ ними. Они могутъ продолжать съ успѣхомъ свою службу въ разныхъ департаментахъ и сдѣлаться черезъ нѣсколько лѣтъ просвѣщенными администраторами; или они могутъ осуществить свою университетскую мечту—сдѣлаться свѣтилами общественной науки. Очевидно, что, журналистъ, исполненный суеты и гордости, ни администраторомъ, ни свѣтиломъ быть не можетъ; очевидно даже, что онъ и знакомства водить не можетъ ни съ администраторами, ни со свѣтилами, потому что онъ имъ совсѣмъ

не пара, стоятъ они на разныхъ плоскостяхъ, живутъ въ разныхъ мірахъ, смотрятъ на вещи съ различныхъ точекъ зрѣнія и приходятъ разными путями къ противоположнымъ выводамъ и результатамъ. Стало быть мнѣ остается только, вспоминая о моихъ добрыхъ и честныхъ товарищахъ, послать имъ на этихъ страницахъ послѣднее дружеское прости и увѣрить, что я съ своей стороны всегда готовъ и радъ съ ними сойтись и что въ то же время я не вижу къ тому ни возможности теперь, ни надежды—въ будущемъ».

Слѣдовательно: alea est jacta. Университетскій Рубиконъ перейденъ и впереди сознательно и радостно избранный скользкій путь журналиста. Разумѣется, разрывъ съ товарищами, особенно съ Трескинымъ, не могъ не доставить Писареву многихъ тяжелыхъ минутъ, и сколько горечи въ его шутливыхъ словахъ: «литераторъ не можетъ даже знакомства вести съ администраторами и свѣтилами», тѣмъ болѣе, что Трескинъ дѣйствительно грубо отказался вести знакомство съ Писаревымъ послѣ первыхъ же статей послѣдняго въ «Русскомъ Словѣ»,—но все же Писаревъ былъ бодръ и радостенъ духомъ: будущее улыбалось ему.

Даже амурная канитель съ кузиной шла довольно благопріятно, но такъ какъ новаго въ этой канители пока еще ничего не случилось, то гораздо любопытнѣе остановиться на одномъ изъ писемъ Писарева къ матери, гдѣ онъ оправдываетъ свою возлюбленную отъ упрековъ въ безнравственности.

«Раиса живетъ у Ан. Д., потому что нигдѣ она не можетъ жить до такой степени свободно и сообразно со своими желаніями и наклонностями. Она окружена мужчинами—это правда, но она любитъ общество мужчинъ гораздо больше общества женщинъ, потому что, при теперешнемъ состояніи общества, умныхъ и развитыхъ мужчинъ гораздо больше, чѣмъ умныхъ и развитыхъ женщинъ. У Раисы каждый день бываютъ Гарднеръ и Хрущовъ; я нахожу это совершенно законнымъ во 1-хъ потому, что вижу, что Раиса пріятно проводитъ съ ними время, во 2-хъ потому, что мнѣ самому съ ними весело. Что касается до qu'en dira-t-on, то я никогда не сдѣлаю ни шагу, чтобы измѣнить объ себѣ мнѣніе свѣта въ ту или другую сторону, за исключеніемъ того случая, когда это мнѣніе можетъ принести мнѣ какія-нибудь существенныя выгоды и наслажденія. Могу тебѣ поклясться, что между этими людьми у Раисы нѣтъ любовника, а если бы и былъ таковой, то ни ея отецъ, ни ты, ни я не имѣемъ права вмѣшиваться въ ея дѣла. Selon mes convictions la femme est libre d'ésprit et de corps et elle peut disposer de sa personne sans en rendre compte même à son mari. Si une femme, qui pouvait jouir de la vie, ne l'a pas fait, il n'y a pas de vertu la dedans, une telle conduite est un resultat d'une masse des préjugés qui génent et qui produisent des empechements inutils et imaginaires. La vie est belle et il faut en jouir, c'est sous ce point de vue que je la considère et que

je trouve bon et juste, que chacun régle sa conduite sur cette belle maxime» *).

Взглядамъ на женщину, изложеннымъ въ этомъ письмѣ, Писаревъ остался вѣренъ всю свою жизнь. Это—та же эмансипація личности.

Характерна между прочимъ фраза: «жизнь прекрасна, нужно ею наслаждаться, и я нахожу справедливымъ, чтобы каждый руководился въ своемъ поведеніи этимъ прекраснымъ правиломъ». Ясно, что и въ статьяхъ, и въ письмахъ, и въ разговорахъ Писаревъ проводилъ въ это время тѣ же взгляды эпикурейскаго эгоизма. Онъ чувствовалъ себя молодымъ, бодрымъ, полнымъ силъ, вся жизнь сосредоточилась для него въ одной его собственной личности, и онъ знать не хотѣлъ ни долга, ни обязательствъ, ни «расплаты»... Откровенно писалъ онъ матери:

«Было-бы конечно изящнѣе съ моей стороны, еслибы вмѣсто того, чтобы разбрасывать деньги, я ими помогалъ семейству, какъ это дѣлаетъ напр. Трескинъ. Но у меня нѣтъ этого влеченія; чѣмъ больше я вглядываюсь въ себя, тѣмъ болѣе убѣждаюсь въ томъ, что, кромѣ Раисы, я никого не люблю. Всѣ остальные люди, ты, Вѣрочка, папа, Благосвѣтловъ, Жуковскій, доставляютъ мнѣ больше или меньше удовольствія, и я сообразно съ этимъ люблю съ ними бывать».

Въ эгоизмѣ Писарева за этотъ періодъ есть что-то молодое, вызывающее, воинствующее. Онъ нѣсколько даже парадируетъ имъ. «Для меня — пишетъ онъ другой разъ — каждый человѣкъ существуетъ на столько, на сколько онъ приноситъ мнѣ удовольствія. Это не теорія, это не фраза, это самая откровенная исповѣдь. Какъ я перестаю видѣть человѣка, такъ онъ перестаетъ существовать для меня на время разлуки».

Писаревъ часто говорилъ о томъ, что онъ живетъ лишь настоящимъ, и оттого счастливъ и бодръ всегда, а свою теорію эгоизма высказываетъ матери съ жесткой даже откровенностью. Такая его

*) Согласно съ моими убѣжденіями женщина свободна духомъ и тѣломъ и можетъ распоряжаться собой по усмотрѣнію, не отдавая отчета никому, даже своему мужу. Если женщина, которая могла бы наслаждаться жизнью, не наслаждается ею, то въ этомъ нѣтъ добродѣтеля. Такое поведеніе является результатомъ массы предразсудковъ, которые стѣсняютъ и производятъ безполезныя и воображаемыя затрудненія. Жизнь прекрасна, и надо пользоваться ею. Съ такой точки зрѣнія смотрю я на нее и нахожу справедливымъ, чтобы каждый руководился тѣмъ же великолѣпнымъ правиломъ.

натура была, что онъ ни во имя чего, ни ради чего кривить душой не соглашался, а говорилъ по настроенію.

Настроеніе же было воинствующее, эпикурейское. Но уже и въ это время оно начинало расширяться и принимать въ себя новые элементы, за развитіемъ которыхъ мы будемъ слѣдить съ особенной тщательностью. Съ этой точки зрѣнія любопытно хотя бы вкратцѣ познакомиться съ его статьей «Схоластика XIX-го вѣка»... Въ общихъ чертахъ я напомню ее читателю.

Но пока одно маленькое замѣчаніе. Эгоизмъ Писарева столько разъ вызывалъ благородное негодованіе, что это наконецъ надоѣло, почему я и питаю надежду, что читатель благоразумно воздержится отъ него и прочтетъ нижеслѣдующія страницы, гдѣ тотъ же эгоизмъ является передъ нами совершенно въ другомъ видѣ. Однако изъ пѣсни слова не выкинешь, не выкинешь и изъ исторіи умственнаго развитія Писарева цѣлаго періода, когда онъ, слѣдуя настроенію—нѣсколько теоретическому во всякомъ случаѣ,—является передъ нами въ образѣ ликующаго эпикурейца, которому дѣйствительно самъ чортъ не братъ. Какъ идея эмансипаціи личности и абсолютной ея свободы запала въ душу Писарева—мы знаемъ, но онъ не просто развивалъ ее, онъ утрировалъ ее, доводя до абсурда. Многое повинно въ этой утрировкѣ... Повинны прежде всего тѣ пеленки, въ которыхъ держали его въ годы дѣтства и юности, и чѣмъ туже были затянуты эти пеленки, тѣмъ энергичнѣе должны были быть тѣлодвиженія человѣка, освободившагося отъ нихъ; повинны 20 лѣтъ и инстинктивное сознаніе собственной могучей силы, твердо вѣровавшей, что она горы съ мѣста сдвинетъ; повиненъ аналитическій складъ ума, доводившій каждое положеніе до послѣднихъ результатовъ, хотя бы эти результаты заканчивались глухимъ переулкомъ.

Впрочемъ даже въ минуты наиболѣе сильнаго, воинствующаго увлеченія ничего «лохматаго» не было въ эгоизмѣ Писарева. Слѣдуя своему пріему, я обращаюсь къ письмамъ Писарева и въ одномъ изъ нихъ укажу на нижеслѣдующее изложеніе эгоизма, порядочность и осмысленность котораго должны признать всѣ не зараженные ханжествомъ или нравственнымъ сплиномъ.

«Любить свою личность—пишетъ Писаревъ—и наслаждаться уваженіемъ къ самому себѣ—это самый чистый, самый законный и самый высокій источникъ радости. Ты, мама, сама думаешь въ этомъ отношеніи совершенно также, какъ я, только на твоемъ языкѣ эти вещи называются иначе: они называются наслаждаться спокойствіемъ совѣсти, и ты вѣроятно согласишься, что ставить это наслажденіе выше всѣхъ прочихъ—вовсе не есть признакъ дурного воспитанія. То, что ты на-

зываешь совѣстью и то, что я называю разсудкомъ, въ сущности одно и тоже; только второе ясно и сознательно, а первое туманно и инстинктивно. Я дѣйствительно люблю и уважаю самого себя; принято думать, что это нехорошо, а ты повторяешь принятое мнѣніе, отчасти для того, чтобы дать мнѣ маленькую нахлобучку. Но почему-же нехорошо? Развѣ эта любовь къ себѣ, дающая возможность переносить весело то, что обыкновенно считается несчастіемъ, развѣ эта любовь заставляетъ меня засыпать на лаврахъ, развѣ она мѣшаетъ моему дальнѣйшему развитію? Развѣ я воображаю себя напр. великимъ писателемъ, которому не надо учиться, читать, работать надъ самимъ собой? Да, чѣмъ больше я себя люблю, тѣмъ больше я забочусь, чтобы развернуть свой умъ до послѣднихъ предѣловъ. Каждый успѣхъ мой всегда заставлялъ меня работать вдвое сильнѣе и вдвое успѣшнее прежняго. Я разсуждаю такъ: если у меня есть умъ, талантъ, энергія, то глупо же будетъ, если я не съумѣю воспользоваться этимъ добромъ, а пользоваться имъ значитъ, во первыхъ, беречь свое здоровье, во вторыхъ развивать свои способности хорошимъ чтеніемъ и, въ третьихъ, работать какъ можно усерднѣе, честнѣе и добросовѣстнѣе. И чѣмъ больше я замѣчаю въ себѣ хорошихъ способностей, тѣмъ строже я становлюсь къ своей работѣ, хочу дѣлать ее не спустя рукава, а во всю силу. Неужели ты во всемъ этомъ найдешь что-нибудь дурное? Потомъ еще принято думать, что человѣкъ, который очень любитъ и уважаетъ самаго себя, долженъ непремѣнно стараться о томъ, чтобы возвыситься надъ другими и вслѣдствіе этого долженъ непремѣнно оскорблять другихъ своимъ самолюбіемъ. Ты меня знаешь; ну скажи же мнѣ по чистой совѣсти, старался ли я когда нибудь стать выше другихъ?..»

---

## VII.

«Схоластика XIX вѣка». — Умственный демократизмъ. — Быстрые успѣхи. — Новая глава романа.—Трагическій эпизодъ.

Дебюты Писарева въ «Русскомъ Словѣ» были удачны. Но особенно много разговоровъ, толковъ и споровъ возбудила его статья «Схоластика XIX вѣка» (мартъ 1861 г.). Надо впрочемъ замѣтить, что самъ Писаревъ относился впослѣдствіи очень пренебрежительно къ своей «Схоластикѣ».

«Мою схоластику,—говоритъ онъ въ письмѣ къ матери,—я въ 61 г. писалъ положительно по слухамъ, о нашей литературѣ и критикѣ я не имѣлъ почти никакого понятія, и удивляюсь теперь только двумъ вещамъ: вопервыхъ, какъ я не навралъ тамъ еще больше чепухи, и вовторыхъ, какъ тѣ серьезные люди, которые писали объ этой статьѣ, не разобрали, на какихъ жидкихъ основаніяхъ она построена» (1864).

Писаревъ нѣсколько преувеличиваетъ дѣло. Что онъ въ то время не зналъ ни литературы, ни критики—это несомнѣнно, но въ «Схоластикѣ»—зародышъ его будущихъ «Реалистовъ» и вообще самыхъ яркихъ его статей. Кстати надо замѣтить, что эта же «Схоластика» дала ему вполнѣ опредѣленное мѣсто въ журналистикѣ.

Прежде всего Писаревъ говоритъ объ обязанностяхъ литературы: «литература во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ должна бить въ одну точку: она должна всѣми своими силами эмансипировать человѣческую личность отъ тѣхъ разнообразныхъ стѣсненій, которыя налагаютъ на нее робость собственной мысли, предразсудки касты, авторитетъ преданія, стремленія къ общему идеалу и весь тотъ отжившій хламъ, который мѣшаетъ живому человѣку свободно дышать и развиваться во всѣ стороны».

Но вмѣсто этого—несмотря на то, что передъ литературой стоитъ такое важное, живое дѣло, какъ эмансипація личности—она занимается собственными кружковыми интересами, посвящаетъ публику въ нисколько не интересныя ей литературныя распри, а къ вопросамъ жизни, науки, искусства подходитъ какъ-то робко, съ оглядкой. Надо быть не только ближе къ дѣйствительности, но и питаться ею, волноваться ею, изучать ее и освѣщать ее. Но «жизнь идетъ мимо литературы, а журнальныя теоріи одна за другою сдаются въ архивъ и умираютъ». Современная же критика грѣшитъ именно тѣмъ, что она задается теоріями и изобрѣтаетъ жизнь вмѣсто того, чтобы приглядываться и прислушиваться къ звукамъ окружающей дѣйствительности.

И для кого существуетъ литература? Для незначительнаго кружка избранныхъ, такъ какъ гг. литераторы не желаютъ спуститься до той жаждущей умственной пищи части общества, которая стоитъ на рубежѣ двухъ элементовъ—народа и интеллигенціи, и «какъ будто призваны быть передатчиками и проводниками идей и знаній сверху внизъ». Словомъ, средніе и низшіе слои интеллигенціи игнорируются журналистикой. Какъ же подойти къ нимъ, какъ-же сблизиться съ ними? Для этого прежде всего надо стоять на почвѣ практической дѣятельности, на почвѣ факта, надо почаще прибѣгать къ здравому смыслу вмѣсто отвлеченныхъ и книжныхъ теорій.

«Не будемъ—продолжаетъ Писаревъ—обманывать самихъ себя, вѣдь мы должны писать для общества, слѣдовательно должны заниматься тѣмъ, что всѣмъ доступно и всѣмъ должно принести пользу. Какой-нибудь общественный скандалъ въ данную минуту интересуетъ публику гораздо больше, нежели рѣшеніе вопроса о томъ, существуютъ

ли у насъ западники или славянофилы; по поводу этого общественнаго скандала вы можете развить нѣсколько свѣтлыхъ идей и заронить въ вашихъ читателяхъ кое-какіе задатки развитія и движенія впередъ. Спрашивается, по какому же побужденію вы не воспользуетесь этимъ случаемъ? Потому, скажете вы, что не желаете уронить достоинство идеи, не желаете вмѣшаться въ толпу крикуновъ, свистуновъ и пр. Что за щепетильность, что за отвлеченность, что за брезгливость, что за фешенебельное и въ то же время педантическое презрѣніе къ идеямъ, которыя волнуютъ окружающихъ васъ людей!...

А между тѣмъ литература *должна* и можетъ совершить великое дѣло — помочь своимъ читателямъ выработать міросозерцаніе, дѣйствующее и практическое. Для этого надо спуститься съ высоты теоріи, такъ какъ «народъ хитрѣе сталъ и ни на какую штуку не ловится... Умъ нашъ требуетъ фактовъ, доказательствъ, фраза насъ не отуманитъ, и въ самомъ блестящемъ и стройномъ созданіи фантазіи мы подмѣтимъ слабость основанія и произвольность выводовъ».

Что же это за практическое, дѣйствующее міросозерцаніе, которое необходимо, чтобы каждый былъ работникомъ?

«Еслибы всѣ въ строгомъ смыслѣ слова были эгоистами по убѣжденіямъ, т. е. заботились только о себѣ и повиновались бы одному влеченію чувства, то, право, тогда привольнѣе было бы жить на бѣломъ свѣтѣ, нежели теперь, когда о васъ заботятся чуть не съ колыбели сотни людей, которыхъ вы почти не знаете и которые не знаютъ васъ, какъ личность, а какъ единицу, какъ члена мѣстнаго общества, какъ недѣлимое, носящее то или другое фамильное прозвище».

Итакъ, прежде всего надо эмансипировать свою личность отъ идеи долга и обязанности и свободно отдаться влеченію своей натуры, которое прежде всего хочетъ личнаго счастья и наслажденія. Не надо ставить себѣ цѣли жизни съ точки зрѣнія какого-нибудь общаго, отвлеченнаго идеала...

«Если—говоритъ Писаревъ—вы поставите себѣ цѣль жизни, несовмѣстную съ вашими наклонностями, тогда вы испортите себѣ свою жизнь; вы потратите всю энергію на борьбу съ собой; если не побѣдите себя, то останетесь недовольны; если побѣдите себя, тогда вы сдѣлаетесь автоматомъ, чисто разсудочнымъ, сухимъ и вялымъ человѣкомъ. Старайтесь жить полною жизнью, не дрессируйте и не ломайте себя, не давите оригинальности и самобытности въ угоду заведенному порядку и вкусу толпы—и, живя такимъ образомъ, не спрашивайте о цѣли. Цѣль сама найдется, и жизнь рѣшитъ вопросы прежде, нежели вы ихъ предложите».

Влеченіе и наклонность должны явиться опредѣляющими факторами дѣятельности. И хотя Писаревъ прекрасно понималъ, что

эмансипація личности и уваженіе къ ея самостоятельности являются послѣднимъ продуктомъ позднѣйшей цивилизаціи, — все-же литература должна бить въ эту точку, оставивъ свое преклоненіе передъ «фокусами и подвигами самопожертвованія»... Иначе, «оставаясь для насъ незамѣтнымъ», это умственное и нравственное рабство медленнымъ ядомъ отравляетъ нашу жизнь. Мы умышленно раздваиваемъ свое существо, наблюдаемъ за собой, какъ за опаснымъ врагомъ, хитримъ передъ собою и ловимъ себя въ хитрости, боремся съ собою, побѣждаемъ себя, находимъ въ себѣ животные инстинкты и ополчаемся на нихъ силою мысли; вся эта глупая комедія кончается тѣмъ, что передъ смертью мы, подобно римскому императору Августу, можемъ спросить у окружающихъ людей: «хорошо-ли я сыгралъ свою роль?» Нечего сказать! Пріятное и достойное препровожденіе времени. Поневолѣ вспомнишь слова Нестора: «никто же ихъ біяше, сами ся мучаху».

Затѣмъ Писаревъ, посвящаетъ нѣсколько злыхъ страницъ гг. спиритуалистамъ, идеалистамъ и супранатуралистамъ, рѣшительно заявляетъ, что не хочетъ видѣть въ жизни «ни цѣли, ни идеала, а лишь одинъ процессъ, который человѣкъ можетъ приспособить себѣ и наслаждаться имъ», и наконецъ еще разъ энергично высказываетъ свою задушевную мысль о необходимости и возможности *демократизировать* науку, искусство и литературу, избавить ихъ отъ теоретичности и идеализма и, сдѣлавъ ихъ доступными для каждой эмансипированной или желающей эмансипироваться личности, тѣмъ самымъ дать ей прочный фундаментъ для дѣятельности.

«Отвлеченности (т. е. идеализмъ, спиритуализмъ, супранатурализмъ и пр.) могутъ быть интересны и понятны только для ненормально развитаго, очень незначительнаго меньшинства. Поэтому ополчаться всѣми силами противъ отвлеченности въ наукѣ мы имѣемъ полное право по двумъ причинамъ: вопервыхъ, во имя цѣлостности человѣческой личности, вовторыхъ, во имя того здраваго принципа, который, постепенно проникая въ общественное сознаніе, нечувствительно сглаживаетъ грани сословій и разбиваетъ кастическую замкнутость и исключительность. Умственный аристократизмъ—явленіе опасное именно потому, что онъ дѣйствуетъ незамѣтно и не высказывается въ рѣзкихъ формахъ. Монополія знаній и гуманнаго развитія представляетъ конечно одну изъ самыхъ вредныхъ монополій. Что за наука, которая по самой сущности своей недоступна массѣ. Что за искусство, котораго произведеніями могутъ наслаждаться только немногіе спеціалисты. Вѣдь надо же помнить, что не люди существуютъ для науки и искусства, а что наука и искусство вытекли изъ естественной потребности человѣка наслаждаться жизнью и украшать ее всевозможными средствами. Если наука и искусство мѣшаютъ жить, если они разъеди-

няютъ людей, если они кладутъ основаніе кастамъ, такъ и Богъ съ ними, мы ихъ знать не хотимъ; но это не правда: истинная наука ведетъ къ осязательному знанію, а то, что осязательно, что можно ощупать руками и разсмотрѣть глазами, то пойметъ и десятилѣтній ребенокъ, и простой мужикъ, и свѣтскій человѣкъ, и ученый спеціалистъ».

Что-же, въ сущности, за вещь такая схоластика XIX вѣка? Схоластика XIX в. это прежде всего идея долга и обязанности, которая надѣваетъ на личность нравственныя путы, это тѣ теоріи, которыя отвлекаютъ личность отъ дѣйствительнаго, очевиднаго, практическаго, заставляютъ ее бояться самой себя, голоса своей натуры, своихъ наклонностей и мѣшаютъ ей, «приспособивъ къ себѣ процессъ бытія, наслаждаться имъ»...

Но въ «Схоластикѣ» есть и болѣе существенная часть, т. е. всѣ тѣ страницы, которыя посвящены требованію демократизировать науку, искусство и литературу. По этому поводу Писаревъ дѣлаетъ глубокое замѣчаніе, что все *схоластическое гнѣздится въ кружковщинѣ*. Вынесите науку, литературу, искусство на свѣжій воздухъ, постарайтесь сдѣлать ихъ очевидными и доступными для массы, для всѣхъ, а не только для спеціалистовъ или преподавателей какой-нибудь ученой или литературной касты, и вы увидите, какъ много ненужнаго отпадетъ при этомъ, и все оплодотворится дѣйствительными потребностями насущной жизни.

Если есть «умственный аристократизмъ», то міросозерцаніе, изложенное въ «Схоластикѣ XIX в.», можетъ быть названо «*умственнымъ демократизмомъ*». Я говорю «умственнымъ», потому что эволюцію ума, развитіе критической мысли, прогрессъ науки Писаревъ всегда ставилъ въ голову историческаго развитія. Въ этомъ случаѣ онъ смѣло можетъ быть названъ ученикомъ Бокля и Конта, но ученикомъ-демократомъ, для котораго столько же важенъ прогрессъ науки, сколько распространеніе этого прогресса въ массѣ.

Проницательный читатель понимаетъ кромѣ того, какъ теорія пользы легко можетъ вырости на этой почвѣ убѣжденнаго демократизма. Но объ этомъ ниже. Пока—нѣсколько фактовъ изъ жизни Писарева.

Успѣхъ статей Писарева въ «Русскомъ Словѣ» былъ настолько очевиденъ, что въ скоромъ времени Благосвѣтловъ сдѣлалъ его своимъ помощникомъ.

«Конечно — писалъ впослѣдствіи Писаревъ матери про эту эпоху своей жизни—у меня не было тогда ни малѣйшей практической опытности, и я толковалъ о жизни, какъ совершенный ребе-

нокъ, но я чувствовалъ въ себѣ присутствіе такихъ силъ и такой энергіи, которыя непремѣнно должны были очень быстро выдвинуть меня впередъ. И развѣ это чувство обмануло меня? Развѣ я теперь помѣнялся бы своимъ положеніемъ съ кѣмъ-нибудь изъ своихъ товарищей? Уже въ концѣ 61-го года, когда литературная карьера моя продолжалась всего нѣсколько мѣсяцевъ, мнѣ говорили очень опытные люди, что такого другого литературнаго дебюта они не запомнятъ. Да я и самъ это видѣлъ. Въ ноябрѣ 61-го года я получилъ приглашеніе работать для *Современника* и отказался — зане возлюбилъ *Русское Слово*», гдѣ Писарева ласкали и холили, устраивали для него преферансъ по маленькой и окружили всякой заботливостью.

Но зато «романъ» шелъ совершенно неблагополучно. Раиса, какъ и слѣдовало ожидать, влюбилась въ какое-то «умственное ничтожество, но зато въ человѣка «avec une verve animale»—и рѣшилась отдать ему руку и сердце. Писаревъ не выдержалъ и, спустившись съ высоты своей теоріи, утверждавшей, что каждый имѣетъ право располагать собою по собственному усмотрѣнію, — хотѣлъ даже драться на дуэли, и «навѣрное застрѣлился бы, не люби я такъ свою собственную особу», какъ вспоминалъ онъ впослѣдствіи.

Finita la comedia!—и на самомъ дѣлѣ отношенія Раисы къ Писареву напоминаютъ собою комедію. Она просто напросто испытывала на немъ власть своей «ewig Weibliche», а можетъ быть просто держала про запасъ, рѣшительно не обращая вниманія на то, что человѣкъ положительно на стѣну лѣзетъ.

Писаревъ самъ впослѣдствіи объяснялъ неудачу своей любви тѣмъ, что онъ слишкомъ много умствовалъ и занимался пропагандой теорій, когда «умѣстнѣе было засверкать глазами, схватить въ объятія и поступить «по мущински». Но какъ бы то ни было, такъ долго лелѣянная мечта его жизни была разбита, и онъ съ еще большей охотой окунулся съ головой въ свою литературу и ту разсѣянную жизнь, которую велъ уже довольно давно, со времени сотрудничества своего въ «Русскомъ словѣ».

Любопытна между прочимъ послѣдняя попытка Писарева отстоять свою любовь и во что бы то ни стало завоевать себѣ любимую женщину. Онъ предложилъ Раисѣ, чтобы она вышла за него замужъ и затѣмъ тотчасъ, послѣ обряда вѣнчанія, прямо изъ церкви ѣхала съ Г. за границу или куда угодно. Предлагая эту развязку, онъ прекрасно сознавалъ, что ему отвѣтятъ негодованіемъ или на-

смѣшкой, но ему самому этотъ исходъ казался самымъ простымъ и естественнымъ; ставши законнымъ мужемъ, онъ давалъ возможность любимой женщинѣ вернуться къ нему на законномъ основаніи, когда чаша страсти была бы выпита до дна... Разумѣется, на такой компромиссъ никто не пошелъ.

---

Но гроза надвигалась и съ другой стороны.

Весною 62-го года рѣшено было пріостановить временно «Русское Слово» и «Современникъ».

Писаревъ писалъ по этому поводу матери:

«Кажется, закрытіе обоихъ журналовъ продолжится до Новаго года: въ этомъ интервалѣ я не намѣренъ писать въ другихъ журналахъ, потому что всѣ они дрянь, поэтому я думаю ѣхать въ Грунецъ и жить тамъ, покуда не откроется «Современникъ« или «Русское Слово», или что-нибудь имъ подобное, Il faut savoir accepter avec dignité une defaite politique».

Эта записка—послѣдняя, писанная Писаревымъ съ воли, дальше пойдутъ его письма изъ крѣпости.

Попалъ онъ въ крѣпость слѣдующимъ образомъ. Живя въ мезоновскихъ номерахъ, Писаревъ познакомился со студентомъ Баллодомъ. Молодые люди не были близки между собой, знакомство ихъ было, что называется, «шапочное» и очень скоро прекратилось. Въ апрѣлѣ 62-го года появилась надѣлавшая много шуму брошюра барона Шедоферотти, разбиравшая письмо Герцена къ русскому посланнику въ Лондонѣ. Писаревъ тотчасъ же по выходѣ брошюры въ свѣтъ написалъ ея разборъ, очень несочувственный и рѣзкій, но все же въ тонѣ, который допускался тогда въ печати, и разсчитывалъ помѣстить свою статью въ майской книжкѣ «Русскаго Слова», но цензоръ рѣшительно заявилъ, что статья, какъ бы ее ни передѣлывали, невозможна. Случилось между тѣмъ, что Баллодъ, зайдя къ Писареву и узнавъ объ участіи рецензіи, предложилъ ее пустить въ ходъ на тайномъ станкѣ. Писаревъ однако сказалъ, что «это» не стоитъ, на чемъ пока и остановилось дѣло. Но когда «Русское Слово» запретили и Баллодъ возобновилъ свои просьбы, Писаревъ написалъ другую статью о томъ же предметѣ, статью возможную только въ подпольной печати. Она-то и стоила Писареву почти пяти лѣтъ одиночнаго заключенія въ крѣпости, такъ какъ черезъ нѣсколько же дней Баллодъ былъ арестованъ, а затѣмъ по найденнымъ слѣдамъ—и Писаревъ.

---

## VIII.

### Въ крѣпости.—Письма къ матери.

Во время пяти-лѣтняго заключенія въ крѣпости развернулись всѣ лучшія стороны писаревской души и таланта. Какъ это ни изумительно, однако таковъ фактъ, что лучшія статьи написаны здѣсь, что здѣсь ни на минуту не прекращалась работа мощнаго духа. Перечтите такія статьи, какъ «Наша университетская наука», «Реалисты», «Романъ кисейной барышни», «Промахи незрѣлой мысли»,—гдѣ же тутъ хотя бы тѣнь вполнѣ законнаго унынія и тоски? Нравственное мужество 22-хъ-лѣтняго литератора не было ни на іоту сломлено страшнымъ испытаніемъ. Работа ума, кипучая, напряженная, торжествующая, продолжалась безъ перерыва, міросозерцаніе развивалось въ томъ направленіи, которое было указано предшествовавшею жизнью. Прибавьте ко всему этому то, что цѣлыхъ два года Писаревъ совершенно не зналъ, что съ нимъ сдѣлаютъ: отправятъ ли его въ ссылку, или оставятъ на мѣстѣ. Но и эта неопредѣленность положенія—самая мучительная изъ всѣхъ пытокъ—не сломила его. Онъ засѣлъ за работу въ тотъ день, какъ захлопнулись за нимъ двери каземата, и съ тою же работой, съ такими же планами вышелъ изъ крѣпости. Написанныя имъ за эти годы статьи, проходя всевозможныя цензурныя мытарства, печатались въ «Русскомъ Словѣ»,—что по тѣмъ временамъ было возможно.

Кромѣ умственной энергіи и нравственнаго мужества, письма его къ матери за это время дышатъ особенной любовью и нѣжностью. Тонъ ихъ обыкновенно шутливый, но сколько ласковой почтительности, сколько сердечной мягкости въ этой грудѣ исписанныхъ мелкимъ бисернымъ почеркомъ листовъ почтовой бумаги! Не мать утѣшаетъ его,—онъ утѣшаетъ мать, рисуетъ ей постоянно перспективу будущей совмѣстной, счастливой жизни, то и дѣло спрашиваетъ о ея здоровьѣ, слѣдитъ за занятіями и развитіемъ двухъ младшихъ своихъ сестеръ и, нисколько не отказываясь отъ прежнихъ своихъ взглядовъ, находитъ въ себѣ столько душевной теплоты и мягкости, что облекаетъ ихъ въ самую привлекательную, исполненную глубокаго чувства и серьезнаго убѣжденія, форму.

Такъ—тяжкій млатъ,
Дробя стекло, куетъ булатъ.

Булатъ оказался лучшаго качества, ибо какъ иначе объяснить, что мысль Писарева среди четырехъ стѣнъ каземата не утеряла даже своей яркости и художественности? Не было ни внѣшнихъ впечатлѣній, не было слышно даже голоса человѣческаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ изъ-за могилъ, въ продолженіе цѣлыхъ пяти лѣтъ, раздавалась полная силы и мужества рѣчь, облетавшая всю Россію и встрѣчавшаяся вездѣ съ восторгомъ,—рѣчь, призывавшая людей къ живой работѣ и живому наслажденію.

Но тонъ писаревскихъ писемъ краснорѣчивѣе всякихъ словъ, почему и привожу отрывки:

«Насчетъ моего здоровья, ты (т. е. мать) съ Вѣрочкою можете быть совершенно спокойны. Я чувствую себя хорошо; сегодня ровно двѣ недѣли съ тѣхъ поръ, какъ я въ крѣпости, а между тѣмъ меланхоліи, которой ты такъ боялась, не показывается. О положеніи моего дѣла не могу сказать тебѣ ничего, потому что самъ ничего не знаю. Ради Бога только другъ мой, Maman, не сокрушайся заранѣе, но смотри на дѣло спокойно и серьезно, не увлекаясь пріятными надеждами. Ты спрашиваешь, ѣхать ли тебѣ въ деревню или оставаться здѣсь. Мнѣ бы хотѣлось конечно, чтобы ты осталась здѣсь и я попрошу тебя это сдѣлать, если только позволятъ это твои домашнія дѣла... Обо мнѣ вы объ, Maman и Вѣрочка, не безпокойтесь, мнѣ денегъ не нужно; у меня все казенное, и я самъ, какъ человѣкъ казенный, пропасть не могу... Ну кажется все, больше писать не о чемъ. Крѣпко обнимаю васъ и прошу обѣихъ быть благоразумными—не плакать и не заболѣвать. Обнимаю васъ. Поклонитесь всѣмъ знакомымъ въ особенности m-me Гарднеръ (Рансѣ) и пишите по возможности часто и много.

Писаревъ вообще въ каждомъ письмѣ увѣряетъ родныхъ, что ему хорошо, «очень даже хорошо». 16-го сентября 1862 года онъ писалъ:

«Cher Papa, Maman и Вѣрочка! Давно я не писалъ вамъ, но надѣюсь, что вы на меня не будете сердиться. Желалъ бы также надѣяться на то, что вы не будете тревожиться, но знаю, что эта надежда неосуществима. По тону твоего письма, душечка Maman, я вижу, что ты почти такъ же грустишь и безпокоишься, какъ въ то время, когда я былъ у Штейна. Не знаю, какъ бы мнѣ увѣрить тебя, что я дѣйствительно ни въ чемъ не нуждаюсь и не чувствую ни малѣйшаго страданія—ни физическаго, ни нравственнаго. Съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались съ тобой, прошло уже болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, и все это время я былъ совершенно здоровъ, расположеніе духа сначала до конца было самое ровное, свѣтлое и спокойное. Я получилъ отъ тебя два письма, первое, писанное въ Петербургѣ, второе—изъ Грунца; оба чрезвычайно обрадовали меня; роднымъ воздухомъ повѣяло; особенно пріятныя минуты доставило мнѣ второе письмо, какъ

болѣе длинное и подробное. Дурно только одно: зачѣмъ ты, мама, такъ страдаешь? Хоть бы ты съ Вѣрочки примѣръ брала. Она гораздо мужественнѣе тебя. Какъ бы мнѣ хотѣлось сообщить тебѣ хоть незначительную часть моей безпечности, которая составляетъ счастливѣйшую черту моего характера. Зачѣмъ горевать? Вѣдь все же это современемъ пройдетъ и понемногу забудется, какъ начинаетъ забываться и мое пребываніе у Штейна. Мнѣ кажется даже, что эти волненія и испытанія вмѣстѣ съ семейными событіями, совершившимися нынѣшнею весною, тѣснѣе приблизятъ меня къ вамъ, а то я въ самомъ дѣлѣ начиналъ превращаться въ какую-то окаменѣлость. Въ жизни бываетъ хорошо получать столь сильные толчки. Отъ этого крѣпнешь и умнѣешь. Пишите пожалуйста побольше».

Ко 2-му ноября 62 года относится слѣдующая маленькая записка:

«Все идетъ попрежнему; я здоровъ, спокоенъ и ни въ чемъ не нуждаюсь, жду извѣстій отъ васъ, потому что послѣднее ваше письмо я получилъ слишкомъ двѣ недѣли тому назадъ. Завтра будетъ ровно 4 мѣсяца съ тѣхъ поръ, какъ я арестованъ; наступаетъ зима, и я бы могъ опжалѣть о потерянномъ лѣтѣ, еслибы имѣлъ дурную привычку жалѣть о томъ, что прошло, или жаловаться на то, чего нельзя передѣлать... Пишите пожалуйста непремѣнно по-русски».

Въ слѣдующемъ письмѣ (14-го ноября 62-го года) Писаревъ опять нѣжно успокаиваетъ мать, шутливо совѣтуетъ своей маленькой сестренкѣ Катѣ «не откладывать для него лучшіе яблоки, такъ какъ они могутъ испортиться», и обращаясь къ своей сестрѣ Вѣрѣ, говоритъ:

«Я особенно благодаренъ тебѣ за то, что ты вѣришь моему спокойствію и понимаешь, что въ немъ нѣтъ ничего искусственнаго. Дѣйствительно, это сфера моего *эгоистическаго* характера. Весною нынѣшняго года, когда Раиса выходила замужъ, я испыталъ самое сильное горе, къ какому я только способенъ, и чѣмъ же эти страданія выразились? Не было ни слезъ, ни безсонныхъ ночей, ни внутренней боли, ни неспособности къ работѣ. Одинъ этотъ фактъ долженъ убѣдить васъ, дорогіе друзья, что жалѣть обо мнѣ не слѣдуетъ и что я почти не способенъ страдать»...

Почти въ каждомъ письмѣ Писаревъ впадаетъ въ шутливый тонъ. Такъ, онъ увѣряетъ напр., что «теперешнее его положеніе совершенно обезпечиваетъ его отъ «простуды, насморка и кашля, которыя вѣроятно свирѣпствуютъ теперь въ Петербургѣ». «Если бы ты, мама,—продолжаетъ онъ,—взглянула на мое положеніе съ этой точки зрѣнія, то ты вѣроятно убѣдилась бы въ томъ, что каждое несчастіе, какъ бы велико оно ни было, представляетъ свою утѣ-

шительную сторону. «Въ крѣпости», замѣчаетъ другой разъ Писаревъ, «жить очень дешево, что при дороговизнѣ петербургской жизни вообще очень пріятно».

Вскорѣ Писареву разрѣшили свиданіе съ родными, почему письма на нѣсколько мѣсяцевъ прекращаются. Слѣдующія же относятся къ 63-му году и дальше. Въ первомъ изъ написанныхъ въ 63-мъ году мы читаемъ:

«Жизнь моя, которую такъ разнообразили въ продолженіе 4-хъ мѣсяцевъ свиданія съ вами, опять покатилась своимъ ровнымъ теченіемъ, опять я ничего не ожидаю, живу себѣ съ минуты на минуту и опять замѣчаю, что время идетъ особенно скоро, и опять радуюсь, потому что дни опять такъ быстро уходятъ за днями. Къ уединенію и къ моему правильному образу жизни я такъ привыкъ, что мнѣ и въ голову не приходитъ, чтобы этими вещами можно было тяготиться. Я не думаю, чтобы я, подобно Шильонскому узнику, вздохнулъ когда-нибудь о моей тюрьмѣ, но я совершенно увѣренъ въ томъ, что всегда буду вспоминать о времени моего заключенія съ самою добродушною улыбкой. Мнѣ даже иногда становится смѣшно смотрѣть на себя: какой я кроткій агнецъ и какъ я со всѣмъ примиряюсь, и какъ я всѣмъ остаюсь доволенъ!—Со стороны смотрѣть, должно быть, еще смѣшнѣе, но мнѣ, отъ кротости моей, очень хорошо; эта кротость похожа на пуховикъ, который предохраняетъ меня отъ боли при каждомъ паденіи. Вотъ ты читаешь теперь мое письмо, другъ мой, мама, и пожимаешь плечами, а Вѣрочка читаетъ и сердится на меня и говоритъ: какъ это ему (т. е. мнѣ) не надоѣстъ все разбирать и хвалить себя и все съ одной и той же стороны. А что дѣлаетъ и говоритъ въ это время папаша? Впрочемъ папашу я такъ давно не видалъ, что даже приблизительно не могу себѣ представить, какое впечатлѣніе производитъ на него моя болтовня. Но вы ею не раздражайтесь».

Писаревъ старается даже увѣрить себя и другихъ, что пребываніе въ крѣпости ничего кромѣ пользы ему не приноситъ и принести не можетъ.

«Оглядываясь назадъ на прошедшій годъ, двадцать третій годъ моей жизни, я вижу, что онъ проведенъ гораздо благопріятнѣе, чѣмъ напр. двадцать второй. Правда, что въ моемъ положеніи мудрено дѣлать какія бы то ни было глупости, но такъ или иначе, по той или другой причинѣ, а все-таки этотъ годъ прошелъ безъ глупостей, чего никакъ нельзя сказать о его предшественникѣ. Еслибы я былъ на свободѣ, то могу себѣ представить, сколько бы я надѣлалъ карточныхъ долговъ, сколько бы я тратилъ силъ на безпорядочныя удовольствія. Теперь всѣ силы, которыя потратились бы въ этомъ году, оказываются сбереженными, а это увеличиваетъ тотъ капиталъ, съ котораго придется брать проценты въ теченіе всей остальной жизни. Я очень расточителенъ въ отношеніи къ деньгамъ, потому что деньги

составляютъ для меня только проценты, но я очень скупъ на капиталъ; т. е. нельзя сказать, чтобы я иногда не пускалъ на вѣтеръ кусочекъ капитала, но, повѣришь ли, мнѣ всегда было жалко и очень тяжело послѣ того, какъ я поступалъ такимъ образомъ. Какъ только проведу безсонную ночь за картами, такъ и начинаю смотрѣть на себя въ зеркало и соболѣзновать о томъ, что лицо осунулось, глаза потускнѣли, значитъ частица силъ израсходована. Ты, какъ человѣкъ благоразумный, спросишь конечно, зачѣмъ же было глупости дѣлать. На это отвѣчать нечего: слабъ человѣкъ и ни въ чемъ не знаетъ мѣры. Поэтому-то я и радъ, что обстоятельства взялись пріучать меня къ правильному образу жизни и сберегутъ для меня на будущее тѣ силы, которыя я, живя на всей своей волѣ, непремѣнно разбросалъ бы по сторонамъ, и жалѣлъ бы, и плакалъ бы, а все-таки бросалъ. Буду ли я поступать благоразумнѣе впослѣдствіи?—мнѣ кажется «да»! У меня во многихъ отношеніяхъ расширились и прояснились понятія, а это не можетъ оставаться безъ вліянія на весь образъ дѣйствій. Вопервыхъ, я самъ по себѣ возмужалъ, а во-вторыхъ, долговременное уединеніе подѣйствовало на меня очень хорошо. Уединеніемъ лѣчатъ нѣкоторые виды сумасшествія, въ томъ числѣ и меланхолію, но уединеніе бываетъ полезно не для однихъ сумасшедшихъ; отъ него выигрываютъ часто люди совершенно здравомыслящіе. Становишься спокойнѣе, выучиваешься сосредоточивать свои мысли и вслѣдствіе этого начинаешь думать успѣшнѣе прежняго. Соображая всѣ эти обстоятельства, я нахожу, что мой 23-й годъ жизни проведенъ какъ нельзя лучше: онъ могъ бы быть проведенъ пріятнѣе—это правда, но пріятныя ощущенія въ прошедшемъ такъ же интересны, какъ хорошій обѣдъ, съѣденный недѣлю тому назадъ. Мало ли что было, да прошло. Прошедшее интересно для меня настолько, насколько оно оставляетъ что-нибудь для настоящаго и будущаго, т. е. насколько оно увеличиваетъ капиталъ, съ котораго мы беремъ проценты. А въ этомъ отношеніи послѣдній годъ сдѣлалъ свое дѣло, какъ слѣдуетъ, и потому я имъ совершенно доволенъ. Къ начинающемуся году (24-му) моей жизни я подхожу съ особеннымъ любопытствомъ, гдѣ и какимъ образомъ придется провести его. Вопросъ этотъ не лишенъ занимательности, но могу сказать, положа руку на сердце, что задаю его себѣ безъ малѣйшаго волненія. Къ живому любопытству не примѣшиваются ни мечтательныя надежды, ни мрачныя опасенія, нѣтъ и такого равнодушія, которое было бы похоже на апатію. Просто любопытно слѣдить за событіями собственной жизни... Иногда кажется, что романъ растянутъ и что событія слишкомъ медленно развиваются, но такъ какъ знаешь, что нетерпѣніе ни къ чему не ведетъ, то очень скоро миришься съ этимъ. Все это время я чувствовалъ себя такъ хорошо, что продолжается и теперь, такъ что даже осень не раздражаетъ меня, несмотря на то, что я терпѣть не могу этого времени года»...

Въ этомъ же письмѣ есть кое-что о Раисѣ:

«Кстати—получаешь ли ты извѣстія о Раисѣ? Если получаешь, сообщи мнѣ, что знаешь о ней, а если не получаешь, то пожалуйста постарайся получить. Меня очень интересуетъ все, что касается до

нея... Я думаю о ней часто, иногда съ досадою, иногда съ грустью, иногда съ добрымъ чувствомъ и съ сильнымъ желаніемъ увидѣть ее... Когда я говорю о своей грусти, то ты при этомъ должна имѣть въ виду, что для меня всякая грусть несравненно легче насморка и возбуждается какимъ-нибудь трогательнымъ романомъ. Но какъ бы то ни было, мнѣ бы хотѣлось знать, что съ нею дѣлается, и ты, другъ мой maman, сдѣлаешь мнѣ большое одолженіе, если сообщишь что-нибудь о ней».

Обыкновенный припѣвъ, которымъ заканчиваетъ Писаревъ свои письма, таковъ: «Что мнѣ дѣлается!—по обыкновенію здоровъ и счастливъ».

Жажда жизни, дѣятельности не умолкаетъ въ немъ ни на минуту. То и дѣло строитъ онъ планы будущаго, т. е. будущихъ работъ. Подъ работой же для себя онъ разумѣетъ понятно прежде всего литературу.

«Для меня,—пишетъ онъ,—журналистъ есть высшій идеалъ человѣка и благороднѣйшее существо. Я, какъ хорошій ремесленникъ, горжусь своимъ ремесломъ точно такъ же, какъ имъ гордится въ Германіи каждый сапожникъ и булочникъ. Впрочемъ, если обстоятельства заставятъ отправиться въ мѣста отдаленнѣйшія и бросить журналистику, то и тутъ плакать нечего: куда бы меня ни отправили, вѣдь дороги всюду есть, а средства на проѣздъ для тебя и Вѣрочки можно будетъ найти. Вѣдь я не безрукій и не безголовый человѣкъ. Работа найдется, а если будетъ работа, то средства будутъ. Неужели я только и способенъ быть, что литераторомъ? Въ случаѣ надобности, съумѣю быть и конторщикомъ, и домашнимъ учителемъ. Но, разумѣется, это лишь въ случаѣ безусловной крайности».

«Журналистика—пишетъ онъ отъ 24 дек. 64 г.—мое призваніе. Это я твердо знаю. Написать въ мѣсяцъ отъ 4 до 5 печатныхъ листовъ я могу незамѣтно и уже нисколько не утруждая себя; форма выраженія дается мнѣ теперь еще легче, чѣмъ прежде, но только я становлюсь строже и требовательнѣе къ себѣ въ отношеніи мысли, больше обдумываю, стараюсь яснѣе отдавать себѣ отчетъ въ томъ, что пишу».

Съ особеннымъ наслажденіемъ строитъ Писаревъ планы своихъ будущихъ литературныхъ работъ.

«Мой взглядъ на вещи,—говоритъ онъ,—и тотъ планъ, по которому я намѣренъ современемъ построить мою жизнь и дѣятельность, выясняются для меня съ каждымъ днемъ явственнѣе и отчетливѣе. Если мнѣ удастся выйти опять на ровную дорогу, т. е. жить въ Петербургѣ и писать въ журналѣ, то я навѣрное буду самымъ послѣдовательнымъ изъ русскихъ писателей и доведу свою идею до такихъ ясныхъ и осязательныхъ результатовъ, до какихъ еще никто не доводилъ раньше меня».

*«Всѣ наши хорошіе писатели имѣли значительную слабость къ общимъ разсужденіямъ и высшимъ взглядамъ, и у меня есть эта слабость, хоть я еще и не считаю себя хорошимъ писателемъ; но я понимаю, несмотря на эту слабость, что общія разсужденія и высшіе взгляды составляютъ совершенно безполезную роскошь и мертвый капиталъ для такого общества, которому не достаетъ самыхъ простыхъ и элементарныхъ знаній. Поэтому обществу надо давать эти необходимыя знанія, т. е. знакомить публику съ лучшими представителями европейской науки. Мнѣ эта задача во всѣхъ отношеніяхъ по душѣ и по силамъ. Вопервыхъ, я пишу, какъ тебѣ извѣстно, чрезвычайно быстро; вовторыхъ, я пишу весело и занимательно; въ третьихъ, я усваиваю себѣ очень легко чужія мысли, такъ что могу передавать ихъ совершенно понятнымъ образомъ; и, наконецъ, въ четвертыхъ, я одержимъ страстною охотой читать. Всѣ эти свойства до сихъ поръ все еще растутъ и развиваются во мнѣ, такъ что каждая новая статья моя выходитъ живѣе и пишется легче, чѣмъ предыдущая. При такихъ условіяхъ, я, ни мало не утомляя себя, могу писать по 50 листовъ въ годъ, т. е. по 800 страницъ. Стоитъ только выбирать тщательно сюжетъ статей, и такимъ образомъ публика ежегодно будетъ получать цѣлую массу знаній по самымъ разнороднымъ предметамъ. Припомни теперь, сколько пользы принесъ Бѣлинскій, и сообрази, что Бѣлинскій ограничивается почти исключительно областью литературной критики; кромѣ того Бѣлинскій былъ человѣкъ больной и раздражительный, что непремѣнно мѣшало ясности и послѣдовательности работы. Принявши все это въ разсчетъ, ты поймешь, сколько настоящей пользы могу принести я при моемъ порядочномъ здоровьѣ, при моей способности писать, не раздражаясь, при моей ненависти къ фразамъ и при моемъ постоянномъ стремленіи доказывать и объяснять, придерживаясь метода опытныхъ наукъ... Но ты не думай однако, что, упиваясь этими обаятельными мыслями, я забываю свое настоящее положеніе. Я очень хорошо знаю, что я не стою на ровной дорогѣ и что можетъ-быть мнѣ долго или совсѣмъ не удастся попасть на нее обратно. Но, вопервыхъ, пріятно чувствовать въ себѣ силу быть полезнымъ, хотя бы даже и не удалось приложить эту силу къ работѣ, а во-вторыхъ, я не могу роптать на свое положеніе потому, что по глубокому убѣжденію моему безъ теперешней моей катастрофы мысли мои ни зачто бы не пришли въ такую ясность, а способности не развивались бы съ такою полнотой и правильностью, какъ это произошло теперь.*

*Знаешь, что было бы со мной теперь, еслибы я остался на свободѣ?.. Я почти увѣренъ, что я заигрался бы въ карты и ушелъ бы въ долги до послѣдней степени. Теперь я не думаю, чтобы я опять ударился въ картежную игру, теперь умственный трудъ, который тогда все-таки былъ трудомъ, сдѣлался для меня потребностью, привычкой и наслажденіемъ.*

*Съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ измѣнила Раиса, я возлюбилъ «Русское Слово» пуще всякой женщины. У меня работа замѣняетъ все: въ ней и любовь моя, и удовольствіе, и смыслъ, и цѣль жизни, и все какъ есть... Уродливое существо, мамаша, не правда ли?...»*

«Умственный демократизмъ Писарева очевидно развивался. Мало того—онъ нашелъ себѣ великое основаніе въ чувствѣ любви къ ближнему:

«Теперь къ моему характеру—пишетъ онъ 17 янв. 1865 года—присоединялась еще одна черта, которой въ немъ прежде не существовало. *Я началъ любить людей вообще, а прежде, и даже очень недавно, мнѣ до нихъ не было никакого дѣла.* Прежде я писалъ отчасти ради денегъ, отчасти для того, чтобы доставить себѣ удовольствіе; мнѣ пріятно было излагать мои мысли, и больше я ни о чемъ не думалъ и не хотѣлъ думать. А теперь мнѣ представляется часто, что мою статью читаетъ гдѣ-нибудь въ глуши очень молодой человѣкъ, который еще меньше моего жилъ на свѣтѣ и очень мало знаетъ, а между тѣмъ желалъ бы что-нибудь узнать. И вотъ, когда мнѣ представляется такой читатель, то мною овладѣваетъ самое горячее желаніе сдѣлать ему какъ можно больше пользы, наговорить ему какъ можно больше хорошихъ вещей, надавать ему всякихъ основательныхъ знаній и главное возбудить въ немъ охоту къ дѣльнымъ занятіямъ.

*«Это навѣрное отражается и въ изложеніи моихъ статей, и въ выборѣ ихъ сюжетовъ, и это придаетъ процессу работы особенную прелесть для меня самого. Работа перестаетъ быть дѣломъ одной мысли и начинаетъ удовлетворять потребности чувства»...*

Послѣ этихъ теплыхъ, истинно-писательскихъ словъ Писаревъ возвращается къ своей мечтѣ быть распространителемъ дѣльныхъ знаній среди публики. Онъ самъ для этого хочетъ учиться и учиться:

«Я съ самаго начала такъ повелъ свою жизнь, что мнѣ неудобно приниматься теперь самому за микроскопы и за анатомическій ножъ, но я перечитаю все, что есть замѣчательнаго по естествознанію, и, какъ диллетантъ, принесу много пользы распространеніемъ дѣльныхъ свѣдѣній посредствомъ журнальныхъ статей».

Этому идеалу тихой труженической жизни Писаревъ подыскиваетъ такую же тихую семейную обстановку:

«Литературныя занятія—пишетъ онъ матери—въ настоящее время не только могутъ прокормить человѣка, но даже могутъ составить ему обезпеченное состояніе. А я нахожусь въ особенно выгодномъ положеніи, потому что я первый содѣйствовалъ успѣху «Русскаго Слова» въ то время, когда еще этотъ журналъ былъ совершенно неизвѣстенъ. Издатель его въ твоемъ присутствіи предлагалъ взять меня въ долю, какъ только журналъ будетъ приносить барышъ *)... Все это я говорю для того, чтобы ты не осмѣлилась думать, что я, женившись, не буду въ состояніи осуществить нашихъ общихъ и самыхъ задушевныхъ

*) Одно изъ bon-mots Благосвѣтлова, которому Писаревъ по своей наивности вѣрилъ.

мечтаній о глубокой комнатѣ и о томъ большомъ креслѣ (напротивъ письменнаго стола), на которомъ будетъ сидѣть мамаша со свойственною ей важностью на лицѣ, съ разными спицами и вязаньями въ рукахъ и постоянною улыбкою на губахъ. Глубокая комната, большое кресло и всѣ аксессуары составляютъ самое основаніе моихъ плановъ о женитьбѣ. Это только одна изъ принадлежностей, какая можетъ быть и не быть, смотря по обстоятельствамъ. Но мнѣ кажется, что женитьба составляетъ для меня чистый разсчетъ, это вѣрное средство совершенно остепениться, сидѣть дома, много работать и отдыхать такъ, чтобы отдыхъ дѣйствительно освѣжалъ голову, вмѣсто того, чтобы еще болѣе отуманивать ее... Я не желалъ бы во второй разъ сдѣлать любовь къ женщинѣ высшимъ интересомъ моей жизни, но я думаю, что этого больше со мною и не случится. Но я знаю, что я способенъ быть очень хорошимъ мужемъ, т. е. я буду постоянно любить и уважать ту женщину, которая согласится быть моею женой и съумѣетъ хоть немного понять и полюбить меня. Ты знаешь, что я не требователенъ въ отношеніи къ моимъ друзьямъ и что со мной почти невозможно поссориться. Представь себѣ эти свойства моего характера въ семейной жизни и ты увидишь, что будущая жена моя будетъ очень счастливою женщиною. Еслибы даже она стала требовать отъ меня безусловной супружеской вѣрности, то и съ этой стороны я бы вполнѣ удовлетворилъ ее, по той простой причинѣ, что мнѣ некогда было бы измѣнять...

Надо замѣтить, что, сидя въ крѣпости, Писаревъ вообще довольно старательно обсуждалъ матримоніальные проэкты. Тишина и уныніе каземата много способствовали этому обстоятельству. У насъ сохранились даже нѣсколько писемъ его къ нѣкоей Лидіи Осиповнѣ, дѣвушкѣ, Писареву совершенно незнакомой, о которой онъ зналъ лишь изъ писемъ сестры и матери. Съ своей обычной поразительной наивностью Писаревъ предлагаетъ Лидіи Осиповнѣ руку и сердце, такъ сказать, заочно и покорнѣйше проситъ подождать его освобожденія. Ничего особенно страннаго въ этомъ обстоятельствѣ нѣтъ, такъ какъ казематъ несомнѣнно развилъ въ Писаревѣ нѣкоторую мечтательность, и мысль его сосредоточилась возлѣ бѣлокурой головки Лидіи Осиповны, тѣмъ болѣе, что мать и сестра въ каждомъ письмѣ своемъ напоминали ему о ней.

Письма Писарева къ Лидіи Осиповнѣ я привожу полностью, какъ въ нихъ онъ изложилъ свои взгляды на семейную жизнь и взаимныя отношенія жены и мужа.

Милостивая Государыня, Лидія Осиповна! Вы вѣроятно приняли мое предложеніе за глупую шутку, и теперь конечно забыли о немъ. А вѣдь это напрасно. Предложеніе мое не только очень серьезно, но даже благоразумно; и для насъ обоихъ, для васъ и для меня, было бы очень хорошо, еслибы вы обсудили его спокойно и основательно. Еслибы вы были также смѣлы, какъ и я, то-есть, еслибы вы приняли его немед-

лепно, то это было бы еще гораздо лучше. Но вы этого не сдѣлаете ни въ какомъ случаѣ; стало-быть, объ этомъ нечего и толковать. Я вамъ объясню здѣсь, почему я осмѣлился сдѣлать это предложеніе. Вы любите мою мать, вы дружны съ моею сестрою, онѣ обѣ души въ васъ не слышатъ. Этого было для меня достаточно; я заключилъ изъ этихъ данныхъ, вопервыхъ, что вы существо умное, и хорошее, а вовторыхъ, что вы бы сошлись со мною самымъ дружескимъ образомъ, еслибы мы съ вами увидѣлись. Видѣться намъ было невозможно, а между тѣмъ вы могли, отъ нечего дѣлать, отъ боязни упустить жизнь, выйти замужъ за какого-нибудь безцвѣтнаго господина, который бы устроилъ для васъ очень безцвѣтную жизнь. Такія вещи случаются на каждомъ шагу, и люди обыкновенно покоряются тому, что̀ они называютъ судьбою. Но я до смерти не люблю покоряться этой глупой судьбѣ, и всегда барахтаюсь до послѣдней возможности. Зачѣмъ, подумалъ я, эта умная и милая дѣвушка сдѣлается женою какого-нибудь олуха, когда она могла бы доставить этимъ много счастія мнѣ, человѣку умному и порядочному, который съумѣлъ бы сдѣлать ее также очень счастливою. Неужели вся эта чепуха произойдетъ только отъ того, что случайныя обстоятельства задерживаютъ меня въ столицѣ? Надо побѣдить эти обстоятельства. Чтобъ побѣдить ихъ, я сдѣлалъ вамъ предложеніе. Получивши его, вы должны были спросить у вашихъ друзей, т. е. у моей матери и сестры: «Способенъ ли онъ придумывать плоскія шутки?..» Онѣ отвѣчали бы вамъ: «нѣтъ». Затѣмъ надо было распросить ихъ обо мнѣ, т. е. о моемъ образѣ мыслей, о моемъ характерѣ, о моемъ положеніи. Впрочемъ, вы, по всей вѣроятности, все это знаете, такъ что вы могли бы сказать заочно, да или нѣтъ, почти также сознательно, какъ вы бы сказали это послѣ свиданія со мною. Вы скажете на это: «Почему я знаю, полюблю ли я васъ»? Да, мы вообще привыкли смотрѣть на любовь, какъ на что-то непостижимое, возникающее Богъ знаетъ почему; по правдѣ сказать, намъ до сихъ поръ больше и дѣлать было нечего, какъ размышлять о любви и заниматься любовью. Но мнѣ кажется любовь—вещь очень простая и естественная; когда даны условія любви—молодость, умъ, приличная наружность, тогда и любовь должна возникнуть и всегда возникаетъ. Я, напримѣръ, совершенно увѣренъ, что я васъ полюблю, и не вижу резона, почему бы вы меня не полюбили. Вы очень хороши собою, а я совсѣмъ не хорошъ. Но вопервыхъ, красивыхъ мужчинъ на свѣтѣ очень немного, а вовторыхъ, я не уродъ, у меня не пошлая физіономія, и, къ довершенію моей привлекательности, у меня съ нѣкоторыхъ поръ, сдѣлались очень умные глаза. Кромѣ того жизнь не можетъ быть наполнена любовными восторгами, и часто женщинѣ приходится скучать десятки лѣтъ съ тѣмъ мужчиною, который впродолженіи нѣсколькихъ недѣль былъ для нея предметомъ самой бѣшеной страсти. А со мною умная женщина не соскучится. Вы знаете мою мать и мою сестру; имъ никогда не бываетъ скучно со мной; Раиса также любила говорить и читать со мною, и часто увлекалась теченіемъ моихъ мыслей; а теперь она увлекалась бы еще смѣлѣе, потому что въ послѣдніе два года вся цѣль жизни совершенно выяснилась передъ моими глазами. Еслибы вы пожили мѣсяца два съ нами (съ mamam, съ Вѣрочкою и со мною), еслибы вы читали съ нами и слѣдили за процессомъ моей работы, то вы бы на

всю жизнь привязались къ тому свѣтлому и дѣльному существованію, которое открылось бы передъ вами. Я знаю, что вы очень умны; maman передавала мнѣ нѣкоторыя ваши разсужденія, и я вглядывался въ нихъ очень внимательно. Я вижу, что вы любите самостоятельность и умѣете цѣнить ее; у васъ много умственной смѣлости; въ дѣлѣ благочестія вы гораздо ближе подходите къ моей сестрѣ, чѣмъ къ моей матери. Ну, скажите пожалуйста, какъ же мнѣ не кусать себѣ локти отъ досады, что я не могу васъ видѣть и говорить съ вами; вѣдь это все золотыя свойства, вѣдь ими-то я и дорожилъ къ Раисѣ, и вдругъ такія сокровища достанутся какому-нибудь олуху, который и разглядѣть-то ихъ не съумѣетъ. Лидія Осиповна, да не губите же вы себя. Вамъ непремѣнно надо выйти за новаго человѣка. Вы себѣ представить не можете, какъ много счастья можетъ дать женщинѣ такая жизнь, въ которой она будетъ пользоваться полнѣйшею самостоятельностью, и въ которой всѣ ея умственныя силы будутъ развернуты и получатъ себѣ приложеніе. Не думайте пожалуйста, что я собираюсь сдѣлаться учителемъ моей супруги. Нѣтъ. Ея любознательность будетъ пробуждена вліяніемъ жизни, и я только буду для нея справочнымъ лексикономъ. Учить взрослаго человѣка очень скучно; но учиться вмѣстѣ съ другомъ или любимою женщиною,—это высшее наслажденіе; а учиться надо постоянно, потому что, кто перестаетъ итти впередъ, тотъ начинаетъ тупѣть. Чтобъ вамъ когда-нибудь пришлось смотрѣть снизу вверхъ,—это невозможно; вы умны, и я уменъ, стало быть тутъ, кромѣ равенства, не можетъ быть другихъ отношеній. Вы думали, что я до сихъ поръ люблю Раису! Да вѣдь нельзя же любить прошедшее, или пустое пространство. Я теперь люблю не ее, а тѣ недѣли, которыя составляютъ свѣтлое пятно моей жизни; я люблю тѣ ощущенія, которыя пережилъ вмѣстѣ съ нею. Но я не мечтатель, я люблю жизнь, и потому упорно стараюсь доставить или приготовить себѣ въ будущемъ тѣ ощущенія, которыя такъ дороги мнѣ по воспоминаніямъ. Та женщина, которая согласится освѣтить и согрѣть мою жизнь, получитъ отъ меня всю ту любовь, которую оттолкнула Раиса, бросившись на шею своему красивому орлу. Совѣтую вамъ попробовать; увѣряю васъ, что эта женщина не будетъ обманута. Если это письмо вамъ покажется черезъ-чуръ страннымъ, назовите меня съумасшедшимъ или дуракомъ. Во всякомъ случаѣ, оскорбительнаго въ этомъ письмѣ нѣтъ рѣшительно ничего, а съумасшедшимъ *меня называли не разъ*, и я этимъ никогда не обижался.

Получивъ на свое письмо «благоразумный» и «выжидательный» отвѣтъ, Писаревъ еще разъ писалъ по тому же адресу:

Милостивая Государыня, Лидія Осиповна! Я получилъ вашъ отвѣтъ, и если вы позволите выразить вамъ о немъ откровенно мое мнѣніе, то я вамъ скажу, что нахожу его вполнѣ благоразумнымъ. Другого отвѣта я и не ожидалъ, и еслибы я считалъ васъ за дѣвушку, способную броситься на шею къ совершенно незнакомому человѣку, то я бы никогда и не сдѣлалъ вамъ предложенія. Осмѣлился я написать къ вамъ не для того, чтобы получить ваше согласіе,—на что оно мнѣ въ настоящую минуту? Что̀ бы я съ нимъ сталъ дѣлать въ моемъ теперешнемъ положеніи? Я написалъ единственно для

того, чтобы заинтересовать васъ странностью этого поступка, и чтобы ваше возбужденное любопытство заставило васъ отложить на годъ или на полтора окончательное рѣшеніе вашей участи, то-есть, свадьбу съ какимъ-нибудь невеселымъ туземцемъ. Мое предложеніе было и навсегда останется дѣломъ совершенно серьезнымъ, но я заранѣе былъ увѣренъ, что получу отказъ, и заранѣе зналъ, что̀ я отвѣчу на этотъ отказъ. Отвѣчу я вотъ что: до поры до времени, Лидія Осиповна, будемъ добрыми друзьями; потомъ, когда увидимся, будемъ говорить долго, серьезно, но совершенно откровенно, какъ люди положительно собирающіеся заключить между собою очень важныя условія; а потомъ—что Богъ дастъ.—Вы не думайте пожалуйста, что я, плѣнившись разсказами maman и Вѣрочки, пылаю къ вамъ мечтательною страстью и воображаю васъ себѣ, какъ что-то необычайное. Ничуть не бывало. Никакой страсти я не чувствую и ничего необычайнаго я не ожидаю и не ищу. А думаю я просто, что вы—такая дѣвушка, которой не тяжело и не скучно будетъ жить со мною, которая сойдется какъ нельзя лучше съ моимъ семействомъ, и которая доставитъ мнѣ столько счастія, сколько всякій порядочный человѣкъ можетъ требовать себѣ въ жизни. Вы спросите, можетъ быть, почему я такъ думаю,—я перечислю тѣ свойства, которыя я вамъ приписываю, и вы увидите, что ни отъ одного изъ этихъ свойствъ вы не имѣете ни малѣйшей возможности отказаться. *Не дурна собою*—что же вы безобразны что ли? *Не глупа*—а на счетъ этого вы какъ думаете? *Сильное здоровье* —это въ моихъ глазахъ очень вѣрное преимущество. Безъ него счастіе въ жизни невозможно. Да и для будущихъ дѣтей это статья капитальная. *Не избалована роскошью.* Это тоже вѣрно. Еслибы мнѣ случилось жениться на дѣвушкѣ, которая требовала бы ежеминутно нарядовъ и свѣтскихъ удовольствій, то наша семейная жизнь пошла бы, разумѣется, ужасно скверно. *Имѣетъ понятіе* о практической жизни, то-есть, внесетъ въ наше семейство именно то, чего въ немъ не достаетъ; возьметъ въ свои руки министерство финансовъ и устроитъ въ домѣ порядокъ. Я, разумѣется, хочу имѣть не хозяйку, а жену, но если къ другимъ достоинствамъ присоединяется къ женщинѣ практическая расторопность, то я нахожу, что это совсѣмъ не лишнее. Раиса такая же неряха, какъ и я самъ; это конечно не помѣшало бы мнѣ жениться на ней, но наша соединенная неряшливость надѣлала бы намъ въ жизни много лишнихъ хлопотъ. Вотъ видите, Лидія Осиповна, еслибы я встрѣтилъ дѣвушку, которая имѣла бы перечисленныя выше свойства, и которая притомъ влюбилась бы въ меня, то я бы непремѣнно женился на ней, и отлично бы мы съ нею прожили свой вѣкъ, хотя, можетъ быть, страстной любви съ моей стороны и не было бы. Вотъ что необходимо для удобства жизни; если же имѣется что-нибудь сверхъ этого, то уже начинается настоящая страсть, живое наслажденіе, горячее счастіе жизни. Если намъ удастся полюбить другъ друга этою жгучею любовью, то вы увидите, что я совсѣмъ не холодный резонеръ; я съумѣю воспользоваться этимъ счастьемъ, если оно представится мнѣ съ вами или съ другою женщиною; но я знаю также, что это счастіе достается не всѣмъ; поэтому я съумѣю и обойтить безъ него, съумѣю, въ случаѣ надобности, наполнить жизнь трудомъ и спокойнымъ довольствомъ. Для семейной жизни необходимо прежде всего взаимное уваженіе, отсутствіе физи-

ческаго отвращенія. Если къ этому присоединяется бѣшеная взаимная любовь—превосходно; но это уже роскошь жизни, а не насущный хлѣбъ. Есть—хорошо; нѣтъ—не бѣда. Изъ всего, что я вамъ говорилъ, вы видите, что при свиданіи съ вами никакого разочарованія произойти не можетъ, потому что совсѣмъ не было и очарованія. Очарованіе, можетъ быть, *будетъ*, но будетъ или не будетъ—все равно: предложеніе мое сохраняетъ свою силу; только въ одномъ случаѣ вы будете для меня рѣдкимъ сокровищемъ, а въ другомъ случаѣ — добрымъ уважаемымъ другомъ. Весь вопросъ состоитъ стало-быть въ томъ—*понравлюсь ли я вамъ?* Это конечно вопросъ очень важный. Отъ него зависитъ все дѣло, и рѣшиться онъ можетъ только при свиданіи. Стало быть, поживемъ—увидимъ. Но я вамъ *даю честное слово:* какъ только выйду изъ своего теперешняго положенія, я непремѣнно тотчасъ поѣду туда, гдѣ вы въ то время будете находиться, и буду имѣть честь представиться вамъ. Мое предложеніе—дѣло серьезное, и я сдѣлаю все, что отъ меня зависитъ, чтобы показать вамъ, что я смотрю на него именно такимъ образомъ. А тамъ уже поступайте, какъ вамъ будетъ угодно. Но у васъ уже теперь есть противъ меня предубѣжденія: вопервыхъ, то, что̀ вы называете моею ученостью; вовторыхъ—Раиса. Вся моя ученость, Лидія Осиповна, состоитъ въ томъ, что я читаю книги на трехъ иностранныхъ языкахъ, и пишу хорошо и быстро по русски. Скажите на милость, чѣмъ это вамъ мѣшаетъ, и за что вы постоянно колете мнѣ глаза этою проклятою ученостью, которой у меня даже совсѣмъ нѣтъ?. Угодно вамъ послушать, какое вліяніе моя ученость будетъ имѣть на вашу жизнь, если вы сдѣлаетесь моею женою? Извольте: вопервыхъ, мы будемъ получать всѣ русскіе журналы, и многіе столичные будемъ прочитывать вмѣстѣ, потому что мнѣ необходимо для моихъ работъ слѣдить постоянно за русскою журналистикою. Во-вторыхъ, мы будемъ получать нѣсколько иностранныхъ газетъ и журналовъ; въ третьихъ, мы будемъ получать и просматривать множество новыхъ книгъ, русскихъ и иностранныхъ; въ четвертыхъ, мы будемъ водитъ знакомство съ людьми очень смирными, простыми, работящими и совершенно безцеремонными. Мамаша уже имѣетъ понятіе о такихъ людяхъ и уже полюбила ихъ, не смотря на несходство нѣкоторыхъ понятій. Въ пятыхъ, если Лидіи Осиповнѣ угодно будетъ разгадать себѣ какой-нибудь интересный для нея вопросъ, она обратится къ своему *умному* мужу, и мужъ скажетъ ей, въ какой книгѣ она можетъ найти разрѣшеніе своихъ сомнѣній. Въ шестыхъ, если той же Лидіи Осиповнѣ угодно будетъ познакомиться съ нѣмецкимъ или англійскимъ языкомъ, то при помощи своего *ученаго* мужа она одолѣетъ эти языки въ какіе-нибудь полтора года. А неугодно будетъ, такъ и необходимости нѣтъ никакой. На русскомъ и французскомъ написано и цостоянно пишется такъ много интересныхъ и хорошихъ вещей, что ихъ будетъ совершенно достаточно для нашего чтенія вдвоемъ. Ну, а въ седьмыхъ, Лидія Осиповна будетъ жить съ своимъ *ученымъ* мужемъ такъ, какъ вообще живутъ благоразумные люди, получающіе около 3,000 р. с. годового дохода. Никакой роскоши, но и никакихъ чувствительныхъ лишеній. Впрочемъ министерство финансовъ будетъ находиться въ рукахъ самой Лидіи Осиповны. Мой долгъ будетъ зарабатывать, а ея долгъ—сводить концы съ концами. Лидія Осиповна! я вполнѣ понимаю, почему васъ смущаетъ то, что̀ вы ошибочно счи-

таете моимъ умственнымъ превосходствомъ. Вы хотите быть во всѣхъ отношеніяхъ другомъ вашего будущаго мужа; вы хотите понимать весь смыслъ его дѣятельности, дѣлить съ нимъ каждую его мысль, каждую радость, каждое огорченіе. Я совершенно съ вами согласенъ и глубоко уважаю васъ за это желаніе; другъ мой, вы будете знать и понимать, все что я дѣлаю, все, что до меня касается: и отчего я встревоженъ, и отчего я веселъ, и надъ чѣмъ я задумался, и къ чему клонится вся моя забота; вы какъ честное, свѣжее и молодое существо, будете любить все, что я люблю, и ненавидѣть все, что я ненавижу. Для этого, другъ мой, не надо знать ни математики, ни астрономіи, ни физики; надо только, чтобы былъ у человѣка неиспорченный здравый смыслъ и твердый самостоятельный характеръ. Не осмѣлитесь же вы клеветать на себя, и говорить, что у васъ этихъ свойствъ нѣтъ? Вы увидите сами, достаточно будетъ двухъ-трехъ задушевныхъ разговоровъ для того, чтобы вы въ общихъ чертахъ поняли и полюбили все, что составляетъ смыслъ моей работы и цѣль всей моей жизни. И чѣмъ меньше вы до сихъ поръ слышали и читали модныхъ фразъ, тѣмъ глубже подѣйствуетъ на васъ слово искренняго убѣжденія. Фразеровъ обоего пола у насъ очень много; но я не фразеръ; въ этомъ меня не смѣютъ заподозрить даже мои литературные враги; поэтому и женою моею, то есть самымъ близкимъ моимъ другомъ, можетъ быть только существо глубоко искреннее, способное крѣпко любить ту мысль, которую она полюбитъ; а знанія — дѣло совершенно второстепенное, и пріобрѣсти ихъ совсѣмъ не мудрено, когда живемъ при такой обстановкѣ, которая со всѣхъ сторонъ шевелитъ любознательность. Теперь на счетъ Раисы. Съ каждымъ днемъ я сильнѣе убѣждаюсь въ томъ, что это—прошедшее, и что тутъ ничто не можетъ воротиться назадъ. Было, сплыло и быльемъ поросло. Представьте себѣ, что ея мужъ умеръ бы сегодня. Ничего бы изъ этого не вышло. Она сама не бросится ко мнѣ на шею, а я тоже не сдѣлаю къ ней ни одного шага, не по самолюбію, а потому, что теперь ужъ хлопотать-то не изъ чего. Теперь Раиса совсѣмъ не то, чѣмъ она была два года тому назадъ. Она начинаетъ превращаться въ развалину. Видѣлъ я ея карточку, читалъ ея письма. Не то, совсѣмъ не то. На карточкѣ, худая, больная, пожилая женщина; въ письмахъ — пустота, слабость, усталость. Увѣряю васъ, я нисколько не завидую Гарднеру, и рѣшительно не желаю быть на его мѣстѣ. Раиса сама писала въ прошломъ году, что ея нервное разстройство можетъ перейти въ падучую болѣзнь или въ сумасшествіе. Ей теперь 24 года. Она легко можетъ прожить еще двадцать или тридцать лѣтъ. Но вѣдь это не жизнь, а постоянное скрипѣніе. Гарднеръ—сильный и здоровый мужчина, красавецъ собою, долженъ превратиться въ сидѣлку и присутствовать постоянно при медленномъ разрушеніи той женщины, которую онъ любитъ. Скажите, пожалуйста, чему же тутъ завидовать? Вдумываясь въ положеніе Гарднера, я могу только благодарить Господа Бога за то, что эта чаша прошла мимо меня. А два года тому назадъ я подрался съ Гарднеромъ изъ-за этой чаши, подрался съ тѣмъ самымъ благодѣтелемъ, который отнималъ у меня эту чашу.

Вы знаете конечно, что даже мое теперешнее положеніе есть *послѣдній* результатъ моего тогдашняго бѣснованія. Но именно *послѣдній* результатъ. Теперь бѣснованіе кончено, и я сужу совершенно хладно-

кровно о прошедшемъ. Ясное доказательство, что это прошедшее дѣйствительно прошло. Не думайте, Лидія Осиповна, что я хочу оплевать тотъ кумиръ, передъ которымъ десять лѣтъ стоялъ на колѣняхъ; нѣтъ, это было бы очень грязно и подло. Развѣ она виновата въ томъ, что она слаба и больна? А между тѣмъ ея мужъ—все-таки несчастный человѣкъ вслѣдствіе ея болѣзни. Я бы могъ быть ея мужемъ, и я бы переносилъ это несчастіе твердо и терпѣливо, потому что ее стоитъ любить. Она милая, очень милая женщина; но все-таки несчастіе можно переносить, когда оно на васъ сваливается, а напрашиваться на очевидное несчастье, добиваться его всякими усиліями — это уже глупо. Раиса сама прогнала меня; скажите пожалуйста, зачѣмъ же я теперь-то, сталъ бы искать сближенія съ нею, даже въ томъ случаѣ, еслибы Гарднеръ умеръ. Нѣтъ, Лидія Осиповна, прошедшаго не воротишь, а теперь во мнѣ даже замерло желаніе воротить его. Все устроилось въ моей жизни чрезвычайно благополучно. Даже счастливыя воспоминанія моей молодой любви начинаютъ застилаться туманомъ. Я не умѣю жить въ прошедшемъ. Передо мною открыто будущее. Я молодъ и крѣпокъ. Я хочу и буду жить полною, здоровою жизнью мыслящаго и чувствующаго человѣка. Мнѣ нужна *дѣйствительность*, а не воспоминанія. Поэтому, если я только буду имѣть счастіе понравиться вамъ, любите смѣло. Я васъ не обману, и Раиса ничему не помѣшаетъ. Если даже мы когда-нибудь сойдемся опять съ Раисою, то мы будемъ только добрыми старыми друзьями, и вы сами полюбите ее, потому что она милая женщина. До свиданія; извините, что я въ одномъ мѣстѣ этого письма назвалъ васъ — *Другъ мой*. Это написалось какъ-то нечаянно, а вычеркивать не хочется. Впрочемъ обѣщаю вамъ, что на будущее время вы не встрѣтите въ моихъ письмахъ подобныхъ вольностей. Согласитесь однако, Лидія Осиповна, что тутъ нѣтъ ничего обиднаго. Обдумайте мое письмо и отвѣчайте на него попрежнему мамашѣ. До свиданія.

Но эти мечты разлетѣлись, какъ дымъ, послѣ того, какъ Раиса, вернувшаяся въ Петербургъ, пожелала свидѣться съ своимъ «хроническимъ женихомъ». Старая страсть вспыхнула, и притомъ въ такой необузданной формѣ, что Раиса испугалась — хотя она была дамой нетрусливаго десятка—и поспѣшила заявить, что какъ прежде, такъ и теперь, никакой надежды нѣтъ. Писаревъ отвѣчалъ ей на это письмомъ — однимъ изъ тѣхъ писемъ, въ которыхъ онъ съ такою яркостью умѣлъ характеризовать свое настроеніе.

«Mia cara»! Въ твоемъ послѣднемъ письмѣ ты очень остроумно сражаешься съ вѣтряными мельницами; никакого хроническаго жениха тебѣ не предстоитъ, и, чтобы совершенно успокоить тебя, даю тебѣ конституціонную хартію нашихъ будущихъ отношеній. Когда я буду вполнѣ располагать своими поступками тогда я предложу тебѣ письменно вопросъ: «желаешь ли ты меня видѣть или нѣтъ?» и если не отвѣтишь мнѣ просто и ясно, что «желаю», то и не увидишь меня. Если намъ придется увидѣться, то разумѣется о любви съ моей стороны не будетъ

и слова до тѣхъ поръ, пока ты сама этого не пожелаешь. На безбрачіе я себя не обрекаю, но намѣренъ жениться только тогда, когда совершенно ошалѣю отъ любви къ какому-нибудь субъекту, но теперь мнѣ этими пустяками заниматься некогда, во 1-хъ, потому что я—казенная собственность, во 2-хъ, потому что намъ даютъ карательную цензуру, которая наполняетъ теперь всѣ мои помыслы. Вообще же я думаю, что жизнь велика и что много чудныхъ перловъ скрыто въ ея глубинѣ. Попользоваться этими перлами я вовсе не прочь, но отыскивать ихъ не намѣренъ, потому что надо работать, а не шелопайствовать. Когда же нѣкій перлъ самъ влѣзетъ мнѣ въ руки, я его не выпущу. Довольны ли вы этимъ, злобствующая лэди Макбетъ и свирѣпая разрушительница вѣтряныхъ мельницъ? Если довольны, то не смѣйте говорить. что я добиваюсь пріятельскихъ отношеній съ вами. Я другъ вашего дѣтства и потому добиваться какихъ-то пріятельскихъ отношеній мнѣ совсѣмъ не къ лицу. Кромѣ того я ничего не намѣренъ отъ тебя добиваться. Довольно я поползалъ передъ тобой на колѣняхъ; наконецъ-то мнѣ это глупое занятіе надоѣло и съ этой минуты я поднимаюсь на ноги и выпрямляюсь во весь ростъ. Любить я тебя вѣроятно буду всегда, но добиваться—баста. Что дашь—спасибо, а просить не желаю... До свиданія»...

И это письмо дышетъ той же энергіей и бодростью убѣжденнаго работника. Но разумѣется минуты унынія находили и на Писарева, хотя онъ лишь вскользь и какъ-то неохотно упоминаетъ о нихъ. Особенно разумѣется тяготила та томительная неизвѣстность на счетъ дальнѣйшей своей судьбы, въ которой его продержали болѣе двухъ лѣтъ.

«Я—пишетъ онъ,—разумѣется ничего не знаю о ходѣ моего дѣла и о томъ, когда оно рѣшится, но думаю, что скоро. Вспомни, что мы въ сентябрѣ 62 г. ожидали его окончанія; вѣдь теперь прошло съ того времени около полугода. Трудно себѣ представить, чтобы дѣло могло продолжаться еще нѣсколько мѣсяцевъ. Да и неужели ты желала бы этого? Вѣдь я конечно не сомнѣваюсь въ томъ, что ты прежде всего желаешь, чтобы мнѣ было хорошо, чтобы со мной случилось именно то, что я самъ себѣ желаю. Ну, а я тебѣ скажу, что самое сильное мое желаніе въ настоящее время заключается въ томъ, чтобы дѣло рѣшилось какъ можно скорѣе. Какимъ бы строгимъ приговоромъ оно ни кончилось, во всякомъ случаѣ тотъ день, когда мнѣ объявятъ этотъ приговоръ, будетъ для меня днемъ величайшей радости. Я очень желалъ бы тебя видѣть и очень обрадовался бы тебѣ, но еслибы меня спросили, чего я больше желаю, чтобы ты пріѣхала или чтобы дѣло рѣшилось, то я, не задумываясь, скажу: чтобы дѣло рѣшилось... Я все такой же, какимъ ты меня видѣла въ прошломъ году, такъ же веселъ, такъ же спокоенъ и такъже хорошо мнѣ живется во всѣхъ отношеніяхъ; я не терзаюсь позывами нетерпѣнія, но когда я подумаю, что мнѣ можетъ быть скоро предстоитъ совершенная перемѣна жизни, то я чувствую такую сильную радость, что мнѣ даже не вѣрится, что это въ самомъ дѣлѣ возможно. Пойми ты меня, я человѣкъ полный жизни;

мнѣ необходимо, чтобы жизнь затрогивала меня съ разныхъ сторонъ, а между тѣмъ жизнь моя полтора года тому назадъ остановилась и замерзла въ одномъ положеніи. Сначала самая остановка эта, самый застой жизни былъ для меня новымъ и очень сильнымъ впечатлѣніемъ, но теперь я уже извлекъ изъ этого новаго положенія все, что можно было извлечь. Я развился и окрѣпъ въ моемъ уединеніи и теперь я чувствую, что мнѣ было бы очень полезно и пріятно перейти въ какую-нибудь новую сферу жизни. Я залежался на одномъ мѣстѣ и потому буду чрезвычайно радъ, когда меня куда-нибудь сдвинутъ. Куда—я объ этомъ не спрашиваю. Я ко всему съумѣю привыкнуть и всегда найду возможность быть спокойнымъ и довольнымъ.

Стало-быть, другъ мой, если ты встанешь на мою точку зрѣнія, то ты не только не будешь бояться близости рѣшенія, а, напротивъ того, ты будешь желать, чтобы рѣшеніе состоялось какъ можно скорѣе. Передъ тобой и передо мною стоитъ чаша съ довольно горькимъ напиткомъ; мы вотъ уже полтора года все собираемся выпить это питье и все морщимся въ ожиданіи непріятнаго ощущенія, а чашка все-таки полна и отъ того, что мы долго разбираемся въ ней, не убавляется ни одной капли жидкости, и самая жидкость вовсе не становится вкуснѣе. Стало-быть, чѣмъ скорѣе мы возьмемъ чашку въ руки и начнемъ пить, тѣмъ лучше будетъ и для тебя, и для меня—я-то уже давно въ этомъ убѣдился и съ самаго начала желаю только, чтобы въ меня поскорѣе влили эту микстуру. Ужь такое я питье мудреное устроилъ, что никакъ отъ него не отвертишься».

Надо замѣтить, что, когда приговоръ былъ объявленъ, минуты унынія почти совершенно уже не находили на Писарева. Особенной бодростью отличаются его письма отъ 1864—65 годовъ, т. е. 3-го и 4-го года заключенія. Впрочемъ некогда было и тосковать. Этотъ двухлѣтній періодъ—самый плодотворный изъ всей литературной дѣятельности Писарева. Втеченіи одного только 65-го года Писаревымъ были написаны 50 печатныхъ листовъ и притомъ какихъ! Статья «Посмотримъ» можетъ служить образцомъ русской полемической литературы;—въ ней одной больше ума, чѣмъ во всѣхъ писаніяхъ многочисленныхъ противниковъ Писарева, почему тѣ очень благоразумно поступаютъ, что никогда не говорятъ о ней. Имъ бы пришлось въ такомъ случаѣ считаться съ міросозерцаніемъ, не устарѣвшимъ и въ наши дни, міросозерцаніемъ, положившимъ камнемъ сво имъ краеугольнымъ трудовое начало и великолѣпныя слова:

«Конечная же цѣль всего нашего мышленія и всей дѣятельности каждаго честнаго человѣка состоитъ все-таки въ томъ, чтобы разрѣшить навсегда неизбѣжный вопросъ о голодныхъ и раздѣтыхъ людяхъ; внѣ этого вопроса нѣтъ ничего, о чемъ бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать».

Не буду упоминать о многочисленныхъ популяризаціяхъ, относящихся къ этому періоду высшаго подъема Писаревсаго духа и таланта, — популяризаціяхъ, одушевленныхъ высокимъ желаніемъ создать въ Россіи реально-мыслящую дѣятельную интеллигенцію, которая могла бы навѣки явиться оплотомъ развитія нашей бѣдной родины.

Здѣсь въ крѣпости Писаревъ впервые позналъ славу. Объ этомъ несомнѣнно свидѣтельствовали постоянныя нападки безчисленныхъ враговъ его.... Стоило ему сказать слово, чтобы отовсюду поднялась брань, споръ, крики негодованія, нотаціи и т. д. Почти каждая его статья была тѣмъ первымъ выстрѣломъ, которымъ начинается обыкновенно сраженіе. И въ этой борьбѣ, лихорадочной работѣ, безпрерывной ожесточенной полемикѣ росъ талантъ Писарева и крѣпли его убѣжденія. Глубже и глубже присматривался онъ къ жизни и, отрѣшаясь постепенно отъ юношескихъ увлеченій, увидѣлъ наконецъ на днѣ жизни великую и основную проблему нашихъ дней: голоднаго и холоднаго.

Слава (несомнѣнная и очевидная) радовала Писарева. Какъ это ни странно, но есть люди, которые боятся успѣха, какъ есть другіе, боящіеся свѣта солнца, или свободнаго пространства. Для человѣка съ больною душой успѣхъ представляется чѣмъ-то пугающимъ, страшнымъ, какъ любовь молодой дѣвушки, влекущая за собой столько трудныхъ и страшныхъ обязательствъ. Но Писаревъ былъ не изъ такихъ. Слава окрыляла его, здоровье позволяло работать «во всю», какъ онъ любилъ выражаться, и расположеніе его духа почти неизмѣнно оставалось бодрымъ и приподнятымъ.

Незначительныя огорченія доставлялъ лишь Благосвѣтловъ, который то дулся, то капризничалъ, то уже слишкомъ ухаживалъ. Кто повѣритъ, что Писареву на вершинѣ его славы приходилось писать такія напр. письма своему патрону изъ крѣпости:

«Григорій Евлампович. Твое послѣднее письмо страдаетъ крайней неопредѣленностью выраженій, и потому я прошу тебя дополнить его нѣкоторыми комментаріями. Ты пишешь: «на будущее же время ты можешь предлагать «Русскому Слову» какія угодно условія, а я буду принимать или отвергать ихъ, смотря по нравственной деликатности нашихъ отношеній и по моей возможности, но *прошу меня уволить одинъ разъ и навсегда отъ всякихъ полицейскихъ ревизій*». Я съ своей стороны никакихъ новыхъ условій предлагать «Русскому Слову» не намѣренъ; старыя же наши условія состоятъ въ томъ, что я получаю 50 р. за печатный листъ и кромѣ того *четвертую долю* барышей, когда они окажутся въ наличности. Если ты этими существующими условіями недоволенъ, то это уже твое дѣло предлагать мнѣ новыя условія и мое

дѣло принимать или не принимать ихъ. Поэтому прошу тебя или формулировать новыя условія, или объявить мнѣ, что мы остаемся при старыхъ. Я полагаю, что наши отношенія основывались до сихъ поръ и должны основываться не на нравственной деликатности, а на нашей взаимной выгодѣ. Мнѣ выгодно работать за извѣстную плату въ извѣстномъ журналѣ, а издателю выгодно печатать мои работы, нравственная деликатность тутъ ни при чемъ. Что же касается до твоей просьбы отъ увольненія тебя отъ полицейскихъ ревизій, то я безъ малѣйшаго труда могу ее исполнить, по той простой причинѣ, что я до настоящей минуты подобныхъ ревизій не производилъ. Если же ты подразумѣваешь, что я посылалъ въ твою квартиру полисмэновъ и личностей искусныхъ въ подсматриваніи, то мнѣ остается только пожалѣть о томъ, что ты разбрасываешь въ частной перепискѣ такія полемическія драгоцѣнности, которыя слѣдуетъ приберегать для печати.—Что никто не можетъ удерживать меня въ «Русскомъ Словѣ», это я прекрасно знаю и безъ твоихъ поясненій, но что я не имѣю ни малѣйшаго желанія отходить отъ такого журнала, которому въ продолженіе четырехъ лѣтъ были посвящены всѣ мои умственныя силы и который отчасти обязанъ своимъ успѣхомъ моимъ работамъ, это, я думаю, ты понимаешь очень хорошо и безъ моихъ объясненій. Отойти теперь отъ «Русскаго Слова» значило бы отказаться отъ жатвы съ того поля, которое я вспахалъ и засѣялъ вмѣстѣ съ тобою и другими нашими сотрудниками. Если твоя нравственная деликатность не возмущается подобными предложеніями, то я думаю, что на такой нравственной деликатности мудрено строить какія бы то ни было прочныя отношенія.

«Поэтому я и предлагаю тебѣ для фундамента этихъ отношеній, вмѣсто нравственной деликатности, взаимную выгоду, что̀ совершенно согласно съ нашею общею теоріей послѣдовательной утилитарности и систематическаго эгоизма.—Наше объясненіе, происходившее 4-го августа, произвело между нами нѣкоторую холодность; если бы отношенія наши были основаны на нравственой деликатности, то эта возрастающая холодность легко могла бы привести за собою разрывъ, что, во всякомъ случаѣ, было бы съ нашей стороны непростительною глупостью и даже нарушеніемъ нашихъ общественныхъ обязанностей. Но такъ какъ намъ обоимъ не выгодно расходиться, то я надѣюсь, что мы не разойдемся. Любить другъ друга мы, можетъ быть, совсѣмъ не будемъ, но это взаимное любленіе ни на что не нужно. Ты попрежнему будешь отыскивать и доставлять мнѣ какъ можно больше хорошихъ книгъ, для того, чтобы я писалъ въ твой журналъ занимательныя статьи; а я попрежнему буду писать какъ можно лучше. (5 авг. 1865 г.).

Писаревъ къ этому времени, какъ видитъ читатель, уже настолько раскусилъ Благосвѣтлова, что не желалъ съ его стороны ни деликатности, ни возвышенной подкладки для отношеній вообще. Онъ любилъ не Благосвѣтлова, а журналистику и прежде всего «Русское Слово», въ любви которому онъ то и дѣло объясняется въ

письмахъ къ матери. Успѣхъ журнала радуетъ его и безпокоитъ. Онъ пишетъ напр. тому же Благосвѣтлову:

«Правда ли, что у насъ всего 1700 подписчиковъ? Если правда, *то не поторопился ли ты прибавить мнѣ по десяти рублей за листъ?* Если эта прибавка обременительна, то я готовъ отъ нея отступиться. Но разумѣется, ты примешь мою жертву только въ томъ случаѣ, если она необходима для существованія журнала».

Въ томъ же письмѣ Писаревъ, нисколько не жалѣя своихъ молодыхъ силъ, предлагаетъ писать по двѣ статьи въ мѣсяцъ. И— надо себѣ вообразить!—на такія-то строки и чувства Благосвѣтловъ имѣлъ грубость и пошлость отвѣтомъ: «прошу избавить меня отъ полицейскаго надзора»!!...

Наконецъ 18 ноября 1866 г. Писаревъ былъ освобожденъ, просидѣвши въ крѣпости 4 года 4 мѣсяца и 15 дней. Ко времени пребыванія Писарева въ крѣпости относится небольшое воспоминаніе Н. Шелгунова, которымъ я и позволю себѣ закончить эту главу: «Въ 1863 г. разсказываетъ Н. Шелгуновъ, когда я находился въ алексѣевскомъ равелинѣ, я узналъ отъ Полисадова (бывшаго тогда протоіереемъ Петропавловскаго собора), что Писаревъ находится тоже въ заключеніи. И къ Писареву, и ко мнѣ отецъ Полисадовъ проявлялъ большое вниманіе и часто къ намъ заходилъ. Писаревъ не довѣрялъ Полисадову и приписывалъ его посѣщенія причинамъ, которыхъ нельзя было бы оправдать, если бы Писаревъ не ошибался. Полисадовъ былъ въ этомъ отношеніи внѣ всякихъ подозрѣній и держалъ себя умно, съ тактомъ и осторожно. По крайней мѣрѣ такимъ я его помню. Отъ Полисадова я зналъ, что Писаревъ находился постоянно въ сильно-возбужденномъ состояніи. Былъ даже такой случай. Раздражившись на Полисадова, Писаревъ выгналъ его изъ своей камеры и бросилъ за нимъ по корридору книгой. Полисадовъ отзывался о Писаревѣ съ глубокимъ уваженіемъ и сочувствіемъ и видимо старался облегчить ему его одиночество», за что ему, разумѣется, большое спасибо.

* * *

Къ четвертому и пятому году заключенія Писарева въ крѣпости относится еще одинъ фактъ, на которомъ надо остановиться. Извѣстность молодаго критика къ этому времени была настолько велика, что оказалось возможнымъ приступить къ полному собранію его сочиненій, за исключеніемъ статей, печатавшихся въ «Разсвѣтѣ»,

и кандидатской диссертаціи объ Аполлоніи Тіонскомъ, появившейся въ «Русскомъ Словѣ», статьи «Посмотримъ» оттуда-же и кое-какихъ мелкихъ библіографическихъ замѣтокъ. Для Писарева изданіе это имѣло значеніе не малое. Во-первыхъ, оно значительно поправляло его финансы, никогда не находившіеся въ блестящемъ состояніи, а теперь, т. е. въ 1866 году послѣ пріостановленія «Русскаго Слова»—и совсѣмъ плохіе. Во-вторыхъ, оно должно было значительно его ободрить, льстя вполнѣ законному самолюбію. Полное собраніе сочиненій является обыкновенно какъ бы вѣнцомъ литературной дѣятельности, свидѣтельствуетъ о несомнѣнномъ успѣхѣ, пожалуй славѣ и рѣдко кому выпадаетъ на долю въ 26 лѣтъ и всего послѣ пяти лѣтъ работы. А слава и успѣхъ—вещи такія, какими никогда пренебрегать не слѣдуетъ, да строго говоря, никто никогда ими и не пренебрегалъ. Дѣло разумѣется много зависитъ отъ того, какимъ путемъ пріобрѣтены слава и успѣхъ, но въ этомъ отношеніи Писаревъ могъ быть совершенно спокоенъ и безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти предаться вполнѣ законной радости. Онъ это и сдѣлалъ. Получивши отъ Ф. Павленкова предложеніе на изданіе, онъ писалъ матери по обыкновенію въ своей полушутливой формѣ. «Ну вотъ, мама, ты все не вѣрила, что твой непокорный сынъ можетъ сдѣлать кое-что и хорошаго, такого по крайней мѣрѣ, что̀ бы люди очень цѣнили и чѣмъ бы они очень дорожили. Анъ вышло, что ты ошибалась, да еще какъ! Гдѣ это видано, чтобы издавалось полное (замѣть, maman, полное, а не «избранныя» и пр.) собраніе сочиненій живого, а не мертваго русскаго критика и публициста, которому всего 26 лѣтъ и котораго г. Антоновичъ считаетъ неумнымъ, Катковъ—вреднымъ, Николай Соловьевъ антихристомъ и пр. Признаюсь, мнѣ это пріятно, что меня издаютъ, да еще деньги за это платятъ, которыя намъ теперь совсѣмъ нелишнія. Заживемъ, мамаша, заживемъ, да еще какъ. Предчувствую, что еще нѣсколько лѣтъ работы и я такъ высоко заберусь на литературный парнасъ, что ты и Вѣрочка и Катя станете звать меня не Митей уже, а Дмитріемъ Ивановичемъ, а я благосклонно разрѣшу всѣмъ вамъ сохранять прежнее мое наименованіе. Итакъ—успѣхъ. Повторяю, я радъ и вотъ еще почему. Вообще я человѣкъ очень самоувѣренный и себѣ цѣну знаю, но, несмотря на всю мою самоувѣренность, я все же чувствую потребность провѣрить свои заслуги оцѣнкой другихъ. Слава—это признаніе въ тебѣ обществомъ силы, дарованія, полезности. И потому я радъ вдвойнѣ».

1-я часть полнаго собранія благополучно вышла въ свѣтъ въ 1866 г., но со второй случился инцидентъ и она наскочила на цен-

зурный камень. Въ этой второй части были перепечатаны изъ «Русскаго Слова» статьи «Русскій Донъ-Кихотъ и Бѣдная русская мысль.» Хотя и «Русскій Донъ-Кихотъ», и «Бѣдная русская мысль» были разрѣшены въ 1862-мъ году предварительной цензурой, новыя вѣянія 1866 года заставили цензуру отнестись къ нимъ со всею строгостью и привлечь къ суду издателя.

При жизни Писарева все-же вышли въ свѣтъ 8 частей, 9-я и 10-я были уже посмертными.

---

## IX.

Міросозерцаніе Писарева.—Эмансипація личности.—Утилитаризмъ. «Реалисты».—Принципъ экономіи силъ.—Любовь, трудъ, знаніе.—Разладъ съ «Современникомъ».—Отношеніе Писарева къ народу.—Педагогическіе взгляды Писарева.—Писаревъ какъ критикъ.

Выступая сотрудникомъ «Русскаго Слова», Писаревъ былъ твердо убѣжденъ лишь въ одномъ догматѣ будущаго своего міросозерцанія. Этимъ догматомъ была эмансипація личности путемъ настойчивой работы ума и критической мысли. Несмотря ни на что, ни на семейныя связи, ни на общественные приличія и обычаи, ни на предразсудки, которые быть можетъ и даже навѣрное дороги ей, какъ воспоминанія дѣтства, какъ совѣтъ и убѣжденія близкихъ людей, личность должна выработать свою собственную свободу и самостоятельность, свою физіономію и смѣло предстать съ нею передъ лицомъ всего міра. На что же можетъ опереться эта эмансипированная личность? Такъ или иначе ей придется утерять многое, что прежде поддерживало ее, — утерять наивность своихъ вѣрованій, такъ содѣйствующихъ спокойствію духа, утерять привязанность и выйти изъ теплаго дома традиціи, приличій, повиновенія—на бурю и непогоду самостоятельной жизни. Для такого подвига нуженъ стимулъ, нуженъ мотивъ достаточно сильный, чтобы предпочесть свободу и одиночество, борьбу и усилія уютной обстановкѣ родительскаго и прародительскаго дома. Гдѣ же найти этотъ стимулъ? Писаревъ отвѣчаетъ на это очень обстоятельно:

Въ работѣ критической мысли.

Въ наслажденіи самостоятельностью.

Въ наслажденіи развитіемъ.

«Всѣ ищутъ счастья, но истинное счастье человѣкъ можетъ найти лишь тогда, когда станетъ самимъ собой, когда найдетъ возможность свободно проявлять свои мысли и чувства и опредѣлитъ влеченія своей природы».

Стимуломъ является счастье, наслажденіе. Но *какое* счастье, *какое* наслажденіе? На этотъ пунктъ писаревской доктрины до сихъ поръ не достаточно обращали вниманія. Правда, философски онъ не разработалъ его и, какъ въ большей части случаевъ, говорилъ отъ себя, опираясь на собственный личный опытъ. Разумѣется, онъ началъ съ самаго элементарнаго и энергично включалъ въ область наслажденія все, что доставляетъ человѣку пріятныя эмоціи, все что неотразимо влечетъ его къ себѣ, все, чѣмъ обладаніе доставляетъ физическое или нравственное удовлетвореніе. «Fais ce qui voudras» — говорилъ онъ въ сущности и лишь въ свободѣ другихъ видѣлъ ограниченіе личности. Замѣтимъ кстати, что въ этомъ періодѣ наиболѣе истиннымъ опредѣленіемъ государства онъ считалъ «охранительное учрежденіе, избавляющее отдѣльную личность отъ оскорбленій и нападковъ со стороны внѣшнихъ и внутреннихъ враговъ».

«Будь самимъ собою», живи въ собственное свое удовольствіе и не обращай вниманія на то, что говоритъ о тебѣ общество.

«Тѣ условія,—пишетъ Писаревъ, — при которыхъ живетъ масса нашего общества, такъ неестественны и нелѣпы, что человѣкъ, желающій прожить дѣльно и пріятно, долженъ совершенно оторваться отъ нихъ. Это возможно, такъ какъ если вы однажды навсегда рѣшитесь махнуть рукой на пресловутое общественное мнѣніе, какое слагается у насъ изъ очень неблаговидныхъ матеріаловъ, то васъ право скоро оставятъ въ покоѣ; сначала потолкуютъ, подивятся, или даже ужаснутся, но потомъ, видя, что вы не обращаете вниманія и что эксцентричности вашя идутъ своимъ чередомъ, публика перестанетъ вами заниматься»...

Передъ личностью открываются завлекательныя перспективы, она можетъ любить, вѣрить, ненавидѣть, страдать и наслаждаться не съ чужого голоса, не съ точки зрѣнія общепринятаго и общепри-

знаннаго, а опираясь на истинный источникъ всякой радости и счастья—на влеченія собственной натуры. Осуществится, скажемъ мы отъ себя, тотъ идеалъ, о которомъ когда-то мечтали Эпикуръ, Раблэ, Фурье, Морелли, изъ жизни исчезнетъ идея обязательства и долга, такъ какъ нѣтъ истины въ нихъ, такъ какъ, ломая себя, подчиняя свое влеченіе внѣшнему началу, человѣкъ по необходимости лжетъ передъ великимъ судьей—своей природой, своей неотразимой потребностью свободно любить, свободно вѣрить.

«Человѣкъ, говоритъ Писаревъ, дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее въ своемъ ребенкѣ, начиная съ той минуты, когда ребенокъ почувствуетъ свое «я» и отдѣлитъ себя отъ окружающаго міра. Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи; когда она глубоко проникнетъ въ сознаніе каждаго взрослаго недѣлимаго, всякое принужденіе, всякое насилованіе воли ребенка, всякая ломка его характера сдѣлаются невозможными, мы поймемъ тогда, что формировать характеръ ребенка — нелѣпая претензія; мы поймемъ, что дѣло воспитателя—заботиться о матеріальной безопасности ребенка и доставлять его мысли матеріалы для переработки; кто старается сдѣлать больше, тотъ посягаетъ на чужую свободу и воздвигаетъ на чужой землѣ зданіе, которое хозяинъ непремѣнно разрушитъ, какъ только вступитъ во владѣніе. Когда мы поймемъ все это? не знаю»...

Тотъ же вопросъ Писаревъ смѣло могъ бы повторить и въ настоящее время. Цѣнность ярко выраженной индивидуальности понимаютъ отдѣльныя единицы, громадное же большинство торопится слиться съ массовымъ началомъ и дурно или хорошо провести жизнь подъ его прикрытіемъ. Оставляя въ сторонѣ причины, мы можемъ признать, что однимъ изъ самыхъ яркихъ явленій въ жизни личности нашихъ дней является боязнь самой себя, иногда совершенно основательный, а подчасъ и совершенно ребяческій страхъ передъ своей мыслью, своей вѣрой и убѣжденіемъ, дажей любовью. Обращусь для подкрѣпленія своего взляда къ Глѣбу Успенскому. Всякій знаетъ, что этотъ талантливый писатель далеко не въ восторгѣ отъ современности и постоянно жалуется на нее. Онъ жалуется на многое, но среди его жалобъ особенно рѣзко и настойчиво звучитъ одна — это жалоба на обездушеніе, на обезличеніе, какъ на главнѣйшій результатъ воздѣйствія нашей жизни на человѣка. Въ какихъ комическихъ по формѣ и грустныхъ по существу проявляются порою у героевъ Успенскаго желанія быть *собою*, хоть что-нибудь сдѣлать по своему, хоть чѣмъ-нибудь да проявить *себя*. Припомните напр. мѣщанина, убѣжавшаго на берегъ рѣки отъ самодурства «мамынки».

«Мѣщанинъ снялъ сапогъ, сталъ его разсматривать, стучать по нему кулакомъ и бормотать: «что же... Ничего! Возьму вотъ сыму... сапогъ... д-да! а потомъ надѣну... Ничего? И другой сыму... И над-дѣну... И преотлично! Плевать мнѣ на»... Бѣдняга утѣшается своей свободой въ дѣлѣ надѣванія и сыманія сапога, а любви своей не съумѣлъ и не смѣлъ отстоять! Припомните лѣнтяя того же Успенскаго, къ которому, еще совсѣмъ мальчику, шло столько бородатаго народа, потому, что у мальчика было что-то *свое* за душой... Но вотъ мѣсто гдѣ Успенскій словами старика изъ «Заячьей совѣсти» особенно полно высказываетъ свои мысли: «Сердца въ людяхъ нѣтъ—сказалъ старикъ—вотъ нынѣшнее поколѣніе. Можетъ ли онъ быть гнѣвенъ или можетъ быть онъ добръ?.. Нѣту!.. Плюнь ему въ рожу—у него рука не осмѣлится на оплеуху... Понадѣйся на него—не выручитъ»... Но хорошо ли по крайней мѣрѣ самому этому обездушенному герою современности?—можетъ ли онъ по крайней мѣрѣ для себя разсчитывать на здоровую человѣческую жизнь? «Нѣтъ, ангелъ мой, продолжаетъ тотъ же старикъ, не получишь ты развлеченія настоящаго, потому что сердце твое неправильное; направленіе-то въ немъ заячье... Оно говоритъ: «жалѣй»—а ты боишься,—оно говоритъ: «не стерпи, возопи» — а ты опять боишся, ну и стало быть неопрятно у тебя на сердцѣ-то... И идетъ по землѣ не жизнь, а такъ гнилье грибное».

Впрочемъ, увеличивать цитаты изъ Успенскаго безполезно; ежеминутно возвращается онъ къ своей излюбленной мысли, ежеминутно скорбитъ, что человѣка-то въ жизни нѣтъ. Та же тоска о человѣкѣ—сущность поэзіи Гаршина, источникъ негодованія Щедрина. И вѣдь на самомъ дѣлѣ есть о чемъ тосковать, изъ-за чего негодовать. Съ заячьей душой, съ боязнью самого себя, своего чувства и мысли не уйдетъ далеко никто. Его наука—разъ онъ человѣкъ науки—не двинется за цитаты изъ первоисточниковъ и установленіе хронологическихъ датъ;—его искусство ограничится «реалистическимъ» изображеніемъ телеграфныхъ столбовъ, его любовь исчезнетъ и расплывется въ страхѣ передъ семьей и семейными заботами, его дружба не выдержитъ ни одного испытанія—да и способенъ ли онъ еще на настоящую любовь и дружбу, вмѣсто которыхъ давно уже изобрѣтено столько развратныхъ фальсификацій... Человѣкомъ будь! училъ Писаревъ... а развѣ не въ этомъ разгадка бытія?..

---

Итакъ, прежде всего передъ нами: 1) *Идея эмансипаціи личности.*

Переходимъ къ другой: 2) *Идея утилитаризма*, за которую, кстати замѣтить, Писареву достается теперь больше, чѣмъ за что-нибудь другое. Откуда появилась она у него?

«Вѣдь если бы,—говоритъ А. М. Скабичевскій,—Писаревъ захотѣлъ проводить свою теорію до конца и быть послѣдовательнымъ ей, то онъ долженъ бы оправдать и чистое искусство, и научное педантство, противъ которыхъ въ то время самъ ратовалъ... Это будетъ показывать только, что у одного одни естественныя влеченія, у другого—другія, у третьяго—третьи»...

Разумѣется, такъ оно и должно бы случиться, но Писаревъ очень скоро сталъ самымъ горячимъ и убѣжденнымъ пропагандистомъ идеи пользы. Первое время онъ хваталъ даже черезъ край въ этомъ отношеніи, въ чемъ и отдаемъ ему полную справедливость. Многое, очень многое потянуло Писарева къ «пользѣ», т. е. самой презрѣнной пользѣ, которая, по мнѣнію одного современнаго молодого писателя, «омрачила столько умовъ». Омрачился ею и Писаревъ. Прежде всего, надо замѣтить, что, начавши работать въ «Русскомъ Словѣ», онъ попалъ въ компанію искреннихъ утилитаріанцевъ, какъ напр. Зайцева, Соколова и т. д. Plus royalistes que le roi, эти господа носились съ «пользой», какъ съ писаной торбой, ежеминутно утрируя вполнѣ вѣрную идею Милля. Но Писаревъ пошелъ и въ этомъ случаѣ своей дорогой, и если утилитаріанцы «Русскаго Слова» оказывали на него вліяніе, то развѣ на первыхъ порахъ. Затѣмъ онъ ознакомился за это время болѣе близко съ произведеніями Добролюбова и Чернышевскаго. Уже во второй половинѣ своей статьи «Схоластика XIX вѣка» Писаревъ очень почтительно отзывается о Чернышевскомъ, а впослѣдствіи написалъ о его произведеніяхъ двѣ глубоко сочувственныя статьи: «Мыслящій пролетаріатъ» и «Разрушеніе эстетики».

Мнѣ кажется, что и самая журнальная работа должна была приблизить Писарева къ точкѣ зрѣнія «общеполезнаго», хотя на первыхъ порахъ онъ и открещивался отъ нея, если не въ статьяхъ, то по крайней мѣрѣ въ разговорахъ и письмахъ. Еще въ 61 и 62-мъ годахъ Писаревъ откровенно изъяснялъ, что гражданскіе подвиги и идея добра, «пользы» его рѣшительно не вдохновляютъ. Почему?—по той простой причинѣ, что гражданскіе подвиги и служеніе идеѣ добра, разъ нѣтъ къ тому спеціальнаго влеченія природы, являются своего рода рабствомъ, по меньшей мѣрѣ крѣпостнымъ состояніемъ.

Но Писаревъ принялся за постоянное сотрудничество и видѣлъ, что статьи его пользуются успѣхомъ. Какъ же смотрѣть на литературную дѣятельность и на назначеніе литературы? Вотъ этотъ вопросъ долженъ былъ встать передъ его яснымъ и проницательнымъ умомъ во всей своей наготѣ и откровенности. Другое дѣло, будь у него чисто художественный талантъ, онъ бы могъ еще спрятаться за ширмы «творчества», «божественнаго глагола» и т. д. Но публицисту это сдѣлать совсѣмъ не легко. Натура же прямо толкала Писарева на публицистическую дѣятельность. Одинъ, два опыта въ области беллетристики прекрасно доказали ему, что тутъ даже г-жа Попова—увы! уже забытая писательница душераздирательныхъ, преисполненныхъ гражданскою скорбью и «эмансипаціей женщинъ» повѣстей,—куда выше его, такъ какъ она все же умѣла связать начало съ концомъ, запутать и распутать интригу и хотя и суздальскими штрихами, но все же рисовала характеры. А Писаревъ этого не умѣлъ. Начатая имъ незадолго до поступленія въ больницу Штейна повѣсть благополучно прекратилась на третьей главѣ, такъ какъ Писаревъ никакъ не могъ выбраться изъ отвлеченныхъ разсужденій и «заставить своихъ персонажей ходить, сидѣть, цѣловаться». Умъ его былъ слишкомъ аналитическій, воображеніе—слишкомъ слабое. Публицистическая критика—вотъ его настоящее призваніе; но, спрашивается, что же это за публицистъ, который бы такъ или иначе, въ той или другой формѣ не держался идеи общественной пользы? Это что-то совершенно особенное, несообразное, вродѣ художника, отрицающаго цвѣта и краски, или музыканта, не признающаго тона. «Литература полезна»—это Писаревъ твердо зналъ и твердо вѣрилъ, но разумѣется это ужъ его дѣло рѣшать, какъ и въ какомъ смыслѣ она можетъ быть полезной *).

Невозможно наконецъ предположить, чтобы такая чуткая и впечатлительная натура, какъ Писаревъ, проходила мимо очевидныхъ явленій своего времени съ равнодушіемъ глухо-нѣмого или заядлаго теоретика. Его упрекаютъ даже за излишнюю чуткость, и какъ же могъ онъ не воспринять идеи общественной пользы, которая въ то время такимъ широкимъ потокомъ разлилась и по западной Европѣ, и у насъ! Время было горячее, особенно въ 61-мъ году,—основа старо-русскаго быта, т. е. крѣпостное право, была наконецъ уничтожена. Случилось и еще нѣчто: русскимъ людямъ дали право свободно мыслить и разсуждать, съ большей или меньшей сте-

*) О назначеніи литературы Писаревъ высказался уже въ статьѣ «Схоластика» и пр. См. выше.

пенью свободы оцѣнивать достоинства и недостатки патріархальнаго быта, закабаленія женщинъ и т. д. Мысль встрепенулась, записали безчисленныя перья и стали перебирать всѣ стороны нашей жизни. Послѣ того какъ пало крѣпостное право, если не все, то многое казалось возможнымъ, осуществимымъ, и настроеніе общества—по крайней мѣрѣ лучшихъ представителей—было глубоко-практическое, дѣйствующее.

Людей 60-хъ годовъ Шелгуновъ называетъ *идеалистами земли*. Этимъ онъ хочетъ сказать, что они горячо и страстно вѣрили, но вѣра ихъ не уходила за предѣлы небеснаго свода, а вращалась исключительно возлѣ человѣческаго счастья здѣсь на землѣ,—какъ бы устроить человѣку хорошее и спокойное существованіе, какъ бы обезпечить его мысль, достоинство, свободу отъ какихъ бы то ни было случайностей, какъ бы дать ему свободное время, чтобы онъ успѣвалъ и поучиться, и подумать... Люди увлекались этими вопросами, тратили на ихъ разрѣшеніе всѣ силы своихъ недюжинныхъ талантовъ...

Повторяю, идея общественной пользы—сама по себѣ обязательная для публициста—висѣла въ воздухѣ и проникала ту атмосферу, въ которой жилъ и дышалъ Писаревъ.

Совершенно естественно, что, какъ литераторъ и критикъ, онъ прежде всего приложилъ ее къ литературѣ и художественнымъ произведеніямъ. Отъ литературы онъ требовалъ, чтобы она, оставивъ высоты теорій и отвлеченности, спустилась на землю и принялась за просвѣщеніе публики общепонятнымъ языкомъ и на фактическомъ основаніи. Отъ художественнаго произведенія онъ требовалъ цѣннаго содержанія, которое могло бы расширить кругозоръ читателя. Онъ—одно время, по крайней мѣрѣ,—вдавался въ крайность и доходилъ до отрицанія формы. Впрочемъ вотъ его подлинныя слова изъ статьи «Разрушеніе эстетики»:

«Содержаніе, достойное вниманія мыслящаго человѣка, одно только въ состояніи избавить искусство отъ упрека, будто-бы оно — пустая забава». Цитируя эти слова Чернышевскаго, Писаревъ прибавляетъ отъ себя: «Что такое мыслящій человѣкъ? Что именно достойно вниманія мыслящаго человѣка? Эти вопросы опять-таки должны рѣшаться каждымъ отдѣльнымъ критикомъ. А между тѣмъ отъ рѣшенія этихъ вопросовъ зависитъ въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ приговоръ критика надъ художественнымъ произведеніемъ. Рѣшивши, что содержаніе неинтересно или, другими словами, недостойно вниманія мыслящаго человѣка, критикъ, основываясь на подлинныхъ словахъ автора «Эстетическихъ отношеній», имѣетъ полное право посмотрѣть на данное произведеніе съ презрѣніемъ или сострадательной улыбкой.

Крайности, до которыхъ Писаревъ одно время своей дѣятельности доводилъ эти взгляды, общеизвѣстны; слѣдовательно останавливаться на нихъ нечего. Гораздо любопытнѣе взглянуть на тотъ *синтезъ*, который онъ далъ двумъ краеугольнымъ идеямъ своего міросозерцанія, т. е. эмансипаціи личности и общественной пользы.

* * *

Статья Писарева «Нерѣшенный вопросъ» или «Реалисты», испытавшая на себѣ во время печатанія въ журналѣ нѣчто вродѣ «геологическаго переворота», представляетъ настоящее profession de foi—исповѣданіе вѣры. Она очень объемиста, около 150 страницъ убористой печати, въ смыслѣ же страстности и блеска изложенія можетъ быть причислена къ лучшимъ литературнымъ произведеніямъ публицистики. Съ содержаніемъ «Реалистовъ» намъ необходимо ознакомиться возможно подробнѣе, что впрочемъ совсѣмъ не скучно.

«Мнѣ кажется,—говоритъ Писаревъ, что въ русскомъ обществѣ начинаетъ вырабатываться въ настоящее время совершенно самостоятельное направленіе мысли. Я не думаю, чтобы это направленіе было совершенно ново и вполнѣ оригинально, но самостоятельность его заключается въ томъ, что оно находится въ самой неразрывной связи съ дѣйствительными потребностями нашего общества». Прежде было иначе: отцы и дѣды забавлялись мартинизмомъ, масонствомъ и вольтерьянствомъ, мыслительная работа была нужна имъ отъ скуки, для ради препровожденія времени, но «мы теперь знаемъ, что дѣлаемъ, и можемъ дать себѣ отчетъ, почему мы беремъ именно это, а не другое». У насъ есть дѣйствительныя потребности: «во-первыхъ мы бѣдны, а во-вторыхъ—глупы». Глупость и бѣдность не какія-нибудь мечтательныя бѣдствія, а бѣдствія реальныя. и, чтобы побѣдить ихъ, надо притянуть къ живой, полезной дѣятельности всѣ силы русскаго общества. Гдѣ же и въ чемъ она, эта живая, полезная дѣятельность? «Во-первыхъ извѣстно, что значительная часть продуктовъ труда переходитъ изъ рукъ рабочаго населенія въ руки непроизводящихъ потребителей. Увеличить количество продуктовъ, остающихся въ рукахъ рабочаго, значитъ уменьшить его нищету и дать ему средства къ дальнѣйшему развитію... Во-вторыхъ можно дѣйствовать на непроизводящихъ потребителей, но конечно надо дѣйствовать на нихъ не моральной болтовней, а живыми идеями, и поэтому надо обращаться только къ тѣмъ личностямъ, которыя желаютъ взяться за полезный и увлекательный трудъ, но не

знаютъ, какъ приступить къ дѣлу и къ чему приспособить свои силы. Тѣ люди, которые по своему положенію могутъ и по своему личному характеру желаютъ работать умомъ, должны расходовать свои силы съ крайней осмотрительностью и разсчетливостью, т. е. они должны браться только за тѣ работы, которыя могутъ принести обществу дѣйствительную пользу. Такая *экономія умственныхъ силъ* необходима вездѣ и всегда, потому что человѣчество еще нигдѣ и никогда не было настолько богато дѣятельными умственными силами, чтобы позволять себѣ въ расходованіи этихъ силъ малѣйшую расточительность. Между тѣмъ расточительность всегда и вездѣ была страшная, и оттого результаты до сихъ поръ всегда получались самые жалкіе. У насъ расточительность также очень велика, хотя и расточать-то намъ нечего. У насъ до сихъ поръ всего какой-нибудь двугривенный умственнаго капитала, но мы, по нашему извѣстному молодечеству, и этотъ несчастный двугривенный ставимъ ребромъ и расходуемъ безобразно. Намъ строгая экономія еще необходимѣе, чѣмъ другимъ, дѣйствительно образованнымъ народамъ, потому что мы въ сравненіи съ ними—нищіе. Но, чтобы соблюдать такую экономію, надо прежде всего уяснить и себѣ до послѣдней степени ясности, что́ полезно обществу и что́ безполезно. Экономія же умственныхъ силъ и есть не что иное, какъ строгій и послѣдовательный реализмъ».

Какъ же, спрашивается, экономизировать свои силы? Нужно ли для этого обратиться въ аскета и столпника, у котораго только одна мысль, одно настроеніе? Вся ли личность принадлежитъ обществу, или же, завися отъ общества, будучи обязанной передъ нимъ, она всеже имѣетъ право на самостоятельную жизнь, хотябы часть этой жизни? «Мы—говоритъ Писаревъ—люди обыкновенные, и еслибы захотѣли выбросить изъ своей жизни чисто личное наслажденіе, то сдѣлали бы себя мучениками и кромѣ того повредили бы даже общему дѣлу; мы бы надорвались, мы бы отняли у себя возможность принести и ту малую долю пользы, которая соотвѣтствуетъ размѣрамъ нашихъ силъ; поэтому намъ не слѣдуетъ надуваться, потому что до вола мы все-таки не дорастемъ, а если лопнемъ, то вмѣсто экономіи окажется чистый убытокъ. Когда вы отдыхаете и наслаждаетесь, тогда никто не имѣетъ права посылать васъ на работу; общее дѣло человѣчества подвигается впередъ не барщинною работою, и сгонять на этотъ трудъ лѣнивыхъ или утомленныхъ людей—значитъ изображать суетливую муху, помогавшую лошадямъ втаскивать въ гору тяжелый рыдванъ... Когда вы отдыхаете, вы принад-

лежите самому себѣ; когда вы работаете, вы принадлежите обществу,.. Если же вы никогда не хотите принадлежать обществу, если ваша работа не имѣетъ никакого значенія для него, тогда вы можете быть вполнѣ увѣрены, что вы совсѣмъ никогда не работаете и что вы проводите всю вашу жизнь подобно мотыльку, порхающему съ цвѣтка на цвѣтокъ. Мартышкинъ трудъ не есть работа».

Изъ этихъ словъ видно, что если Писаревъ и утилитаристъ, то совершенно въ другомъ смыслѣ, въ какомъ считаемъ мы утилитаристомъ Милля. Это различіе необходимо имѣть въ виду. Милль требовалъ отъ нравственной личности общеполезной дѣятельности и, строго говоря, былъ склоненъ не обращать ни малѣйшаго вниманія на тѣ мотивы и побужденія, которые заставляютъ человѣка совершить общеполезную работу. Спасти утопающаго полезно и необходимо, но кому какое дѣло, во имя какихъ собственно соображеній бросился я въ рѣку? Быть можетъ меня охватила любовь къ ближнему, быть можетъ тутъ замѣшалось мое честолюбіе, и, какъ рыцарь, совершавшій геройскій поступокъ, я думалъ въ это время о своей дамѣ; а можетъ быть меня прельстила награда совсѣмъ уже матеріальная? Какой бы ни былъ мотивъ, я совершилъ нравственное дѣло, а сумма такихъ нравственныхъ дѣлъ дастъ мнѣ право назваться нравственною личностью, хотя быть можетъ въ глубинѣ души я нѣчто совсѣмъ другое. Словомъ, для утилитарной морали важенъ самый фактъ совершенія полезнаго дѣла.

Писаревъ пошелъ гораздо дальше, и пошелъ онъ дальше по той простой причинѣ, что рѣзко и энергично вышелъ изъ рамокъ морали и сталъ на другую, болѣе широкую точку зрѣнія.

Слова «полезный поступокъ»—отличаются большой неопредѣленностью. Есть поступки болѣе полезные, менѣе полезные и даже совсѣмъ безполезные, которые однако принято считать полезными. Всякій вѣдь знаетъ, что существуетъ и мартышкинъ трудъ. И «можно сказать, что большая часть мартышкина труда производится въ каждомъ человѣческомъ обществѣ по чистому недоразумѣнію. Трудящаяся личность въ большей части случаевъ добросовѣстно и искренне убѣждена въ томъ, что она трудится для человѣка и общества; это обаятельное убѣжденіе придаетъ ей бодрость и вдохновляетъ ее во время труда; если вы поколеблете въ ней это убѣжденіе, у нея опустятся руки и для нея настанетъ очень тягостная минута разочарованія и унынія; но за этою минутою явится сильное стремленіе къ настоящей пользѣ и крутой поворотъ къ какой-нибудь другой дѣятельности, достойной мыслящаго человѣка и добро-

совѣстнаго гражданина. Въ результатѣ получится такимъ образомъ экономія умственныхъ силъ, и эта экономія будетъ гораздо болѣе значительна, чѣмъ это можетъ показаться читателю съ перваго взгляда».

Въ этой-то экономіи силъ и заключается, по моему, глубокое различіе Писарева отъ утилитаріанской морали во вкусѣ Милля. Представьте себѣ, что гдѣ-нибудь считается общеполезнымъ дѣломъ толочь воду въ ступѣ. Гражданинъ ничтоже сумняшеся предается этому прекрасному занятію и даже съ большимъ усердіемъ. Утилитаристъ, увидя такого гражданина, скажетъ ему: «вы нравственны и добродѣтельны, хотя нѣсколько глупы вѣроятно», и пожметъ ему руку. Писаревскій реалистъ отъ такого гражданина отвернется съ презрѣніемъ. Почему? По той простой причинѣ, что мало совершать общеполезное дѣло, а необходимо, чтобы общеполезное дѣло освѣщалось *критической* мыслью.

Пойдемъ однако дальше.

До мотива моральнаго акта утилитаристу, какъ мы видѣли, рѣшительно дѣла нѣтъ. Но реалисту дѣло есть. Прежде всего на сцену выступаетъ критическая мысль, которая уже сама по себѣ, говоря человѣку о томъ, что дѣйствительно полезно и что полезно лишь призрачно, — можетъ играть роль мотива. Но одного умственнаго побужденія недостаточно; нужно нѣчто еще большее. Это большее выражается въ требованіи, чтобы трудъ былъ живымъ наслажденіемъ для личности и вмѣстѣ съ тѣмъ *полезнымъ* для общества.

Быть можетъ это покажется страннымъ читателю, но всеже Писаревъ всего полнѣе свой взглядъ высказалъ въ отношеніи къ искусству. Позволю себѣ привести слѣдующія блестящія мѣста изъ его статей:

«Послѣдовательный реализмъ—говоритъ онъ—безусловно презираетъ все, что не приноситъ существенной пользы; но слово «польза» мы принимаемъ совсѣмъ не въ томъ узкомъ смыслѣ, въ какомъ навязываютъ намъ наши литературные антагонисты. Мы вовсе не говоримъ поэту «шей сапоги», или историку—«пеки пироги», но мы требуемъ непремѣнно, чтобы поэтъ, какъ поэтъ, и историкъ, какъ историкъ, приносили каждый въ своей спеціальности дѣйствительную пользу. Мы хотимъ, чтобы созданія поэта ясно и ярко рисовали передъ нами тѣ стороны общественной жизни, которыя необходимо знать для того, чтобы основательно размышлять и дѣйствовать. Мы хотимъ, чтобы изслѣдованіе историка раскрывало намъ настоящія причины процвѣтанія и успѣха отжившихъ цивилизацій. Мы читаемъ книги единственно для того, чтобы посредствомъ чтенія расширять пробѣлы нашего личнаго опыта. Если книга въ этомъ отношеніи не даетъ намъ ровно ни-

чего, ни одного новаго факта, ни одного оригинальнаго взгляда, ни одной самостоятельной идеи, если она ничѣмъ не шевелитъ и не оживляетъ нашей мысли, то мы называемъ такую книгу пустою и дрянною книгою, не обращая вниманія на то, писана ли она прозою, или стихами, и автору такой книги мы всегда съ искреннимъ доброжелательствомъ готовы посовѣтовать, чтобы онъ принялся шить сапоги или печь кулебяки».

Словомъ, будь поэтомъ, историкомъ, журналистомъ, пирожникомъ или сапожникомъ, только будь на своемъ мѣстѣ. Поэзія и исторія общеполезны, но горе тому, кто безъ права, обусловленнаго его дарованіями, его наклонностями, силой его мысли и наблюдательности, берется за это общеполезное дѣло. Въ такомъ случаѣ уже «горе ему, приносящему вредъ».

Помнитъ ли затѣмъ читатель слѣдующую блестящую характеристику поэта? Въ этой же характеристикѣ заключается отвѣтъ на вопросъ, какъ можетъ быть поэтъ полезенъ.

«Самородки, подобные Бернсу и Кольцову,—пишетъ Писаревъ,—остаются навсегда блестящими, но безплодными явленіями. Истинный, полезный поэтъ долженъ знать и понимать все, что въ данную минуту интересуетъ самыхъ умныхъ и самыхъ просвѣщенныхъ людей его вѣка и его народа. Понимая вполнѣ глубокій смыслъ каждой пульсаціи общественной жизни, поэтъ, какъ человѣкъ страстный и впечатлительный, непремѣнно долженъ всѣми силами своего существа любить то, что кажется ему добрымъ, истиннымъ и прекраснымъ, и ненавидѣть святою и великою ненавистью ту огромную массу мелкихъ и дрянныхъ глупостей, которая мѣшаетъ идеямъ истины, добра и красоты облечься въ плоть и кровь и превратиться въ живую дѣйствительность. Эта любовь, неразрывно связанная съ этою ненавистью, составляетъ и непремѣнно должна составлять для истиннаго поэта душу его души, единственный и священнѣйшій символъ всего его существованія и всей его дѣятельности. «Я пишу не чернилами, какъ другіе,—говоритъ Бёрне:—я пишу кровью моего сердца и сокомъ моихъ нервовъ». Такъ, и только такъ долженъ писать каждый писатель. Кто пишетъ иначе, тотъ долженъ шить сапоги и печь кулебяки. Поэтъ, самый страстный и впечатлительный изъ всѣхъ писателей, конечно не можетъ составлять исключенія изъ этого правила. А чтобы дѣйствительно писать кровью сердца и сокомъ нервовъ, необходимо безпредѣльно и глубоко-сознательно любить и ненавидѣть, и чтобы эта любовь и ненависть были дѣйствительно чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать. А когда все это сдѣлано, когда поэтъ охватилъ своимъ сильнымъ умомъ весь великій смыслъ человѣческой жизни, человѣческой борьбы и человѣческаго горя, когда онъ вдумался въ причины, когда онъ уловилъ крѣпкую связь между отдѣльными явленіями, когда понялъ, что надо и что можно дѣлать, въ какомъ направленіи и какими пружинами слѣдуетъ дѣйствовать на умы читающихъ людей, тогда без-

сознательное и безцѣльное творчество дѣлается для него безусловно невозможнымъ. Общая цѣль его жизни и дѣятельности не даетъ ему ни минуты покоя; эта цѣль манитъ и тянетъ его къ себѣ; онъ счастливъ, когда видитъ ее передъ собой яснѣе и ближе; онъ приходитъ въ восхищеніе, когда видитъ, что другіе люди понимаютъ его пожирающую страсть и сами съ трепетомъ томительной надежды смотрятъ вдаль на ту же великую цѣль; онъ страдаетъ и злится, когда цѣль исчезаетъ въ туманѣ человѣческихъ глупостей и когда окружающіе его люди бродятъ ощупью, сбивая другъ друга съ прямого пути. Человѣкъ, прикоснувшійся рукою къ древу познанія добра и зла, никогда не съумѣетъ и, что всего важнѣе, никогда не захочетъ возвратиться въ растительное состояніе первобытной невинности. Кто понялъ и почувствовалъ до самой глубины взволнованной души различіе между истиной и заблужденіемъ, тотъ вольно или невольно въ каждое изъ своихъ созданій будетъ вкладывать идеи, чувства и стремленія вѣчной борьбы за правду. Итакъ, по моему мнѣнію, истинный поэтъ, принимаясь за перо, отдаетъ себѣ строгій и ясный отчетъ въ томъ, къ какой общей цѣли будетъ направлено его новое созданіе, какое впечатлѣніе оно должно будетъ произвести на умы читателей, какую святую истину оно докажетъ имъ своими яркими картинами, какое вредное заблужденіе оно подроетъ подъ самый корень. Поэтъ—великій боецъ мысли, безстрашный и безукоризненный «рыцарь духа», какъ говорилъ Гейне, или же поэтъ—ничтожный паразитъ, потѣшающій другихъ ничтожныхъ паразитовъ мелкими фокусами безплоднаго фиглярства. Середины нѣтъ. Поэтъ—титанъ, потрясающій горы, или поэтъ—козявка, копающаяся въ цвѣточной пыли. И это не фраза, это строгая психологическая истина.»

Чѣмъ-то могучимъ и страстнымъ вѣетъ отъ этой патетической тирады, и какими забытыми представляются эти слова при современныхъ литературныхъ нравахъ! Писатели безъ мелкой корысти, безъ мелкаго тщеславія—гдѣ вы? Гдѣ вы, стоящіе на высотѣ интересовъ самыхъ лучшихъ, умныхъ и просвѣщенныхъ людей эпохи? Забитые въ уголъ, влачатъ они, эти писатели, мизерное существованіе, слушая торжествующіе возгласы современнаго прохвоста.

Однако, оставляя въ сторонѣ паѳосъ, возвратимся на минуту къ писаревскому реализму.

Сердце его заключается, какъ мы видѣли, въ *экономіи умственныхъ силъ*. Экономія эта обусловливается прежде всего критической мыслью, избирающей дѣйствительно полезную работу, и затѣмъ натурой.

Поэты родятся—такова мысль Писарева. Безъ заложеннаго природой обойтись нельзя. Наука, образованіе воспитываютъ и преобразуютъ природныя дарованія, безъ науки и образованія они—блестящіе метеоры—и только. Надо стремиться къ общеполезному, но

какую область этого общеполезнаго вы изберете — зависитъ отъ внутреннихъ качествъ вашего духа и натуры.

По моему убѣжденію, такое признаніе индивидуальности, какъ опредѣляющаго фактора, является опять-таки безусловно необходимымъ, съ точки зрѣнія экономіи силъ. И, проповѣдуя такую теорію, Писаревъ сходится съ лучшими умами человѣчества.

У меня нѣтъ мѣста и времени, чтобы слѣдить дальше за реалистами Писарева. Надѣюсь однако, что сущность этой новой породы людей понята читателемъ. Реалистъ — это мыслящій работникъ, съ любовью занимающійся трудомъ; реалистъ, построивши свою жизнь на идеѣ общественной пользы и разумнаго труда, относится презрительно и враждебно ко всему, что разъединяетъ человѣческіе интересы, и ко всему, что отвлекаетъ человѣка отъ общеполезной дѣятельности. Какой же трудъ общеполезенъ, гдѣ та почва, работая на которой можно на самомъ дѣлѣ преслѣдовать общечеловѣческіе интересы? Это прежде всего почва *науки*, знанія. И эта наука должна какъ можно шире разлиться въ массѣ, стать основаніемъ всякаго труда.

«Трагическія недоразумѣнія между наукой и жизнью будутъ повторяться до тѣхъ поръ, пока не прекратится гибельный разрывъ между трудомъ мозга и трудомъ мускуловъ. Пока наука не перестанетъ быть барскою роскошью, пока она не сдѣлается насущнымъ хлѣбомъ каждаго здороваго человѣка, пока она не проникнетъ въ голову ремесленника, фабричнаго работника и простого мужика — до тѣхъ поръ бѣдность и безнравственность трудящейся массы будутъ постоянно усиливаться, несмотря ни на проповѣди моралистовъ, ни на подаянія филантроповъ, ни на выкладки экономистовъ, ни на теоріи соціалистовъ. Есть въ человѣчествѣ только одно зло — невѣжество, противъ этого зла есть только одно лекарство — наука, но это лекарство надо принимать не гомеопатическими дозами, а сорокаведерными бочками. Слабый пріемъ этого лекарства увеличиваетъ страданія больного организма. Сильный пріемъ ведетъ за собою радикальное исцѣленіе. Но трусость человѣка такъ велика, что спасительное лекарство считается ядовитымъ».

Нельзя не залюбоваться этимъ блестящимъ изложеніемъ принциповъ умственнаго демократизма. Все человѣчество является передъ нами ассоціаціей мыслящихъ и знающихъ работниковъ. Принципъ общечеловѣческой солидарности установленъ на прочныхъ основаніяхъ. Но пусть подумаетъ читатель, какія личности могутъ быть солидарны между собой? Тѣ ли, которыя представляютъ привилегіи рода или интересы собственности? Нѣтъ, такія по необходимости разъединены и между собой, и съ другими. Возьмите феодала

и крѣпостного цензиторія. Толкуйте имъ объ общечеловѣческой солидарности, сколько вамъ заблагоразсудится, и всѣ ваши проповѣди окажутся стѣннымъ горохомъ, въ чемъ довольно наглядно и постоянно убѣждалась католическая церковь въ первую половину среднихъ вѣковъ. Возьмите капиталиста и рабочаго. Несмотря на всѣ синдикаты, которые устраиваются и тамъ, и здѣсь, солидарность между ними все же проблематична, разъ въ ихъ взаимныя отношенія не вмѣшивается принудительное начало въ лицѣ государства. Даже два капиталиста лишь въ рѣдкихъ случаяхъ могутъ быть солидарны между собою, и если сегодня они дѣйствуютъ за одно, то кто же поручится, что они не будутъ завтра врагами на рынкѣ? Слѣдовательно, разъ рѣчь идетъ объ общечеловѣческой солидарности, надо твердо знать, къ кому собственно обращаться съ такою проповѣдью. Писаревъ понималъ это и, прежде чѣмъ заговорить о солидарности, опредѣлялъ, какъ онъ понимаетъ личность. Личность выражается для него въ *трудѣ*, и только въ немъ одномъ. У ней нѣтъ портретовъ предковъ, она не можетъ похвастать подвигами своихъ праотцевъ, у ней нѣтъ внѣшней силы — денегъ напримѣръ,—на которую она могла бы опираться и игнорировать «законъ природы». Реалистъ— это мыслящій работникъ *и только*, трудъ — нервъ и основа его жизни, интересы реалиста и личности—это интересы труда.

Развивая и расширяя эту точку зрѣнія, можно понять, въ какомъ направленіи стала бы работать могучая мысль Писарева, проживи онъ не 27 лѣтъ на свѣтѣ. Но судьба не хотѣла этого.

*Отношеніе Писарева къ народу.* Народомъ Писаревъ занимался сравнительно очень мало: къ этому не подготовили его ни воспитаніе, ни условія его личной жизни. Очевидно, что не народъ привлекалъ главное его вниманіе, а тѣ люди, «которые хотятъ знать и учиться, но не знаютъ, какъ взяться за дѣло». Имъ-то писалъ онъ: «мнѣ хочется сообщить какъ можно больше хорошихъ идей и дать имъ какъ можно больше реальныхъ свѣдѣній». Читатель, я думаю, и самъ понимаетъ, что по своей «умственной» натурѣ, по трезвому направленію своей мысли, народникомъ въ общепринятомъ смыслѣ слова Писаревъ не могъ быть никогда. Народничество предполагаетъ сердечную любовь къ мужику, непремѣнную вѣру въ хорошія качества его натуры, его доброту и нравственность. Обстоятельства жизни Писарева сложились такъ, что онъ всегда стоялъ вдали отъ народа и видѣлъ его или изъ окна знаменскаго дома, или на страницахъ повѣстей и романовъ. Поэтому никакихъ нѣжныхъ чувствъ онъ питать къ нему не могъ. Но какъ

прогрессистъ и либералъ, онъ, разумѣется, не могъ находить ничего хорошаго во тьмѣ и невѣжествѣ, въ какихъ пребываетъ русскій народъ. Онъ хотѣлъ для него знанія, хорошихъ книгъ, хорошихъ школъ, онъ не относился равнодушно къ тому великому событію, которое совершилось у него на глазахъ — къ уничтоженію крѣпостного права; но не видно, чтобы это обстоятельство потрясло его до глубины души: онъ былъ тогда слишкомъ молодъ.

«Мужика надо любить»... Этой формулы Писаревъ принять не могъ уже по той простой причинѣ, что въ спасительную силу любви онъ не вѣрилъ. А что въ мужикѣ надо уважать его человѣческое достоинство и *слѣдовательно* давать ему возможность развиваться, итти впередъ—въ этомъ Писаревъ не сомнѣвался. Достоинство человѣка и выражалось главнымъ образомъ для него въ стремленіи къ развитію и совершенствованію...

Вотъ, если не ошибаюсь, то мѣсто, въ которомъ Писаревъ особенно полно высказался по вопросу объ «обязанностяхъ интеллигенціи передъ народомъ».

«Наконецъ-то—пишетъ онъ—общество начинаетъ сознавать, что на немъ лежитъ обязанность дѣлиться съ народомъ знаніями и идеями... Необходимость народнаго образованія вошла въ общественное сознаніе, но между теоретическимъ и практическимъ рѣшеніемъ вопроса лежитъ цѣлая бездна. Давно ли въ нашихъ журналахъ разсуждали и спорили о томъ, нужна ли народу грамотность. Вопросъ этотъ рѣшенъ утвердительно, но самая возможность подобнаго спора, самая необходимость доказывать аксіому служитъ осязательнымъ примѣромъ того, какъ ново и непривычно для насъ дѣло народнаго образованія. И это не удивительно. Потребность умственнаго прогресса была отодвинута въ нашей жизни на задній планъ, и мы, вмѣсто истиннаго образованія, довольствовались одними внѣшними условіями его; мы не видѣли, или лучше, не хотѣли видѣть, что позади насъ есть милліоны другихъ людей, которые *имѣютъ одинаковое право на человѣческую жизнь, образованіе и соціальное усовершенствованіе*. Теперь мы сознаемъ, что безъ этихъ милліоновъ людей мы не далеко уйдемъ съ своей привозной цивилизаціей и съ своимъ просвѣщеніемъ, взятымъ напрокатъ. Такимъ образомъ великой задачей нашего времени является умственная эмансипація массъ, черезъ которую предвидится имъ исходъ къ лучшему положенію, не только ихъ самихъ, но и всего общества. Школой нашего воспитанія является весь народъ, а воспитателемъ его образованное меньшинство. Въ теоріи мы знаемъ, что надо дѣлать... Но если нельзя браться кое-какъ съ налету за воспитаніе ребенка, то тѣмъ болѣе нельзя съ кое-какими теоретическими свѣдѣніями приступать къ народу. Въ первомъ случаѣ мы рискуемъ приготовить обществу дурного гражданина, можетъ быть несчастную жертву порока, во второмъ—мы принимаемъ на себя тяжелую отвѣтственность за всю націю»...

Надо однако знать народъ, чтобы можно было съ успѣхомъ воспитывать его. «Народъ ближе стоитъ къ природѣ и смотритъ на окружающій его міръ яснѣе, чѣмъ мы, потому что взглядъ его не омраченъ предубѣжденіями и ложными понятіями нашей жизни... Но потому-то намъ и трудно наблюдать и анализировать народную жизнь; мы обыкновенно подступаемъ къ ней съ предвзятыми идеями и даемъ свой собственный произвольный смыслъ дѣйствительнымъ явленіямъ. Мѣшаетъ изученію народной жизни и то совершенно законное недовѣріе, которое питаетъ мужикъ ко всякому, кто носитъ не народное платье. И какъ будетъ онъ вѣрить? Мы для него до сихъ поръ ровно ничего не сдѣлали, мы его трудами жили въ теченіе столѣтій, и онъ это помнитъ тою самой памятью, которая до сихъ поръ хранитъ въ народной пѣснѣ воспоминанія о Дунаѣ-рѣкѣ и о Владимірѣ Красномъ-Солнышкѣ. И мы должны признаться, что при настоящемъ положеніи дѣла изученіе народности только что начинается. Исторія разлучила насъ съ народомъ гораздо раньше Петра».

Приходится пожалѣть, что Писаревъ, увлекшись своей пропагандой среди людей средняго состоянія и тратя всѣ свои громадныя силы на созданіе *истинной* интеллигенціи, совершенно не занимался вопросомъ о народѣ. Въ приведенныхъ выше мысляхъ оригинальнаго, правда, нѣтъ ничего, но меня напр. положительно подкупаетъ реализмъ и трезвость направленія. Ни народничества, ни мистицизма, ни того обычнаго страха, съ какимъ интеллигентъ подступаетъ обыкновенно къ сѣрой массѣ, боясь разочароваться въ томъ, что вся она состоитъ изъ сермяжныхъ ангеловъ. Надо учить народъ, но чтобы учить — нужно знать, кого учишь, «надо знать своего воспитанника вдоль и поперекъ». А чему учить? Очевидно тому же, что и намъ самимъ полезно для трудовой и счастливой жизни, т. е. надо учить реальному, давать пригодныя къ жизни свѣдѣнія, а не обучать «добродѣтели» и ужъ отнюдь не учиться добродѣтели, какъ дѣлаютъ нѣкоторые изъ моихъ современниковъ. Всѣ посылки у Писарева имѣются, выводовъ онъ сдѣлать не успѣлъ...

*Педагогическія воззрѣнія Писарева.* Наши педагоги имѣютъ привычку или совсѣмъ ничего не читать, или же зачитывать до дыръ разныя нѣмецкія или вообще иностранныя брошюрки, а на то, что у насъ подъ руками, они лишь изрѣдка обращаютъ свое благосклонное вниманіе. Педагогу прежде всего необходимо знать дѣтскую душу, — что сдѣлано у насъ для изученія дѣтскихъ типовъ, съ такою яркостью выведенныхъ въ произведеніяхъ Достоевскаго, Толстого, Помяловскаго? Есть ли у насъ хоть одна статья, хоть

одна маленькая замѣтка о педагогическихъ воззрѣніяхъ Писарева? А между тѣмъ ими бы стоило позаняться, что я и разсчитываю сдѣлать въ другомъ мѣстѣ. Пока же нѣсколько общихъ соображеній.

Теорія Писарева нѣсколько одностороння, разъ ее приходится прилагать къ вопросамъ общественнымъ, но безусловно справедлива въ области педагогики. Писаревъ самъ инстинктивно сознавалъ это и посвятилъ школѣ и воспитанію цѣлый рядъ блестящихъ статей. Вотъ онѣ:

1) «Наша университетская наука».
2) «Мысли Вирхова о воспитаніи женщинъ».
3) «Педагогическіе софизмы».
4) «Школа и жизнь».
5) «Погибшіе и погибающіе».

Кромѣ того Писаревъ постоянно затрогиваетъ мимоходомъ тѣ же самые вопросы въ различныхъ своихъ статьяхъ. И хотя бы кто-нибудь изъ нашихъ педагоговъ обмолвился и вспомнилъ дни своей юности, когда онъ зачитывался Писаревымъ, впитывая въ себя «ядъ» и нектаръ свободной жизни.

О педагогическихъ воззрѣніяхъ Писарева можно написать цѣлое и очень полезное изслѣдованіе. Къ сожалѣнію, моя біографія и такъ уже разрослась: нужно беречь мѣсто.

Всѣ излюбленныя идеи Писарева—духовная самостоятельность личности, уваженіе передъ индивидуальностью, экономія силъ, реализмъ свѣдѣній,—всѣ онѣ должны найти, и рано или поздно найдутъ, свое мѣсто въ будущихъ педагогическихъ системахъ. Здѣсь для нихъ полный просторъ, здѣсь имъ не придется сталкиваться ни съ «системой экономическихъ противорѣчій», ни съ политическими программами. Писаревъ въ полномъ смыслѣ слова можетъ быть названъ педагогомъ-теоретикомъ, ибо что же онъ дѣлалъ, какъ не *училъ* тому, *какъ* надо учиться, развивать свой умъ, совершенствовать свою личность, а черезъ нее общественный строй.

Воспитаніе должно развить и образовать характеръ человѣка, пріучить его умъ къ самостоятельной работѣ, его чувство—къ вѣрѣ въ самого себя, къ уваженію чужого достоинства, должно снабдить его суммой полезныхъ и необходимыхъ свѣдѣній и тѣмъ мужествомъ, которое позволяетъ человѣку бодро выносить неудачи жизни и становиться на ноги даже послѣ сильныхъ ударовъ судьбы.

«Надо прежде всего беречь въ ребенкѣ его самого, надо уважать въ немъ то, что не можетъ быть пріобрѣтено никакими усиліями и не можетъ быть куплено ни на какія деньги,—словомъ, его лич-

ность, его оригинальность, данную ему отъ природы. *Человѣкъ дѣйствительно уважающій человѣческую личность, долженъ уважать ее въ своемъ ребенкѣ.* Все воспитаніе должно измѣниться подъ вліяніемъ этой идеи».

Такъ учитъ Писаревъ. И это какъ нельзя болѣе справедливо. Не проходитъ ли черезъ всю нашу воспитательную систему уродливое стремленіе обезличить человѣка съ минуты его перваго лепета вплоть до полученія всевозможныхъ аттестатовъ? Чисто-механическая система усвоенія, отсутствіе живого интереса и нравственной связи между учащими и учащимися—вотъ то мертвящее всякое благое начинаніе зло, съ которымъ напервыхъ же порахъ приходится встрѣчаться каждому, кто мало-мальски углублялся въ изученіе педагогики.

Читатель уже знаетъ воззрѣнія Писарева на этотъ счетъ. Онъ припомнитъ въ этомъ мѣстѣ его убійственную характеристику гимназическаго курса, припомнитъ письмо къ матери, гдѣ, объясняя свой разладъ съ нею, Писаревъ говоритъ, что причина такого разлада кроется въ «воспитательномъ деспотизмѣ», въ пренебреженіи внутреннимъ *я* воспитанника и въ желаніи сдѣлать изъ него нѣчто на свой собственный образецъ. А природа? Вѣдь она же вкладываетъ въ человѣка его силы, его влеченія и страсти?... Воспитаніе должно лишь регулировать ихъ, должно подавлять дурное, развивая умъ, но «формировать характеръ—нелѣпая претензія».

Отсутствіе уваженія къ природѣ, къ естественнымъ наклонностямъ и даже потребностямъ организма можно встрѣтить на каждомъ шагу. Припомните, съ какой страстностью Писаревъ защищалъ *здоровье* учащихся дѣтей. «Пусть—говоритъ онъ—школа поглощаетъ время воспитанниковъ, не давая имъ за это время прямо полезныхъ знаній, но пусть она по крайней мѣрѣ *не посягаетъ на ихъ здоровье*». Хотя бы это! Но «когда мы смотримъ на слабаго, блѣднаго и притупленнаго юношу, мы имѣемъ полное право сказать съ законной гордостью: вотъ дѣло рукъ нашихъ. Мы заставляли его учиться, когда ему хотѣлось спать, мы заставляли его сидѣть на мѣстѣ, когда ему хотѣлось бѣгать, мы держали его въ четырехъ стѣнахъ, когда ему необходимо было дышать свѣжимъ воздухомъ, мы мужественно боролись со всѣми естественными стремленіями этого строптиваго организма и, какъ видите, мы достигли того, что этотъ организмъ утратилъ всю свою строптивость и въ настоящую минуту не стремится рѣшительно ни къ чему».

Послѣднее время мы какъ-то особенно усердно трепали вопросъ о переутомленіи учащихся. Рѣшусь напомнить, что этотъ вопросъ

ровно 30 лѣтъ тому назадъ былъ поднятъ и великолѣпно разработанъ Писаревымъ. Итакъ—физическое здоровье, какъ основа самостоятельной личности,—это необходимый minimum и вмѣстѣ съ тѣмъ краеугольный камень. Тотъ же принципъ смѣло можетъ быть приложенъ и къ области воспитанія умственнаго. Взваливать на ребенка слишкомъ много—это величайшее зло.

«Я твердо увѣренъ, — пишетъ Писаревъ, — что ни гимназія, ни университетъ, ни какое-либо другое учебное заведеніе не могутъ и никогда не будутъ въ состояніи выпускать въ свѣтъ совершенно образованныхъ людей, то есть такихъ людей, которымъ незачѣмъ было бы трудиться больше надъ собственнымъ развитіемъ и пріобрѣтать новыя знанія собственными усиліями. Когда школа хочетъ замѣнить человѣку самообразованіе, тогда она берется совсѣмъ не за свое дѣло и, стараясь сдѣлать для учащагося юношества черезъ-чуръ много, не дѣлаетъ даже того, что составляетъ ея прямую и естественную обязанность. Самообразованіе составляетъ необходимую и въ высшей степени законную фазу человѣческаго развитія. Школа должна стремиться не къ тому, чтобы избавить человѣка отъ трудовъ самообразованія, а къ тому, чтобы сдѣлать эти труды возможными и плодотворными. Школа должна возбудить въ человѣкѣ любознательность, и во-вторыхъ, развернуть и укрѣпить силы его ума настолько, чтобы человѣкъ, выходя изъ школы въ жизнь, могъ, безъ постороннихъ руководителей, искать и находить разумное удовлетвореніе своей любознательности».

*Писаревъ, какъ критикъ.*—Слава Писарева основывается на его критическихъ статьяхъ. И на самомъ дѣлѣ трудно представить себѣ болѣе увлекательное чтеніе. Пылкое и вмѣстѣ съ тѣмъ полное юмора изложеніе, слогъ близкій къ разговорному и вмѣстѣ съ тѣмъ удивительно изящный, художественная полнота, съ которою развивается мысль безъ этихъ непріятныхъ скачковъ и постоянныхъ отступленій на нѣсколько верстъ въ сторону—дѣлаютъ любую статью Писарева и доступной для всѣхъ, и интересной для всѣхъ. Среди своихъ поклонниковъ Писаревъ считалъ не мало гимназистовъ и дѣвушекъ. Передаютъ даже комическую формулу, съ какой когда-то мужья 60-хъ годовъ обращались къ своимъ супругамъ шестидесятницамъ: «матушка, или хозяйствомъ заниматься, или Писарева читать»—затѣмъ слѣдовали свирѣпые взгляды на недожаренное жаркое или переваренный картофель. Все это говоритъ совсѣмъ не о томъ, что Писаревъ высказывалъ маленькія мысли, а лишь объ его литературномъ искусствѣ, объ удивительномъ мастерствѣ словесныхъ дѣлъ и той завлекательности, которую онъ умѣлъ придавать самымъ сухимъ

матеріямъ. Изящество и легкость его статей ничуть не мѣшаютъ серьезности ихъ содержанія, и пожалуй даже наоборотъ: талантъ Писарева какъ бы разгорался, встрѣчая себѣ препятствія, и достигалъ своего кульминаціоннаго пункта тамъ, гдѣ трудность разбиравшагося вопроса была наибольшая.

Это о формѣ статей Писарева. Публицистическая сторона ихъ цѣликомъ вращается возлѣ одной драмы русской жизни, которую онъ подмѣтилъ съ первыхъ же шаговъ своей литературной дѣятельности. Разъяснять эту драму, раскрывать передъ читателемъ всю ея полную непригляднаго мрака глубину—онъ считалъ своей главной обязанностью и не забывалъ о ней ни на минуту, лишь только перо попадало въ его руку. Читатель знаетъ эту драму. Ея сущность сводится къ тому слишкомъ обычному явленію, какъ невѣжество и предразсудки засасываютъ свободную человѣческую личность. Страшная драма—кончается ли она смертью героя, или тѣмъ, какъ, постепенно привыкнувъ къ своему халату и туфлямъ, человѣкъ осоловѣлыми глазами смотритъ на міръ Божій, не воспринимая изъ него ни мысли, ни добраго чувства, ни стремленія къ живой дѣятельности, а лишь неотразимый позывъ къ зѣвотѣ. «Безличность, безгласность, умственная лѣнь и вслѣдствіе этого умственное безсиліе — вотъ, говоритъ Писаревъ,—болѣзни, которыми страдаетъ наше общество, наша критика; вотъ что часто мѣшаетъ развитію молодого ума, вотъ что заставляетъ людей сильныхъ, ставшихъ выше этого мѣщанскаго уровня, страдать и задыхаться въ тяжелой атмосферѣ рутинныхъ понятій, готовыхъ фразъ и безсознательныхъ поступковъ». Произведенія Писемскаго, Тургенева, Гончарова служили Писареву обильнѣйшимъ матеріаломъ для иллюстраціи «драмы». Въ «Тюфякѣ» напр. три молодыя личности, не обиженныя природою, измучиваются, вянутъ и гибнутъ. Въ этихъ личностяхъ нѣтъ ничего особеннаго ни въ хорошую, ни въ дурную сторону; онѣ не геніи и не уроды; одаренные достаточной долей ума и практическаго смысла, онѣ могли бы прожить себѣ въ свое удовольствіе, выростить съ полдюжины дѣтей и умереть спокойно, оставивъ по себѣ пріятное воспоминаніе въ сердцахъ благодарнаго потомства: т. е. своихъ дѣтей и внучатъ. Выходитъ совсѣмъ не то, что слѣдовало ожидать. Одинъ изъ трехъ—Павелъ Бешметевъ—спивается съ кругу и умираетъ въ молодыхъ лѣтахъ. Другая—жена Бешметева—проводитъ молодость въ грубыхъ семейныхъ сценахъ и остается вдовою тогда, когда уже не знаетъ, что дѣлать съ своею свободою. третья—сестра Бешме-

тева — посвящаетъ жизнь свою служенію обязанности, живетъ для своихъ дѣтей, терпитъ дурака мужа, полу-Ноздрева, полу-Манилова, и медленно хирѣетъ, потому что съ одной обязанностью не проживешь жизни.

«И это жизнь! — восклицаетъ Писаревъ. — стоитъ ли заботиться о своемъ пропитаніи, поддерживать свое здоровье, беречься простуды только для того, чтобы видѣть, какъ день смѣняется ночью, какъ чередуются времена года, какъ подростаютъ одни люди и старѣются другіе. Если жизнь не даетъ ни живого наслажденія, ни занимательнаго труда, то зачѣмъ же жить? Зачѣмъ пользоваться самосознаніемъ, когда самъ не находишь для него цѣли и приложенія?»...

За этой-то драмой гибели человѣческой личности «въ тяжелой атмосферѣ рутинныхъ понятій, готовыхъ фразъ и безсознательныхъ поступковъ» — Писаревъ слѣдилъ, повторяю, съ постояннымъ напряженнымъ вниманіемъ. Писемскій, какъ человѣкъ особенно близкій къ дѣйствительности, исключительно не терпѣвшій какой бы то ни было идеализаціи, пользуется большой его симпатіей, и онъ частенько возвращается къ его романамъ, черпая въ нихъ то, чего ему не хватало по недостатку личнаго опыта. У Писемскаго онъ нашелъ своихъ *вѣчныхъ дѣтей*, «для которыхъ послѣднее произнесенное слово служитъ закономъ и для которыхъ противъ безсознательнаго крика большинства нѣтъ апеляцій». — своихъ карликовъ. Но такія статьи, какъ «Погибшіе и Погибающіе», вводятъ насъ уже въ область темнаго царства, гдѣ горе не отъ одной уже рутинности понятій.

Самостоятельной теоріи искусства Писаревъ не создалъ; впрочемъ онъ мало и занимался имъ. Въ литературномъ произведеніи былъ важенъ для него прежде всего тотъ матеріалъ, который оно заключаетъ въ себѣ. Матеріалъ ничтоженъ или лживъ, — Писаревъ мечетъ громы и молніи; правдивъ, важенъ, — Писаревъ пользуется имъ для проведенія своихъ излюбленныхъ идей. Выдуманнаго онъ терпѣть не можетъ, но отсюда совершенно не слѣдуетъ, чтобы онъ требовалъ отъ художника быть фотографическимъ аппаратомъ и только. Какъ въ каждомъ человѣкѣ Писаревъ цѣнилъ больше и прежде всего свободно и смѣло-выраженную индивидуальность, такъ и въ художникѣ. «Поэтъ долженъ воплощать въ себѣ лучшія стремленія своего вѣка, долженъ страдать страданьемъ міра и радоваться его радостью. Онъ пишетъ кровью своего сердца. А чтобы дѣйствительно писать кровью сердца, необходимо безпредѣльно и глубокосознательно любить и ненавидѣть, и чтобы эта любовь и ненависть

были дѣйствительно чисты отъ всякихъ примѣсей личной корысти и мелкаго тщеславія, необходимо много передумать и многое узнать». Любовь и ненависть на прочномъ фундаментѣ личнаго опыта и знанія—вотъ что больше всего цѣнится Писаревымъ въ поэтическомъ произведеніи. Дѣйствующая, боевая точка зрѣнія на жизнь, воодушевлявшая его постоянно, перенесена въ область искусства. Одинаково смотрѣлъ онъ и на критику: онъ требовалъ, чтобы критикъ *выражалъ себя*, боролся и проповѣдывалъ во имя своей любви и ненависти.

---

## X.

На свободѣ.—Разрывъ съ Благосвѣтловымъ.—Новая любовь.—Изъ воспоминаній о Писаревѣ А. М. Скабичевскаго.—Слава.—Переходъ въ «Отечественныя Записки».—Смерть Писарева.

Выйдя изъ крѣпости, Писаревъ поселился вмѣстѣ съ матерью и сестрами въ маленькой и скромной квартирѣ на Петербургской сторонѣ. Онъ чувствовалъ себя утомленнымъ, измученнымъ; въ немъ пробуждалась страстная потребность полнаго умственнаго отдыха. Но надо было писать, чтобы жить. Эти послѣдніе годы ему приходилось зачастую насиловать себя, берясь за перо, и онъ то и дѣло жалуется на какую-то апатію.

Первое время, какъ я сказалъ, онъ жилъ въ семьѣ, но вскорѣ денежныя средства стали настолько скудными, что мать и младшая сестра должны были отправиться въ деревню, въ Грунецъ. Писареву предстояло новое испытаніе, быть можетъ даже горшее того, какое онъ вынесъ во время заключенія въ крѣпости. Правда, онъ былъ на свободѣ, правда, извѣстность и слава его были уже упрочены и находились даже идейныя барышни нѣсколько психопатически настроенныя, просившія его въ видѣ особой милости взять ихъ къ себѣ въ горничныя, но мерзость жизни пересиливала то, что было хорошаго. Съ недостаткомъ въ деньгахъ онъ еще мирился довольно легко и мужественно занимался редакціей переводовъ (Брэма, Шерра и т. д.) по 5 и 7 рублей съ листа, самъ даже переводилъ (Шерра, Исторія Цивилизаціи въ Германіи), но самое обидное было то, что онъ вдругъ остался не у дѣлъ. Онъ поссорился съ Благосвѣтловымъ и поссорился разъ навсегда. По искреннему моему убѣжденію,

здѣсь-то, въ эпизодѣ разлада, а затѣмъ и разрыва съ Писаревымъ проявилась вся мелочность, все буржуйство благосвѣтловской натуры. Ссора произошла разумѣется изъ-за пустяковъ, но эти пустяки были лишь поводомъ, причины же лежали глубже. Суть дѣла мнѣ представляется такою: Благосвѣтловъ, замѣтивъ нервность и переутомленіе Писарева, нѣсколько измѣнилъ тонъ своихъ отношеній къ лучшему своему сотруднику и поспѣшилъ похоронить его талантъ, сталъ намекать, что «мы дескать и безъ васъ очень даже свободно обойдемся». Несомнѣнно, что Благосвѣтловъ съ поразительной пошлостью распускалъ направо и налѣво сплетню о томъ, что Писаревъ выдохся и т. д. Разумѣется, тотъ не могъ этого перенести, и не считая нужнымъ поддѣлываться къ патрону, оставилъ его безъ жалобъ и упрековъ. А вѣдь было бы за что упрекнуть и на что жаловаться, были и обѣщанія со стороны Благосвѣтлова удѣлять Писареву четверть дохода, былъ на виду и тотъ несомнѣнный фактъ, что «Русское Слово» создано было Писаревымъ и держалось, и славилось прежде всего имъ.

Но въ теченіе 66-го года отношенія еще продолжались и Писаревъ работалъ для Благосвѣтловскихъ изданій, сначала въ «Р. Словѣ», прекращенномъ съ январской книги, а затѣмъ написалъ двѣ статьи и для сборника «Лучъ». Въ 67-же году, когда Благосвѣтловъ началъ «Дѣло», Писаревъ не имѣлъ уже съ нимъ болѣе ничего общаго. О ссорѣ своей онъ писалъ Н. В. Шелгунову:

«Николай Васильевичъ! Я передъ вами виноватъ безъ оправданія. Вызвавшись, въ разговорѣ съ Л. П., заботиться объ интересахъ вашей умственной жизни, я до сихъ поръ не только не указалъ вамъ ни одной книги и не сказалъ вамъ ни одного дѣльнаго слова, но и вообще не отвѣтилъ толкомъ ни на одно изъ вашихъ писемъ. Теперь я пишу къ вамъ, чтобы сообщить извѣстіе, которое, по всей вѣроятности, будетъ вамъ очень непріятно, и можетъ быть значительно уронитъ меня въ вашихъ глазахъ. Я разошелся съ тѣмъ журналомъ, въ которомъ мы съ вами работали, и долженъ вамъ признаться, что разошелся не изъ принциповъ и даже не изъ-за денегъ, а просто изъ-за личныхъ неудовольствій съ Григоріемъ Евлампіевичемъ (Благосвѣтловымъ). Онъ поступилъ невѣжливо съ одною изъ моихъ родственницъ, отказался извиниться, когда я этого потребовалъ отъ него, и тутъ же замѣтилъ мнѣ, что если отношенія мои къ журналу могутъ поколебаться отъ каждой мелочи, то этими отношеніями нечего и дорожить. У меня уже заранѣе было рѣшено, что если Г. Е. не извинится, я покончу съ нимъ всякія отношенія. Когда я увидѣлъ изъ его словъ, что онъ считаетъ себя за олицетвореніе журнала и смотритъ на своихъ главныхъ сотрудниковъ, какъ на наемныхъ работниковъ, кото-

рыхъ въ одну минуту можно замѣнить новымъ комплектомъ поденицковъ, то я немедленно раскланялся съ нимъ, принявши мѣры къ обезпеченію того долга, который остался на мнѣ. Эта исторія произошла въ послѣднихъ числахъ мая. Такъ какъ я не имѣю возможности содержать въ Петербургѣ цѣлое семейство, то моя мать и младшая сестра въ началѣ іюня уѣхали въ деревню, а я остался; ищу себѣ переводной работы и веду студенческую жизнь. Теперешній адресъ мой: по Малой Таврической, домъ № 23, кв. № 2. Вы можетъ быть скажете, Николай Васильевичъ, что изъ любви къ идеѣ мнѣ слѣдовало бы уступить и уклониться отъ разрыва. Можетъ быть, это дѣйствительно было бы болѣе достойно серьезнаго общественнаго дѣятеля. Но признаюсь вамъ, что я на это не способенъ».

Итакъ, разрывъ произошелъ. Повторяю, Писаревъ, создавшій «Русское Слово», придавшій ему физіономію, безъ которой оно не имѣло бы ни малѣйшаго права на самостоятельное существованіе, долженъ былъ оставить свой собственный журналъ. Это любопытный фактъ въ исторіи нашей литературы, къ сожалѣнію не единственный. Вѣдь за нѣсколько лѣтъ передъ этимъ то же самое случилось съ Бѣлинскимъ. Любопытно, что оба эпизода даже въ мелочахъ похожи другъ на друга. Все равно какъ Благосвѣтловъ направо и налѣво распускалъ слухи, что Писаревъ выдохся и готовъ былъ похоронить его живымъ, такъ точно поступалъ и Краевскій въ отношеніи къ Бѣлинскому. Все равно какъ «Отечественныя Записки» 40-хъ годовъ были созданы Бѣлинскимъ, такъ и «Русское Слово» было создано Писаревымъ. Тому и другому,—и Бѣлинскому, и Писареву—пришлось испытать всю «черную» неблагодарность со стороны предпринимателей, составившихъ уже себѣ состояніе ихъ трудами и вдохновеніемъ. Какъ литературные работники, они, несмотря на талантъ, несмотря на привязанность и восторги публики, оказались безсильны въ борьбѣ съ издательскимъ капризомъ и мошной. Капризъ и мошна побѣдили: высосавъ изъ Писарева и Бѣлинскаго лучшіе соки, Краевскій и Благосвѣтловъ выбросили ихъ чуть не на мостовую. Какъ угодно, а это недурная иллюстрація къ нашей литературной организаціи.

«Но что же, скажетъ читатель, оставивъ одинъ журналъ, всегда можно найти другой: Бѣлинскій переселился въ *Современникъ*, Писаревъ въ *Отечественныя Записки*...»

Подобное разсужденіе доказываетъ полное незнакомство съ психологіей журналиста. Какъ морякъ привязывается къ своему кораблю и находитъ его самымъ красивымъ изъ всѣхъ, какъ каждый

изъ насъ привязывается къ своему дому, земледѣлецъ къ своей пашнѣ и своему хозяйству—такъ и журналистъ къ своему журналу. Лишь работая въ немъ, чувствуетъ онъ полноту свободы. У него уже есть своя публика, свои поклонники, которые привыкли къ нему, понимаютъ его съ полуслова, извинятъ ему оплошность, лучше другихъ оцѣнятъ его достоинства. Въ своемъ журналѣ ему уже не приходится тратить силъ на приспособленіе: въ новомъ мѣстѣ это необходимо. Не всегда къ тому же бываетъ легкимъ дѣломъ отыскать новое мѣсто. Такъ случилось и съ Писаревымъ.

Оставивъ «Дѣло», онъ очутился не у дѣлъ. Всякій заурядный писатель нашелъ бы себѣ мѣсто въ какомъ-нибудь изъ второстепенныхъ журналовъ, но Писареву нужно было занимать или первое мѣсто, или никакого; первое же мѣсто было возможно для него лишь въ «Дѣлѣ», единственномъ по направленію журналѣ, въ которомъ Писаревъ могъ бы найти себѣ полный просторъ. Отказываясь же отъ «Дѣла», приходилось отказываться и отъ журналистики и какъ разъ въ такое время, когда она походила на утлый челнъ, получившій пробоину. «Современникъ», «Русское Слово» были закрыты окончательно, остались только «Отечественныя Записки», «Литературная Библіотека», «Библіотека для чтенія», «Женскій Вѣстникъ», «Русскій Вѣстникъ», въ которыхъ для писателей «Современника» и «Русскаго Слова» мѣста быть не могло.

Вотъ къ этому-то времени, Писаревъ, въ ноябрѣ 1867 г., опять писалъ Шелгунову:

«Николай Васильевичъ! Я все лѣто собирался написать къ вамъ, а осенью уже пересталъ собираться и подумалъ, что должно быть не напишу никогда. Вчера я получилъ ваше письмо и сегодня отвѣчаю на него. Вы желаете знать подробности о положеніи нашей журналистики. Я самъ стою теперь въ сторонѣ отъ нея. Съ «Дѣломъ» я разошелся въ концѣ мая вслѣдствіе личныхъ неудовольствій, и съ тѣхъ поръ не сходился съ нимъ. Получая книжки «Дѣла» и видя мое имя въ каждой изъ нихъ, вы могли думать, что мы помирились. Но этого нѣтъ и вѣроятно не будетъ. Въ «Дѣлѣ» печаталась и печатается до сихъ поръ моя большая историческая работа, которая была отдана туда задолго до нашего разрыва, и которую я не считалъ себя въ правѣ брать назадъ, тѣмъ болѣе, что начало ея было уже отпечатано. Я не участвую ни въ «Дѣлѣ», ни въ какомъ бы то ни было другомъ журналѣ. Что же у насъ теперь кромѣ «Дѣла» есть въ журналистикѣ? «Отечественныя Записки»—извѣстный вамъ разлагающійся трупъ, въ которомъ скоро и червямъ нечего будетъ ѣсть. «Всемірный Трудъ», въ которомъ роль перваго критика играетъ Николай Соловьевъ; «Ли-

тературная Библіотека» или—вѣрнѣе—собраніе литературныхъ инсинуацій и абсурдовъ; «Женскій Вѣстникъ», котораго издательница ведетъ постоянно до сорока процессовъ въ мировыхъ судахъ по поводу отжиливанья денегъ.

Все, что здѣсь доступно оку.
Спитъ, покой цѣня;
Нѣтъ, не дряхлому востоку
Покорить меня!

«И конечно не этимъ журналамъ заманить меня. Есть дѣйствительно слухи о томъ, что затѣвается новый журналъ, въ которомъ будутъ участвовать нѣкоторые изъ прежнихъ сотрудниковъ «Современника». Но эти слухи много разъ проносились и оказывались ложными или, по крайней мѣрѣ, преждевременными. Какъ бы то ни было, но до сихъ поръ я не получилъ никакого приглашенія участвовать въ этомъ ожидаемомъ журналѣ. И вѣроятно я его не получу. Партія «Современника» меня не любитъ и нѣсколько разъ доказывала печатно, что я очень глупъ. Искренно ли было это мнѣніе—не знаю, но во всякомъ случаѣ сомнѣваюсь, чтобы Антоновичъ и Жуковскій захотѣли работать со мною въ одномъ журналѣ»...

Писаревъ не жалуется. Онъ находитъ еще въ себѣ силу шутить. Но пусть, хотя на основаніи общечеловѣческой психологіи, читатель постарается проникнуть въ его душу. Одна жестокая необходимость (оставивши первое мѣсто въ журналистикѣ и возможность постояннаго общенія съ читателемъ), заниматься переводами ради куска хлѣба—можетъ сломить всякаго. Писаревъ похожъ на рыбу, выброшенную на берегъ.

Посмотримъ, какъ живетъ онъ въ это время. 14-го іюня 67 года онъ пишетъ матери.

«Былъ у Ковалевскаго, желая узнать подробности о тѣхъ работахъ, которыя онъ намѣренъ мнѣ предложить. Встрѣтилъ онъ меня очень дружелюбно. Въ результатѣ свиданія оказалось, что онъ поручитъ мнѣ переводить съ нѣмецкаго книгу Шерра «Исторія Цивилизаціи въ Германіи». Потомъ обѣдалъ въ компаніи у кухмистера по 30 коп. съ персоны».

Отъ 16-го іюля:

«Ты, право, не знаешь, что это значитъ, когда три типографіи съ трехъ разныхъ сторонъ требуютъ матеріала для работы и когда, кромѣ того имѣется въ виду необходимость приготовить черезъ 2 мѣсяца 15 листовъ оригинальнаго писанія. Я перечислю все, что лежитъ у меня теперь на рукахъ: 1) я редактирую переводъ физіологіи Дрепера для Луканина; 2) я редактирую переводъ Брема для

Ковалевскаго; 3) къ октябрю я долженъ перевести 5 листовъ Дрепера и 4) 15 листовъ Шерра; 5) къ октябрю я долженъ приготовить для Некрасовскаго сборника 15 листовъ оригинальной работы».

Въ этой скучной, сѣренькой жизни было однако кое-что свѣтлое. Прежде всего замѣтимъ, что Некрасовъ, этотъ прозорливый журналистъ, съ чутьемъ настоящаго редактора завязалъ сношенія съ Писаревымъ. Случилось это такъ:

«Ко мнѣ—пишетъ Писаревъ матери (отъ 3-го іюля 1867 г.)—неожиданно явился утромъ книгопродавецъ Звонаревъ и сообщилъ мнѣ, что Некрасовъ желалъ бы повидаться со мною для переговоровъ о сборникѣ, который онъ намѣренъ издать осенью. Если, дескать, Вы желаете, Николай Алексѣевичъ сами пріѣдутъ къ Вамъ, а если можно, то они просятъ пожаловать къ нимъ сегодня утромъ. Я отвѣтилъ, что пожалую—и поѣхалъ. Пріемъ былъ разумѣется самый любезный. Съ перваго взгляда Некрасовъ мнѣ ужасно не понравился, мнѣ показалось у него въ лицѣ что-то до крайности фальшивое. Но уже минутъ черезъ пять свиданія прелесть очень большаго и дѣятельнаго ума выступила передо мною на первый планъ и совершенно изгладила собою первое непріятное впечатлѣніе. Было говорено достаточно—и о сборникѣ, и о предполагаемомъ журналѣ, и о литературѣ, и о современномъ положеніи дѣлъ. Практическій результатъ свиданія получался слѣдующій. Некрасовъ просилъ меня написать для Сборника статьи 2—3, всего листовъ 10, о чемъ я самъ пожелаю. Я рѣшилъ, что о «Дымѣ», потомъ о романахъ Андре Лео и еще о Дидеро. Все это Некрасовъ совершенно одобрилъ. Я сказалъ, что мнѣ платили въ «Русск. Словѣ» и въ «Дѣлѣ» по 50 рублей за листъ и что меньше этого я взять не могу. На это Некрасовъ отвѣчалъ, что онъ никогда не рѣшится предложить мнѣ такую плату и что въ его сборникѣ норма будетъ 75 р. за листъ. Я согласился и на это. Затѣмъ я сказалъ, что въ настоящее время я живу переводами и что мнѣ, для того чтобы работать для сборника, надо будетъ на нѣсколько недѣль отказаться отъ переводовъ. Чтобы существовать во время этихъ нѣсколькихъ недѣль—потребуются деньги, а у меня ихъ нѣтъ. Некрасовъ предложилъ мнѣ немедленно впередъ сколько потребуется. Я отказался отъ наличныхъ, но попросилъ записку, по которой, въ случаѣ надобности, могу немедленно получить 200 р. Записка была немедленно написана и лежитъ у меня въ шкатулкѣ».

Значитъ, со стороны работы дѣло нѣсколько прояснялось, но къ сожалѣнію силы были надорваны и пять лѣтъ заключенія давали себя чувствовать. Писаревъ видѣлъ это, сознавалъ это и мучился. «Я, пишетъ онъ, напр., совершенно здоровъ, т. е. хорошо ѣмъ, хорошо сплю и т. д. Но неумѣнье думать, читать и писать продолжается. Вернется ли?...»

Про то же говоритъ и А. М. Скабичевскій, навѣстившій Писарева въ 1867 г.

«Я—разсказываетъ онъ—засталъ Писарева въ хандрѣ и раздражительности. Онъ жаловался, что ничего у него не пишется: напишетъ страницу и сейчасъ же разорветъ.

«— А все причиной моя несчастная любовь!—воскликнулъ онъ съ тою прозрачною откровенностью, какою всегда отличался:—такъ ужъ вѣрно суждено мнѣ въ жизни—влюбляться въ своихъ кузинъ и каждый разъ безуспѣшно... А я чувствую, что строчки не напишу, пока не добьюсь торжества своей любви».

Писаревъ говоритъ тутъ о своей любви къ М. М. И эта любовь не много радостей принесла ему, да и дни его уже были сочтены.

Въ 68-мъ году открылись «Отечественныя Записки» Некрасова и Писаревъ перешелъ въ нихъ.

«Сторонники «Русскаго Слова»—пишетъ А. М. Скабичевскій,—превратившагося въ 1867 году въ «Дѣло», говорили, что, перейдя въ «Отечественныя Записки», Писаревъ совсѣмъ пересталъ быть прежнимъ Писаревымъ, увялъ и обезцвѣтился. Но это было одно пустое злорѣчіе. Если и въ самомъ дѣлѣ послѣдніе три года жизни Писарева не ознаменовались никакимъ яркимъ проявленіемъ его таланта, то какія бы обстоятельства ни были причиною этого, во всякомъ случаѣ переходъ въ «Отечественныя Записки» былъ тутъ не при чемъ. Сильно сомнѣваюсь я, чтобы Благосвѣтловъ могъ имѣть на Писарева какое бы то ни было вдохновляющее вліяніе, а что платилъ онъ ему за статьи, составлявшія главную силу и украшеніе «Русскаго Слова», возмутительно мало и скаредно, этого никто не оспоритъ. «Отечественныя Записки», обѣщая Писареву не въ примѣръ большее матеріальное обезпеченіе, въ то же время предоставляли полный просторъ для его пера. Онъ могъ быть спокоенъ, что каждая статья его, что̀ бы онъ ни написалъ, будетъ съ радостью принята.

«Но правда и то, что, несмотря на все это, Писареву все-таки въ «Отеч. Запискахъ» было не по себѣ, и это очень понятно. Въ «Русскомъ Словѣ» его хотя и обсчитывали, но за нимъ все-таки ухаживали, устраивали нарочно для него карточные вечера по маленькой, смотрѣли на него снизу вверхъ, и онъ рядомъ съ прочими сотрудниками чувствовалъ себя великаномъ среди пигмеевъ. Въ «Отечественныхъ Запискахъ» передъ такими престарѣлыми уже корифеями, какъ Некрасовъ, Салтыковъ, Елисѣевъ,—Писаревъ чув-

ствовалъ себя хотя и талантливымъ, но все-таки молодымъ. Поэтому онъ никогда почти не бывалъ въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ». Только два раза видѣлъ я его въ квартирѣ Некрасова: разъ это было на первомъ обѣдѣ, который далъ Некрасовъ своимъ сотрудникамъ по выходѣ первой книжки «Отечественныхъ Записокъ» подъ новой редакціей въ 1868 году. Писаревъ сидѣлъ на этомъ обѣдѣ рядомъ со мною, молчаливый, сосредоточенный, нѣсколько даже растерянный среди людей мало ему знакомыхъ, между которыми къ тому же были такія личности, какъ Салтыковъ, къ которымъ онъ такъ недавно еще относился съ самыми безпощадными сарказмами въ разгаръ своей полемики съ «Современникомъ».

«Въ другой разъ—продолжаетъ А. М. Скабичевскій,—я встрѣтилъ Писарева въ редакціи «Отечественныхъ Записокъ» въ одинъ изъ понедѣльниковъ, когда члены редакціи и сотрудники собирались обыкновенно отъ двухъ до четырехъ часовъ, весною въ апрѣлѣ или маѣ 1868 года. Онъ влетѣлъ въ редакцію на этотъ разъ такой веселый и оживленный, какимъ я его давно не видѣлъ.—«Должно быть—подумалъ я невольно—онъ дождался праздника своей любви!»—Пришелъ онъ съ цѣлью проститься передъ своимъ отъѣздомъ на лѣто въ Дуббельнъ на морскія купанья. Восторженное расположеніе духа его, «сіяніе», какъ онъ самъ выражался о подобныхъ моментахъ своей жизни, еще болѣе просіяло, когда вошла въ редакцію совершенно незнакомая ему дѣвушка съ большимъ поясным фотографическимъ портретомъ его и, узнавши подлинникъ, подошла къ нему съ робкою просьбою подписаться подъ портретомъ, что Писаревъ тотчасъ же конечно охотно исполнилъ. Самолюбіе его естественно было польщено этимъ проявленіемъ популярности его, тѣмъ болѣе, что оно произошло въ глазахъ людей, передъ которыми Писареву особенно должно было быть пріятно заявить свою популярность. Въ этомъ отношеніи, надо правду сказать, поклонница его не могла избрать болѣе счастливаго момента для того дѣла, съ которымъ явилась къ Писареву. Кто она? жива ли? и если жива, гдѣ она? Помнитъ ли этотъ эпизодъ въ своей жизни? Во всякомъ случаѣ большое ей спасибо за то, что она доставила лишнее свѣтлое мгновеніе человѣку, который вполнѣ заслужилъ такого почета, какой она ему оказала.

«Думалъ ли я въ то время, что вижу Писарева въ послѣдній разъ? Въ то же лѣто его не стало. Онъ, какъ извѣстно, утонулъ, купаясь въ морѣ, въ Дуббельнѣ, гдѣ проводилъ лѣто. Замѣчателенъ въ этомъ

отношеніи тяготѣвшій надъ нимъ фатумъ: три раза въ своей жизни онъ подвергался опасности утонуть. Въ первый разъ онъ едва не утонулъ въ дѣтствѣ, купаясь въ рѣчкѣ, въ деревнѣ на своей родинѣ,—его вытащилъ уже полумертваго мужикъ. Во второй разъ онъ подвергся опасности утонуть, будучи на первомъ курсѣ университета. Извѣстно, что въ университетъ онъ поступилъ очень рано—пятнадцатилѣтнимъ мальчикомъ. И вотъ такой студентъ-отрокъ однажды весною, незадолго до вскрытія рѣкъ, шелъ черезъ Неву и вздумалось ему испробовать прочность льда, затянувшаго тонкимъ слоемъ тѣ продольныя полыньи, какія весною устраиваются для предстоящей разводки мостовъ. Онъ ступилъ обѣими ногами въ полынью, и тотчасъ же провалился по-горло. И опять-таки явился на помощь спасительный мужикъ, шедшій сзади, и вытащилъ барина за воротникъ пальто.

«На третій разъ въ Дуббельнѣ спасительнаго мужика не оказалось. Замѣчательно, что въ то время, какъ другіе тонутъ, оттого что не умѣютъ плавать, Писаревъ напротивъ того обязанъ своею смертію именно тому, что былъ слишкомъ хорошій и отважный пловецъ. Вотъ какъ произошла печальная катастрофа, какъ мнѣ передавали потомъ близкіе люди Писарева, жившіе съ нимъ въ Дуббельнѣ. Купальное мѣсто, гдѣ бралъ морскія ванны Писаревъ, было расположено такъ, что съ берега на нѣкоторое разстояніе было мелко; затѣмъ слѣдовалъ глубокій фарватеръ. За нимъ — мель; далѣе—опять глубокое мѣсто, опять мель. Будучи хорошимъ пловцомъ, Писаревъ такимъ образомъ переплывалъ два или три фарватера, отдыхая на каждой промежуточной мели. Такъ случилось и на этотъ разъ: судя по тому, гдѣ было найдено его тѣло, можно заключить, что онъ благополучно переплылъ два глубокія мѣста, а въ третьемъ утонулъ,—вслѣдствіе ли нервнаго удара или судорогъ осталось покрытымъ мракомъ неизвѣстности. Онъ пошелъ купаться одинъ; мѣсто, гдѣ онъ купался, было пустынное, и въ то же время онъ такъ далеко уплылъ, что никто не замѣтилъ, когда онъ погрузился въ воду. Лишь продолжительное отсутствіе его возбудило тревогу въ близкихъ; начались поиски, причемъ тѣло его было найдено и вынуто изъ воды рыбаками по прошествіи многихъ часовъ послѣ несчастія. Это былъ вполнѣ уже бездыханный трупъ, и о спасеніи жизни утопшаго нечего было и думать.

«Таинственная смерть Писарева не замедлила возбудить массу нелѣпѣйшихъ слуховъ и сплетенъ въ литературныхъ кружкахъ.

Такъ напримѣръ, и до сихъ поръ многіе подозрѣваютъ, что Писаревъ сознательно наложилъ на себя руки, умышленно утопился. Но это подозрѣніе лишено всякихъ основаній. Правда, что послѣ психической болѣзни въ студенческіе годы, отъ которой Писаревъ лечился въ больницѣ Штейна, у него оставались на всю жизнь нѣкоторые признаки психической ненормальности. Онъ вполнѣ оправдывалъ въ этомъ отношеніи теорію Ломброзо, что геніи и талантливые люди по самой природѣ своей—люди психически больные. Но ненормальности эти имѣли самый невинный характеръ, выражаясь лишь въ минутныхъ странностяхъ и чудачествахъ всякаго рода. То напримѣръ вдругъ ни съ того, ни съ сего, бросивъ спѣшную работу, увлекался онъ ребяческимъ занятіемъ раскрашиванья красками политипажей въ книгахъ; то, отправляясь лѣтомъ въ деревню, заказывалъ портному лѣтнюю пару изъ ситца яркихъ колеровъ, изъ какихъ деревенскія бабы шьютъ сарафаны. По выходѣ изъ крѣпости Писаревъ пришелъ въ крайне возбужденное состояніе, выразившееся рядомъ совершенно несообразныхъ поступковъ: за обѣдомъ напримѣръ въ одномъ домѣ, кажется у Благосвѣтлова, онъ смѣшалъ на одну тарелку всѣ кушанья и ѣлъ эту мѣшанину, началъ вдругъ раздѣваться въ обществѣ и т. п. Но это скоро прошло, и Писаревъ, быстро освоившись съ свободою, вошелъ въ свою колею. Но при всѣхъ этихъ чудачествахъ никогда не былъ онъ подверженъ мрачной меланхоліи, пессимизму, отчаянію. Въ общемъ настроеніе духа его было всегда полно жизнерадостнаго сознанія своихъ богатыхъ силъ, таланта и популярности. Сіялъ онъ, уѣзжая въ Дуббельнъ «для поправленія расшатанныхъ нервовъ», какъ онъ объяснялъ выборъ дачной мѣстности, сіялъ и въ день смерти. По крайней мѣрѣ, по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, какія я имѣю, отправляясь купаться, онъ былъ особенно веселъ, оживленъ и доволенъ собою и всѣмъ окружавшимъ его, однимъ словомъ пилъ съ наслажденіемъ полную чашу жизни».

Онъ умеръ 4-го іюля 1868 года.

Писарева схоронили на Волковомъ кладбищѣ. Благосвѣтловъ въ день похоронъ писалъ Н. В. Шелгунову: «Сегодня похоронили Писарева. Свинцовый гробъ его (около 40 пудовъ) несли до самой могилы, верстъ пять, молодые люди и даже молодыя дамы помогали. Человѣкъ двѣсти шло за гробомъ, и я радовался, что кружокъ умныхъ и честныхъ людей понемногу растетъ. При похоронахъ Добролюбова, несмотря на то, что онѣ были въ ноябрѣ, т. е. при полномъ

сборѣ людей, понимающихъ его, я видѣлъ не болѣе 50-ти человѣкъ. Послѣ нѣсколькихъ словъ, сказанныхъ мною надъ могилой Писарева, двѣ дамы, заливаясь слезами, бросились на его могилу и стали цѣловать ее. Я дальше не могъ говорить и самъ заплакалъ».

Тутъ же, на могилѣ, во время похоронъ была открыта подписка, но не на памятникъ, а для стипендіи имени Писарева. «И безъ памятника не потеряется его могила,—писалъ Благосвѣтловъ,—а это все, что нужно. Собрано было на могилѣ рублей 700, и авось цифра достигнетъ того итога, какой нуженъ хоть для уплаты двухъ матрикулъ двумъ бѣднымъ студентамъ».

«Какая удивительная судьба,—прибавляетъ отъ себя Н. В. Шелгуновъ.—Въ 1860—61 гг. (будучи 20-ти лѣтъ) Писаревъ, едва выступившій въ журналистику, сразу обращаетъ на себя вниманіе, слѣдующіе затѣмъ 4 года онъ проводитъ въ заключеніи и создаетъ себѣ громкую извѣстность и широкое вліяніе; обезсиленный излишне-напряженной нервной жизнью, Писаревъ выходитъ на свободу съ надорванными силами, а черезъ 1 ½ года друзья и почитатели уже плачутъ надъ его могилой. Едвали есть другой примѣръ такъ быстро и ярко изгорѣвшей человѣческой жизни, лишенной всего того, что люди обыкновенно зовутъ счастьемъ. У Писарева не было личной жизни, и въ обыденномъ, и въ необыденномъ смыслѣ; сначала онъ къ чему-то готовился, потомъ напряженно думалъ, потомъ, охваченный нахлынувшими впечатлѣніями, которыхъ онъ былъ лишенъ впродолженіи 4-хъ лѣтъ, потерялъ равновѣсіе и внезапно умеръ. И это чувство жизни, оставшееся неудовлетвореннымъ и постоянно напоминавшее о себѣ, служитъ разгадкою характера Писарева и характера его думъ и размышленій. Онъ кажется и въ самомъ дѣлѣ считалъ себя глубокимъ эгоистомъ и по убѣжденію, и по природѣ. Какъ же поступалъ этотъ глубокій эгоистъ и на что истратилъ онъ свою жизнь? Всю эту жизнь, всѣ свои силы, Писаревъ истратилъ, проповѣдуя, несмотря ни на что и въ безвыходномъ уединеніи, свою честную идею, къ которой онъ шелъ прямо, не оглядываясь ни назадъ, ни впередъ, къ своей цѣли. На могилѣ другого такого-же эгоиста Добролюбова Некрасовъ сказалъ: «Бѣдное дѣтство въ домѣ бѣднаго сельскаго священника, бѣдное, полуголодное ученье; потомъ 4 года лихорадочнаго неутомимаго труда и наконецъ годъ за-границей, проведенный въ предчувствіяхъ смерти—вотъ и вся біографія Добролюбова». Мало чѣмъ краше и біографія Писарева.

Его похоронили противъ Добролюбова черезъ дорожку и теперь на Волковомъ кладбищѣ — Бѣлинскій, Добролюбовъ и Писаревъ спятъ рядомъ вѣчнымъ сномъ...

---

Прежде чѣмъ перейти къ оцѣнкѣ роли Писарева въ исторіи русскаго просвѣщенія, позволю себѣ дать его характеристику, *какъ личности.*

По приложенному портрету читатель видитъ, что онъ обладалъ красивымъ, умнымъ и благороднымъ лицомъ. Его манеры, нѣсколько развязныя въ студенческіе годы, стали впослѣдствіи сдержанными, такъ что своей внѣшностью онъ въ полномъ смыслѣ этого слова напоминалъ джентльмэна. Шелгуновъ, встрѣтивъ его въ 1861 г., разсказываетъ о своей встрѣчѣ слѣдующее: «Разъ утромъ я зашелъ къ Благосвѣтлову. Въ первой комнатѣ у конторки стоялъ щеголевато одѣтый, совсѣмъ еще молодой человѣкъ, почти юноша, съ открытымъ, яснымъ лицомъ, большимъ хорошо очерченнымъ умнымъ лбомъ и съ большими умными, красивыми глазами. Юноша держалъ себя нѣсколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигурѣ чувствовалась боевая готовность. Это былъ Писаревъ. Благосвѣтловъ назвалъ насъ по фамиліи, мы пожали другъ другу руки и перекинулись какими-то незначительными фразами». Этотъ красиво нарисованный Шелгуновымъ портретъ Писарева можетъ дать читателю наилучшее представленіе о его внѣшности. Самоувѣренная, спокойная гордость сознающаго свою силу таланта выражалась въ его лицѣ, во всей его фигурѣ. «Его что-то приподнимало»—говоритъ Шелгуновъ, и мы легко понимаемъ, что этимъ «что-то» была юность и неизвѣданная еще глубина волнующихся силъ. Наружность Писарева, какъ и его слогъ, отличались той же уравновѣшенной страстностью и тою же смѣлою самоувѣренностью бойца, безъ всякой торопливости и нервности—этихъ вѣчныхъ признаковъ мелкихъ душъ и робкихъ характеровъ.

Казалось бы, что человѣкъ, обладающій такой наружностью и такимъ блестящимъ талантомъ, какъ Писаревъ, долженъ былъ пользоваться большимъ успѣхомъ среди женщинъ. Однако исторія его несчастной любви доказываетъ, что дѣло обстояло совершенно иначе. Онъ возбуждалъ лишь платоническіе восторги и привязанности. Какъ Тургеневъ, онъ былъ «однолюбцемъ»; страсть къ одному существу всецѣло овладѣвала имъ и поглощала его. Ничего донъ-жуанскаго не

было въ его натурѣ, чтобы ни говорилъ онъ о своемъ эпикуреизмѣ. Женщины увлекались не имъ, а его талантомъ, ореоломъ его славы,

Отношенія Писарева къ кузинѣ и матери показываютъ, что онъ былъ способенъ на привязанность безъ измѣны и уклоненія. Мать онъ любилъ горячо, страстно, въ тяжелыя минуты жизни онъ обращался къ ней съ письмами и признаніями, глубиной своего чувства напоминающими признанія Некрасова. Одинаково сердечно относился онъ всегда и къ отцу, и къ сестрамъ, помогая послѣднимъ, гдѣ могъ, своими совѣтами, книгами, деньгами.

Честолюбіе не мучило его, но онъ зналъ себѣ цѣну и требовалъ ея признанія. Быстрый, имѣющій мало подобныхъ себѣ въ исторіи литературы успѣхъ не вскружилъ ему головы, а напротивъ, какъ здоровому человѣку, придалъ еще больше силъ, еще больше желанія работать на томъ поприщѣ, гдѣ его сразу встрѣтили съ изумленіемъ и восторгомъ, злобою, негодованіемъ и завистью. Въ немъ была чудная черта мужества жизни, не дававшая ему впадать въ уныніе. Онъ сильно и бодро смотрѣлъ въ глаза будущему, готовый на все,— удачи и неудачи, радости и испытанія. Перечтите его письма изъ крѣпости, припомните его гордыя слова послѣ прекращенія «Русскаго Слова»... Только непомѣрная работа подточила его силы и мужество, но не неудачи. Хорошій человѣкъ на мѣстѣ Благосвѣтлова, понимая что̀ сдѣлалъ Писаревъ для «Русскаго Слова» и русской литературы, далъ бы ему возможность оправиться и привести въ порядокъ измученные нервы. Трудно сомнѣваться, что годъ или два полнаго отдыха, вотъ все, что нужно было Писареву, чтобы засвѣтить попрежнему, но увы — не въ наше торгашеское время можно отдохнуть, и сколько силъ, сколько талантовъ упало измученными среди дороги, сколько плетутся по ней, утерявъ бодрость и вѣру отъ простаго переутомленія!..

Обычныя явленія нашей русской душевной жизни, извѣстныя подъ именемъ «больная совѣсть», «больной умъ», не были, къ счастью, знакомы Писареву. Живя въ душной атмосферѣ, иные выработали совершенно особенное мѣрило для людей. Они цѣнятъ и такихъ, кто утерялъ всякую смѣлость и бодрость душевную, кто не смѣетъ признать своего права на личное счастье, кто ушелъ въ уголъ и страдаетъ тамъ, униженный и пригнетенный. Отчасти они правы. Но для жизни безконечно дороже другіе—бодрые и смѣлые, готовые на борьбу и побѣду, съ сильно развитымъ чувствомъ своихъ неотъемлемыхъ, на широкое человѣческое существованіе. Къ такимъ принадлежалъ Д. И. Писаревъ. Онъ не казнился неоплатнымъ долгомъ

передъ народомъ, не давалъ впечатлѣніямъ жизни давить себя. Не закрывая на нихъ глаза, онъ въ то же время не боялся ихъ.

Жилъ Писаревъ всегда очень скромно, то въ меблированной комнаткѣ, то въ крошечныхъ квартиркахъ. Получая 1500—2000 въ годъ (всего!), онъ и не могъ жить иначе и былъ доволенъ. Семья, книги, работа—вотъ его идеалъ. Знакомыхъ у него было немного, и вообще онъ не легко сходился съ людьми, но рѣдкимъ качествомъ—способностью пріобрѣтать друзей и оставаться имъ вѣрнымъ—онъ обладалъ въ большой степени. Онъ былъ сердечной натурой, не смотря на свою строгость въ отношеніи къ людямъ.

Надѣюсь, біографія его доказала читателю, что онъ былъ не только большимъ писателемъ, но и большимъ человѣкомъ. Правдивость и мужество—рѣдкія качества, какъ самородныя глыбы золота—служили лучшимъ украшеніемъ его характера. Но правдивость и мужество создаютъ большихъ людей. Ни то, ни другое не доступно маленькимъ, робкимъ смертнымъ.

---

## Заключеніе.

Установить связь идей Писарева съ идеями его предшественниковъ — нетрудно. Припомните, какъ отстаивалъ Бѣлинскій личную свободу и самостоятельность.

Современники то и дѣло обвиняли его за то, что онъ не признаетъ никакихъ литературныхъ авторитетовъ и осмѣливается по поводу каждаго разбираемаго имъ автора свое сужденіе имѣть. Обвиненіе совершенно справедливое, но мы разумѣется поставимъ его въ заслугу великому критику. Это «свое сужденіе» и создало его славу, оно — его право на безсмертіе. Литературный авторитетъ такъ же вреденъ, какъ и всякій другой, разъ человѣкъ подчиняется ему не сознательно, а лишь изъ робости мысли и чувства, словомъ—съ чужого голоса. Личность всякаго человѣка должна быть свободна. Этому училъ Бѣлинскій. Разумѣется, что эмансипація личности не ограничивалась у него областью литературы и критики. Вооруженный тѣмъ же принципомъ, онъ смѣло подходилъ къ вопросамъ любви, семейной и государственной жизни.

«Нашъ романтизмъ—говоритъ онъ—хлопочетъ не о томъ, однажды или дважды должно и можно любить въ жизни, но о томъ, чтобы разбить другого предавшагося вамъ сердца и не быть причиной несчастія его жизни. Одинъ такъ, другой иначе; тотъ — одинъ разъ въ жизни, этотъ — десять разъ; оба равно правы, лишь-бы только на совѣсти котораго-нибудь изъ нихъ не легло ничье несчастье».

Любовь д. б. свободна, и человѣку нечего взваливать на себя ка-

кихъ бы то ни было обязательствъ въ дѣлѣ чувства. «Нѣтъ болѣе чувства—пишетъ Бѣлинскій—и вѣрность теряетъ свой смыслъ». Тоже и на счетъ власти родительской: «еслибы отецъ нашего времени сталъ отнимать у сына ложе его жизни на основаніи собственныхъ корыстныхъ разсчетовъ,—всѣ бы увидѣли, что отецъ любитъ себя, а не сына, и тѣмъ самымъ уничтожаетъ свои права надъ нимъ: ибо, если нѣтъ любви, связывающей отца съ дѣтьми, то у дѣтей нѣтъ отца».

Не такое было время, чтобы Бѣлинскій могъ высказываться свободно, но всеже его симпатіи и антипатіи намъ извѣстны очень хорошо. Чтó привлекало когда-то въ его статьяхъ, чтò продолжаетъ привлекать въ нихъ и въ настоящее время? Очевидно одно: уваженіе къ человѣку, настойчивое требованіе простора для мысли и чувства. Не даромъ же Писаревъ съ такой почтительностью относился къ Бѣлинскому: онъ продолжалъ его дѣло.

Идея эмансипаціи личности разрушила крѣпостное право, создала реформы 60-хъ годовъ и внесла много свѣту въ темную область старинныхъ семейныхъ условій. Для русской жизни она была откровеніемъ и продолжаетъ быть имъ до настоящаго времени. Какъ пропагандировалъ ее Писаревъ—мы знаемъ.

Слѣдуя духу времени, онъ придалъ ей рѣзкую гражданско-утилитарную окраску. Этой стороной своего міросозерцанія онъ вплотную приросъ къ 60-мъ годамъ и несомнѣнно является однимъ изъ самыхъ яркихъ и талантливыхъ представителей «идеализма земли». Онъ цѣнилъ все, чтó улучшаетъ бытіе человѣка здѣсь на землѣ, но одинъ вопросъ постоянно смущалъ—и при томъ совершенно основательно смущалъ его мысль: можно ли вливать новое вино въ старые мѣхи?

Какой прокъ можетъ выйти изъ всѣхъ реформъ и благихъ начинаній, разъ самые люди ничтожны? Что подѣлаете вы съ карликами и господами, приспособленными лишь къ матрышкину труду? Только то обновленіе прочно, которое воспринято критически-мыслящими умами. Исторія послѣднихъ 30-ти лѣтъ доказала, что Писаревъ правъ. Оттого-то онъ и сосредоточилъ всѣ свои усилія на созданіи интеллигентныхъ людей, мысль которыхъ являлась бы основой хорошей человѣческой жизни. Оттого-то онъ такъ страстно проповѣдывалъ критику и науку. Остановимся на минуту на терминѣ *интеллигентный человѣкъ*. Это приведетъ насъ къ философско-историческимъ взглядамъ Писарева.

Интеллигентнымъ человѣкомъ Писаревъ называлъ того, у кого въ головѣ есть своя самостоятельная мысль. Дѣло не въ образованіи, не въ знаніи и не въ манерахъ, а дѣло въ томъ, чтобы человѣкъ въ своей собственной жизни, по мѣрѣ силъ и способностей, повторилъ умственный опытъ человѣчества, насколько это конечно возможно.

Каждую формулу необходимо понимать въ предѣлахъ, указуемыхъ благоразуміемъ. Если говорятъ, что надо повторить опытъ человѣчества, то это совсѣмъ не значитъ, что слѣдуетъ каждому начинать съ состоянія троглодита, изобрѣсти самому панталоны и куртки, пройдя предварительно черезъ стадію звѣриныхъ шкуръ, потомъ—огонь, потомъ — начальство, ибо «нѣтъ зла хуже беззаконія»— и т. д. вплоть до философіи Канта и Спенсера включительно. Это совсѣмъ пустяки. Панталоны и куртки изобрѣтены и довольно уже давно, Кантъ и Спенсеръ свою философію написали и изобрѣтать изобрѣтенныя вещи значитъ совсѣмъ напрасно тратить время. Но начать съ того, что въ самомъ способѣ воспріятія выработаннаго уже матеріала есть большая разница. Можно воспринимать такъ, какъ галчата поступаютъ: раскроютъ рты, мамаша имъ туда положитъ насѣкомое, они проглотятъ, переварятъ и выбросятъ. Такъ когда-то барышни дѣлали, да и тѣ теперь въ этомъ разочаровались. Можно воспринимать иначе: съ полнымъ уваженіемъ къ авторитету и вмѣстѣ съ тѣмъ съ полнымъ желаніемъ сохранить свою самостоятельность.

Это законно и даже необходимо. Знаменитое декартовское «doute absolue» еще и теперь не утеряло своего громаднаго значенія для развитія, и я думаю никогда его не утеряетъ. Нельзя конечно во всемъ сомнѣваться и ко всему относиться недовѣрчиво. Это мотовство и самомнѣніе. Когда вамъ говорятъ: «дважды два—четыре», что тутъ спорить?

Писаревъ постоянно твердилъ, что дорога самостоятельнаго мышленія съ должной дозой скептицизма и критицизма—вотъ единственно что̀ вырабатываетъ интеллигентныхъ людей, а не ходячія формулы. Формулы могутъ быть очень симпатичны, но люди воплощающіе ихъ могутъ тѣмъ не менѣе ни къ чорту ни годиться. Они очень скучны—это вопервыхъ; очень подозрительны—это вовторыхъ. Да, подозрительны. Вѣдь если они съ такой легкостью восприняли сегодня одну формулу, то кто-же поручится, что завтра они не воспримутъ съ одинаковой легкостью другой формулы, прямо противоположной

первой? Вѣдь процессъ: раскрыть ротъ, проглотить и переварить— отъ этого не мѣняется.

Выработавъ себя путемъ самостоятельнаго мышленія, интеллигентный человѣкъ отличается поэтому двумя качествами: чувствительностью къ личному опыту—*вопервыхъ*; вѣротерпимостью — *вовторыхъ*.

Можно образовать попугая и сдѣлать обезьяну очень прилично образованной молодой особой. Но попугай всю свою попугайскую жизнь будетъ твердить одно: «дуракъ попка», а обезьяна—повторять рядъ извѣстныхъ тѣлодвиженій. Это-то и грустно, что и среди людей нерѣдкость тѣ же самыя попугайство и обезъяничанье.

Люди, у которыхъ прекрасно развита шишка двуперстія, къ личному опыту, да и не только къ личному, а и вообще ни къ какому опыту не чувствительны. Имъ хоть колъ на головѣ теши, а они знай свое повторяютъ: «Исусъ», да «Исусъ». Не помню, какому-то типичному аббату среднихъ вѣковъ ученикъ сообщилъ свое астрономическое открытіе, что «на солнцѣ есть пятна».

— Другъ мой,—отвѣчалъ типичный аббатъ—я всю жизнь внимательно читалъ Аристотеля и никакихъ пятенъ на солнцѣ у него не показано. Совѣтую и тебѣ перечесть внимательно творенія мудреца.

Въ данномъ случаѣ очевидно, что между двуперстіемъ и твореніями мудреца рѣшительно никакой разницы нѣтъ. Но это-то двуперстіе и уничтожаетъ всю красоту, всю полезность интеллигентной дѣятельности. Писаревъ ни въ чемъ другомъ ея красоты не видѣлъ, какъ именно въ оригинальности, въ самостоятельности, а когда передо мной, вмѣсто этихъ прекрасныхъ качествъ, штампъ, то, признаться, ничего кромѣ скуки и самаго искренняго позыва къ зѣвотѣ—никто и ощутить не можетъ.

«Увлечься идеею—говоритъ онъ—не трудно, подчиниться идеѣ способенъ человѣкъ очень ограниченныхъ способностей, но такой человѣкъ не принесетъ идеѣ никакой пользы и самъ не выжметъ изъ этой идеи никакихъ плодотворныхъ результатовъ. Чтобы переработать идею, напротивъ того, необходимъ живой мозгъ; только тотъ, кто переработалъ идею, способенъ сдѣлаться дѣятелемъ или измѣнить условія своей собственной жизни подъ вліяніемъ воспринятой имъ идеи, т. е. только такой человѣкъ способенъ служить идеѣ и извлекать изъ нея для самого себя осязательную пользу. Подчиняются идеямъ многіе, овладѣваютъ ими избранныя личности;

оттого въ тѣхъ слояхъ нашего общества, которые называютъ себя образованными, господствуютъ идеи, но эти идеи не живутъ; идея только тогда и живетъ, когда человѣкъ вырабатываетъ ее силами собственнаго мозга; какъ только она перешла въ категорическій законъ, которому всѣ подчиняются, такъ она застыла, умерла и начинаетъ разлагаться»...

Въ этихъ словахъ Писарева какъ нельзя лучше изложена разница между человѣкомъ интеллигентнымъ, въ которомъ идея *живетъ*, и человѣкомъ образованнымъ, въ которомъ она лишь *пребываетъ*.

Интеллигентныхъ людей характеризуетъ творческая способность, творческая самостоятельность. Степень этой способности можетъ быть очень различна, но, малая или великая, она должна быть и при лучшихъ условіяхъ можетъ быть у большинства.

*Такъ* смотрѣлъ Писаревъ на интеллигентныхъ людей. Они— соль земли, иниціаторы всего хорошаго, ихъ критическая мысль— залогъ прогресса и устойчивости этого прогресса.

Слѣдовательно, чтобы пересоздать жизнь, надо прежде всего эмансипировать личность и открыть ей дорогу, какъ къ развитію, такъ и проявленію самой себя.

* * *

Совершенно понятно, почему идея эмансипаціи личности такъ страстно пропагандировалась русской журналистикой съ самой минуты ея сознательнаго пробужденія и проходитъ красною нитью черезъ сочиненія лучшихъ нашихъ критиковъ и публицистовъ. На Западѣ личность сознала себя уже въ XVI вѣкѣ и потребовала къ себѣ вниманія и уваженія, хотябы въ области религіозныхъ вѣрованій. Карлейль увѣряетъ, что новую исторію надо начинать со словъ Лютера: «hier stehe ich und anders kann ich nicht. Gott helfe mir», т. е. «я настаиваю на томъ, что *это* истина, иначе думать и вѣрить не могу. Богъ да поможетъ мнѣ». Лютеръ сказалъ, что *онъ* имѣетъ право толковать священное писаніе, какъ *онъ* его понимаетъ, и вѣрить сообразно съ *своимъ* разумомъ. Французская революція признала личность, какъ политическую единицу, и лишь особенныя обстоятельства ограничили понятіе личности принадлежностью къ одному классу собственниковъ — буржуа. Въ буржуазной же средѣ личность достигла и экономической независимости, но опять это была не простая человѣческая личность, а собственница

Какъ бы то ни было, въ теченіе XIX вѣка Европа добилась правовой эмансипаціи личности и могла всѣ усилія свои сосредоточить на томъ, чтобы дать праву реальность, т. е. обезпечить его въ экономическомъ отношеніи.

У насъ по этой части все шло шиворотъ на выворотъ. Мы учились у Запада, жадно прислушивались къ тому, что проповѣдуется съ берлинскихъ каѳедръ и парижскихъ трибунъ, читали Жоржъ Занда, Блана и пр., а между тѣмъ государственная жизнь покоилась на крѣпостномъ правѣ, т. е. на полнѣйшемъ отрицаніи личности, семья—на идеяхъ Домостроя, отрицавшихъ личность жены и дѣтей передъ воплощеніемъ патріархальнаго права, т. е. отцомъ. Это противорѣчіе сразу бросалось въ глаза и въ 40-хъ и 60-хъ годахъ не менѣе ярко, чѣмъ въ 20-хъ, или даже въ предыдущемъ столѣтіи.

Въ экономическомъ отношеніи крѣпостная Россія была сравнительно обезпечена и не безъ основанія вѣрила, что служитъ житницей Европы, способной уморить послѣднюю съ голоду, разъ та поведетъ себя нехорошо. Поэтому думать о вопросахъ экономическихъ было преждевременно, пока крѣпостная личность не получитъ права гражданства.

Бѣлинскій уже очень серьезно занимается этимъ вопросомъ, еще больше вниманія удѣляетъ ему Герценъ. Наступаютъ наконецъ 60-е годы. Вино подается новое, но мѣха остаются прежними. Эти мѣха—крѣпостная личность, крѣпостная, хотя не юридически уже, но фактически, благодаря своей дикости, невѣжеству, умственной робости.

Отчаяннымъ натискомъ и геройскимъ приступомъ 60ы-е года заняли много позицій, гдѣ очень самодовольно и въ кажущейся безопасности гнѣздились устои прежней жизни. Если ихъ можно было и при томъ сравнительно легко выкурить изъ кодекса законовъ, то выкурить ихъ изъ понятій оказалось куда труднѣе —прямо не подъ силу никому. Писаревъ посвятилъ этому всю свою молодую жизнь, всю страсть своей горячей натуры, весь свой громадный талантъ, и мнѣ думается, что онъ шелъ вѣрной дорогой, дополняя «Современникъ» съ его строгой «политико-экономической программой». «Отношенія между мужемъ и женою, между отцомъ и сыномъ, матерью и дочерью, воспитателемъ и воспитанникомъ—все это,—говорилъ онъ,—должно быть обсуживаемо и разсматриваемо съ самыхъ разнообразныхъ точекъ зрѣнія. И это обсужденіе не должно привести къ составленію *законовъ* семейной жизни. Боже упаси! Догматизмъ

вреденъ въ такихъ отношеніяхъ, въ которыхъ не должно быть ничего условнаго, въ которыхъ понятіе обязанности должно уступить мѣсто свободному влеченію и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убѣжденія объ условіяхъ домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы натолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смѣлому пересмотру существующія формы, освященныя вѣками и потому подернувшіяся вѣковою плѣсенью».

Русская исторія постоянно грѣшила какимъ-то вполнѣ систематическимъ отрицаніемъ личности. Въ этомъ повинны столько же монгольское иго, сколько и Петръ Великій. Человѣка на сценѣ не было никогда, развѣ въ легендарный періодъ, когда соловьи-разбойники прятались по лѣсамъ муромскимъ и брынскимъ. Люди, создавшіе русское просвѣщеніе, какъ нельзя лучше понимали это, и эмансипація личности—нервъ прогрессивной русской мысли.

Проповѣдуя ее, Писаревъ становится на почву выгоды и экономіи силъ, оставляя такимъ образомъ шаткіе подмостки добра и зла. Онъ не говоритъ, какъ Бѣлинскій, «уважайте достоинство человѣка, личности, чтобы быть добродѣтельнымъ», а, обращаясь къ здравому смыслу и разсудку своихъ читателей, старается доказать имъ, что счастье можетъ быть достигнуто только при этомъ условіи. И это не личное маленькое счастье, а напротивъ — широкое, общечеловѣческое счастье. Ему жаль, и при томъ совершенно основательно жаль, тѣхъ иногда недюжинныхъ силъ, которыя разбрасываются на служеніе обычаямъ и приличіямъ, въ погонѣ за различными иллюзіями, и той работѣ, которая совершенно не отвѣчаетъ влеченію ихъ природы. И такая постановка вопроса совсѣмъ не пустяшная, а какъ разъ наоборотъ. Одинаково смотрѣли на дѣло и Сократъ, и Платонъ, и всѣ, кто умѣлъ трезво взглянуть на человѣческую и общественную жизнь. «Познай самого себя», училъ здравый, глубоко практическій геній Греціи. Что собственно означаетъ это познаніе самого себя? Оно означаетъ, что обязанность каждаго, какъ человѣка и гражданина, заключается прежде всего въ томъ, чтобы взвѣсить свои силы, тщательно и безъ всякаго самообольщенія опредѣлить ихъ размѣры и найти для нихъ такую точку приложенія, когда онѣ могли бы обезпечить наибольшую пользу для общества, наибольшее счастье для самой личности.

Таковъ истинный смыслъ эмансипаціи личности, какъ понималъ ее Писаревъ. Личность свободно опредѣляетъ свои силы и свое вле-

ченіе и свободно работаетъ на избранномъ поприщѣ. Въ результатѣ— прежде всего экономія силъ.

Это существеннѣйшій пунктъ.

Было когда-то въ модѣ восторгаться мудростью природы и писать на тему о томъ, какъ все прекрасно устроено въ этомъ лучшемъ изъ міровъ. Наконецъ наука пришла къ той простой мысли, что хотя природа и совершенствуется по части приспособленія, но дѣлаетъ это съ безумной расточительностью. Лотце уподобляетъ природу охотнику, который, желая убить одного зайца, пускаетъ во всѣ стороны 10,000 выстрѣловъ въ чаяніи, что авось который-нибудь зарядъ и попадетъ, куда нужно. А не попадетъ—что за бѣда?

Нельзя не согласиться, что до сей поры эволюція и развитіе общества мало чѣмъ отличались отъ эволюціи и развитія природы. Та же безумная расточительность, тѣ же 10,000 выстрѣловъ по одному несчастному зайцу прежде всего бросаются въ глаза. Совершенно правъ поэтому Гальтонъ, говоря:

«Процессъ эволюціи происходилъ, повидимому, до сей поры такъ, что мы, разсуждая съ нашей человѣческой точки зрѣнія, не можемъ не признать въ немъ большой и напрасной траты силъ и жизней и не видѣть въ немъ полнаго пренебреженія къ страданіямъ отдѣльныхъ индивидуумовъ».

Этими словами Гальтонъ прекрасно опредѣляетъ позицію новаго научнаго движенія. Путемъ безконечно долгой и упорной работы мысли человѣкъ отдѣлилъ себя отъ природы и увѣровалъ, что онъ можетъ и долженъ устроить свое благополучіе, пользуясь собственными силами и средствами. Слѣдовательно онъ призналъ, что его дорога къ счастію другая, чѣмъ у природы-матери, если послѣдней вообще есть какая-нибудь дорога. И новое научное движеніе старается эволюцію общества отдѣлить отъ эволюціи природы. Въ чемъ же могутъ онѣ разойтись? Мнѣ кажется, лишь въ двухъ пунктахъ:

1) въ экономизированіи силъ и

2) въ уваженіи личности, какъ таковой.

Экономія силъ для природы—вещь совершенно посторонняя. Также посторонне для нея уваженіе къ личности, индивидууму. Къ нимъ она относится съ обиднымъ даже пренебреженіемъ и жертвуетъ милліонами, не чувствуя при этомъ ни малѣйшаго угрызенія совѣсти. Всякій знаетъ, я думаю, какая это въ сущности жестокая, съ нашей, человѣческой точки зрѣнія, вещь—естественный подборъ. Гибнутъ десятки и сотни, чтобы дать возможность выжить одному.

Говорить читателю, что дѣятельность Писарева заключалась главнымъ образомъ въ пропагандѣ этихъ двухъ великихъ идей новой науки, т. е. экономіи силъ и признанія за каждымъ права на полноту существованія,—излишне. Но надо замѣтить, что онъ—русскій человѣкъ, слѣдовательно—мотъ. Онъ забылъ на свои философско-историческіе взгляды налѣпить соотвѣтствующіе ярлыки, забылъ указать въ нужномъ мѣстѣ, что это его мысль, что раньше до него этого никто не говорилъ.

Причина, какъ видитъ читатель, совершенно основательная, чтобы пользовались его идеями, не указывая источника. Но еще бо̀льшая бѣда, что, какъ журналистъ, Писаревъ не успѣлъ придать своимъ взглядамъ научный характеръ и систематически изложить ихъ въ двухъ—или сколько тамъ—томахъ съ соотвѣтствующими ссылками на первоисточники.

Но что будешь дѣлать? Не удалось Бѣлинскому написать своей «Исторіи литературы», а пришлось разбросать ее на протяженіи XII томовъ; не удалось и Писареву разработать свою идею «до такихъ ясныхъ и осязательныхъ результатовъ, до какихъ еще никто не доводилъ раньше меня», какъ выражается онъ въ письмѣ къ матери (стр. 97). Онъ ограничился журнальными статьями, по необходимости обремененными массой посторонняго текущаго матеріала. Но все же очевидно, что онъ больше чѣмъ кто-нибудь изъ русскихъ писателей сдѣлалъ для того, чтобы закрѣпить за русскимъ самосознаніемъ великую и плодотворную идею объ *исторической силѣ эманципированной, критической личности.*

---

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 072532671